

Министерство образования и науки Челябинской области
Челябинский государственный университет
Исторический факультет
Челябинское отделение Российского общества интеллектуальной истории

**ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
В ПРОСТРАНСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII–XXI ВЕКОВ**

Сборник статей

Челябинск, 2011

УДК 930.1(063)

ББК 63я43

И90

Издание подготовлено в рамках исследовательского проекта РГНФ № 11-03-14078 г

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства образования
и науки Челябинской области

Редакционная коллегия:

Н. Н. Алеврас – доктор исторических наук, профессор (главный редактор)

Н. В. Гришина – кандидат исторических наук, доцент

Ю. В. Краснова – кандидат исторических наук, доцент

И90 История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков : сборник статей / под ред. Н. Н. Алеврас, Н. В. Гришиной, Ю. В. Красновой. – Челябинск : Энциклопедия, 2011. – 512 с.

ISBN 978-5-91274-137-1

Исследования, представленные в сборнике статей, отражают реализацию междисциплинарного подхода в сфере современного исторического и историографического знания, опираются на принципы социологии и психологии науки, историко-культурной антропологии, идеи теории социальных коммуникаций, интеллектуальной и когнитивной истории. В рамках сборника затрагиваются проблемы исследовательских, коммуникативных, поведенческих стратегий и практик отдельных ученых и научных сообществ в различных исторических и социокультурных контекстах; опыт подготовки и механизмы становления ученого; методологические и теоретические основания историографического знания в контексте взаимодействия с науковедением и историей науки; способы и принципы репрезентации прошлого; проблемы социокультурной миссии и востребованности истории в современном российском и западном обществе.

Издание адресовано специалистам в области истории и историографии, культурологии и других социальных и гуманитарных наук.

УДК 930.1(063)

ББК 63я43

На обложке: кадр из анимационного фильма «Судьба» по совместному проекту С. Дали и студии У. Диснея (1946–2003).

ISBN 978-5-91274-137-1

© Коллектив авторов, текст, 2011.

© ООО «Энциклопедия», дизайн, 2011.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие авторов7

Раздел 1. «Подвижный фронт»: методологические и теоретические основания историографического знания

<i>Лантева М. П.</i> Интеллектуальный контекст методологических «поворотов» гуманитарного знания рубежа XX–XXI веков	12
<i>Репина Л. П.</i> Историко-историографическое исследование в контексте современной интеллектуальной культуры	21
<i>Ионов И. Н.</i> Глобальная история как форма конструирования и репрезентации прошлого	36
<i>Нарский И. В.</i> Возвращение автора: приглашение к «лирической историографии», или об одной тенденции в современном историописании	44
<i>Коновалова Н. А., Метель О. В.</i> Мыслить «стратегически»: размышления о целостном историографическом знании	54
<i>Меньковский В. И.</i> Советология как академическая историческая дисциплина (в защиту советологии)	59
<i>Согрин В. В.</i> Историографии России и США: современный диалог	68
<i>Камынин В. Д.</i> Диссертация по историографии: из опыта методологического и теоретического обоснования исследований	78
<i>Захаров А. В.</i> Эхо «государева двора» в русских источниках и историографии	89
<i>Васильев А. Г.</i> Историография как форма культурной памяти и польская национальная идентичность в период разделов (1795–1918)	99
<i>Романов А. П.</i> Изучая загадочного аборигена: «ориентализм» в оценках русских крестьян в конце XIX – начале XX века	107
<i>Ивонина О. И.</i> Методологические традиции и новации христианского историзма в творчестве историков русской эмиграции (на материале публикаций «Нового града» 1931–1938 годов)	115
<i>Баканов С. А.</i> Мировые конгрессы экономической истории: опыт контент-анализа	122

Раздел 2. Сотворение историка: опыт подготовки и механизмы становления ученого

<i>Алеврас Н. Н.</i> Диссертационный диспут как событие и традиция университетского быта второй половины XIX – начала XX века	129
<i>Золотарёв В. П.</i> Маленькие картинки для выяснения больших вопросов (об истоках российской новистики в научной деятельности М. Н. Петрова)	145

<i>Скворцов А. М.</i> М. С. Куторга: становление учёного-антиковеда	153
<i>Свешников А. В.</i> Социальный статус и поведенческие стратегии «дореволюционных аспирантов-историков»	165
<i>Гришина Н. В.</i> «Анахронизм наших печальных дней»: российская диссертационная система на рубеже 1910–1920-х годов	172
<i>Кулакова И. П.</i> Визуальный образ человека науки в российской традиции (история и современность)	181
<i>Тихонов В. В.</i> Историографический компонент в современных школьных учебниках по отечественной истории	189

Раздел 3. Личность историка и вызовы времени: творчество и модели поведения в социуме и научном сообществе

<i>Ханс-Кристиан Петерсен.</i> Научные дискуссии о восточно-европейских евреях в национал-социалистической Германии	196
<i>Беликов А. П.</i> Полибий и вызовы его времени: творчество, модель поведения, восприятие потомками	206
<i>Высокова В. В.</i> Историзм Эдварда Гиббона: предтечи и влияния	215
<i>Кара-Мурза А. А.</i> Тимофей Николаевич Грановский – родоначальник отечественной корпорации профессиональных историков	221
<i>Антощенко А. В.</i> П. Г. Виноградов: первое знакомство с английским научным сообществом	233
<i>Цыганков Д. А.</i> Р. Ю. Виппер и его путь в советскую историческую науку	241
<i>Кузнецов А. А.</i> Отзывы Н. И. Кареева, Е. А. Косминского, В. Н. Бочкарева в 1929 году о научных работах С. И. Архангельского	245
<i>Киселев М. А.</i> Н. А. Воскресенский: историк вне корпорации	254
<i>Сыченкова Л. А.</i> Ф. Шмит: учителя, ученики, последователи	264
<i>Умбрашко К. Б.</i> Историография картографического изучения Сибири первой четверти XVIII века: А. И. Андреев	276
<i>Колеватов Д. М.</i> Переизобрести себя: две стратегии личностной и профессиональной самоидентификации советского историка (М. А. Гудошников и С. А. Пионтковский)	281

Раздел 4. Сообщества историков: исследовательские и коммуникативные стратегии и практики

<i>Корзун В. П.</i> Коммуникативное поле исторической науки: новые ракурсы историографического исследования	290
<i>Богомазова О. В.</i> В. О. Ключевский: актуализация памяти об историке в коммеморативных практиках научного сообщества XX века (к постановке проблемы)	303

<i>Иванова Т. Н. В. О. Ключевский о В. И. Герье и не только: к публикации одного письма</i>	315
<i>Воробьёва И. Г. Историки и любители истории в дореволюционной российской провинции</i>	323
<i>Ванюшева К. В. Роль межличностных коммуникаций в профессионализации провинциальной археологии в России (конец XIX – начало XX века)</i>	330
<i>Зезегова О. И. Женщины-историки «Ecole russe»</i>	337
<i>Крих С. Б. Дискуссия как средство коммуникации в советской историографии древности</i>	345
<i>Veysel Dietrich Eastern Europe as a German Space: Nazi Historians and Experts on the East</i>	353
<i>Руденко К. А. Казанские археологи во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов: личности, научное творчество и модели поведения (к постановке проблемы)</i>	356
<i>Базанов М. А. В поисках очертаний «научной школы А. А. Зиминой»: к постановке проблемы</i>	362
<i>Рыженко В. Г. Возвращенное наследие историков XX века в коммуникативном поле современной российской исторической науки: приглашение к дискуссии</i>	372

Раздел 5. Образы истории: способы конструирования и презентации прошлого

<i>Жукова О. А. Образ России: культурное предание и проблема преемственности исторического опыта</i>	384
<i>Леонтьева О. Б. Историческая память и образы прошлого в российской художественной культуре XIX – начала XX века</i>	392
<i>Кобылин И. И., Николаи Ф. В. История зрения и возможность «чистого воображения»: критический взгляд Ж. Старобинского и М. Джая на общество спектакля</i>	399
<i>Мазур Л. Н. Российская история в советском художественном кинематографе 1920–1980-х годов</i>	408
<i>Волков Е. В. Образы Октября, его героев и врагов на советском экране в 1920–1930-е годы</i>	416
<i>Фокин А. А. Образы советского в современной отечественной массовой культуре</i>	427
<i>Галямичев А. Н. Гуситская тема в творчестве Жорж Санд</i>	434
<i>Жумашев Р. М. Художественная культура Казахстана XX века в республиканской историографии: от советского опыта к современным исследовательским практикам</i>	442
<i>Черепанова Р. С. Русские «бои за историю»: российская история в общественной полемике первой половины XIX века</i>	459
<i>Шнейдер К. И. Миссия истории и историка в раннем русском либерализме</i>	466

<i>Андреева Т. А.</i> Оппозиционная уральская печать: из истории политической идентификации (1907–1914 годы)	473
<i>Любчанская Т. В.</i> История материальной культуры в газете «Правда» (1930–1940 годы)	483
<i>Поршнева О. С.</i> Историография и источники изучения образов союзников в сознании российского общества в годы Первой мировой войны	488
<i>Фельдман М. А.</i> Рабочие и Гражданская война в России: проблемы историографии (в преддверии столетия)	498
Сведения об авторах	505

«Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения»

«Не наука виновата, если с ней не знают, что делать, как обращаться. И выправка мышления, и развитие нравственного чувства, и политическое сознание, и чувство любви и долга к отечеству – очень хорошо, если все это является результатом изучения истории; но все это создает большие затруднения, как скоро ставится как задача ее изучения»

*В.О. Ключевский. Письма. Дневники.
Афоризмы и мысли об истории. М., 1968.*

История и историки в современной культуре

Предисловие

Сборник статей, в названии которого присутствует хорошо знакомое словосочетание «история и историки», символизирует, прежде всего, историографический проект. Предложенный к реализации посредством такой коммуникации как научная конференция¹, он призван, кроме того, акцентировать внимание на социокультурном контексте, который существенно корректирует происхождение и характер историографических феноменов и составляет питательную основу собственно историографической культуры.

Несомненно, название сборника созвучно предыдущему подобному изданию челябинских историков, ставшему итогом всероссийской конференции, прошедшей в 2006 г. в Челябинском государственном университете. Очередная конференция и новый научный сборник являются продолжением обсуждения блока проблем, которые в самом общем виде можно связать с темой социальной

¹ Данный сборник статей представляет результаты международной научной конференции «ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII – XXI ВЕКОВ», проведенной в Челябинском государственном университете 17–19 ноября 2011 г. в рамках программы научных мероприятий Российского общества интеллектуальной истории. Сборник содержит только часть материалов конференции. Более полное представление о содержании выступлений и составе участников дает публикация тезисов данной конференции.

функции и предназначения исторической науки в общественно-политической и культурной жизни социума.

Дополнительным стимулом проведения научной конференции и подготовки данного сборника статей стал юбилей знаменитого российского историка Василия Осиповича Ключевского. В 2011 г., как известно, отмечается 170 лет со дня его рождения и 100-летие его смерти. Творческое наследие ученого столь многогранно, что обращение к нему позволяет формулировать новые вопросы, находить неожиданные ответы, вступать в дискуссию по злободневным вопросам научной жизни, с удивлением осознавать, каким даром предвидения и глубокого понимания сути развития науки и общества он обладал.

Вопрос о месте гуманитарных наук и их представительного историко-научного сегмента сохраняет в современной жизни повышенную актуальность. Российские историки, пережившие в советское время мощный идеологический прессинг, в начале XXI века оказались в новой драматической ситуации, выраженной в неясности статуса гуманитарных наук, их слабой востребованности как обществом, так и властью.

Проблема выживания исторической науки, которую мы обозначили пять лет назад в названии предисловия предыдущего сборника фразой «оптимизм и пессимизм самопрезентации», ныне приобретает новое звучание. Не абстрагируясь от социального контекста, наука пытается найти внутренние потенции для своего развития. Сложность положения гуманитарного знания заставляет вести теоретико-методологические поиски в области междисциплинарных проектов, углубляться в проблемы социологии и антропологии науки, бытования научных сообществ, оценивать причины успехов или неудач тех или иных программ и школ, творить на стыке с литературой, искусствоведением и другими областями знания. Одной из тенденций развития исторической науки в России является попытка сообщества историков выработать новые механизмы самоорганизации и создания такой сети коммуникаций, которая психологически и творчески способствует продуктивной деятельности. Благодаря персональным усилиям и сформировавшемуся и укрепившемуся в своих традициях сообществу историков через Российское общество интеллектуальной истории, научные, профессиональные, межличностные коммуникации крепнут и позволяют творчески выживать в условиях ощущаемого кризиса.

Научные статьи сборника объединяет нечто общее из области культурной антропологии, а именно – апелляция к опыту жизни личностей и сообществ предшествующих времён. Процесс истории, как известно, порождает социальный опыт и формирует в обществе память о прошедшем. Сосуществуя в нерасторжимом единстве, оба эти феномена составляют фундаментальную основу индивидуальной и общенациональной идентичности. Но для того, чтобы они «работали» на решение задач культурного очищения и национальной консолидации, необходимо создать условия для обеспечения общества адекватными каналами передачи интеллектуальной информации из прошлого в настоящее. Роль исторической науки, социальная функция которой издавна связывалась с

воспитанием общества, в этом отношении очевидна: она может быть определена как особый канал трансляции опыта прошлого. Одновременно следует помнить, что позиционирование истории как *magistra vitae* и как «искусство памяти» сопровождается со стороны самих историков предостережениями: история – это, одновременно, и «надзирательница», которая «наказывает за незнание уроков» (В. О. Ключевский), а некритически воспринятый опыт социальной памяти превращает ее в «историю без памяти» (А. Мегилл).

Обращение участников историографической конференции и авторов сборника к изучению опыта творческой и профессиональной деятельности сообщества историков, в связи со сказанным выше, закономерно определяет центральное место этим аспектам на форуме ученых. Статьи участников проекта, объединенные проблематикой теории и методологии исторических и историографических исследований (раздел «*“Подвижный фронт”: методологические и теоретические основания историографического знания*»), так или иначе обращены к поискам выбора методов, подходов, принципов познания и конструирования прошлого, способов выработки стиля и нарратива историописания, адекватных целям достижения «строгого» научного знания.

Специальный раздел сборника («*Сотворение историка: опыт подготовки и механизмы становления ученого*») призван подвести к ответу на вопрос «как сделать историка?». Он посвящен еще слабо изученным аспектам истории исторической науки – карьерным историям в рамках научной корпоративной культуры, процессам профессиональной выучки ученого-историка, «вращения» его в условиях функционирующей диссертационной системы. Все эти аспекты соединяют в один узел проблемы нормативно-организационных основ бытования научно-педагогической среды и творческой жизни представителей исторической науки, занятых «изготовлением» интеллектуальных продуктов своей профессиональной деятельности – научных трудов различных видов. Подготовка и становление историка-профессионала, как специальный историографический сюжет, делает очевидным актуальность подобной проблематики, поскольку позволяет уловить тонкие механизмы трансляции и приобретения/преемственности профессионального опыта на межпоколенческом уровне. Заданный ракурс немаловажен и для понимания различных «срезов» межличностных взаимоотношений в научной среде, позволяя говорить о специфике индивидуального творчества в пространстве коллективного опыта.

Поскольку творческий потенциал науки напрямую зависит от главного объекта историографии – фигуры историка – то естественно, что специальное внимание участниками конференции обращено к представителям исторической науки – ученым различных научных культур и творческих судеб (раздел: «*Личность историка и вызовы времени: творчество и модели поведения в социуме и научном сообществе*»). Персональные истории, представленные в контексте исторического времени и традиций историографического быта, позволили внести существенные штрихи к историографическим образам известных историков – Полибия, Э. Гиббона, Т. Н. Грановского, П. Г. Виноградова

и др., а кого-то из галереи малоизвестных имен открыть широкой аудитории современной науки – С. И. Архангельского, Ф. И. Шмита, М. А. Гудошникова, С. А. Пионтковского.

Традиционным сюжетом историографических конференций последних лет является тема коммуникативных практик и типологий научно-профессиональных сообществ (раздел *«Сообщества историков: исследовательские и коммуникативные стратегии и практики»*). Появление в последние годы целого ряда монографий и диссертаций по истории научных школ (см. публикации Н. В. Гришиной, Т. Н. Ивановой, А. В. Свешникова, Д. А. Цыганкова и др.), позволяет, вероятно, говорить о том, что отечественная историография вполне продуктивно прошла определенный этап теоретического и эмпирического освоения этой только намеченной в начале нынешнего столетия проблематики. Дальнейший процесс схоларных исследований предполагает расширение объектов изучения и поиск новых исследовательских стратегий относительно коммуникативных практик научного сообщества историков.

Раздел сборника *«Образы истории: способы конструирования и презентации прошлого»*, подводящий своеобразный итог научных выступлений участников конференции, вводит заинтересованного читателя в широкий мир культурных ценностей, ставших основой конструирования представлений, образов, мифов, идеологий и других форм презентации прошлого на большом временном пространстве отечественной и зарубежной истории. Перед читателями предстанут образы людей и событий прошлого, созданные не только профессиональными историками, но и в многообразных произведениях художественной и массовой культуры – литературы, публицистики, прессы, живописи, кинематографа. Интересны попытки многих авторов обратиться к методологическим и историографическим аспектам конструирования образов истории, а также – к комплексному анализу произведений культуры относительно привлекательных для них исторических сюжетов.

Само собой разумеется, что границы пяти разделов сборника условны: они не разделяют участников конференции, а подобно цветку из пяти лепестков, соединяют всех в стремлении представить современный опыт исторической науки в понимании и актуализации истории и исторического знания.

Редакционная коллегия

Раздел 1.

**«Подвижный фронт»: методологические и теоретические
основания историографического знания**

М. П. Лантева

(Пермский государственный университет, г. Пермь)

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
«ПОВОРОТОВ» ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ**

В методологии гуманитарных наук за последние десятилетия произошли изменения, именуемые поворотами. Среди них чаще всего упоминают антропологический, культурный, лингвистический, визуальный, прагматический, социоисторический, когнитивный. Вполне понятные опасения, касающиеся научной моды, приводят даже очень уважаемых историков к полному отрицанию их полезности¹.

Все «повороты» объединяет одна идея, одна парадигма – идея синтеза. Она представляется мне попыткой (возможно, слабой) хоть как-то противостоять мощной тенденции дифференциации наук, начавшейся с эпохи Просвещения и продолжающейся по настоящее время. Почти одновременно с ростом дифференциации научного знания возникали и робкие попытки сближения разных познавательных тенденций.

Современное проявление тенденции синтеза, вероятно, связано с процессами глобализации. Неоднозначность происходящих в науке процессов хорошо видна на примерах одновременного сближения и расхождения научных направлений, так как, с одной стороны, возникают новые науки, которые иногда называют пограничными (например, историческая социология или историческая антропология), а с другой стороны, происходит серьёзное влияние одной науки на другую.

Термин ‘когнитивный’ в значении ‘познавательный’ долгое время употребляли только философы. Во второй половине XX в. этот термин применили психологи. В 1960 г. при Гарвардском университете был основан Центр когнитивных исследований. Однако и по сей день не существует какого-то унифицированного понятия для всей системы терминов с определением ‘когнитивный’. Согласно одной из попыток, когнитивная наука – это наука о системах знаний и обработке информации. Это определение используется уже более 20-ти лет, но многие авторы предпочитают говорить не об одной науке, а о многих когни-

тивных науках, считая когнитивизм целым направлением и новой научной парадигмой, так как «история развития когнитивных наук связана с переосмыслением фундаментальных проблем познания человеком окружающего мира и самого себя»².

Термином ‘когнитивная история’ её сторонники именуют науку, создающую интеллектуальный продукт за счёт синтеза информатики, историографии, антропологии, источниковедения и структурной лингвистики³. На основании когнитивного подхода введено понятие макрообъекта исторической науки. Он представляет собой некую совокупность интеллектуальных продуктов⁴, в результате чего выстраивается принципиально новая теория исторического познания.

Сторонники когнитивного поворота отмечают особую значимость исследований О. М. Медушевской, поскольку они связаны с такими основами европейской истории и культуры, как рационализм, историзм, сциентизм и интеллектуализм⁵. О. М. Медушевская по-новому подошла к анализу проблем человеческого поведения, которое сопровождается созданием интеллектуальных продуктов. Она предложила критерии проверки получаемого знания, введя понятие опосредованного информационного обмена, иначе говоря, способности человека преобразовывать информацию из динамической (возникающей в живом общении) в статическую (зафиксированную на материальных носителях)⁶.

Участники круглого стола, проведенного в Историко-архивном институте РГГУ в ходе одной из конференций, отметили, что когнитивная история становится важнейшим теоретико-методологическим направлением⁷. Любой научный текст необходимо изучать с учетом когнитивного и социокультурного контекста, поскольку его смысловая структура может быть представлена как объемная, многомерная система⁸.

Методологические повороты меняют логику традиционного исторического мышления. Иные науки, помогающие историку расширить его представления о том, как и почему действовали в прошлом его персонажи, создают ситуацию определённого конфликта. Его можно именовать конфликтом интерпретаций, конфликтом методов, конфликтом понятий, но суть от этого не меняется: в любом случае происходит явное усложнение работы историка, к которому готовы далеко не все.

Возможно, что и по этой причине некоторые историки своеобразно относятся к методологическим поворотам. Так, Н. Б. Селунская относится к ним весьма настороженно, если не сказать, негативно. Постмодернизм она квалифицирует как такой «исторический и лингвистический поворот», который разрушает «основы профессиональной научной деятельности историка»⁹. Антропологический подход и культурологическую составляющую исторического знания Н. Б. Селунская называет «растаскиванием истории в разные стороны». А новые предметные области истории, возникшие в результате методологических поворотов, она считает «незаконнорождёнными»¹⁰. В противовес этому автору, Б. Г. Могильницкий, называя вызов постмодернизма «субъективным

поворотом», оценивает его достаточно высоко, особенно в плане сближения гуманитарных и естественных наук¹¹.

Антропологический поворот во Франции начинался со школы «Анналов», в ФРГ он стал явлением только в 80–90-е гг. XX в. Причиной антропологического «поворота» немецкий автор К. Вульф считает растущий скепсис по поводу социальных функций гуманитарных наук¹². Антропологический поворот оказал существенное воздействие на самосознание профессиональных историков. Они стали применять в своих исследованиях антропологическое понятие культуры как определённого способа коммуникаций¹³. По мнению Б. Г. Могильницкого, благодаря антропологическому повороту существенно обогатилось сочетание в историческом исследовании макро- и микроподходов¹⁴. Он также обратил внимание на то, что уже М. Вебер предполагал возможность такого влияния антропологии, признавая успехи этой науки. При этом Вебер еще не видел «пути для того, чтобы точно определить или даже положительно выяснить вклад антропологии»¹⁵.

Некоторые авторы считают антропологизацию истории одним из истоков лингвистического поворота¹⁶. В качестве своеобразного ответа на постмодернистский вызов лингвистический поворот увеличил риторический пласт исторического текста, изменил способы исторического объяснения и исторического понимания. Й. Рюзен пишет о возникновении нового понимания истории: она стала «лингвистическим артефактом». Более того, поставлена проблема «языка как метафоры»¹⁷. Лингвистический поворот словно бы призвал историков лучше вчитываться в тексты: «... в последние десятилетия лингвистика, более чем другие дисциплины, сделала для изучения того, как функционирует сознание исследователей, занимающихся социальными науками»¹⁸.

Суть изменений, произошедших в историческом познании благодаря лингвистическому повороту, М. А. Кукарцева называет движением от формулы «история – это учёность, добавленная к искусству» к формуле «история – это искусство, добавленное к учёности»¹⁹. Историк вынужден размышлять над тем, какая дефиниция некоей исторической концепции даст лучшее и оптимальное понимание прошлого. Этот поворот показал историку необходимость выбора таких языковых оборотов, которые помогают избегать трюизмов и одновременно углубляют наше понимание прошлого.

Лингвистический поворот включает в себя разнообразные теоретические ориентации. В американской историографии он распространился под влиянием постмодернистской критики. Американские авторы подчеркнули, что риторике нельзя считать только декором исторических сочинений, она не только необходима, но и абсолютно отличается от риторики естественных наук. Эмпирические убеждения в том, что опыт – единственный путь к истинному знанию, были подвергнуты сомнению. Возникло представление о том, что язык историка не менее важен в стремлении к надёжному знанию, особенно с учетом ницшеанского афоризма об истинах как неопровержимых заблуждениях²⁰.

Особенно подробный европейский отклик эти идеи получили в трудах Ро-

лана Барта. Он предложил считать нарратив не только и даже не столько описательным, сколько объяснительным феноменом и уточнил, что исторический дискурс – это воображаемая конструкция. Именно поэтому «понятие исторического “факта” у разных мыслителей вызывало к себе недоверие»²¹. Барт во многих работах настаивает на том, что исторический дискурс не следует реальности, а лишь обозначает её. Надо отметить, что прежде (до Барта) под дискурсом понимали только устную речь, отличая ее от письменного текста. Барт назвал эффект реальности иллюзией, которая заменяет реальность²². При этом возникает огромная энергия заблуждений, проявляющаяся в обилии и даже избытии деталей в исторических сочинениях. Барт называет множество незначительных деталей «роскошью нарратива», совершенно не обязательной и «скандальной» со структурной точки зрения. Совместными усилиями Р. Барта, М. Фуко и Ж. Дерриды был завершён лингвистический поворот, объявивший, что «нет ничего вне текста».

Согласно Деррида, гуманитарные науки используют две разные стратегии при интерпретации текста. Первый способ – это попытка расшифровать некую истину, заключённую в тексте. Второй способ – это своеобразная «игра» с текстом. Предлагая операцию вычёркивания, Деррида проводит деконструкцию понятий: «перечёркнутое слово можно прочесть, оно не скрылось, не вымарано полностью, но его функция и значение изменились»²³. Тем самым Деррида предлагает другие приёмы работы с текстом, подвергая дискурс «всевозможным искривлениям и сжатиям»²⁴. Можно ли считать деконструкцию новым методом интерпретации? «Процедура “деконструкции” означает чтение текста вопреки его очевидному смыслу, то есть выявление противоположных понятий, оппозиций и аргументов, подавленных, не артикулированных в текстах»²⁵. Любая возможная интерпретация не будет аналогична оригинальному тексту, что лишней раз подчеркивает историчность всех понятий и мыслительных схем.

В пространстве лингвистического поворота немало сделано и отечественными мыслителями. М. М. Бахтин подчеркнул роль текста как объекта исследования и мышления: «...там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки»²⁶. Историк З. А. Чеканцева обнаружила интересную связь хронологических и лингвистических аспектов нарратива, позволяющих приблизить прошлое к настоящему, то есть к читателю исторического труда²⁷.

Установка, при которой история снова стала пониматься как особая область литературы, определяет историописание как особый способ литературной работы. Его особенность состоит в том, что «воображение историка играет фактами, почерпнутыми в свидетельствах, и наполняет их новыми значениями в ходе создания текста»²⁸. Плюсы и минусы этой установки отчётливо видны в работах Х. Уайта. Создав концепцию «эстетического историзма», Уайт не отказался и от постулатов «научной истории». Он считал, что историк, увлечённый образными возможностями литературной работы, не должен забывать и о суровости естествознания.

В книге «Метаистория» Уайт доказывает, что историческое исследование и нарратив не исключают друг друга. Забавно, что в работе, которую многие считают завершением лингвистического поворота, сам этот термин даже не упоминается. Возможно, этот парадокс связан с тем, что Уайта вдохновляла не столько философия языка, сколько теория литературы. Из литературы в науку пришло и существенное увеличение роли читателя в моделировании смысла. Так, например, художественная структура текстов В. Набокова позволяет читателю самому моделировать и ситуацию, и героя, и точку зрения на них²⁹.

Культурный или культурологический поворот историческая наука совершила в самом конце XX в. Американский историк Алан Мегилл датирует «новую культурную историю» появлением в 1989 г. коллективной монографии с аналогичным названием, но полагает, что она имеет глубокие корни в традиции «Анналов» и в работах антрополога Клиффорда Гирца. Антропологические занятия Гирца подтверждают, как нелегко отделять один «поворот» от другого. «Поворотный» характер идей Гирца связан с тем, что он пытался изменить отношение к историческим источникам, так как тексты, на его взгляд, также вступают в социальное обращение. Гирц изучал разные формы культуры и относился к ним, как к текстам. Его слова о том, что «антропологи исследуют не деревни <...> – они исследуют в деревнях»³⁰ часто упоминают историки, прибегающие к микроанализу, при этом они даже не ссылаются на Гирца, а лишь заменяют в этой фразе антропологов на микроисториков.

Некоторые авторы говорят о нескольких «культурных поворотах»³¹. Возвращаясь к вопросу об их истоках, можно упомянуть роль социологии культуры Пьера Бурдьё, а также влияние «нового историзма» Стивена Гринблатта. Целью новой культурной истории он считает одновременное «расширение социальной истории и восстание против её господства»³².

По мнению Мегилла, поворот к культурной истории изменил методы изучения прошлого и расширил поле зрения историков³³. С ним солидарна Л. П. Репина. Определяя методологическое значение культурного или культурологического поворота, она считает, что, благодаря ему, произошли «радикальные сдвиги в области исторической эпистемологии, в концептуализации самого исторического знания, в оценке познавательных возможностей исторической науки»³⁴.

Время возникновения визуального поворота достаточно спорно. Его истоки тоже можно увидеть на рубеже XIX–XX вв., когда технический прогресс дал новые возможности для эстетических новаций в науке и искусствах. На мой взгляд, визуальный поворот возникал в рамках культурологического подхода, однако доказал свою самостоятельность. Доминирование визуальных аспектов становится особенностью современной социальной действительности: социологи отмечают простоту и доходчивость визуальной информации³⁵.

Влияние визуального поворота на историческую науку проявляется в расширении источниковой базы и в появлении новых сюжетов или новых аспектов прежних предметных полей в процессе изучения прошлого. Рецензенты

книги челябинского историка И. В. Нарского³⁶ уверены, что для приверженцев визуального поворота она «может служить в качестве хрестоматии и учебного пособия», так как автор подробно излагает и комментирует книги по проблемам визуальных исследований, либо не переведенных на русский язык, либо вышедших в малотиражных изданиях³⁷.

Сопоставление результатов различных методологических поворотов, вероятно, составляет сложную философскую задачу. Не претендуя, разумеется, даже на попытку её решения, я лишь предполагаю, что само их обилие привело к возникновению нового поворота, призванного хоть в какой-то степени суммировать или синтезировать все итоги предыдущих поворотов. Я имею в виду комплекс противоречивых суждений, получивший название прагматического поворота, вокруг которого, по мнению Л. П. Репиной, группируются различные концепции³⁸.

Прагматический поворот понимают совершенно по-разному: и как движение от социальной к социокультурной истории, и как синтез гуманитарного знания с некоторыми пограничными достижениями естественных наук. В первом случае прагматический поворот становится неотличим от культурного поворота. Не случайно Б. Г. Могильницкий применительно к началу XXI в. фиксирует «движение от социальной истории культуры к культурной истории социального»³⁹. Одним из классиков прагматического поворота считается Жак Ревель. Почти десятилетие (с 1995 по 2004 г.) он был президентом Школы высших социальных исследований в Париже – одного из самых престижных академических заведений Франции. По его мнению, название ‘прагматический поворот’ не связано с американским понятием ‘прагматизм’. Он видит суть прагматизма в стремлении историков анализировать не системы, а конкретные ситуации и конкретные объекты.

Другой авторитет современного прагматизма – французский философ Марсель Гоше – сформулировал прагматическую парадигму, девизом которой стала идея сознательного действия субъекта. Гоше предположил, что в результате прагматического поворота «история займёт ведущее место среди наук о человеке, отвоевав его у этнологии и социологии»⁴⁰. А ранг главной темы исторических сочинений Гоше был склонен отводить политике. По мнению историка Бернара Лепти, прагматическая парадигма имеет собственно исторические, а не философские и не социологические корни. Он видит их в установках четвёртого поколения «Анналов», представители которого отказались от структурализма и от поисков ментальных различий. Лепти делает упор на изучение сознательных, а не бессознательных действий субъектов – участников событий прошлого.

Идейным символом прагматической парадигмы нередко называют одного из самых значительных философов XX в. – Поля Рикёра, уверенного в том, что «одной из основных проблем современности является ответственность человека перед историей»⁴¹. Историки реализуют свою долю ответственности в своей исторической практике и в методологических рассуждениях, близких к

ней. При этом он склонялся к пессимистическому видению истории, считал, что ее «нельзя полностью объяснить ни случайными пересечениями, ни экономическими причинами, ни ментальностями»⁴². Употребляя термин ‘кризис рассказа’, Рикёр понимал под ним отход современных историков от строго нарративной формы исторического изложения. При этом он не призывал вернуться к простой повествовательной форме. Историк, по Рикёру, «не является простым нарратором: он раскрывает мотивы, по которым он считает какой-то фактор – скорее, нежели некий другой, – достаточной причиной определённого хода событий»⁴³.

Прагматичность Рикёра хорошо видна в том, как он умел соединять, казалось бы, непримиримые философские и логические течения. Мне импонируют многие суждения П. Рикёра. Например, о том, что задача истории не в подчёркивании случайностей, а в сокращении их числа⁴⁴. Рикёр выводил герменевтическую проблематику из психологии – такой науки, которая ближе к естественным наукам, нежели историческое познание. Возможно, что прагматический поворот в духе П. Рикёра вдохнёт новую жизнь в некоторые установки позитивизма. Движение «назад к позитивизму» отмечено и во Франции, и в англосаксонском мире, и в России, что можно объяснить некой усталостью от постмодернизма: появилась возможность «отдохнуть» от идеологии и от «химер великих нарративов». Однако прагматическая парадигма, по мнению Д. Хапаевой, не смогла создать «метод, тиражирование которого с университетских кафедр дало бы в руки тысяч выпускников <...> орудие для анализа общества»⁴⁵. Тем не менее, некоторые крупные российские историки обратили внимание на достоинства прагматического поворота. Так, Ю. Л. Бессмертный увидел в нем возможность реконструировать индивидуальные стратегии отдельных участников исторического процесса, исходя не из их принадлежности к какой-либо социальной группе, а учитывая его «прагматическое положение», то есть индивидуальные особенности⁴⁶.

На одной из конференций РОИИ, специально посвящённой теоретическим вопросам исторической науки, прозвучало несколько вариантов комплексного названия тех поворотов в методологии, которые повлияли на историческое знание: эпистемологический⁴⁷, парадигмальный⁴⁸ и собственно исторический поворот⁴⁹.

Между этими вариантами, естественно, есть различие. Так, Л. А. Бурганова и В. И. Гольцов особое внимание уделяют влиянию постмодернистских (лингвистических) новаций, а Н. Б. Селунская в названии «исторический поворот» объединяет воздействие культурного и антропологического поворотов. Кроме того, под ним она понимает «поворот не только самой истории к собственному предмету – человеку, но и социальных наук к истории»⁵⁰.

Завершая размышления о комплексном воздействии на историческое знание различных методологических поворотов, я, как и Н. Б. Селунская, склонна считать, что наиболее важные последствия для исторического познания имеют антропологический и культурный повороты, принципиально меняющие харак-

тер работы историка. Даже лингвистический поворот, споры о котором продолжаются, не вызвал к жизни новые исторические школы, сопоставимые по своей значимости и влиянию со школой «Анналов», где, как уже было сказано, лежат истоки антропологического и культурного поворотов.

И ещё одно заключительное размышление возникает в процессе анализа влияния методологических поворотов: споры о них, безусловно, пробуждают интеллектуальные страсти, сочетая рациональные и эмоциональные доводы, что само по себе позитивно, независимо от результатов этих споров и этих поворотов.

Примечания

- ¹ Смирнов В. П. О достоверности исторического знания // Новая и новейшая история. 2010. № 3.
- ² Уланова И. А. Когнитивная семантика. Пермь, 2010. С. 14.
- ³ Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008.
- ⁴ Медушевский А. Н. Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // Рос. история. 2009. № 4. С. 6.
- ⁵ Мининков Н. А. Рец. на кн. О. М. Медушевской // Диалог со временем. 2009. Вып. 28. С. 359.
- ⁶ Медушевская О. М. : 1) Теория исторического познания. СПб., 2010; 2) Когнитивно-информационная теория в социологии истории и антропологии // Социол. исслед. 2010. № 11.
- ⁷ См.: Рос. история. 2010. № 1. С. 131–166.
- ⁸ Баженова Е. А. В многомерном пространстве научного текста // Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста. Соликамск, 2001. С. 15.
- ⁹ Селунская Н. Б. Методологическое знание и профессионализм историка // Новая и новейш. история. 2004. № 4. С. 25.
- ¹⁰ Там же. С. 29.
- ¹¹ Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века. Вып. 3. Историографическая революция. Томск, 2008. С. 4.
- ¹² Вульф К. Антропология: история, культура, философия. СПб., 2007. С. 59.
- ¹³ Зверева Г. И. Обращаясь к себе : самопознание профессиональной историографии в конце XX века // Диалог со временем. 1999. Вып. 1.
- ¹⁴ Могильницкий Б. Г. «Антропологический поворот» в свете антитезы макро- и микроисторических подходов // Диалог со временем. 2009. Вып. 28. С. 22.
- ¹⁵ Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 59.
- ¹⁶ Кукарцева М. А. Хейден Уайт и практика исторических исследований XX века // Диалог со временем. 2008. Вып. 24.
- ¹⁷ Соколов А. Б. История тела. Предпосылки становления нового направления в историографии // Диалог со временем. 2009. Вып. 26. С. 199.
- ¹⁸ Копосов Н. Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005. С. 22.
- ¹⁹ Кукарцева М. А. Лингвистический поворот в историописании // Вопр. философии. 2006. № 4. С. 44–48.
- ²⁰ Ницше Ф. Веселая наука. М., 1999. С. 233.
- ²¹ Барт Р. Дискурс истории // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 438.

- ²² Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
- ²³ Беляева А. М. Деконструкция как особая стратегия интерпретации // Вестн. Моск. Ун-та. Философия. 2008. № 1. С. 68.
- ²⁴ Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 186.
- ²⁵ Ровный Б. И. Введение в культурную историю. Челябинск, 2005. С. 138.
- ²⁶ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 281, 285.
- ²⁷ Образы времени и исторические представления. М., 2010. С. 77.
- ²⁸ Там же. С. 48.
- ²⁹ Зайцева Ю. Ю. Проблема соотношения формы и содержания в творчестве В. В. Набокова // Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста. Соликамск, 2001. С. 64.
- ³⁰ Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 30.
- ³¹ Дубина В. С. Указ. соч. С. 203–211.
- ³² См. об этом: Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 314–315.
- ³³ Там же. С. 69.
- ³⁴ Репина Л. П. Историческая теория после «культурного поворота» // Диалог со временем. 2007. Вып. 20. С. 5.
- ³⁵ Григорьева А. В. Понятие и феномен визуальной культуры // Вопр. гуманитар. наук. 2008. № 6. С. 338–340.
- ³⁶ См.: Нарский И. В. Фотокарточка на память : семейные истории, фотографические послания и советское детство (автобио-историо-графический роман). Челябинск, 2008.
- ³⁷ Янковская Г. А. Анти-Хаксли, или миссия выполнима // Диалог со временем. 2009. Вып. 28. С. 339.
- ³⁸ Репина Л. П. Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/1. С. 6.
- ³⁹ Рабочие программы курсов. Томск, 2006. С. 157.
- ⁴⁰ См.: Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху переводов. М., 2005. С. 25.
- ⁴¹ Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 5.
- ⁴² Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. М. ; СПб., 2000. С. 199.
- ⁴³ Там же. С. 216.
- ⁴⁴ Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. С. 182.
- ⁴⁵ Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху переворотов. М., 2005. С. 147.
- ⁴⁶ Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус»? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1997.
- ⁴⁷ Бурганова Л. А. Эпистемологический поворот в социогуманитарном знании: от пророчества к экспертизе // Теории и методы исторической науки : шаг в XXI век. М., 2008.
- ⁴⁸ Гольцов В. И. Методология интеллектуальной истории как способ преодоления кризиса исторической эпистемологии // Там же.
- ⁴⁹ Селунская Н. Б. «Объяснение» национальной истории в условиях «исторического поворота» // Там же.
- ⁵⁰ Там же. С. 192.

Л. П. Репина
(Институт всеобщей истории, г. Москва)

**ИСТОРИКО-ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ¹**

Изучение истории историографии как академической дисциплины находится сейчас на подъеме, однако на этом пути приходится преодолевать многие препятствия. Очевидные трудности имеются в определении самого предмета истории исторической науки. Практически все академические дисциплины легко идентифицируются, поскольку прямо именуются по своему особому предмету исследования: например, социология – как система знаний об обществе, психология – о психике и т.д. В некоторых определениях присутствует отношение к предмету: например, философия – «любовь к мудрости», филология – «любовь к слову». Во всех этих случаях, такие выражения как «история социологии» или «история философии» имеют прямой смысл, заключающийся в так или иначе представляемом «прошлом» соответствующей системы знаний, или же в предлагаемой истории открытий и учений в соответствующей области познания, и поэтому в специальных разъяснениях не нуждаются.

Напротив, в поисках дефиниции изучения истории как дисциплины мы попадаем в своеобразный семантический капкан, поскольку обнаруживаем, что история, в отличие от всех других академических дисциплин, не имеет отдельно идентифицируемого референта. Можно определить предмет таких изысканий как «историю истории», или – если использовать более привычное выражение – как «историю историографии». Между тем термин «историография» многозначен и в самом общем своем значении указывает на вербальную форму *историописания*, изложения материала в форме исторического нарратива. В результате оказывается, что понятие «история историографии» не делает различия между корпусом работ, выполненных в соответствии с установленным кодексом исследовательских правил, и другими типами исторических сочинений. И если по отношению к историческим произведениям отдаленных эпох – Античности, Средневековья, Возрождения и Просвещения – этот термин вполне уместен, то для более позднего периода становления истории как науки

(говорить о начале профессионализации исторического знания можно только с 1820-х годов), когда историописание было подчинено строгой системе процедур, направленных на изучение прошлого, поставлено под контроль правил профессиональной исследовательской практики и специальных исторических методов, для периода, характеризующегося все возрастающей профессионализацией историков предпочтительнее все же, изучая развитие и состояние исторической науки, пользоваться понятием дисциплинарной истории, которая ориентируется на анализ сложившейся в этой области знаний дисциплинарной практики: концептуальных разработок, исследовательских стратегий, познавательных процедур, организационных схем, и конечно, научных результатов.

Конвенционально сложившееся, имеющее прочную традицию и довольно популярное в настоящее время определение истории как *науки о прошлом* уже является частью и следствием превращения истории в академическую дисциплину. Следует заметить, что именно недостаточность определения истории как *исследования прошлого* вызвала хорошо известные, регулярно возобновлявшиеся внутридисциплинарные споры о том, что должно быть в фокусе исторического исследования – государство или общество, воплощения духа или институты культуры.

Конечно, речь должна идти не об изолированном процессе профессионализации истории, но также о контроле со стороны общества и о взаимоотношениях с историографической практикой вне профессии. Кроме того, приходится иметь в виду, что процесс сциентизации и академической институционализации имел свою цену – задачи поддержания дисциплинарной идентичности требовали резервировать за историей, как за всякой уважающей себя наукой, четко обозначенное место во все более усложняющейся системе знаний. Совершенно ясно, что историю исторической дисциплины следует рассматривать в контексте динамично развивающейся системы гуманитарных наук. Короче, история исторической науки должна быть описана в трех измерениях, или тремя моделями.

Во-первых, это модель упорядочения и непрерывной коррекции исторической памяти, оказывающей дисциплинирующее воздействие на подвижную и преходящую культурную память общества или какой-либо референтной группы. Не менее важное место отводится модели дисциплинарности, в фокусе которой оказывается самоидентификация истории как науки, а предметом обсуждения становятся те когнитивные и институциональные стратегии (противостояния или приспособления), которые применяются ею в ответ на вызовы со стороны сменяющих друг друга концепций *научного* знания и так называемых «образцовых наук», которые формируют в тот или иной период познавательный идеал. Наконец, речь может идти о модели междисциплинарности, в которой «история» как тип когнитивной исследовательской деятельности включается в процесс демаркации и реконфигурации дисциплинарных территорий. Все эти три модели не сменяют друг друга, а сосуществуют и постоянно взаимодействуют, возможно, лишь меняя свои роли с первой на вторую или третью, и наоборот. Процессы демаркации дисциплинарных территорий и

процессы междисциплинарного взаимодействия – это, по сути, две стороны одной медали.

Сегодня в результате методологической и эпистемологической революций второй половины XX века все чаще *история исторической науки* и в целом *история историографии*, а точнее – *история исторического знания*, с ее гораздо более объемным предметным пространством и неизмеримо более глубокой и длительной темпоральной перспективой, рассматривается как неотъемлемая составляющая интеллектуальной истории. В области истории исторического знания, как и в других исторических субдисциплинах, произошло основательное переопределение предмета, проблематики и концептуального аппарата исследований.

Поскольку современная интеллектуальная история ориентирована на реконструкцию исторического прошлого каждой из областей и форм знания (включая знания донаучные и пара-научные) как части целостной интеллектуальной системы, переживающей со временем неизбежную трансформацию, постольку и в истории историографии на первый план выступает задача выявления исторических изменений фундаментальных принципов, категорий, методов и содержания познания, изучения процессов становления и развития исторического сознания и исторической культуры, стиля исторического мышления и историописания, средств и форм научного исследования – в общем контексте духовной культуры, социально-политических, организационных и информационно-идеологических условий конкретной эпохи.

Долгое время история историографии сводилась, главным образом, либо к истории исторической мысли в самом общем виде, либо к истории изучения отдельных тем и проблем. Безусловно, оба эти ракурса исследования имеют самостоятельное значение, а каждый из них – свою достаточно обширную сферу применения. Так называемая проблемно-тематическая историография носит преимущественно инструментальный характер, она реализуется в рамках того или иного конкретного исторического исследования и служит решению поставленных в нем проблем, сопоставляя различные концепции (обычно с учетом воздействия мировоззрения историка на его работу), определяя границы их применения, выявляя еще неизученные или нерешенные вопросы, и, таким образом, задавая необходимые ориентиры дальнейшему развитию научно-исторических исследований.

Однако, что весьма важно отметить, оба указанных подхода обнаруживают упрощенное представление об историографическом процессе как линейном поступательном развитии, при котором каждая последующая стадия неизбежно располагается на более высокой ступени, чем ей предшествующая. Тем самым утрачивается понимание специфики историографической динамики (последняя не укладывается в «прокрустово ложе» концепции прогресса и дихотомии категорий преемственности и разрывов в исторической традиции), не учитывается неоднозначная роль культурных и междисциплинарных взаимодействий в изменениях конфигурации исследовательского пространства исторической науки, а также природы самого исторического знания.

Между тем, в последней трети XX века представление о том, что история историографии научно описывает путь последовательного продвижения человечества к некоему абсолютно истинному знанию о своем прошлом, подверглось радикальному пересмотру. Именно в это время происходит становление и расширение «сферы влияния» социокультурного подхода, который проложил себе путь и в ареал историко-историографических исследований, выведя их, по существу, на более высокую орбиту. В современной историографии место этой области исторического знания, которую иногда называют «интеллектуальной историей истории» (*intellectual history of history*), все больше ассоциируется с некой пограничной линией между историей науки и анализом коллективных представлений, отраженных в разнородных текстах – сохранившихся фрагментах гипертекста утраченной реальности. Цель такого анализа – осмысление исторического прошлого в культурном контексте настоящего, установление взаимосвязи между текстами и миром человеческого опыта.

История во всех формах ее репрезентации (в виде мифологического, религиозного, художественно-эстетического, научно-рационального знания) и их многообразных актуальных (нередко чрезвычайно причудливых) сочетаний рассматривается как атрибут любой культуры, как важнейший способ самосознания и самопознания общества, определяющего через осмысление прошлого свою идентичность. В этом контексте, будучи призвана соответствовать потребностям современного общества и отвечать на всё новые и всё более трудные вопросы, которые формулирует и проецирует на *прошлое* действительность *настоящего*, история неизбежно оказывается обреченной на постоянное переписывание и вовлекается в процесс непрерывной трансформации эмпирической базы и предметного поля, смены ракурсов и методов изучения, ключевых понятий и оценочных критериев.

В своем обновлении современная история исторического знания, как и история социогуманитарного знания в целом, идет (как обычно, со значительным опозданием) по стопам истории естествознания, которая отказалась от «презентизма» и «интернализма», представлявших историю науки как непрерывную череду открытий, воплощающих прогрессивное движение человечества к познанию истины, и от интерпретации знаний прошлого исключительно с точки зрения современной научной ортодоксии. Новая историография науки рассматривает ее (и другие области знания) как одну из форм общественной деятельности и часть культуры, которая не может исследоваться в изоляции от социального, политического и других аспектов интеллектуальной истории.

Произошла легитимация не только «социальной», но и «культурной истории науки», важнейшей предпосылкой которой является признание культурно-исторической детерминированности представления о «науке» и «псевдонауке», о том, чем отличается знание «естественнонаучное» от «социального» и «культурного». Соответственно, исходной предпосылкой современной истории историографии, как и истории науки, и интеллектуальной истории в целом, является осознание неразрывной связи между историей самих идей и

концепций, с одной стороны, и историей условий и форм интеллектуальной деятельности – с другой, что позволяет избежать искажений, проистекающих от ретроспективной оптики, «идола истоков» и опасностей модернизации, столь часто подстерегающих нас при описании долговременной *пред*-истории любых явлений прошлого и настоящего.

Итак, современная историографическая ситуация создала огромное новое исследовательское поле для интеллектуальной истории в направлении, связанном с историей исторической культуры, которая включает в себя весь комплекс представлений о прошлом и способы его репрезентации. Постмодернистская программа, в значительной степени обоснованно, сосредоточила внимание на изменчивости представлений о прошлом, на роли исторической концепции, которая интерпретирует исторические тексты, исходя из современных предпосылок, и действует как силовое поле, организующее хаотический фрагментарный материал.

Представив реальность прошлого как конструктор, создаваемый текстом историка², эта программа пошла по пути релятивизации истории значительно дальше того, что подразумевал тезис об обусловленности постоянного поиска «новых путей» в историографии столь же постоянным изменением тех вопросов, которые мы задаем прошлому из настоящего. Но именно в результате «преодоления крайностей» появилось новое отношение к историческим текстам. Сторонники «средней линии», или так называемой «третьей платформы», стали подчеркивать, что хотя отсутствие прямого контакта с прошлой реальностью лишает нас возможности познать какой-то ситуативный опыт прошлого в отдельности, его можно понять в более широком контексте, в комплексной картине исторического опыта, включающей самые разные его интерпретации, поскольку в субъективности источников, которые мы изучаем, отражены взгляды, предпочтения, система ценностей людей – авторов этих свидетельств и исторических памятников.

Представляет огромный интерес, как люди воспринимали и оценивали события (не только их личной или групповой жизни, но и Большой истории), современниками или участниками которых они были, каким образом хранили информацию об этих событиях. Главное здесь – не сознательные искажения (хотя и о них нельзя забывать), а система восприятия людьми того, что они наблюдают. Реальность преломляется их сознанием, и ее искаженный, односторонний или просто расплывчатый образ запечатлевается в их памяти как истинный рассказ о происшествии. И все же, с учетом механизма переработки первичной информации в сознании свидетеля, это не может быть непреодолимым препятствием для работы историка.

Субъективность, через которую проходит и которой отягощается соответствующая информация, отражает культурно-историческую специфику своего времени; представления, в большей или меньшей степени характерные для некой социальной группы или для общества в целом. Таким образом, текст, который «искажает информацию о действительности», не перестает быть историче-

ским источником, даже когда проблема интерпретации источников осознается как проблема интерпретации интерпретаций. И это в полной мере относится к собственно историческим сочинениям, которые анализирует историограф, реконструирующий и интерпретирующий воззрения своих предшественников.

Огромный интерес в этом плане представляет относительно новый жанр интеллектуальных автобиографий (можно сказать, интеллектуальных «исповедей»), к которому, отнюдь не случайно, обратился целый ряд крупных историков второй половины XX века³. Вписывая свою персональную интеллектуальную историю в динамично развертывающийся и полный драматических событий и катастроф социально-исторический контекст XX столетия, ведущие современные историки создают бесценный материал для изучения истории историографии этой эпохи. Столь же ценными для историко-историографических исследований являются интенсивно публикуемые в современной научной периодике многочисленные и весьма информативные интервью мэтров исторической науки разных стран и научных школ⁴.

Переосмысление предмета исследования интеллектуальной истории и *истории* историографии как ее части (как интеллектуальной формы, в которой общество осознает самое себя) опирается на эпистемологические и методологические принципы современного социокультурного подхода. Целостный подход к изучению сложного историографического явления должен быть направлен на последовательный и систематический анализ конкретных форм существования истории как области гуманитарного (и шире – социально-гуманитарного) знания, как определенной интеллектуальной системы, которая, сохраняя свое специфическое качество, тем не менее, переживает со временем неизбежную трансформацию. Ярким примером являются, в частности, метаморфозы, которые претерпело содержание понятия междисциплинарности, составлявшей (наряду с проблематизацией истории, признанием активной роли историка в диалоге с источником и отказом от монофакторного анализа) одну из опорных установок французской школы «Анналов» и «новой исторической науки» в целом. Кстати, именно развитие междисциплинарного взаимодействия привело в середине XX столетия к введению в историко-историографические исследования науковедческого аспекта и понятийного аппарата социологии науки.

Поскольку интеллектуальная история стремится преодолеть оппозицию между содержанием идей и контекстом, в истории исторической науки стала заметна тенденция сосредоточить внимание скорее не на теориях и концепциях, а на изучении актуальных проблем, возникающих перед социумом, способами их осмысления и предлагаемых стратегий решения. При этом неизбежно возникает необходимость восстановить более общий интеллектуальный контекст эпохи, изучить инфраструктуру производства и распространения исторического знания⁵, организационные структуры (институты) исторического образования и исторической науки, «архитектуру» ее коммуникативного пространства и формы межличностных коммуникаций, не забывая, разумеется, о самих идеях и текстах (как исторических исследований, так и популярных, справочных и

учебных изданий), а также о материальной форме бытования и способах трансляции выраженных в этих текстах идей – о книгах и о читателях, которые их воспринимали, интерпретировали, обсуждали, отвергали или «присваивали».

В историю историографии все активнее вводится практика историко-антропологических исследований, анализирующих профессиональную субкультуру, так называемый «историографический быт»⁶, или «историографическую повседневность, внутренний мир историка, способы его существования в профессиональной и общеинтеллектуальной среде, межличностные связи, коммуникативные практики⁷, а также пути и способы распространения новых идей, в частности через публицистику, популярную и художественную литературу, драматическое и изобразительное искусство.

Под влиянием «лингвистического поворота»⁸ и в результате конструктивной реакции на него история историографии расширила свою проблематику и отвела центральное место изучению дискурсивной практики историка⁹, не ограничивая, однако, свою исследовательскую задачу текстологическим анализом и опираясь на разнообразные подходы к интерпретации текста, в том числе на герменевтический, который направлен на постижение смысла текста как сообщения, адресованного потенциальному читателю, и структурно-семиотический, нацеленный на его «раскодирование».

Трудности подобной операции, составляющей неотъемлемую и важнейшую часть исследовательской процедуры, очень точно описал А. Я. Гуревич: «Перед нами тексты, но расшифровать их в высшей степени нелегко, их смысл, их значение сплошь и рядом ускользают от нас, ускользают прежде всего, если мы пытаемся исходить только из той позиции, которую наша мысль, мы сами занимаем в потоке времени. Для того чтобы расшифровать эти тексты, по видимому, нужны колоссальные усилия. Нередко эти попытки приводят к новым лжетолкованиям. Но историк по своей профессии, по своему призванию не может отказаться от подобных попыток, он предпринимал, предпринимает и всегда будет предпринимать эти усилия»¹⁰.

Большое практическое значение имеет история исторических представлений. В ее предметном поле в полной мере раскрываются многообещающие перспективы «новой культурно-интеллектуальной истории», в рамках которой история историографии получила шанс повысить свой статус и стать по настоящему самостоятельной и самоценной исторической дисциплиной. Сегодня, стремясь обозначить новое качество в самом имени, ее предпочитают иногда называть клиографией, или – в сочетании с изучением методологических и эпистемологических проблем исторической науки – клиологией.

История историографии как часть интеллектуальной истории – это и не *дисциплинарная* история исторической науки, и не *философская* история исторической мысли, и тем более не *вспомогательная* проблемно-тематическая историография, а прежде всего *история исторической культуры*, исторического познания, сознания и мышления, история исторических представлений и концепций, образов прошлого и «идей истории», задающих интерпретационные модели

и выступающих как мощный фактор личностной и групповой идентичности, общественно-политических размежеваний и идеологической борьбы. Речь идет об изучении проблем памяти (способов производства, хранения, передачи исторической информации и манипулирования ею), т.е. памяти социума и отдельных его групп о своем прошлом, в том числе ключевого и малоисследованного вопроса о соотношении индивидуального и коллективного исторического сознания и их роли в формировании персональной, групповой, национальной идентичности, а также воздействия на этот процесс исторической науки и публицистики, о научном анализе качественных сдвигов, произошедших в понимании задач истории как академической дисциплины¹¹, в историографической практике и в исторической новеллистике на рубежах XVIII/XIX, XIX/XX и XX/XXI веков.

Исследовательское поле историко-историографического исследования практически заново переопределяется и сама дисциплина приобретает новый облик. Только сейчас историки историографии решительно встают на тот путь, который был обозначен М. А. Баргом в его новаторской книге «Эпохи и идеи», где он писал о двух способах изучения истории историографии и исторической науки. Во-первых, ее можно изучать (как это и стало привычным) с внешней стороны – как эмпирически зримую цепь сменявших друг друга историографических школ и направлений. Во-вторых, ту же историю можно изучать с ее «невидимой», внутренней стороны – «как процесс, обусловленный системными связями историографии с данным типом культуры, определяемым ее мировоззренческой сутью, которую в наиболее доступной историографии форме выражает именно историческое сознание»¹².

Второй подход отличается как от историографической критики, так и от науковедческого анализа, и нацеливает исследователя на изучение историографии как одной из базовых составляющих исторической культуры, а истории историографии – в более широком «внешнем» исследовательском пространстве культурно-интеллектуальной истории. И в этой познавательной ситуации «история наследует проблему, встающую вне ее и связанную с феноменами памяти и забвения», проблему репрезентации, или точнее – *репрезентирования* прошлого (если мы хотим подчеркнуть активный и незаконченный характер этого действия)¹³. Причем речь в данном случае идет не о частной, индивидуальной репрезентации, а о репрезентации объективированной, о репрезентации прошлого именно как об исследовательском объекте истории исторического описания, с неотъемлемой от нее дискурсивно-риторической составляющей, которая налагает серьезные ограничения на стратегию, предполагающую возможность отличить правдивое повествование от вымысла, т.е. на тот «критический реализм», «в рамках которого многие историки действуют, не вполне это сознавая»¹⁴.

Как подчеркнул Поль Рикер, особенную ценность для ответа на вопрос, касающийся степени правдоподобия исторического текста, представляют случаи «переписывания истории», «именно в переписывании истории проявляется страсть историка, его желание приблизиться еще больше к тому странному

оригиналу, каким является событие во всех его видах и формах». При этом, несмотря на целую цепь опосредований («прояснение концептов и аргументов, определение спорных положений, отбрасывание готовых решений) «память остается матрицей для истории даже когда история превращает ее в один из своих объектов»¹⁵, будь то в рамках истории памяти, истории историографии или же в контексте истории исторической культуры, включающей анализ содержания, формальных разграничений и взаимодействия между различными типами исторической памяти (приватной и публичной, популярной и элитарной, профессиональной и любительской, локальной и национальной и т. д.), а также их познавательной, этической, эмоциональной и эстетической составляющих.

Историография, как и историческая память, изменяется со временем, в связи с нуждами и потребностями общества. В основе профессиональной исторической культуры обнаруживается особый тип коллективной памяти, с характерными ценностями (прежде всего требованием достоверности) и средствами коммуникации (как внутри своего «мнемонического сообщества», так и с другими группами и с обществом в целом), которые также подвержены изменениям.

Важным направлением исследовательского поиска становится изучение динамики состояний исторического сознания на обоих его уровнях: и на профессионально-элитарном, и на обыденно-массовом. Первые шаги были сделаны в изучении средневековой историографии¹⁶. В этой области имеют место несколько способов концептуализации, представления и обсуждения результатов исследований. Иногда произведения средневековых летописцев приводятся в качестве примера текстов, которые характеризуются минимальной сложностью и воздействуют на читателя наиболее прямыми и стереотипными способами, а затем в результате анализа этих хроник или анналов с точки зрения их нарративных структур делается вывод о том, что если даже подобного рода тексты не могут рассматриваться как простые свидетельства, то тогда это тем более справедливо в отношении любого другого исторического сочинения. Второй способ строится на признании художественной, т.е. литературной, а не собственно исторической ценности средневековой историографии. Предполагается, что понимания истории как нарратива (в духе Хейдена Уайта) достаточно, и нет необходимости выяснять, как функционируют отдельные произведения средневековых историков в современных им и в более поздних контекстах.

Однако наиболее эффективный подход, приоритетно освоенный канадскими и американскими историками, оказался связан с изучением средневековых авторов как индивидов, а не только как представителей каких-то тенденций, с изучением и оценкой той селекции событий прошлого, которую они осуществляли в соответствии со своими ценностями и представлениями. Сторонники этого подхода представляют средневековую историографию как результат серии индивидуальных выборов, обусловленных конкретными социально-политическими обстоятельствами¹⁷. Так, например, Габриель Спигел, анализируя французские хроники XIII века, обращает особое внимание на момент

«инскрипции» (фиксации значения), который, в отличие от простой записи (регистрации), представляет собой «момент выбора, решения и действия, который создает социальную реальность текста, реальность, которая существует и “внутри” и “вне” отдельного элемента, инкорпорированного в произведение посредством включений, исключений, исправлений и т.д. Литературный текст формируется из множества невысказанных желаний, убеждений, интересов, которые накладывают отпечаток на все произведение, но возникают под давлением обстоятельств как интертекстуального, так и социального происхождения»¹⁸.

В подобном исследовании оказываются взаимосвязанными (хотя они могут выступать и как самостоятельные) три линии анализа: 1) анализ самого данного исторического текста, 2) анализ содержащейся в нем концепции (как ее доминантной идеи, так и имеющихся противоречий), 3) анализ исторического опыта, к которому эта концепция может быть обращена.

Вопрос о роли исторического сознания в формировании персональной и групповой идентичности определяет направление исследовательского поиска известного канадского историка Марка Филлипса¹⁹. Он, в частности, провел анализ качественного сдвига, который произошел в понимании задач истории и в историографической практике на рубеже XVIII и XIX вв. и выразился в смещении целевых установок от описания прошлого к его «воскрешению в памяти»²⁰. Наблюдения Филлипса прекрасно накладываются на соответствующий историко-литературный материал, в частности, на огромный корпус текстов первого и второго ряда, причисляемых к исторической новеллистике, которая пользуется неизменной популярностью у массового читателя. Траекторией движения историографии в обозначенном поле, намагниченном полюсами научной аргументации и литературной репрезентации, может быть записана одна из версий ее непростой истории.

Переосмысление процессов исторического познания и передачи исторического знания в духе культурной парадигмы еще далеко от завершения и сулит немало неожиданных следствий. Центральное место в изучении представлений о прошлом людей разных культур и эпох (в том числе в аспекте «массового потребления» исторического наследия²¹) должна занять концепция базового уровня исторического сознания, формирующегося в процессе социализации индивида, как в первичных общностях, так и национальными системами школьного образования²². Ведь в отличие от литературных рассказов о жизни людей в прошлом, на которых стоит «клеймо вымысленности», рассказы на уроках истории как будто бы несут на себе бремя подлинности: информация, которую ребенка приучают упорядочивать, записывать, адекватно воспроизводить на уроках истории, предположительно «заверена ответственными лицами» и печатью – «все это, действительно, так и происходило». На основе закладываемых в сознание информационных блоков впоследствии создаются социально-дифференцированные и политизированные интерпретации²³.

Наряду с отмеченными направлениями исследований в области истории исторической культуры представляется весьма перспективным новый взгляд на историю исторической науки. Под влиянием «лингвистического поворота» и конкретных работ большой группы «новых интеллектуальных историков» история историографии неизмеримо расширила свою проблематику и отвела центральное место изучению дискурсивной практики историка. Но это лишь один из векторов изменений, которые имеют комплексный характер, и вписываются в «критический поворот», некогда объявленный редакцией «Анналов». Промежуточные итоги этого «поворота» сформулировал Морис Эмар: «Прежняя наука постепенно уступает место иной истории, истории, критичной по отношению к самой себе, истории задающей как вопросом о конструировании своего предмета, так и вопросам о своих концепциях, о своих методах, которые она применяет и которые ей необходимо осмыслить в исторических категориях, а не соотнося их с другими дисциплинами, в которых история могла бы заимствовать более строгие, чем ее собственные, методы, и этим довольствоваться»²⁴.

Важное место в обновленной истории историографии занимает интенсивный микроанализ, будь то анализ конкретного текста или ситуации, отдельной творческой личности или межличностных отношений в интеллектуальной среде. Персонализированный, или биографический, подход является традиционно приоритетным в истории мысли и науки, не говоря уже об истории художественного творчества, с учетом роли личностного начала в этих областях человеческой активности. Речь идет, таким образом, о совмещении традиций социально-интеллектуальной и персональной истории в особом предметном поле, которое можно условно определить как *историю историографии в человеческом измерении*.

Во всяком обществе и при любом политическом устройстве существует глубокая, тесная и неискоренимая зависимость историков от современной эпохи. Однако историк погружен не только в современную общекультурную среду, но и в более узкую профессиональную культуру, которая имеет собственные традиции, несмотря на регулярно повторяющиеся в историографии самоназвания направлений, в конструировании которых главным является слово «новая»²⁵. Именно в связи с этим постоянно возникает необходимость всестороннего анализа и четкого определения того комплекса установок, который, собственно, и создает *новое качество*. И это, безусловно, касается не только задач и методов исторического познания, но и самого способа *историописания*.

Те вопросы, которые каждое поколение историков ставит перед прошлым, неизбежно отражают интересы, проблемы и тревоги этого поколения. Под воздействием внешних импульсов и в результате осмысления событий и проблем своего времени историкам неизбежно приходится пересматривать взрастившую их историографическую традицию, опыт и знания, накопленные предшественниками, менять перспективу своего видения прошлого, искать новые пути и методы его познания. Вот почему так необходимо рассматривать изменения в

проблематике исторических исследований, развитие и смену научных концепций, подходов, интерпретаций в контексте личных судеб и общественных процессов, сквозь призму индивидуального и профессионального восприятия как социально-политических и идеологических коллизий, так и интеллектуальных вызовов эпохи. В связи с этим особое значение приобретает вопрос о соотношении в историографии (и в социально-гуманитарном знании в целом) научной объективности и идеологических пристрастий.

Политическая ориентация, социальная позиция, иерархия ценностей так или иначе находят выражение в интеллектуальном творчестве обществоведа, гуманитария, историка. И это необходимо изучать. Однако существует своеобразный корпоративный «кодекс чести», а также отчетливо выраженные и воспроизводимые в процессе профессиональной подготовки дисциплинарные нормы и критерии достоверности, которые позволяют выявить фальсификацию, используя критический аппарат традиционной и современной историографии против нового «мифостроительства». Изучение корпоративно-профессиональных норм – это еще одна важная задача современной истории истории.

Настало также время для формирования нового направления исторической критики, все дальше уходящего от описания и инвентаризации исторических концепций, направлений и школ к анализу, главным предметом которого становятся не только *результаты* профессиональной деятельности и *методы* исторического познания, но *профессиональная культура в целом*, отражающая качественные перемены в исследовательском сознании, в творческой и коммуникативной практике (формах общения) историков и в самом способе *историописания*. В поле зрения новой исторической критики включаются не только результаты профессиональной деятельности историка, но вся его творческая лаборатория, исследовательская психология и практика, и в целом – культура творчества историка.

Новые направления современной историографии, усвоившие уроки «постмодернистского вызова» доказывают свою состоятельность, дав нам реальную возможность глубже понять те процессы, которые определяли развитие исторического знания и исторической науки в тот или иной период ее истории, выявить их новые измерения в более широких интеллектуальных и культурных контекстах.

Рассматривая историю историографии (исторического знания) как интеллектуальную историю, можно говорить о трех различных уровнях ее изучения, которые в той или иной мере соответствуют таким основным направлениям обновленной методологии интеллектуальной истории, как история интеллектуальной жизни, история ментальностей и история ценностных ориентаций. Вместе с тем, разрабатывая подобный полномасштабный историко-историографический проект в рамках современной интеллектуальной истории, необходимо учитывать взаимосвязанность всех его составляющих, в том числе и относительно традиционных, сформированных в предметных полях

дисциплинарной истории, проблемно-тематической историографии и истории исторической мысли.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02.740.11.0350.

² Ankersmit F. R. *The Reality Effect in the Writing of History. The Dynamics of Historiographical Topology*. Amsterdam, 1989.

³ См., например: Beloff M. *An Historian in the Twentieth Century: Chapters in Intellectual Autobiography*. New Haven; L., 1992; *Essais d'ego-histoire* (Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot, Rene Remond) / Re-unis et presentes par Pierre Nora. Paris, 1987.

⁴ Из накопившегося огромного фонда интервью выдающихся историков нашего времени позволю себе отметить лишь несколько: Интервью с Рейнхардом Козеллеком / А. Б. Соколов // *Диалог со временем*. 2005. Вып. 15. С. 326-340; Интервью с Хейденом Уайтом / А. Б. Соколов // *Диалог со временем*. 2005. Вып. 14. С. 335-346; Интервью с Г.-У. Велером о «билефельдской школе» и ее представителях / А. А. Турыгин // *Диалог со временем*. 2008. Вып. 24. С.290-303; Фрагменты нематериального наследия Джованни Леви / Norberto Zuniga Mendoza // *Диалог со временем*. 2009. Вып. 27. С. 385-391; Канинская Г. Н. Историк об историческом знании и о себе. Интервью с директором Центра истории Института политических наук Парижа профессором Ж.-Ф. Сиринелли // *Диалог со временем*. 2010. Вып. 30. С. 291-304.

⁵ Приведу только два интереснейших примера такого рода исследований. Один из них обнаруживается в книге, посвященной истории китайской историографии, авторы которой, существенно расширив традиционные рамки историографического анализа, обратились к изучению «политики и форм производства истории», включая публикацию канонических текстов, сохранение архивных материалов, создание образовательных программ и т.п. См.: *The Politics of Historical Production in Late Qing and Republican China* / Ed. by Tze-ki Hon and Robert Culp. Leiden, 2007. Второй – в книге о долговременном развитии многообразных институтов сотворения, сохранения и трансмиссии знания – от античных библиотек до Интернета: McNeely I., Wolverton L. *Reinventing Knowledge. From Alexandria to Internet*. N.Y., 2008.

⁶ Определение и детальный анализ понятия, а также опыт его применения см.: Алеврас Н. Н. Что такое «историографический быт»? Из опыта разработки и внедрения историографической дефиниции // *Историческая наука сегодня...* С. 516-534.

⁷ Ведущую роль в этом направлении в отечественной историографии играет школа, созданная В. П. Корзун в Омском государственном университете. В издаваемом этим коллективом ежегоднике «Мир историка» публикуются труды ученых, объединяющих свои усилия в развитии подобного рода исследований, из разных университетов и научных центров страны. Определяющей интенцией является стремление «вернуть» в историю исторической науки «человека» – ученого, творца, мыслителя, показать историю науки как процесс, как деятельность «живых людей»: См.: *Мир историка*. Вып. 1-7. Омск, 2005-2011.

⁸ Начало ему положила известная монография Х. Уайта: Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. См. критику этой концепции Г. Иггерсом и ответ Х. Уайта: Иггерс, Георг. История между наукой и литературой: размышления по поводу историографического подхода Хейдена Уайта // Одиссей – 2001. М., 2001. С. 140-154. Уайт Х. Ответ Иггерсу // Там же. С. 155-161.

⁹ «Пионером» такого рода исследований в отношении историографии XX века выступил Филипп Каррард, предпринявший фронтальный анализ исторического дискурса школы «Анналов»: Carrard, Philippe. Poetics of the New History: French Discourse from Braudel to Chartier. Baltimore; L., 1992.

¹⁰ Гуревич А. Я. «Территория историка» // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 81-109. (С. 108).

¹¹ См., например: Dewald, Jonathan. Lost Worlds: The Emergence of French Social History, 1815–1970. University Park (PA), 2006.

¹² Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 6.

¹³ Рикер П. Историописание и репрезентация прошлого. С. 23, 29.

¹⁴ Там же. С. 36.

¹⁵ Там же. С. 41.

¹⁶ Средневековая историография, как и средневековая литература в целом, привлекает особое внимание американских историков постмодернистской ориентации и их оппонентов с обеих сторон Атлантики.

¹⁷ Spiegel G. Romancing the Past: The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth-Century France. Berkeley etc., 1993; Geary P. Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millenium. Princeton, 1994; Lifshitz F. The Norman Conquest of Pious Neustria. Toronto, 1995; Wolf K. B. Making History: The Normans and Their Historians in Eleventh-Century Italy. Philadelphia, 1995; etc. Этот подход был впервые реализован в книге: Partner, Nancy. Serious Entertainments: The Writing of History in Twelfth-Century England. Chicago, 1977. См. также: Writing Medieval History / Ed. by N. Partner. L., 2005.

¹⁸ Spiegel G. Romancing the Past... P. 10. См. также: Spiegel G. The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval Historiography. Baltimore, 1997. Аналогичный синтетический подход применяется и к изучению историографии раннего Нового времени. См., например: Grafton, Anthony. What was History? The Art of History in Early Modern Europe. Cambridge, 2007. См. также: Struever N. The History of Rhetoric and the Rhetoric of History. Farnham, 2009.

¹⁹ См., прежде всего: Phillips, Mark Salber. Society and Sentiment: the Genres of Historical Writing in Britain 1740–1820. Princeton, 2000; Idem. Relocating Inwardness: Historical Distance and the Transition from Enlightenment to Romantic Historiography // The Modern Historiography Reader: Western Sources / Ed. by A. Budd. Abingdon, 2009. P. 106-117. Ср.: Uglow, Nathan. The Historian's Two Bodies: The Reception of Historical Texts in France, 1701–1790. Aldershot, 2001.

²⁰ 18-th International Congress of Historical Sciences. 27 August – September 1995. Proceedings. Montreal, 1995. P. 177-179.

²¹ Анализ этой проблемы см.: Groot, J. de. Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. N.Y., 2009.

²² Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992. Подробнее об этом см. ниже, гл. 11.

²³ Претензия на правдивость и достоверность сообщает историческому нарративу особую функцию в формировании исторического сознания детей и взрослых. Steedman С. La theorie qui n'en est pas une, or why Clio doesn't care // History and Theory. Beiheft 31. 1992. P. 36-37.

²⁴ Эмар М. «Анналы» – XXI век // Одиссей. Человек в истории. 2005. М., 2005. С. 135.

²⁵ Понятие новизны активно применяется в обозначении историографических направлений на протяжении всего XX века. Как, правило, речь идет о самоназваниях. В первой четверти XX века в США историки, выступавшие с критикой идиографизма, создали школу «новой истории» (“new history”). Середина XX века отмечена борьбой «школы Анналов» против традиционной историографии за междисциплинарную методологию *nouvelle histoire*, и это движение в 1970–1980-е годы приобрело практически универсальный характер в западной исторической науке. В последней трети XX столетия «новые истории» появлялись в отдельных сегментах дисциплинарного предметного поля каждую пятилетку. См. также: Савицкий Е. Е. «Откуда ждать нового?» О понятиях новизны в историографии // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной конференции. М., 2008. С. 241-243.

И. Н. Ионов

(Институт всеобщей истории РАН, г. Москва)

ГЛОБАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАК ФОРМА КОНСТРУИРОВАНИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОШЛОГО

Последние годы показали, что в развитии глобальной истории наступил принципиально новый этап. Если в 1990–2000 гг. создавались все новые *проекты* этого направления исследований, судьба которых была неопределенной, то в 2006–2010 гг. началось масштабное осмысление *реальных изменений* историографической ситуации, во многом определяемых развитием глобальной истории за последние 50–60 лет. Инициатором этого движения стал крупнейший историограф Георг Иггерс, который возглавил коллектив, создавший «Глобальную историю современной историографии»¹. Содержание этой книги созвучно с представлениями Б. Г. Могильницкого об *историографической революции* и *новой исторической науке* конца XX – начала XXI в., конкретизированными Л. П. Репиной².

Однако книга Г. Иггерса и Э. Вана, написанная при содействии С. Мукерджи, охватывает гораздо более широкий круг проблем, описывая, в частности, влияние на историческое знание различных идеологических направлений (например, левых постколониальных и миросистемных теорий) и отдельных философских течений (постмодернизма как основы лингвистического поворота), которые рассматриваются как важные факторы формирования профессионального исторического знания, наравне со школами консенсуса в США или «Анналов» во Франции³. Современная историография анализируется как феномен эпохи глобализации, совокупных усилий представителей основных цивилизаций: западной (в том числе российской), китайской, арабо-мусульманской, индийской и, уже в XX в., африканской. При этом Иггерс и Ван стремятся отделить частные историософские, идеологические и националистические подходы от конечного продукта, касающегося дисциплинарных норм исторического знания. Той же тенденции следуют авторы, анализирующие смежные области: изучение проблем глобальности (*Globality*) в рамках исторической социологии и постколониальную историографию⁴.

Наиболее интересными составляющими этого подведения итогов являются 1) реорганизация пантеона героев историографической революции, прежде всего в области современной мировой истории, которая заложила основы глобальной истории, а также 2) оценка качественного своеобразия вновь создавшейся познавательной ситуации, характеристика тех историографических явлений, которые 3) утратили свое значение или 4) выходят на первый план в историческом знании.

В списке провозвестников глобальной и современной мировой истории, возглавляемом О. Шпенглером и А. Дж. Тойнби, прочно утвердился историк У. Мак-Нил. Подтверждена ключевая роль его книги «Восхождение Запада. История человеческого сообщества» (1963), в которой, по мнению Ю. Остерхаммеля, обозначился «эмпирический поворот» в мировой истории, ее отход от историософских схем и супертеорий, общенаучных фантазий. Он первым среди исследователей цивилизаций стал соблюдать дисциплинарные правила исторического знания. У него проявился также отказ от *эссенциалистского* описания цивилизаций как особого рода социальных сущностей ради *ситуативного* описания цивилизаций как изменяющихся форм глобального взаимодействия людей. Но вместе с тем, в отличие от Остерхаммеля, который впервые сформулировал эти положения, и лишь вскользь упоминал об игнорировании Мак-Нилом «страданий побежденных»⁵, Иггерс сделал упор на недостатках концепции Мак-Нила, который писал историю цивилизаций как «историю победителей», «историю сверху», в чем сам позднее признавался⁶.

Фигурой, связывающей пионерские усилия Мак-Нила и современную историческую науку, выступает среди прочих американский антрополог Э. Вульф, который в книге «Европа и народы без истории» (1982), создал проект *глобальной культурной истории*, сделал образ глобального взаимодействия более или менее симметричным, включив в него образы народов, лишенных западной историографией и антропологией не только собственной, независимой от Запада истории, но и подлинного имени («индейцев», «негров», «первобытные» и «традиционные» культуры) и раскрыл их роль в процессе модернизации⁷. Это позволяет Иггерсу поставить Вульфа в один ряд с признанными классиками миросистемного подхода А. Г. Франком и И. Валлерстайном. Отмечая, что их неомарксистские взгляды стали утрачивать авторитет вместе с кризисом марксизма и теории модернизации в 1990-е гг., Иггерс подчеркивает, что они сумели выжить, изменив формы их репрезентации⁸.

Эта частная, вроде бы, поправка к списку основоположников во многом изменяет взгляд на ключевые процессы в историографии второй половины XX в. вообще и на понимание глобальной истории в частности. Образ глобальности лишается строго структурированного характера, который он имел у Валлерстайна и Франка, а также иерархичности, как неотъемлемой части теорий зависимости, периферийности и недоразвитости. Для Вульфа антиисторический структуралистский детерминизм, механистический системный подход были предметом критики, реакциями на догматический марксизм. В его собствен-

ной схеме многолинейной социальной эволюции объектом анализа являются не элементы (*elements-in-relation*), а социальные отношения. Элементы становятся лишь функцией отношений (*elements-of-relation*). Внимание Вульфа направлено не на образы обществ как целостных «самоподдерживающихся систем» типа организмов (он считает их результатом реификации концептов), а, прежде всего, на образы «плюральных обществ», порожденных целой цепью сложных связей и взаимодействий⁹. Тем самым Вульф делает еще один шаг вперед по сравнению с Мак-Нилом, который впервые обратил внимание на взаимодействия цивилизаций как объект исторического анализа. У Вульфа образ взаимодействия отчасти *поглощает* образы общества, культуры, цивилизации. Последнее понятие присутствует в его словаре в весьма специфической форме: «цивилизации как зоны взаимодействий»¹⁰.

Иггерс меняет наше представление и о конфигурации антропологического поворота, который обычно рассматривается в связи с *деконструкцией* исторических метанарративов и становлением истории ментальностей и микроистории как стратегий «возвращения к человеку». У Вульфа образ антропологического поворота связан скорее с активностью антропологов и этноисторией, а также *конструированием* таких познавательных моделей, которые акцентируют внимание на *межсистемных* и *внутрисистемных* отношениях. Пространство «между системами» становится основным предметом его внимания, полем, на котором человек создает «множественные и ветвящиеся социальные проекции», а понятия, отражающие «сущность» и «логику истории», приобретают множественное число. В его эволюционной схеме появляется множество ситуативных, случайных, зависящих от обстоятельств (*contingent*) колониализмов, модернизаций, индустриальных революций¹¹. Подобный подход был освоен Ш. Айзенштадтом на десятилетия позже и развит не столь последовательно¹². В результате примитивная вестернизаторская теория модернизации 1950-х гг. У. Ростоу и Т. Парсонса, против которой выступал уже Валлерстайн, оказалась подорванной в самих своих основаниях.

Понятна связь идей Э. Вульфа и постмодернизма. Он, как и Ж. Деррида, считал, что «имеет место не единая история, общая история, но истории различные по своим типам, своим ритмам, своим модусам вписания, истории смещенные, дифференцированные <...> не сводимые к реальности какой-то всеобщей истории»¹³. Он, как и Ж. Делез, предпочитал фиксирование не глубинных «сущностей», а моментов становления, беспорядочных (*rough-and-tumble*) поверхностных взаимодействий, в которых сосуществуют разные гетерогенные смыслы, и в процессе которых создаются новые смыслы. Вульф возражал против деградации описания такой творческой дезинтеграции, множественности и гетерогенности к простым дихотомиям (варварство – цивилизация, Запад – Восток, традиционное – современное, ядро – периферия, метрополия – колония). Это заставляло его предпочитать стратегию денотации или номинации стратегиям манифестации и сигнификации (он не переносил общие понятия, имеющие большее отношение к называемому, чем

к называемому)¹⁴. Можно назвать это понятийной (или интеллектуальной) микроисторией.

Но вместе с тем Вульф искал истину и никак не меньше. Он не согласен с Ж. Лиотаром в его неприятии метанарративов. И в этом он сближается с позднесоветскими представителями творческого марксизма, такими как М. Барг и М. Гефтер, которые пытались строить исторические теории на основе вероятностных, часто уникальных моделей межформационного и внутрiformационного взаимодействия, «пестроты и неравномерности» включения различных регионов в данную формацию, производственно-технических и социально-культурных «разрывов» между ними, «перепада» исторических потенциалов, прежде всего в рамках теории многоукладности. Барг и Вульф критиковали М. Вебера по сходным поводам – за склонность к (само) манифестации, за стремление к выделению чистых форм там, где они видели исторически значимые качественно различные или смешанные феномены¹⁵. Благодаря этим аналогиям утрата связи между творческим марксизмом и глобальной историей только сейчас может быть осознана как реальная потеря.

Важнейший аспект, который отметил Иггерс в наследии Мак-Нила и Вульфа, – это распространение на мировую и глобальную историю традиции «истории снизу», опиравшейся на изучение истории эксплуатируемых классов и народов. Тем самым произошло вытеснение на периферию исторического знания национальной «истории сверху», составлявшей основу всеобщей истории XIX в., а также истории локальных цивилизаций, которую П. Мэннинг отнес к «традиционному» направлению современной мировой истории. В центр проблематики глобальной истории Иггерс поставил историю взаимодействий в мире, которая не обязательно включает образ Запада, не предполагает наличие определенной теории исторического развития, зачастую отрицает метанарратив как наследие западного империализма. Дж. Бентли, например, изучает широкомасштабные миграции и экономические флуктуации, кросс-культурный трансфер технологий, распространение инфекционных заболеваний, мировую торговлю, распространение религиозных верований, идей, идеалов. Мэннинг обозначил также возникновение нового направления мировой истории, которое он назвал «научно-гуманитарным» (*scientific cultural*) и связал с освоением неархивных источников и методов эволюционной биологии, экологии, палеонтологии, археологии и химии¹⁶.

Задача реисторизации прошлого народов Азии, Африки и Америки, которую поставил себе Вульф, во многом совпадала с проблематикой постколониальной критики и особенно второго поколения субалтерных исследований (например, Д. Чакрабартти). Это преодоление деисторизации образа не-Запада, периферизация образа Европы и конкретизация роли ее контрагентов в мире Востока и колониальном мире. Вульф одним из первых, раньше Р. Робертсона и А. Франка, поставил вопрос о том, что причина индустриальной революции – это «привилегия отсталости» агрессивной периферийной Европы, которая сумела оседлать процесс глобализации с центром в Азии. Даже применительно

к XIX в. Вульф видел источник стабильности британской системы свободной торговли (и мирового рынка вообще) не в мощи свободного рынка или индустриальной революции, а в использовании англичанами богатств Индии. «Азия в целом, но Индия и Китай в особенности далеко не были периферийными в эволюции международной экономики того времени, – писал Вульф, – они на деле имели решающее значение»¹⁷.

Вне зависимости от основоположника постколониальной критики Э. Саида, Вульф понимал стратегию реификации как часть колониального дискурса господства («в результате имена становятся вещами, а вещи <...> становятся военными целями»), а линейно-стадиальные схемы – как антитезу научного познания («теория <модернизации> эффективно предотвращала серьезное изучение проблем, очевидно волновавших реальный мир»), как часть мифотворческой схемы всеобщей истории¹⁸. Это заставляет задуматься над переоценкой роли в современной историографии и особенно в формировании глобальной истории постколониальной критики, которая обычно рассматривается как феномен филологического знания.

Особенностью эволюции современной глобальной истории является то, что существенно трансформируя методологию исторического знания, она вместе с тем не вытесняет полностью старые подходы, *не создает новой парадигмы*. Иггерс пытается объяснить это, соотнося *глобальную историю* как таковую, замкнутую на анализ конкретных культурных взаимодействий, тесно связанную с постмодернизмом, не признающую метанарративов и методологий (и равно отрицающую марксизм и антимарксистскую теорию модернизации, примером чего являются «Журнал мировой истории» с 1990 г. и «Журнал глобальной истории» с 2006 г.), и *историю глобализации*, неразрывную с образом Запада, в которой остаются возможными метанарратив, теория модернизации в более сложном ее понимании и даже идеал империализма, а понятия структуры и развития, связь с социальными науками представляются ключевыми элементами¹⁹. В результате идеал исторического синтеза, предложенный школой «Анналов», не реализуется. Можно сказать, что так проявляется роль постмодернизма с его стремлением к творческому разнообразию, гетерогенности и дезинтеграции. По признанию Иггерса, общее в разных направлениях глобальной истории – лишь постановка под вопрос центральной роли национального государства. В остальном она крайне разнообразна. Компромиссом закончилась критика объективности исторического знания в результате лингвистического и культурного поворотов. Возникло убеждение, что хотя «историография 1990-х гг. значительно отличается от предыдущей, надо избегать иллюзии <...> что <...> <критики последней> имеют окончательные ответы. Историография является *постоянным диалогом* [курсив мой. – И. И.], обновляющим свои перспективы, которые обогащают понимание прошлого, но которые сами замещаются новыми перспективами»²⁰.

Этот диалог является весьма многогранным. Он отражает сущность современной глобальной истории, которую Л. П. Репина связывает со спецификой

«перекрестных», «переплетенных» или «связанных» (entangled, connected) историй, приходящих на место традиционной компаративистике и предпочитающих изучение синхронных срезов, «отдающих приоритет изучению динамики межкультурных интеракций (как между разными обществами, странами, регионами, так и между интеллектуальными традициями и научными дисциплинами)»²¹. Таким образом, речь может идти как о диалоге взаимодополнительных теоретических подходов, так и о диалоге различных традиций исторической памяти, создающих множественные, соотнесенные, мультиперспективистские картины прошлого. В пределе эту ситуацию можно определить как проект «диалогического историзма», все онтологические и эпистемологические постулаты которого ограничиваются возможностью, наличием и активным проявлением иных познавательных перспектив. В рамках постмодернистских взглядов, например, в традиции Ж. Делеза, такую ситуацию можно рассматривать как взаимодействие изучения исторических явлений «во внутренней глубине» и «на поверхности», соответственно – в их протяженном бытии и сиюминутном становлении, с точки зрения сходящихся серий, приводящих к тождеству противоположностей (локальные цивилизации), и с точки зрения расходящихся серий, приводящих к резонансам несоизмеримостей (исторические казусы). Пределы этой ситуации философ связывал с исчезновением Бога, мира и личности, но внутри нее открывается масса возможностей для наращивания знания²².

Особенностью современной познавательной ситуации в историческом знании является то, что она прямо дистанцируется от сферы пределов и горизонтов, столь любимой постмодернистами 1960–1970-х гг. Глобальная история как познавательное пространство эпохи глобализации неизбежно предполагает диалог (в частности, диалог цивилизаций), а значит, нетерпимо к крайностям. Поэтому можно говорить, как П. Рикер, о логике двойного смысла как основе герменевтического круга или, как Ж. Делез, о двоении смысла в момент смыслопорождения²³. Подобным образом глобальная история (в том числе как история цивилизаций) и история глобализации (в том числе ее локальных казусов) в понимании Иггерса не воплощают в себе крайности метафизики и строгой исторической дисциплинарности. Скорее метафизика проявляет себя в каждой из них *по-разному*. Глобальная история изучает казусы взаимодействий культур, опираясь при этом на традицию истории локальных цивилизаций с ее метафизикой (У. Мак-Нил – Дж. Бентли). История глобализации изучает современные глобализационные процессы, опираясь на теорию модернизации и ее критику (У. Росту – А. Г. Франк).

Подобным же образом, как «связанные» или «переплетенные», можно рассматривать соотнесенные образы мира, созданные глобальной историей, в которой больше интереса к бытию и «глубине», и постколониальной критикой, в которой больше интереса к становлению, столкновениям, гибридности и метисности. Принципиальной в данном случае является неразрывность этих образов или концептов. Только в паре они мешают друг другу приобрести

крайние формы, которые известны и у глобальной истории (империализм), и у постколониальной критики (экстремальный локализм, сосредоточенность на локальности общин-«фрагментов»). Поэтому так важно избегать ситуаций, провоцирующих «разъятие» связанных историй. Удвоение образов глобализирующегося мира создает не только ситуацию конкуренции, но и ситуацию *проблематизации*, приближающую нас к истине, если верить критическому рационализму К. Поппера²⁴.

Примечания

¹ Iggers G., Wang Q. E., Mukherjee S. A Global History of Modern Historiography. L. ; N. Y., 2008.

² Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века : в 3 вып. Вып. III. Историографическая революция. Томск, 2008; Репина Л. П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии. М., 2008. С. 13–22.

³ Iggers G., Wang Q. E., Mukherjee S. Op. cit. P. 281–295, 301–306.

⁴ Schäfer W. Reconfiguring Area Studies for the Global Age // Globality Studies Journ. : Global History, Society, Civilization. 2010. № 22, december 22; Majumdar R. Writing Post-colonial History. L., 2010.

⁵ Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalstaat. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001. S. 176–178.

⁶ Iggers G., Wang Q. E., Mukherjee S. Op. cit. P. 380–388. Особенно резко звучит критика Мак-Нила у В. Шефера, который наиболее четко разделяет мировую и глобальную историю, представляя Мак-Нила последовательным империалистом и универсалистом. Schäfer W. Op. cit. P. 5–7.

⁷ Wolf E. Europe and the People without History. Berkeley, 1982. P. X, 4, 8, 13.

⁸ Iggers G., Wang Q. E., Mukherjee S. Op. cit. P. 390–391.

⁹ Wolf E. Op. cit. P. 3, 77, 379–380, 391, 401–402, 425.

¹⁰ Ibid. P. 82–83.

¹¹ Ibid. P. 76, 387, 401–425.

¹² Eisenstadt S. N. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129, № 1.

¹³ Wolf E. Op. cit. P. 21; Деррида Ж. Позиции. Беседы с Анри Ронсом, Юлией Кристевой, Жаном-Луи Удбином, Ги Скарпетта. М., 2007. С. 70–71.

¹⁴ Wolf E. Op. cit. P. 4–7, 12–13, 297, 379, 387; Делез Ж. Логика смысла // Делез Ж. Логика смысла. Фуко М. *Theatrum Philosophicum*. М. ; Екатеринбург, 1998. С. 16–42, 234, 340.

¹⁵ Барг М. А. : 1) «Идеальные типы» Макса Вебера и категория «классическое» в марксистском историзме // *Вопр. философии*. 1986. № 7. С. 77–94; 2) Категория «развитие» в историческом исследовании : (Опыт системного анализа) // *История СССР*. 1986. № 1. С. 100–111; Wolf E. Op. cit. P. 76, 85, 297–298.

¹⁶ Manning P. Navigating World History : Historians Create a Global Past. N. Y., 2003. P. 36; Iggers G., Wang Q. E., Mukherjee S. Op. cit. P. 388–391.

¹⁷ Wolf E. Op. cit. P. 204, 260, 267, 296; Robertson, R. Glocalization : Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity // *Global Modernities*. L., 1995. P. 26–27.

¹⁸ Wolf E. Op. cit. P. 5, 7, 13.

¹⁹ Iggers G., Wang Q. E., Mukherjee S. Op. cit. P. 367, 379, 390.

²⁰ Ibid. P. 367–368, 379.

²¹ Репина, Л. П. Указ. соч. С. 21.

²² Делез Ж. Указ. соч. С. 20–21, 232–234.

²³ Абулмагд А. К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Преодолевая барьеры : (Диалог между цивилизациями) / под ред. С. П. Капицы. М., 2002. С. 56–59, 63–76, 90–95, 115; Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002; Делез Ж. Указ. соч. С. 15.

²⁴ Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. М., 2008.

И. В. Нарский
(Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск)

**ВОЗВРАЩЕНИЕ АВТОРА: ПРИГЛАШЕНИЕ
К «ЛИРИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ», ИЛИ ОБ ОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ИСТОРИОПИСАНИИ**

Весной 2010 г. в Берне у меня состоялся мимолетный разговор с тамошним профессором истории Мариной Каттаруцца. По стечению обстоятельств я в течение последних лет прочел ряд докладов перед бернскими историками, и все темы моих выступлений так или иначе сопровождалась демонстративно-провокационной проблематизацией своего собственного автобиографического материала, собственного жизненного и исследовательского опыта. После одного из таких докладов М. Каттаруцца поинтересовалась, не приходила ли мне в голову мысль – раз уж я работаю в столь необычном, по ее мнению, стиле – написать теоретическую статью, объясняющую и обосновывающую мой подход. Нет, такая мысль меня не посещала. Этот обмен репликами и стал непосредственным импульсом к написанию данной статьи.

Однако было и другое обстоятельство, которое заставило меня, исследователя-практика, обратиться к теоретизированию по теме. Пару лет назад мною была издана книга¹, вызвавшая большое количество (преимущественно неофициальных) реакций, полученных мною от читателей, что заставило меня постфактум интенсивно размышлять о специфической стилистике уже изданного труда и особенностях его рецепции. Не в последнюю очередь – потому, что в читательской аудитории книга вызвала трудности с определением ее жанра². Она оценивается как отмеченное «парадоксальностью жанра» «историческое исследование, хотя и особого рода» (И. Кукулин), как «экспериментальная книга» (С. С. Секиринский, Э. Кон), напоминающая «различные жанры литературы нон-фикшн» (Г. А. Янковская), а также как воспоминания, исповедь, художественная проза³ и даже «готовый киносценарий».

В допустимости постулировать наличие в современном гуманитарном и социальном знании тренда к формированию «лирической» науки меня укрепило наблюдение Д. Хапаевой о «возникновении новой тенденции, свидетель-

ствующей о переходе от социальных наук к постнаучному состоянию, к новой форме интеллектуального творчества. Возможно, так рождается интеллектуальное письмо, чья правдивость не сводится ни к выяснению того, как “было на самом деле”, ни к неукоснительному следованию правилам Вульгаты социальных наук. Одной из его особенностей может стать способность наделить прошлое и настоящее смыслом сквозь призму современного политического и художественного восприятия, другой – возникновение “лирического героя”, “я-рассказчика” интеллектуального письма, способность же раскрыть интеллектуальную или событийную интригу вытеснит страсть к отражению “объективной реальности”⁴. Не разделяя центральный тезис работ Д. Хапаевой о логически допустимой смерти науки, я счел ее наблюдения о появлении в научных трудах «лирического героя» удачной отправной точкой для собственных размышлений о перспективах и познавательном потенциале «лирической историографии». Имеется в виду *методико-стилевая тенденция культурной истории к пересмотру статуса историка-исследователя, теоретически легитимная с позиций философской герменевтики и практически реализуемая через репрезентацию в тексте фигуры активного автора-«лирического героя»*.

Методико-стилевая тенденция культурной истории

Итак, речь пойдет о далеко не новой проблеме, над которой гуманитарный и социологический цехи бьются с момента своего возникновения, – а именно о том, «что делают, когда занимаются наукой»⁵, а конкретнее – о поле свободы исследователя, о границах его «ремесла», о роли субъективности, привносимой им в работу во имя достижения «объективности». Если еще сузить и заострить проблему, можно сформулировать ее следующим образом: действительно ли субъективность вредит занятию наукой, и нет ли возможности извлечь из нее пользу для научного творчества?

В процитированном выше тексте Д. Хапаева на уровне логической возможности постулирует рождение постнаучного интеллектуального письма, опираясь на ряд общих наблюдений над некоторыми особенностями творчества А. Эткинды, О. Проскурина и А. Зорина. Среди объединяющих их «странностей» она обнаруживает, что все они теоретически обосновывают свои подходы формальной отсылкой к авторитетам, по ее мнению, сданным в архив интеллектуальной истории – таким как К. Гирц и Х. Уайт. На этом основании возникает предположение о том, что названные российские новаторы тем самым фактически дистанцируются от принадлежности к какой-либо ограничивающей их свободу научной школе и являются своего рода одиночками-бунтарями, безрезультатно претендующими на принадлежность к академическому сообществу.

Между тем, (пере)открытие названных имен, равно как и М. Бахтина, М. Фуко, П. Бурдьё, Н. Элиаса и др., за рамками их узкой дисциплинарной принадлежности, например историками, массированно происходило преимущественно в 1980–2000-е гг. под воздействием бесчисленных «поворотов» последнего полувека в международной гуманитаристике – «лингвистического»,

«культурного», «когнитивного», «нарратологического», «эпистемологического», «антропологического», «визуального», «эмоционального», «детского» и пр.⁶ В центре внимания возникших под их влиянием многочисленных направлений историографии – микроистории, истории повседневности, опыта, памяти, эмоций, культуры, новой персональной, интеллектуальной истории и др., в дальнейшем обобщенно именуемых культурной историей, оказались восприятие и поведение исторических акторов, в том числе ранее безымянных и бессловесных. Показательно, что культурная история включила в свои генеалогии громкие имена теоретиков от Ф. Ницше до П. Бурдьё⁷, а в круг непосредственных предшественников – именно тех, чьи идеи, по мнению Д. Хапаевой, принадлежат интеллектуальному архиву. Таким образом, теоретическая тактика препарирования ею героев теряет предполагаемую исключительность, по крайней мере, за пределами российского гуманитарного цеха. Скорее можно говорить об их включенности в относительно долгую и успешную международную интеллектуальную традицию. И именно в этой традиции много внимания уделяется исследовательской рефлексии, в том числе по вопросам о языках научного описания и возможностях их литературизации и фикционализации.

Однако прежде чем обратиться к культурно-историческим позициям по поводу функций познающего субъекта, необходимо сказать несколько слов о контексте возникновения культурной истории. К внутренним факторам, обусловившим ее рождение, следует в первую очередь отнести растущую неудовлетворенность историков познавательным потенциалом классических политической и социальной истории, не дававших права голоса так называемым «маленьким людям», которые до этого фигурировали в качестве немых статистов «великой» истории или безымянных членов абстрактных коллективов. В качестве внешних в отношении исторической науки влияний можно с уверенностью назвать «культурный поворот» в других гуманитарных науках, за которым скрывался «культурный поворот» в обществах последней трети XX в., а именно мировоззренческие подвижки современного человека: «Люди уже не столь легковверны в отношении божьего ока или мирового духа; становится труднее почувствовать себя на месте господ и анализировать общественные проблемы сверху, как вопросы порядка, господства и интеграции. Мы в большей степени начинаем интересоваться самими собой, происхождением собственных условий жизни, поведения, образцами толкования и возможностями действий»⁸. Смена перспектив создала невероятно благоприятную конъюнктуру для новых направлений историографии, породив, помимо прочего, феномен исторического чтения как варианта бегства от действительности и средства приятного досуга. Процессы «историзации общества» (Ж. Ревель) и становления культурной истории шли рука об руку, поддерживая и укрепляя друг друга.

...к пересмотру статуса историка-исследователя...

Одна из претензий поборников культурной истории к политическим и социальным историкам состояла в том, что те низвели работу исследователя к поис-

ку свидетельств и фиксации почерпнутого из источников материала, т. е. к добросовестному пересказу содержащихся в них фактов. Сторонники культурной истории видели свою научную задачу не только в поиске, но и в распутывании следов, в разгадывании улик и в расшифровке примет, т. е. в интерпретации остатков прошлого, в конструировании истории⁹. Реабилитация творческих задач историка неизбежно повлекла за собой размышления о взаимоотношениях и взаимодействиях по линиям «историк-источник», «историк-текст», «текст-читатель»: «...поскольку исследователь культурно-исторической ориентации не восстанавливает или отображает, а конструирует прошедшую реальность, он должен осознавать наличие “зазоров” между “объективной реальностью” (если признать существование таковой), ее восприятием ее современниками, ее отражением в источниках, ее чтением и толкованием историком и читателем его трудов. <...> эта рефлексия историка по поводу своей исследовательской практики порождает особую этику и эстетику культурной истории. Наряду с уважительным отношением к своим героям из прошлого, с которыми историк ведет равноправный диалог без примесей патерналистской назидательности, это проявляется во внимании к читателю через придание научному тексту литературных достоинств и введение в него не только изложения научных результатов, но и самого процесса исследования, включая описание использованных подходов»¹⁰.

Совершенно очевидно, что в отношении недавнего прошлого, будь то история детства второй половины XX в. или Холодной войны, проблема рефлексии историка резко повышается, поскольку он сам оказывается частью той культуры и традиции, которую изучает. Точнее, объект исследования прямо или опосредованно является частью индивидуальной биографии исследователя. Вариант стратегии, эффективной в работе с еще не «остывшим» прошлым, предлагает поборница постклассической социологии Н. Н. Козлова: «Не следует ли стремиться писать тексты, учитывая собственную включенность в процесс, то есть в ту историю, которую сам изучаешь? Твой взгляд – взгляд участника. Это прожектор, высвечивающий отдельные места. Направление света определяется познавательным интересом пишущего (пишущей), но и жизненным опытом, принадлежностью к поколению, позицией в социально-историческом пространстве»¹¹. Как видим, поборники новых (качественных) методов в истории и социологии сходятся в отстаивании активного автора-участника, своего рода «лирического героя», сознательно инструментализирующего собственный вненаучный опыт и вступающего в диалог со своими историческими персонажами и потенциальными читателями.

...теоретически легитимная с позиций философской герменевтики...

Строго говоря, с проблемой субъективности научной деятельности историк сталкивается постоянно, а не исключительно в отношении исследования «текущей» или недавно протекавшей истории: «Как бы мы ни старались избежать предрассудков, связанных с цветом кожи, убеждениями, классом или гендером,

мы не сможем избежать рассмотрения прошлого с особой точки зрения»¹², – справедливо заметил английский историк П. Берк. Однако можно ли справиться с этим недостатком? Да и недостаток ли это?

Современная эпистемология не верит в достижимость историками (как впрочем, и представителями других наук) абсолютной объективности, или «взгляда ниоткуда», с позиции «божественного нейтралитета», именно потому, что ученый отягощен культурными стереотипами своей эпохи, своего общества и собственной корпорации¹³. «Если нет постоянной рефлексии, исследователь легко занимает позицию абсолютного наблюдателя, того, кто смотрит на сцену социального театра из царской ложи, с исторически безопасного расстояния. И не важно, в какой области знания он работает, какие методы использует»¹⁴.

Среди различных видов объективности американский эпистемолог А. Мегилл выделяет так называемую «диалектическую объективность», состоящую в сложном взаимодействии исследователя с конструируемым им объектом исследования, которое не исключает субъективность, а опирается на нее как на необходимую познавательную силу. На теоретическом уровне этот подход наиболее убедительно осмыслен немецкими философами XX в. Э. Кассирером и Х.-Г. Гадамером.

Показательно что, Э. Кассирер видел смысл и цель историографии в самопознании: «Историческая наука – это не познание внешних фактов или событий, она – форма самопознания <...> Но историческое Я – не индивидуальное Я. <...> Позволяя нам постичь многообразие человеческого бытия, оно освобождает нас от искажений и предубеждений. Такое обогащение и расширение Я, нашего знания и нашего чувственного Я <...> является целью исторического познания»¹⁵.

Разделяя это видение познания, создатель философской герменевтики Х.-Г. Гадамер систематически обосновал, что любой исследователь не в состоянии избавиться от своих донаучных знаний, обозначенных им как «предубеждения», но именно они-то и позволяют установить диалог с источником (и его автором), позволяя узнать и объект изучения, и самого себя. Важно ясно видеть собственные «предубеждения» и их происхождение, чтобы не представлять их себе в виде абсолютной истины, в столкновении со следами прошлого высокомерно проходя мимо всего, что этой истине не соответствует: «Подлинно историческое мышление должно осознавать и собственную историчность. Только в этом случае оно не будет гоняться за призраком исторического объекта, который является предметом продвигающегося исследования, а сможет научиться познавать в объекте Иное Своего и тем самым – и то, и другое. Подлинный исторический предмет – не предмет, а единство Своего и Другого, соотношение, в котором заключается и правда истории, и правда исторического сознания»¹⁶. Таким образом, субъективность исследователя прошлого может превратиться из недостатка, с которым ведется тщетная борьба, в плодотворный инструмент познания.

...и практически реализуемая через репрезентацию в тексте фигуры активного автора-«лирического героя»

Конечно, универсального рецепта гарантированного успеха применения авторской субъективности для пользы научного дела не существует. Однако можно попытаться сформулировать несколько практических подсказок-советов, полезных для работы в направлении «лирической историографии», апробированных историками и получивших читательский успех.

Во-первых, усилия «историка-лирика» в конечном итоге направляются не на достижение «абсолютной объективности» или раскрытие того, «как было на самом деле», а на достижение эффекта реальности, наглядности и даже осязаемости, «ощущения подлинности воскрешенного прошлого»¹⁷. Создание эффекта реальности, входящее в круг важнейших задач художественного творчества, сближает труд литератора и историка. Подобно романисту, «историк-лирик» стремится «добиться от читателя сопереживания, “задействовать” органы чувств, в том числе “внутреннее зрение” <...> даже обоняние»¹⁸.

Однако задача историка, добивающегося эффекта подлинности описываемого прошлого, не сводится к пользованию языком, «понятным и за пределами научных языковых игр»¹⁹. Эффект реальности для историка недостижим без умения работать с источником: «Конечно, “эффекты реальности” историка зависят не только от его стиля, от его владения пером. Скорее, он должен настолько хорошо знать источники и эпоху, в которой живет его герой, чтобы быть в состоянии с помощью “подходящего демонтажа” освободить из источника и разговорить ключевые “эффекты реальности”. Проще говоря, он должен быть в состоянии отшелушить эти источники и вытащить на поверхность то, что представляется убедительной исторической действительностью»²⁰.

Это не означает, однако, что историку заказана дорога к авторскому вымыслу. Фикция представляется святотатством в отношении научной истины тем историкам, которые понимают язык исключительно как средство документирования событий прошлого. Однако если понимать изложение истории как часть процесса осмысления былого, использование фикции перестает быть операцией, недопустимой для историка. Более того, авторская фантазия может усилить эффект подлинности рассказываемой истории. В этом нетрудно убедиться, почитав, например, как А. Корбен «дописывает» исторические документы, создавая художественную биографию башмачника²¹, или как Н. З. Дэвис вступает в виртуальный диалог с героинями своей книги²².

Достижение эффекта подлинности может быть достигнуто и прямо противоположным способом – плотной презентацией читателю больших документальных фрагментов. Высоко оценивая такую авторскую стратегию, основатель истории повседневности в Германии А. Людтке пишет: «Здесь уважение к “вещам” перемешано с попыткой поставить под вопрос наивысший авторитет исследователя или писателя: уважаемый читатель, уважаемая читательница, создай себе собственную картину из этого материала, попытайся сделать такую реконструкцию, которая тебе кажется убедительной!»²³

Из перечисленных выше стратегий достижения эффекта реальности вытекает второе правило «лирической историографии» – уважение автора к читателю, ориентация на диалог с ним и на пробуждение читательского интереса. Наряду с художественной живостью языка этому способствуют, например, такие стратегии, как применение разнообразных форм изложения и создание на их основе мозаик и коллажей, допускающих нелинейное чтение текста²⁴; допуск в исследовательскую лабораторию путем включения в текст автобиографических размышлений и полевых дневников, привычного для антропологических исследований, но крайне редко встречающегося в исторических трудах; наконец, лихо закрученный сюжет с интригой, содержащей событийную, логическую или интеллектуальную загадку²⁵: «Отсутствием интриги обычно и скучны “научные тексты”. <...> Интрига способствует превращению текста в квазилитературный, изменяя его жанр по сравнению с дискурсом социальных наук»²⁶.

Со стратегиями создания «интересности» текста связано третье правило постулируемой «лирической историографии» – создание мультиперспективного исследования, репрезентирующего многоголосие, комбинирующего несколько перспектив, из которых рассказывается история. Характерно, что этот подход, активно практиковавшийся еще первыми поколениями «анналистов», в последнее время получает теоретическое обоснование и вынужденное программное звучание. Так, авторы программы «перекрестной истории» (*Histoire croisée*) как творческого развития транснациональной, трансферной, соединенной (*connected*) и разделенной (*shared*) истории рассматривают свое детище как «историю проблем, которая включает и собственную работу историка»²⁷. В качестве интересующих их «перекрестков» рассматриваются, во-первых, переплетения объектов, во-вторых, множественность аналитических измерений и, в-третьих, столкновение исследователя с объектами, аналитическими категориями и самим собой как познающим субъектом²⁸.

Такая стратегия отказа от абсолютизации перспективы исследователя, глядящего на прошлое «из царской ложи» или «божественного всевидения», позволяет одновременно решить как минимум две задачи: во-первых, отказаться от позиции исторического превосходства и нравоучительной назидательности по отношению к историческим акторам, ориентируясь, скорее, на установление с ними равноправного диалога²⁹; во-вторых – создать относительно надежный инструментарий исследовательской саморефлексии и контроля над собственными познавательными процедурами³⁰.

Наиболее радикальным из недавних примеров комбинирования историком перекрестного рассмотрения (биографического) прошлого представляется мне иллюстрированный роман У. Эко³¹, в котором одна и та же история рассказывается из двух перспектив – человека, который в результате болезни утратил автобиографическую память и пытается восстановить ее, роаясь в старых вещах на дедушкином чердаке (совершенно в духе «уликовой парадигмы» К. Гинзбурга), а затем – из вернувшейся к нему памяти после впадения в кому. То есть

история конструируется дважды из прямо противоположных и невозможных для историка перспектив – человека без памяти и памяти без человека.

Подведем итоги: итак, принципиальной установкой «лирической историографии» могло бы стать наличие в тексте фигуры активного автора – не бесстрастного арбитра, а заинтересованного участника исторического процесса, создающего эффект реальности и одновременно раскрывающего технологию его создания, провоцирующего читателя на сопереживание и дискуссию, словом – обнажающего и использующего свой личный опыт в контролируемом исследовательском процессе и изложении его результатов.

Вряд ли этот подход, нуждающийся в дальнейшей детализации и проработке и ставящий перед исследователем весьма непростые задачи, получит в научном цехе широкое признание и применение. Но рискнуть можно. По предположению А. Людтке, «большинство текстов, которые пытаются однозначно определить действительность как верную или ошибочную, невосприимчиво к опасным и трогательным измерениям»³². Как мне представляется, «лирическая историография» могла бы преодолеть этот дефект, а контролируемая субъективность историка – стать не только эффективным, но и эффективным орудием в исследовательском арсенале.

Примечания

¹ Нарский И. В. Фотокарточка на память : семейные истории, фотографические послания и советское детство : (Автобио-историо-графический роман). Челябинск, 2008. 516 с.

² В дальнейшем я опираюсь на вышедшие рецензии (Кукулин И. Фотографическое печенье «мадлен» // Новое лит. обозрение. 2008. № 4 (92). С. 211–224; Секиринский С. С. Западный контекст, российская почва, личность историка // Отечеств. история. 2008. № 6. С. 161–163; Янковская Г. А. Анти-Хаксли, или Миссия выполнима // Диалог со временем. 2009. Вып. 28. С. 335–341; Cohn E. Narskii I. V. Fotokartochka na pamiat' : Semeinye istorii, fotograficheskie poslaniia i sovetskoe detstvo : (Avtobio-istorio-graficheskii roman). Cheliabinsk : Entsiklopedia, 2008. 515 p. // RR. 2009. № 9. P. 720–721), а также на частную корреспонденцию. Имена авторов цитируемых в тексте частных писем не приводятся.

³ В 2008 г. книга вошла в шорт-лист литературной премии Андрея Белого в номинации «Проза».

⁴ Хапаева Д. Поход за именами // Критич. масса. 2005. № 1. URL : <http://magazines.russ.ru/km/2005/1/gu14.html> (12.06.2011). Я признателен Ю. Ю. Хмелевской, обратившей мое внимание на эту статью.

⁵ Bourdieu P. Soziologische Fragen. Frankfurt/M., 1993. S. 79.

⁶ См., напр.: Зверева Г. И. Роль познавательных «поворотов» второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры // Выбор метода : изучение культуры в России 1990-х годов. М., 2001. С. 11–12.

⁷ Подробнее см.: Daniel U. Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schluesselwoerter. Frankfurt/M., 2001; Burke P. What is Cultural History? Cambridge, 2004; Ровный Б. И. Введение в культурную историю. Челябинск, 2005.

⁸ Niethammer L. (Hg.) *Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der "oral history"*. Frankfurt/M., 1980.

⁹ Вероятно, не случайно автором статьи «Приметы», вызвавшей в международном сообществе историков широкий резонанс, стал основатель микроистории К. Гинзбург. См.: Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К. Мифы–эмблемы–приметы : морфология и история. М., 2004. С. 189–241.

¹⁰ Ровный Б. И. Введение в культурную историю. С. 10–11.

¹¹ Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005. С. 18.

¹² Цит. по: Ровный Б. И. Введение в культурную историю. С. 33.

¹³ Подробнее см.: Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 358–391.

¹⁴ Козлова Н. Н. Советские люди. С. 15.

¹⁵ Cassierer E. *Versuch ueber den Menschen. Einfuehrung in eine Philosophie der Kultur*. Hamburg, 1996. S. 291, 292.

¹⁶ Gadamer H.-G. *Wahrheit und Methode. Grundzuege einer philosophischen Hermeneutik*. 6. Aufl. Tuebingen, 1990. S. 305.

¹⁷ Козлова Н. Н. Советские люди. С. 18.

¹⁸ Соколов А. Б. Текст, образ, интерпретация : визуальный поворот в современной западной историографии // Очевидная история : (Проблемы визуальной истории России XX столетия). Челябинск, 2008. С. 13.

¹⁹ Daniel U. *Kompendium Kulturgeschichte*. S. 19. Цит. по: Ровный Б. И. Введение в культурную историю. С. 55.

²⁰ Le Goff J. *Ludwig der Heilige*. Stuttgart, 2000. S. 6.

²¹ См.: Corbin A. *Auf den Spuren eines Unbekannten. Ein Historiker rekonstruiert ein ganz gewoehnliches Leben*. Frankfurt/M ; N. Y., 1999.

²² Дэвис Н. З. *Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века*. М., 1999.

²³ Людтке А. *История повседневности в Германии : (Новые подходы к изучению труда, войны и власти)*. М., 2010. С. 82.

²⁴ Например, в книге «Фотокарточка на память» (см. сноску 1) сознательно создана стилевая разноголосица сквозных тематических линий книги («Дневник исследователя», «Фотографическая тема», «Детские воспоминания», «Семейные истории» и др.), позволяющих читать текст с любого места.

²⁵ Наличием центрального секрета отличаются, например, работы классиков культурной истории К. Гинзбурга, Н. З. Дэвис, Р. Дарнтон, Р. Шартье и др.

²⁶ Хапаева Д. *Поход за именами...* URL : <http://magazines.russ.ru/km/2005/1/gu14.html> (12.06.2011).

²⁷ Werner M., Zimmermann B. *Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen* // *Geschichte und Gesellschaft*. 2002, Bd. 28. S. 617; см. также франко- и англоязычные версии: Werner M., Zimmermann B. *De la comparaison à l'histoire croisée* // *Seuil (Le Genre humain 42)*. Paris, 2004. P. 15–49; Werner M., Zimmermann B. *Beyond Comparison. Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity* // *History and Theory*. Band 45, 2006. P. 30–50.

²⁸ Werner M., Zimmermann B. *Vergleich, Transfer, Verflechtung*. S. 619–627.

²⁹ Такую позицию избрал, например, К. Гинзбург, считающий своим заказчиком не книгоиздательство, а представленных в его исследовании людей. См.: Ровный Б. И. Введение в культурную историю... С. 202.

³⁰ Мне пришлось практиковать подобный подход, например, пытаясь увидеть историю русской революции из трех перспектив – «Взгляда из профессионального "дале-

ка»», «Взгляда из опасной близости» и «Взгляда изнутри» (см.: Жизнь в катастрофе : (Будни населения Урала в 1917–1922 гг.). М., 2001), или параллельно рассматривая историю 1960-х глазами ребенка и выросшего из него историка (См.: Фотокарточка на память...).

³¹ Эко У. Таинственное пламя царицы Лоаны : иллюстр. роман. СПб., 2008. Я благодарен П. Б. Уварову, познакомившему меня с этой книгой.

³² Людтке А. История повседневности в Германии... С. 83.

Н. А. Коновалова, О. В. Метель
(Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
г. Омск)

***МЫСЛИТЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИ»:
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЦЕЛОСТНОМ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ЗНАНИИ¹***

Развитие современной отечественной историографии характеризуется многообразием исследовательских подходов и практик, которые, в целом, могут быть сведены к двум основным моделям построения историографического исследования: историография как история идей и историография как история научных сообществ². В первом случае исследователь акцентирует внимание на результатах научного творчества историка, прослеживая развитие теорий и концепций во времени, во втором – на фигуре ученого и обстоятельствах его жизненного пути, оказавших влияние на его профессиональную деятельность.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что наибольшую популярность среди современных отечественных историографов приобрела именно вторая модель, открывающая «антропологическое измерение» историографического процесса, что, безусловно, связано с целым комплексом причин, на которых стоит остановиться особо. Во-первых, большую роль сыграл кризис марксистского историописания, в рамках которого историография выполняла скорее вспомогательную функцию, являясь «могущественным помощником для определения реального положения в науке по той или иной теме»³. Несмотря на имевшие место размышления о необходимости включения в историографический анализ фигуры самого историка, изучения присущих ему философских и политических воззрений⁴, в центре внимания исследователей оставалась все-таки концепция как продукт научного творчества автора⁵. Вместе с тем, возникшая с конца 1980-х гг. необходимость осмысления марксистского наследия, в том числе и в историографии, поставила вопрос об изучении скрытых механизмов развития отечественной исторической науки, когда важным стало понимание роли отдельных историков в формировании тех или иных идей, что, в свою очередь, способствовало росту интереса к биоисториографии⁶. Во-

вторых, сказанное укладывается в общий кризис структуралистской парадигмы, развернувшийся на Западе еще в конце 1960–1970-х гг., когда проблема человека вновь стала актуальной среди специалистов различного профиля, в том числе и науковедов⁷.

Не умаляя значения данной модели, стоит подчеркнуть, что ее абсолютизация чревата размыванием объекта и его полным растворением в субъекте, что, по словам Л. А. Марковой, напрямую связано с всплеском эмпирических исследований, авторы которых стремятся изучать лишь мелкие факты из жизни того или иного ученого, отказываясь от каких бы то ни было генерализаций⁸. Мы согласны с невозможностью существования в современной историографической практике «grand récit»⁹, однако не разбиваем ли мы историографию на осколки, теряя общее видение предмета за отдельными мелкими фактами, связанными преимущественно с личной жизнью ученых?

Думается, что, выстраивая свое исследование в рамках второй модели, историографы оставляют без внимания ряд важных моментов, требующих специального анализа. Деятельность интеллектуалов (к которым мы относим и историков), направленная на получение *истины*, получает выражение в производстве *текстов*, что позволяет «трансцендировать, т. е. выходить за пределы сиюминутного настоящего»¹⁰. Следовательно, получая законченное выражение в форме *текста*, историческая концепция *объективируется*, претендуя на дальнейшее самостоятельное существование в отдельном пространстве или в «третьем мире» в терминологии К. Поппера¹¹, подвергаясь множественным интерпретациям, не зависящим от смысла, изначально вложенного творцом. Причем, мы считаем возможным согласиться с К. Поппером, утверждавшим, что «... его [третьего мира] воздействие на любого из нас, даже на самых оригинальных творческих мыслителей, в значительной степени превосходит воздействие, которое любой из нас может оказать на него»¹². Более того, сам процесс научного творчества напоминает «черный ящик», расшифровать который весьма непросто: мы сталкиваемся с трудностью раскрытия механизмов рождения научной гипотезы¹³, даже в полной мере обладая материалами личного происхождения, в которых представлены авторские размышления относительно обстоятельств своей профессиональной деятельности¹⁴. Причем процедура деконструкции, ставшая столь популярной в отечественной историографии, не кажется нам панацеей, способной устранить все противоречия, в первую очередь в силу своей методологической неопределенности¹⁵.

Внимание к личности историка оправдано тогда, когда мы говорим об «историографическом казусе», о своего рода первопроходцах в историческом знании, сродни которым в отечественной исторической науке фигуры В. Н. Татищева и Н. М. Карамзина. В случае же, когда речь идет о постепенной «индустриализации научного мышления»¹⁶, о трансформации науки из сферы, куда вступают избранные, в массовое производство историков и, соответственно, текстов («большая наука»), стоит задуматься о выявлении сложного механизма производства *текстов*, среди которых, заметим, лишь часть является оригина-

нальными, остальные же пишутся по определенному шаблону, представляющему собой сложносоставную мыслительную кальку, которую всё чаще обозначают понятием 'стратегия'.

О стратегиях говорят и исследователи, возводящие на пьедестал автора текста как гения, создавшего текст, и постмодернисты, «убившие» автора. Первые трактуют стратегию как «исследовательскую»¹⁷ или «познавательную», вторые – в большей степени как повествовательную. Познавательная стратегия исторического исследования – это многоуровневая программа исследования, применяемая исследователем для изучения выбранного объекта, в основе которой лежат теоретико-методологические основания: философские основания науки, научная картина мира, идеалы и нормы исследования¹⁸, пропущенные через индивидуальный опыт. Повествовательная же стратегия не обращает внимание ни на содержательные характеристики объекта, ни на особенности познающего субъекта, концентрируя внимание лишь на историческом повествовании как на построенном по определенным правилам рассказе об объекте. Когда мы говорим о повествовательной стратегии, нас не интересуют категории истинности, ложности, «соотнесения с фактами», так как они не оказывают никакого влияния ни на сюжет, ни на структуру исторического повествования¹⁹. Так, для М. Фуко стратегия есть «определенная организация концептов, некоторых группировок объектов, типов высказываний, в результате которой формируются, в соответствии со степенью их связанности, строгие устойчивости, определенные темы или теории»²⁰.

Столь разные взгляды антропологического и постмодернистского подходов в историографии, на наш взгляд, можно разрешить с помощью концептов. Это хорошо демонстрирует Ю. Е. Прохоров, выделяя элементы в составе концепта, отражающие влияние на него как познавательной, так и повествовательных стратегий²¹. Для удобства восприятия мы их разделили на блоки:

Первый блок элементов отражает черты *познавательной стратегии* в исследовательском концепте. Это «изначальное», которое содержит в себе некоторые основополагающие глобальные принципы отражения мироустройства. Иначе говоря, это влияние на концепт философских оснований существующего в определенную эпоху мировоззрения. И «вторичное изначальное» – содержит в себе некоторые основополагающие глобальные принципы, определяющие бытие человека в этом мироустройстве. Это отражение в концепте научной картины мира. *Второй блок* включает в концепт элементы, определяющие *выбор конкретного историка*: «детерминированное», которое определяется реальностью этого отражения мироустройства для его определённой части (религиозной, исторической, географической, гендерной, национальной, социальной, корпоративной и т. п.) и «вторично детерминированное», которое определяется спецификой человеческого бытия в данной части отражения мироустройства. *Третий блок* отсылает нас к *повествовательной стратегии* историка: к «означенному», которое фиксируется спецификой семиотических моделей хранения и трансляции данной части отражения мироустройства (особенности научного

стиля) и «вторично означенному», которое фиксируется спецификой реализации семиотических моделей человеческого бытия в данной части отражения мироустройства – это специфика выбранного историком нарратива или, иначе говоря, повествовательной стратегии. *Четвертый блок* отражает мобильность (движение) концепта в научной дисциплине, которая может обеспечиваться как через личные связи (дискуссии, связь «учитель-ученик»), так и безличные (интертекстуальность). Эти элементы в рамках концепта Ю. Е. Прохоров обозначил как «именованное», которое конвенционально *номинарует* систему описания данной части отражения мироустройства (концепт в его первоначальном варианте), и «вторично именованное», которое конвенционально *обеспечивает* вербальное человеческое общение в данной части отражения мироустройства – в этом случае имеется в виду концепт в его последующем функционировании.

Таким образом, концепт научного исторического текста выступает в роли ядра, стягивающего вокруг себя все уровни историографического анализа, что дает надежду на казавшуюся ранее призрачной целостность историографического знания.

Примечания

¹ Работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям, государственный контракт 02.740.11.0350.

² Подобная мысль в той или иной форме была высказана отечественными историками. См., напр.: Ерофеев Н. А. К вопросу о предмете и задачах историографии // Методологические и теоретические проблемы исторической науки : межвуз. темат. сб. / под ред. М. В. Нечкиной. Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1980. С. 6; Крих С. Б. М. И. Ростовцев и М. Финли : два типа ученого // Мир историка : историограф. сб. / под ред. Г. К. Садретдинова, В. П. Корзун. Вып. 2. Омск : ОмГУ, 2006. С. 6; Камынин В. Д. Теоретические проблемы историографии как научной и учебной дисциплины на рубеже XX–XXI столетий // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 3. С. 54; Свешников А. В. Петербургская школа медиевистов начала XX в. Попытка антропологического анализа научного сообщества. Омск : ОмГУ, 2010. С. 31 и др.

³ Вступительное слово председателя научного совета по проблеме «История исторической науки» академика М. В. Нечкиной // История и историки. 1979 : историограф. ежегодник. М. : Наука, 1982. С. 250.

⁴ См., напр.: Нечкина М. В. История истории (некоторые методологические вопросы истории исторической науки) // История и историки : сб. ст. М. : Наука, 1965. С. 12.

⁵ Интересны очерки советского периода о тех или иных авторах, когда главное внимание (даже исходя из названия) оставалось приковано к концепции, а биография выполняла роль вспомогательного элемента. См.: Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М. : Наука, 1974; Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение Р. Ю. Виппера и его время. М. : МГУ, 1976; Данилова А. П. Р. Ю. Виппер как историк античности // Вестн. древ. истории. 1984. № 1. С. 160–174.

⁶ См., напр.: Портреты историков : (Время и судьбы) : в 2 т. М. : Университ. кн. ; Иерусалим : Gesharim, 2000 и др.

⁷ Подробнее о данных процессах см.: Копосов Н. Е. Почему стареет Клио? // Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М. : Новое лит. обозрение, 2005. С. 120–141.

- ⁸ Маркова Л. А. Томас Кун вчера и сегодня // *Философия науки*. 2004. Вып. 10. С. 46.
- ⁹ Осознание распада метанарративов в историографии пришло еще в советский период, получив выражение в представлении о «невозможности крупных обобщающих исследовательских трудов». См.: Ерофеев Н. А. Указ. соч. С. 9.
- ¹⁰ Коллинз Р. Социология философии. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск : Сиб. хронограф, 2002. С. 75.
- ¹¹ Поппер К. Эпистемология без познающего субъекта // Поппер К. *Логика и рост научного знания. Избранные работы / сост., общ. ред. и вступ. ст. В. Н. Садовского*. М. : Прогресс, 1983. С. 440.
- ¹² Поппер К. Указ. соч. С. 489.
- ¹³ Аллахвердян А. Г., Мошкова Г. Ю., Юревич А. В., Ярошевский М. Г. *Психология науки : учеб. пособие*. М. : Моск. психол.-соц. ин-т : Флинта, 1998. С. 68–78.
- ¹⁴ Подобная особенность, связанная с возникновением сложностей при толковании действий человека как «извне», так и «изнутри», была отмечена еще М. Вебером. См.: Вебер М. *Критические исследования в области логики наук о культуре // Вебер М. Избранные произведения / сост., общ. ред. Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко*. М. : Прогресс, 1990. С. 476–478.
- ¹⁵ О деконструкции в ее «авторском прочтении» см.: Деррида Ж. *О грамματοлогии*. М. : Ad Marginam, 2000.
- ¹⁶ Румянцева М. Ф. *Историография в историческом исследовании и в образовательной практике // Доклады XXII международной научной конференции «Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин» (Москва, ИАИ РГГУ, 28–30 янв. 2010 г.)* URL : <http://vestnik.rsuh.ru/article.html?id=252671>.
- ¹⁷ Репина Л. П. *Стратегии и исследовательские модели современной исторической науки // Проблемы методологии и источниковедения в историческом исследовании*. Самара : Самар. гуманитар. акад., 2011.
- ¹⁸ Степин В. С. *Основания науки и социокультурная размерность // Наука в культуре / под ред. В. Н. Поруса*. М., 1998. С. 67.
- ¹⁹ Кизюков С. *Типы и структура исторического повествования*. М. : Мануфактура, 2000. С. 34–36.
- ²⁰ Фуко М. *Археология знания*. Киев, 1996. С. 65.
- ²¹ Прохоров Ю. Е. *В поисках концепта*. М. : Флинта : Наука, 2008. С. 46.

В. И. Меньковский
(Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь)

СОВЕТОЛОГИЯ КАК АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА (В ЗАЩИТУ СОВЕТОЛОГИИ)

В современном российском политическом дискурсе понятие ‘советология’ приобрело политизированное значение и используется для обозначения дисциплины, обслуживающей нужды правительств западных стран и враждебно настроенной по отношению к России. К примеру, В. В. Путин, выступая в Колумбийском университете 26 сентября 2003 г., призвал упразднить советологию, имея в виду науку, служившую «инструментом, чтобы нанести друг другу как можно больше ударов, уколов и всяческого вреда»¹. Д. А. Медведев в октябре 2008 г. на проходившей во французском городе Эвиане международной конференции заявил, что «советология, как параноя – очень опасная болезнь» и «жаль, что ею по сей день страдает часть администрации США»².

Распад Советского Союза вызвал кризис советологии, дисциплины, занимавшейся исследованием стран коммунистического блока. После исчезновения СССР как стратегического противника Запада встал вопрос о целесообразности продолжения масштабного изучения региона. В англо-американской академической среде развернулись дискуссии о дальнейшей судьбе советологии. Одновременно начался процесс становления современного руссведения, его вживание в научную и образовательную системы западных стран.

Термин ‘советология’ получил широкое распространение в англоязычной историографии в 1960-е гг. Оксфордский словарь отмечает его первое употребление в лондонском еженедельнике «Наблюдатель» (*Observer*) 3 января 1958 г., хотя он был использован еще раньше, в 1956 г., во франкоязычной литературе. А сама концепция использования термина сформировалась в среде русских интеллектуалов-эмигрантов в США и Западной Европе, вынужденных покинуть Родину после российской революции и Гражданской войны³.

В академических кругах термин поначалу был воспринят достаточно осторожно. На рубеже 1950–1960-х гг., как писал Д. Армстронг, «основатели аме-

риканского изучения СССР все еще отвергали определение “советология”, отдавая предпочтение более банальному “изучению российского региона”⁴. А. Улам отмечал в середине 1960-х гг., что «“советология” – ужасное слово, но как можно его не использовать?»⁵. К такой позиции был близок и С. Коэн, для которого «советология – неэлегантное, но полезное слово»⁶. М. Малиа описывал советологию как «академическую дисциплину, известную сначала под скромным определением “изучение региона”, а затем под более амбициозным и научно звучащим понятием “советология”»⁷.

В русскоязычной историографии понятие ‘советология’ используется с 1960-х гг., хотя в трудах различных авторов встречаются неоднозначные варианты его трактовки и перевода. Например, Б. Марушкин употреблял термины ‘советоведение’, ‘советовед’, а Р. Редлих писал о ‘большевизмоведении’⁸. Е. Петров определял советологию как «совокупность западных наук, изучающих советское общество во всем его многообразии и конкретности»⁹. Автор отмечал, что в XX в. среди наук политического плана возникла, окрепла и обрела самостоятельность в мировом научном сообществе такая отрасль междисциплинарных исследований, как «советология», хотя ее название столь условно, поскольку другим она более знакома как «советоведение» или «кремленология». В литературе можно встретить самые разные и порой взаимоисключающие попытки ее наименования как «марксологии» либо «россиеведения»¹⁰. Он считал, что «русским вопросом» в США занималось множество нетрадиционных дисциплин от славистики и советологии до марксологии и кремленологии, но наиболее синтетической из них на протяжении столь долгих лет оставалась и остается «россиеведение». «Вопрос о ее релевантности (соответствия решаемых задач общественным потребностям) еще неоднократно будет дискутироваться в академических кругах. Ограничимся констатацией факта – россиеведческая элита Запада по праву доказала, что она существует и с ее мнением нужно считаться»¹¹.

Авторы справочника «Американские советологи» подчеркивали, что, устанавливая принципы отбора персоналий, составители с самого начала столкнулись с трудностями, вызванными отсутствием как в марксистской, так и в самой американской буржуазной литературе точных критериев определения понятия ‘советология’. Расширительное толкование этого понятия допускало отнесение к советологам всех исследователей, кто в той или иной мере занимался изучением СССР и других социалистических стран, мирового коммунистического движения. При наиболее узком толковании круг советологов ограничивался теми, кто специализировался только по Советскому Союзу. Среди 273 персоналий, представленных в справочнике, – представители гуманитарных дисциплин, занимавшиеся изучением истории, экономики, политического строя, социальной структуры, идеологии и культуры, внешней политики и международных связей социалистических государств¹².

В англо-американской историографии термин ‘советология’ имеет различное толкование. Многие авторы ограничивали советологию современностью (текущими событиями) при всей неопределенности того, что мы считаем современно-

стью. Некоторые включали в нее весь период советской истории или даже расширяли временные рамки, начиная с российской истории XIX в., особенно тех ее аспектов, которые оказали серьезное влияние на дальнейший ход исторического развития. Например, так поступил В. Лакер в книге «Несбывшаяся мечта»¹³.

Р. Такер писал, что он решительно не любит слово ‘советология’ и пользуется им в исключительных случаях. Он предпочитал термин ‘русоведение’, хотя имел в виду масштаб всего государства. ‘Советология’, по его мнению, ограничивала изучение истории лишь советским временем, отрывая от нее весь дооктябрьский период. Он настаивал на другой точке зрения: нужно смотреть на советский период в рамках более глубокого изучения истории страны. «Когда я вернулся из России (это было в 1953 г.) и пришел в свой родной Гарвард, там работал профессор Карпович – эмигрант, преподававший русскую историю, и мне студенты сказали, что когда он дошел до конца курса, до периода революции в России, он объявил, что тут русская история и кончилась. Мне захотелось с ним поговорить о моих впечатлениях – ведь я провел в СССР девять лет. Он принял меня очень любезно и слушал целый час. Когда я заговорил о Сталине, о том, что при нем были возрождены многие прежние порядки, я заметил, что он улыбнулся. Я понял: он говорит мне “до свидания”. Для него Россия после революции – уже другая страна, а для меня это не так»¹⁴.

Основное внимание советология концентрировала на политической ситуации в странах за «железным занавесом». В зависимости от взглядов авторов это могли быть Советский Союз, страны «советского блока» в Восточной Европе, а также все «коммунистические» или «советского типа» государства мира. Серьезные разночтения связаны и с классификацией советологии как академической дисциплины. Во многих исследованиях она признавалась субдисциплиной политологии, имеющей дело с изучением советской политики. Работы специалистов в других дисциплинах – истории, экономике, социологии – относились к советологии в той степени, в какой они имеют точки соприкосновения с политологией. Так, А. Мотыль определял советологию как «изучение советской внутренней политики политологами и, в определенных случаях, историками»¹⁵. С. Козн отмечал истоки такой позиции: «В период становления советологии история и политология были практически неразделимыми дисциплинами в “советских исследованиях”. Политологи подготовили большинство стандартных работ по советской истории, а большинство политологических трудов было написано с использованием методологии исторической науки»¹⁶.

С точки зрения Д. Нелсона, продвижение от советологии – изучения региона к советологии – социальной дисциплине произошло на рубеже 1960–1970-х гг., когда англо-американские исследователи постепенно отказались от представления о коммунистическом мире как о чем-то монолитном и неизменном и стали использовать эмпирические подходы, применяемые при изучении западного общества¹⁷.

Взгляд на советологию как на определенную академическую дисциплину (или субдисциплину) разделялся далеко не всеми англо-американскими иссле-

дователями. В среде специалистов прочно существовало также отношение к советологии как к сумме субдисциплин нескольких (обычно точно не определяемых) дисциплин в социальных или, реже, гуманитарных науках, объединенных общим объектом исследования – Советским Союзом. М. Малиа, описывая историю западной советологии, замечал, что в рамках исследования «будут охвачены четыре основные общественно-научные дисциплины: экономика, политология, социология и их общий предок – история»¹⁸.

Иногда, как отмечалось выше, географические рамки расширялись до определенного «коммунистического региона». Например, британский журнал «Советские исследования» (*Soviet Studies*) – современные «Европейско-Азиатские исследования» (*Europe-Asia Studies*) – принял именно такую территориальную трактовку советологии. Журнал фокусировался, и до сих пор фокусируется, на «странах "бывшего коммунистического блока" Советского Союза, Восточной Европы и Азии»¹⁹. Но такой подход не встречал широкой поддержки в силу очевидного нарушения границ применяемого термина. Отношение к советологии как к изучению определенного региона, конечно, при соблюдении разумных границ этого региона, представляется наиболее рациональным. Именно по такому пути пошли создатели центров российских и советских исследований в англо-американском сообществе. При этом нужно отметить, как справедливо подчеркивал А. Анджер, что «советология отличалась от, например, египтологии или подобных дисциплин тем, что не занималась изучением определенной цивилизации как единого целого»²⁰. Общий интерес к определенному региону представителей различных научных дисциплин не стирал различий между ними. Социологи, экономисты, историки, изучавшие Советский Союз, работали в рамках своей специальности, а не некой супердисциплины, состоящей из нескольких.

Для многих англо-американских специалистов советология была междисциплинарной сферой с широким спектром обществоведческих и гуманитарных наук. Так, С. Коэн определил в качестве главных интеллектуальных составляющих советологии историю и политологию, но предусматривал и включение других дисциплин. В своей резко критической оценке англо-американской советологии исследователь выражал сожаление, что основанная первоначально на идее междисциплинарного изучения региона советология под негативным влиянием тоталитарной школы совершила ошибку самоограничения, заменив изучение реальной истории и политики изучением режима. По его мнению, для выполнения задачи реального изучения советского общества советология должна обратить большее внимание на социальную историю и политическую социологию²¹. Похожую точку зрения высказала в середине 1980-х гг. и Ш. Фицпатрик, заявив, что советология наполнилась более глубоким содержанием в 1970-е гг., когда новая когорта социальных историков бросила вызов гегемонии политологов, хотя и была готова все еще ставить «старые советологические вопросы о политической системе»²².

Попытки определить точный перечень дисциплин, входящих в междисциплинарную советологию, предпринимались, но специалисты не смогли прийти

к единому мнению. Сказалась трудность определения дисциплинарных параметров при изучении любого региона, к которым добавились специфические проблемы терминологии советской истории. Р. Такер предлагал для советологии очень простую формулировку – ‘изучение СССР’²³, несмотря на то, что в таком варианте исчезал период 1917–1922 гг. как предмет исследования. Тем не менее, именно такое понимание закреплено в «Оксфордском словаре», который определяет советологию как «изучение и анализ явлений и событий, происходящих в СССР». Поэтому вполне можно согласиться с той точкой зрения, которая видит в советологах «прежде всего ученых-обществоведов и гуманитариев, исследующих некоторые составляющие советского или российского социального феномена»²⁴.

О важности точного определения региона исследований необходимо говорить потому, что иногда термин ‘советология’ даже в междисциплинарном смысле употребляется как синоним ‘изучения коммунизма’. В таком случае смысл определения вообще утрачивается, так как отсутствует точность и в дисциплинарном, и в географическом отношении. Р. Саква отмечал, что утверждения о том, что «в дисциплине не было ничего однородного», равнозначны отказу от признания дисциплины вообще²⁵. Определение ‘коммунистический’ является политическим, но никак не региональным. Коммунистический мир не характеризовался ни географической близостью, ни историческими связями или культурным сходством.

Ряд авторов относят к советологии изучение не советской политики в целом, а скорее «политики верхов», лидеров партии и государства, советских и партийных высших органов. Это связано с тем, что в английском языке употребление термина ‘политика’ несколько отличается от его применения в русскоязычной литературе. Словом ‘политика’ переводятся на русский язык два английских слова ‘policy’ и ‘politics’, имеющие самостоятельное значение. ‘Policy’ – это программа, метод действий или сами действия, осуществляемые человеком или группой людей по отношению к какой-либо проблеме или совокупности проблем, стоящих перед обществом. ‘Politics’ – область общественной жизни, где конкурируют или противостоят различные политические направления, борются и взаимодействуют личности или группы, имеющие собственную ‘policy’.

Например, А. Адамс считал само собой разумеющимся, что советология включает, прежде всего, изучение «борьбы за власть и принятие решений в высших кругах партии»²⁶. В дискуссии 1973 г. А. Даллина и Д. Армстронга советология рассматривалась как изучение «власти, ее целей и политики»²⁷. При подобной трактовке возникала ситуация, когда советология практически уравнивалась с более узкой дисциплиной – кремленологией, отношение к которой в академической среде было достаточно критическим. В результате часть исследователей вообще не признавала советологию серьезной научной дисциплиной, считая, что советологи занимаются лишь теми сенсационными и неясными вопросами, от которых отказываются в силу разных причин серьезные ученые.

Еще один важный аспект отношения к советологии в академическом мире связан с ее взаимодействием с политическими науками в целом. Советология отличалась собственной техникой исследований, требовала специальных навыков интерпретации, подобных расшифровке тайнописи, которые обычно не использовались в изучении политики открытых систем.

В 1990-е гг. дебаты о соответствии советологии критериям научности проходили в категориях обвинения и оправдания. Причиной вынесения на обсуждение вопроса о состоятельности дисциплины стала неспособность советологов предсказать распад СССР, из чего следовало предположение о недопонимании ими природы советской системы и направленности ее развития. Критика касалась как тоталитарной школы, доминировавшей в «советских исследованиях» в 1950–1960-е гг., так и ревизионистского подхода, пришедшего на смену тоталитарной парадигме в 1970-е гг.

Тоталитарная модель критиковались за акцентирование внимания исключительно на проблемах государства и политического режима, отрицание возможности плюрализма в партийном аппарате и игнорирование проблем общества. Еще в 1985 г. С. Коэн писал: «Вообразив советскую историю лишенной противостоящих друг другу традиций и альтернатив, советскую политическую жизнь свободной от воздействия социальных факторов, а “монолитный режим” не знающим каких-либо значимых внутренних конфликтов, советология осталась со статичной концепцией застывшей системы»²⁸.

Представители ревизионистского направления сместили акценты с изучения политического режима на проблемы общества и уделяли наибольшее внимание таким вопросам, как национализм, русификация, взаимоотношения элиты и масс, рост бюрократизации. Ревизионисты были настроены по отношению к СССР намного доброжелательнее, чем последователи тоталитарной модели. Послесталинский Советский Союз рассматривался ими как продукт эксперимента, в результате которого общество приобрело черты, присущие обществам Западной Европы и Северной Америки, и усилило давление на режим для переделывания его политического устройства в своих интересах.

Перенос западных теорий и представлений на советскую действительность сказался и на политологических исследованиях, где наиболее частыми характеристиками Советского Союза стали такие понятия, как ‘развитие’, ‘авторитаризм’ и ‘плюрализм’. Сторонники такого подхода к изучению СССР верили, что построение социализма являлось всего лишь вывеской, за которой стояли банальные цели экономического развития. Что же касается политического устройства страны, то, как утверждали ревизионисты, сталинский тоталитаризм при последователях «великого вождя» сменился обычным авторитаризмом, а советская система управления вполне могла бы называться «институциональным плюрализмом», так как казалось, что различные учреждения и местные органы власти пользовались достаточной автономией от центра.

В 1990-е гг. встал вопрос о продолжении существования советологии. Часть исследователей полагала, что советология исчезла вместе с СССР. А. Ноув пи-

сал: «Невозможно быть советологами при отсутствии Советского Союза. Невозможно заниматься сравнением двух систем, если одна из этих систем исчезла». С. Хансон, рассматривая советологию применительно к современным исследованиям, полагал, что она перестала быть отдельной дисциплиной, а постсоветология влилась в основной поток политологии²⁹. У. Лакер красноречиво назвал свою статью, подводившую итог «советским исследованиям», «надгробной речью над почившей в бозе советологией»³⁰.

Под вопросом оказалась адекватность дальнейшего использования термина 'советология'. Высказывались предложения сохранить название 'советология' для изучения Советского Союза, сделав ее тем самым исторической дисциплиной. М. Буравой писал, что «советология по определению имеет дело с Советским Союзом и обусловлена его уникальностью, его формальными характеристиками. Их исчезновение означает, что советология в самом деле может только изучать прошлое»³¹. Однако консенсуса об адекватности использования термина применительно хотя бы к исследованиям Советского Союза так и не был достигнуто.

«Архивная революция», начавшаяся после 1991 г., стала переломным историографическим моментом³². Теперь западные историки, проводя исследования, могли свободно передвигаться по территории бывшего Советского Союза, сочетать возможности, предоставляемые данными «устной истории», изучением советской и постсоветской политической культуры, с архивными материалами. Изменения совпали по времени со сменой парадигм в гуманитарной науке. Основное внимание переместилось с проблем политической и социальной истории в сферу культурной истории, для которой наиболее важным является анализ дискурса, пространства, визуальных источников. Так называемый «лингвистический поворот» конца 1960-х гг. был только одним из многих «культурных поворотов» в развитии гуманитарных наук, за которым последовали «пространственный», «изобразительный», «визуальный», «перформативный» повороты³³.

Из нашего краткого обзора истории советологии видно, что основное внимание исследователей концентрировалось на политике и коммунистической идеологии Советского Союза, которые рассматривались как определяющие факторы советской системы. Обе парадигмы потеряли свое значение после распада Советского Союза. Таким образом, термин 'советология' перестал быть соответствующим широкому спектру англоязычной историографии, характерному для периода после 1991 г.

Сегодня понятие 'советология' по отношению к исследованиям современной России и других посткоммунистических стран не применяется. Если говорить об академических дефинициях дисциплины, то здесь не наблюдается единодушия. Ни одно из словосочетаний – 'российские исследования', 'российские и восточноевропейские исследования', 'евразийские исследования', 'славянские исследования', 'посткоммунистические исследования' – не является зафиксированным названием исследований региона. Не получил распро-

странения и термин 'постсоветология', употреблявшийся преимущественно в дискуссиях о советологии и ее будущем и указывавший исключительно на временную преемственность. Однако если в 1990-е гг. проблема поиска подходящего обозначения имела некую остроту, то в настоящее время плюрализм в названиях стал приниматься как должное.

Как объект изучения англоязычная историография советской истории имеет все компоненты историографического комплекса. Мы рассматриваем генезис этого комплекса как процесс, в развитии которого определенно выделяются три периода: 1) середина 1940-х – середина 1960-х гг. – время становления англоязычной советологии в качестве академической дисциплины, создание инфраструктуры «российских и советских исследований», господство «тоталитарной концепции» как методологической парадигмы советологии; 2) середина 1960-х – середина 1980-х гг. – закрепление положения советологии в англоязычном академическом сообществе, укрепление организационной и финансовой базы, усиление позиций историков в советологической среде, ревизия тоталитарной парадигмы и широкое использование методологии западных социальных и гуманитарных наук в «российских и советских исследованиях»; 3) середина 1980-х – настоящее время – продуктивное использование историками достижений мировой историографии, определение своего нового положения в англоязычной системе гуманитарных и социальных исследований в связи с кардинальными изменениями в изучаемом регионе, перестройка организационной инфраструктуры.

Нам представляется важным отметить, что англоязычные исследования советской истории за послевоенные годы доказали свое право на достойное место в мировой историографии, оказались востребованы не только в государствах Запада, но и в странах бывшего Советского Союза.

Примечания

¹ Путин призвал американцев забыть слово «советология» // Грани.ру. 26.09.2003. URL : <http://www.grani.ru/Politics/World/US/RF/m.44813.html>.

² Дмитрий Медведев : однополярный мир несостоятелен, советология – паранойя. URL : <http://www.molgvardia.ru/nextday/2008/10/08/2097>.

³ Barnett V., Zweynert J. (ed.). *Economics in Russia. Studies in Intellectual History*. Aldershot, 2008. P. 123–124.

⁴ Armstrong J. *New Essays in Sovietological Introspection* // *Post-Soviet Affairs*. 1993. № 9. P. 171–175.

⁵ Ulam A. *The State of Soviet Studies : Some Critical Reflections* // *Survey*. 1964. № 50. P. 53–61.

⁶ Cohen S. *Rethinking the Soviet Experience : Politics and History since 1917*. N. Y. : Oxford Univ. Press, 1985. P. 3.

⁷ Malia M. *A Fatal Logic* // *National Interes*. 1993. № 31. P. 80–90.

⁸ Марушкин Б. *История и политика. Американская буржуазная историография советского общества*. М., 1969. С. 5, 73; Редлих Р. *Очерки большевизмоведения*. Франкфурт-на-Майне, 1956.

- ⁹ Петров Е. В. Американское россиеведение : слов.-справ. URL : [http:// petrov5. tripod. com/ wellcome.htm](http://petrov5.tripod.com/wellcome.htm).
- ¹⁰ Петров Е. В. «Русская тема» на Западе : слов.-справ. по америк. россиеведению. СПб., 1997. URL : [http://chss.irex. ru/db/zarub/view_bib.asp?id=682](http://chss.irex.ru/db/zarub/view_bib.asp?id=682).
- ¹¹ Петров Е. В. История американского россиеведения : курс лекций. СПб., 1998. URL : http://chss.irex.ru/db/zarub/view_bib.asp?id=36.
- ¹² Американские советологи : справочник. М., 1981. URL : http://chss.irex.ru/db/zarub/view_bib.asp?id=75.
- ¹³ Laqueur W. The Dream that Failed : Reflections on the Soviet Union. N. Y., 1994.
- ¹⁴ Цит. по: Петров Е. В. Американское россиеведение.
- ¹⁵ Motyl A. Sovietology, Rationality, Nationality : Coming to Grips with the Nationalism in the USSR. N. Y., 1990. P. 197.
- ¹⁶ Cohen S. Rethinking the Soviet Experience : Politics and History since 1917. N. Y., 1985. P. 5.
- ¹⁷ Nelson D. Comparative Communism : A Postmortem // Handbook of Political Science Research. Westport, 1992. P. 305.
- ¹⁸ Малия М. Из-под глыб, но что? Очерк истории западной советологии // Отечеств. история. 1997. № 5. С. 93.
- ¹⁹ См. официальный сайт журнала. URL : [http://www.informaworld.com/ smpp/title~db=all~content=t713414944~tab=summary](http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713414944~tab=summary).
- ²⁰ Unger A. On the Meaning of «Sovietology» // Communist and Post-Communist Studies. 1998. Vol. 31, № 1. P. 22.
- ²¹ Cohen S. Rethinking the Soviet Experience... P. 7, 24.
- ²² Fitzpatrick S. New Perspectives on Stalinism // The Russian Review. 1986. Vol. 45. P. 357–373.
- ²³ Tucker R. Foreword // Post-Communist Studies and Political Science : Methodology and Empirical Theory in Sovietology. Boulder, Colo., 1993. P. IX.
- ²⁴ Cushman T. Empiricism versus Rationalism in Soviet Studies : A Rejoinder // Journ. of Communist Studies. 1990. № 6. P. 86–98.
- ²⁵ Sakwa R. Russian Studies : The Fractured Mirror // Politics. 1996. № 16. P. 175–186.
- ²⁶ Adams A. The Hybrid Art of Sovietology // Survey. 1964. № 50. P. 154–162.
- ²⁷ Dallin A. Bias and Blunder in American Studies on the USSR // Slavic Review. 1973. Vol. 32, is. 3. P. 560–576; Armstrong J. Comments on Professor Dallin's "Bias and Blunders in American Studies on the USSR" // Ibid. P. 577–587.
- ²⁸ Cohen S. Rethinking the Soviet Experience... P. 25.
- ²⁹ Hanson S. Sovietology, Post-Sovietology, and the Study of Postcommunist Democratization // Demokratizatsiya. 2003. No. 1. P. 145.
- ³⁰ Лакер У. Надгробная речь над почившей в бозе советологией // Новое время. 1992. № 31. С. 18–19.
- ³¹ Buravoy M. From Sovietology to Comparative Political Economy // Beyond Soviet Studies / ed. by D. Orlovsky. Washington, D. C., 1995. P. 78.
- ³² См. напр.: Kotkin S. 1991 and the Russian Revolution : Sources, Conceptual Categories, Analytic Frameworks // Journ. of Modern History. 1998. Vol. 70. P. 384–425.
- ³³ См. более детальный анализ: Smith P. Cultural Theory : An Introduction. Oxford, 2001; Bachmann-Medick D. Cultural Turns : Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbeck bei Hamburg, 2007.

В. В. Согрин
(ИВИ РАН, г. Москва)

ИСТОРИОГРАФИИ РОССИИ И США: СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛОГ

Взаимоотношения историографий России и США прошли в своем развитии два периода: *советский и постсоветский*. Между ними существуют серьезные различия, которые я раскрою в статье. Но главное различие обозначу сразу. Лейтмотивом советского периода было *противоборство* двух историографий, претензия каждой на монополию исторической истины, хотя не исключалось определенное сотрудничество. В постсоветский период на ведущую позицию выдвигается *диалог* историографий, хотя не исчезает и противоборство, удельный вес которого изменчив и обнаруживает зависимость от изменения внутриполитических реалий в каждой из стран, как и их взаимоотношений на международной арене.

В советский период отечественная американистика опиралась на формационное учение и классовый подход, что уже предопределяло ее противостояние с американской исторической наукой. Примем во внимание и то, что в советской исторической науке существовало специальное направление «Критика и борьба с буржуазными фальсификациями истории», которое было необычайно влиятельным и боевым. Боюсь ошибиться, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что львиная доля историографических конференций советского периода была посвящена именно борьбе с буржуазной, или, как часто говорили, *антимарксистской историографией*. Не счесть докторских и кандидатских диссертаций, посвященных критике антимарксистской историографии, при этом главным ее представителем, можно сказать авангардом, неизменно оказывалась историческая наука США. Больше всего доставалось тем, кто занимался российской и советской историей, так называемым советологам¹.

Но и в советский период были примеры иного отношения к историографии США, как и к американской истории. Яркий пример касается изучения истории двухпартийной системы США лабораторией американистики Исторического факультета МГУ. Этот научный центр был создан во второй половине 1970-х гг. профессором Н. В. Сивачевым, одним из наиболее ярких, научно и

граждански смелых историков-американистов советского периода. В то время советским идеологическим клише в отношении двухпартийной системы США было – «две партии, одна политика». То есть различия между двумя главными партиями США не просто умалялись, а отрицались. Научный коллектив под руководством Н. В. Сивачева, в который вошли не только американисты МГУ, но и специалисты из других академических центров, с самого начала опирался на совершенно иной подход: участникам двухпартийной системы США на всех исторических этапах был присущ, с одной стороны, консенсус в отношении американских первооснов, а с другой стороны, альтернативность в понимании способов упрочения, совершенствования, а порой и спасения цивилизации США. Этим коллективом были подготовлены десятки научных трудов, в которых было раскрыто наличие если не всех, то очень и очень многих различий между двумя ведущими партиями на всех этапах американской истории².

Тот же Н. В. Сивачев явился инициатором и главной «пробивной силой» учреждения в 1974 г. на историческом факультете Московского государственного университета лекционной программы по истории США, финансируемой фондом Фулбрайта. Ежегодно по Фулбрайтовской программе в МГУ приезжали и читали лекционные курсы ведущие историки США, среди них такие звезды, как Э. Фонер, Л. Литвак, А. Келли. Взаимодействие историографий США и СССР усиливалось, как правило, в периоды разрядки. На пике разрядки возникла Фулбрайтовская лекционная программа, активизировались академические обмены, интенсивно проводились коллоквиумы историков России и США, инициативная роль в которых с советской стороны принадлежала уже Институту всеобщей истории Академии наук. Но подобное сотрудничество не отменяло «генеральной линии» противоборства историографий СССР и США. При этом советская историография стремилась привлечь в свои союзники марксистских историков США, а также «новых левых» исследователей, которые были очень активны в 1960–1970-е гг. Показательно, что практически 100 % книг по истории США, переведившихся на русский язык в советский период, принадлежали именно этим исследователям³, которых традиционно именовали прогрессивными историками [не путать с *прогрессивистской школой*, которая на русский язык должна переводиться как *прогрессивная* – progressive school – но такой чести со стороны советских переводчиков и историков не удостоилась – В. С.].

Ситуация стала резко меняться во второй половине 1980-х гг. в период горбачевской перестройки. Курс М. С. Горбачева на прекращение холодной войны, развитие взаимопонимания и сотрудничества с США имел следствием смягчение идеологической конфронтации между двумя странами и, конечно же, между их историографиями. Эти тенденции углубились в период президентства Б. Н. Ельцина (1991–1999), который объявил Россию и США однородными цивилизациями. Если в горбачевский период советская политическая элита идеологически стала ориентироваться на конвергенцию социализма и капитализма, то после распада СССР в ельцинской России был провозглашен

курс на построение либеральной демократии по образу США. В 1993 г. была принята либерально-демократическая российская Конституция, в которой ощущалось влияние федеральной Конституции США (также как и конституций западноевропейских стран, в первую очередь Германии и Франции). Новые времена наступили и в российском общественном знании, в том числе в историографии и американистике. Часть российских американистов отказались при изучении США от формационного подхода в пользу цивилизационного (большая часть американистов пыталась соединить два подхода). Были восприняты методологии и теоретические разработки западных социальных наук (политологии, социологии, антропологии и др.), так что российское общественное знание, в том числе американистика стали опираться на новую междисциплинарность, радикально отличную от прежней марксистско-ленинской. В результате прежние гиперкритические оценки американского исторического опыта стали меняться на более взвешенные, синтезирующие разные его стороны. Не обошлось без крайностей – некоторые американисты, оценивая разнообразие явления истории и современности США, стали откровенно менять прежние *минусы* на *плюсы*.

Соответственно изменилось и отношение к западному общественному знанию и исторической науке. Начиная со второй половины 1980-х гг. вплоть до сегодняшнего дня, наблюдался настоящий бум в переводе и издании на русском языке работ западных, в первую очередь американских, политологов, социологов, экономистов, историков, международных. Произошла реабилитация американской советологии: те, кого прежде называли антисоветчиками, предстали как авторитетные и квалифицированные специалисты по российской истории. Яркий тому пример – Ричард Пайпс, до того обозначавшийся как антисоветчик № 1. Большое количество его работ были переведены на русский язык⁴, а некоторые, прежде всего, «Россия при старом порядке», включены в списки обязательной литературы в университетских курсах по отечественной истории. Еще больше было переведено на русский язык и издано работ американских авторов по истории США. Теперь среди них доминировали те, кого в советский период зачисляли в консервативную (консенсуса) и либеральную школы, и в течение двух десятилетий количество их работ, переведенных на русский язык, значительно превзошло количество книг американских «левых» историков, изданных в СССР в течение 70 лет. Назову (в алфавитном порядке) только самых именитых либеральных и консервативных историков США, переведенных на русский язык: Б. Бейлин, Д. Бурстин, М. Лернер, А. Шлезингер-младший, Ф. Дж. Тернер, Л. Харц⁵.

А если добавить к внушительному списку либеральных и консервативных историков США еще более внушительный список переведенных на русский язык ведущих либеральных и консервативных американских политологов, социологов, международных⁶, то тогда можно было бы говорить, если воспользоваться языком леволиберальных и радикальных обществоведов Соединенных Штатов, о торжестве в постсоветской России американского «культурного империализма».

Этим термином пользоваться не буду, напротив, отмечу, что российские ученые, среди них и историки, восприняли американский обществоведческий «десант» с удовлетворением и в своем большинстве проявили готовность учитывать его теоретические разработки в собственных работах. Если не все, то многие среди них были готовы строить отношения с социальными и гуманитарными науками США в режиме диалога, а не противоборства, как это было прежде. Реакция американских обществоведов была, на мой взгляд, несколько иной. Они готовы были к роли учителей, но не к диалогу равных.

В качестве одного примера приведу публикацию в США в постсоветский период четырех выпусков работ российских американистов, сопровождаемых комментариями американских историков и ответами российских авторов. Общее название выпусков – «Российско-американский диалог по истории политических партий США». Первая книга, изданная в 1989 г., была посвящена периоду Нового курса; вторая, вышедшая в 1995 г., охватывает период Американской революции; третья книга, увидевшая свет в 1997 г., посвящена российско-американским культурным связям до 1914 г.; наконец, четвертая, изданная в 2000 г., вмещает всю историю США. Само издание в целом нельзя признать вполне удачным по той причине, что в него включены работы российских историков, увидевших свет в советский период, преимущественно в 1960–1970-е гг., то есть за 20–30 лет до их перевода на английский язык. К 1990-м гг., учитывая серьезную трансформацию российской американистики, о которой я говорил, они в ряде отношений устарели. Тем не менее, это лучшие работы советского периода, выдержанные в духе школы Н. Сивачева, о которой я говорил выше. Нужно сказать, что предисловия во всех четырех книгах написаны именно в форме научного диалога, учитывавшего веяние времени, а вот комментарии американских историков к конкретным статьям выдержаны во многих, если не в большинстве случаев, в духе холодной войны с откровенной претензией на знание ими абсолютной истины.

Приведу два примера, касающихся моих собственных статей. В книге 1995 г. Полин Мейер, комментатор моей статьи, увидевшей свет в 1978 г. и посвященной сравнению социально-политических взглядов Т. Джефферсона, Т. Пейна и Б. Франклина, уделила ей 16 страниц. Назвав меня историком из «поистине другого мира», по-видимому, как я полагаю, «третьего мира», Мейер высокомерно отказалась вникать в мои выводы, аргументы, сравнения, сосредоточившись на изложении собственных работ и взглядов (вот так надо писать, нерадивый ученик из третьего мира!), а также перечислении работ американских авторов, которые увидели свет после выхода моей статьи в оригинале и мною, естественно, не были использованы. Прочитав комментарий Мейер, я был вынужден ответить ей в конфронтационном стиле. В моем ответе на полстраницы я подчеркнул, что Мейер не обнаружила никакого желания избавиться от ментальности холодной войны, что она прочно подчинена американскому стереотипу национального превосходства США над всеми странами и народами, что Маркс отнюдь не глупее Мейер, что мессианизм не лучший метод спора с оп-

понентом⁷. В другой книге моя статья о возникновении политических партий в США вместе со статьей М. Власовой о демократах и вигах комментировалась У. Шейдом. В ответах я и М. Власова были единодушны в том, что Шейд руководствовался стереотипами, характерными в восприятии зарубежной, особенно российской, американистики историками США⁸. Уверенность в превосходстве американской исторической науки и в том, что российские авторы могут в лучшем случае повторить то, что написали американцы – вот лейтмотив Шейда.

Это отношение к российским обществоведам и историкам как к авторам, которые не могут открыть американцам ничего, что они не знают сами, ярко проявляется и в современном идейно-информационном обмене между Россией и США. Это не обмен, а улица с односторонним движением. Я уже назвал десятки американских обществоведов, переведенных в 1990–2000-е гг. на русский язык. Могу назвать еще не менее ста. Если же я предложу американским историкам назвать имена хотя бы трех-четырёх российских профессиональных историков-американистов, исследовательские монографии которых были изданы в эти же десятилетия в США, то, боюсь, что поставлю их в тупик. В душе же, не сомневаюсь, большинство американских историков поморщатся: да что могут нового сообщить нам авторы из России? Получается, что в американском восприятии все российские историки вместе взятые не стоят даже одной трети Пайпса.

Менторский тон, этот индикатор мессианского сознания и чувства национального превосходства, сохраняется у нынешних американских ученых при анализе российского общества. Известный российский американист Э. Баталов убедительно показал это в своей последней книге, один из разделов которой посвящен сегодняшней русистике США. Большинство американских политологов и историков, среди них и Р. Пайпс, исходят из того, что в российском историко-культурном коде демократический ген отсутствует, а это является основополагающей причиной невозможности демократического строительства в постсоветской России. «В общем, – заключает Э. Я. Баталов, – к концу второго срока президентства Путина Россия предстала в глазах американских аналитиков уже не просто в *образе плохого ученика*, но еще и в *образе отступника от демократии* и чуть ли даже не *источника угрозы для демократического мира*»⁹.

Как явствует из исследования Э. Я. Баталова, типичным американским оценкам российского политического процесса присущ ряд методологических недостатков, главным среди которых является его «измерение» на основе демократических норм собственной страны, рассматриваемых как универсальные, как образец для подражания во всем мире. Это реальный научный недостаток, и заключается он, конечно, не в том, что американские русисты указывают на недемократические черты российской политики, а в том, что занимают при этом назидательно-поучающую позицию, произносят, замечая или не замечая этого, «приговоры» и «выговоры», выступают в роли представителей нации, наделившей себя по собственной воле миссией построения мировой демократии.

Матрица конфронтации, к сожалению, еще сохраняет прочные позиции во взаимоотношениях историографий двух стран. Возлагать вину за это только на американских ученых было бы, конечно, явным преувеличением. Российская ментальность также сохраняет конфронтационные черты, которые не могут не влиять на историческую науку. В 2000-е гг. конфронтационные начала в отношении России к США, в сравнении с 1990-ми гг. усилились. Это показательным образом отразилось на книгах американских авторов, переводимых и издаваемых в России. Если в 1990-е гг. среди этих книг откровенно доминировали работы либеральных и консервативных авторов, создающих в высшей степени позитивный образ Америки, то в 2000-е гг. все больший удельный вес занимают авторы, жестко критикующие Америку. Это в основном радикальные исследователи, такие, как К. Паренти, Г. Зинн, Г. Видал, но также и те, как консерватор-традиционалист П. Бьекенен, которые жестко критикуют внутреннюю и внешнюю политику США¹⁰. Показательно, что российские книжные издательства, публикующие эти книги за счет патриотических отечественных спонсоров (а в 1990-е гг. американские авторы издавались по преимуществу при финансовой поддержке Информационного агентства США), публикуют их в рубрике «Америка против Америки». То есть, читателю хотят сказать: пороки и недостатки Америки реальны, если признаются самими американцами, а не отечественным агитпропом.

Впрочем, и отечественный агитпроп в 2000-е гг. резко усилил антиамериканскую пропаганду. Главные пропагандисты ведущих телевизионных каналов России, такие как М. Шевченко, М. Леонтьев, А. Пушков, активно привлекают для разоблачения американских пороков ученых-американистов. В связи с этим хочу поделиться с современными учеными-американистами, предлагающими свои услуги антиамериканскому агитпропу, такой мыслью: лавров нового Валентина Зорина [ученый-американист советского периода, активно развенчивавший США в собственной программе на ведущем телевизионном канале – В. С.] вам не снискать, а вот потерять авторитет в профессиональной отечественной американистике, обретшей полнокровную научную объективность в 1980–1990-е, легко.

Итак, и для американской, и для российской историографий смена *противоборства* на *диалог* остается актуальной задачей. Не будет лишним кратко сформулировать различие между двумя категориями. Противоборство означает стремление к научной монополии, к дискредитации и устранению оппонента-соперника, а диалог означает взаимообмен научными результатами и дискусию в целях совместного приближения к научной истине, что предполагает восприятие у оппонента рациональных аргументов, выводов, достоверных фактов. *Противоборство* – это «игра с нулевой суммой», а *диалог* – это научное обогащение каждой стороны за счет убедительных аргументов и неопровержимых фактов оппонента, это приращение общего знания в интересах исторической науки в целом.

Необходимо признать, что культура диалога в российской историографии еще далеко не сформирована, у многих историков она отсутствует, но в ее раз-

витии в постсоветский период достигнуты позитивные результаты. На мой взгляд, в развитии отечественной американистики принципиально важным новым явлением является именно изменение ее взаимоотношения с зарубежной исторической наукой в целом и американской в частности. В советский период, как уже было отмечено, эти взаимоотношения включали в качестве основополагающей составляющей *борьбу с буржуазной историографией*. Возможность творческого восприятия тех или иных положений зарубежной историографии практически касалась только тех школ, которые были близки к марксизму, а в отношении выводов, подходов, концепций иных школ предполагалась оппозиционная, зачастую непримиримая позиция. В постсоветский период эта установка утрачивала значение, борьба с буржуазными школами уступала место *диалогу и дискуссии* со всеми без исключения направлениями и течениями мировой исторической науки, а главным критерием отношения к выводам и концепциям той или иной школы становится их соответствие исторической реальности, а не ценностно-мировоззренческие предпочтения представителей данной школы. Отечественная американистика, как и вся отечественная историческая наука, сохраняя национальные черты, вместе с тем стала все более тесно интегрироваться в мировую историческую науку, что влечет за собой признание и максимальный учет научных достижений самых разных, в том числе противостоящих, жестко конфликтующих исследовательских школ.

Такой подход к зарубежным научным школам, конечно, порождает ряд проблем, прежде неизвестных, а главная проистекает из того, что зарубежные научные школы часто находятся между собою не просто в соперничающих, а в антагонистических отношениях, и механическое, непрофессиональное восприятие их научных результатов может привести к чудовищной эклектике или принятию в изложении той или иной проблемы беспринципной позиции «с одной стороны, но с другой стороны». Серьезность этой проблемы я уже иллюстрировал при помощи переведенных на русский язык на современном этапе двух классических фундаментальных работ по истории США, принадлежащих признанным лидерам соперничающих и даже непримиримых научных школ¹¹. Сделаю это кратко и сейчас. Первая работа – это трехтомный труд Д. Бурстина, посвященный историческим этапам и в первую очередь материальным достижениям североамериканской цивилизации¹². Вторая работа – объемная монография Г. Зинна «Народная история США»¹³, изданная в Соединенных Штатах впервые в начале 1980-х гг. и выдержавшая в течение последующего периода около 10 изданий. Оба труда получили самую широкую известность в США, а имена их авторов вошли в золотой фонд американской исторической науки. Но эти работы разительно отличаются и по подходам к американской истории, и по привлеченному материалу, и по выводам.

Труд Бурстина – это история предприимчивого американского народа и индивидуумов из самых разных социальных слоев, добивающихся успехов в самых разных сферах, в первую очередь материально-экономической, на всех этапах истории. Это история тех, кого в Америке называют «победителями»

(winners), и именно они, как явствует из труда Бурстина, составляют большинство нации, именно они являются типичными американцами. Работа же Зинна – по преимуществу история тех, кто на разных этапах американской истории оказывался в рядах «проигравших» (losers) – это индейцы, чернокожие, испаноязычные, белые бедняки и подавляющее большинство женщин всех рас. Согласно Зинну, именно эти «проигравшие», а отнюдь не «победители» составляли большинство нации, они и есть американский народ.

Позиции Бурстина и Зинна отражают не их индивидуальные особенности, а важнейшую черту американской исторической науки в целом. Во все времена она была разделена на соперничающие школы. Объективная оценка разных школ американской историографии крайне важна для определения российскими американистами самостоятельной исследовательской позиции в изучении истории США. Я привлекаю внимание к важной особенности историографии США, которая ярко свидетельствует, что изучение своей истории любой национальной историографией неизменно испытывает сильнейшее влияние со стороны политики, соперничающих идеологий, различающихся общественных сил собственной страны. Наличие данной особенности у американской профессиональной историографии, помимо всего прочего, убеждает, что у специалистов из других стран, в том числе у российских американистов, рассматривающих историю США «со стороны», есть определенные преимущества для занятия непредвзятой научной позиции.

Примером современной национальной особенности, влияющей на историческую науку США, но чуждой российской американистике, является, например, *политкорректность* – набор мировоззренческих установок, оформившихся в американском обществе, в первую очередь в либеральных кругах (но ее не в состоянии проигнорировать и консерваторы), под воздействием общественно-политических процессов и изменений последней трети XX в.

В историографии США укоренились «женские» и «афроамериканские» исследования, в университетах появились соответствующие кафедры и учебные курсы. В результате научная картина американской истории серьезно разнообразилась и пополнилась. Но в изучении новой проблематики обнаружились и серьезные перекосы, находящиеся в явном противоречии с принципами историзма. Многие историки в своем исследовательском видении подчинились либеральной политкорректности, которая фактически наложила табу на критические суждения в отношении афроамериканского, равно как и женского движений. Важнейшие события прошлого, такие как Война США за независимость, Гражданская война, Прогрессивная эра начала XX в. и Новый курс 1930-х гг. стали оцениваться не столько в связи с их позитивными нововведениями в сравнении с предшествующими эпохами, сколько в связи с неспособностью обеспечить равные права афроамериканцам, женщинам, как и другим «угнетенным» социальным группам.

Все вышесказанное свидетельствует, что у российских американистов есть основания вырабатывать собственную исследовательскую позицию в пости-

жении исторического опыта США. Для самого себя я формулирую эту позицию так: раскрывать и исследовать максимально полно самые разнообразные явления и стороны американской истории, все ее «плюсы» и «минусы» и стремиться к нахождению их объективного соотношения, *точной меры*. Конечно, понятия «плюсы» и «минусы» американской истории не могут не отразить присутствия у историка определенной мировоззренческой позиции. Если попытаться обозначить мою собственную позицию, то я бы предпочел определение *‘гуманистический подход’*. *Улучшение материального положения, условий и качества жизни, свободы не одного или даже нескольких социальных классов и групп, а всех их, равно как и всех членов общества и всего народа, – этот критерий присутствует в моем сознании при оценке эволюции любого общества, в том числе и американского*. Но, конечно, данный подход в профессиональной исторической работе не может абсолютизироваться, приобретает характер императива, ибо это создает опасность перехода на позицию, схожую с политкорректностью. Наиболее надежным противоядием от этой опасности опять-таки является историзм – оценка исторических изменений в контексте исторических возможностей и условий страны, как и в связи с тем, как, в каком направлении они обновили общество в сравнении с предшествующими этапами истории.

Другие историки могут придерживаться иных мировоззренческих позиций. И эти мировоззренческие несовпадения также являются важной причиной того, что между историками всегда сохраняются различия, а российская историография не станет копией американской, и наоборот. Важно только, чтобы эти различия не возводились в абсолют, не вели к замене диалога историографий противоборством. Эта опасность может нейтрализоваться теми профессиональными чертами исторической науки, которые имеют универсальный характер.

Примечания

¹ Идеологический ритуал требовал обозначить борьбу с буржуазной историографией в самом названии историографической работы. Мой учитель, И. П. Дементьев, рассказывал, что когда он публиковал кандидатскую диссертацию об американской историографии Гражданской войны в США, ему пообещали увеличить тираж книги в несколько раз, если он употребит в названии сакральное слово фальсификация. Но он отказался (См. Дементьев И. П. Американская историография Гражданской войны в США (1861–1865). М., 1963. Но если бы он писал об американской историографии российской истории, такой отказ грозил бы обвинением в утрате классового чутья.

² Об итогах деятельности коллектива см.: Манькин А. С., Никонов В. А., Рогулев Ю. Н., Язьков Е. Ф. Некоторые итоги изучения истории двухпартийной системы США // Новая и новейш. история. 1988. № 2; Галкин И. В., Манькин А. С., Печатнов В. О. Двухпартийная система в политической истории США // Вопр. истории. 1987. № 9.

³ См. напр.: Аллен Дж. Реконструкция : битва за демократию. М., 1963; Аптекаер Г. : 1) Колониальная эра. М., 1961; 2) Американская революция, 1763–1783. М., 1962; Бимба А. История американского рабочего класса. М., 1930; Вильямс В. Э. Трагедия американской дипломатии. М., 1960; Перло В. Империя финансовых магнатов. М., 1958;

Рочестер А. Американский капитализм, 1607–1800. М., 1950; Фонер Ф. История рабочего движения в США. Т. 1–5. М., 1949–1983; Фостер У. З. Негритянский народ в истории Америки. М., 1955.

⁴ Пайпс Р. : 1) Россия при старом режиме. М., 1993; 2) Струве. Биография. Т. 1–2. М., 2001; 3) Русская революция. Кн. 1. Агония старого режима. 1905–1917. М., 2005; 4) Русская революция. Кн. 2. Большевики в борьбе за власть. 1917–1918. М. : Захаров, 2005; 5) Русская революция. Кн. 3. Россия под большевиками. 1918–1924. М. : Захаров, 2005; 6) Русский консерватизм и его критики. М., 2008.

⁵ Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. М., 2009; Бурстин Д. : 1) Американцы : колониальный опыт. М., 1993; 2) Американцы : демократический опыт. М., 1993; 3) Американцы : национальный опыт. М., 1993; Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Т. 1–2. М., 1992; Шлезингер А. М. Циклы американской истории. М., 1992; Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М., 1993; Тернер Дж. Ф. Фронтир в американской истории. М., 2009.

⁶ См. например: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999; Бжезинский З. : 1) Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М., 1998; 2) Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 2004; Даль Р. : 1) Введение в экономическую демократию. М., 1991; 2) О демократии. М., 2000; 3) Демократия и ее критики. М., 2003; Дьюи Дж. Демократия и образование. М., 2000; Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М., 1997; Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997; Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах : сравнительное исследование. М., 1997; Сантаяна Д. Характер и мировоззрение американцев. М., 2003; Смелзер Н. Социология. М., 1994; Фукуяма Ф. : 1) Наше постчеловеческое будущее. М., 2004; 2) Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие. М., 2008; Хантингтон С. : 1) Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003; 2) Столкновение цивилизаций. М., 2003; 3) Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004; Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.

⁷ Russian-American Dialogue on the American Revolution / ed. G. S. Wood, L. G. Wood. Columbia ; L., 1995. P. 105–142.

⁸ Russian-American Dialogue on the History of U.S. Political Parties / ed. E. F. Yazkov, L. W. Potter. Columbia ; L., 2000. P. 75–77.

⁹ Баталов Э. Я. Проблема демократии в американской политической мысли XX века. М., Прогресс – Традиция, 2010. С. 326.

¹⁰ Бьюкинен П. Дж. : 1) Смерть Запада. М. ; СПб., 2003; 2) Правые и не-правые. Как неоконсерваторы заставили нас забыть о рейгановской революции и повлияли на президента Буша. М., 2006; Видал Г. Почему нас ненавидят. Вечная война ради вечного мира. М., 2006; Зинн Г. Народная история США. М., 2006; Капхен Ч. Закат Америки. Уже скоро. М., 2004; Паренти М. : 1) Демократия для избранных. Настольная книга о политических играх США. М., 2006; 2) Власть над миром. Истинные цели американского империализма. М., 2006.

¹¹ Согрин В. В. Исторический опыт США. М., 2010. С. 15–16.

¹² Бурстин Д. : 1) Американцы : колониальный опыт; 2) Американцы : демократический опыт; 3) Американцы : национальный опыт.

¹³ Зинн Г. Народная история США. М., 2006.

В. Д. Камынин
(Уральский государственный университет им. А. М. Горького,
г. Екатеринбург)

**ДИССЕРТАЦИЯ ПО ИСТОРИОГРАФИИ:
ИЗ ОПЫТА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Становление историографических исследований в нашей стране происходило во второй половине 1950-х – 1960-е гг. Для историографов того времени не приходилось задумываться над тем, на каких методологических и теоретических основаниях должны строиться методологические исследования. Во введении к первому тому «Очерков истории исторической науки в СССР» было записано: «Историография имеет единую со всеми общественными науками теоретическую и методологическую основу – исторический материализм, представляющий собою распространение диалектического материализма на область общественных явлений, в частности на изучение истории общества. Имея свой особый предмет, отличный от предмета исторической науки, историография опирается на те же методологические основы, что и сама историческая наука»¹.

М. В. Нечкина отмечала, что поскольку историографическая наука являлась сравнительно молодой научной дисциплиной, то необходимо было сконцентрировать внимание исследователей, занимающихся историографией, на разработке методологических вопросов, без которых историография «может остаться чисто описательной “фактографической” отраслью, волей-неволей дублирующей историческую библиографию и только излагающей более подробно содержание исторических работ»². Усилиями М. В. Нечкиной, Е. Н. Городецкого, В. А. Дунаевского, А. И. Зевелева, В. Е. Иллерицкого, Р. А. Киреевой, В. А. Муравьева, А. М. Сахарова, А. Н. Цамутали, А. П. Шапиро и др. были разработаны методологические и теоретические основы историографического исследования. Объединяло всех этих авторов, во-первых, то, что они рассматривали эти вопросы в рамках марксистско-ленинской методологии, во-вторых, то, что острие их исследований было направлено на критику как российской дореволюционной, так и зарубежной историографической науки.

Сказанное выше не означает, что следует полностью отрицать вклад советских ученых в разработку методологических и теоретических проблем историографии. Анализ научных конференций по историографии, которые проводились в 1970–1980-е гг. в различных городах Советского Союза, показывает, что рассматриваемые на них теоретические и методологические вопросы вызывали острые научные дискуссии. Не было единства мнений у советских ученых в определении таких важных понятий, как предмет и функции историографических исследований, периодизация истории исторической науки, историографический факт и историографический источник и т. д.³

Весьма ценным следует признать понимание советскими историографами того, что в условиях происходящего интенсивного процесса интеграции и дифференциации знаний необходимо развивать междисциплинарность проводимых исследований «при помощи теоретико-методологического анализа на основе синтеза наук и на “стыках” разных ее отраслей»⁴.

В условиях «методологического вакуума», который образовался в конце перестройки в исторической науке, историографам приходилось либо вообще обходить вопрос о методологии исследования, отделяясь утверждениями о кризисе марксистского понимания истории и его неприменимости «для анализа того, что было в истории советского общества, поскольку оно развивалось не по плану, разработанному основоположниками марксизма»⁵, либо призывать к необходимости «нового прочтения» марксистско-ленинского теоретического наследия⁶.

После «методологической революции», произошедшей в первой половине 1990-х гг., разрушившей монополию марксистской методологии и утвердившей в науке методологический плюрализм, в историографических исследованиях при обосновании методологической основы исследования наблюдается большой разноряд. Анализ работ по историографии, увидевших свет в нашей стране за последние двадцать лет, наталкивает на размышления, с которыми автор делится на страницах данной статьи. Для реализации заявленной в статье темы наиболее предпочтительными являются диссертационные исследования, поскольку квалификационный характер этих работ обязывает их авторов специально высказать свою позицию в этом вопросе.

Выделяются два этапа в отношении современных историографов к обоснованию методологических и теоретических оснований проводимых исследований.

В историографических исследованиях первой половины 1990-х гг. в качестве методологической основы выступал «обновленный» марксистский подход. Весьма популярным было «примиренческое» предложение академика И. Д. Ковальченко, высказанное в его последних работах. Оно сводилось к тому, что в условиях происшедшей «методологической революции» исследователям необходимо отказаться от попытки создания новой универсальной и абсолютной теории и методов исторического познания и строить новую методологию на основе синтеза идей и методов⁷. Весьма показательной в этом отношении являлась работа В. С. Прядина. Он объявил общепризнанной

основой своего исследования «обновленную и обновляемую диалектику, новые подходы к ее категориям и законам». В то же время автор провозгласил в качестве философско-исторической основы «новый теоретико-методологический синтез – многомерно-узловую концепцию, не исключающую в принципе ни одну историософскую теорию: формационную, цивилизационную, синергетическую и т. д.»⁸.

На рубеже XX–XXI столетий историографы стали отказываться от методологической «всеядности» и более четко определять методологические основания своих исследований. В литературе можно встретить несколько мнений по вопросу о том, насколько необходима современному историографу собственная методология исследования.

Большая часть авторов дистанцируется от формулировки методологических оснований, на которых строится их исследование, и сводит эти основания к совокупности методов исследования. Такой подход сплошь и рядом встречается в кандидатских диссертациях, однако он характерен и для некоторых соискателей докторской степени в области историографии. Н. И. Морозов пишет: «Автор данной диссертационной работы исходит из общих методологических принципов историзма и объективности, а также общепризнанных критериев историографического анализа»⁹.

Следует указать, что зачастую к такому варианту составления методологического раздела диссертации подталкивают некоторые диссертационные советы, которые при приеме научной работы к защите настаивают на том, что историография, как вспомогательная (или специальная) историческая дисциплина, не может иметь собственной методологии исследования. Автор данной статьи столкнулся с подобным подходом при защите в 2010 г. в Институте истории и археологии УрО РАН двух руководимых им кандидатских (С. В. Сосновских и М. А. Стихина) и одной докторской (Е. А. Игишева) диссертаций. В результате соискатели вынуждены были вопреки воле научного руководителя свести методологическую основу своих диссертаций к общенаучным принципам и разнообразным методам историографического анализа. Авторское обоснование методологии исследования сохранилось только в монографии соискательницы докторской степени¹⁰.

Мы считаем, что представление П. А. Свищева о том, что методологическим основанием отдельных отраслей исторического знания может быть только «учение об исходных принципах, регулирующих средства и способы познания в данной отрасли науки»¹¹, является неверным. По нашему мнению, методологическая часть историографического исследования, как и любого научного исследования, не может не включать теории исследования, определенной научной концепции, которой придерживается ученый. Давая оценку историческим произведениям, историограф не свободен от собственных представлений о развитии исторического процесса и истории исторической науки. Поэтому ему следует заранее заявить о своих теоретических позициях. Выбранная им научная парадигма оказывает воздействие на процесс дефиниции понятий, опреде-

ляет принципы и методы исследования, и самое главное, подходы к оценке историографических источников.

Не до конца обоснованным в современных историографических исследованиях является выбор со стороны тех или иных авторов нескольких методологических оснований либо путем их синтеза, либо на основе применения принципа дополнительности. Примером первого подхода является утверждение А. А. Коробкина о том, что «только комплексный анализ всех существующих концепций может приблизить историка к истине»¹². Пример второго подхода дает А. А. Кононенко, который наряду с использованием цивилизационного подхода рассматривает тему «под углом социальной истории»¹³. Е. В. Чернышева наряду с использованием модернизационного подхода полагает, что «историография должна не только фиксировать различные проявления исследовательского процесса, но и разворачиваться как интеллектуальная история»¹⁴.

Весьма распространенным в современной историографической науке является выбор исследователем одной из теорий научного познания, которые применяются в исторической науке. В этом случае при обосновании своих теоретико-методологических позиций историографы, работающие в стиле проблемной историографии, чаще всего ссылаются на таких авторитетов в области методологии и историографии, как М. В. Нечкина, А. М. Сахаров, А. А. Чернобаев, Б. В. Личман, В. С. Прядеин, представителей уральской историографической школы О. А. Васьковского – В. Д. Камынина, Е. Б. Заболотного, А. Т. Тертышного.

Анализ работ последних лет показывает, что чаще всего современные историографы предлагают использовать в качестве методологических оснований формационный, модернизационный и цивилизационный подходы. По нашим наблюдениям, заявляя эти подходы в качестве методологической основы своей работы, авторы зачастую не задумываются, насколько она имеет отношение к выполнению главной задачи историографического исследования – анализу историографических источников.

Достаточно часто современные историографы декларируют свою приверженность марксистской методологии исследования, апеллируя к формационному подходу. С. П. Исачкин в автореферате своей докторской диссертации, посвященной анализу историографии социал-демократической партии в Сибири, пишет: «Методологическую основу настоящего труда составляет материалистическая диалектика, которая представляет собой учение об универсальных законах развития явлений объективной реальности и процесса познания. Основными и наиболее общими из них признаются законы перехода количественных изменений в качественные и обратно, отрицание отрицания, единства и борьбы противоположностей». Выбор формационного подхода для решения задач своего историографического исследования, автор объясняет тем, что, во-первых, он не противоречит выбранной методологической основе исследования, во-вторых, по своему определению он наиболее эффективен при изучении классов, партий, общественных движений, т. е. полностью согласуется с темой

исследования, в-третьих, «исследовать литературу советской эпохи вполне логично на той теоретической основе, на которой она создавалась»¹⁵. По нашему мнению, это положение автора особенно трудновыполнимо для современного историографа, который, во-первых, работает в условиях научного плюрализма, во-вторых, зачастую вынужден одновременно подвергать научному анализу дореволюционную, советскую и многоконцептуальную современную российскую историографию. В. С. Прядеин полагает, что современное прочтение марксизма должно состоять не в «огульном, контрпродуктивном отбрасывании идей основоположников марксизма-ленинизма», а в осуществлении «их диалектического отрицания с сохранением крупиц общезначимого, действительно полезного»¹⁶.

Весьма популярным в современной историографической литературе является теория модернизации. А. Л. Ожиганов преимуществом теории модернизации считает ее «междисциплинарный и, в определенном смысле, целостно-обобщающий характер; при анализе структурных изменений, происходящих в состоянии перехода от традиционного к современному обществу, специфика политических и экономических трансформаций увязывается с проблемами изменения самого человека, его представлений, ценностей, ориентаций. Ее методология находится в соответствии с современными представлениями о многофакторности общественно-исторического процесса»¹⁷.

Каждый автор пытается подвести теорию модернизации под обоснование предметного поля собственного исследования. По словам А. В. Придорожного, достоинство модернизационного подхода заключается в том, что он допускает «существование реальных альтернатив в историческом процессе»¹⁸. Е. В. Лазарева значение теории модернизации видит в том, что она позволяет «осмыслить этапы развития российской экономики, представляя их как единый закономерный процесс»¹⁹. Е. А. Игишева считает, что применение модернизационного подхода помогает «рассматривать 1920-е гг. как период, когда закладывались основы для очередного цикла политической и социально-экономической модернизации российского общества»²⁰. Е. В. Чернышева полагает, что в свете теории модернизации «введение земства расценивается как начало процесса политической и социальной трансформации России, как важнейший шаг на пути становления структур гражданского общества и формирования культуры политического участия населения в жизни государства»²¹.

Многие историографы выбирают в качестве методологической основы исследования цивилизационный подход. По словам И. В. Скипиной, цивилизационный подход «позволяет с наибольшей полнотой представить социокультурную среду происходивших процессов, учесть наличие объективных и субъективных моментов, микро- и макрофакторов, оказывающих воздействие на людей»²². А. А. Кононенко считает, что цивилизационный подход «фокусирует внимание на целостности процессов в обществе, которая обусловлена действиями различных интеграционных факторов»²³. П. М. Головатина подчеркивает, что применение цивилизационного подхода обусловлено тем, что «процесс

развития человеческого общества является единым для всех стран, но имеет разную интерпретацию (например, институциональную), которая может зависеть от культурных, экономических, исторических и других особенностей общества, от особенностей его мировосприятия»²⁴.

Весьма любопытными представляются попытки авторов использовать указанные подходы в качестве теоретической базы для изучения объекта историографического исследования.

С. П. Исачкин констатирует, что все указанные им принципы материалистической диалектики «достаточно отчетливо проявляются в ходе развития историографического процесса. Так, нарастающее количество новых фактов, выводов, методических приемов в трудах ученых неизменно приводит к возникновению качественно новой концепции. И, наоборот, когда концепция становится общепринятой, она начинает тиражироваться в общей массе литературы, т. е. качество переходит в количество. Сам же историографический процесс представляет собой наглядное подтверждение действия закона отрицание отрицания, поскольку в ходе его ниспровергаются, казалось бы, незыблемые положения, но и они, в конечном счете, оказываются невечными. В свою очередь дискуссии исследователей являются ничем иным, как борьбой противоположностей, которая ведется ради единой цели – постижения истины»²⁵. Приведенная выше длинная цитата понадобилась нам для того, чтобы проиллюстрировать, каким надуманным способом наполняются современным содержанием схоластические схемы.

Е. А. Игишева считает, что «модернизационный подход позволяет в историографическом исследовании ни отрицать вклада ни одного из направлений современной исторической науки в изучение интересующей нас проблемы»²⁶.

Наибольший разнобой встречается в понимании авторами возможностей применения цивилизационного подхода к анализу историографического процесса. И. В. Скипина утверждает, что цивилизационный подход «позволяет уловить процесс глобализации, имеющий место в историографии XX в.»²⁷ По мнению А. А. Кононенко, «в историографических исследованиях использование цивилизационного подхода позволяет рассматривать процесс научного познания как обусловленный одновременно субъективными (личность автора) и объективными (социокультурная среда) обстоятельствами, с наибольшей полнотой представить социокультурную канву происходящих процессов, учесть наличие объективных и субъективных моментов, микро- и макрофакторов, оказывающих воздействие на научную жизнь»²⁸.

Большая часть сторонников использования цивилизационной парадигмы к задачам историографического анализа обращает внимание на ее культурно-антропологическую направленность. И. Г. Шишкин пишет, что «цивилизационная парадигма с ее культурно-антропологической направленностью, углубленным интересом к изучению настроений, убеждений, нравственных ценностей личностей позволяет лучше понять позицию автора историографического источника при освещении тех или иных событий исторического процесса».

Автор считает, что «именно с позиций цивилизационного подхода к истории можно правильно оценить общее и особенное в развитии отечественной историографии XX – начала XXI в. на основных этапах ее существования на общем фоне развития мирового историографического процесса, для которого характерен, прежде всего, плюрализм мнений». По его мнению, применение цивилизационного подхода «к анализу историографических источников позволяет выяснить, насколько далеко советская историографическая традиция находилась от общемировых процессов развития исторической науки, и насколько приблизилась к ним современная российская историография»²⁹. По словам Р. А. Насибуллина, применение цивилизационного подхода в историографическом исследовании позволяет «путем интерпретации источника лучше понять автора источника – человека прошлого»³⁰.

Различные варианты методологических подходов к историографическому исследованию предлагают ученые, работающие в рамках интеллектуальной истории. Анализ этих работ показывает, что в качестве научных авторитетов для них выступают совершенно другие представители «методологического и историографического цеха»: М. В. Нечкина, Б. Г. Могильницкий, Г. П. Мягков, Ю. Л. Троицкий, А. Е. Шикло, С. О. Шмидт, основатель омской школы историографов В. П. Корзун, Н. Н. Алеврас.

Характерными чертами теоретического обоснования историографического исследования, предпринимаемого в рамках данного научного направления, являются их антропологическая направленность и использование междисциплинарных методов исследования. Его представители существенно расширяют лексикон историографического словаря за счет таких понятий, как ‘образы науки’, ‘культурные гнезда’, ‘интеллектуальное поле науки’, ‘культурное пространство’, ‘историографический быт’, ‘мир историка’ и т. д.

С середины 1990-х гг. в работах В. П. Корзун, Н. Н. Алеврас и др., а также в диссертационных исследованиях, написанных под их руководством, эти понятия выступают в качестве теоретического обоснования избранных тем исследования.

Основными из них можно считать понятия ‘образ науки’ и ‘историографический быт’. В. П. Корзун пишет: «Методологически важной представляется мысль о том, что в практике объективное содержание науки и ее восприятие, оценка выступают в нерасчлененном виде. Образ науки как таковой и существует лишь в процессе непрерывного превращения форм полученного знания о науке в форму деятельности по изучению науки, лишь как единство этих взаимосвязанных сторон»³¹. По словам Н. Н. Алеврас, категория ‘историографический быт’ представляет внутренний мир науки и предполагает изучение «маловостребованных сюжетов, которые можно объединить темой образа жизни в науке»³². Автор считает, что конструкт ‘историографический быт’ имеет «контекстуальный» характер, который не может рассматриваться в качестве отдельного элемента историографической культуры, ибо в его основе лежат принципы самоидентификации ученого и самоорганизации на-

учной жизни сообщества историков, находящиеся в тесной связи с социокультурной средой³³.

И.А. Андреева утверждает: «Из науковедческих разработок нам представляется целесообразным обратиться к более широкому пониманию “социальности” в науке и к внедрению такой категории, как “образ науки”». В качестве дополнительного теоретического постулата данная исследовательница вводит также идею М. Полани, который выделяет «“явные” и “неявные” составляющие научной концепции: первые образуют “тело концепции”, ее содержательное наполнение, вторые обеспечивают ее целостность». К «явным» относятся идеи, проблемы, принципы, основные положения, к «неявным» – исследовательская позиция ее автора и логика его научного поиска³⁴. Т. Е. Грязнова в методологический раздел диссертации включила так называемую ситуативную историографию или «кейс стадис». По ее мнению, «традиционный историографический канон в настоящее время переосмысливается в двух направлениях: в сторону большего внимания к личности историка и в сторону преодоления представлений о жесткой обусловленности исторических взглядов общественно-политическими»³⁵. По словам С. П. Бычкова, «в сегодняшней ситуации методологического плюрализма в исторической науке одним из перспективных подходов является культурологический ракурс историографического исследования, означающий отказ от жесткой сциентической схемы, перенос интереса в сторону творца исторического знания, роли научного сообщества в востребовании научного результата, самостоятельной жизни исторических текстов в социокультурном пространстве»³⁶.

Н. В. Гришина в исследовании, относящемся к жанру «схоларных», место школы В. О. Ключевского в культурном пространстве дореволюционной России рассматривает через призму понятия ‘историографический быт’, дополняемое категорией ‘интеллектуальное поле науки’, понимаемое как «социальный мир, относительно автономное пространство, наделенное собственными законами и ценностями научного сообщества»³⁷. Я. В. Боже при характеристике жизни и деятельности Е. Ф. Шмурло анализирует проблему через призму «персональной истории», предметным полем которой, по словам автора, является «“анализ индивидуального сознания и индивидуальной деятельности” одного конкретного историка, чья личность рассматривается “не изолированно”, а во взаимодействии “с другими личностями, со своей социальной средой, со всем окружающим миром в самых разных его проявлениях”». В рамках такого подхода жизненный путь человека стал восприниматься не как заданная программа действий, а как череда ситуаций внутреннего выбора»³⁸.

В диссертации М. В. Тимофеевой читаем: «Теоретической основой диссертационного исследования стала источниковедческая концепция методологии истории, разработанная в отечественной исторической науке в сочинении А. С. Лаппо-Данилевского “Методология истории”. В современной историографии данный подход получил углубление в работах О. М. Медушевской». Автор подчеркивает, что «существенное значение в диссертационном исследовании»

довании имеют подходы такого направления современной историографии как интеллектуальная история»³⁹.

Подводя итог проведенного исследования, следует указать на подвижность теоретико-методологических оснований историографического исследования. Эти основания изменяются с течением времени и привязаны к переменам идеологического характера.

Автор статьи полагает, что теоретико-методологические основания современного историографического исследования должны четко увязываться с объектом и предметным полем проводимого исследования. При изучении объекта исследования, под которым понимается совокупность историографических источников по конкретному сюжету или проблеме, учитывая, что историографическое исследование всегда носит междисциплинарный характер, исследователю вполне достаточно овладеть определенной совокупностью методов историографического исследования, а также междисциплинарных методов изучения источников. При изучении предметного поля исследователь должен заявить о той научной парадигме, с позиций которой он понимает поставленную научную проблему. Только в этом случае он ставит себя наравне с теми исследователями проблемы, труды которых он изучает. Именно честное изложение своих теоретических подходов позволяет историографу добиваться научной объективности, но не как заявленного заранее принципа исследования, а как его желаемой цели, к которой следует стремиться.

Примечания

¹ Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955. Т. I. С. 5.

² Нечкина М. В. История истории : (Некоторые методологические вопросы истории исторической науки) // История и историки : историография истории СССР. М., 1965. С. 7.

³ См.: Камынин В. Д., Цыпина Е. А. : 1) Проблема историографического источника в отечественной литературе // Запад, Восток и Россия : проблема исторического и историографического источника. Екатеринбург, 2005. Вып. 7. Вопросы всеобщей истории; 2) К вопросу о понятии «историографический факт» в современной историографической науке // Россия и мир : история и историография : междунар. альм. Екатеринбург, 2006. Вып. I; Заболотный Е. Б., Камынин В. Д. К вопросу о функциях и месте историографических исследований в развитии исторической науки // Заболотный Е. Б., Камынин В. Д. Историографическое наследие и личность историка. Тюмень, 2010.

⁴ Зевелев А. И. Историографическое исследование : методологические аспекты. М., 1987. С. 5.

⁵ Камынин В. Д. Советская историография рабочих Урала в 1917–30-х гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Свердловск, 1990. С. 10.

⁶ См.: Прядеин В. С. Соревнование в советском обществе : проблемы теории (историографический анализ). Екатеринбург, 1991. С. 16.

⁷ См.: Ковальченко И. Д. Сущность и особенности общественно-исторического развития : (Заметки о необходимости обновленных подходов) // Исторические записки. Теоретические и методологические проблемы исторических исследований. М., 1995. Вып. 1 (119). С. 25–26.

- ⁸ Прядеин В. С. Историческая наука в условиях обновления : философские идеи, принципы познания и методы исследования (историографический анализ) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 1996. С. 14.
- ⁹ Морозов Н. И. Отечественная историография становления и развития молодежного движения и молодежных организаций в России (февраль 1917 г. – начало 1930-х гг.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 1999. С. 13.
- ¹⁰ См.: Игишева Е. А. Политическое развитие Урала в 1920-е гг. в современной отечественной историографии. Екатеринбург, 2008. С. 16.
- ¹¹ См.: Свищев П. А. Возможна ли методология отдельных отраслей исторического знания? (Проблемы методологии генеалогического исследования) // 50-летие историко-правоведческого факультета Курганского государственного университета : межрегион. науч.-практ. конф. Курган, 2002. С. 11.
- ¹² Коробкин А. А. Отечественная историография «демократической контрреволюции» (лето-осень 1918 г.) в России : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2003. С. 9.
- ¹³ Кононенко А. А. Историография создания и деятельности партии социалистов-революционеров в 1901–1922 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Тюмень. 2005. С. 8.
- ¹⁴ Чернышева Е. В. Социальный облик и общественная деятельность земских служащих (вторая половина 1860-х – 1914 годы) в отечественной историографии. Челябинск, 2010. С. 10.
- ¹⁵ Исачкин С. П. Историография сибирской социал-демократии 1907–1917 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Омск, 2004. С. 11.
- ¹⁶ Прядеин В. С. Роль соревнования в развитии советского и постсоветского общества : проблемы теории (историографический анализ). М., 2009. С. 11.
- ¹⁷ Ожиганов А. Л. Отечественная историография колчаковского режима (ноябрь 1918 – январь 1920 г.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2003. С. 8–9.
- ¹⁸ Придорожный А. В. Проблема альтернатив общественного развития периода революции 1917 г. в отечественной историографии : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Тюмень, 2001. С. 12.
- ¹⁹ Лазарева Е. В. Отечественная историография о роли иностранного капитала в экономике Урала в последней трети XIX – начале XX в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2008. С. 12.
- ²⁰ Игишева Е. А. Политическое развитие Урала в 1920-е гг.... С. 16.
- ²¹ Чернышева Е. В. Социальный облик и общественная деятельность... С. 4.
- ²² Скипина И. В. Человек в условиях Гражданской войны на Урале : историография проблемы : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Тюмень. 2003. С. 13.
- ²³ Кононенко А. А. Историография создания и деятельности... С. 8.
- ²⁴ Головатина П. М. Англо-американская и отечественная историография помощи Советскому Союзу по ленд-лизу в годы Второй мировой войны (1941–1945 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006. С. 7.
- ²⁵ Исачкин С. П. Историография сибирской социал-демократии... С. 11.
- ²⁶ Игишева Е. А. Политическое развитие Урала... С. 16.
- ²⁷ Скипина И. В. Человек в условиях Гражданской войны на Урале... С. 13.
- ²⁸ Кононенко А. А. Историография создания и деятельности... С. 8.
- ²⁹ Шишкин И. Г. Отечественная историография истории управления в Российском государстве конца XV–XVI вв. (1917 – начало XXI в.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2010. С. 9–10.

- ³⁰ Насибуллин Р. А. Проблемы государственной власти и управления зарубежных стран в русской исторической науке второй половины XIX – начала XX века : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006. С. 9.
- ³¹ Корзун В. П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX веков. Анализ отечественных историографических концепций. Екатеринбург ; Омск, 2000. С. 6.
- ³² Алеврас Н. Н. Проблемы историографии на омских конференциях // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 1999. № 2. С. 13.
- ³³ См.: Алеврас Н. Н. И снова про предмет историографии (трансформация предметного пространства и категория «историографический быт») // Теория и методы исторической науки : шаг в XXI век : материалы междунар. науч. конф. М., 2008. С. 238–240.
- ³⁴ Андреева И. А. Историческая концепция Н. А. Рожкова : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1995. С. 7.
- ³⁵ Грязнова Т. Е. Революция в концепции истории России П. Н. Милюкова : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1996. С. 18–19.
- ³⁶ Бычков С. П. Антон Владимирович Карташев – историк Русской Православной Церкви : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1999. С. 7.
- ³⁷ Гришина Н. В. Школа В. О. Ключевского в культурном пространстве дореволюционной России : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2004. С. 10.
- ³⁸ Боже Я. В. Жизнь и научная деятельность Е. Ф. Шмурло : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2004. С. 9.
- ³⁹ Тимофеева М. В. Концепция английской буржуазной революции XVII века британского историка Кристофера Хилла : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2009. С. 11.

*А. В. Захаров
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)*

**ЭХО «ГОСУДАРЕВА ДВОРА»
В РУССКИХ ИСТОЧНИКАХ И ИСТОРИОГРАФИИ**

При изучении российских правящих элит Средневековья и раннего Нового времени отечественные историки часто прибегают к научному термину и понятию ‘государев двор’. Семантические и концептуальные взаимосвязи этого научного понятия с аутентичными выражениями, обозначавшими московские чины и царский двор, исследованы весьма слабо. Очевидно, что термин ‘государев двор’ полисемичен, что впервые установил еще В. Н. Татищев. В современном виде понятие приобрело дополнительные значения. Историки с различной степенью критичности относятся к адекватности научного термина ‘государев двор’, особенно в эпоху петровских реформ. Поэтому актуально выявить не только многозначность аутентичного выражения и научного термина, но и реконструировать логику современников Московского царства и современных исследователей.

В современной научной литературе выделяются четыре основных значения термина ‘государев двор’. Во-первых, в научных словарях и монографиях ‘государев двор’ определен как институт социальной организации правящего слоя Московского государства середины XVI – начала XVIII в. Во-вторых, особенно в работах искусствоведов, архитекторов, музееведов, «государевым двором» обозначены собственно государевы усадьбы в подмосковных сёлах и русских городах вместе с дворцовыми постройками, дворец в Кремле. То есть во втором значении термин имеет четко выраженную пространственно-территориальную сущность. В третьем значении термин используется исследователями реже, как правило, при описании устройства ‘Дворца’, придворной жизни XVII в., что имплицитно включает штат дворцовых служителей («дворовых» людей), устройств повседневного быта царя и его семьи. И, в-четвертых, ‘государевым двором’ иногда обозначается совокупность московских чинов и штата дворовых.

В письменных текстах можно выделить сходные признаки аутентичного и научного понятий ‘государев двор’. Поскольку оба понятия восходят к об-

щей этимологии слов 'двор' и 'государь', иногда толкование значений термина трудно представить, особенно сложно зафиксировать сходства/различия концепта 'двор' в языке XVII в. с современным. Тем не менее, объяснение такого разграничения значений кажется важным для понимания «исходных позиций» и трансформации при Петре I особой общности, которая историками называется 'государевым двором'. Проблема обостряется признанием того, что для современников Петра I такой общности и ее выражения с таким значением не существовало. Закономерен вопрос: передает ли в целом лексика ушедшей эпохи картину социальных изменений? С методологических позиций направления «история понятий» известно, что не всегда. Основным принципом, который мне близок в изучении этой части вопроса, будет признанная лингвистами качественная способность слов (лексем) менять свои значения со временем и формирование на определенном этапе научного исторического дискурса условий для образования специальных (научных) терминов на основе приобретения дополнительных признаков понятия, прежде известного в языке. Терминологическая проблема состоит в существовании сложных взаимоотношений между означающим и означаемым в научном дискурсе и в лексике изучаемой эпохи.

В историографии традиционно указывается, что состав и структура государева двора эпохи Московского царства находят отражение в «Дворовой тетради», боярских списках и боярских книгах, других делопроизводственных источниках. Поэтому попытаюсь передать предстоящую исследовательскую траекторию этого «терминологического» вопроса по следующему плану. Вначале предстоит выявить все возможные значения аутентичного словосочетания (выражения) 'государев двор' в источниках различных видов (разрядных книгах и боярских списках, законодательных памятниках из «Полного собрания законов», опубликованных делопроизводственных источниках) с возможностью компьютерного поиска лексем 'двор', 'дворец', 'дворовые', 'государев', 'царедворцы'. Далее было необходимо проанализировать логику эволюции значений выражения 'государев двор', представить варианты толкования понятия в начале XVIII в., описать значения синонимичных слов, принятых современниками Петра I. Второй этап процедур относится к выяснению соотношения значений аутентичного и научного терминов; выяснение логики историков, считающих важным применение термина 'государев двор' в социально-политических реконструкциях прошлого.

Наиболее характерное значение выражения 'государев двор' отчетливо фиксируется в разрядных книгах в контексте перечисления состава военных сил. Подобные данные немногочисленны¹, все выявленные случаи передают значение 'люди, общность' по нескольким признакам: 1) занятые на военной службе; 2) действующие по указу царя, зависимые от него, что многократно подчеркнуто словами 'велено', 'государев' и семантическими предикатами 'свой', 'его'; 3) ведомые в поход воеводой или персоной, облеченной доверием царя. Важно отметить, что структура 'двора' (его чины) не выделяются, для авторов разрядных книг важен признак обобщения одной части поданных в

перечислении с другими группами, совместно идущими в поход. Из случаев конкретного бытования термина в значении 'общность' невозможно указать на полный набор чинов, которые современники первых московских царей отождествляли с 'государевым двором'. Выяснить, входили в него или нет «дворовой воевода с товарищи» или «всякие приказные люди», трудно не по причине скудных примеров. Авторы разрядных записей замещали выражением 'государев двор' необходимость детального перечисления имен и чинов. Словосочетание выполняло функцию, аналогичную термину, отражающему современный концепт 'двор монарха' – подданных, служащих царю, создающих образ монарха. Подтверждением этому толкованию служат аналогичные сообщения в разрядах и других источниках о «царевых дворах» татарских царевичей и крымских ханов². Хотя разряды XVI в. дошли до нас в поздних списках XVII в. нет оснований считать, что на воспроизводимую терминологию искусственно «перенесены» какие-либо поздние из возможных значений изучаемого термина. Экстраполяция исключена и потому, что, начиная с эпохи Смуты, в течение XVII столетия значение понятия 'государев двор' как общности в среде служилой знати практически растворяется. Пока трудно уловить все причины семантического сужения выражения 'государев двор', которое в указанном значении было ограничено узкой средой бытования разрядной документации и, возможно, поэтому не прижилось. Но собственно выражение 'государев двор' сохраняло с XVI в. другое значение – «резиденции» государя, его семьи или царевича. Чрезвычайно широкое распространение выражения в этом значении прослеживается в источниках различных видов до конца XVII в.³ Это можно объяснить разнородной и постоянной практикой коммуникаций служилых и податных слоев населения, приезжих иностранцев с представителями государя. Также царское жилище называлось «двором», «дворцом»⁴.

Отзвуки этого значения 'государева двора' заметны еще в начале XVIII в. Сочиняя новый кодекс законов, «Палата об Уложении» 1700–1703 гг., пополняла среди прочих третью главу Соборного уложения 1649 г. с известным названием «О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от кого никакова бесчинства и брани не было». Из приказов Большого дворца и Посольского были доставлены новоуказные статьи, в которых 'государев двор' упоминался, как и в Уложении 1649 г., только в качестве резиденции. Еще один случай возник в связи с запросом сенаторами архивных дел из Разрядного архива в 1715 г. Дьяк Г. Окуньков подыскал несколько десятков дел и составил опись книг для посылки в новую столицу. В описи было упомянуто о «списке дворовым людям, которые от *государева двора* отставлены и для службы присланы в Разряд и в приказ Большаго дворца в 1700 г.». Однако в выявленном, хорошо сохранившемся документе искомый оборот не встречается⁵. Так в памяти опытного приказного дельца возник образ уже утраченной картины недавнего прошлого.

Петровская дипломатическая документация с 1703 г. наполняется терминами 'двор царского величества', 'двор Наш', которые следуют в качестве синонимов слов 'монарх', 'советники-сановники царя'. В договоре Петра I с кур-

ляндскими министрами будущие приближенные племянницы-царевны Анны Ивановны еще названы 'ея двор и служители' (1710 г.). Таким образом, древнерусское слово 'двор' продолжает сохранять значение 'общность – группа приближенных', но подразумевает оно уже не московские чины, как в XVI в., не фиксирует строгий набор чинов, это вновь обобщение, в современном нам значении 'придворные и монарх'.

Еще одно древнее слово – 'дворовые' – имеет исключительное значение 'общности', но интерпретация его будет зависеть от контекста и вида документации. Если речь идет о царском дворе, то 'дворовые люди' – это дворцовые чины, служащие и распорядители в дворцовых приказах (степенные и путные ключники, сытники, коннохи и др.), а на боярских дворах 'дворовые' – это прислуга и управители хозяйства вельможи⁶. В боярских списках XVIII в. 'дворовыми людьми' названы люди, пожалованные в чины «московского списка» из «дворового списка»⁷. Эти последние два списка (московский и дворовой) и обозначали для современников первых Романовых и Петра I чиновные перечни и служебный статус («служит по московскому списку»).

Насколько же весь спектр значений аутентичного выражения 'государев двор' можно соотнести с его словоупотреблением в трудах историков? «Двор государев, – писал бывший стольник В. Н. Татищев, – двояково разумеется, иногда токмо строение, что дворец называют, иногда все служители высокие и низкие заключаются, иногда самого государя в том разумеют...»⁸. Татищев уточнял синонимичность термина 'дворец', под которым «точно разумеется двор государев или его покои, как то во многих селах и по большим дорогам на станах для приезда государева дворцы построены. Особливо при дворе государеве назывались дворцы Большой, Кормовой, Сытной и Хлебной». Нет оснований считать, что историк намеренно искажал значения понятия. Над «Лексиконом» он работал с 1733 г., и к 1745 г. его «начерно написал». Прошло более 30 лет с момента, когда автор «Лексикона» причислял себя к стольникам и уже закономерно сравнивал 'двор государев' с двором императорским и европейскими, о чем он также сообщал⁹. Г. Ф. Миллер также прибегнул к лингвистическим реминисценциям, обнаруживая этимологическое родство слов 'дворянин' и 'двор государев' с термином 'Hofjunker' (от нем. 'придворный')¹⁰. Миллер «извлек» из источников и другой термин XVII в. – 'московский список', который позволил ему обобщить чины думные и московские, не стирая статусных граней между ними.

Современные значения историографического термина 'государев двор' базируются на концептуальных построениях крупных историков конца XIX в. Подробную эволюцию и отличия двора княжеского и московского изучал В. И. Сергеевич. Однако он не пользовался термином 'государев двор', но различал в «дворе московских государей» две составляющих основы – «новый двор и традиционный»: придворные чины (от «бояр введенных, окольных <...> до стряпчих и иных чинов») и дворцовые должности с «дворовыми людьми всех чинов» (от ключников до трубников и сурначей), восходящих к двору

княжескому¹¹. В. И. Сергеевич обнаружил и важную особенность придворных чинов с XVI в., каждый из которых «имел свою определенную честь, которая выражалась в месте, занимаемом им на лестнице придворных чинов <...> с течением времени она [честь. – А. З.] изменялась».

Для обобщения верхних страт в социальном облике русского общества В. О. Ключевский одновременно с В. И. Сергеевичем прибегал к термину 'двор московских государей'¹². Казалось бы, оба ученых следовали важнейшему замечанию С. М. Соловьева: «Совмещать все чины – от боярина до сына боярского – под общим именем *служилых* людей нельзя, ибо в памятниках высшие чины под именем ближних людей противоплагаются низшим *служилым* людям <...> сколько чинов, столько отдельных кругов, не связанных друг с другом»¹³. Систематические поиски аналогий древним понятиям и институтам, понятным читателю, приводили В. О. Ключевского к закономерным параллелям. Так, на страницах его трудов аналог государевой думы – это государственный совет, а бояре – тайные советники. Историк объяснял, что 'государев двор', был термином «придворного языка XVII в.» для обозначения «чинов столичного дворянства, [которые] уже к концу XVI в., образовали особый служилый корпус»¹⁴. В работах, последовавших вслед за «Боярской думой древней Руси», Ключевский придал понятию отчетливый смысл особой социальной общности. Спустя десятилетие под влиянием своих старших коллег и учителей – Ключевского и Сергеевича – С. Ф. Платонов в первом издании своих «Лекций» уже более определенно писал об учреждении с момента Опричнины «государева двора отдельно от старого двора московского». Этот новый элемент С. Ф. Платонов понимал как двор «особых бояр и окольных, придворных и служилых людей, наконец, особой “дворни” на всякого рода дворцах: сытном, кормовом, хлебом и т. д.»¹⁵. Таким образом, к началу XX в. на первый план авторитетные историки выдвинули два значения аутентичного термина 'государев двор', во-первых, как особой общности московских чинов, а, во-вторых, как совокупности дворовых чинов и «дворни» (служащих дворцов). Менее «популярными» в историографии XX в. остались два значения термина 'государев двор', которые выделял Татищев, как 'строение-хоромы', а также собственно двор, связанный с личностью государя. В этой последней татищевской трактовке можно без преувеличения увидеть не столько государя-монарха, сколько вновь социальную сущность. Такое «поведение» одного термина имеет хорошо описанные явления в лингвистике – сужение значений слова и придание смежных значений слову, которое начинает использоваться в научном дискурсе¹⁶.

В капитальных монографиях и комментариях к фундаментальным публикациям источников А. А. Зимина, В. И. Буганова, А. Л. Станиславского¹⁷ и других историков выражение 'государев двор' чаще было закавычено, что подчеркивало аутентичное происхождение термина. Вскоре после издания «Тысячной книги» и «Дворовой тетради» была обозначена проблема реконструкции состава 'государева двора'. Исследования состава и структуры 'двора' придали старому выражению новое значение. Фактически понятие 'двора' как

социально-политического института появилось в конце 1970-х гг. Произошла закономерная метаморфоза – анализ эволюции ‘двора’ как концепта привел исследователей к наполнению выражения ‘государев двор’ новым значением. В. Д. Назаров объяснял, что «идея двора» в значении института «в сословной организации господствующего класса» появляется в Северо-Восточной Руси еще в XII в. ранее словоупотребления слова ‘двор’ в этом же смысле¹⁸. Последний вывод (не касаясь гипотез возникновения «идеи двора») кажется обоснованным. Продолжение публикаций боярских списков и боярских книг XVII в. содействовало закреплению позиций нового научного понятия. Новое понятие быстро завоевало свое «место под солнцем», поскольку оно позволяло сделать обобщения в исследовании корпуса и службы «правлящего класса». Справедливым будет отметить, что далеко не все историки, занимавшиеся социально-политическими феноменами рубежа XVII–XVIII вв., пользовались термином ‘государев двор’. Академик М. М. Богословский фиксировал выражение только при цитировании источников, что было больше нормой в традициях до-революционной историографии¹⁹. Осторожно относятся зарубежные авторы, изучающие «двор», «придворных» как окружение царя. Например, Л. Хьюз и П. Бушкович совершенно обоснованно избегают институции термина, возникшего в советской науке, но активно используют понятие ‘двор’²⁰.

Именно выражение ‘государев двор’, а не другие аутентичные понятия (‘думные и ближние люди’, ‘московский список’, ‘царедворцы’), было выбрано отечественной историографией в новом ракурсе потому, что по артикуляции оно ассоциировалось с концептами ‘двор монарха’, ‘родовая знать’, понятными нашим современникам. Другие же вышеупомянутые выражения источников не отражали весь слой московской знати. Так, например, лексическая связка ‘московские чины’, иногда выбираемая историками в качестве синонима научного термина ‘государев двор’, на языке XVII – начала XVIII в. обозначала только чины от стольников до жильцов, а высшие чины обобщенно назывались «думными», «ближними» и «палатными»²¹. Другое слово, ‘царедворцы’, впервые вошло в лексикон не позже 1670-х г.²², но получило широкое распространение только в первой трети XVIII в. Слово ‘царедворцы’ с начала XVIII в. постепенно замещало в языке делопроизводства выражение ‘московские чины’, поскольку практика пожалований «по московскому списку» прекращалась, а слово имело более точный смысл, включая строго чины от жильцов до стольников; комнатные стольники царедворцами не назывались.

Отмеченное доминирующее значение научного термина ‘государев двор’ для эпохи XVII – начала XVIII в. может быть актуальным для постановки когнитивных задач в источниковедении и историографии, но для анализа социальных трансформаций XVII в. и Петровской эпохи это научное понятие не корректно. И главная причина в том, что московский царский двор XVII – начала XVIII в. как явление не был тождественен «армии» московских и дворовых чинов. А обладание чином было не только способом влияния на монарха и способом дифференциации чести, достоинства между разными родами и пред-

ставителями одной фамилии, но и гарантией получения материальных благ, статуса и службы для людей, далеких от центра политической жизни.

Боярские списки в историографии неоднократно выбирались мерилom состояния «государева двора как института правящего класса», а прекращение их составления, якобы в 1713 г., служило верхней хронологической границей существования этой институции. Конечно, служебные списки в силу их предназначения не могут быть однозначными индикатором состояния институции двора. Они составлялись в целях учета службы московских чинов. Однако, для реконструкции исследования состава и службы позднепетровской элиты важно, что служебные списки не прекращали составляться до 1721 г. Боярские и жилецкие списки 1714–1720 гг. до нашего времени не сохранились или не выявлены²³. Сохранившиеся в архиве документы составляют менее трети от всей существовавшей разрядной документации по учету службы московских чинов, что следует из сохранившихся описей Разрядного архива 1724 г.²⁴ Но и доступные служебные списки не дают репрезентативных сведений о службе обладателей московских чинов. По справедливым замечаниям А. Л. Станиславского и А. П. Павлова история московских чинов должна изучаться на основе взаимного сопоставления всех доступных источников.

Сохранял ли подобное статусное значение «московский список» в конце петровского царствования и в ближайшие годы после смерти первого императора? Изучение петровского законодательства первых двух десятилетий XVIII в. дает, скорее, положительный ответ. В законодательстве Петра I и распорядительных актах Сената «культивировался» термин «царедворцы», одновременно с 1713 г. рождалось понятие «шляхетства», о котором в историографии справедливо сказано как о идее, которая впервые объединяла московские чины и городских дворян. Назначение на службу и выбор на новые должности «царедворцев» и «палатных людей» тщательно прописывались в указах царя и сенатских приговорах до начала 1730-х гг. С прекращением пожалований в московские чины важно было определить статус детям старевших и умерших царедворцев, поэтому в учетных сенатских списках возник ряд паллиативных вариантов, подобных перечням «бояр и ближних людей и стольников знатных детей». Как видно, значение фактора происхождения совершенно не потеряло значение.

Возможно, высказанные наблюдения проиллюстрируют влияние конструктивистского подхода в историографии как «бессознательной проекции» на историю структур разума²⁵. Как выясняется, в историографии существовало несколько вариантов понимания «государева двора», один из которых проявился в его презентации как социально-политического института. Это последнее значение было экстраполировано на исследование чинов «московского списка». Произошло смещение значения слова по смежности: название содержащего стало названием содержимого. Другими словами, выражение «государев двор», в XVI в. обозначавшее среди прочего приближенных царя, в том числе из высших (дворовых) чинов, в историографии стало отождествляться с думными и московскими чинами, а позже и в качестве институции. Сгенерирован-

ное таким образом научное понятие 'государев двор-институт' оказалось востребованным, удобным для выражения смысла, который историки вкладывали в изучении 'двора' как определенной структуры (концепта), существовавшей до возникновения аутентичного выражения, обозначающего особую общность – придворных и монарха. Историографическим фактом нужно считать изображение в советской историографии 'государева двора' с XVI в. как института в российской государственно-политической системе, в этом значении необоснованно перенесенное на более позднюю Петровскую эпоху.

Примечания

¹ Выявленные случаи выражения 'государев двор' в значении 'общность': 1) «Да в большом же полку шибанской царевич Шигoley да воевода князь Юрья Михайлович Галицын з государевым и великого князя двором» – говорится о событиях 1541 г. См.: Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1, ч. 2. М., 1977. С. 295; 2) «А с воеводами царского величества дворяне государева двора и дети боярские из розных городов выбором да и стрельцы и казаки» – 1555 г. См.: Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1, ч. 3. М., 1978. С. 468; 3) после перечисления государева полка, принимавшем участие в походе из Новгорода в Псков 1577 г. упомянуты стрельцы московские и «дворцовых городов» «и всего стрельцов ево государева двора и дворовых городов – 1280 человек». Здесь, возможно, речь идет о рекрутировании стрельцов для охраны двора как резиденции. См.: Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2, ч. 3. М., 1982. С. 462; В последующих случаях говорится о событиях 1591 г.: 4) о повелении царя быть в готовности к военному походу «с своим шурином» Б. Ф. Годуновым «дворяном большим, и своему государеву двору чашником, и стольником, и стряпчим, и жильцом, и всяким приказным людям». См.: Разрядная книга 1550–1636 гг. Т. 2, вып. 1. М., 1976. С. 79; 5) о том же в другом списке разрядных книг «указал быти против крымского царя Казы-Гирея [со] своим государевым двором и с прибылою ратью и с обозом и с нарядом конюшему и боярину и дворовому воеводе Борису Федоровичю Годунову с товарищи». См.: Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 441; 6) об указе Годунову, а также кравчему и окольниковому «и всем людям, которые с ними с Москвы посланы, и своему государеву двору итти к Москве». См.: Разрядная книга 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 87; 7) в другом случае видим итог: «Годунов с товарищи з государевым двором пришли к государю царю и великому князю Федору Ивановичю всеа Русии к Москве». См.: Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 450.

² Например, такова запись в Записной книге Полоцкого похода 1562/63 г. «В Вязме збиратись: татаром служилым, новокрещеном и татаром из городов, городецким всем, и Сеиту с товарищи, и цареву двору, и темниковским, и ценским, и мордве...».

³ Приведу выборку примеров понятия 'государев двор' наиболее разноплановых по контексту и хронологии в значении 'резиденция': 1) в разрядной книге о свадьбе удельной старицкой княжны Марии 1572 г. «А как свадьбе быть, и тому роспись: Месту быти на государеве дворе». См.: Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2, ч. 2. М., 1982. С. 329; 2) говорится о новгородском строительстве в 1585 г. «а Торговую сторону, где государев двор, делать окольниковому» И. М. Бутурлину, и кн. И. М. Елецкому и дьяку И. Евскому. См.: Разрядная книга 1550–1636 гг. Т. 2, вып. 1. М., 1976. С. 21; 3) в «Записке о царском дворе», составленной около 1610 г. «А на дворе государеве столников, и стряпчих, и жилцов дозирует и рассказывает постелничей; а имена их, и куды

кого послать, тем владеет Розряд». См.: ААЭ. Т. 2. С. 423; 4) вновь в разрядах 1624 и 1626 гг. «А от государева двора от крыльца до посолскаго двора стояли, по обе стороны, стрелцы с пищалми», «пожар был на Москве большой, а выгорели два города Кремль да Китай, и хоромы царские, и весь двор государев, и патриархов двор». См.: Дворцовые разряды (ДР). Т. 1. Стб. 823; 5) в Соборном уложении 1649 г. термин встречается только в значении 'резиденция' и только в 3-й главе: «...ни ис какова оружия никому без государева указа не стреляти, а с таким оружием в государеве дворе не ходити. А будет кто в государеве дворе на Москве, или в объезде кого ранит, или кого убьет досмерти, и того казнити смертию же». Трижды упоминаемую фразу 'за честь государева двора' необходимо понимать в контексте санкций за нарушение запретов, установленных «на дворе»; 6) в распроданных речах из документов коломенского розыска 1662 г. «ехав де в Коломенское, взошли на государев двор вместе, и на государеве де дворе явились они окольниковому» Стрешневу. См.: Восстание 1662 г. в Москве : сб. док. М., 1964. № 59; 7) в разрядной книге 1700 г. «в. г. указ на его государеве дворе на Постелном крыльце Московских и всяких чинов ратным людям сказан». См.: ДР. Т. 4. Стб. 1130.

⁴ Впрочем, один из экстраординарных современников царя Алексея, Юрий Крижанич, сетовал на непригодность русского слова 'дворец', обозначающее царское жилище 'как будто это маленький двор'. См.: Крижанич Ю. Политика. М., 1997. С. 117.

⁵ РГАДА. Ф. 210. Оп. 7а. Д. 48.

⁶ Редким примером одновременного упоминания «дворовых» царских и боярских является описание в разрядной книге событий сентября 1682 г. «да к ним же [Хованским] не пристали стремяной да выборной полки, а которые были на Москве бояре и дворяне и всяких чинов государева двора и люди боярские, и они их хотели рубить». Соловьев С. М. Сочинения. Кн. VII. М., 1991. С. 324–325.

⁷ Соборное уложение 1649 г. Гл. 16, ст. 68; гл. 18, ст. 65.

⁸ Татищев В. Н. Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской // Татищев В. Н. Избр. произведения. Л., 1979. С. 255.

⁹ Речь идет об окончании статьи «Двор государев»: «например, посол определен ко французскому двору или ко французскому королю. О чем зри под именем немецким Гоф.». Там же. С. 26–28, 255.

¹⁰ Миллер Г. Ф. Известие о дворянх [Российских] // Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М., 1996. С. 192.

¹¹ Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. 1. СПб., 1890. С. 356.

¹² Ключевский В. О. История сословий в России. Т. 6. С. 320–327. Впервые работа опубликована литографическим способом в 1887 г.

¹³ Соловьев С. М. Исторические письма // Соловьев С. М. Сочинения : в 18 кн. М., 1995. Кн. 16. С. 375–376.

¹⁴ Ключевский В. О. Состав представительства на Земских соборах Древней Руси // Ключевский В. О. Сочинения : в 9 т. Т. 8. М., 1990. С. 326.

¹⁵ Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1900. Вып. 2. С. 161. Кстати, Платонов первый выяснил замену слова 'опричнина' на термин 'двор' на основе изучения разрядных книг. См.: Платонов С. Ф. К истории опричнины XVI в. СПб., 1897. С. 14–15.

¹⁶ Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю. М., 2001. С. 188–192; Прохорова В. Н. Русская терминология. Лексико-семантическое образование. М., 1996. С. 77–88.

¹⁷ Тысячная книга 1550 г. и Дворцовая тетрадь 50-х гг. XVI в. М.; Л., 1950; Буганов В. И. Разрядные книги последней четверти XV – начала XVII в. М., 1962; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. I–IV. М., 1977–2003; Разрядная книга 1475–1598 гг. / подгот. текста, введ. ст. и ред. В. И. Буганова; отв. ред. М. Н. Тихомиров. М., 1966; Станиславский А. Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII вв. М., 2004.

¹⁸ Назаров В. Д. «Двор» и «дворяне» по данным новгородского и северо-восточного летописания (XII–XIV вв.) // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978; Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 387.

¹⁹ Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии. М., 1940–1948. Т. 1–5.

²⁰ Линдси Хьюз. Царевна Софья. М., 2001; Бушкович П. Петр Великий. Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008.

²¹ Последний термин это синоним слов ‘думные люди’, который употреблялся в разрядном, а позже в сенатском делопроизводстве до начала 1720-х гг.

²² Седов П. В. Закат московского царства. СПб., 2006. С. 52.

²³ Выявлены упоминания о существовании официальной копии боярского списка 1714 г., составленной в 1721 г. См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 5. (См.: Захаров А. В. Неизвестная подлинная копия боярского списка 1714 г. // Вестн. Челяб. гос. ун-та. История. 2009. № 23, вып. 33. С. 144–150). Некоторые сенатские книги Сената насыщены упоминаниями о боярских и жилецких списках 1714–1720 гг. (РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Ед. хр. 649. Л. 113, 367 и след.; Ед. хр. 641. Л. 657, 712 и след.).

²⁴ См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 103–110.

²⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001. С. 9.

*А. Г. Васильев
(Российский институт культурологии, г. Москва)*

***ИСТОРИОГРАФИЯ КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ
И ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В ПЕРИОД РАЗДЕЛОВ (1795–1918)***

Статья посвящена польской исторической мысли эпохи разделов (1795–1918 гг.) в перспективе «мемориальной парадигмы» социально-гуманитарного анализа (memory studies) и теории культурной травмы. Предполагается рассмотреть теоретические основания такого рода анализа и выявить основные стратегии посттравматического восстановления исторического смыслообразования в польской историографии того времени.

История и память: теоретические дискуссии

Идея основоположника memory studies французского социолога Мориса Хальбвакса о том, что образ прошлого социально конструируется, оказалась чрезвычайно продуктивной и востребованной исследователями. Однако она тут же повлекла за собой вопрос о соотношении истории и коллективной памяти как формы сохранения и трансляции социально значимой информации о прошлом. Сам Хальбвакс стоял на твёрдых позитивистских позициях и в духе Л. фон Ранке противопоставлял историческую науку и память. История, по его мнению, должна быть объективной, беспристрастной, вневличностной, абсолютной картиной прошлого такого, каким оно было «на самом деле», память же является прямой её противоположностью. Она субъективна, избирательна, пристрастна, связана с интересами групп. История начинается там, где память заканчивается, и наоборот. И сегодня ориентированным таким образом историкам понятие памяти кажется «троянским конём» постмодернистской критики в профессиональном историописании. Для того чтобы разграничить историю и память, сторонники демаркации подчёркивают обычно профессиональный характер исторического знания, его институционализацию, программное стремление исторической науки к истине, объективности, способности взглянуть на прошлое с разных сторон.

Так, например, Ж. Ле Гофф полагает также, что задачей исторической науки является освобождение памяти от ошибок и заблуждений и отождествлять эти формы познания прошлого ни в коем случае нельзя¹.

В то же время значительная часть историков рассматривает историописание как форму культурной (социальной) памяти. Отмечается, что невозможно провести чёткую границу между этими двумя способами видения прошлого. История, как и память, зависит от места, времени и социально-культурного контекста возникновения.

Так, известный современный историк культуры П. Бёрк отмечает, что историки разных мест и времён сохраняют в качестве достойных памяти разные аспекты прошлых событий и изображают их очень по-разному, в соответствии с господствующей в их группе оптикой².

Сегодня граница между историей и *memory studies* всё больше размывается. Историописание всё чаще трактуется как форма памяти общества, которая в образах прошлого так или иначе отражает социально-политический и духовный контекст своего времени, состояние общественного сознания. Историков часто называют новыми «шаманами» своих «племен». Возникает проект «истории памяти», которая изучает процессы моделирования прошлого в памяти социальной группы. «История памяти» задаётся вопросом не об истинности или ложности тех или иных представлений о прошлом, а о причинах создания, поддержания или изменения определённого образа. Сближение дошло до того, что один из ведущих современных методологов исторической науки профессор Л. П. Репина ставит в своих выступлениях последнего времени вопрос о «пользе дистанцирования» истории и памяти³.

Автор настоящей статьи в своих исследованиях исходит из концепции известного польского социолога Барбары Шацкой, понимающей под «памятью» и «историей» веберовские идеальные типы, пространство между которыми заполнено бесчисленным количеством смешанных и переходных форм⁴.

Национальная история как форма культурной памяти

Наиболее универсальной формой культурной идентичности эпохи модерна стала нация. Национальная идентичность пришла на смену уходящим общностям, основанным на принципах верности религии и правящей династии. Парадокс феномена нации состоит в том, что, будучи объективно новым, современным явлением, всякая нация стремится предстать чрезвычайно древней. Научным коррелятом националистических движений и идеологий становятся национальные истории.

В ситуации модернизации, когда традиционные династические и конфессиональные легитимации утрачивали действенность, на первый план выдвигались исторические обоснования общности и единства. Образы исторического прошлого стали активно функционировать в современности, а историографические дискуссии – отражать полемику вокруг остроактуальных проблем текущей общественной жизни.

XIX в. стал «веком истории». Историческая наука в это время активно профессионализируется, превращаясь из любительского занятия развлекательно-назидательного характера в признанную академическую дисциплину, претендующую на официальный статус и правительственную финансовую поддержку. В эпоху стремительной экономической, социально-политической и духовной перестройки научно удостоверенная «изначальность», древность той или иной формы общности, социально-политического института, нормы приобрели особый вес, а специалисты-историки, способные эту «исконность» удостоверить, – особый авторитет.

Истории национальных государств оказываются поэтому чрезвычайно востребованными. Исследования такого рода более охотно, чем какие-либо другие, финансируются правительствами национальных государств и поддерживаются активистами национальных движений. Эти версии национальной истории должны, с одной стороны, противостоять агрессивным поползновениям иных наций, доказывая изначальные территориально-политические права собственной нации. С другой стороны, они противостоят локальным сепаратистским движениям, показывая изначальную принадлежность к данной нации общностей, претендующих на автономию, «историческую неизбежность», «прогрессивность» их вхождения в данную нацию. Далее созданная версия национальной истории должна быть доведена до членов нации и усвоена ими. Эту задачу выполняет система образования. В ситуации, когда поддерживающая систему всеобщего образования национальная государственность отсутствует, национальные движения создают альтернативные институты национального (в том числе и исторического) образования и прилагают усилия по его официальной легитимации.

Мы полагаем, что по «шкале Шацкой» национальная история приближается к памяти и о ней можно говорить как о форме культурной памяти в трактовке этого понятия, данной Я. Ассманом⁵.

То есть национальная историография, по нашему мнению, довольно точно соответствует данному Я. Ассманом определению культурной памяти и является специфической для культуры модерна формой передачи и осовременивания культурных смыслов, знанием, управляющим поступками и переживаниями внутри определённого общества, подлежащим специально организованному повторению и закреплению в особых созданных обществом формах.

Формы памяти: конфигурации социального структурирования прошлого

Если мы можем говорить об историографическом повествовании как о мемориальном нарративе, то правомерно поставить вопрос и о закономерностях его внутреннего устройства. В зависимости от типа выстраиваемой идентичности и решаемых при этом задач, нарратив памяти по-разному организовывается и структурируется. Культурная память обладает собственной «грамматикой», набором устойчивых форм. Особый интерес в связи с этим представляют работы ведущего представителя когнитивной социологии культуры Э. Зерубавеля. В рамках данного направления рассматривается то, как сообщества очерчивают и вводят в

определённые рамки воспоминания своих членов так, что присущее им видение прошлого является не столько индивидуальным, сколько социальным опытом. «Разные сообщества по-разному видят начальные и конечные точки исторически значимых событий; “мнемонически социализируют” своих членов с тем, чтобы они определённым образом рассматривали определённые начальные и конечные точки, определённые континуальности и разрывы во времени, а также вписывали своё понимание прошлого в специфические сюжетные фабулы»⁶.

Память обладает способностью структурировать серии разрозненных событий в различном образом упорядоченные нарративы. Одно и то же событие при этом может приобретать разное значение, в зависимости от того, в какую сюжетную структуру оно оказалось включено. События при этом ставятся в определённую взаимосвязь. Решение же этой задачи сразу же требует и решения *проблемы, связанной с выбором типа взаимосвязи*. Важно, в какое повествование и в каком качестве будет включён тот или иной исторический сюжет.

Эти мнемонические модели имеют социальное происхождение и играют решающую роль для наделения определённого события тем или иным значением. Э. Зерубавель пишет об этом так: «Я полагаю, что историческое значение событий существенным образом связано со способом их расположения в наших умах *vis-a-vis* по отношению к другим событиям», с их «структурной позицией в рамках таких “исторических сценариев”, как “водоразделы”, “катализатор”, “последняя капля”»⁷. Повествование может быть организовано, например, вокруг образов прогресса, упадка, циклизма, движения от упадка к возрождению и от возрождения к упадку. При этом для каждого конкретного культурного контекста характерно преобладание нарративов определённого типа.

В коллективном образе прошлого есть свои «периоды-фавориты» и «пустые» исторические периоды, своеобразные «вершины» и «долины» коллективной памяти. Обозначая определённый ряд событий в качестве однородных и принадлежащих, следовательно, одному и тому же периоду, коллективная память создаёт одновременно и исторический дисконтинуитет. Выделяются определённые события, получающие статус «поворотных моментов истории», с которых начинается новая эпоха и происходит полный разрыв с прошлым.

Casus Poloniae: травма разделов

Итак, «мнемонические континуумы» создаются разрывами. В истории народов, писал историк Н. И. Кареев, случаются события, проводящие «...резкую грань между периодами в историческом бытии народа. Бывают в жизни наций и государств эпохи крутого перелома, когда в сравнительно короткий промежуток времени сразу изменяются самые существенные условия культурно-социальной жизни, когда всему предыдущему подводятся итоги и начинается совершенно новая жизнь»⁸.

Наиболее радикальные разрывы такого рода могут быть определены как травматические. Немецкий историк Й. Рюзен определяет культурную травму как катстрофический кризис. Это такой кризис, который «разрушает структуру по-

рождения смысла и препятствует её восстановлению таким образом, чтобы она могла выполнять те же функции, что и разрушенная», он «разрушает способность исторического сознания превращать последовательность событий в осмысленное и значимое повествование», порождая разрыв непрерывности исторического опыта и ставя под сомнение идентичность, травма оказывается таким историческим событием, которое «...уже просто тем, что оно произошло, разрушает <...> культурные возможности его помещения в исторический порядок времени...»⁹.

При этом важно отметить, что в рамках социокультурного подхода к анализу травмы подчёркивается ее конструируемая природа. То или иное событие само по себе не является травматическим. Травмой оно становится только в рамках соответствующей интерпретации. «Травма – социально опосредованная атрибуция», – пишет Дж. Александер¹⁰. «Культурная травма, – отмечает П. Штомпка, – это рана, нанесённая самой культурной ткани и интерпретированная культурой как таковая»¹¹. Социальный кризис становится культурной травмой, если он соответствующим образом интерпретирован. Культурная травма возникает в результате «решения» социальных акторов (в нашем случае, это в первую очередь национальная интеллигенция и общественные деятели) воспринять определённые события как наносящие непоправимый урон их самоидентификации, ощущению своего места в мире и в исторической перспективе.

Польская национальная память (в том числе и в историографической форме) развивалась в первую очередь как ответ на травму разделов страны. Представляется, что концепт культурной травмы очень точно отражает польскую ситуацию после исчезновения государственности. Речь шла об обществе, обладавшем древней и мощной государственностью, стране, претендовавшей на гегемонию в Восточной Европе и исчезнувшей с политической карты в течение нескольких десятилетий. В традиционные модели историософского смыслообразования это событие не вписывалось и породило культурный шок.

Разделы стали своеобразной «черной дырой» смысла, поглощающей и отрицающей любую попытку интерпретации, поскольку само событие является разрушением и отрицанием основ той цивилизации, в системе значения которой эта интерпретация могла бы быть произведена. В процессах «проработки» травматического опыта, поиска путей восстановления исторического смысла и формирования национальной идентичности решающую роль сыграет историческая наука.

«Оптимизм» и «пессимизм» польской памяти

Утрата государственности в последней трети XVIII в. привела к тому, что именно истории стал принадлежать значительный перевес в структуре польской национальной идентичности. Историографии предстояло «рассказать польские воспоминания, символы, мифы <...> реконструировав и по-новому истолковав польское культурное наследие применительно к современным условиям»¹².

Польская профессиональная историческая наука складывалась в период разделов и этот факт наложил на неё неизгладимый опечаток. Польские историки того времени, за редкими исключениями, занимались преимущественно

отечественной историей. Оценка разделов Польши стала для них перспективой смыслообразования¹³. «По всей польской национальной историографии XIX в. можно проследить влияние, какое оказали взгляды относительно причин гибели польского государства, на различные построения всей польской истории», – писал Н. И. Кареев¹⁴. «Польские историки, – через столетие пишет Н. Дэвис, как бы вторя Карееву, – были заняты в первую очередь историей разделов. Падение старой Польши, его причины и последствия, остаются и до сегодняшнего дня главной страстью польской историографии. <...> Пророки гибели и продавцы надежды составляют здесь прекрасную пару»¹⁵.

При этом, польская, как и все другие, становящиеся и борющиеся за право на существование нации, была склонна актуализировать в своих национальных историях скорее «горячую», ориентированную на динамику и неповторимые события, версию культурной памяти, нежели «холодный», ориентированный на вечное повторение одного и того же ее вариант.

Поиск путей выхода из кризиса коллективной идентичности мог быть найден с использованием (в терминологии Я. Ассмана) либо «обосновывающей», либо «контрапрезентной» функции «горячей» культурной памяти. В своей «обосновывающей» функции она показывает прошлое как осмысленное и подтверждающее необходимость настоящего порядка вещей. «Контрапрезентная» же функция, напротив, связана с ощущением несовершенства настоящего и обращением к прошлому как к «золотому веку», «героической эпохе» и т. п. Здесь настоящее критикуется с точки зрения «прекрасного прошлого», сравнение с которым раскрывает всё несовершенство текущего положения дел.

В таком случае национальная историография в качестве стратегий детравматизации и восстановления целостности идентичности социальной общности может предложить два пути нормализации ситуации. Первая, «контрапрезентная» стратегия будет настаивать на нетерпимости существующего положения вещей, исходя из исторических заслуг и исторического предназначения народа. Причины происходящего усматриваются в воздействии внешних враждебных сил, а смысл событий помещается в метафизическо-провиденциальную плоскость. Переносимые страдания становятся при этом залогом грядущего триумфа. Вторая, «обосновывающая» модель «мемориального нарратива» заключается в «сшивании» исторической ткани путем показа объективной неизбежности и закономерности происходящего. Трагическому оптимизму и героической жертвенности первой модели противопоставляются призывы к историческому смирению, самокритике, исправлению ошибок и прагматизму.

На протяжении «долгого польского XIX в.» «язык исторического смысла» был обретён, ткань истории вновь сшита. При этом были выработаны две модели детравматизации национального сознания – «оптимистическая», представленная в первую очередь романтической концепцией выдающегося польского историка Иоахима Лелевеля и великого поэта Польши Адама Мицкевича, и «пессимистическая», нашедшая свое наиболее полное отражение в трудах «краковской школы» историков и политических мыслителей.

Не имея возможности изложить их позиции здесь подробно, мы лишь кратко суммируем их выводы в интересующей нас перспективе.

Гибель страны выступала в одном случае как «оптимистическая трагедия» общества, опередившего своё время, но самой своей обречённостью выполняющего великую всемирно-историческую миссию и несущего свет всему человечеству. В более умеренно-позитивистской версии «оптимистического» подхода обосновывалась мысль о том, что польское общество не представляло никакой аномалии развития, нарушения общих законов социально-политической динамики. Поэтому распад государства был результатом насильственного внешнего вмешательства. «Оптимистическая» версия была «контрапрезентной», она концентрировалась на образах величия Речи Посполитой и отказывалась принять нормальность существующего в период разделов положения вещей.

В другом, «пессимистическом» сценарии травма снималась путём показа неизбежности произошедшего, призыва извлечь из этого уроки. «Пессимистическая» историография (если снова использовать терминологию Я. Ассмана) носила «обосновывающий» характер. Она стремилась нормализовать национальную идентичность, говоря о коренных пороках социально-политического устройства страны, которая закономерно шла к своему трагическому финалу с самых ранних периодов истории, не замечая за мнимыми триумфами неизбежности конца.

Конкретно-историографическим преломлением дилеммы национального оптимизма/пессимизма стала дискуссия о преимущественном влиянии внешних (оптимизм) или внутренних (пессимизм) причин гибели страны.

События польской истории, организованные в «мнемонический континуум» разрывом разделов, дали основания для написания двух разных сценариев одной исторической драмы. «Оптимисты» рассказали историю о злодейском, умышленном убийстве могучего, красивого (или, как минимум, совершенно нормального и равноправного) героя европейской истории, совершённом неблагодарными и вероломными соседями. «Пессимисты» показывали драму медленного и мучительного умирания безнадёжного больного, не понимавшего всей серьёзности своего состояния, страдавшего бредом и считавшего себя полным сил и здоровья, угрожавшего всем заражением и вынудившего окружающих принять срочные меры, ввести карантин, учредить опеку, постараться объяснить ему причины недуга и убедить попытаться помочь в собственном излечении.

До сих пор польская национальная идентичность существует между заданными некогда усилиями интеллектуалов экстремумами «мемориального пространства», актуализируя то одну, то другую его сторону в зависимости от внешних обстоятельств и актуального состояния польского общества.

Таким образом, представляется, что исследование нарративных стратегий восстановления исторической преемственности и смыслообразования при помощи инструментария, предлагаемого *memory studies* и концепцией культурной травмы, могут быть весьма перспективными и плодотворными.

Примечания

¹ Jacques Le Goff. *Histoire et mémoire*. Paris : Gallimard, 1988.

² Burke P. *History as Social Memory // Memory : history, culture and the mind*, Oxford : Blackwell, 1989. P. 97–113.

³ Доклад Л. П. Репиной «История и память : о пользе дистанцирования» был прочитан 5 октября 2010 г. в Кракове на Российско-польском научном конгрессе «Россия и Польша. Трудные вопросы – три нарратива (история, литература, фильм)» и находится в настоящее время в печати.

⁴ Szacka B. *Czas przeszedły, pamięć, mit*. Warszawa, 2006. S. 30.

⁵ См.: Ассман Я. *Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности*. М. : Языки славян. культуры, 2004.

⁶ Brekhus W. *The Rutgers School. A Zerubavelian Culturalist Cognitive Sociology // European Journ. of Social Theory*. 2007. № 10 (3). P. 453.

⁷ Zerubavel E. *Time Maps. Collective Memory and The Social Shape of the Past*. Chicago, 2003. P. 12.

⁸ Кареев Н. «Падение Польши» в исторической литературе. СПб., 1888. С. 2.

⁹ Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времён» : проблемы исторического сознания / отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005. С. 41–43.

¹⁰ Alexander J. C. *Toward a Theory of Cultural Trauma // Cultural Trauma and Collective Identity / J. C. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen, N. J. Smelser, P. L. Sztompka*. Berkeley, 2004. P. 8.

¹¹ Sztompka P. *Cultural Trauma : The Other Face of Social Change // European Journ. of Social Theory*. 2000. Vol. 3 (4). P. 458.

¹² Смит Э. *Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма*. М. : Праксис, 2004. С. 244.

¹³ Что встречало иногда возражения в польском историческом сообществе. Так, историк Владислав Смоленский писал: «Принятие катастрофы упадка за исходный пункт рассмотрения прошлого по сути своей неверно и вредно для истории как науки. Факт упадка государства, существенный для истории последующего времени, без всякого на то основания был принят за основополагающий при изучении истории, предшествовавшей разделам. Факт упадка должен быть исходным пунктом для последующей истории постольку, поскольку он изменил условия дальнейшего развития. Также как в XIII столетии это сделали татарские набеги и немецкая колонизация, а в XIV – объединение с Коронай территорий Литвы и Руси. Однако мы не видим научных оснований для того, чтобы принимать его за путеводную нить при рассмотрении всего прошлого» (Smoleński W. *Szkoły historyczne w Polsce. Główne kierunki poglądów na przeszłość*. Wrocław. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952. S. 145). Возражения эти, однако, ничего не меняли в общем положении вещей.

¹⁴ Кареев Н. И. Указ. соч. С. 1.

¹⁵ Davies N. *Heart of Europe. The Past in Poland's Present*. N. Y. : Oxford Univ. Press, 2001. P. 176.

А. П. Романов
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)

**ИЗУЧАЯ ЗАГАДОЧНОГО АБОРИГЕНА: «ОРИЕНТАЛИЗМ»
В ОЦЕНКАХ РУССКИХ КРЕСТЬЯН В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА**

«Дом, где я пишу эти строки, почти такой же, какой был там, на Ниле. Стены – из воздушного кирпича, потолок из сосновых досок (в нильском доме он также был из русского леса), обстановка – дешевая Европа пополам с дешевой Азией, плохенькие зеркала, деревянные стулья, швейная машина и восточные ковры по лавкам вдоль стен. И там, и тут на улице слышны капризные крики верблюдов и дикие песни «туземцев». Там распевали феллахи, рывшие канал; тут визжат толпы казачек, вот уже третий день напивающихся на свадьбе и с неуклюжими плясками шатающихся по поселку, несмотря на адский зной»

А. Дедлов¹

Крестьяне, составлявшие большинство населения Российской империи, играли значительную роль в ее исторической судьбе. Разрешение аграрного вопроса на рубеже XIX–XX вв. представлялось политическим и интеллектуальным элитам важнейшей проблемой, связанной с благополучием общества в обозримом будущем. Поэтому мониторинг крестьянства и сбор надежной информации о нем являлись актуальными и весьма востребованными мероприятиями в обозначенный исторический период.

Особенностью этого процесса было то, что «...начиная с XIX века русский правящий класс конструирует свой “Восток”, свой Orient внутри собственной страны. Роль загадочных чалмоносных турок и мумифицированных фараонов

играет собственный так называемый “народ”, точнее – тот сконструированный объект дискурса (и, естественно, господства!), который получил название “народа”. Этому объекту атрибутируют самые разнообразные черты, которые можно совокупно характеризовать как “крайний экзотизм”. “Русский мужик” выступает главным носителем экзотизма в современной автору русской жизни – мало того, что его решительно невозможно понять, он, обряженный в зипун и лапти, и внешне совсем непохож на автора в его сюртуке или вицмундире. Это – Другой. Именно в этом смысле лапти и борода русского крестьянина в глазах русского писателя, чиновника, помещика ничем не отличаются от чалмы турка или шальвар персиянина в представлении европейского ученого-ориенталиста, путешествующего по Востоку писателя, колониального чиновника или военного»².

Знание о русских крестьянах складывается из того, что написали о них некрестьяне, проявившие интерес к изучению загадочного «народа». Представления и воззрения носителей сюртуков и вицмундров пронизывают практически все свидетельства о крестьянах, имеющиеся в нашем распоряжении³.

Мое внимание, в силу собственного исследовательского интереса, останавливается на сельских учителях и земских статистиках, поставивших «большой культуре» факты, относившиеся к жизни, культуре и хозяйственному быту деревни.

Учителя, в отличие от других представителей русского «интеллигентного общества», непосредственно контактировали с крестьянами, жили в одной среде с ними, часто в одних домах. Они ежедневно существовали в пограничном пространстве «большой» и «малой» культурных традиций, открывая диалоговое окно между ними.

Сельские учителя ежедневно общались с крестьянскими детьми и весьма регулярно с их родителями, следовательно, могли наблюдать картину крестьянской жизни, претендуя на роль ее знатока в интеллигентном сообществе. Вместе с тем они очень часто воспринимали крестьян как «иных», «других» существ.

К примеру, учителя сталкивались с необходимостью учитывать особенности культуры крестьянства и рассказывали о своем опыте адаптации к общественному быту деревни. «Крестьяне были, во-первых, сильно против школы и, заметьте, не против ученья, но против школы», – вспоминала одна из учительниц, которая приняла деревенскую школу после изгнания крестьянами с учительской должности волостного писаря⁴. В результате ей пришлось почувствовать на себе все последствия работы предшественника, не имевшего специального педагогического образования. Она «дрогла и голодала» по дням, а попечитель-крестьянин заявил ей, что не будет делать в школе улучшений «пока толка не увидит». В обращении с ней он был груб и заносчив. Все это учительнице приходилось терпеть до первых экзаменов на получение свидетельства об окончании начальной школы. Только после экзаменов, когда крестьяне увидели, что «начальство» осталось довольным работой учительницы,

их отношение к ней заметно переменялось. Теперь с ней стали советоваться, деревенские бабы стали ходить к ней «рассудиться» и ее словами «давали друг другу цену». Попечитель стал очень душевным и с удовольствием принимал у себя дома. Во многом это было следствием ее тактики поведения с крестьянами: она старалась приспособливаться к крестьянским понятиям о жизни, в чем-то им уступать, со старостой общалась почтительно, учитывая его возраст и привычный для него статус в деревне; играя на его самолюбии, добивалась поддержки школы.

Другой педагог – антипод первой героини – окончила гимназию, владела немецким и французским, прочла много книг по педагогике, являя собой типичный образец профессионала. Однако она не смогла найти общего языка с крестьянами, не желая приспособливать свои привычки, образ жизни и способ общения к деревенским обычаям. Поругалась с деревенскими мужиками, со старшиной, который оказался в глазах начальства прав. Она писала жалобы по различным инстанциям. В итоге ее перевели в другую школу, но и там история повторилась. Разместившись на жительство в крестьянской избе, она начала учить хозяев все делать «по-разумному»: вести хозяйство и содержать дом в чистоте. Из этого ничего не вышло; тогда она перешла жить в училище, но крестьяне все равно были недовольны: «Басурманка, веры – немецкой, в пост мясо жрет, словно нехристь какая!». Ей пришлось переезжать в новое место, откуда она вскоре вернулась в город, заявив, что не хочет жить в «тупой среде дикарей». «Ну и народ! Да тут только и может быть учителем, кто вырос в их диких понятиях!» – восклицала она. Цивилизационный конфликт в данном случае налицо: сбой коммуникации ведет за собой четкое очерчивание границы «своих» – цивилизованных граждан и «чужих» – крестьян-дикарей, выносимых за рамки возможного диалога в пространство упомянутого «крайнего экзотизма».

Учитель, потерпевший педагогическое поражение, мог воспользоваться ресурсами дискурса о «народе» как герметичном «ином», замкнутым в себе и недоступным для нормального понимания.

Даже учителя-выходцы из крестьян рассуждали о первобытности многих крестьянских представлений. Учитель, вспоминая о своем крестьянском детстве и ученичестве в школе, организованной помещиком (дело было в 40-е гг. XIX в.), приводит яркий образ: однажды увидев красивую шкатулку, не мог понять «откуда происходят такие прекрасные вещи». Многие из его одноклассников думали, что они растут из земли, как растения, или их находят⁵. Бывший педагог Вересов вспоминал о том, как в родной деревне его провожали в учительскую семинарию: «Соседки нанесли мне вареных яиц, пирогов, плакали, как будто бы меня отправляют в солдаты или навеки расставались со мной. Соседи замечали, что зря уходит из деревни, парень смысленный, в деревне есть у чего жить, а что в чужих краях (54 версты) случится – неизвестно»⁶.

Учитель мог с охотой рассказывать о том, как трудно было взрослым крестьянам осваивать письменные принадлежности: для их рук слишком тонким оказывалось искусство написания букв при помощи пера⁷. Иные моторные на-

выки, входящие в круг культуры неведомого городскому жителю мира, вызывали, по крайней мере, интерес и удивление.

Образ жизни крестьян, востребованные типом хозяйства культурные коды не казались многим учителям цивилизованными. Поэтому, рассказывая о том, какие дети приходили в школу, учителя удивлялись тому, что они не знали самых «элементарных» вещей. К примеру, сообщали о том, что две трети вновь поступивших учеников могли сообщить только свое уменьшительное имя, а не крещеное, фамилий не знал почти никто, а многие не знали имен своих отцов, не знали правой и левой руки, не определяли где верх, а где низ. Бог для них был равнозначен иконе, вместо молитв «бессмысленно бормотали “господи сусе”»⁸. На вопрос: «Какой веры твои родители?», большинство отвечали: «Не знаю»⁹. Наиболее яркий образ подобного отношения к крестьянским навыкам всплывает в воспоминаниях Н. С. Он задается вопросом: почему родители не могут научить детей ничему «полезному»?¹⁰ Дети, при поступлении в его школу, также не знали, какая рука правая, а какая левая, не умели перекреститься, не могли сосчитать количество пальцев на руке. Многие не знали, как звали отца, мать, а имен дедушки и бабушки не знали почти все поголовно. При этом учитель не спрашивает себя, зачем в деревне, в повседневной сельской жизни, было все это знать. Г. Мечева волновало то, что в его школе крестьянские дети не умели правильно креститься, не знали правил перстосложения и самых общеупотребительных молитв¹¹.

Также крестьянское воспитание определялось как жестокосердное. Поводом к такой оценке было не только использование телесных наказаний в крестьянской семейной практике, но и небрежение по отношению к детям, которые посещали школу, выражавшееся, к примеру, в отсутствии обедов для школьников. Не все дети приносили из дома даже хлеб, при том, что занятия зимой продолжались весь световой день. Приводя детей в школу, крестьяне очень часто говорили: «Ты уж его плеткой стегай почаще, али за волоски трепи, чтобы он лучше в толк брал ученье; мы ему дома-то не потакаем, их так-то без битья-то не выучишь»¹².

Вообще организация школы в деревне предполагала экспансию городских («западных», «цивилизованных») представлений о времени, пространстве и воспитании. Этот процесс можно обнаружить и в том, как учителя видят недостатки жизни крестьян. Один из учителей рассуждает о том, что крестьяне не умеют правильно распределять время, чтобы его хватало на чтение книг и занятия детей в школе, особенно зимой, когда крестьянам «ничего делать». Городское время предстает как разбитое на четко обозначенные отрезки, и оно требует от человека умения ими манипулировать. Неумение использовать время подобным способом связывается с крестьянским воспитанием детей. «Спросишь мать, – где твой сын или дочь? Ответ: “А кто его знает. Есть захочет так и сам придет, не до света же он будет носиться”». «Кому случалось наблюдать жизнь крестьянских детей, тот не может не заметить, что как только ребенок стал на ноги, о нем уже никто больше не заботится, только оденут его,

да обуют кое-как, а зачастую и об этом даже не заботятся», – рассуждал один из сельских учителей¹³. Из этих наблюдений, а также из столкновения с повсеместной распространенностью подобной практики в деревне, делался вывод о том, что крестьянские дети «пропадают» для воспитания, живут бесконтрольно, с возрастом приобретая все новые дурные привычки. Авторы часто даже не задаются вопросом о смысле крестьянского обучения, подозревая, что таковой отсутствует в силу дикости и неразумности крестьян.

Нельзя не согласиться с Я. Коцонисом, что миссия учителей – межкультурных посредников – состояла в том, чтобы тем или иным способом дать крестьянам образование, но понимание этой миссии было далеким от нейтрального: предполагалось, что с крестьянской культурой что-то не так (невежество, порождавшее болезни; замкнутость, увековечившая равнодушие к прогрессу)¹⁴.

Земские статистики лично общались с крестьянами при проведении подворных статистических обследований, однако объем личного общения уступал учительскому. Они также вели переписку с корреспондентами земских статистических служб, среди которых было много крестьян. Крестьянин в письменном общении предъявлял себя иначе, чем в личном и, опять же, иначе чем в случае со своими однообщественниками. Но и у статистиков находились основания считать себя экспертами по сельской жизни, к тому же, их миссия освящалась высоким статусом точной науки.

Рассуждая о коммуникации с крестьянами, статистики сетовали на существовавшее у них «недоверие к вопросам», порождавшееся подозрением в том, что земские служащие стремятся «переоценить имущество» в целях увеличения налогов всяких видов¹⁵. На совещании статистиков Вятского земства 1902 г. на это ссылались статистик Уржумского земства В. А. Добров и ученый лесовед М. Н. Григорьев. В крестьянском мировоззрении наиболее очевидной функцией земства и государства являлось получение разнообразных платежей и налогов, поэтому попытки выяснить материальное положение сельских домохозяйств могло казаться подозрительным.

Осознавая неоднозначность и неполноту возможных крестьянских ответов, заведующий оценочно-статистическим отделом Вятского губернского земства А. А. Гурьев говорил на совещании: «Нельзя коротко выразить и выяснить вопрос. Как только ни поставь его, все же на него может получиться несколько разных ответов, а потому разъяснение необходимо для точного понимания»¹⁶. В позитивистском духе времени А. А. Гурьев надеялся путем разъяснительной беседы добиться получения однозначного объективного знания. Фактически беседа являлась вариантом детального перевода с одного языка на другой и была связана с неуверенностью заведующего в надежности хрупкого диалога с туземным населением.

Одним из вариантов опосредованного диалога с крестьянами стал метод рассылки опросных листов с последующим их заполнением и отсылкой на адрес составителей. Ярким примером использования этого метода являлась деятельность Дмитрия Михайловича Бобылева. Работая в Пермской губернии

ской земской управе, он занимался не только изучением основных отраслей деятельности земства, но и составлял анкеты, распространявшиеся либо через губернскую земскую управу, либо через периодическую печать¹⁷. Им было применено изучение положения волостных писарей Пермской губернии, в котором сочетались методы статистической обработки данных личных дел писарей и обращения к ним с вопросами через периодическую печать¹⁸. Полученные отзывы наиболее активных писарей анализировались с целью выявления «действительного положения вещей» в этой сфере местной административной службы¹⁹.

Не желая довольствоваться «сухим» материалом цифр, Д. М. Бобылев провел исследование отзывов крестьян о земской школе. Он разработал вопросник из 12 пунктов, в котором затрагивались 3 основные проблемы, обсуждавшиеся интеллигенцией применительно к школьному обучению в деревне: отношение крестьян к ремесленному образованию, их отношение к преподаванию сельского хозяйства и значение грамотности в деле поднятия нравственности и народного благосостояния²⁰. Анкеты отправлялись всем добровольным корреспондентам статистического отделения Пермского губернского земства. От них было получено около тысячи ответов, которые и систематизировал Д. М. Бобылев. Он, говоря о значимости собранных данных, вполне в позитивистском духе рассуждал об объективности и чистоте поставленного эксперимента: «Главную ценность полученных крестьянских отзывов составляет их простота, отсутствие какой-либо тенденции, желание сказать правду, дабы тем самым помочь земству приблизить школу к местным запросам населения»²⁰. Для него не существовало проблемы влияния ситуации наблюдения на само наблюдение. Крестьяне выглядели как лица, разделявшие цели земств и доверявшие им безоговорочно.

При этом некоторые вопросы анкеты явно наводили корреспондента на желаемый ответ. К примеру, вопрос № 2: «Нет ли противников школьного обучения? Какие причины мешают тому, чтобы все дети посещали школу? Перечислить эти причины (непонимание пользы учения, бедность крестьян, теснота школьного помещения, отдаленность школы от местожительства, недовольство постановкой школьного дела, религиозные убеждения раскольников)»²¹. В качестве вариантов ответов крестьянам предложено выбрать одну из числа расхожих интеллигентских идей о препятствиях к распространению начального обучения в деревне, выработанных в либеральной публицистике. Повелительное наклонение, используемое в вопросе, соединяется со следовательской интонацией при упоминании о противниках обучения. Крестьянина, далекого от интеллигентского дискурса о народном образовании, подобный вопрос вполне мог насторожить и заставить отвечать по принципу: «Как бы чего не вышло».

Традиция рассмотрения крестьян в качестве неподвижных объектов наблюдения обнаруживается и в официальной статистической традиции. К примеру, в документе под заглавием «Реестр технической коллекции главнейших сырых естественных произведений и образчиков различных степеней их обработки,

составляющих предметы ввозной и отпускной торговли»²² сельские произведения отнесены к разряду естественных, таких, к примеру, как деревья. Т. е. рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, пшено в категории естественных произведений помещены в реестре наряду с осиною, березой, липой, ольхой²³.

Этот документ, размещенный в топосе статистической политики 60-х гг. XIX в., классифицирует плоды крестьянского труда и многовековой деревенской селекции как род «естественной» – природной – продукции. В то же время природность соотносится с полезностью (указанием на выпускную, т. е. экспортную торговлю), но в этой процедуре выключается субъектность и субъективность крестьянина, поскольку ему не предоставляется возможность быть творцом тех сельскохозяйственных культур, которые в его обиходе кажутся уже давно привычными. В подобной классификаторской логике крестьянин, производящий естественность, сам воспринимается как дар природы, лишенный творческого интереса к жизни. В таком случае возникает проблема того, могла ли статистика выйти за рамки натурфилософии природности крестьянина?

В итоге крестьянская среда становилась либо природной реальностью, нуждающейся в преобразовании или коррекции, либо источником воображаемой истины, заключенной именно в природной чистоте. Народническая литература и публицистика, репрезентируя крестьянский идеал «честного, праведного», простого физического труда осуждала предпринимательство как «нечестное» занятие, связанное с торговлей, ростовщичеством и эксплуатацией²⁴. Терминология статистических исследований была заполнена этическими категориями.

Традиция рассмотрения крестьян в качестве экзотичного «другого» обнаруживается как в суждениях и воспоминаниях учителей, так и в статистике. Крестьянская среда рассматривалась либо как архаичная природная реальность, нуждающаяся в преобразовании или коррекции, либо как источник воображаемой истины, заключенной именно в природной чистоте. По отношению к ней действовал лейтмотив «преодоления препятствия»: физического, т. е. расстояния, которым отдаленные деревни изолировались от школы, и препятствия культурного – затягивающего деревенского быта. Деревня мыслится в дискурсивных конструкциях «преодоления барьера» как герметичная среда, соотносимая с природной стихией и не затронутая воздействием «света разума».

Учитель, являясь отзывчивым респондентом преобразовательных надежд, оказывается высшим существом в деревне, непознанный крестьянин в силу своей замкнутости и архаичности – низшим. Статистик, классифицировавший обнаруженные учителями факты, находился на следующей – верхней – по отношению к деревне ступени иерархичной лестницы производства знаний о крестьянах. Крестьянская основа этой социальной пирамиды – внутренний русский «Восток», одновременно и место приложения цивилизующих колонизаторских усилий, и место нахождения скрытой истины, недоступной для механизированной, бюрократически упорядоченной Европы.

Примечания

- ¹ Дедлов А. Переселенцы на новые места. Путевые заметки. СПб., 1894. Цит по: Кузнецов В. М. «Проезжие» и краеведы-любители у истоков изучения традиционной культуры русского населения Южного Урала в дореволюционный период // Историк в меняющемся пространстве российской культуры : сб. ст. Челябинск, 2006. С. 356.
- ² Кобрин К. Р. От патерналистского проекта власти к шизофрении : «ориентализм» как российская проблема // Неприкоснов. запас. 2008. № 3. URL : <http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/kk5.html>.
- ³ Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми : сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914. М., 2006. С. 23.
- ⁴ Круглов А. В. Из быта сельских учительниц // Жен. образование. 1879. № 1. С. 45.
- ⁵ Школьное воспитание крестьянина // Вестн. Европы. 1870. № 8. С. 509.
- ⁶ Вересов // РШ. 1904. 3 5–6. Отд. II. С. 55.
- ⁷ Сельская воскресная школа // НО. 1902. № 7–8. С. 25–29.
- ⁸ Там же. С. 29.
- ⁹ Беляев В. Наблюдения и заметки // РНУ. 1892. № 3. Отд. Приложения. С. 20.
- ¹⁰ Н. С. Попечители моей школы // РНУ. 1906. № 7–8. Отд. II. С. 175.
- ¹¹ Мечев Г. Прежде и теперь // НО. 1902. № 10. С. 286–290.
- ¹² Токарев Н. Письмо в редакцию // РНУ. 1882. № 3. Отд. Приложения. С. 190. О требованиях крестьян к учителю применять физические наказания к детям писали учителя Кузнецов и А. Мощанский. См.: Кузнецов. Взаимные отношения крестьян и учителя // РНУ. 1881. № 2. Отд. Приложения. С. 127; Мощанский А. Из школьной практики // РНУ. 1892. № 8–9. Отд. Приложения. С. 96–106.
- ¹³ С-в. Т. П. К статье учителя Кузнецова «Условия жизни сельской школы и ее учителя» // РНУ. 1882. № 4. Отд. Приложения. С. 183.
- ¹⁴ Коцонис Я. Указ. соч. С. 24.
- ¹⁵ Мнения третьего совещания статистиков Вятского земства. Вятка, 1902. С. 8.
- ¹⁶ Там же. С. 11.
- ¹⁷ Его наиболее известные работы по земскому хозяйству: Бобылев Д. М. : 1) Заметки по вопросам земского хозяйства Пермской губернии (1898–1900). Пермь, 1900.; 2) Что сделали земства Пермской губернии в интересах местного края. Пермь, 1914.
- ¹⁸ Бобылев Д. М. Волостные писаря Пермской губернии. Пермь, 1905.
- ¹⁹ Там же. С. 16.
- ²⁰ Бобылев Д. М. Какая школа нужна деревне. Пермь, 1908. С. 1.
- ²¹ Там же. С. 1–2.
- ²² Государственный архив Пермской области (ГАПО) Ф. 208 (Пермский губернский статистический комитет). Оп. 1. Д. 29.
- ²³ ГАПО. Ф. 208. Оп. 1. Д. 29. Л. 2.
- ²⁴ Роднов М. И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века (1900–1917). Уфа, 2002. С. 44.

О. И. Ивонина
(Новосибирский государственный педагогический университет,
г. Новосибирск)

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ХРИСТИАНСКОГО
ИСТОРИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ ИСТОРИКОВ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ «НОВОГО ГРАДА» 1931–1938 ГОДОВ)**

Обращение современных исследователей к наследию исторической науки русской эмиграции приобретает актуальность в условиях кризиса профессиональной и социокультурной определенности отечественной гуманитарии. Сходство проблематики и политического контекста возникновения этого течения русской общественной мысли с современным состоянием исторической науки объясняет особую притягательность идей «новоградцев» (в лице Н. А. Бердяева, Г. П. Федотова, Ф. А. Степуна), стремившихся стать «живой связью между вчерашним и завтрашним днем России», объединив историков разных поколений и школ в общем диалоге о цивилизационно-культурной идентичности страны, её исторической судьбе и всемирном призвании¹.

Интерес «новоградцев» к изучению переходных этапов российской истории был обусловлен как объективными обстоятельствами формирования их личных и творческих судеб в эпоху «великих потрясений», так и спецификой мировоззренческого и методологического кредо. Предложенные представителями христианского историзма методологические и жанровые новации в дискурсе об исторических судьбах России можно свести к следующим базовым постулатам.

Понимание христианства как религии свободы и прогресса предопределило либерально-гуманистический характер политических взглядов авторов «Нового Града» и их интерес к исследованию мировоззренческих основ процесса модернизации. Присущий русской христианской мысли синтез базовых категорий Православия (соборности, преображения, всеобщего спасения) с антропоцентризмом и прогрессизмом европейского сознания объясняет напряженный нравственный тонус ее исканий, понимание истории как манифестации свободы и самоопределения человека, поиск смысла бытия отдельной личности,

общества, государства, культуры как уникальной индивидуальности, обладающей непреходящей ценностью для всего человечества.

Представление «новоградцев» о самостоятельности исторического субъекта, обладающего правом выбора своего пути развития, способствовало *пониманию ими истории как совокупности различных альтернатив*, либо уже реализовавшихся в исторических судьбах народов, либо доселе хранящихся в памяти как завет или пророчество.

Историческая мысль «новоградцев» предложила новую парадигму понимания места человека в потоке всемирной истории. Двухуровневый характер христианского историзма, обусловленный наличием в христианстве сложной религиозно-метафизической концепции, обязывал историка к изучению и оценке конкретных исторических сюжетов на основе его специфических *представлений о природе истории как взаимодействию божественного (вечного) и человеческого (временного) планов бытия*. В понимании религиозных мыслителей исторический факт приобретал форму сложного многомерного образования, отражая не только неповторимое своеобразие определенного события в масштабе реального времени, но и его высшую и непреходящую ценность.

В человеческом творчестве совмещаются, по мнению христианских авторов, все ипостаси человеческого бытия, поэтому главным предметом изучения историка является созидание культуры. Хронотоп культуры является одновременно манифестацией «духа времени» и «души народа», объединяя в себе уникальные и универсальные качества бытия человека, его устремленность к божественному идеалу и рутину повседневности. *Культуроцентричное понимание предмета исторического исследования дополнялось представлением «новоградцев» о диалоговом характере творчества*. Смысловые коннотации такого диалога в изображении Ф. А. Степуна, Н. А. Бердяева, Г. П. Федотова многообразны: диалог человека и Бога; диалог поколений во «всеединстве» исторического времени; диалог культур, ведущийся на пространстве всемирной истории; диалог историка со временем, приобретающий экзистенциальную напряженность в кризисных ситуациях.

Провозглашение духовности важнейшей составляющей исторического развития стало основой предложенного христианами авторами грандиозного проекта интеллектуальной истории России как манифестации «русской идеи». Сводя историю событий к истории идей, производных от типа духовности как наиболее действенного и долгосрочного фактора исторического развития, христианские мыслители делали *акцент на значимости идеального плана человеческой истории*. Этос и пафос христианского историзма «новоградцев» проявился в их требовании обязательной нравственной оценки исторических деятелей и событий, морального суда над прошлым. Полагая, что задачей историка является выявление взаимосвязи социально-политического идеала с культурным фондом и историческим опытом нации, «новоградцы» дополняли эвристические и просветительские задачи историографии этико-

прогностическими/профетическими функциями историософии, стремящейся постичь высший смысл бытия человека во времени.

Постижение духовной ткани истории возможно, по мнению религиозных мыслителей, на основе проникновения в душу, образ мыслей и чувств «Другого». *Эмпатия как мировоззренческая и методологическая установка* позволяет историку преодолевать в процессе реконструкции прошлого самые сложные барьеры, отделяющие «своих» от «чужих», «прошлое» от «настоящего», автора от создаваемого им текста. Историософия «новоградцев» продемонстрировала богатые эвристические возможности исторической компаративистики, герменевтики, синтеза социальной истории с историей ментальностей, отразив, а отчасти и предвосхитив поворот современной науки к новому пониманию предмета и методов исторического исследования.

Полагая душевность важнейшим символом и стихией российской истории, авторы «Нового Града» делали *акцент на изучении иррациональных аспектов национально-культурного развития*, обусловленных особенностями социальной, этнической и гендерной психологии, массовой и групповой ментальности русских. Психологизация предмета исторического исследования как постижения многообразных проявлений «духовно-душевной деятельности человечества», которой движут потребности и интересы, амбиции и страсти, стала основой предложенного «новоградцами» антропологического подхода к пониманию истории.

Альтернативой scientistскому пониманию истории стал призыв «новоградцев» к широкому междисциплинарному синтезу, в рамках которого можно постичь «дух эпохи», «душу народа», «смысл исторического творчества» различных «исторических индивидуальностей» (стран, регионов, культур) на основе изучения присущих им представлений о пространстве и времени, должном и сущем, бренном и вечном. *Совмещение исторического нарратива и философских обобщений, т. е. историографии и историософии*, в публикациях авторов «Нового Града» стало, с одной стороны, итогом поисков европейской наукой нового языка историописания, а с другой предвосхитило стремление мировой гуманитарии к широкому междисциплинарному синтезу. Исследования русских христианских мыслителей стали важным звеном теоретико-методологических дискуссий мировой науки о соотношении мифа и логоса, рационального и мистического в историческом сознании, по-новому разрешили проблему взаимодействия исторического текста и контекста, генерализации и репрезентации эмпирического материала в историческом исследовании.

Новаторское понимание предмета и методов исторической науки сочеталось у «новоградцев» с поиском новых жанров историописания. Сочетание поэтики и логики, строгой научной критики и тонкой интуиции, аксиологии и психологии с четкой артикуляцией методологических и мировоззренческих оснований «ремесла историка» – все это свидетельствовало о *понимании истории как одновременно науки и искусства*. Вечные вопросы о судьбах России и человечества облекались в форму художественных образов и метафор, демонстрируя

тесную взаимосвязь научных обобщений с жизненно важными проблемами современности и практическими запросами общества. Историософия «Нового Града» выростала из журнальной полемики и литературной критики, писем и эссе в большей мере, чем из специальных научных исследований Н. Бердяева, Г. Федотова, Л. Карсавина. Сформулированная «новоградцами» *парадигма целостного знания о человеке и мире*, соединившая в себе философию, науку, религию и художественное творчество, сознательно противопоставлялась формальным стандартам дисциплинарной ограниченности.

Тесное взаимодействие «новоградцев» с европейской интеллектуальной традицией сформировало их *представления об объективной закономерности исторического процесса и универсальности исторического субъекта в лице единого человечества*. Вот почему их оценки исторического пути России демонстрировали устойчивую тенденцию критики западной цивилизации как тупикового образца исторической эволюции. *Критерием нормативности и русской, и мировой истории «новоградцы» считали не локально ограниченные образцы буржуазной цивилизации Запада, но универсальные идеалы свободы, единства и социальной справедливости, впервые сформулированные христианством.*

Сознание авторов «Нового Града» оказалось созвучным катастрофическому XX в., наполненному революциями и войнами, чудовищным насилием над природой и разумом человека, исходившим из цитадели мирового прогресса.

Уже события Первой мировой войны и тем более последовавших за ней революций были восприняты русскими христианскими мыслителями как символы «заката Европы» и окончания эпохи Нового времени, в которой Западу принадлежала роль лидера и эталона мирового развития. Мировые войны продемонстрировали, по мнению «новоградцев», разрыв Запада с базовыми, религиозно обоснованными ценностями, доселе предлагаемыми всему миру в качестве универсальных образцов «цивилизованности» и прогресса: гуманизма, гражданских прав и свобод человека, самоопределения народов и национально-государственного суверенитета, неукоснительного соблюдения норм международного права.

Христианский историзм Ф. А. Степуна, Г. П. Федотова, Л. П. Карсавина и Н. А. Бердяева реализовал переживания трагических катаклизмов Современности в предчувствиях глобальных угроз мировому развитию. Предупреждения христианских мыслителей о возможной гибели культуры и торжестве технократии, конфликте цивилизаций, противоборстве традиционализма и модернизма, трансформации либерально-демократических режимов в тоталитарные системы и другие темы публикаций «Нового Града» сформировали новый контекст обсуждения проблемы направленности отечественной и всемирной истории, до сих пор сохраняющий свою актуальность.

Само понятие Современности означало для историков русской эмиграции время Большого Перехода – от Модерна к Постмодерности. Этот транзит, по мнению «новоградцев», включал в себя разные альтернативы будущего развития:

1) глобальную вестернизацию, т. е. модернизацию незападных сообществ, сопровождающуюся социокультурной унификацией и утратой цивилизационной идентичности подавляющего большинства стран и народов;

2) победу тоталитарных революций, использующих технические средства и научные достижения современной цивилизации для создания системы идеократии и внеэкономического принуждения масс;

3) наступление «Нового средневековья» – эпохи постиндустриального и постлиберального сообщества, основанного на принципах социальной справедливости, гуманизма, равноправного диалога культур, идейным фундаментом которого станет обновленное христианство (христианский социализм).

Победу именно такого вектора направленности всемирной истории отечественные христианские мыслители связывали с реализацией исторической миссии России. Надежды авторов «Нового Града» на всеобщее спасение от нацистской чумы и духовное лидерство страны в грядущей «новой творческой эпохе» основывались на презумпции особой цивилизационной идентичности России в кругу христианских народов.

Своеобразной экспликацией базовых установок христианской историософии можно считать созданную религиозными авторами концепцию российской цивилизации. Ее фундаментом выступало Православие как идеальный тип религиозности, наиболее глубокая и точная историческая транскрипция Вселенской Церкви, воплотившая в себе образ духовной целостности человека, гармонии личности и общества, свободы и полноты бытия.

Вслед за славянофилами авторы русского религиозного возрождения полагали, что православием сформирован истинно христианский характер «русской души», выражающийся в традиционном миролюбии и терпимости к представителям других этносов и конфессий; в напряженном тоне религиозных ожиданий народа, не принимавшего секуляризованного мировоззрения с его культом индивидуализма и материального могущества; в национальном характере русских, готовых к самопожертвованию и даже национальному самоотречению ради торжества всеобщей справедливости².

На почве русского православия выросла своеобразная культура интеллектуальной аскезы и моральной рефлексии, ядром которой было внутреннее покаяние, преодолевающее искушение национальной исключительности и ложной самонадеянности.

Христианский универсализм православного сознания проявился в специфической идеологии спасения – всечеловеческого прорыва в будущее на основе преобразования «греховного мира» общими усилиями разных стран и народов. Такое понимание направленности истории отразилось в эсхатологической устремленности русского сознания к идеальным интернациональным проектам миростроительства. Эсхатологический вектор социальной активности русских определяет радикализм их преобразовательных проектов и экстремистский характер движений социального протеста, глубинной манифестацией которых стала большевистская революция и социалистические преобразования в России.

Спецификой религиозного мировоззрения русских объяснялась дихотомическая конфигурация процесса самоопределения России в пространстве и времени мировой культуры по линии 'сущее – должное', 'временное – вечное', 'порядок – беспорядок', 'национальное – вселенское'.

Результаты использования цивилизационного подхода для изучения опыта российской транзитивности проявились в акценте на особой роли традиции на всех стадиях и уровнях модернизации страны, рассматривая ее не как противоположность модерности, не как косную социально-экономическую структуру или политический институт, подлежащие слому для обеспечения победы динамично развивающихся укладов, а именно как специфический тип ментальности и исторического опыта страны, определяющий органичное развитие общества, характер его реакции на различные «вызовы» времени и внешнего окружения.

Всем религиозным авторам было свойственно представление о суверенном характере российского государства, традиционного гаранта развития страны в условиях постоянных угроз ее независимости, территориальной целостности, национально-культурной самобытности. Давление неблагоприятных географических и внешнеполитических условий на всех этапах развития России вынуждало государство к использованию мобилизационных методов управления (ограничения прав и свобод, усиления фискального бремени, внеэкономического принуждения) как единственно доступных ему способов самосохранения и выживания страны в целом. Укрепление вертикали власти было следствием не только дефицита ресурсов, но и дефицита общественной солидарности в стране, раздираемой противоречиями региональных и профессиональных элит.

Процесс модернизации сопровождался, по мнению «новоградцев», интеграцией России в пространство мировой политики и культуры, усиливая восприимчивость российской политической элиты к универсальным ценностям новой эпохи: просвещения, общественного разделения труда, правового ограничения личного и властного произвола. Тем самым, «просвещенный абсолютизм» российской власти представлялся христианским мыслителям *оптимальным сочетанием традиции и новации, преемственности и изменчивости, необходимым синтезом цивилизационной специфики России с универсалиями всемирно-исторического процесса.*

На примере революций 1905–1917 гг. христианские авторы доказывали чреватость российской транзитивности «динамическим хаосом», утратой целостности и управляемости социокультурной системы, непредсказуемыми катастрофами внутри- и внешнеполитического развития страны в случае разрушения государственности как тела русской культуры.

В противовес либеральной доктрине национального государства Г. П. Федотов и Н. А. Бердяев выдвигали идею превращения России в универсальное государство, в лидера мирового сообщества народов, отрицающего значение политических или национальных границ. Основой такого видения места и роли страны в развитии мировой цивилизации являлась концепция «всеединства», разработанная В. С. Соловьевым. Образ России как «третьей силы» между

Востоком и Западом мировой истории представлял собой новый вариант русского мессианизма. «Новоградцы» верили в спасительную миссию России, способной примирить христианский Восток с христианским Западом, создать на почве Православия универсальную «вселенскую культуру», соединяющую стремление Востока к сохранению божественных святынь с антропологизмом и исторической динамикой культуры Запада³.

Октябрь 1917 г. был воспринят и как финал в тысячелетней истории Российской империи, и как конец эпохи Нового времени. Вместе с тем отечественная наука затруднялась дать рациональное обоснование закономерности и неизбежности революционного перехода российского общества к новому качеству. Транзита к социализму не могли объяснить ни сторонники теории модернизации, ни адепты формационного подхода, ни концепция органического развития локальных цивилизаций. По мнению Н. А. Бердяева, существующие средства историописания и философии истории, сформированные интеллектуальной традицией Нового времени, непригодны для постижения смысла Великой русской революции, положившей начало новому миру и новой эпохе: «О русском коммунизме совсем невозможно мыслить в категориях новой истории, применять к нему категории свободы или равенства в духе французской революции, категории гуманистического мировоззрения, категории демократии и даже марксистского социализма. В русском большевизме есть запредельность и потусторонность, есть жуткое касание чего-то последнего»⁴.

Христианская историософия предложила собственные, теологические категории познания русской истории и религиозную интерпретацию поворотных моментов в развитии России. Большевистский социализм был понят ею как «малый апокалипсис истории», «суд Божий» над греховным миром, предавшим забвению христианские заповеди равенства и братства народов. Оценка социализма как «неотвратимой судьбы России», деформированного проявления «русской идеи», русского мессианизма и универсализма свидетельствовала о его глубокой укорененности, а возможно, и абсолютной неустраимости из системы религиозных принципов и символов коллективного бытия народа. Не менее важен сделанный христианской историософией акцент на том, что в социализме произошло соединение воли народа к социальной справедливости с волей к государственному могуществу, а тем самым было достигнуто единство устремлений власти и общества.

Таким образом, в изображении христианской историософии социалистический вектор эволюции российского общества явился не историческим тупиком, а закономерным этапом развития, центральным компонентом политической и культурной идентичности русских.

Примечания

¹ Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Новый Град. 1931. № 2.

² Федотов Г. П. Идея России и формы ее раскрытия // Новый Град. 1934. № 8.

³ Степун Ф. А. О человеке «Нового Града» // Новый Град. 1932. № 4.

⁴ Бердяев Н. А. Восток и Запад // Путь. 1930. № 23.

С. А. Баканов
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)

**МИРОВЫЕ КОНГРЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ:
ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА**

Данная статья представляет собой попытку выявить некие магистральные тренды конъюнктуры в развитии мировой историко-экономической науки рубежа XX–XXI вв. и ответить на вопрос: какие проблемы мировой экономической истории сегодня могут считаться мейнстримом? Попытку сколь амбициозную, столь и самонадеянную, так как, естественно, объять необъятное невозможно. Чтобы судить о генеральной совокупности, коей является мировая историография экономической истории, необходимо, как минимум, иметь хоть сколь угодно репрезентативную выборку. А это означает, что придется разбираться с одинаковой степенью глубины в американской и японской, чилийской и аргентинской, китайской и венгерской, африканской и австралийской историографии экономической истории, не говоря уже о родной российской и многих других. Решить проблему адекватного историографического источника, дающего репрезентативную кросс-национальную выборку, позволило знакомство с материалами XII, XIII, XIV и XV мировых конгрессов экономической истории, проходивших соответственно в Мадриде в 1998 г. (85 секций), Буэнос-Айресе в 2002 г. (93 секции), Хельсинки в 2006 г. (124 секции) и Утрехте в 2009 г. (132 секции).

Обсуждение итогов конгрессов стало доброй традицией в деятельности Центра экономической истории (ЦЭИ) при историческом факультете МГУ. В опубликованных материалах круглых столов, проводившихся центром, можно найти как впечатления самих участников конгрессов, так и точки зрения на основные траектории движения историко-экономической науки, выявившиеся в ходе каждого конгресса¹. Особенно подробно были проанализированы: представительство различных стран на форумах, количество секций конкретного конгресса, посвященных тем или иным эпохам, теориям, сферам экономической деятельности, макрорегионам и т. п. Среди авторов данных отчетов присутствовали такие мэтры отечественной историко-экономической науки, как В. И. Бовыкин, Л. И. Бородкин, В. А. Виноградов, Ю. А. Петров и др. Про-

граммы конгрессов 1998 и 2002 гг. были опубликованы в отраслевых изданиях ЦЭИ МГУ², а полнотекстовые версии не только программ, но и материалов двух последних конгрессов доступны в сети Интернет³.

Мировые конгрессы экономической истории проводятся с 1960 г. (с 1965 г. под эгидой Международной ассоциации экономической истории (ИЕНА)) и привлекают внимание ведущих ученых со всего мира. Среди их регулярных участников были такие крупнейшие мыслители, как Ф. Бродель, И. Валлерстайн, А. Гершенкрон, С. Кузнец, Д. Норт, М. Постан, У. Ростоу, Р. Фогель, Э. Хобсбаум и др. Столь представительный состав форумов обеспечил их высокий авторитет в научном мире. При организации секций конгрессов строго соблюдается принцип, в соответствии с которым проблемы, вынесенные на секцию, должны быть интересны ученым сразу нескольких стран. Как организаторы, так и докладчики должны представлять минимум две страны, тем самым ставится заслон для организации секций по национальному принципу. Отсюда и предпочтение компоративистики в тематике секций.

Контент-анализ программ конгрессов показал наличие на всем протяжении изучаемого периода (1998–2009 гг.) нескольких устойчивых тематических групп-кластеров, вокруг которых формировалось значительное число секций конгрессов. Именно секции с их генерализирующими темами, по каждой из которых представлялось от одного до нескольких десятков докладов, и стали единицами счета при проведении контент-анализа. Всего на 4 конгрессах работало 434 секции, из них 291 (т. е. 67 %) по своей тематике вошли в какой либо из выявленных нами 18 кластеров. Согласно исходной гипотезе, проблемы, обсуждавшиеся внутри кластеров, и являются некими векторами, в направлении которых идет или пойдет в ближайшее время магистральное развитие историко-экономической науки.

Далее предлагается краткий обзор полученных групп-кластеров, в порядке убывания числа секций, в них входящих.

1. *История бизнеса – business history* (31 секция). Это одно из традиционных и весьма авторитетных направлений экономической истории, поэтому его лидерство по числу организованных секций неслучайно. Конъюнктурными проблемами в рамках данного кластера стали: доиндустриальные формы организации предпринимательской деятельности; семейные предприятия и кооперативы; социальное предпринимательство и социальная ответственность бизнеса; труд бизнесмена и корпоративное управление; влияние интеграционных и глобализационных процессов на эволюцию природы фирмы, роль и деятельность иностранных компаний в национальных экономиках; специфика женского предпринимательства.

2. *Всемирная история труда – Global labour history* (26 секций). Ключевыми словами, описывающими состояние данной сюжетной области, стали: рынок труда, безработица и национальные структуры занятости, мотивация труда, формы заработной платы, карьерный рост, мобильность человеческого капитала и международные трудовые связи, домашние услуги, гендер и разделение

труда, колониализм и труд, межпоколенческая передача занятости, рабочие риски и работа в «тени», сбережения рабочих и профессиональное здоровье.

3. *Исторический уровень жизни* (23 секции). Основное внимание организаторов и участников данных секций было уделено следующим проблемам: мировые стандарты уровня жизни и антропометрические показатели качества жизни; продукты питания: производство, потребление и качество пищи; продуктивность сельского хозяйства; долговременные тренды в здоровье и питании; голод и болезни в истории; национальные особенности структур смертности.

4. *История отдельных товаров, услуг и отраслей* (22 секции). Предметом всестороннего изучения в секциях данного кластера стали процессы производства, транспортировки, дистрибуции и потребления следующих товаров: картофель, сахар, вино, питьевая вода, шерсть, хлопок, бумага, руда, бокситы и нефть. Кроме того, рассмотрены проблемы организации и развития таких специфических отраслей, как игорный бизнес, проституция, гостиничное хозяйство, производство упаковочных материалов, а также традиционных отраслей, таких как рыболовство и китобойный промысел, скотоводство и лесное хозяйство. В самостоятельную подгруппу можно выделить 4 секции, объединенные вокруг проблем функционирования рынков искусства, предметов роскоши и художественных промыслов.

5. *Распространение информации в истории* (21 секция). Информационная эпоха принесла с собой усиленное внимание к проблематике данного кластера: средства и каналы коммуникации; распространение технических знаний и технологий; изобретения и инновации, шпионаж и интеллектуальная собственность; экономическая история образования: передача знания, ученичество и человеческий капитал; технологическое влияние и диффузия; экономика транспорта и транспортные сети, государственное регулирование развития информационных технологий; роль грамотности и СМИ в распространении информации; почтовые сети; бизнес-корреспонденция и деловая пресса; крошечная реклама и продвижение товаров.

6. *Исторические взаимоотношения государства и экономики* (20 секций). Доминирующей теорией в данном кластере остается неoinституциональный подход, вследствие чего особое внимание уделяется общественным институтам, связанным с деятельностью государства: налоговые системы и фискальные органы; государственное регулирование, протекционизм, национализация и денационализация; государственные расходы и государственный долг; экономическая политика и феномен «государства всеобщего благоденствия»; дворы монархов как экономические институты.

7. *История банков и кредита* (18 секций). Данное направление окончательно выделилось из «бизнес истории» и стало самостоятельно значимым: банки как фирмы; международное банковское дело, безналичный расчет, обменные операции и кредит в разные эпохи; социальная история кредита: заемщики, их цели и стратегии; кредитные кооперативы, сберегательные кассы и банки для бедных; сбережения бедняков; женщина и кредит.

8. *Экономическое поведение в глобальной перспективе* (18 секций). Данный кластер объединяет темы, посвященные индивидуальным и групповым экономическим стратегиям: экономическое поведение туземных народов, кочевников, поселенцев-колонистов; экономика семьи и домохозяйства; родство и наследство; женские экономические стратегии; экономика вдовства и экономика разводов; государственная политика в отношении стариков и экономика старости.

9. *Инструменты для изучения экономики прошлого* (17 секций). В секциях данного кластера проходят апробацию новые теории и методы, направленные на измерение прошлого: исторические критерии сравнения выпуска продукции и производительности труда; глобальная история денег, цен, обменных курсов и планируемых доходов; источники решений: числа, данные, индексы, цифры производства и становление национальной статистики; базы данных, историческая статистика и картографическая информация; методология анализа национальных счетов; методы реконструкции национального дохода.

10. *«Морская» экономическая история – l'histoire «maritime»* (13 секций). Морские перевозки, морская торговля и сети портовых городов: посредничество в движении товаров между локальным и глобальным; порты, инвестиции в портовую экономику и их влияние на развитие прилегающих территорий; ресурсы, инфраструктура, экономическое и социальное взаимодействие в приморских регионах; портовые предприятия и предпринимательские организации, купеческий капитал и благосостояние.

11. *Историческая экономика города* (13 секций). Урбанизация и контрурбанизация; городская инфраструктура, городские предприятия и коммунальное обслуживание; городские правительства и муниципальная экономическая политика; исторический ландшафт и географические детерминанты в развитие города; горожане и налоги.

12. *Индустриализация в глобальной перспективе* (13 секций). Ранние и поздние формы индустриализации, протоиндустриализация; промышленное развитие и его национальное и региональное измерения; товары и отрасли, ставшие локомотивами индустриализации; последствия индустриального развития и феномен деиндустриализации.

13. *Глобальное неравенство в историческом измерении* (12 секций). Современный экономический рост и глобальное распределение доходов; тенденции в неравенстве доходов; исторические корни бедности и благосостояния; проблемы экономической отсталости; демографический переход, человеческий капитал и экономическое расхождение между Востоком и Западом.

14. *История бизнес-сетей* (11 секций). Еще одно направление, отпочковавшееся от традиционной «бизнес истории»: коммерческие связи и коммерческая интеграция; гильдии и другие формы организации предпринимателей; сети этнических и религиозных меньшинств и диаспор; бизнес-сети и деловая культура; протоглобализация: коммерческие сети и консорциумы; сетевые структуры на имперских пространствах.

15. *Происхождение современного экономического роста* (10 секций). Влияние на экономический рост таких факторов, как институциональные изменения, параметры и права собственности, источники энергии, индустриализация и изменение климата, внешняя торговля, накопление богатств и неравенство, развитие человеческого капитала.

16. *Экономические кризисы в истории* (9 секций). Бизнес-циклы и экономические кризисы; аномалии финансовых рынков, пузыри активов и финансовые потрясения; коррупция, теневые связи и погоня за прибылью как факторы кризисов; финансовая несостоятельность и банкротство в международной перспективе; критическая перепроверка демографических и экономических кризисов.

17. *Экономика войны* (7 секций). Мобилизация денег и ресурсов для войны; парадокс «пушки против масла» в истории; функционирование национальных моделей военной экономики; экономическая история войн древности и нового времени, второй мировой и «холодной» войн.

18. *Экологическая история* (6 секций). Примечательно, что эта самая малочисленная группа неоднородна по своему представительству на разных конгрессах. Если в 1998 г. в Мадриде работала только одна секция, носившая постановочный теоретический характер, а в Буэнос-Айресе в 2002 г. эта тематика вообще отсутствовала, то на конгрессе в Утрехте в 2009 г. действовали уже 4 секции, посвященные глобальному потеплению и изменению климата, природопользованию и ответам экономических систем на экологические вызовы.

Как уже говорилось, около одной трети секций не удалось локализовать в рамки более менее однородных тематических групп. Тем не менее, некоторые исторические проблемы, которым на конгрессах было посвящено только по одной секции, носящей постановочный характер, безусловно, имеют крайне острую актуальность и способны, как в случае с экологической историей, стать родоначальниками целых ответвлений экономической истории. Так, перспективным представляется дальнейшая экспансия экономической истории в сферы, традиционно лежащие в области истории повседневности, например, появившиеся в Мадриде «экономическая история туризма» и в Хельсинки – «мода как экономический институт». Не имеют аналогов в предшествующей традиции и такие секции, как «аутсорсинг в исторической перспективе» и «бренд, имитация и подделка». В 2009 г. впервые появились сразу две секции по экономической историографии, причем одна из них была посвящена истории самих мировых историко-экономических конгрессов. Кроме того, на последнем конгрессе в Утрехте организацией секции «Мир в 2030 г. Изучение предложения в отдаленной перспективе» впервые был поставлен вопрос о прогностических функциях и футурологических возможностях экономической истории.

К сожалению, в российской историографической традиции большинство из выявленных тематических кластеров либо отсутствуют полностью, либо представлены незначительным числом работ. Исключение здесь составляет, пожалуй, только история индустриализации, а также, в значительно меньшей степе-

ни, – история банков и военная история. Даже, казалось бы, хорошо изученные взаимоотношения государства и экономики в российской историографии имеют несколько иное по постановке звучание и иные акценты. Отсюда и проблемы с конвертируемостью российской тематики в мировой историографии и явно недостаточное представительство российских ученых на международных историко-экономических форумах.

Примечания

¹ См.: Экономическая история. Обзорение / под ред. В. И. Бовыкина и Л. И. Бородкина. Вып. 1. М., 1996; Вып. 3. М., 1999; Вып. 8. М., 2002; Экономическая история. Обзорение. / под ред. Л. И. Бородкина. Вып. 13. М., 2007; Экономическая история : ежегодник. 2010. М., 2010.

² См.: XII Конгресс экономической истории // Экономическая история. Обзорение / под ред. В. И. Бовыкина и Л. И. Бородкина. Вып. 2. М., 1998; Секции Конгресса, утвержденные Исполкомом ИЕНА в 2000 г. // Там же. Вып. 5. М., 2000; Секции Конгресса, утвержденные Исполкомом ИЕНА в 2001 г. // Там же. Вып. 6. М., 2001.

³ См.: официальные сайты: XIV конгресс (Хельсинки 2006). URL : <http://www.helsinki.fi/iehc2006/> ; XV конгресс (Утрехт 2009). URL : <http://www.wehc2009.org/> ; Сайт Международной ассоциации экономической истории. URL : <http://www.uni-tuebingen.de/ieha/>.

**Раздел 2. Сотворение историка:
опыт подготовки и механизмы становления ученого**

*Н. Н. Алеврас
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)*

**ДИССЕРТАЦИОННЫЙ ДИСПУТ КАК СОБЫТИЕ
И ТРАДИЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО БЫТА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА**

Диссертационный диспут, являясь частью диссертационной системы, представляет центральное ее звено и, несомненно, вызывает повышенный интерес при изучении многих аспектов научной жизни сообщества историков, связанных с историей их профессионально-квалификационной деятельности. Специальных публикаций или сюжетов в трудах, посвященных диссертационным диспутам, сравнительно немного¹. Известные нам целенаправленные попытки современных исследователей обратиться к характеристике диспута как явления научной жизни апеллируют к двум основным моментам. Они обращены либо к анализу разработки нормативной базы этого элемента диссертационной системы и отношению к нему представителей научной общественности различных учебных учреждений, либо связаны с описанием хода отдельных диспутов, вызвавших наибольший интерес у современников. В последние годы тема диссертационного диспута становится привлекательной в контексте изучения моделей научных школ в профессиональной среде историков², что подчеркивает несомненную актуальность рассматриваемого вопроса для разработки критериев конструирования схолярных процессов.

Данная статья нацелена на более углубленный анализ источникового комплекса, формировавшегося в процессе подготовки и ходе диспута с тем, чтобы выявить в «малых» формах диссертационной культуры их научно-информативный потенциал и определить значение диссертационного диспута как сущностного явления научной жизни сообщества историков и объекта историографического исследования.

Как любое событие, диссертационный диспут имеет темпоральную определенность, структурируется по сценарию, складывающемуся на основе принятых научной корпорацией норм и традиций, получает содержательное наполнение и приобретает эмоционально-психологическую окраску в зависимости

от воздействия интеллектуальных и экзистенциальных факторов. Диспут-событие, будучи явлением идеографической природы, практически лишенным длительной временной протяженности, является следствием предшествующего процесса, принадлежащего к области диссертационной культуры, а шире – научной жизни той или иной образовательной или академической институции. Несмотря на принятые традиции и ритуалы в организации диссертационных диспутов, характер и череда внутренних явлений каждого конкретного диспута-события для его участников были в определенной мере непредсказуемы. Достаточно отметить, что содержание оппонентских отзывов, как правило, соискателям не было известно. Это создавало интригу вокруг ожидаемого события. Несомненно, диспут является частью жизненного пространства мира ученого и в контексте событийного может рассматриваться в качестве значимого фактора в определении дальнейшей научной и профессиональной судьбы соискателя.

Обратимся к краткой характеристике источников и артефактов диссертационного диспута и попытаемся определить функциональную значимость разновидностей отдельных произведений диссертационной культуры (речей и отзывов диспутантов), возникавших в процессе творческой работы акторов диссертационного диспута.

Среди всех прочих элементов диссертационной культуры научный диспут оказался наиболее уязвимым с точки зрения его нормативного обеспечения. Официальные законодательно-уставные документы, регулировавшие научно-образовательный процесс российских университетов, в том числе и процедуру подготовки и защиты диссертации, менее всего регламентировали процессуальную сторону диспута и формулировали минимум требований к таким артефактам-текстам диспута, как тезисы («положения»), речь соискателя, отзывы оппонентов и пр. В ходе защит диссертаций не предполагалось протоколирование всего происходящего действия, что, некоторым образом, ограничивает информационно-источниковые возможности реконструкции диспута, заставляя обращаться лишь к свидетельствам-припоминаниям, не имеющим предпочтительной для историка аутентичности.

Важным фактором для развития диссертационной культуры 1860–1900-х гг. являлось стремление университетских сообществ ученых и, в частности, историков сформировать информационные каналы в целях освещения событий научной жизни и трансляции в широкую профессиональную и общественную среду российского социума научных идей. Создание или использование ряда специализированных научных периодических изданий и общественно-политических журналов в информационно-научных целях становится естественным решением этой задачи. «Историческое обозрение», «Исторический вестник», «Библиограф», «Вестник Европы», «Русский вестник», «Русское богатство», «Журнал министерства народного просвещения», университетские периодические издания – не полный репертуарный список российской журналистики, предоставлявшей свои страницы корпорации ученых для информации

о состоявшихся защитах диссертаций. Нередкими были и газетные публикации, содержавшие анонсы и материалы (корреспонденции, отчеты, репортажи) о диссертационных диспутах. Некоторые из них зачастую предлагали развернутые описания состоявшихся диспутов, отражая восприятие этих научных событий в общественной среде. Можно заметить, что диспутанты – соискатели и оппоненты – не только следили за подобными публикациями в прессе, но и занимались их целенаправленным сбором. Об этом свидетельствуют известные нам коллекции газет, газетных вырезок и выписок из прессы в личных фондах, например, С. Ф. Платонова, А. С. Лаппо-Данилевского³. Любопытным в этом контексте может рассматриваться факт фиксации А. С. Лаппо-Данилевским на титуле корректуры своей диссертации перечня выявленных им публикаций различного рода откликов в печати о его диссертации⁴. Подобные факты научных биографий историков позволяют распознавать степень значимости для современников появлявшихся свидетельств выражения интереса научной корпорации и общественности к их исследованиям и деятельности в системе диссертационной культуры.

Именно в периодике научного или общественно-политического профиля в большинстве случаев сосредоточены порой единственные свидетельства очевидцев о сценарно-содержательной стороне того или иного диссертационного диспута. Ясно, что обращение историографа к сведениям журнальной периодики становится принципиально важным. Вместе с тем в общем объеме подобного информационного комплекса периодических изданий преобладает достаточно лаконичное изложение самого хода диспута. Гораздо чаще в них публиковались тексты отзывов и рецензий официальных и неофициальных оппонентов. Они представляют значимую информацию для понимания содержательной части центрального – кульминационного – момента диспута, связанного собственно с научной дискуссией.

Воспоминания, дневники и эпистолярный (опубликованный и неопубликованный) бывших соискателей или очевидцев/участников диспута – еще один важный вид источников, позволяющий прибегнуть к историко-научному конструированию этого события. Информативны в этом отношении эго-документы, вышедшие из-под пера Г. В. Вернадского, Н. И. Кареева, А. А. Кизеветтера, М. С. Корелина, П. Н. Милюкова, С. Ф. Платонова, Н. Н. Платоновой, А. Е. Преснякова, В. И. Семевского и др.

Архивные материалы фондов университетов (в частности, так называемые протоколы историко-филологических факультетов и советов университетов), фиксирующие факт проведения диссертационного диспута, представлены, как правило, номенклатурной документацией. Она позволяет оперировать минимумом информации: установить его дату, название диссертации, состав оппонентов и присутствовавших членов факультета⁵. Лишь в некоторых комплексах подобного рода неопубликованных источников можно обнаружить тексты оппонентских или рекомендательных отзывов от историко-филологических факультетов на диссертации, а также переписку по поводу процедуры защит

некоторых из них. Иногда это связано с возникавшей нестандартной ситуацией – например, отрицательными отзывами, голосованием не в пользу соискателя или скандальными историями, возникавшими в ходе предварительного обсуждения или защит диссертаций⁶.

В большинстве же случаев, следуя нормативной традиции, как отмечал еще Г. Г. Кричевский, рекомендательные отзывы от факультетов публиковались в издаваемых протоколах советов университетов – например, в Санкт-Петербургском университете или университетских научных изданиях – в Московском университете. Вместе с тем личные фонды историков (например, М. М. Богословского, В. И. Герье, И. М. Гревса, В. О. Ключевского, А. С. Лаппо-Данилевского, С. Ф. Платонова, В. И. Семевского, А. И. Яковлева и др.) содержат важнейшие документы по диспуту, представленные текстами отзывов, рецензий, тезисов и речей на диспуте. Присутствие в личных фондах различных вариантов отзывов (их современники нередко называли «отчетами») в виде набросков, разных версий черновиков и завершенного их текста позволяют уловить оттенки отношения их авторов к рецензируемым диссертациям и увидеть иной раз скрываемую за окончательным – официальным – вариантом отзыва более пеструю гамму оценок и восприятий диссертационного труда.

Сравнительный анализ текстов отзывов и рецензий разных экспертов позволяет реконструировать не только факты совпадений или несовпадений их оценок и мнений, но и различающиеся методологические подходы, целевые установки и стилевые особенности нарратива, закладываемые через отзывы в основу критического анализа диссертационной продукции. С этими явлениями диссертационной культуры можно связывать формирование в российской науке особого жанра – научной критики исследовательских текстов («возражений», как их нередко называли современники) – и укрепление традиций ведения научных дискуссий в ходе диссертационных диспутов. Можно предполагать, что опыт дискуссий на защитах диссертаций содействовал более интенсивной перестройке процесса научного мышления историко-научного сообщества в направлении формирования критического нарратива историописания и, как следствие, содействовал формированию научной культуры эпохи модерна.

К моменту начала диспута тексты диссертации и сопровождающих ее тезисов-«положений» были уже знакомы членам факультета и всем присутствующим. Событию диспута непосредственно предшествовали также отзывы рецензентов – одного-двух из членов факультета – и решение последнего о допуске соискателя к защите. Данную разновидность отзыва не следует отождествлять с отзывами оппонентов. Они несколько различались по своему функциональному предназначению и целевым установкам, что накладывало отпечаток на их содержание. Это, впрочем, не мешает отнести их к общей видовой группе источников-отзывов. К ней примыкают также отзывы и рецензии на диссертации, появлявшиеся в периодике по частной инициативе отдельных ученых после диспута, а также в связи с экспертизой диссертаций на предмет присуждения их авторам премий из различных именных и благотворительных фондов.

В рамках презентационной программы диссертации в ходе диспута новыми его элементами из общего диссертационного комплекса выступали речь соискателя, его диалог с аудиторией, задававшей вопросы, и упомянутые «возражения», то есть отзывы оппонентов. Отмеченный уже факт отсутствия традиции протоколирования хода диспута существенно затрудняет попытки реконструировать такой важный его элемент, как устные вопросы присутствующих и ответы защищающегося. В отличие от речей и отзывов оппонентов, диалог соискателя с аудиторией в печати фиксировался весьма редко⁷. Протокольные воспроизведения диалога соискателя с присутствующими являлись исключениями. Например, благодаря частным записям протокольного типа, сделанным Е. В. Барсовым, можно, например, получить представление о ходе дискуссии на магистерском диспуте В. О. Ключевского⁸. Сам историк имел собственный опыт записи хода одного из диспутов, проходившего в Московской духовной академии⁹.

Обратимся к одному из элементов диспута – «вступительной речи соискателя». Речь диспутанта по традиции открывала презентацию диссертационного исследования. Но этот самый неформальный элемент диссертационной культуры, по всей вероятности, имел и малую долю вероятности быть сохранным. Сравнительно редкие случаи обнаружения текстов диссертационных речей либо в рукописях в составе личных архивных фондов историков, либо опубликованных самими историками-диссертантами со специальной целью могут, очевидно, свидетельствовать об осознании лишь отдельными историками значимости этих текстов для своей научной биографии.

Предварительный процесс поиска такого рода источников не позволяет пока дать репрезентативную информацию о соотношении рукописных и опубликованных текстов речей. В поле нашего зрения сейчас чуть более двух десятков подобных произведений. В данной статье обратимся к некоторым из изданных их текстов. Для понимания информативных возможностей и научной значимости речей диссертантов интересно выяснить основания для их публикаций.

В немногочисленных случаях, когда речь публиковалась сразу после диспута, о непосредственных побудительных мотивах этого шага можно только догадываться посредством обращения к контексту события-диспута. Просматриваются и другие ситуации, когда авторы публиковали речи на диспуте много позже их произнесения, например, при переиздании своих диссертаций, иногда объясняя свою инициативу. Мемуарные признания историков, нередко затрагивающие защиту диссертаций, дают дополнительные основания для понимания современниками значимости этого «малого» научного жанра и позволяют разобраться в мотивации публикации речей. Но, так или иначе, побудительный мотив издания текста речи, произнесенной на диспуте, коренился в потребности дать самооценку созданного диссертационного исследования, что немаловажно для изучения и научной биографии историка, и психологии творческой деятельности.

Примером первого случая могут рассматриваться речи В. И. Семевского и А. С. Лаппо-Данилевского. Факт появления на страницах «Русской старины»

речи В. И. Семевского, произнесенной им на магистерском диспуте 17 февраля 1882 г.¹⁰, становится понятным из общего контекста известных обстоятельств защиты им диссертации в Московском университете и его общественно-политических настроений. Речь историка напоминала полемический стиль его программной статьи «Не пора ли написать историю крестьян в России», изданной незадолго до защиты диссертации и приуроченной к 20-летней годовщине отмены крепостного права («Русская мысль». 1881. № 2). Нарратив текста его выступления соответствовал традициям политической публицистики: диспутант призывал историков к изучению прошлого народной жизни с тем, чтобы «указывать меры, нужные для подъема народного благосостояния». Надеялся он и на то, что для этого «найдутся самоотверженные работники, готовые положить свою жизнь на изучение прошлого народного быта»; им он желал «полной свободы научного исследования»¹¹. В последнем пожелании – явный намек на пережитое им сопротивление историко-филологического факультета Петербургского университета его попыткам защитить свой труд в стенах родного университета. Стремление соискателя ученой степени использовать «диссертационную трибуну» для выражения своей политической платформы вполне очевидно.

Иной характер имела речь А. С. Лаппо-Данилевского, составившая большую часть опубликованной информации о самом его диспуте и появившаяся, как и в случае с Семевским, вскоре после защиты. В отличие от него, текст речи Лаппо-Данилевского всецело являлся выражением его научных интересов и замыслов¹². В переписке историков тех лет, связанной с событием диспута Лаппо-Данилевского, отмечались некоторые его детали, включая и характер речи диспутанта. Платонов, в частности, писал Милюкову, что диспут ему показался «скучным и монотонным», хотя одновременно подчеркнул, что «Саша Лаппо защищался остроумно», и его «книга мне очень нравится». В то же время Платонов не преминул заметить, что речь диссертанта была не совсем удачна: слишком затянута за счет изложения «предисловия»; намекал он и на неумение молодого историка точно выражать свою мысль¹³. Эта тема звучала и в его оппонентском отзыве. «Самый заметный недостаток книги г. Л-Д-го – ее язык, недостаточно точный, особенно в тех случаях, когда автор возвращается в сфере отвлеченных понятий», – писал С. Ф. Платонов, составляя его текст¹⁴. Многие присутствовавшие на диспуте, хотя и высоко оценили его труд, но также отмечали в своих рецензиях особенности устной речи Лаппо-Данилевского, не отличавшейся красноречием. Возможно, зная за собой этот недостаток, историк целенаправленно подготовил полный текст выступления. Но важнее заметить его стремление при помощи публикации диссертационной речи закрепить ее как факт своих научных исканий. Это становится ясным, если мы учтем, что и в тексте диссертации, и в речи на диспуте он подчеркивал систему своего теоретико-методологического обоснования изучаемого предмета. Эта тема составляет лейтмотив его выступления. Цитируем его начальную часть, придавшую методологический характер всему его содержанию. «Всякая

сознательная, теоретическая деятельность должна быть вызвана известными причинами и определенным методом стремиться к строго намеченной цели; лишь при таких условиях она достигает более или менее устойчивых результатов, которые получают право гражданства в науке. Поэтому каждое научное сочинение можно рассматривать с двух точек зрения: методологической и феноменологической [курсив А. С. Лаппо-Данилевского. – Н. А.]¹⁵.

В этом же ключе продумана итоговая часть речи историка. Характеризуя свой исследовательский подход, он говорил, что в его труде «изучаемые явления представляются не неподвижно, а напротив, в их историческом движении, не отвлеченную однообразною схемой, а в виде живой развивающейся ткани соотношений, определяемых местными условиями древнерусской жизни». Историк подчеркивал, что результаты примененных им методов изучения в виде «динамической классификации исторических явлений» «вводят нас из области методологии в сферу феноменологии нашего труда» [курсив А. С. Лаппо-Данилевского. – Н. А.]¹⁶. Заметим, что газета «Новое время», освещая диспут историка, писала о «блестящей речи» диссертанта, в которой он «указал на главнейшую сторону своего труда и высказался о том, что практические и теоретические соображения» заставили его выбрать тему защищаемой диссертации¹⁷.

С полным основанием можно говорить, что теоретико-методологические мотивы и обоснования научных подходов в выступлениях соискателей на диспутах являлись в то время редким исключением. Поэтому речь А. С. Лаппо-Данилевского можно считать новаторской. Она является существенным штрихом, дополняющим его облик как ученого-модерниста, а также о наметившихся тенденциях формирования методологического угла зрения на предмет диссертационных исследований.

Примером несколько иной мотивации публикации речи может служить ситуация с изданием С. Ф. Платоновым в 1913 г. своего выступления на магистерском диспуте, состоявшемся в 1888 г.¹⁸ Его позиция просматривается в резюмирующей приписке к публикации. Кроме того, он вернется к сюжету своего магистерского диспута позднее – в Автобиографической записке (1928). Важно подчеркнуть, определяя смысл его выступления на диспуте, что в процессе исследовательской работы Платонов выработал свой источниковедческий подход, нацелив внимание на «изучение памятника в его целом». В публикации речи он так излагал свою позицию: «...у меня ясно выросло сознание, что работать над текстами правильно я только могу тогда, когда весь, и печатный и рукописный, материал будет в моем распоряжении, когда я изучу весь без исключения материал не в виде отдельных известий, а в виде отдельных произведений»¹⁹. Следовательно, не только собрать все источники, но и представить каждый из них как целостный памятник, историко-литературный феномен и историко-культурный факт – вот в чем состояла оригинальность и новизна источниковедческого замысла историка.

Самооценка магистерской диссертации до конца жизни оставалась у С. Ф. Платонова высокой. В Автобиографической записке он особо подчеркнул

не только «благосклонность» ученой критики к диссертации и к источниковедческим занятиям автора, но и значение открытого им комплекса памятников для изучения «литературной письменности» Московского государства первой половины XVII в. Для него особо значимым в этом отношении явился устный отзыв В. И. Ламанского, отметившего, что диссертация Платонова «заполняет существенный пробел» в литературе первой половины этого столетия, который долгое время рассматривался историками литературы как «бесплодный промежуток». С удовлетворением С. Ф. Платонов отмечал факт востребованности его книги: «Она скоро стала библиографической редкостью и потребовала второго издания – результат редкий для ученой диссертации в ту эпоху в России»²⁰. Вместе с тем авторская рефлексия 1913 г. по поводу диссертационной речи имела и другой – самокритичный – оттенок. С. Ф. Платонов, публикуя ее, признавался, что «слова» речи можно рассматривать как «позднее доказательство» имеющихся в его труде недостатков, на которые обратила внимание и «ученая критика», в частности, В. О. Ключевский и В. С. Иконников²¹. Следовательно, в период публикации С. Ф. Платоновым речи на магистерском диспуте преобладала позиция историка, переосмыслявшего свою творческую работу, поздняя же рефлексия конца 1920-х гг. возвращает нас к более оптимистическим самооценкам, сходным с самоощущениями на этот счет в момент защиты²².

Институт оппонирования в российской диссертационной системе складывался постепенно с начала XIX в., а во второй его половине приобрел устойчивую нормативную базу²³, закрепленную традициями научного быта корпорации ученых-историков. Нас будет в большей мере интересовать научная традиция оппонирования и такие артефакты этой процедуры, как отзывы оппонентов.

В рамках работы над задуманным проектом по диссертационной культуре²⁴ планируется исследовать довольно представительный корпус источников этого вида, сделав их объектом историографического анализа. В данном случае ограничимся их самой общей характеристикой и, используя избирательный подход, представим аналитические наблюдения по поводу сюжетных линий отдельных диспутов.

Роль оппонентов и значение их отзывов воспринимались соискателями как значимый факт их научной биографии: от них зависела оценка общественностью и самого диспута, и научных заслуг диссертанта. Характерно в этом отношении одно из описаний в «Историческом вестнике» магистерского диспута С. Ф. Платонова²⁵. В анонимной заметке с горечью сообщалось, что «диспут, обещавший быть живым и занимательным по теме диссертации <...> оказался чрезвычайно скучным и бессодержательным»²⁶. Причина неожиданной для корреспондента ситуации виделась им в позиции оппонентов и характере их возражений. Прежде всего, он сделал укор в адрес историко-филологического факультета по поводу статуса одного из назначенных оппонентов, не являвшегося профессором (имелся в виду приват-доцент И. А. Шляпкин, выступавший в роли второго оппонента)²⁷.

«Назначение приват-доцента официальным оппонентом свидетельствует уже о значительной скудости сил факультета и заставляет невольно вспомнить о добром старом времени, когда сил в филологическом факультете было достаточно для любого диспута и факультету не приходилось прибегать к помощи приват-доцентов», – сетовал автор заметки. Более того, журнального критика не устраивал характер возражений не только второго, но и первого оппонента – профессора Е. Е. Замысловского. Выступления обоих экспертов им были признаны слабыми: соискатель оказался сильнее в своих доводах и аргументах, что разочаровало очевидца события. Диспут не выполнил своей функции по линии демонстрации убедительности позиции «возражателей». В результате, констатировал корреспондент, диссертант остался в уверенности о «безукоризненности» защищаемого труда, но большинство публики, продолжал уверять он, убедилось только в «бедности» сил историко-филологического факультета²⁸.

Нельзя не заметить при этом, что на рубеже XIX–XX вв. институт оппонирования стал вызывать серьезную критику научной общественности, что выразительно проявилось в связи с дискуссией, вызванной докторским диспутом Н. Д. Чечулина²⁹. Как справедливо заметил Е. А. Иванов, случай с Чечулиным (имеется в виду снисходительность оппонентов и факультета к содержанию диссертации) можно рассматривать как «свидетельство корпоративной поруки»³⁰.

Подступая к изучению оппонентских отзывов как явления научной культуры, небезынтересно уловить складывающуюся модель текста этого жанра научной критики и персональный стиль оппонентов. В той или иной мере во второй половине XIX в. в качестве критериев оценки диссертаций выдвигались, прежде всего, требования соответствия их содержания сложившимся традициям источниковедческого анализа, историографическому контексту, а также логике исторического мышления, выраженной в структуре работы. Характер требовательности и степень критичности отзывов оппонентов, конечно, были различными. В современной историографии сложилось убеждение о «жестком» и даже «бесцеремонном» тоне многих выступлений оппонентов³¹. Поэтому представляет интерес обращение к сравнению позиций различных историков, выступающих в этой роли.

Обратимся к уже используемым примерам деятельности С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского в пространстве диссертационной культуры. Историки не раз являлись оппонентами вскоре после защит своих диссертаций. В частности, интересен случай одновременного их оппонирования на магистерском диспуте С. М. Середонина, ровесника и сокурсника С. Ф. Платонова. Диссертация С. М. Середонина³² в современной историографии воспринимается как сочинение, сложившееся в контексте формирования нового научного жанра в опыте русских историков – «видового источниковедческого исследования»³³.

Диссертация историка была представлена в факультет на рассмотрение осенью 1890 г. В своем дневнике Н. Н. Платонова 3 октября 1890 г. зафиксировала факт передачи С. Ф. Платонову рукописи этой работы для ознакомления с тем,

чтобы факультет мог решить вопрос «стоит ли ее печатать»³⁴. В фонде историка материалы, связанные с подготовкой им отзыва на диссертацию Середонина, составляют довольно большое по объему дело, не характерное для рукописей историка подобного типа³⁵. По свидетельству Н. Н. Платоновой, отзыв/отчет о диссертации Середонина Платонов зачитал в факультете в конце января 1892 г., защита была назначена и состоялась 2 февраля 1892 г.³⁶ Рукопись оппонентского отзыва А. С. Лаппо-Данилевского³⁷ не датирована, но, очевидно, писалась после появления отзыва С. Ф. Платонова: Лаппо-Данилевский, фактически, пренебрег описанием достоинств диссертации, сославшись на характеристику этих качеств в отзыве первого оппонента.

Состав материалов в фонде С. Ф. Платонова о диссертации Середонина может свидетельствовать, что он не остался равнодушным к его исследованию. Довольно объемный текст предварительных набросков к отзыву с обширными сносками и расширенными рассуждениями по теме диссертации Середонина, выходящими в область историографии проблемы и источниковедения³⁸, позволяют считать, что Середонин «задел» Платонова близостью понимания подхода к изучению источников «самих в себе», как он выразился. В этих словах Платонова видна та линия, которая отстаивалась историком при защите своей магистерской диссертации. Поэтому его отзыв носил в целом благожелательный характер, а замечания были представлены в мягкой форме. Основа благожелательности и понимания, несомненно, вытекала также из характера их дружеских отношений, принадлежности к одной социокультурной и научной среде. Основные замечания С. Ф. Платонова были нацелены на корректировку источниковедческой позиции соискателя: по мнению оппонента, автор диссертации не всегда учитывал специфику положения иностранца в чужой стране и особенности того ракурса, который задавался им при взгляде на иную культуру. Поэтому, поправляя диссертанта, Платонов заметил, что «следует удивляться не тому, что он [Д. Флетчер – Н. А.] многое перепутал, а тому, что он обо многом, даже самом интимном в московской жизни, получил возможность говорить»³⁹. Ясно, конечно, что за «мягкостью» возражений С. Ф. Платонова в его лице просматривается образ опытного и заинтересованного профессионала, но и несколько снисходительного ученого-оппонента.

Отзыв А. С. Лаппо-Данилевского имел иной характер. Заметим попутно, что обычно в делах, отражающих работу историка над отзывами, в его фонде обнаруживается объемный материал, включающий обширные выписки из диссертаций и черновые наброски к текстам выступления оппонента⁴⁰. В данном же случае небольшое архивное дело содержит лишь черновой текст отзыва, не датированный автором. Замечания и претензии к качеству выполненной диссертации занимают основную его часть. Можно предполагать, что сугубо строгое и даже жесткое отношение к диссертации и фигуре диссертанта связано с начинавшимся процессом охлаждения отношений между Платоновым и Лаппо-Данилевским⁴¹. Вероятно, С. М. Середонин, находившийся в поле притяжения «Кружка русских историков», для А. С. Лаппо-Данилевского, начав-

шего движение в направлении поиска новых методологических ориентиров, являлся ученым иной научной культуры.

Критике оппонента были подвергнуты и выбор темы, признанный неудачным в силу «многообразия затрагиваемых Флетчером вопросов», и, как следствие, поверхностность изложения, и незнание целого ряда источников, сведения из которых можно было использовать для сравнения с «показаниями Флетчера». Упрекает он соискателя и в неглубоком усвоении современной историографии, касающейся затрагиваемых им проблем и некритичном использовании без предварительной проверки фактических данных из ряда исследований. Мимо внимания Лаппо-Данилевского не могли, конечно, пройти страницы диссертации, на которых автор излагал характеристику такого «капитального» вопроса, как «состояние нашего хозяйства в XVI веке». Особенной критике он подверг попытку Середонина сформулировать, без достаточного обоснования, «новую теорию о происхождении четвертей» – спорного вопроса, который составил одно из важных мест в его собственной диссертации. Оппонент пришел к выводу, что источниковые свидетельства, на которые опирался соискатель, не убедительны. Это, считал он, доказывает, что диссертанту «еще слишком рано строить новую теорию четвертей <...>, такая теория еще слишком мало обоснована для того, чтобы войти в научный обиход». Совершенно неудачной он признал и основанную на «случайных» источниках попытку Середонина представить «наш бюджет XVI века». Критиковал А. С. Лаппо-Данилевский и «язык» диссертации, «который не всегда отличается желательной точностью, не всегда стоит на уровне современных требований научной, юридической терминологии»⁴².

Далекий от какой-либо снисходительности в вопросах критики научного исследования, А. С. Лаппо-Данилевский в свойственной ему манере пытался, прежде всего, уловить методологическую основу, системность в выборе и обосновании принципов рецензируемого исследования. Структура диссертации казалась ему схематичной, искусственной, поскольку ее автор, на его взгляд, отталкивался не от изучаемых процессов, а от учебной практики – «рубрик, какие встречаются в курсах государственного права». Вследствие этого – «черезмерно искусственная схематизация лишает жизни сочинение г. Середонина», – резюмировал оппонент⁴³. В какой-то мере он разделял замечание Платонова, когда подчеркивал особенности восприятия диссертантом свидетельств Флетчера: «Г. Середонин не только указывает ошибки Флетчера, он старается исправить его неверные суждения, заменить их более правильными»⁴⁴. Подводя итоги своей критики, историк констатировал «двойственность в методе изучения неверно поставленной темы». А. С. Лаппо-Данилевский считал, что С. М. Середонину не удалось развести задачи конкретно-исторического и источниковедческого исследования. Поэтому он заключил: «В самом деле, писать о сочинении Джильса Флетчера по внутреннему быту Московского государства XVI века или о внутреннем быте Московского государства по сочинению Джильса Флетчера – две вещи разные. Автор слил их воедино; не мудрено поэ-

тому, что из этого сплава ему не удалось выковать логически последовательной и стройной цепи рассуждений»⁴⁵.

Различающиеся оценки диссертации С. М. Середонина со стороны оппонентов с очевидностью демонстрируют увеличивавшуюся дистанцию между методологическими принципами двух известных историков, ищущих в тот период своего места в науке и уже осознававших актуальность формирования своего схолярного опыта. Определенным свидетельством этого расхождения может служить и дневниковая запись Н. Н. Платоновой о диспуте Середонина⁴⁶ и выступлении на нем А. С. Лаппо-Данилевского в качестве второго оппонента. Она подчеркнула, что диспут затянулся из-за его продолжительного выступления, длившегося 1 час 40 мин.⁴⁷: «Возражения Л[а]п[по]-Дан[илевско]го всех утомили: они касались, главным образом того, чего в книге С.[ергея] Мих. [айловича] нет, но что, по мнению Л[а]п[по]-Дан[илевско]го, должно бы было в ней быть», – не без иронии передавала свои впечатления Н. Н. Платонова. Очевидно, под напором критики С. М. Середонин чувствовал себя неуверенно. С сочувствием Н. Н. Платонова замечает, что он «держался слишком скромно и неуверенно». Не преминула она отметить и мнение о диспуте, высказанное навестившими Платоновых на следующий день после диспута «курсистками»⁴⁸. Оно оказалось связанным исключительно с оценкой характера оппонирования Лаппо-Данилевского. «С диспута они вынесли такое впечатление, что Л[а]п[по]-Дан[илевский] – человек с большим самолюбием», – записала супруга С. Ф. Платонова⁴⁹.

Реакция диссертантов на критику оппонентов также представляет самостоятельный интерес для историографа, хотя и редко удовлетворяемый источниками. Ограничимся одним, можно сказать, курьезным сюжетом из цитированного уже дневника Н. Н. Платоновой. В одной из записей (от 10 окт. 1891 г.) она обыграла посещение Н. Д. Чечулиным дома Платоновых, состоявшееся примерно через полтора года после защиты его магистерской диссертации⁵⁰. Во время обеда вспоминали о прошедшем диспуте, на котором роль второго оппонента была отведена С. Ф. Платонову.

С. Ф. Платонов в диссертации Н. Д. Чечулина обнаружил важный «методологический» недостаток, который сказался в «отсутствии ясно и правильно поставленной темы». По мнению оппонента, диссертант, ограничившись одним видом источников – писцовыми книгами, – не изучил города с «культурно-экономической точки зрения» и «не представил полного очерка жизни торгово-промышленных общин»⁵¹.

Через довольно длительный интервал, отделявший эти два события, Н. Д. Чечулин, явно не в дипломатичной форме, но, видимо, искренне и откровенно признался, по свидетельству Н. Н. Платоновой, что «некоторые из его родных и знакомых до сих пор в претензии на С. Ф. [Платонова] за возражения <...> на диспуте». Их мнение о том, что «эти возражения были чрезвычайно мелочны и придиричтивы», подчеркнула она, он вполне разделял, полагая, что «ко всякой книге, как бы она хороша ни была, можно предьявить подобные возражения,

и что других возражений ему сделать было нельзя». Позиция Н. Д. Чечулина, друга С. Ф. Платонова, вызвала негодующее суждение его супруги: «Я как то не могу представить, как может Чечулин считать мелким возражение об отсутствии темы в книге, о недостатке системы в работе...»⁵².

Несколько предложенных фрагментов, демонстрирующих особенности произведений диссертационной культуры, функционально связанных с диспутом как формой презентации диссертаций, а также наши попытки представить потенциал исследовательских возможностей их историографического изучения не раскрывают, конечно, всего разнообразия сюжетных линий и палитры интерпретаций изучаемого предмета – диссертационной культуры. Но все же, надемся, они убедили читателя в том, что диссертационный диспут, представляя собой локальное ее явление, связан неразрывными коммуникативными нитями с жизненным миром ученых-историков, дающим возможность углубиться как в область их научно-исследовательских и теоретико-методологических поисков, так и в систему межличностных взаимоотношений.

Примечания

¹ См.: Кричевский Г. Г. Ученые степени в университетах дореволюционной России // История СССР. 1982. № 2. С. 146–148, 150; Иванов А. Е. Ученые степени в Российской империи. XVIII в. – 1917 г. М., 1994. С. 164–182; Сухова Н. Ю. Диссертационные диспуты как форма научной работы в православных духовных академиях России в 1869–1884 гг. // Вестник ПСТГУ. История. История Русской Православной Церкви. 2010. Вып. 3 (36). С. 21–35. Отмечая современные исследования, нельзя не заметить, что интерес к этим сюжетам стал формироваться еще в дореволюционной историографии. Наиболее выразительно он проявлялся, в частности, в связи с коммеморативной практикой историко-научного сообщества. Любопытен пример подготовки после смерти В. О. Ключевского 3 сборников его статей, ранее разбросанных в различных изданиях. Один из них с характерным названием «Отзывы и ответы» (М., 1914, 1918) фиксирует интерес автора к отмеченным нами сторонам научной жизни историков. Посмертное переиздание статей историка, созданных в жанре отзывов, так или иначе, отражает подспудный интерес историко-научного сообщества к текстам историко-критического содержания. В этой же связи отметим выход специального выпуска ЧОИДР, посвященного памяти историка, где, в частности, воспроизведены некоторые документы, связанные с защитой его магистерской диссертации. См.: Диспут Ключевского (Приложение II) // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских. М., 1914. Кн. 1. С. 65–71.

² См., например: Бон Томас М. Русская историческая наука (1880–1905 гг.). Павел Николаевич Милоков и Московская школа. СПб. : Олериус Пресс, 2005. С. 50–57, 102; Свешников А. В. «Вот Вам история нашей истории». К проблеме типологии научных скандалов второй половины XIX – начала XX в. // Мир историка : историогр. сб. / под ред. В. П. Корзун, Г. К. Садретдинова. Вып. 1. Омск : Изд-во ОмГУ, 2005. С. 243–249; Гришина Н. В. «Школа В. О. Ключевского» в исторической науке и российской культуре. Челябинск : Энциклопедия, 2010. С. 115–118.

³ См.: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1202; СПФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 2, 24.

⁴ СПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.

⁵ См., например, протокольные записи о прошедших диссертационных диспутах в Московском университете: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 24. Л. 16 (о защите диссертации Н. Н. Фирсова, 1897 г.); Там же. Д. 30. Л. 65 (о защите диссертации А. А. Кизеветтера, 1903 г.). В Санкт-Петербургском университете: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 6999. Л. 4, 6 (о защите диссертации Е. Е. Замысловского, 1871 г.); Там же. Д. 8902. Л. 8 (о защите диссертации В. Г. Дружинина, 1889 г.).

⁶ В качестве примера можно привести появление в фонде совета Санкт-Петербургского университета отзыва рецензентов от историко-филологического факультета С. Ф. Платонова и Г. В. Форстена на докторскую диссертацию Н. Д. Чечулина (1896), вызвавшую, как известно, неоднозначные оценки научной общественности: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8691. Л. 68–71 об. О ситуации отклонения диссертации на стадии ее обсуждения на факультетском уровне см.: Алмазова Н. С. «Девятый вал» профессора Д. И. Нагуевского : история одной несостоявшейся защиты // Мир историка : историогр. сб. / под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып. 6. Омск, 2010. С. 43–58.

⁷ Как на эксклюзивный случай, можно сослаться на детальное описание этой сценарной части диспута при освещении защиты магистерской диссертации В. И. Семевского. См.: Диспут В. И. Семевского в Московском университете // Рус. старина. 1882. Май. С. 579–584. Журнальный вариант являлся перепечаткой из «Русских ведомостей», поместивших этот материал сразу после диспута.

⁸ См.: Смирнов С. И. Исследование В. О. Ключевского: «Древнерусские жития святых как исторический источник». Приложение II (диспут г. Ключевского) // ЧОИДР. 1914. Кн. 1. С. 65–71.

⁹ См.: Ключевский В. О. Докторский диспут г. Субботина в Московской Духовной Академии // Ключевский В. О. Отзывы и ответы. Петроград, 1918. С. 240–256.

¹⁰ См.: Рус. старина. 1882. Май. С. 565–578.

¹¹ Там же. С. 577, 578.

¹² См.: Ист. обозрение. 1890. № 1. С. 283–292.

¹³ См.: Письма русских историков (С. Ф. Платонов, П. Н. Милоков) / под ред. В. П. Корзун. Омск, 2003. С. 218. Заметим, что современное восприятие речи А. С. Лаппо-Данилевского не создает такого впечатления. Впрочем, С. Ф. Платонов высказывался об устном выступлении историка, которое, конечно, могло отличаться от письменного текста; кроме того, он, вероятно, имел в виду ответы Лаппо-Данилевского на вопросы аудитории.

¹⁴ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1371. Л. 6.

¹⁵ Ист. обозрение. 1890. № 1. С. 283.

¹⁶ Там же. С. 288.

¹⁷ Новое время. 1895. 10 мая.

¹⁸ Автограф речи см.: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1254. Л. 1–10. Рукописный вариант речи не имеет концовки и сопровождается авторской правкой, которая может свидетельствовать о подготовке текста к изданию.

¹⁹ Платонов С. Ф. Сочинения. Т. II. С. XVII, XVIII.

²⁰ Платонов С. Ф. Автобиографическая записка. С. 268.

²¹ Платонов С. Ф. Сочинения. Т. II. С. XIX.

²² Впрочем, в рукописи речи имеется вычеркнутый Платоновым текст, не воспроизведенный при публикации, где историк самокритично пишет, что он своим литературным произведениям-источникам дал одностороннюю оценку: смотрел на них как на

«...исторический источник и только. А между тем каждое произведение есть любопытный факт из истории литературы, а иногда и из истории языка...». См.: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1254. Л. 9. Думается, что вычеркнутый текст, сам по себе важный для характеристики источниковедческой позиции историка, стал некоторой основой резюмирующей ремарки 1913 г.

²³ См.: Кричевский Г. Г. Указ. соч.; Иванов Е. А. Указ. соч. С. 130–163; Климов А. : 1) Роль университетов Российской империи в разработке «Положения о производстве в ученые степени» // Высш. образование в России. 2008. № 4. С. 143–150; 2) Роль университетов Российской империи в создании «Положения об испытаниях на ученые степени» (1837 г.) // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008. № 59. С. 219–227; Сухова Н. Ю. «Положение о производстве в ученые степени» в российской духовной школе // Высш. образование в России. 2010. № 4. С. 135–142 и др.

²⁴ См.: Алеврас Н. Н., Гришина Н. В. Диссертационная культура российских историков XIX – начала XX в. : замысел и источники исследовательского проекта // Мир историка : историогр. сб. / под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып. 6. Омск, 2010. С. 9–21.

²⁵ См.: По поводу одного диспута // Ист. вестн. 1888. № 10. С. 263–264.

²⁶ Там же. С. 264.

²⁷ Заметим, что нормативные документы отнюдь не устанавливали жесткие границы ученого статуса оппонентов, ими могли выступать лица, еще не защитившие диссертации. Думаю, что критический пафос цитируемого описания диспута во многом рожден характерным для российской общественности восприятием его как публичной трибуны и зрелищного события.

²⁸ По поводу одного диспута. С. 264.

²⁹ См. оценку «пресловутого диспута г. Чечулина» современником: Мякотин В. М. Диспут и ученая степень // Рус. богатство. 1897. Июль. № 7. С. 10–31.

³⁰ Иванов Е. А. Указ соч. С. 160.

³¹ Там же. С. 174–176.

³² См.: Середонин С. М. Сочинение Джильса Флетчера “Of the Russe Common Wealth” как исторический источник. СПб., 1891.

³³ См.: Медушевская О. М. : 1) Метод источниковедения и дисциплинарные аспекты // Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории : учеб. пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. М., 1999. С. 68; 2) Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. С. 218.

³⁴ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5691. Л. 29 об.

³⁵ Там же. Д. 1383. Л. 1–72. Беловик отзыва, датированный 16.01.1891. Л. 6–10.

³⁶ Описания диспута С. М. Середонина см.: Ист. обозрение. 1892. Т. 4. С. 338–344; Там же. № 4 (Т. 48). С. 298–299.

³⁷ См.: СПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Д. 411. Л. 1–16. Из контекста упоминаний С. Ф. Платоновым обстоятельств подготовки диспута Середонина ясно, что вопрос о втором оппоненте решен был незадолго до защиты; возможно, что Лаппо-Данилевский не располагал достаточным временем для подготовки отзыва. См.: Письма русских историков. С. 269.

³⁸ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1383. Л. 18–72.

³⁹ Там же. Л. 9.

⁴⁰ См., например, дело с материалами для отзыва на магистерскую диссертацию В. И. Веретенникова: СПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Д. 386. Л. 1–101.

⁴¹ См.: Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и С. Ф. Платонов (к истории личных и научных взаимоотношений) // Проблемы социального и гуманитарного знания : сб. науч. работ. СПб., 1999. Вып. 1. С. 128–165.

⁴² См.: СПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. Д. 411. Л. 1–13.

⁴³ Там же. Л. 5.

⁴⁴ Там же. Л. 7.

⁴⁵ Там же. Л. 15–16.

⁴⁶ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5691. Л. 85 об., 86.

⁴⁷ Заметим, С. Ф. Платонов тоже не был краток: по ее же свидетельству он выступал 1 час.

⁴⁸ Имелись в виду представительницы ВЖК в Петербурге – Леман, Максимова, Церетели, Александрова.

⁴⁹ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5691. Л. 86.

⁵⁰ Диспут состоялся 11 марта 1890 г. Описание диспута см.: Ист. обозрение. 1890. Т. 1. С. 298–300.

⁵¹ Там же. С. 299. Тема магистерской диссертации Н. Д. Чечулина: «Города Московского государства в XVI веке».

⁵² ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5691. Л. 63 об.–64.

В. П. Золотарёв

(Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар)

**МАЛЕНЬКИЕ КАРТИНКИ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ БОЛЬШИХ ВОПРОСОВ
(ОБ ИСТОКАХ РОССИЙСКОЙ НОВИСТИКИ
В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. Н. ПЕТРОВА)**

Историческая наука и её изучение в средних и высших учебных заведениях Российского государства всегда было приоритетным делом. Никто иной, как граф и министр народного просвещения С. С. Уваров (1786–1855), в своём известном труде со всей категоричностью утверждал: «В народном воспитании преподавание Истории есть дело Государственное», ибо «История образует граждан, умеющих чтить обязанности и права свои, судей, знающих цену правосудия, воинов, умирающих за Отечество, опытных вельмож, добрых и твёрдых царей»¹.

Я вовсе не случайно вспомнил о С. С. Уварове: его шестнадцатилетнее управление (1833–1849) Министерством народного просвещения занимает видное место в истории России. Приведу лишь один факт из его министерской деятельности, прямо относящийся к нашим размышлениям в связи с их заглавием, – Уваров возобновил практику командирования талантливых молодых учёных в заграничные университеты для совершенствования знаний и подготовки, как тогда говорили, к «профессорскому званию». Причем командировки осуществлялись за счёт министерских средств. Это было крупной новацией и в российской науке, и в российском образовании. Уместно здесь отметить, что гуманитариев в этом отношении не ущемляли – они направлялись за границу наравне с естественниками. В подобных командировках крайне нуждались специалисты открывавшихся тогда кафедр всеобщей истории в российских университетах. В университетах зарубежную историю продолжали читать специалисты по русской истории, не прошедшие специальную научную школу. К тому же всеобщая история, изучаемая в наших университетах в первой половине XIX в., начиналась античностью и заканчивались, в лучшем случае, Реформацией, а чаще всего и не доводилось до этого периода средневековья. Между тем в лучших университетах западно-европейских стран студенты из-

учали такие всемирно-исторические события, как Английскую буржуазную революцию XVII в., Великую французскую революцию и последовавшие за ними сдвиги в экономической, политической, культурной и научной жизни человечества. Эти тектонические колебания, хотя и ослабленные расстоянием и временем, достигали и России. Лучшие умы Российского государства понимали, что нужно использовать опыт западных стран в обуздании потрясений, которые предстояло пережить и Российской империи. Чтобы своим умом этот опыт применять в российских условиях, его надо, прежде всего, своим умом всесторонне ИЗУЧИТЬ. А это могли сделать молодые и талантливые специалисты по новой западноевропейской истории, получившие первоначальное образование в отечественных университетах и усовершенствовавшие его на соответствующих кафедрах университетов Германии, Франции и Англии. Молодые амбициозные русские историки, начавшие специализироваться по новой и новейшей истории стран Запада, отдавали себе полный отчёт в том, что необходимо сделать всё от них зависящее, чтобы расширить хронологические рамки штудий зарубежной истории в родных университетах. Они справедливо полагали, что триада, оформленная Целларием (Христофором) Келлером ещё в 1688 г.: 1) история древнего мира; 2) история средних веков; 3) история нового и новейшего времени – в российских университетах изучалась не полностью (лишь две её первые части) и её надо изучать в полном объёме. Так расширяются хронологические рамки «всеобщей истории». Что же касается структурно-тематических рамок, то и они должны быть также шире: наряду с политической историей своё место должны занять экономическая, социальная (с упором на исследование жизни народа), «культурно-бытовая» истории.

Одним из первых, кто проложил научную стезю на Запад с целью подготовки докторской диссертации, был магистр Харьковского университета Михаил Назарович Петров (1826–1887). 26 ноября 1865 г. в историко-филологическом факультете Императорского Московского университета М.Н. Петров защищал в качестве докторской диссертации свою монографию, посвященную национальным историографиям Германии, Англии и Франции².

Оппонентами диссертации выступили два ученых кафедры всеобщей истории Московского университета – *В. И. Герье*, только что приступивший к ведению занятий по всеобщей истории после его отозвания из заграничной научной командировки и его коллега, *Н. А. Попов*, совсем еще недавно вернувшийся из длительной поездки по Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Румынии. Приметим красноречивые факты: все трое были молоды (или сравнительно молоды).

М. Н. Петрову чуток перевалило за 39, В. И. Герье за 28, Н. А. Попову за 32. Стало быть, самым старшим из названных был соискатель. Оба оппонента были лишь магистрами. В. И. Герье в 1862 г. защитил магистерскую диссертацию «Борьба за польский престол в 1733 году», а до докторской (1871 г.) было еще далеко. Н. А. Попов лишь годом ранее Герье стал магистром, защитив свою монографию³, и до докторской (1869 г.) ему надо тоже надо было шагать и шагать.

Оба оппонента ко времени защиты Петровым докторской диссертации не были в строгом смысле слова историками исторической науки «в Германии, Англии и Франции» нового и новейшего времени. Петров сознавал это и чувствовал себя от начала и до конца защиты вполне уверенно, и результаты голосования были для него ожидаемо положительными. Петров, быть может, как никто иной (в том числе и младшие его коллеги по науке, В. И. Герье и Н. А. Попов) не без чувства некой горделивости, где-то прятанной в тайниках его богатой, широкой и беспокойной души, скорее всего, не очень отчетливо, но понимал, что свое поле он вспахал хорошо, что оно дало такой обильный урожай, какого еще никто не взращивал на ниве русской исторической науки стран Запада. Да и зерна он отсеял через мелкое решето и все они как на подбор: увесисты, желты и красивы (размягчи – и в рот клади). Более отчетливо соискатель высокой ученой степени сознавал и то, что он в данный для него, простолоудина, действительно судьбоносный момент на голову превосходит по своему умственному состоянию и мастерству историописания и Герье, и Попова и многих других членов Совета. Об этом говорит его не только стремительный научный рост: в 22 года (1848 г.) блестяще заканчивает Харьковский университет с кандидатской диссертацией «Цивилизация галло-франков во времена Меровингов». В 24 года (1850 г.) защищает магистерскую диссертацию «О характере государственной деятельности Людовика XI». Потом последовали 8 лет (1850–1858 гг.) трудной приват-доцентской работы в Харьковском университете. Затем – заветная двухгодичная научная командировка (июль 1858 г. – июль 1860 г.) в Германию, Францию, Италию, Бельгию и Англию. Труд – поистине героический – в архивах, библиотеках перечисленных стран, слушание лекций, стажировка в их университетах у ведущих профессоров-историков и написание текста докторского исследования. В июле 1860 г. М. Н. Петров возвратился в любимый Харьков с «толстой сумкой на ремне», в коей три объемных папки под одним и тем же заглавием – «Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции». Вдумаемся: за 12 лет, последовавших после окончания университета, 3 диссертации: кандидатская, магистерская и докторская.

Однако ж вернемся к пухлым папкам с рукописным текстом докторского исследования. Чтобы «превратить» рукопись в типографский текст, требуется отчет о командировке – министерство «за будь, здоров» денег не дает! Петров быстро мастерит его, и в начале 1861 г. он появляется на свет божий под длинным бюрократическим названием (что было не по душе его автору): «Отчет о занятиях адъюнкта Харьковского университета М. Н. Петрова в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Англии, с июля 1858 г. по июль 1860 г.» (Харьков, 1861 г.). А 7 января 1861 г. ректор Александр Петрович Рославский-Петровский (учитель М. Н. Петрова) утверждает распоряжение Совета Императорского Харьковского университета о напечатании докторского исследования своего ученика в университетской типографии.

Еще минуло несколько месяцев в трудах, борениях и заботах – чтение набора, его правка, внесение изменений и добавлений, чистка текста от лишних слов,

придание ему яркости, образности, красоты (последние были и в рукописи, но в типографском тексте они стали зримее, весомее, получили еще большую убедительность). И вот увесистый, элегантный томик в 300 страниц – текст на рисовой бумаге, самой качественной и самой долговечной – в твердом переплете с кожаным корешком в руках его создателя. Задумался Михаил Назарович. И есть над чем! Куда «ткнуться» с защитой. Бедна была российская наука зарубежной истории в начале 60-х гг. XIX в.! Санкт-Петербургский университет? Да что говорить! Петрову было известно, что в течение двух учебных годов – 1834–1835 и 1835–1836 гг. – лекции по всеобщей истории в университете северной столицы читал двадцатилетний украино-русский... писатель Н. В. Гоголь⁴. В Императорском Киевском университете им. Св. Владимира «дела» со всеобщей историей обстояли не лучше, чем в Санкт-Петербурге. Одна надежда – на Москву. В Белокаменной, в свое время, заявил о себе как серьезный исследователь Т. Н. Грановский, прошедший западную научную школу. Он сверкнул яркой звездой на университетском небосклоне и быстро угас – 4 октября 1855 г. его не стало. Но живы и крепки были научные традиции, укорененные им в русской науке истории, в особенности всеобщей. Об этом свидетельствует не кто-нибудь, а сам В. О. Ключевский. Он заметил, что когда в 1861 г. он переступил порог Московского университета, все в нем живо напоминало о Т. Н. Грановском: «имя [Грановского] встречало и провожало меня в университете: оно еще звучало во всех аудиториях»⁵ [курсив мой. – В. З.]. Продолжало оно звучать, еще, быть может, громче, чем в год вступления Ключевского в университет, через десять лет – в юбилейном памяти Грановского 1865 г. Не могло быть Петрову неизвестно и то, что в это время твердо правил университетом юрист-профессор Сергей Иванович Баршев, пользовавшийся особым доверием самого государя императора Александра II. Взвесив все обстоятельства pro et contra, Петров и повез свой том докторской на кафедру всеобщей истории Московского университета. Прошло немало времени с того события! И вот другое событие наступило: он совершенно свободно произносит свою яркую и образную (до художественности) вступительную речь. Ее заглавие кратко, но емко: «Об отношении исторических наук к естественным»⁶. Позже текст речи был включен в качестве специального Приложения в 1 том «Лекции по всемирной истории» М. Н. Петрова (Харьков, 1888 г.). Затем, как это обычно бывает в подобных случаях, последовали к диссертанту вопросы, на которые он дал короткие и ясные ответы. На кафедру поднимается В. И. Герье, его сменяет Н. А. Попов: оба читали упомянутый том Петрова, но в совершенстве его материалом не овладели. Концовки выступления обоих были похожи одна на другую – ученой степени доктора соискатель вполне заслуживает, и посему просим уважаемых господ членов Совета присудить ее. Так оно и произошло. Несколько разочарованный (не результатами баллотировки), а самой обыденностью, я бы сказал, серостью процедуры защиты М. Н. Петров поблагодарил молодых оппонентов, кафедру, Совет историко-филологического факультета и ректора Императорского Московского университета. Через несколько дней

С. И. Баршев подписал диплом доктора всеобщей истории Московского университета на имя М. Н. Петрова. Так благополучно закончилась докторская эпопея М. Н. Петрова, длившаяся более пяти лет, если считать с момента выхода его монографии из типографии Харьковского университета.

Картина, нами нарисованная и посвященная подготовке, защите и обретению докторской степени М. Н. Петровым, требует нанесения новых мазков – теперь уже не столь образных, сколь понятийно-научных. Приступаем к такой работе.

Докторское исследование М. Н. Петрова⁷ выполнено в сравнительно-историческом плане и состоит из предисловия (С. I–VII), и трех частей: [1] Германская историография (С. 1–116); [2] Английская историография (С. 119–184); [3] Французская историография (С. 187–309). Приметим: освещению германской историографии Петров отвел 116 стр., английской – 65 стр., французской – 112 стр. Выходит, что германская история в историографической концепции Петрова занимает доминирующее место, чуток поменьше места занял анализ и оценки французского историописания и, я бы сказал, второстепенное место было отведено английской исторической мысли. Такая пространственная градация западноевропейской исторической мысли русским историком была оправданной и обоснованной, поскольку она отражала реальный вклад в историю ученых названных стран. Но это еще не все. В предисловии Петров определил свой подход к анализу истории исторической мысли, который характеризуется такими чертами: во-первых, российский историограф вовсе исключил из своего изучения исследования, не имевшие сколько-нибудь существенного влияния на последующее движение исторического знания. Во-вторых, Петров не принимал во внимание литературно-исторические произведения, поскольку «желал <...> представить <...> очерк новейшего развития исторической науки в ее серьезном значении» (С. V). В-третьих, харьковский ученый ограничился созданием «картины развития» национальных историографий Германии, Англии и Франции за протекшее шестидесятилетие XIX в., то есть их новейшей истории, упоминая, например, «об истории древнего мира, только в такой мере, в какой это необходимо для уразумения общего хода национальной исторической литературы» (С. V–VI).

Основной корпус источников, на которых основана диссертация Петрова, составили труды выдающихся западноевропейских историков, имена которых в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. были, что называется, на слуху (о них речь чуток позже). Наряду с ними Петров не преминул воспользоваться отзывами о них (ученых и их трудах), которые он обнаружил в иностранных журналах и специальных обзорах, а также лично получил во время многочисленных встреч с людьми «во время <...> путешествия по чужим краям» (С. VII). Но при этом крайне необходимо отметить: Петров не стал в прямом смысле слова учеником западноевропейских историков, хотя и использовал (творчески!) то новое, что появлялось на Западе, создавая при всем при этом *СВОЕ СВОИМ УМОМ*. Я это говорю для того, чтобы несколько умерить научную скромность

М. Н. Петрова. Он во всем был до чрезвычайности скромнен и признавался, что при оценках историков и их произведений редко руководствовался своими личными взглядами, полагая, что для научного сообщества российских историков гораздо интереснее те мнения и оценки, которые пользуются в науке наибольшим уважением. Изложив приведенное нами размышление, Петров почувствовал, что эти слова не выражают в полной мере его подходы к интерпретации западноевропейской исторической мысли и на следующей странице добавил, что его оценки основывались и на его «собственных соображениях», правда, в «редких случаях» (С. VI–VII). Концептуальный подход Петрова к историографии, нами здесь пунктирно реставрированный, не может не представлять интереса у современных историков исторической мысли. Однако двинемся по намеченному пути далее.

Реконструированный подход Петрова к изучению становления и развитию западноевропейской истории окончательно сформировался в процессе штудий всего того, что дали выдающиеся ученые Германии, Англии и Франции примерно за первые шесть десятилетий XIX в.

Однако, как можно судить по отчету М. Н. Петрова за двухгодичную командировку «в чужих краях», рабочая концепция, составленная им и его учителем – профессором А. П. Рославским-Петровским, была несколько шире и в территориальном пространстве, и по тематическому объему. Она включала изучение не только истории Германии, Англии и Франции, но и Бельгии и Италии, о чем он писал в 1861 г. в своем «Отчете о занятиях адъюнкта...». Подчеркивал он и значение для него «вспомогательных и родственных наук всеобщей истории» в упомянутых странах: археологии, географии, политической экономики, юридических наук и т. д. Громадная обширность рабочей концепции была ясна Петрову сразу же, как он переступил западную границу Российской империи. Это уразумение заставило его сосредоточиться на главном, что затем четко оформилось в его докторском исследовании.

Расчленив объект своих штудий на три части, повторимся – германскую, английскую и французскую историографию – Петров при изложении каждой из них строго следовал самому надежному принципу организации материала – *хронологическому*. Так, изложение германской исторической мысли он начинал с анализа трудов историков XVIII в. Людвига и Гундлинга. Далее перед нами чередой проходят А. Шлецер, М. И. Шмидт, Ф. Шлегель, Б. Нибур, Г. Зибель, Л. Ранке, Ф. Шлоссер (современник Петрова).

Названного принципа Петров придерживался в процессе изучения и изложения английской исторической литературы – Т. Маколей, Г. Болинброк, Э. Гиббон, Т. Бокль и др. При обзоре французской истории Петров исходил из этого же принципа – Ф. Гизо, О. Тьерри, А. Токвиль, А. Тьер, Ф. Минье, Ж. Мишле, попутно говоря и о других ученых.

Несколько выше я написал, что Петров, будучи в двухгодичной командировке в «чужих краях», собирая, изучая, классифицируя поистине циклопический материал о новейшей истории стран Запада, встречаясь и беседа со

светилами исторической науки, творил свое своим умом. И это действительно было так: он не поддавался бездумно под давление авторитетов, старался в научном творчестве историков крупного калибра выявить то, что будет способствовать становлению и развитию российской новистики, и обратить пристальное внимание сообщества историков на те увлечения, преувеличения и... белые пятна в их трудах. Так, анализируя творчество крупнейшего историка Франции, А. де Токвиля, Петров начертал: «Из глаз автора, погруженного в исследование мелких физиологических явлений революции [речь идет о Великой французской революции конца XVIII в. – В. З.], исчезает ее общий смысл, и книга его оставляет в читателе впечатление – как будто революция не сделала для Франции ничего другого, как только усилила ее центральную власть <...> и что [он], наконец, впал в односторонность» (С. 280). Перевернем восемь страниц труда Петрова – и мы начнем читать хотя и небольшое по объему (С. 288–292), но блестящее и по содержанию, и по форме эссе, посвященное Л. А. Тьеру (1797–1877). С большим сожалением приходится констатировать, что оно полностью не удержалось в отечественной новистике, остались же лишь те положения, в которых содержатся негативные черты. «Заметно, – писал Петров, – что он [Тьер] – на стороне силы успеха и, кажется, убежден, что тот, кто держит власть, достоин пользоваться ею» (С. 288). Интересно и то, что Петров пришел к выводам о том, что о государственной деятельности Тьера можно быть разного мнения (что верно, то верно), однако у российского историка нет сомнения в том, что она отлично подготовила его к роли первого историка Франции» (С. 289). В чем проявилось это мастерство Тьера? Прежде всего, в том, отвечает автор, что Тьер имел доступ в архивы, в которых лежал «первостатейный литературный материал» и куда был воспрещен вход постороннему частному лицу. Первостепенные источники, «государственная опытность», колоссальный литературный талант и патриотическая одушевленность позволили создать Тьеру два многотомника под названием «Французская революция» и «История консульства и империи». Они подняли сознание и гордость французов после всех потрясений конца XVIII и в XIX в. Можно было бы продолжить эти примеры, но их, по-моему, достаточно, чтобы сказать, что Петров осуществил анализ западноевропейской историографии, руководствуясь многосторонним подходом.

Начало нашей новистики следует отнести к концу 1850-х – началу 1860-х гг. Её можно представить в виде истока могучей силы, который выбросил в российское историко-научное пространство высокий столб чистой родниковой воды под названием «Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции». Этот исток был обнаружен и освобожден от стеснявших его первоначальных оков земной поверхности М. Н. Петровым. Затем этому истоку раскопали русло В. В. Бауер (1826–1884), В. И. Герье (1834–1919), Н. И. Кареев (1850–1931) и др. В конце XIX – начале XX столетия он превратился в могучую реку, сравниться с которой было не под силу ни одной европейской историографии.

Примечания

¹ Уваров С. С. О преподавании истории относительно к народному воспитанию. СПб., 1813. С. 2, 25.

² См.: Петров М. Н. Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции. Сравнительный историко-библиографический обзор, составленный М. Петровым. Харьков, 1861.

³ См.: В. Н. Татищев и его время. М., 1861.

⁴ См.: Гоголь Н. В. Лекции, наброски и материалы по всеобщей истории // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. : в 14 т. Т. 9. М., 1952. С. 85–172.

⁵ Ключевский В. О. Памяти Т. Н. Грановского (умер 4 октября 1855 г.) // Ключевский В. О. Сочинения : в 9 т. Т. 7. М., 1989. С. 476.

⁶ См.: [Речь на диспуте в Императорском Московском университете 26 ноября 1865 г.] // Моск. университет. изв. 1865. № 4. С. 282–299.

⁷ Петров М. Н. Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции. Далее при цитировании ссылки даются на это издание в тексте в круглых скобках.

*А. М. Скворцов
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)*

М. С. КУТОРГА: СТАНОВЛЕНИЕ УЧЁНОГО-АНТИКОВЕДА

Личность М. С. Куторги неоднократно становилась предметом изучения историографов. В частности, его биография основательно была изучена казанским исследователем А. Д. Константиновой¹. Ю. К. Мадиссоном на основе материалов, главным образом эстонских архивов, анализировался «дерптский период» в жизни М. С. Куторги (1828–1835), включая заграничную командировку после учёбы в Профессорском институте в Дерпте². Биографические сведения о рассматриваемом нами учёном содержатся и в историографических работах петербургских антиковедов Э. Д. Фролова³ и Т. В. Кудрявцевой⁴. В связи с этим, думается, нет необходимости подробно рассматривать все этапы жизни и творчества мэтра. Целесообразно остановится на одном из них, не получившем достаточного освещения, – времени становления М. С. Куторги как учёного. Именно на этом этапе просматриваются те механизмы взращивания историка, которые будет позже использовать уверенный в их продуктивности Михаил Семёнович в своей собственной педагогической практике.

Согласно выписке из метрической книги, Михаил Семёнович Куторга родился 8 ноября 1809 г. в г. Черикове под Могилёвым⁵ в православной семье канцелярского чиновника⁶. Среди предков М. С. Куторги можно встретить и священников, и гражданских служащих, и даже польских панов⁷. Этническое происхождение историка пока трудно определить из-за отсутствия необходимых источниковых свидетельств. Мнение Э. Корниловича, который в одной из публицистических статей отнес его к белорусскому этносу⁸, не имеет подтверждений. На наш взгляд, важнее то, что по своему самосознанию и культурной принадлежности, а также по официальным документам той эпохи⁹ М. С. Куторга позиционировался как русский.

В 1813 г. семья Куторги переезжает в Санкт-Петербург¹⁰, однако её материальное положение оставляло желать лучшего¹¹. Поместье не приносило достаточного дохода, да и глава семьи – Семён Мартынович – являлся мелким чиновником¹² и имел скромное жалованье. Поэтому воспитание и обучение

Михаила Куторги было домашним «под руководством и постоянным наблюдением <...> отца»¹². Материальное положение семьи резко ухудшилось после смерти её главы в 1817 г. С этих пор важную роль в образовании будущего антиковеда играет его брат Степан Семёнович¹³, благодаря которому М. С. Куторга получил первичные знания, необходимые для обучения в гимназии. Об этом свидетельствует одно из писем М. С. Куторги: «Если бы ты [обращение к С. С. Куторге. – А. С.] в течение всех летних каникул не сидел бы целые дни надо мною и не учил бы меня, то я был бы разве уездным учителем, а не русским историком»¹⁴. Общее образование М. С. Куторга получил в Третьей Петербургской гимназии, где учился в течение четырёх лет¹⁵. Тогда там преподавал один из лучших педагогов России Ф. И. Миддендорф, благодаря которому Михаилу Семёновичу удалось достичь уровня знаний, необходимого для поступления в высшее учебное заведение. В 1827 г., сдав вступительные экзамены, он был зачислен на словесное отделение Петербургского университета.

В отечественной историографии стало общим местом отмечать низкий уровень преподавания истории (особенно истории зарубежных стран) в Петербургском университете в 20 – первой половине 30-х гг. XIX в.¹⁶ И это соответствовало действительности. На качество образования негативным образом повлияло назначение в 1821 г. на должность попечителя Петербургского учебного округа Д. И. Рунича. В лекциях ряда преподавателей (Э. Раупаха, К. Ф. Германа, А. И. Галича, К. И. Арсеньева) он разглядел идеи, способные подорвать идеологическую основу власти императора в России. Итог попечительства Рунича оказался печальным – профессора вынуждены были покинуть университет. В таких условиях на смену им пришли преподаватели, у которых «не было ни духа науки, ни учёного достоинства»¹⁷. Большинство из них, читая лекции по известным всем руководствам монотонным голосом, были абсолютно не способны развить у студентов интерес к наукам. Один из современников, В. В. Григорьев, характеризуя университет той эпохи, отмечал: «При отсутствии надлежащей учебной подготовки царствовало поклонение тому или иному учебнику, в котором заключалось почти всё сокровище знаний самого преподавателя <...> От студентов не требовалось ничего, кроме заучивания этих учебников наизусть <...> Считалось даже за дурную наклонность к вредному свободомыслию, если студент на экзамене отвечал из учебника “своими словами”»¹⁸. Для чтения довольно специфической дисциплины всеобщей истории приглашались историки-русисты, малокомпетентные иностранцы, второстепенные профессора, желавшие поправить своё финансовое положение, а порой и чиновники¹⁹.

М. С. Куторга проучился в Петербургском университете всего полтора года. Несмотря на общий низкий уровень преподавания, всё же нельзя утверждать, что это время прошло для него бесследно²⁰. В записке о преподавании всеобщей истории в течение первых 25 лет существования родной ему alma mater видно, что он с почтением относился к своим первым учителям по истории древности. Историю древнего мира и средневековья у него читал А. Л. Крылов, древнюю

географию – А. И. Брут. «Студенты учились у них действительно многому»²¹, – писал М. С. Куторга, утверждая, что их отставка была потерей для университета. Будучи состоявшимся учёным, профессором, он тепло вспоминал лекции А. Л. Крылова, особенно – его постоянное обращение к источникам, цитирование античных авторов на занятиях²². Очевидно, ещё тогда, в студенческие годы, сложилось основное убеждение будущего исследователя: без обращения к тексту первоисточника историк не может создать ничего достойного.

Но М. С. Куторге суждено было завершить обучение не в Петербургском университете. В октябре 1827 г. было решено организовать в Дерпте Профессорский институт для подготовки природных русских высококвалифицированных специалистов для преподавания в высших учебных заведениях Российской империи. В 1828 г. последовало Высочайшее повеление об избрании в пяти университетах России – Петербургском, Московском, Казанском, Виленском, Харьковском – двух десятков молодых людей для отправки их в Дерпт и приготовления к профессорскому званию²³. От претендентов требовались не только знания в избранной специальности, латинского, французского, немецкого языков, обладание способностями к преподаванию, надёжным здоровьем, но и «беспорочная, надёжная нравственность»²⁴. Пройдя сложные испытания в Академии наук, М. С. Куторга оказался в числе стипендиатов. Причём комиссия особо подчеркнула его глубокие знания в области всеобщей истории, решив, что он «весьма способен» к занятиям в Профессорском институте²⁵.

Следует отметить, что не случайно Дерптский университет был избран кузницей профессорских кадров для всей страны. Именно он был более всех других связан с передовой на тот момент европейской наукой, прежде всего, немецкой. Ректором университета с 1818 по 1830 г. был И. Ф. Г. Эверс, известный специалист в области русской истории. Ему удалось собрать высококвалифицированный штат преподавателей, знатоков своего дела. Велись даже переговоры с Л. Ранке, однако после его отказа вакансии профессора всеобщей истории была отдана Ф. Крузе. Последний был известен на тот момент как исследователь исторической географии древней Греции. Незадолго до приезда в Дерпт он опубликовал труд по этой тематике²⁶, который был написан в лучших традициях немецкой исторической науки, с мелочно-дотошной критикой античных источников²⁷. Именно Ф. Крузе стал наставником молодого начинающего историка М. С. Куторги.

Подготовка Ф. Крузе будущих историков включала чтение общих лекционных курсов по всем разделам всеобщей истории, которые завершались для стипендиатов экзаменом, а также проведение практических занятий «historic-practico», где осваивался критический метод в исторических исследованиях, производился кропотливый разбор источников и литературы по указанной преподавателем теме. В конце каждого семестра учениками Ф. Крузе представлялись письменные работы на латинском языке. Их обсуждали участники семинара на так называемых «disputatorio». Первым самостоятельным научным трудом М. С. Куторги стало сочинение «Regni Troiani imprimis secundum

Номегум discriptio» («Описание Троянского царства преимущественно по Гомеру»)»²⁸ 1830 г. Следующие его работы были посвящены племенам древней Аттики (1831–1832 гг.)²⁹. Именно эти исследования затем и лягут в основу будущей магистерской диссертации.

Ф. Крузе был весьма доволен трудолюбием и кропотливостью своего ученика М. С. Куторги. Реферат о Троянском царстве даже вызвал восторг профессора, так как молодому историку удалось, используя для истолкования поэм Гомера астрономические наблюдения и картографические работы авторитетных европейских географов, уточнить расположение горных вершин – Котил и Горгара, благодаря чему были внесены изменения в изданную незадолго до этого самим же наставником карту древней Греции³⁰. В результате столь блестяще выполненной работы М. С. Куторга приобрёл себе покровителя в научных кругах. Он получил право пользоваться богатой библиотекой Ф. Крузе, а также стал принимать участие в его еженедельных субботних практических занятиях по изучению первоисточников.

Обучение М. С. Куторги в Профессорском институте шло очень успешно. Он регулярно получал высокие оценки на экзаменах, заслуживал похвалы профессоров³¹. Трудности вызывало требование со стороны руководства университета об изысканном («элегантном») владении древними языками. Воспитанники должны были свободно переводить с немецкого или латинского на древнегреческий и обратно. Такое положение было принято в результате усиления позиций неогуманистов в Дерпте. Представители этого течения ставили знание древних языков во главу угла, считая, что выпускники университетов должны были свободно изъясняться на греческом и латинском языках. Именно это требование стало камнем преткновения для М. С. Куторги. Необходимо было научиться переводить не просто с латинского языка на русский, но и с немецкого или латинского на греческий и обратно³².

Обучение в Профессорском институте должно было окончиться присуждением успешно прошедшим курс степени магистра или доктора наук. Стоит отметить, что специально для дерптских стипендиатов были внесены изменения в «Положение о производстве в учёные степени» 1819 г.: отныне степень магистра или доктора присуждалась и тем воспитанникам, которые не имели предшествующих учёных степеней³³. Так, по решению Совета факультета докторскую степень могли дать, минуя магистерскую. Тем самым правительство хотело значительно пополнить ряды русских профессоров. Кроме защиты диссертации на латинском языке, соискатель учёной степени должен был пройти испытания по главным и вспомогательным дисциплинам. Для историков главными считались всеобщая и русская история; вспомогательными – хронология, география, статистика, классическая филология, история философии, греко-римские древности³⁴.

М. С. Куторга вышел на защиту своей первой диссертации, написанной на латинском языке, – «De antiquissimis tribubus Atticis earumque cum regni partibus nexu» («Об аттических племенах и их связи с частями царства») в декабре

1832 г. Она была посвящена одному из самых сложных и запутанных вопросов ранней истории Афин – происхождению родоплеменных объединений (фил). М. С. Куторга исходил из того положения, что «... история древнейшего периода Греции не в такой степени недостоверна, как смотрят на неё теперь писатели, посвящающие себя её изучению; что в повествованиях историков содержится истина, основанная не на изустном предании, а на подлинных исторических памятниках; что с древнейших времён существовала в Греции письменность, доставившая историкам возможность приобрести положительные данные; и что рассмотрение древнейших событий подтверждает эти положения, несколько их не опровергая»³⁵. Анализируя произведения Геродота, Фукидида, Плутарха, Полибия, Диодора и др., он опровергает бытовавшее тогда мнение о кастовом характере древнейшего общества Афин (по типу древней Индии)³⁶. М. С. Куторга приходит к выводу, что население Аттики в наиболее раннее время жило племенами, которые античные историки обозначают как трибы или филы. Его заслуга состоит ещё и в том, что он одним из первых использовал мифологическую традицию в качестве исторического источника. Он подчеркнул, что её не только можно, но и нужно использовать для исследования первобытного состояния общества.

В диссертации отчётливо видно всё исследовательское мастерство М. С. Куторги при решении сложнейших задач: тщательный анализ произведений античных авторов, критический разбор работ его предшественников, выдвинутый смелых, но обоснованных и тщательно аргументированных источниками предположений. Всё это и будет составлять основу всего дальнейшего научного творчества мэтра.

Следует заметить, что с критическим методом в исторических исследованиях он познакомился именно в Дерпте, а не в ходе заграничной стажировки³⁷. И здесь мы присоединяемся к мнению Ю. К. Мадиссона, А. Д. Константиновой, Т. В. Кудрявцевой³⁸. Данный тезис подтверждают хотя бы сноски на труды Б. Г. Нибура, Ф. Гизо, сделанные М. С. Куторгой в диссертации 1832 г., что свидетельствует о его глубоком знакомстве с данными произведениями³⁹. В 8-м тезисе он ставит Ф. Гизо выше остальных историков, считая его ярчайшим приверженцем сравнительно-исторического метода⁴⁰. Из экзаменационных материалов М. С. Куторги видно, что он зачастую излагает основные положения теории Б. Г. Нибура и даже с блеском отвечает на дополнительный вопрос об учении этого знаменитого историка⁴¹. А именно благодаря этому великому учёному в исторической науке восторжествовал «здоровый критицизм», и античность перестала изучаться в русле «грамматико-антикварного направления»⁴². Таким образом, в Дерптском Профессорском институте М. С. Куторга глубоко освоил самые передовые на тот момент методики исторического исследования.

Но, утверждая, что молодой антиковед познакомился с лучшими достижениями современной ему науки именно в пределах Российской империи, в Дерпте, нельзя отрицать факт влияния немецких традиций на формирование взглядов М. С. Куторги. Именно благодаря немецким профессорам, которые у него

преподавали, чтению и анализу их трудов, он и стал выдающимся антиковедом своей эпохи. Признанное общее влияние немецкой науки на российскую уже с начала XVIII в. вряд ли нуждается в дополнительных обоснованиях⁴³.

Несмотря на глобальность поднятых проблем в диссертации и принципиальную новизну выводов, докторскую степень, минуя магистерскую, М. С. Куторга так и не получил за эту работу. Принимая такое обидное для соискателя решение, Совет факультета руководствовался скорее не научной значимостью проведённого исследования, а иными мотивами. Причиной тому стал конфликт молодого учёного с профессором К. Л. Блюмом, который преподавал статистику и географию, относившихся к разряду вспомогательных дисциплин. Подробности этого конфликта неизвестны. Ю. К. Мадиссон считал, что истоки его следует искать в начале первого семестра 1831 г., когда по каким-то причинам воспитанники Профессорского института отказались посещать лекции о Демосфене, который читал К. Л. Блюм⁴⁴. Это вызвало недовольство со стороны профессора, и он затаил обиду, в особенности на М. С. Куторгу, вероятно, считая его зачинщиком этого бойкота. На наш взгляд, Куторга игнорировал лекции Блюма, считая их бесполезными для собственного научного развития. Здесь, наверное, впервые проявился сложный характер будущего мэтра, который ещё не раз сыграет с ним злую шутку. Судя по семестровым отчётам, Ф. Крузе постоянно хвалил своего подопечного, ставя его выше остальных студентов. Вследствие этого самомнение начинающего антиковеда о своей учёности резко возросло. К. Л. Блюм раздражённо заявлял в отчёте за 1 семестр 1832 г., что М. С. Куторга имел слишком высокое мнение о своих убеждениях и о своих умственных способностях⁴⁵. Профессор был явно возмущён. В дальнейшем он попытался ударить по самому больному для молодого историка месту – его самолюбию. И ему это удалось! В экзаменационных актах 1832 г. К. Л. Блюм всегда ставил М. С. Куторге оценку ниже по сравнению с остальными испытуемыми – «хорошо». В научных работах дерзкого воспитанника он подчеркивал исключительно отрицательные моменты, резюмируя, что они сделаны на низком гимназическом уровне⁴⁶. Очевидно, и некоторые другие преподаватели из профессиональной солидарности присоединились к позиции К. Л. Блюма и основательно портили настроение строптивому студенту. Сам М. С. Куторга – весьма самолюбивый человек – сильно переживал по поводу возникшей травли. Позже, будучи за границей, он далеко не лучшим образом вспоминал это время в письме своему брату: «...с того времени, как я только выехал из Дерпта, я совершенно изменился. Я сделался весел, жив и даже, как некоторые уверяют, любезен <...> Жизнь опять является мне в прелестном виде и по крайней мере до этих пор её улыбка мне не изменяет <...> в Дерпте все меня теснили, гнали, но лишь я выехал из него как будто волшебством всё переменилось»⁴⁷. «Антикуторговская» кампания К. Л. Блюма имела печальные последствия для молодого историка: большинством голосов Совета факультета ему была присвоена лишь степень магистра философии. Хотя некоторым соискателям удалось добиться сразу «доктора».

Для М. С. Куторги такое решение факультета было настоящим ударом. Им даже высказывались намерения сменить специальность. Он просил факультет не отправлять его на стажировку за границу⁴⁸, желал остаться в России и написать докторскую диссертацию по русской истории под руководством И. Ф. Круга. Однако эта просьба была отвергнута: Министерство народного просвещения из М. С. Куторги пыталось сделать специалиста именно в области античности, в которых ощущался острый недостаток.

Задачи, которые ставил себе историк в период пребывания за границей 1833–1835 гг., сводились к следующему: 1) посещение лекций по различным отделам истории, особо обращая внимание на методику преподавания; 2) установление личных контактов с зарубежными профессорами, консультации с ними; 3) работа в Королевской библиотеке с источниками и литературой⁴⁹. Обобщая, можно сделать вывод, что в период пребывания за рубежом стажёр целенаправленно готовил себя именно к дальнейшей научно-педагогической деятельности.

Для решения таких задач Министерством народного просвещения местом пребывания молодых учёных была выбрана Германия, в частности, Берлин. Он являлся центром европейского антиковедения того времени. Отчасти здесь учитывалась и политическая обстановка в Западной Европе. Во Францию и Англию, например, никого не пустили, боясь «заражения» молодых умов либеральными идеями. Более того, над стажёрами в Берлине был установлен строжайший надзор, им даже было запрещено выезжать из города⁵⁰. Но всё же, по разрешению начальства, М. С. Куторге удалось «выбить» для себя поездку в Вену через Дрезден и Прагу⁵¹, но эта поездка, по всей видимости, оказалась для него неудачной, так как в самом её начале он заболел оспой и вынужден был довольно длительное время соблюдать постельный режим⁵¹.

В целом, заграничная стажировка не удовлетворяла запросам М. С. Куторги. Он не видел смысла постоянного пребывания в Берлине. Ему хотелось познакомиться с традициями преподавания в других университетских и научных центрах, произвести работу в английских, французских библиотеках. Но Министерство народного просвещения стояло на своём – стажёры должны оставаться в Берлине. М. С. Куторга посещал лекции знаменитых профессоров Ф. Раумера, Л. Ранке, Ф. Вилькена, но их манерой изложения материала, их подготовкой к занятиям он остался чрезвычайно не доволен. Ф. Раумер читал свои лекции по Новой истории по недавно вышедшей у него книге слово в слово, Ф. Вилькен в виду своей старости и дряхлости был не способен вести научный разговор. А Л. Ранке был ограничен исключительно одной областью – Новой историей⁵². Такие характеристики были даны молодым стажёром маститым профессорам. С благодарностью он вспоминал только лишь личные беседы с Л. Ранке, которые принесли М. С. Куторге большую пользу⁵³.

Молодой учёный настолько был недоволен результатами своей поездки, что в апреле 1834 г. даже просил министра народного просвещения графа С. С. Уварова разрешить ему вернуться в Россию раньше установленного срока «по семейным обстоятельствам» и заняться под руководством Круга отечественной

историей⁵⁴. Ни у С. С. Куторги, брата стажёра, ни у самого М. С. Куторги Министерству не удалось выяснить, о каких именно семейных обстоятельствах говорилось в письме, поэтому ходатайство было отклонено С. С. Уваровым⁵⁵. Очевидно, эти «обстоятельства» были придуманы с целью скорейшего возвращения на родину. Закончилась стажировка по плану в мае 1835 г.

Наконец, заключительным этапом в становлении учёного можно обозначить процесс подготовки и защиты докторской диссертации. Новое научное сочинение готовилось М. С. Куторгой в первые годы после возвращения из заграничной стажировки. В январе 1836 г. он начинает преподавательскую деятельность в Петербургском университете, параллельно с этим развивает свои идеи, высказанные в магистерской работе.

Своеобразным промежуточным этапом перед защитой докторской диссертации стало издание книги под названием «Политическое устройство германцев до шестого столетия» (1837 г.), материалы для которой М. С. Куторга собирал в период пребывания в Германии в 1833–1835 гг.⁵⁶ Данная работа нам интересна тем, что её выводы автор использовал и в работах, посвящённых древнейшему периоду истории Греции, считая, что основой первоначального общества у всех народов был именно родовой строй. М. С. Куторга опровергает тезис об изначальности частной собственности, утверждая, что на ранних этапах истории любого общества собственность была коллективной: «Первоначально вся земля, вновь занятая, рассматривалась собственностью целого общества <...> каждый приобретал свой участок не своевольно, но по назначению народного собрания»⁵⁷, земля же распределялась по жребию, но, в конечном счёте, «владения частных лиц произошли от общественных»⁵⁸. Государство же, по мнению автора, возникает из необходимости защиты, вырастая из более ранних объединений – семьи, рода, племени⁵⁹. Такой точки зрения придерживались Б. Г. Нибур, Дж. Грот, Т. Моммзен⁶⁰.

В докторской диссертации «Колена и сословия аттические» (1838 г.) М. С. Куторга, используя усвоенный им ещё в Дерпте благодаря произведениям Б. Г. Нибура сравнительно-исторический метод, а также античную традицию (в частности, данные Исократ), приходит к выводу, что в древнейший период истории Аттики господствовала общинная собственность на землю. Грецию в это время заселяли племена пеласгов, известные, например, по «Истории» Геродота (Hdt. I. 57; VII. 94). Государство же, по мнению М. С. Куторги, возникает вследствие завоевания пришельцами ионийцами местного автохтонного населения. В результате этого возникает два антагонистических класса – победители (ионийцы), которые становятся знатью (эвпатридами), и побеждённые (пеласги), которые именуются демосом⁶¹. Только лишь завоеватели сохранили свою племенную организацию. Ионийцы по-прежнему делились на 4 филы: гелеонты, эгикоры, аргады, гоплеты – но после завоевания приобрели ещё и территориальные наименования – диакрии, паралии, педиэи, месогейцы⁶².

Нетрудно здесь заметить влияние на М. С. Куторгу идей французской романтической школы, в частности, историка Ф. Гизо, которого диссертант высоко-

ко ценил. Выводы, полученные соискателем, имели принципиальное значение. Ими он обрисовал контуры для следующих исследований, определив смысловое содержание последующей эпохи. Именно в завоевании одного народа другим диссертант видел истоки дальнейших социально-политических конфликтов в Афинах – демократической и аристократической группировок в архаический период. Усилившийся демос борется за свои права с эвпатридами. Данная проблема станет основной как в последующих исследованиях самого М. С. Куторги, так и в работах его учеников.

Защита диссертации молодого учёного (а М. С. Куторге тогда не исполнилось и 29 лет) прошла блестяще: «из защищаемой им почвы он не уступил <...> ни одной пяди»⁶³. Соискатель держался стойко, несмотря на огромное количество слушателей, что было редкостью для того времени, и принципиальные возражения оппонентов – ординарных профессоров Н. Г. Устрялова и П. И. Калмыкова. Защита проходила одновременно на 3-х языках – русском, латинском, немецком, что не было препятствием для М. С. Куторги, так как на них он изъяснялся свободно. Многие современники запомнили эту защиту как образцовую. Один из них – Г. С. Дестунис – писал: «... Таковую блистательную оборону диссертации, основанную на глубоко обдуманном взгляде, подкреплённую подлинными словами источников, редко приходилось слышать в течение почти полувека»⁶³. Поэтому Совет Петербургского университета единогласно счёл М. С. Куторгу достойным степени доктора философии⁶⁴.

Исследование русского антиковеда было высоко оценено в научном мире. Анонимный рецензент в журнале «Современник» отмечал, что труд М. С. Куторги «достоин особого внимания, он вносит в науку новые и отчётливые понятия»⁶⁵. Анализируемый труд, по его мнению, имеет значение не только для науки об античности, но и в целом – для исторической науки, поскольку прежде исследователи древнейший период в истории называли баснословным и не принимали всерьёз мифологическую традицию⁶⁶. М. С. Куторга же доказал, что и древнейшие предания можно и нужно использовать в качестве исторического источника.

Исследованием М. С. Куторги заинтересовались не только в России, но и за рубежом, в европейских научных центрах. В 1839 г. его учёное сочинение было переведено на французский язык и издано в Париже⁶⁷. Благодаря этому с ним могло ознакомиться большее количество зарубежных учёных. Идеи М. С. Куторги вызвали одобрение большей части европейских антиковедов. На его труд ссылались в своих исследованиях А. Бёк, К. Ф. Герман, Э. В. Г. Ваксмут⁶⁸. Один из весьма критически настроенных к современному ему научным изданиям немец Х. А. Лобек даже восхищался трудом русского антиковеда. Признав его диссертацию добротным сочинением, он высказал мнение, что подобные ему не всегда встречались даже в Германии⁶⁹.

Итак, в становлении М. С. Куторги как учёного можно выделить несколько стадий: обучение в Петербургском университете, Профессорском институте в Дерпте, заграничная стажировка, защита докторской диссертации. Важно отметить, что как исследователь он сформировался именно в России, поезд-

ка в Европу только завершила этот процесс. Не случайно он сумел отметить не только достоинства, но и определённые недостатки европейской системы образования и отдельных профессоров. В этом выразилось восприятие иной научной культуры со стороны оригинальной, независимой и самостоятельно мыслящей творческой личности. Именно этих качеств М. С. Куторга потом и требовал от всех своих учеников.

На момент конца 30-х гг. XIX в. М. С. Куторгу можно охарактеризовать как состоявшегося самостоятельного учёного. Он защитил к тому времени уже 2 диссертации и имел свою стройную концепцию происхождения государства у греков. С его трудом были знакомы и даже делали положительные отзывы не только в России, но и в Европе, что для русского учёного было честью. А для отечественной науки того периода это было настоящей редкостью.

Именно с М. С. Куторги начинается этап признания мировой научной общест­венностью того факта, что в его лице антиковедение России становится на один уровень с европейской наукой.

Примечания

¹ Константинова А. Д. : 1) Жизнь и научная деятельность М. С. Куторги // Вопросы историографии всеобщей истории. Вып. 2. Казань, 1964. С. 80–122; 2) М. С. Куторга как историк античности : дис. ... канд. ист. наук. Казань, 1966. С. 48–120.

² Мадиссон Ю. К. Молодой Куторга (к вопросу о возникновении русской исторической науки об античности) // Учен. зап. Тартус. ун-та. Тр. ист.-филол. фак. Таллин, 1956. Вып. 43. С. 3–37.

³ Фролов Э. Д. Русская наука об античности : историографические очерки. СПб., 1999. С. 161–174.

⁴ Кудрявцева Т. В. Куторга М. С. и петербургская историческая школа. О преподавании истории в Петербургском университете в 20-е – начале 30-х гг. XIX в. // Россия в контексте мировой истории : сб. ст. в память Ю. В. Егорова / отв. ред. А. А. Фурсенко. СПб., 2002. С. 408–430.

⁵ ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. 1. Л. 1.

⁶ Биографические сведения [о С. С. Куторге], составленные братом М. Куторгой // ПФА РАН. Ф. 766. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 1.

⁷ Куторга М. С. Выписка из Синодика, то есть поминальной книги Мстиславского Тупического монастыря о поминовении Куторгов // ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. 3. Л. 2–3; Письмо И. Я. Куторги М. С. Куторге от 2 октября 1848 г. // ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. 6. Л. 1.

⁸ Корнилович Э. Мудрая птица из мстиславского гнезда. URL : <http://belarus.russiaregionpress.ru/archives/25539>.

⁹ Формулярный список М. С. Куторги // РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 255. Л. 16.

¹⁰ ПФА РАН. Ф. 766. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 1.

¹¹ Мадиссон Ю. К. Указ. соч. С. 8.

¹² Биографические сведения [о С. С. Куторге], составленные братом М. Куторгой // ПФА РАН. Ф. 766. Оп. 1. Ед. хр. № 48. Л. 1.

¹³ С. С. Куторга известен как крупный зоолог, профессор Петербургского университета.

¹⁴ Письмо М. С. Куторги С. С. Куторге от 13 мая 1861 г. // ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. 86. Л. 1 об.

- ¹⁵ Константинова А. Д. Жизнь и научная деятельность... С. 80.
- ¹⁶ См.: Григорьев В. В. Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 67–68; Фролов Э. Д. Указ. соч. С. 143–149; Кудрявцева Т. В. Указ. соч. С. 409–412 и др.
- ¹⁷ Григорьев В. В. Указ. соч. С. 67.
- ¹⁸ Там же. С. 67–68.
- ¹⁹ Фролов Э. Д. Указ. соч. С. 149.
- ²⁰ По крайней мере, оценки, которые он получил при поступлении в Профессорский институт в Дерпте, довольно высокими: всеобщая история – «очень хорошо»; немецкий, французский языки – «хорошо»; латинский язык – «изрядно»; российская история – «посредственно». См.: Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819–1919 гг. Материалы по истории С.-Петербургского университета / под ред. С. В. Рождественского. Пг., 1919. Т. 1. С. 485.
- ²¹ Куторга М. С. Записка о преподавании всеобщей истории в течение всего 25-летия существования Петербургского университета // ОР РНБ. Ф. 608. Оп. 1. Ед. хр. 2186. Л. 2.
- ²² Там же. Л. 2 об.
- ²³ ПФА РАН. Ф. 766. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 2 об.
- ²⁴ Петухов Е. В. Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет за 100 лет его существования (1802–1902). Юрьев, 1902. Т. 1. С. 486.
- ²⁵ Константинова А. Д. М. С. Куторга как историк античности. С. 51.
- ²⁶ Kruze F. K. H. *Hellas, oder geographische-antiquarische Darstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonien*. Leipzig, 1825–1827. Bd. I–II.
- ²⁷ Мадиссон Ю. К. Указ. соч. С. 13.
- ²⁸ В архивах данный научный труд, к сожалению, не сохранился.
- ²⁹ Мадиссон Ю. К. Указ. соч. С. 17–18.
- ³⁰ Там же. С. 19.
- ³¹ Во второй половине 1830 г. среди особо отличившихся были Н. И. Пирогов и М. С. Куторга. См.: Константинова А. Д. М. С. Куторга как историк античности. С. 55.
- ³² Мадиссон Ю. К. Указ. соч. С. 16.
- ³³ Петухов Е. В. Указ. соч. С. 494.
- ³⁴ РГИА. Ф. 733. Оп. 56. Д. 668. Л. 1.
- ³⁵ Куторга М. С. Собр. соч. СПб., 1896. Т. II. С. 1.
- ³⁶ Впрочем, и сегодня некоторые учёные считают, что древнегреческие филы были не племенами, а образованиями, которые близки к древнеиндийским варнам: Надь Г. Греческая мифология и поэтика. М., 2002. С. 356 и след.; Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995. С. 193 и след.
- ³⁷ См. записку В. В. Бауера о М. С. Куторге: Григорьев В. В. Указ. соч. С. 214.
- ³⁸ Мадиссон Ю. К. Указ. соч. С. 27–28; Константинова А. Д. М. С. Куторга как историк античности. С. 59–60; Кудрявцева Т. В. Указ. соч. С. 416.
- ³⁹ Kutorga M. *De antiquissimis tribubus Atticis earumque cum regni partibus nexu. Dissertatio inauguralis historica, quam ad gradum philosophiae magistri in universitate caesarea Dorpatensi obtinendum*. Dorpati Livinorum, MDCCCXXXII. P. 23, 48.
- ⁴⁰ Ibid. P. 48.
- ⁴¹ Мадиссон Ю. К. Указ. соч. С. 28.
- ⁴² Возникновение германского антиковедения XVIII – первая половина XIX в. / науч. ред. и сост. В. Д. Жигунин. Казань, 1991. С. 41.

- ⁴³ См., напр.: Фролов Э. Д. Указ. соч. Гл. II; Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII – первой половины XIX в. М., 2005.
- ⁴⁴ Мадиссон Ю. К. Указ. соч. С. 22.
- ⁴⁵ Там же. С. 23.
- ⁴⁶ Там же. С. 22.
- ⁴⁷ Письмо М. С. Куторге С. С. Куторге от 8 июня 1833 г. из Берлина // ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. № 90. Л. 1.
- ⁴⁸ Заграничная стажировка предполагалась по плану для выпускников Профессорского института.
- ⁴⁹ РГИА. Ф. 733. Оп. 56. Д. 675. Л. 83.
- ⁵⁰ Константинова А. Д. М. С. Куторга как историк античности. С. 61.
- ⁵¹ Дело о возвращении воспитанника Профессорского института Куторге и Печорину издержанных ими денег во время путешествия по Германии и Италии // РГИА. Ф. 733. Оп. 56. Д. 684. Л. 3.
- ⁵² РГИА. Ф. 733. Оп. 56. Д. 675. Л. 84.
- ⁵³ Подробнее об оценках, данных русскими историками XIX в. Л. Ранке см.: Мягков Г. П. «Нестор немецкой историографии» или «камердинер истории»? Историки России в спорах о Л. Ранке // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. М., 2001. Вып. 6. С. 40–79.
- ⁵⁴ Дело о дозволении находящемуся в Берлине воспитаннику Профессорского института Куторге возвратиться в Санкт-Петербург // РГИА. Ф. 733. Оп. 56. Д. 685. Л. 2.
- ⁵⁵ Там же. Л. 4–4 об.
- ⁵⁶ В частности, об этом он сообщает в предисловии к своей монографии: Куторга М. С. Политическое устройство германцев до шестого столетия. СПб., 1837. С. 2.
- ⁵⁷ Куторга М. С. Политическое устройство германцев до шестого столетия. СПб., 1837. С. 54.
- ⁵⁸ Там же. С. 81.
- ⁵⁹ Очерки истории исторической науки / под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1955. Т. 1. С. 482.
- ⁶⁰ См. критику этой концепции: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1952. С. 103–104.
- ⁶¹ Куторга М. С. Колена и сословия аттические. СПб., 1838. С. 57.
- ⁶² Там же. С. 90.
- ⁶³ Дестунис Г. С. Михаил Семёнович Куторга : воспоминания и очерки // ЖМНП. 1886. Ч. 246, № 7. С. 5.
- ⁶⁴ РГИА. Ф. 733. Оп. 30. Д. 290. Л. 53.
- ⁶⁵ [Рец.] «Колена и сословия аттические» // Современник. 1838. Т. XI. С. 39.
- ⁶⁶ Там же. С. 49.
- ⁶⁷ Koutorga M. Essai sur l'Organisation de la tribu dans l'antiquite. P., 1839.
- ⁶⁸ См.: Стасюлевич М. [Рец. на труды М. С. Куторги:] «О древнейших коленах аттических и их связи с областным делением Аттики». Дерпт, 1832 и дополнение к объяснению четырёх древнейших аттических колен. СПб., 1850 // Москвитянин. 1851. Февраль. № 3, кн. 1. С. 536.
- ⁶⁹ Письмо П. И. Прейса М. С. Куторге от 14 января 1840 г. // Письма П. И. Прейса М. С. Куторге, И. И. Срезневскому, П. О. Шафартику, Куршату и др. Материалы к истории славяноведения. СПб., 1892. С. 24.

*А. В. Свешников
(Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
г. Омск)*

**СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
«ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ АСПИРАНТОВ-ИСТОРИКОВ»¹**

Основным фактором, обеспечивающим определенную динамику и социальную мобильность профессионального сообщества университетских преподавателей, был институт подготовки новых кадров, реализуемый через системы оставления выпускников университета при кафедрах «для приготовления к профессорскому званию». В современной исследовательской литературе дан достаточно полный общий анализ институционально-правового и социально-политического аспекта этой системы². Однако при этом определенным образом вытекающие из социального статуса или по крайней мере связанные с ним стратегии поведения «оставленных при кафедре» оставались на периферии внимания исследователей.

Нормативной основой, регулирующей положение оставленных при кафедре, был университетский Устав 1884 г., действовавший, фактически, до февраля 1917 г. Хотя при этом Министерство народного просвещения регулярно корректировало и детализировало свои требования различными циркулярами, инструкциями и прочими нормативными актами. В этом отношении следует выделить циркуляр Министерства народного просвещения от 21 мая 1884 г. «О порядке оставления молодых людей при университетах и командирования за границу с целью приготовления их к профессорскому званию»³. Формально основной причиной для «ужесточения» требований к «оставленным при кафедре» было низкое количество защит и, соответственно, большее количество остающихся вакантными кафедрами в университетах.

Само «оставление при университете» выглядело следующим образом. Согласно университетскому уставу, при кафедре мог быть оставлен студент, получивший диплом 1-й степени по собственному заявлению и рекомендации профессора этого университета, согласного осуществлять научное руководство⁴. Заявление либо подавалось в Совет, либо писалось на имя ректора, либо соис-

катель обращался непосредственно в Министерство. К заявлению должен был прилагаться целый ряд документов⁵. Заявление и рекомендация рассматривались на собрании факультета и в Совете университета. В середине 1930-х гг. С. А. Жебелев вспоминал: «Как происходило, прежде всего, оставление при университете? Если у профессора оказывался во время прохождения студентом университетского курса молодой человек, подающий надежды на то, что из него может (но не обязательно) выработаться ученый, если этот молодой человек прилично (не обязательно отлично) сдал все экзамены (выпускные) и если он, в особенности, представил хорошую диссертацию на звание “кандидата”⁶, профессор предлагал такого молодого человека к оставлению в университете <...> Мотивированное предложение об этом делалось в заседании факультета, а в следующем заседании факультета предложенный к оставлению подвергался баллотировке (закрытой) со стороны всех присутствующих членов факультета. Если он получал большинство голосов, то он и считался оставленным при университете»⁷.

Статистический анализ показывает, что в среднем каждый профессор-историк рекомендовал каждый год по 1–2 человека. Бывали исключения, но они как экстраординарный случай и воспринимались⁸. В большинстве случаев Совет поддерживал предложение профессора. Единственным камнем преткновения на этом этапе был вопрос о финансах, т. е. назначении и выплате соискателю стипендии. Стипендия выплачивалась из средств, выделенных университету Министерством народного просвещения. Размер этой суммы и структура распределения стипендии не были четко определены и каждый год изменялись. На недостаточность этой суммы неоднократно указывали современники как на основную причину нехватки профессиональных кадров в сфере высшего образования. В 1870–1900-е гг. «профессорская стипендия» для лиц, готовившихся к профессорскому при российских университетах, составляла 600 р. в год (для сравнения ординарный профессор получал 3000 р., а лектор по иностранным языкам – 1000), а с 1911 г. она была увеличена до 1200 р. в год (отправленные за границу получали соответственно 1200 и 2000 р.)⁹. Споры по вопросу о назначении стипендии были, порой, весьма острыми и даже скандальными¹⁰. Но при этом регулярно находилось большое количество соискателей, готовых остаться в университете без получения «государственного содержания». Так, в 1902 г. стипендию получали менее 50 % оставленных при столичном университете из 218 человек, в 1915 менее 57 % из 245¹¹. Однако и в этом случае у университета были различные возможности материально поддержать соискателя. По словам того же С. А. Жебелева, «...факультеты были скорее щедры, чем скупы в вопросах об оставлении при университете <...> Всякого мало-мальски подающего надежды на то, что из него выработается ученый, оставляли при университете»¹².

Решение Совета университета рассматривалось и утверждалось по Уставу 1884 г. Попечителем учебного округа, который при наложении своей визы в первую очередь учитывал политическую благонадежность соискателя¹³. Затем

кандидатура уже чисто формально рассматривалась и утверждалась в Министерстве народного просвещения. После выхода приказа, подписанного непосредственно министром, соискатель получал официальный статус.

Заинтересованные современники оценивали саму систему подбора кандидатур для «оставления при кафедре» достаточно скептически, считая, что, таким образом, в число оставленных попадают не самые сильные студенты, а «случайные люди». «Главное значение имеет рекомендация профессора; факультет часто совершенно не знает оставляемого.

Остаются ли при таком порядке лица действительно достойные и выдающиеся по своим способностям и прилежанию? Далеко не всегда. <...> Неудивительно, что при описанных нами условиях оставления при университете для приготовления к профессорскому званию, очень немногие из оставленных посвящают себя впоследствии ученой карьере и пополняют ряды университетских преподавателей; большинство покидает университет, даже не сдав экзамен на степень магистра»¹⁴. Однако принципиальным изменениям эта система вплоть до 1917 г. не подвергалась.

Стипендия и, соответственно, само оставление при кафедре официально назначалась на два года, но по ходатайству университета могло быть продлено еще на один год. По итогам каждого года соискатель должен был предоставлять письменный отчет о проделанной работе, который рассматривался и утверждался контролирующими инстанциями (факультетом, университетом, Ученым комитетом Министерства)¹⁵. Будучи озабоченным небольшим количеством защит, Министерство, взяв на себя инициативу высшей контролирующей инстанции, в самом начале XX в. издает целый ряд циркуляров (23 января и 27 сентября 1902 г., 21 апреля 1903 г., 4 февраля 1904 г., 21 марта 1909 г., 2 февраля 1914 г.), требующих более ответственно подходить к отчетности соискателя¹⁶. С 1903 г. соискатели, находившиеся в заграничной командировке, должны были помимо отчета предоставить еще тексты своих научных публикаций. По факту отчет писался в произвольной форме: кто-то из соискателей обращал первоочередное внимание на «содержательную сторону своих работ, кто-то докладывал о том, что он сделал». Анализ общих данных показывает, что в основном отчеты утверждались.

По большому счету перед оставленным на кафедре стояли две основные задачи – сдать магистерские экзамены и написать (а в идеале и защитить) магистерскую диссертацию, предварительно собрав для этого материал.

Формально магистерских экзамена было три – один основной и два дополнительных¹⁷. Но, например, историкам-всеобщникам приходилось сдавать три экзамена по всеобщей истории (отдельно древность, средние века и новое время), русскую историю и политэкономия. Общей программы экзамена не существовало. Для каждого соискателя после консультации с профессором, принимавшим этот экзамен, разрабатывалась индивидуальная программа. Она состояла из списка вопросов, выносимых на экзамен, и списка рекомендованной научной литературы, которую должен был проработать соискатель в ходе

подготовки к экзамену. В среднем на подготовку и сдачу экзамена уходило около двух лет, хотя, порой, подготовка длилась дольше. Далеко не все оставленные при кафедре «выходили» на сдачу экзамена. На экзамене неудовлетворительные оценки случались, но это было в большей степени исключением¹⁸.

После сдачи экзамена у соискателя появлялась возможность претендовать на заграничную командировку за казенный счет¹⁹ и на преподавание в университете в качестве приват-доцента²⁰. Во втором случае ему необходимо было прочитать еще две «пробные лекции», тему для одной из которых определял факультет, для второй – он выбирал сам. Статистика показывает, что большинство соискателей использовали обе представившиеся возможности. Значение перехода соискателей в статус приват-доцента оценивалось современниками далеко не однозначно. С одной стороны, это давало университету возможность привлечения новых кадров и разнообразия учебных планов, а самим соискателям возможность заработка. Но, с другой стороны, заработок был явно недостаточным, а преподавание, по мнению, например, С. А. Жебелева, серьезно отвлекало от работы над магистерской диссертацией. «Выходило так, что многие приват-доценты так все время и оставались ими, т. е. не защитили даже магистерской диссертации, ни говоря уже о докторской <...>, другие защитили магистерскую диссертацию десятком лет спустя после того как сдали магистерские экзамены»²¹. В итоге, время подготовки диссертации действительно затягивалось.

В целом меньше половины из оставленных при кафедре доходило до защиты. Так, из 40 человек, оставленных для приготовления к профессорскому званию при кафедре русской истории Петербургского университета в период с 1890 по 1916 г., защитилось только девять²². В период с 1886 по 1896 г. всего магистерских степеней ежегодно (без учета медицинских факультетов) присуждалось примерно 15, а докторских – 12²³.

Обусловленное уставом формальное положение определяло и неформальные «жизненные» стратегии поведения «оставленных при кафедре». При всей сложности и многообразии набора подобных стратегий поведения можно в плане выделения тенденций обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, последовательная ориентация «оставленных при кафедре» на науку и преподавание, а не на, например, чиновничью службу в Министерстве и прочих государственных ведомствах. Были, конечно, исключения, но их было немного. Так из многочисленных учеников, оставленных профессором-медиевистом И. М. Гревсом при кафедре всеобщей истории Императорского Петербургского университета и Высших Женских (Бестужевских) курсов, ни один человек не стал впоследствии чиновником²⁴. Хотя, при этом следует иметь в виду, что университетский профессор формально считался государственным служащим по ведомству Министерства народного просвещения.

Во-вторых, необходимость поиска средств существования как для тех, кто получал министерскую стипендию, так и для тех, кто ее не получал (казенной стипендии явно не хватало «на жизнь»), часто вела к преподаванию в различных учебных заведениях (гимназиях, училищах и т. д.) «Прежде всего всякий

согласится, что стипендия в 600 р. <...> является совершенно недостаточной для мало-мальски приличной жизни в университетском городе, тем более, что часть этой суммы приходится тратить на покупку хотя самых необходимых книг. Вот почему всякий оставленный в университете старается получить какие-либо побочные занятия. Эти занятия, конечно, отвлекают молодого ученого от прямых его обязанностей; когда же молодой человек убедится, что, гонясь за двумя зайцами, он рискует не поймать ни одного, он, пробыв год – два при университете, окончательно бросает ученую карьеру»²⁵. И. М. Гревс в своем отчете писал: «К преподаванию я пристрастился и приобрел в нем некоторую привычку – это было хорошо; но от науки отвык; невольный годичный перерыв занятий нанес большой урон моим историческим познаниям»²⁶. Многих этот приводило впоследствии к полному переключению на учительскую стезю.

В-третьих, сама институциональная форма оставления и пребывания при кафедре обуславливала обязательную тесную связь «оставленного при кафедре» со своим научным руководителем. Молодой ученый очень сильно зависел от своего наставника. В частности, научный руководитель должен был утверждать отчеты своего подопечного за очередной период пребывания при кафедре или обосновывать необходимость заграничной командировки. И в этом плане можно сказать, сам принципиальный механизм подготовки молодых научных и преподавательских кадров провоцировал генезис таких неформальных структур научного сообщества, как научные школы²⁷. «Научный руководитель обычно являлся гарантом не только научного преуспеяния, но и материального жизнеобеспечения будущего ученого. Именно от его авторитета в науке, влияния в административных сферах, настойчивости чаще всего зависело назначение стипендий»²⁸. Конфликт с научным руководителем мог поставить под угрозу научную карьеру молодого ученого или, по крайней мере, сильно ее осложнить. Наиболее известным примером такого рода является известный конфликт П. Н. Милюкова со своим научным руководителем В. О. Ключевским²⁹.

В-четвертых, для многих молодых ученых весьма актуальной оказалась проблема, связанная с возможностью перевода из столичного в провинциальный (Новороссийский, Варшавский, Казанский и др.) университет. Подобный перевод рассматривался как фактор продолжения карьеры в условиях некой «стагнации» профессорского корпуса. Продвижение по карьерной лестнице в столицах было сильно затруднено. Многие молодые ученые воспользовались подобной возможностью. Именно они составляли наиболее мобильную часть профессорско-преподавательского корпуса российских университетов. Было движение и в противоположном направлении, правда, не такое массовое³⁰.

Таким образом, сформировавшиеся в сообществе претендентов на ученые степени правила и нормы, не зафиксированные в юридических документах, но в определенной степени, определявшие стратегии поведения «оставленных при кафедре», превращались в некую неформальную устойчивую традицию. Она во многом определяла их судьбу и часто вступала в противоречия с целями и принципами, декларированными в нормативных актах.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и образования РФ в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.» государственный контракт № 02.740.11.0350.

² См. Maurer Trude. Hochschullehrer im Zarenreich. Ein Beitrag zur russischen Sozial – und Bildungsgeschichte. Koln ; Weimar ; Wien, 1998; Кричевский Г. Г. Ученые степени в университетах дореволюционной России // История СССР. 1985. № 2; Щетинина Г. И. Университеты в России и Устав 1884 года. М., 1976; Иванов А. Е. : 1) Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. М., 1991; 2) Ученые степени в Российской империи. XVIII в. – 1917 г. М., 1994; Якушев А. Н. Законодательство в области подготовки научных кадров и присуждения ученых степеней в России (1747–1918) : история и опыт реализации. СПб., 1998; Чесноков В. И. Проблема замещения кафедр и формирование системы «профессорских стипендиатов» в российских университетах времени царствования Александра II // Российские университеты в XVIII–XX вв. Вып. 5. Воронеж, 2000. С. 102–123; Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке : опыт «русской исторической школы». Казань, 2000. С. 157–219; Бон Т. М. Русская историческая наука : Павел Николаевич Милуков и московская школа. СПб., 2005. С. 25–44.

³ Общий анализ основных положений этого документа см.: Иванов А. Е. Ученые степени ... С. 83–85.

⁴ Пример такого официального «ходатайства» – отзыв профессора И. М. Гревса о своем ученике Г. П. Федотове. См.: Записка И. М. Гревса в историко-филологический факультет Императорского Петроградского университета / публ. А. В. Антощенко // Мир историка : историогр. сб. Вып. 6. Омск, 2010. С. 396–397.

⁵ Полный перечень документов см.: Иванов А. Е. Ученые степени... С. 87.

⁶ Уставом 1884 г., как известно, звание «кандидата» было заменено на «диплом 1-й степени», но С. А. Жебелев «по старинке» именуется так медальное сочинение.

⁷ Жебелев С. А. Ученые степени в их прошлом, возрождение их в настоящем и грозящая опасность их вырождения в будущем / публ. И. В. Тункиной // Очерки истории отечественной археологии. Вып. 3. М., 2002. С. 147–148.

⁸ С. А. Жебелев вспоминает о профессоре И. А. Шляпкине, оставившем своих учеников «десятками» и наказанным за этот факультетом, «провалившем» половину предложенных им кандидатур (Жебелев С. А. Указ. соч. С. 148).

⁹ Иванов А. Е. Высшая школа... С. 211–213.

¹⁰ См.: Антощенко А. В. Павел Гаврилович Виноградов : становление преподавателем // Мир историка : историогр. сб. Вып. 3. Омск, 2007. С. 189–212.

¹¹ Иванов А. Е. Высшая школа... С. 213.

¹² Жебелев С. А. Указ. соч. С. 148.

¹³ Отказы на этом этапе не часто, но имели место быть. Так, например, в 1913 г. в «оставлении» было отказано племяннику и ученику И. М. Гревса А. А. Гизетти именно по причине политической неблагонадежности. См.: ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 222. Л. 31.

¹⁴ Красножен М. Е. Университетский вопрос // Красножен М. Е. Собр. соч. Т. 2. Юрьев, 1911. С. 6–7.

- ¹⁵ Пример подобного рода отчета см.: Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса 1860–1941 / авт.-сост. О. Б. Вахромеева. СПб., 2004. С. 196–199.
- ¹⁶ Иванов А. Е. Ученые степени... С. 99.
- ¹⁷ См.: Жебелев С. А. Указ. соч. С. 150–151.
- ¹⁸ Наиболее известным случаем является неудовлетворительная оценка, полученная на кандидатском экзамене известным впоследствии историком Н. П. Павловым-Сильванским. См.: Чирков С. В. Н. П. Павлов-Сильванский и его книга о феодализме // Павлов-Сильванский П. Н. Феодализм в России. М., 1988. С. 603–604.
- ¹⁹ Об институте зарубежных стажировок «оставленных при кафедре» см.: Трохимовский А. Ю. : 1) Заграничные командировки ученых Московского университета в 1856–1881 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2007; 2) Политика Министерства Народного Просвещения по подготовке молодых ученых за границей. 1856–1881 гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. 2007. № 1. С. 67–76.
- ²⁰ Об институте приват-доцентуры см.: Бон Т. М. Указ. соч. С. 37–44.
- ²¹ Жебелев С. А. Указ. соч. С. 152.
- ²² Брачев В. С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001. С. 127.
- ²³ Бон Т. М. Указ. соч. С. 37.
- ²⁴ См.: Свешников А. В. Петербургская школа медиевистов начала XX века. Попытка историко-антропологического исследования научного сообщества. Омск, 2010.
- ²⁵ Красножен М. Е. Указ. соч. С. 8.
- ²⁶ Человек с открытым сердцем... С. 197.
- ²⁷ Этот вопрос наиболее обстоятельно рассмотрен в литературе на материале взаимоотношения со своими учениками московского профессора В. И. Герье. См., например: Антощенко А. В. Учитель и ученик : В. И. Герье и П. Г. Виноградов : (К вопросу о Московской исторической школе) // История идей и воспитание историей : Владимир Иванович Герье. М., 2008. С. 105–117; Иванова Т. Н. Владимир Иванович Герье : портрет педагога и организатора образования. Чебоксары, 2009. С. 212–241; Иванова Т. Н., Зарубин А. Н. В. И. Герье как «надежный путеводитель» в научной карьере П. Н. Ардашева : к вопросу о складывании функций научного руководителя на рубеже XIX–XX вв. // Мир историка : историогр. сб. Вып. 6. Омск, 2010. С. 22–42.
- ²⁸ Иванов А. Е. Ученые степени... С. 89.
- ²⁹ См.: Милоков П. Н. Воспоминания. Т. 1. М., 1990. С. 159–161.
- ³⁰ См.: Лоскутова М. В. Географическая мобильность профессоров и преподавателей российских университетов второй половины XIX в. : постановка проблемы и предварительные результаты исследования // «Быть русским по духу и европейцем по образованию» : (Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала XX в.). М., 2009. С. 183–221.

*Н. В. Гришина
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)*

**«АНАХРОНИЗМ НАШИХ ПЕЧАЛЬНЫХ ДНЕЙ»:
РОССИЙСКАЯ ДИССЕРТАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НА РУБЕЖЕ 1910–1920-х ГОДОВ**

Российская диссертационная система никогда не была статичной. На протяжении всего XIX столетия, по мере своего становления, она подвергалась различным преобразованиям. Особенно интенсивно процесс обсуждения судьбы российской диссертационной системы происходил на рубеже XIX–XX вв., когда после ряда скандальных защит эта проблема начала активно обсуждаться общественностью, а чуть позже стала предметом пристального внимания министерских комиссий.

В конце 1910-х – 1920-е гг. обсуждение трансформации системы присуждения ученых степеней продолжалось. Причем оно инициировалось и поддерживалось различными властями, которые в этот период быстро менялись. Так, в заседании историко-филологического факультета Московского университета 24 октября 1917 г. происходило обсуждение проекта Временного правительства об отмене магистерских экзаменов и получении звания приват-доцента в результате представления в факультет сочинения *pro venia legendi*¹. Данный проект можно рассматривать в качестве продолжения министерской политики царской России по увеличению численности научного сословия.

Среди профессоров, участвовавших в заседании, было распространено мнение, что возникновение такого проекта было вызвано «нуждой провинциальных университетов в преподавателях»². При этом ученые опасались, что в результате принятия министерского указа, произойдет «девальвация научного ценза»³. Они видели в проекте желание МНП «получить преподавателей числом поболее, ученостью поуже»⁴.

Многие профессора продолжали настаивать на сохранении «повышенных требований» к будущим ученым как в отношении магистерского экзамена, так и подготовки диссертационного исследования. Напомню, что эти требования были сформулированы еще в конце XIX в., когда велась дискуссия о судьбе

российской диссертационной системы⁵, и оставались актуальными в начале XX в., что отразилось в проектах по преобразованию системы высшего образования, готовившихся под эгидой МНП 1902–1903 и 1906 гг.⁶

В июле 1919 г. уже в рамках построения советской системы присуждения ученых степеней обсуждался новый проект Положения об «оставленных» при университете для приготовления к профессорскому званию⁷. Среди нововведений проекта можно отметить официальное учреждение должности профессора-руководителя и профессоров-специалистов, курировавших молодого исследователя. Огосударствление системы образования просматривается в том, что проект предусматривал «казенное содержание» всех «оставленных» при университете, хотя некоторые профессора настаивали на сохранении прежнего порядка, в основе которого лежал избирательный подход к финансовой поддержке соискателей. Обсуждался вопрос о формате чтения пробных лекций: в проекте предполагалось их чтение только в закрытом заседании факультета⁸.

Значительная часть магистрантов на рубеже 1910–1920-х гг. еще не завершили работу над диссертациями и не были готовы к защите своего исследования. Но можно заметить, что общее число «оставленных» при университете в указанный период только возросло. Так, на факультете общественных наук в Московском университете в 1919 г. числилось 45 «оставленных», из них 20 проходили по историческому отделению⁹. Для сравнения: на рубеже XIX–XX вв. по данным университетских отчетов их количество в среднем составляло 6–8 человек в год. Многие из «оставленных» начали приготовление к профессорскому званию еще в дореволюционный период. Схожие процессы наблюдались и в других университетах. В частности, в материалах к отчету о работе Петербургского университета за 1917–1919 гг. читаем, что в осеннем полугодии 1917 и весеннем 1918 гг. для подготовки к профессорскому званию было оставлено 272 человека. Из них по историко-филологическому факультету – 102, физико-математическому – 91, юридическому – 70, факультету Восточных языков – 9 университетов¹⁰. В итоге, такое внушительное количество «оставленных» в конце 1910-х гг. можно расценивать как проявление дореволюционных тенденций в диссертационной культуре. Приведенная статистика – это своеобразный шлейф от нарастающего процесса защит на рубеже XIX–XX вв. На рубеже первых двух десятилетий XX в. он был искусственно ускорен деструктивным характером ситуации – разрывом научной традиции, осложнившим осуществление трансляции опыта диссертационной культуры историков «старой школы» новому поколению.

Даже после официальной отмены ученых степеней и званий практика оставления при университетских кафедрах сохранялась. В частности, на заседании исторического отделения факультета общественных наук Московского университета 27 марта 1920 г. было принято решение об оставлении В. В. Оранского по кафедре истории античного мира и В. О. Камерницкого по кафедре истории новых европейских обществ¹¹.

Уже в конце апреля того же года В. В. Оранский получил право чтения закрытых лекций с целью зачисления на преподавательскую должность¹². В засе-

дании, прошедшем 4 июня 1920 г., лекции были прочитаны. Протокол гласил: «В качестве основной темы избран был “Африканский колонат”. Добавочная тема была посвящена “Союзам в Греции в IV веке до Р. Х.”. Лекции и ответы аспиранта вызвали ряд веских возражений, особенно в виду избрания им “древней” истории в качестве специальности. Признав заслушанные лекции и ответы В. В. Оранского “удовлетворительными”, факультет постановил: усилить следующую группу лекций одной добавочной темой (“Римская Галлия”), которая дала бы аспиранту возможность проявить большую самостоятельность и более углубленное отношение к источникам и учебной литературе»¹³.

В то же время сохраняется практика чтения пробных лекций в открытых заседаниях факультета. Публично пробные лекции читались после прочтения их в закрытом формате. Так, Е. А. Коровин прочитал две закрытые лекции «Монтескье (жизнь, труды, доктрина)» и «Проблема личности государства», а потом две открытые – «Дипломатическая история образования Албанского государства» и «Красный Крест в современном международном общении»¹⁴.

В обозначенный хронологический отрезок ряд диссертационных историй подходили к заключительному аккорду – защите диссертации. В период с 1917 по 1919 г. в российских университетах (Московский, Петербургский, Харьковский, Киевский) по историческим специальностям было защищено всего 15 диссертаций, что составило чуть больше 5 % от общего количества диссертаций дореволюционного времени (см. табл.).

Диссертации, защищенные в российских университетах по историческим разрядам. 1917–1919 гг.

<i>Ф.И.О. диссертанта</i>	<i>Название диссертации</i>	<i>Ученая степень и разряд науки</i>	<i>Дата защиты</i>	<i>Оппоненты¹⁵</i>
<i>Московский университет</i>				
Яковлев Алексей Иванович	Засечная черта Московского государства в XVII веке: Очерк из истории обороны южной окраины Московского государства	Магистр русской истории	19.02.1917	М. К. Любавский Ю. В. Готье С. Ф. Платонов
Яковлев Алексей Иванович	Приказ сбора ратных людей 146–161 / 1637–1653 гг.	Доктор русской истории	01.05.1917	Ю. В. Готье С. В. Бахрушин А. А. Кизеветтер
Пичета Владимир Иванович	Аграрная реформа Сигизмунда- Августа в Литовско- русском государстве	Магистр русской истории	? .03.1918	

Пичета Владимир Иванович	Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-русском государстве. Ч. 2. Отношение литовско-русского общества к аграрной реформе и правительственная деятельность в эпоху реформы	Доктор русской истории	21.04.1918	М. К. Любавский Ю. В. Готье В. А. Панов
<i>Санкт-Петербургский университет</i>				
Заозерский Александр Иванович	Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве	Магистр русской истории	30.04.1917	С. Ф. Платонов А. Е. Пресняков
Бицилли Петр Михайлович	Салимбене: Очерки итальянской жизни XIII в.	Магистр всеобщей истории	22.05.1917	И. М. Гревс Д. К. Петров
Вернадский Георгий Владимирович	Русское масонство в царствовании Екатерины II	Магистр русской истории	22.10.1917	С. В. Рождественский И. А. Шляпкин
Любомиров Павел Григорьевич	Очерк истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг.	Магистр русской истории	10.12.1917	С. Ф. Платонов А. Е. Пресняков
Волков Иван Михайлович	Древнеегипетский бог Себек	Магистр всеобщей истории	22.12.1917	Б. А. Тураев В. В. Струве
Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна	Культ Святого Михаила архангела в европейском средневековье V–VIII века	Доктор всеобщей истории	21.04 / 08.04.1918	И. М. Гревс А. А. Васильев
Пресняков Александр Евгеньевич	Образование великорусского государства: Очерки по истории XIII–XV столетий.	Доктор русской истории	28.05 / 15.04.1918	С. Ф. Платонов С. В. Рождественский
<i>Харьковский университет</i>				
Коцейовский Александр Леопольдович	Тексты пирамид	Магистр всеобщей истории	1918	Б. А. Тураев

<i>Университет св. Владимира</i>				
Курц Борис Григорьевич	Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича	Магистр русской истории	1918	Г. А. Максимович
Смирнов Петр Павлович	Города Московского государства в первой половине XVII века	Магистр русской истории	1919	
Сташевский Евгений Дмитриевич	Смоленская война 1632–1634 гг.: организация и состояние Московской армии	Доктор русской истории	1919	

Примечание. Составлено по: Кричевский Г. Г. Диссертации университетов России. 1805–1919. М., 1984. Рукопись; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 101. Л. 35–35об; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9403. Л. 51; ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 3. Л. 96–97, 134–136, 223–224, 259–260, 269–271; Ершова В. М. О. А. Добиаш-Рождественская. Л., 1988. С. 61.

Как видно из представленной таблицы, в 1917–1919 гг. было защищено 10 магистерских диссертаций (7 по русской истории и 3 по всеобщей истории) и 5 докторских (4 по русской истории и 1 по всеобщей истории). Их авторы стремились защититься и получить искомую ученую степень как можно быстрее, пока действовали прежние квалификационные требования. Это стало одной из причин, почему в 1917 и 1918 гг. ряд исследователей (А. И. Яковлев, В. И. Пичета) защитили магистерскую и докторскую диссертации с минимальным перерывом в несколько месяцев, а то и недель. На волне политической нестабильности, породившей в 1918 г. кардинальные перемены в диссертационной системе¹⁶, ряд историков успели защитить диссертации в 1919 г. по «старым» требованиям¹⁷. Некоторые диссертанты явно воспользовались сложившейся ситуацией. Например, защита Е. Д. Сташевского в другое время вряд ли могла пройти без проблем, учитывая его «испорченное реноме» в историко-научном сообществе¹⁸.

Происходившие в этот период в общественно-политической жизни России перемены оказывали влияние на содержание «диспутационных» речей соискателей. Так, Г. В. Вернадский и А. И. Заозерский, защищавшие свои магистерские исследования в 1917 г., еще до октябрьских событий, говорили о значении переживаемого момента не только для общества в целом, но и для науки. Правда, если мнение одного было достаточно оптимистичным (Г. В. Вернадский считал, что, несмотря на «болезненный перелом народного сознания», произошла актуализация многих вопросов исторического прошлого, «стали явными

прежде только скрытые возможности русской социальной жизни»¹⁹), то другой был настроен куда более пессимистично. А. И. Заозерский начал свою речь констатацией, что «интересы настоящего оставляют совсем мало места для интереса к истории», что во время «стремительной перестройки, какая идет сейчас по всей линии нашей жизни, мы можем потерять связь с нашим прошлым», оно может стать «чужим и ненужным»²⁰.

Еще более «включенными» в исторический контекст оказывались речи исследователей, вышедших на защиту в 1918 и 1919 гг. Важно подчеркнуть, что «атмосфера бури» 1910-х гг., оказавшая влияние на ход научной работы, связывалась, в первую очередь, с мировой войной. Особенно это было характерно для историков-«всеобщников». В частности, О. А. Добиаш-Рождественская, защищавшая докторскую диссертацию в 1918 г., в своей диссертационной речи констатировала, что она «ждала конца войны», но, видимо, придется смириться, что теперь остается вести исследование «о Франции без Франции»²¹. В ее речи нашел отражение даже факт поиска литографии для тиражирования книги. «Литографические мытарства» ученого состояли в том, что большую часть диссертации она вынуждена была переписать сама²². Д. Н. Егоров назвал книгу Добиаш-Рождественской историческим памятником «нашей великой разрухи, когда печатная книга в “свободной стране” стала почти недоступной роскошью» и «торжеством жизни над этим насильно навязанным подобием смерти»²³.

Зачастую диссертационные диспуты в это время перерастали в своеобразные политические ристалища. Позволю себе привести пространную, но весьма показательную цитату из воспоминаний И. Ф. Рыбакова о докторском диспуте В. И. Пичеты: «Вскоре после Октябрьской революции защитил докторскую диссертацию В. И. Пичета; его ученый диспут ознаменовался контрреволюционным выступлением официального оппонента, бывшего ректора, профессора М. К. Любавского (впоследствии – академика). Последний заявил, что диспут его друга и ученика – возможно, последний – “анахронизм наших печальных дней”, так как “кучка политических авантюристов, захвативших власть, поставила науку под сомнение и намерена ее вовсе уничтожить”. В заключительном слове Пичета сказал, что не разделяет “пессимизма уважаемого Матвея Кузьмича” и что он (Пичета) “исполнен наилучших аспектов и уверен, что наука в нашей стране будет развиваться и достигнет невиданных высот”»²⁴. И. Ф. Рыбаков, оставленный М. М. Богословским при кафедре русской истории Московского университета в 1915 г., после 1917 г. значительно «полевел», что было замечено представителями «старой» профессуры: «В ученых кругах много говорили о выступлениях Любавского и Пичеты. Последний говорил мне, что “старички” смотрят на него, как на человека неустойчивого и что был “сожалительный разговор” и обо мне, как о человеке “отходящем влево”»²⁵.

Все же в рецензиях и факультетских отзывах, которые были более формализованы с точки зрения оформления, явной связи с текущим моментом исторического развития мы не находим. Если сравнивать два вида источников – речь

на диспуте и отзывы факультета и оппонентов, – просматривается любопытная картина. Речи продолжают оставаться сугубо личностным документом, поскольку строго обозначенного канона к их написанию не было выработано. Можно выделить лишь некоторые общие места речей – характеристика прежней историографической традиции, основные выводы работы. Литературная обработка, построение речи продолжают оставаться достаточно вариативными. Отзывы, наоборот, приобретают все более каноничный вид. В них четко выделяются следующие структурные элементы: общая характеристика работы, краткое изложение основного содержания исследования, перечисление его достоинств и недостатков. Рекомендательная формула к защите, в которой соискатель признается достойным искомой степени или его находят возможным допустить к защите диссертации, выработанная еще на рубеже XIX–XX вв., полностью воспроизводится и в этот период²⁶.

Полная отмена ученых степеней и званий привела к постепенному, хотя и достаточно затяжному по времени, свертыванию сложившейся в дореволюционной России диссертационной системы, сопровождавшемуся нарастанием пессимистических настроений среди ученых по поводу судьбы российской науки. Однако они продолжали предпринимать шаги по сохранению и приращению ученой корпорации. Официально ликвидированные многие формы «взращивания» молодых научных кадров сохранялись на неофициальном уровне. Диссертационный режим в полном объеме был восстановлен в середине 1930-х гг. Он во многом основывался на прежних аттестационных требованиях, что позволяет говорить о высокой степени сохранности «старой» традиции приобретения ученых степеней и званий.

Примечания

¹ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 423. Л. 63–66. В декабре 1917 г. свои заключения по данному проекту также озвучили факультеты Петроградского университета. См.: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 62. Л. 69.

² См.: Мнения профессоров П. Н. Сакулина, М. М. Богословского, Д. М. Петрушевского // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 423. Л. 63–63об, 64об.

³ См.: Мнение декана А. А. Грушки // Там же. Л. 65об.

⁴ См.: Мнение профессора А. А. Кизеветтера // Там же. Л. 64.

⁵ См., подробнее: Грибовский В. М. Прошедшее и настоящее русских и западноевропейских университетов. СПб., 1905. 11 с.; Мякотин В. М. Диспут и ученая степень // Рус. богатство. 1897. Июль. № 7. С. 1–34; Сергеевич В. И. О порядке приобретения ученых степеней // Север. вестн. 1897. № 10. С. 1–19; Шершеневич Г. Ф. О порядке приобретения ученых степеней. Казань, 1897. 33 с.

⁶ См.: Труды высочайше учрежденной Комиссии по преобразованию высших учебных заведений. СПб., 1903. Вып. I–IV; Труды Совещания профессоров по университетской реформе, образованного при Министерстве народного просвещения графа И. И. Толстого в январе 1906 г. СПб., 1906. Дискуссия вокруг проектов преобразования диссертационной системы рассмотрена в виде отдельного сюжета в статье Н. Н. Алеврас и Н. В. Гришиной «Российская диссертационная культура XIX – начала XX в. в восприя-

тии современников: к вопросу о национальных особенностях». Статья в 2010 г. принята к публикации в «Диалог со временем : альманах интеллектуальной истории».

⁷ ЦАГМ. Ф. 1609. Оп. 6. Д. 3. Л. 44–48.

⁸ Во временных правилах зачисления на должность преподавателей 14–21 июня 1919 г. указывалось, что публичные пробные лекции сохраняются, а закрытые лекции устраиваются лишь при необходимости. См. подробнее: Калистратова Т. И. Институт истории ФОН МГУ – РАНИОН (1921–1929). Н. Новгород, 1992. С. 31.

⁹ ЦАГМ. Ф. 1609. Оп. 6. Д. 3. Л. 29, 51–51об. Динамику общего количества «оставленных» при кафедрах на историко-филологическом факультете и факультете общественных наук в 1915–1920 гг. см.: Калистратова Т. И. Указ. соч. С. 26–27. Автор делает вывод, что «число “оставленных” здесь не превысило дореволюционного уровня». Подчеркну, что это заключение верно лишь для периода 1910-х гг., когда число «оставленных» даже несколько снизилось: с 64 в 1915 г. до 40 в 1920 г. Между тем эта цифра значительно превосходит количество «аспирантов» 90-х гг. XIX в.

¹⁰ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 101. Л. 120. В Петербургском университете после революции число «оставленных» даже возросло. Например, в 1914 г. «оставленными» числились 203 человека.

¹¹ ЦАГМ. Ф. 1609. Оп. 6. Д. 15. Л. 2об. Замечу, что вместе с ними были «приняты в число оставленных» Н. С. Михайловская, Н. А. Бакланова и Л. П. Матасова, а в апреле 1920 г. О. А. Ляковская, до «уплотнения вузов» числившиеся в числе «оставленных» при 2-м МГУ, в состав которого в 1918 г. вошли Московские Высшие женские курсы.

¹² Там же. Л. 7об.

¹³ Там же. Л. 10об.

¹⁴ Там же. Л. 15, 20. Важно подчеркнуть, что неудовлетворительная степень сохранности факультетской и университетской документации за период 1917 – начала 1920-х гг. не позволяет последить перипетии многих диссертационных историй.

¹⁵ Оппоненты на защитах магистерских диссертаций В. И. Пичеты, П. П. Смирнова и докторской диссертации Е. Д. Сташевского не установлены. Также не удалось выявить полного состава оппонентов на защитах А. Л. Коцейковского и Б. Г. Курца. Курсивом обозначены неофициальные оппоненты.

¹⁶ В октябре 1918 г. произошла отмена ученых степеней и званий. См.: Декрет СНК РСФСР от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений Российской республики» // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. М., 1918. № 72.

¹⁷ Отдельные диссертационные истории получили завершение даже в начале 1920-х гг. В частности, в 1921 г. прошла защита диссертации Н. П. Оттокар. Упоминание об этой защите см.: Клюев А. И. Из истории одной книги : Н. П. Оттокар и его книга «Флорентийская коммуна в конце Дудженто» в контексте эпохи // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. 2011. № 34. С. 252–253.

¹⁸ Имеется в виду история с кражей Е. Д. Сташевским из московских архивов целого ряда документов, что привело к фактическому разрыву отношений между ним и его учителем М. В. Довнар-Запольским. См.: Михальченко С. И. Дело профессора Е. Д. Сташевского // Вопр. истории. 1998. № 4. С. 122–128.

¹⁹ Речь Г. В. Вернадского на магистерском диспуте (Санкт-Петербургский университет, 22 октября 1917 г.) // Алеврас Н. Н. Речь на магистерском диспуте Г. В. Вернадского в

контексте его диссертационной истории (к публикации источника) // Мир историка : историогр. сб. / под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып. 6. Омск, 2010. С. 381.

²⁰ Заозерский А. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве // Рус. мысль. 1917. Май – июнь. С. 147.

²¹ ОР РНБ. Ф. 254. Ед. хр. 221. Л. 1об.

²² Там же. Л. 4об – 5.

²³ Егоров Д. Добиаш-Рождественская О. А. Отзыв на книгу ее «Кульг св. Михаила в латинском средневековье V–XIII вв.» Пг., 1917 // Свобода России. 1917. № 46.

²⁴ НИОР РГБ. Ф. 714. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 12.

²⁵ Там же. Л. 12–13.

²⁶ См., например: Пресняков А. Отзыв о книге А. И. Заозерского «Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. Пг., 1917» // Рус. ист. журн. 1918. Кн. 5. С. 270–279; Рождественский С. В. Отзыв о книге А. Е. Преснякова «Образование Великорусского Государства. Очерки по истории XIII – XV столетий. Пг., 1918» // Там же. С. 279–290; Платонов С. Отзыв о книге П. Г. Любомирова «Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 гг. Пг., 1917» // Там же. С. 290–294; Рождественский С. Отзыв о диссертации Г. В. Вернадского «Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917» // ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 3. Л. 199–205об; Платонов С. Ф. Книга А. Е. Преснякова «Образование Великорусского государства». Подготовительные заметки к отзыву // ОР РНБ. Ф. 585. Д. 1451. Л. 1–4об; Максимович Г. Рецензия на сочинения Б. Г. Курца «Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича» 1915 г. и «Состояние России в 1650–1655 гг. по донесениям Родеса» 1915 г., представленные для приобретения степени магистра русской истории // Университет. изв. Киев. 1919. № 1–4. С. 1–18 и др.

*И. П. Кулакова
(МГУ / РГГУ, Москва)*

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА НАУКИ
В РОССИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)¹**

Мы рассмотрим изменения в способах репрезентации и саморепрезентации «академического человека» в публичном дискурсе XVIII – начала XXI в.

Известно, что интеллектуалы западного средневековья заимствовали харизматические элементы своего облика и способы презентации у церкви (имеются в виду кафедра, мантия, знаки отличия и пр.)². Церковь и университеты «подпитывали» друг друга. Богословские факультеты западных университетов были включены в общую систему образования («неотделенность знания от священства»), а освященный «магией знания» интеллектуальный труд складывался как занятие, связанное с определенным (достаточно высоким) социальным статусом³.

Для допетровской России было характерно известное равнодушие духовной элиты к «школьной учености» западного типа⁴. И лишь реформы Петра позволили России включиться в процесс развития европейской интеллектуальной традиции, приняв идеи Просвещения. Начиная создавать в России Академию наук и университет, их организаторы приняли как данность, как «конструкт» западную модель интеллектуальной деятельности с ее системой практик. Поначалу был заимствован и европейский имидж академиков и профессорско-преподавательского состава. Однако, вскоре выяснилось, что многие европейские социокультурные модели начали функционировать в России в совершенно ином режиме, российская реальность наполняла схемы новым содержанием.

Слом допетровской традиции и последующее развитие создали уникальную коллизию, привнеся в российский интеллектуальный быт науку как абсолютно новую дискурсивную практику и запустив процесс появления новых социальных типов – «просвещенного» дворянина, с одной стороны, и образованного разночинца – с другой. Просвещение привнесло в дворянский быт особый сплав культуры, науки и искусства, который (с позиций рационализма XIX века) принято называть «дилетантизмом». Заказной портрет XVIII в. был одним

из важнейших средств самопрезентации. Портреты «просвещенных дворян» XVIII – начала XIX в., поначалу демонстрирующие прежде всего социальную репрезентативность, все чаще включают намеки на «интеллектуальную деятельность». «Презентуя» свою просвещенность, дворянская аристократия (а за ней и рядовое дворянство) оформляют интерьеры своих усадеб, разворачивая в них идеи Просвещения. Чрезвычайно информационно насыщенным является портретный образ «в халате», постепенно меняющий свою семантику⁵. Т. о. иконографический материал (мебель, аксессуары, одежда, изображения, помещенные на портретах) можно т. о. рассматривать как культурный текст и анализировать его, извлекая «невербальную» информацию о новых культурных установках.

Что касается ученых-профессионалов, то на парадных портретах XVIII века можно найти только некоторых академиков иностранного происхождения, работавших в рамках набирающей силы Петербургской Академии Наук. Ученых же российского происхождения за редчайшим исключением (М. В. Ломоносов, В. В. Петров) вообще не изображали (их было и в целом немного).

Образование вплоть до второй трети XIX в. не выполняло социально-дифференцирующей и социально-структурирующей функций, поэтому социальное положение ученого в России долго оставалось неопределенным. Но каким же хотела видеть российского интеллектуала власть? – Знание должно было быть прежде всего «полезным» для государства, и, будучи частью фасада «просвещенной» империи, выглядеть соответствующим образом. Официальные символы и ритуалы, связанные с академической и университетской средой XVIII века, несли на себе печать имперскости и, а стилистически были связаны с культурой дворянской. Особым средством маркирования «академического» человека были университетские и академические мундиры, ориентированы на дворянский, а по существу – военный, мундир в которые ученые-профессионалы по воле государства облачились со второй пол. XVIII в. (и неслучайной была традиция переодевания нерадивых студентов в мужицкое платье с целью наказания⁶).

По юридическому статусу государственные высшие учебные заведения в царской России были имперскими учреждениями. Военизированный стиль (охвативший, кстати, и мундирную одежду чиновников всех мастей) сохранялся в университетской форменной одежде вплоть до 1917 г. – Такое платье вкупе с «дворянской» шпагой придавало учению статус государственной службы, а значит, респектабельности. Однако, наиболее независимые профессора использовали изменения привычного имиджа как публичные высказывания (так, профессор Московского университета В. И. Герье в 1880-е годы появлялся на лекциях подчеркнуто не в форменном фраке, как это делали другие профессора, а в черном сюртуке, подчеркивая тем самым свое негативное отношение к службе как чиновничьей обязанности; а в 90-е годы уже все профессора читали свои лекции в домашних пиджаках⁷). По своему гражданскому статусу дореволюционная профессура относилась к привилегированной части общества. Она

находилась на государственной службе, получая казенное содержание, занимая не последнее место в чиновничьей и сословной иерархии⁸.

С точки зрения визуальных образов символика Императорского университета являла собой синтез христианской (крест над учебным корпусом, цитаты из псалмов на университетских кафедрах, иконы-покровители), имперской (двуглавый орел на пуговицах университетских мундиров, на университетских значках), академической (лавровые венки на наградных медалях, ветви дуба на мундирных нашивках) атрибутики⁹.

Профессионализация интеллектуального труда (с начала XIX в.) запустила процесс формирования российской научной элиты, «субкультуры» со своей особой идентичностью (подкрепленная достаточно высоким символическим статусом). Множатся изображения ученого за столом в кабинете, с привычными атрибутами интеллектуального быта. Ближе к концу XIX в. тип портрета «в кабинете», сначала бывший прерогативой дворян, а позднее людей, профессионально занимающихся интеллектуальным трудом, все чаще используется и другими слоями (как маркер «респектабельности»). Коммуникативные средства здесь – интерьер кабинета, поза «за столом», атрибуты (письменные принадлежности, символические изображения в интерьере). С конца века идет распространение аналогичного жанра фото, кабинетной фотографии, заменяющей отчасти живописный/графический портрет в конце XIX – начале XX вв. (и наследующей традициям такого портрета¹⁰). Тип любительского снимка «в кабинете» распространяется вместе с практикой домашнего фотографирования. На наш взгляд все это – свидетельства стремления представить себя прежде всего «интеллектуалом», а значит – косвенное признание не только высокого символического статуса деятеля науки и образования, но и его как носителя идеи приоритетного значения – развития личности.

Следует сказать, что академическую культуру России дореволюционного периода в целом характеризовала высокая роль ученого в обществе, обеспеченная в том числе и символической составляющей.

В советский период власть прошла путь от полного неприятия и истребления интеллектуалов до приоритетного внимания к науке и образованию (проводя политику создания «советской интеллигенции» – «нормальное» советское пополнение за счет тех, «кто прошел все свое 14-летнее образование при советской власти и генетически был связан только с нею»¹¹).

К концу 1930-х годов институты Академии наук, университеты, творческие союзы, редакции и издательства представляли собой официальные учреждения, органы партийно-государственного управления. Интересно, что власть использовала и закрепила именно «кабинетный» образ ученого – тот же живописный/графический портрет (в т. ч. в книжной иллюстрации), плакат, фото (в т. ч. в иллюстрированных журналах). Аналогично выстраивался и образ власти: Ленин в жилетке в кабинете с кожаным диваном – за чтением или письмом; Сталин в кабинете на фоне книг при свете лампы «думающий о стране». Реальная «кабинетная» традиция, которая, казалось, почти прервалась в

результате политики наступления на буржуазность и массовые «уплотнения», не могла не возродиться. Разумеется, в подавляющем числе случаев «кабинет» существовал в виде уголка со столом часто единственной комнаты; для многих функцию рабочего кабинета выполняла кухня и другие места в квартире.

«Человек рассеянный с улицы Басейной» – образ, отсылающий к рассеянному интеллигенту. Так форомяли текст С. Маршака иллюстраторы стихотворения «Вот какой рассеянный» (1928), начавшее издаваться с 1930 г. в последующих изданиях он изменился – помолодел, потерял свою характерную бородку, и постепенно стал типичным «интеллигентом», рассеянность которого (как должен понять читатель!) предопределена его занятиями и образом жизни. Замечено даже, что «он кажется <...> не столько даже рассеянным (хотя бы в анекдотической степени), сколько не вполне нормальным человеком»¹². На наш взгляд, иллюстраторы постепенно стали подавать (а читатели – воспринимать) этот образ именно как образ *типичного* интеллигента. Герой-растяпа – это всегда человек в очках (этой детали придерживались абсолютно все художники кроме В. В. Лебедева). Но помимо очков это шляпа и книга в руках, от которой он не отрывается, и отчего, собственно, и происходят все несчастья. С самого детства этот любимый детьми образ впитывался детским сознанием, а выражение «рассеянный с Басейной» стало народной поговоркой¹³.

Этот образ интеллигента подпитывался и кинообразами. Кино стало излюбленным способом репрезентации образов «советских ученых». В звуковом кино (документальном и художественном) свою роль продолжали играть аксессуары, костюм и пр. Их дополняли общая драматургия и композиционные особенности изображения – техника «монтажа» с другими изображениями, планами; высказывания и отношение в целом других персонажей. Тип дореволюционного профессора-чудака в академической шапочке закрепился в киноискусстве. Культ скромности, рассеянные думатели-недотепы, чудачки, живущие среди старых книг и идей. Помимо старичка-академика это его молодой собрат – похожий на Рассеянного интеллигент в кино появляется, кажется, начиная с образов «ученых растёп» П. А. Шпрингфельда («Сердцах четырех», 1941; ботаник Листопадов-сын в «Близнецах», 1945), А. Граве («ограниченно годный рядовой Огурцов» – «интеллигент» в фильме «Беспокойное хозяйство», 1946) и кончая образами Шурика-А. Демьяненко (этот незадачливый, порой находчивый, честный и принципиальный интеллектуал всегда маргинален и нелеп в «здоровой» «приземленной» рабочей среде).

Постепенно, однако, образ ученого эволюционировал, отражая изменение роли науки в обществе (от инструмента выполнения партийных программ к могучему средству «холодной войны»). Это продемонстрировали новые кинообразы ученых конца 1950-60-х до 1980-х. В 1962 г. появляется новый тип ученого в кино: экспериментатор Гусев (А. Баталов, «Девять дней одного года» М. Ромма), чье открытие является значительным вкладом в науку. Он не смешон. Но при этом он – жертвующий собой одержимый, не-от-мира-сего.

Впрочем, советский кинематограф уделял ученым достаточно внимания.

Существовали, правда, безымянные трудяги в «шарашках» и «закрытых» НИИ, но в кинолентах творили Генеральные, Герои Соцтруда, академики и лауреаты, и кинозритель знал цену академическому человеку. Аналогичным образом появлялись новые живописные портреты; те же процессы отразила и литература (не стоит и говорить, что во всех искусствах приоритет имеет образ *рабочего*).

В кинофильме «Искатели» (1956, по мотивам одноименного романа Д. Гранина) положительный герой фильма (Е. Матвеев) – организатор производства на опытном заводе. Сразу после вступления в должность создает особые условия для интеллектуальной деятельности сотрудников («Я хочу, чтобы мои инженеры думали в тишине!»). Одним из традиционных способов презентации науки обществу была архитектура академических и университетских комплексов, и здесь строительство высотного здания МГУ подчеркнуто продемонстрировало отношение государства к роли науки: величественные архитектурные формы, эпический характер скульптур. В том же духе был выдержан «типовой кабинет профессора МГУ», спроектированный к открытию нового здания университета на Воробьевых горах в 1954 г. В профессорских квартирах «высотки» – массивная «сталинская» мебель, отделка под дуб. Все тот же добротный аскетизм, регламентация быта, но и – подчеркнутая демонстрация заботы и понимания специфики работы интеллектуала.

Подводя итог сказанному, отметим, что в целом ученый в глазах и дореволюционного общества, и советского – это «*Persona Grata*», владеющий знанием, компетенцией, эталонами моральных и поведенческих норм, способствующий своим существованием прогрессивному развитию социума.

Российские интеллектуалы всегда находились в первых рядах модернизационных процессов любого периода российской истории. Постперестроечный академический человек стал наследником своих предшественников – слоя дореволюционных интеллектуалов и «советской интеллигенции». Однако, в действие вступило развитие множества новых факторов, среди которых – развитие капитализма, изменение ритма жизни, появление новых культурных практик, переход к компьютерным коммуникациям и пр. Причиной падения авторитета интеллектуала сегодня стали, на наш взгляд, как культурная дезориентированность россиянина постперестроечного периода, так и общемировые, глобальные тенденции. Сам «просветительский» дискурс, который создавали интеллектуалы Нового времени, как кажется, терпит крах. Ведь «Просвещение» в широком понимании олицетворяет почти все достижения Западной цивилизации, и потому его можно «заставить быть в ответе практически за все, что вызывает неудовольствие, особенно среди приверженцев постмодернизма и противников западной цивилизации» (высказывание принадлежит известному американскому исследователю Роберту Дарнтону).

Одной из причин того, что «академический человек» «потерял лицо» – называют «распад идентичности исследователя и интеллектуала <...> радикальный распад самого представления о том, кто такой исследователь или интел-

лектуал и в чем состоит его роль в обществе»¹⁴. С этим связано и наблюдение К. Э. Разлогова, который говорит о «превращении былой «высокой», «учебной», «классической» (как ее ни назови) в некую субкультуру меньшинства», – именно это повергает ее субъекта в ступор. «...Что же делается с той культурой, которая была раньше на вершине вертикальной, культурой художественной, творческой и всякой прочей элиты? На самом деле она, на мой взгляд, никуда не исчезает. Она просто становится одной из многих субкультур, которые существуют наряду с господствующей массовой культурой, наряду с мейнстримом»¹⁵. Впрочем, утешает то, что внутри субкультуры, которая ранее предлагала достаточно четкий стереотип, появляется теперь личная возможность каждого определять развертывание собственного образа.

Другой вопрос – это то, каким общество хочет видеть интеллектуала. Авторитет академического человека в России невысок. Не прибавляют авторитета более чем скромные доходы, зависящие от урезаемых бюджетов академических и учебных учреждений. Может быть, отчасти и поэтому в обществе «образ сумасшедшего ученого, лысого, старого, бедного неудачника не от мира сего принимается по умолчанию». И «профессор», и «интеллигент» до сих пор для многих являются «обзывалками», причем не только в России. Британский совет настолько обеспокоился этими явлениями, что организовал в 2007 г. диспут «Имидж современного ученого». Выяснилось, в частности, «если в кинокаталоге попробовать поискать просто «фильм про ученых», найдется не более 8–10 предложений. Но если в поисковой системе набрать слова «фильм о сумасшедшем ученом», список предложений будет воистину бесконечным»¹⁶.

Стереотипы создания имиджа и волшебная сила пиара стали инструментами создания новых популярных образов – стоковая фотография для коммерческого использования в рекламе и дизайне предлагает массу актуальных образов, но если среди них и есть запоминающиеся «академические» образы, это набор типа «mad scientist», «crazy scientist» «nutty professor».

Российские власти и постперестроечные СМИ долго благополучно игнорировали «академического человека». Лишь в последнее время оформились практики обращения политических и медиа-структур к научным концептам с привлечением ученых-профи – начиная с поисков т. н. «национальной идеи», конкурса «Имя Россия», передачи «Суд времени» (но и здесь скорее имелась в виду роль «эксперта» – человека науки, связанного с «заказом»). Наконец, явились публичные лекции телепроекта Acaemia, где ученый стал центральной фигурой, играя при этом «на своем поле». Видимо, стало ясно, что падение внимания к науке просто опасно, что в обществе реально существует спрос на знания, и он опирается на достаточно сознательное отношение публики к общественным проблемам.

Впрочем, в самые последние годы и киноискусство начинает даже в сериалах прибегать к «образу современного ученого», достаточно условно изображая представителей ряда специальностей (медицина и юриспруденция здесь по понятным причинам лидируют). Между тем, Д. Дондурей, главный редак-

тор журнала «Искусство кино», взывает: «Мы мало чем гордимся. Немножечко космосом и войной <...> У нас же умные люди, очень образованные. И, на самом деле, единственный ресурс России – это интеллектуальный капитал <...> Не хватает такой животворной, интеллектуальной атмосферы, не снимаются фильмы и сериалы, где героями становились бы художники, ученые»¹⁷. Впрочем, образ историка, ставшего положительным (успешным) героем телефильма «Адель» (2008), с реальностью связан очень мало.

Итак, господствует массовая культура, с которой нельзя не считаться. Но академическому человеку, говоря в целом, неудобно в рамках массовой культуры – она проста и «готова к употреблению»; она не рассчитана на диалог, на «сотворчество» в процессе восприятия (как культура высокая); она требует эффектной самопрезентации. Как, не теряя сути профессии, не отрекаясь от постулатов силы знания и его привлекательности, найти свое место в новой культурной ситуации? Как сознательно вырабатывать формы репрезентации образов академического человека для общества, – не надевая на себя личину ни политика, ни предпринимателя, ни богемного тусовщика? Успех в этих исканиях устроил бы и общество в целом. Ведь сказано не без оснований, что в отличие от силы и денег «знание – самый демократичный источник власти»¹⁸.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 10-01-00403а «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время».

² Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Екатеринбург, 2002. С. 20.

³ Уваров П. Ю. История интеллектуалов и интеллектуального труда в Средневековой Европе. М., 2000. С. 6.

⁴ Говоря о причинах этой специфики, исследователи демонстрируют разные объяснительные модели (См., напр.: Сизинцева Л. И. «Две культуры» Питирима Сорокина: к вопросу о культурно-исторической стратификации // Российская провинция XVIII–XX веков: реалии культурной жизни. Материалы III Всероссийской научной конференции. Книга 1. Пенза, 1996. С. 139–148; Яковенко И. Г. Переходные эпохи и эсхатологические аспекты традиционной ментальности // Искусство в ситуации смены циклов: междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. М., 2002). Но в любом случае такая специфика может быть объяснена всем типом сложившейся культуры, культуры православной, в интеллектуальной сфере породившей «кардиогносию» – единство дискурсивно-рассудочного и эмоционально-образного восприятия действительности (См. подробнее: Шемякина О. Д. Цивилизационный подход к истории России как факт историографии и метод познания: дис. ... канд. ист. наук. М., 2011. Гл. 1. § 5).

⁵ См. подробнее.: О халате как атрибуте интеллектуального быта россиян XVIII – первой половины XIX в. // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. Международный журнал. 2011. Зима (№ 19).

⁶ Кулакова И. Мундир российского студента (по материалам XVIII века) // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2008. Осень (№ 9).

⁷ Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий. Прага, 1929. С. 25–94; Цыганков Д. А. Традиции Грановского или три поколения профессоров Московского университета // <http://www.hist.msu.ru/Calendar/1997/Apr/Lomnosov97/zigankov.htm>.

⁸ Иванов А. Е. Высшая школа. Университет в культурном пространстве города (раздел «Профессура») // Очерки русской культуры. Конец XIX – начало XX века. Т. 1. Общественно-культурная среда. М., 2011; Никс Н. Московская профессура во второй половине XIX – начале XX века. Социокультурный аспект. М., 2008.

⁹ Вишленкова Е. А. Языки университетской культуры: проблема восприятия и творчества // Диалог культур в политике, науке, образовании. Материалы научной конференции «Межкультурный диалог в историческом контексте». ИВИ РАН, Москва, 30–31 октября 2003 г. Ч. 5. М., 2003.

¹⁰ Хотя часто ученые фотографируются также в лаборатории, библиотеке, с учениками.

¹¹ Солженицын А. Образованщина // Новый мир. 1991. № 5. С. 29.

¹² Герчук Ю. «Человеки рассеянные» // Художник В. Конашевич делает книгу. С. Маршак. Вот какой рассеянный. М., 1982. С. 14.

¹³ В 1960-х книжная иллюстрация продолжала развивать образ Рассеянного. Такой же Шурик появляется в иллюстрациях Е. Т. Мигунова к повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» 1965 г.

¹⁴ Хапаева Д. Герцоги Пятой республики // НЛЮ. 2004. № 67.

¹⁵ Разлогов К. Э. Глобальная и/или массовая? // Общественные науки и современность. 2003. № 2. С. 143–156.

¹⁶ Амелькина А. Профессор, снимите очки-велосипед! // Профиль. 2007. №1 (510).

¹⁷ Дондурей Д. Кинопатриотизм – это гламур. В день победы! // Русский Журнал. 9 мая 2009 г. <http://www.russ.ru/pole/Kinopatriotizm-eto-glamur>.

¹⁸ Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. М., 2003. С. 28.

В. В. Тихонов
(ИРИ РАН, г. Москва)

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Под историографией чаще всего понимается история исторической науки или, еще шире, исторической мысли. Школьные учебники и учебные пособия по истории, как часть процесса по распространению полученных научных знаний о прошлом, являются важными историографическими фактами, позволяющими в концентрированной форме судить об уровне развития исторической науки. В то же время специфика учебной литературы заключается в том, что научно-историческое знание в них подчинено учебно-методическим целям. Тем не менее, сохраняется тесная связь с общими историографическими процессами, протекающими в науке.

Достижения исторической науки в школьной литературе отражаются двояко. Во-первых, в скрытой форме, когда научные концепции преподносятся без указания на имя их авторов или сторонников, и, во-вторых, в открытой форме, когда теории и суждения историков указываются со ссылкой на авторов. Последнее можно обозначить термином 'историографический компонент', так как данные сведения вводят учеников в калейдоскоп мнений, существующий в исторической науке, знакомят с ее историей. Проблема применения историографического компонента имеет важное научное и педагогическое значение, поскольку подводит учащихся к мысли, что знание о прошлом не есть что-то неизменное и однозначное, а появляется в результате борьбы различных точек зрения.

В советское время существовала стройная концепция отечественной истории, которая базировалась на определенных устоявшихся и санкционированных сверху представлениях о прошлом¹. С распадом СССР ситуация резко изменилась. Ослабление государственного контроля в сфере образования и отсутствие общепринятой схемы отечественной истории привели к появлению учебной литературы, которая строилась на принципах проблематизации исторического образования. Характерным примером такого подхода стало учебное пособие

Е. В. Анисимова и А. Б. Каменского². Книга построена в форме сборника выдержек из исторических документов и сочинений историков, которые подбирались таким образом, чтобы представить различные точки зрения на то или иное историческое событие или процесс. Предполагалось, что школьник на основе всего этого сможет сформировать собственное мнение. Тем не менее, авторы прекрасно понимали, что учащиеся младших классов еще не готовы к такой работе, поэтому и адресовали свое пособие старшеклассникам.

Несмотря на определенные преимущества, данный подход не получил дальнейшего развития. Это было вызвано тем, что школьное образование в нашей стране ориентировано на трансляцию готового знания. Данное пособие Е. В. Анисимова и А. Б. Каменского не вписывалось в существовавшие государственные стандарты и потому могло использоваться только как вспомогательное средство. Кроме того, оно не давало целостного представления об истории России заявленных периодов.

Вскоре стало ясно, что оптимальным является подход, когда историографические и источниковедческие экскурсы не составляют основу книги, а либо органично вплетаются в текст учебника, либо играют роль методического дополнения, например, в качестве контрольных заданий. По такому принципу построено еще одно пособие указанных выше авторов³. Здесь историография становится лишь частью текста учебника. Так, например, в книге присутствует задание на сравнение мнений различных историков (в том числе и зарубежных) о разделе Польши (С. 289–290). Сходное задание посвящено войне 1812 г. (С. 364–365). Чуть далее приводятся рассуждения французского историка Ж. Мишле и русского историка Е. В. Тарле об ошибках Наполеона.

В этом же стиле написаны учебники Л. А. Кацва и А. Л. Юрганова по истории России⁴. В учебнике, посвященном древнейшим периодам отечественной истории и предназначенном для VII класса общеобразовательной школы, уже во введении находим короткое рассуждение М. Блока о профессии историка. В дальнейшем палитра использования историографического компонента становится достаточно широкой. Так, со ссылкой на В. О. Ключевского проводится мысль о том, что Кий – это племенной вождь (С. 18). Мнения историков применяются и для проблематизации материала, в частности, приводятся различающиеся точки зрения Б. А. Рыбакова и С. М. Соловьева о деятельности князя Святослава (С. 36–37). Первый указывает на то, что киевский князь своими походами способствовал утверждению международного авторитета Руси, а второй – на то, что эти «подвиги» были «бесполезны для родной земли». Кто ближе к истине, читателям предлагается выбрать самостоятельно. В учебнике есть и экскурсы в историю археологии. Так, авторы не смогли обойти молчанием открытие А. В. Арциховским берестяных грамот в Новгороде (С. 76). Любопытно отметить, что в книге, как правило, указываются имена дореволюционных историков, в то время как наши современники скрываются под словосочетанием ‘современные исследователи’. Например, при рассказе о вечевых порядках Новгорода авторы приводят мнение Н. М. Карамзина и В. О. Ключевского о

массовом участии горожан в вечевых сходах и тут же добавляют: «Современные исследования, однако, показали, что подобные представления далеки от действительности» (С. 79). «Обезличивание» современных профессиональных историков делается, по-видимому, по той простой причине, что суждения классиков исторической науки отличались образностью и оригинальностью, в то время как современная историческая наука все больше приобретает коллективистские черты. Кроме того, имена современных историков мало что говорят неподготовленному читателю, больше знакомому с растиражированными фундаментальными трудами дореволюционных историков.

В подобном ключе используется историографический компонент и в учебнике этих авторов для VIII класса, посвященном XVI–XVIII вв. Стоит только отметить, что ссылок на историков становится все меньше и меньше. Объясняется это, видимо, тем, что авторы предпочли использовать выдержки из исторических источников, количество и доступность для восприятия которых существенно возрастает по сравнению с периодом Древней Руси.

В широко распространенных в школах учебниках для 10 класса под общей редакцией А. Н. Сахарова⁵ историографический компонент представлен весьма скудно. В первой книге (А. Н. Сахаров, В. И. Буганов), рассматривающей допетровскую историю, во введении есть ссылка на мнение В. О. Ключевского о том, что колонизация является «основным фактом русской истории» (С. 13). Не в пример ей, более основательно выглядит историографическая составляющая во второй учебной книге (В. И. Буганов, П. Н. Зырянов). Во введении к ней даны точки зрения того же В. О. Ключевского и С. М. Соловьева о революционном характере преобразований Петра I (С. 4). В основной части для оценки личности Петра I и его вклада в русскую историю присутствуют характеристики этого деятеля, данные А. С. Пушкиным и В. О. Ключевским (С. 42).

XVIII в. – время зарождения отечественной исторической науки, поэтому имена историков обязательно присутствуют на страницах, посвященных культуре и общественной мысли. В параграфе «Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в.» рассказывается о трудах В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова. Не обойдены вниманием актуальные до сих пор дискуссии о «татищевских известиях», заключающиеся в вопросе о подлинности сообщаемых В. Н. Татищевым в своих трудах уникальных сведений. Некоторое внимание уделено спору норманистов и антинорманистов, причем симпатии автора раздела (В. И. Буганова), очевидно, на стороне идейного лидера последних – М. В. Ломоносова (С. 96).

В XIX в. общественное значение истории только усиливается, поэтому в параграфах, посвященных культуре, описание достижений Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, М. П. Погодина, В. О. Ключевского, К. Д. Кавелина, М. М. Ковалевского занимает достаточно большое место.

Таким образом, в учебниках под редакцией А. Н. Сахарова историография дается в основном в контексте описания общего развития отечественной культуры и науки, а не в форме ознакомления с различными историографическими концепциями и точками зрения.

В не менее распространенном комплекте учебников под общим названием «История государства и народов России» для VII–IX классов, авторами которых являются А. А. Данилов и Л. Г. Косулина, историографический компонент также не играет заметной роли в повествовании и методическом обеспечении.

В учебнике для VII класса из этой серии есть несколько заданий, где используются работы историков. Так, после фрагмента из В. О. Ключевского об Иване Грозном дается задание на объяснение прочитанного (С. 46). Затем приводится цитата из Н. М. Карамзина, посвященная Ермаку, с вопросом: «Согласны ли вы с ней?» (С. 46–47). В том же духе, то есть в качестве элемента заданий, историография используется и в других учебниках серии. В книге, посвященной истории XX в., история исторической науки всплывает лишь в контексте политико-идеологического развития советского общества: «В исторической науке прогрессивными деятелями были объявлены Иван Грозный и его опричники. Лидеров национальных движений клеймили как агентов зарубежных разведслужб» (С. 310).

В школьном учебнике тех же авторов для IX класса⁶ историческая наука упоминается только один раз, когда речь идет об аресте группы историков в 1929 г. («Академическое дело») (С. 179). Зато отмечены тенденции в изменении массового исторического сознания, начавшиеся с поворота в политике Сталина к великодержавным идеалам: «Любимым детищем советских кинематографистов стала историческая тематика. Фильмы “Петр I” (реж. В. Петров), “Александр Невский” (реж. С. Эйзенштейн), “Минин и Пожарский” (реж. В. Пудовкин) и др. являлись, по сути, иллюстрацией сталинской концепции истории. Они лучше, нежели любой учебник, формировали нужные стереотипы, способствуя созданию определенного психологического состояния общества» (С. 190).

Примеров можно привести еще много, но общие тенденции уже видны. После беглого анализа учебной литературы на наличие историографического компонента стоит отметить, что в учебниках по истории XX в. какие-либо ссылки на историков вообще практически отсутствуют. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, общепризнанных классиков в исторической науке, специализирующихся по данному периоду, нет. После развала Советского Союза авторитет специалистов по истории XX в. был невысок («доктора фальсификаторских наук» – Р. Быков), поэтому сослаться на их труды не представлялось возможным. Во-вторых, представители дореволюционной историографии отличались, не в пример современному ученому-историку, образностью и литературностью языка, поэтому их сочинения отлично вписываются в образовательные задачи школьного учебника. В-третьих, в истории новейшего времени, в отличие от более ранних периодов русской истории, сохранилось огромное количество документов, которые можно эффективно использовать в учебном процессе. Кроме того, источники по истории XX в. написаны на понятном школьникам языке, поэтому не требуют перевода или пересказа, что тоже немаловажно.

Итак, историографический компонент используется в современной учебной литературе для нескольких целей. В первую очередь – это попытка придать

тексту учебника или заданию проблемный характер при помощи столкновения различных мнений. Также точки зрения различных историков используются в качестве иллюстрации, когда необходимо дополнить текст ярким образом или метафорой. Нередко обращение к суждениям знаменитых историков является ссылкой на общепризнанные авторитеты для подтверждения собственной правоты. Особой популярностью среди авторов учебников за художественность стиля и выразительность образов и характеристик пользуются А. С. Пушкин (хотя он и не являлся профессиональным историком), В. О. Ключевский, Н. М. Карамзин и С. М. Соловьев.

Отмечая общую тенденцию, можно заметить, что на протяжении последних десяти-пятнадцати лет доля историографического компонента в школьных учебниках только снижается. Ни в одном из учебных пособий нет размышлений на тему, зачем нужна история, что такое профессия историка? Правда, есть одно исключение. Очень лирично звучат рассуждения Н. С. Борисова, известного специалиста по средневековой истории России и автора учебников, об особом призвании историка. По его мнению, «историк – хранитель памяти народа»⁷.

Тем не менее, отраден тот факт, что тот проблемный потенциал, который в себе несет историография, активно применяется в различных дидактических материалах, служащих дополнением к основной учебной литературе⁸. Среди профессиональных историков (скажем честно, мало вникающих в специфику школьного образования) давно звучат призывы сделать историографический компонент неотъемлемой частью школьного учебника⁹. Профессиональные методисты, как правило, относятся к этому скептически. Между тем историография должна оставаться важным компонентом именно текста учебника. Но использовать ее надо немного иначе, нежели это делается сейчас. Наверное, стоит отказаться от ознакомления учащегося с полемикой по частным вопросам, а предложить ему различные концепции отечественного исторического процесса в целом. В учебной литературе должны быть представлены основные точки зрения на общее развитие России с указанием их авторов. Делать это можно во введении к учебнику. Конечно, концепции эволюции общества (в том числе и российского) преподаются в курсе «Обществознания», но преподносится это в отрыве от конкретного материала. Это приводит к тому, что абстрактные теории быстро забываются. Между тем, объединение теоретического и эмпирического материала в едином тексте учебника позволяет проверить на фактах (конечно же, в меру способностей учеников) предложенные объяснения отечественной истории. Также надо учитывать, что историографический компонент по-разному эффективен в разных педагогических системах. Например, в традиционном обучении, основу которого составляет простая передача готовых знаний, данный компонент окажется вряд ли востребованным, поскольку усложнит и без того насыщенную фактами программу. В то же время в проблемном и развивающем обучении системы Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова он может оказаться весьма кстати. На основе различных точек

зрения историков можно создавать проблемные ситуации и моделировать содержательные абстракции.

Постепенное удаление историографического компонента приводит к обеднению научного и методического потенциала учебной литературы, а ученики приучаются к некритическому и беспроблемному восприятию фактов и теорий. Все это может способствовать теоретическому снижению уровня школьного материала, а у школьника окончательно может сложиться впечатление, что история – это хронологическая таблица в конце книги.

Примечания

¹ См. подробнее: Шевырев А. П. История в школе : образ отечества в новых учебниках // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996. С. 37–39.

² См.: Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII – первой половине XIX века. История. Историк. Документ. М., 1994.

³ См.: Анисимов Е. В., Каменский А. Б. История России. 1862–1861. М., 1996.

⁴ См.: Кацва Л. А., Юрганов А. Л. : 1) История России VIII–XV вв. М., 1998; 2) История России XVI–XVIII вв. М., 1999.

⁵ Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России с древнейших времен до конца XVII века. 3-е изд. М., 1997; Буганов В. И., Зырянов П. Н. История России конец XVII – XIX век. 3-е изд. М., 1997.

⁶ Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX век. 5-е изд. М., 1999.

⁷ Борисов Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII века. М., 2005. С. 5.

⁸ Например: Алексашкина Л. Н. Задания и тесты по новейшей истории. 9, 11 классы. М., 2005; Короткова М. В. История России IX–XVIII века. 6–7 классы. Дидактические материалы. М., 2002.

⁹ Например: Шмидт С. О. Размышления об «историографии историографии» // Ист. зап. 2005. № 8 (126).

Раздел 3.

**Личность историка и вызовы времени: творчество
и модели поведения в социуме и научном сообществе**

*Ханс-Кристиан Петерсен
(Университет г. Майнц, Германия)*

**НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ О ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ЕВРЕЯХ
В НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ГЕРМАНИИ¹**

После проведения в 1998 году во Франкфурте на Майне очередного 42 Конгресса немецких историков, центральной темой которого являлась роль немецкой исторической науки в период национал-социализма, среди многочисленных дисциплин наметилась тенденция к критическому пересмотру собственной истории². Наряду с немецкой «Остфоршунг» (*Ostforschung*), вокруг которой развернулись основные дебаты на упомянутом Конгрессе, к числу научных дисциплин, чья история и деятельность наконец-то становятся предметом исследования, принадлежит и национал-социалистское направление «Юденфоршунг» (*Judenforschung*). В данном случае понятие «*Judenforschung*» обозначает транс-дисциплинарную область знания, формирование которой началось в 1933 году. В его цели входило «обезевреиванье» сложившейся во многом под влиянием еврейских ученых научной традиции и создание «Юденфоршунг без евреев»³. Это подразумевало под собой изучение «еврейского вопроса» с перспективы выраженного антисемитизма, а также вытеснение других научных перспектив и исследователей. При этом основной географический фокус «Юденфоршунг» сосредотачивался, согласно национал-социалистской политике, на Востоке, а именно на еврейской части населения Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Одним из ведущих представителей «Юденфоршунг» являлся экономист и специалист в области «Остфоршунг» (*Ostforschung*) Петер-Хайнц Серафим (1902-1979)⁴. Рожденный в 1902 году в Риге в семье остзейских немцев, он рос и социализировался в окружении, отличавшемся выраженными пронемецкими националистическими настроениями. В конце 1918 года он добровольцем вступил в «Балтийское ополчение» (*Baltische Landeswehr*), воевавшее как против Красной Армии, так и против национал-литовских вооруженных формирований. В 1924 году, после окончания университета по специальности экономиста народного хозяйства, Серафим защитил во Вроцлаве свою докторскую диссер-

тацию и продолжил свою карьеру в качестве сотрудника вроцлавского «Института Восточной Европы» (Osteuropa Institut). В конце 1930 года он перешел в «Институт Восточно-Немецкой экономики» в Кёнигсберге (*Institut für Ostdeutsche Wirtschaft*) и спустя некоторое время возглавил в нем сектор Польши. С 1933 года он состоял в рядах членов НСДАП и штурмовых отрядов (SA). После нападения Германского Рейха на Польшу и до конца 1940 года Петер-Хайнц Серафим работал в Военно-административном совете (*Kriegsverwaltungsrat*) при Генерал-губернаторстве на оккупированной территории Польши. В это же самое время он возобновил сотрудничество с «Институтом немецких работ на Востоке» в Кракове (*Institut für Deutsche Ostarbeit, IDO*) – одним из ключевых институтов оккупационного режима на территории завоёванной Польши.

В начале 1941 года он получил должность профессора и возглавил Кафедру экономики при университете г. Грайфсвальд. Кроме этого, Петер-Хайнц Серафим занимал в это время должность редактора «Вельткампф» (*Weltkampf*) – журнала Института по изучению еврейского вопроса во Франкфурте на Майне, находившегося в подчинении рейхсляйтера Альфреда Розенберга. Ко всему прочему он принимал активное участие в грабеже культурных ценностей, осуществлявшегося Оперативным штабом рейхсляйтера Розенберга.

«Еврейство в восточно-европейском пространстве» – содержание и рецепция

В 1938 году вышел в свет центральный труд Серафима о еврейском населении Восточной Европы – «Еврейство в восточно-европейском пространстве»⁵. На 736 страницах книги еврейское население Восточной Европы описывается Серафимом как изолированная от остального населения группа, отличительным признаком которой на всем восточноевропейском пространстве была ее «чуждость». Материал, на базе которого Серафим выстраивал свое аргументацию, был заимствован им по большей части из научных работ еврейских учёных, таких как «Всемирная история еврейского народа» Симона Дубнова, «Социология евреев» Артура Руппина, либо из многочисленных трудов Мейера Балабана. В этой связи Серафим проводил различие между «фактом» и интерпретацией: признавая исследования еврейских историков «с точки зрения представленного в них материала вполне пригодными»⁶, он не подвергал никакому сомнению, то обстоятельство, что еврейский автор «видит тему по-другому, да и должен по-другому ее видеть»⁷. Такой подход имел для Серафима «особую значимость», поскольку «представления еврея и нееврея в еврейских вопросах, в силу изначально заложенных причин, должны быть отличным друг от друга»⁸.

Серафим изначально отказывал еврейским исследователям в объективности, но претендовал на нее и преподносил в собственных работах как основное требование. Во введении к своей книге он подчеркивал свою «обязанность бескомпромиссного стремления к объективности» и что он, «полностью осознавая особую научную ответственность в такого рода ‘актуальной’ теме», из-

бегают каких бы то ни было субъективных оценок. Субъективность, по мнению Серафима, позволительна только читателю и политику. Одновременно особый акцент делался им на том, что «немецкая наука никогда не должна отклоняться от народных целей и духа, из которых она берёт своё начало, и для которых она существует». Для него, как автора, это означало, неразделимость своих «принципиальных установок» в отношении темы исследования и «сферы, в которой и для которой он трудится»⁹.

Рецепция публикаций еврейских учёных выполняла для Серафима наряду с заимствованием эмпирического материала двойную функцию. С одной стороны, он усматривал в этом подтверждение своему чисто «научно-объективному» подходу, поскольку в рамках собственного исследования он обращался к трудам еврейских ученых. С другой стороны, цитируемые в большом объёме материалы, использовались им в качестве матрицы, в пику которой он формулировал собственные тезисы. Чисто формально данный подход соответствует распространённой практике обоюдного цитирования в научном дискурсе и на первый взгляд может показаться методологически корректным. Однако, в случае немецкой «Юденфоршунг» подобный подход базировался на уже заложенном в его фундаменте неравенстве участвующих сторон: еврейским учёным, исключительно как объектам, отводилась по-существу неполноправная роль. Результаты их исследований заимствовались, сами же они, а вместе с ними и их интерпретационные модели вычеркивались из дискурса как «еврейские», а значит как «необъективные». Такая инструментализация и использование большого числа учёных в качестве невольных «главных свидетелей» насаждаемых антисемитских доводов, выдвигаемых Серафимом, встречается по аналогии и у других «юденфоршер» (исследователи, изучавшие историю евреев в нацистской Германии) – таких как Ханс Ф.К. Гюнтер или Вильгельм Грау. Эта практика полностью соответствует тому, что Дирк Рупнов (Dirk Rupnow) называет «аризацией»¹⁰ еврейской истории и еврейского историописания.

Конкретно присвоение трудов еврейских учёных означало, что Серафим в своей аргументации поначалу исходил из в сущности релевантных результатов еврейской историографии, например из того факта, что основная волна переселения еврейского населения на территории государств Восточной Центральной и Восточной Европы состоялась относительно «позже», чем это было принято считать или, что еврейское население ко времени написания книги, в отличие от нееврейского большинства, проживало большей своей частью в городах и имела соответственно иную структуру профессиональной занятости. В этом случае решающее значение в оценке Серафимом перечисленных выше фактов, имеет то обстоятельство, что он категорически отрицал исторические и общественные предпосылки упомянутых процессов как сугубо «внешние» причины еврейской «чуждости». При этом он ссылался на ошибочные с его точки зрения представления еврейских исследователей. Согласно же его личному видению, именно «внутриеврейские» причины сделали евреев в конечном итоге «чужаками».

На этом тезисе, лежащем в основе всей монографии Серафима, мне бы хотелось остановиться несколько подробнее и прокомментировать его на одном конкретном примере.

В третьей части своей книги Серафим задается вопросом о причинах проживания к тому моменту большей части еврейского населения Восточной Центральной и Восточной Европы в городах, где оно в значительной степени уступало по своей численности нееврейскому населению, а также рассуждает о причинах существования среди евреев совершенно отличной структуры занятости. Хотя Серафим упоминает различные законодательные меры, приведшие в конце XIX века к целенаправленному вытеснению еврейского населения из сельских районов и обернувшиеся в итоге в 1882 году полным запретом для евреев селиться в сельской местности «черты постоянной еврейской оседлости», он, тем не менее объявляет их в итоге нерелевантными. По мнению Серафима, «преувеличивать степень влияния законодательных ограничений» было бы «ошибочным»¹¹. Помимо того, согласно его выводам, растущая миграция еврейского населения в города не поддается классификации как элемент общего процесса индустриализации и урбанизации в Европе конца XIX- начала XX века:

«В случае данной тенденции мы имеем дело не с явлением, которое соответствует тому, что происходило в прошлом и нынешнем столетии почти среди всего населения Европы. Оно не является ни «оттоком в город» в том смысле, в котором мы привыкли его понимать, ни соблазном, который города, в особенности крупные, оказывают на сельское население. Еврей в деревне являлся изначально живущим в деревне горожанином»¹².

В то же время «еврей» продолжал оставаться для Серафима извечным «чужаком» и в городе:

«В то время как любой другой народ связан с той землей, на которой живет, привязан к клочку земли (*mit der Scholle verbunden ist*), в то время как его представители в кругу своего социального сообщества близки и доверяют друг другу, а переселение в город означает для них одновременно не только смену профессии, но и отрыв от среды доверия и близости, разрыв внутренней связи с прошлым, переселение на «чужбину», еврей – который везде «чужой» – не проявляет какого-либо значимого внутреннего интереса к окружающему его миру. [...] Естественным следствием такого внутреннего момента чуждости является в корне отличающееся от других народов отношение евреев к вопросу смены места проживания»¹³.

Подобный взгляд вполне соответствует распространенному до сегодняшнего дня стереотипу «еврея» как «мигранта» и «горожанина»¹⁴ – стереотипу, который, в случае Серафима, насаждался при помощи авторитета мнимой научной «объективности» и обосновывался квантифицирующими построениями.

Серафим отвергал исторические предпосылки процесса расселения евреев в Восточной Европе как неимеющие решающего значения для растущей урбанизации среди еврейского населения. Вместо этого он селективно использовал результаты упомянутого процесса в качестве отправного пункта собственной аргументации и при помощи большого количества карт и статистических данных представил территориальное расселение еврейского населения как подтверждение своего тезиса. Как видно, ему не пришлось фальсифицировать при этом эмпирические данные. Однако, он оставлял в тени процессуальный характер демографического развития восточноевропейских евреев, а жизнь в городе он интерпретировал как антропологический архетип или константу «еврея».

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что Серафим создал статичную и исключаящую любые модификации интерпретационную модель мнимой «чуждости» еврейского населения. Он отвергал также принципиальную возможность пересмотра вынесенного им вердикта, поставив под сомнение релевантность общественно-исторического генезиса конкретных процессов и выдвинув вместо реальных, существующие априори «внутренние» причины: «По отношению к принимающему его народу еврей всегда чужак, и наоборот – в среде своего собственного народа он повсюду дома»¹⁵. Таким образом, следует в очередной раз признать правоту Вернера Филиппа (Werner Philipp), обвинившего в 1966 году Серафима в антиисторическом мышлении¹⁶.

В этом смысле концепция книги Серафима перекликается с тем, что Зигмунд Бауман определял в своей работе о холокосте как часть истории модерности, как *social engineering*. Согласно Бауману, в целях рационального мироустройства наука должна конструировать, дефинировать и классифицировать «чуждость» определенных групп населения, а также снабжать полученной в результате информацией административный аппарат¹⁷. Монография Серафима «Еврейство в восточно-европейском пространстве» полностью вписывалась в эту точку сопряжения национал-социалистской социальной инженерии. Во введении к своей книге он формулирует эту задачу следующим образом: «Предоставим политику давать оценку, работа же учёного – констатировать, анализировать, а также при всеохватывающем взгляде на факты сводить их воедино»¹⁸.

В то время как еврейские учёные были окончательно лишены возможности сопротивляться присвоению результатов своих исследований, труд Серафима стал достоянием широкого обсуждения в кругах национал-социалистической (*völkisch*) немецкой науки. Почти все рецензии носили позитивный характер, а резкая критика ограничивалась вопросами о частностях. Два момента выделялись особым образом: первый – то обстоятельство, что Серафим как первый нееврейский исследователь представил столь всеобъемлющую картину восточно-европейского еврейства; и второй – «строго научный»¹⁹ характер его работы. При этом само рецензирование книги «Еврейство в восточно-европейском пространстве» разворачивалось не только на страницах узкопрофессиональных изданий. В многочисленных локальных и региональных газетах печатались статьи о книге Серафима. «Гамбургер тагеблатт» (*Hamburger*

Tageblatt) сообщал под заголовком «Область расселения евреев в Восточной Европе. Новаторское исследование с сенсационным результатом» и обращал особое внимание на то, что наряду с «политической работой» по антисемитизму нельзя упускать из виду, «что для укрепления нашей внутренней позиции и для просвещения внешнего мира в вопросе о насущной необходимости наших мер, крайне необходимы такие серьезные и заслуживающие доверие научные труды»²⁰. По аналогии с аргументацией самого автора книги «многочисленные цитирования еврейских учёных» оценивались в статье как подтверждение «строго научного приведения доказательств», которые «производят на читателей особо убедительное впечатление»²¹. Именно в этой засвидетельствованной научности напрямую просматривается политическое значение книги. «Вестфелише ландесцайтунг» (*Westfälische Landeszeitung*) выражала на своих страницах «уверенность в том, что именно предельная и чистейшая объективность выступит в качестве уничтожающего итога для евреев»²², а «Дрезднер анцайгер» (*Dresdener Anzeiger*) видел в книге, «которая полностью свободна от модных избитых фраз, лучшее оружие против еврейства [...]»²³.

Работа Серафима вызвала интерес также и в Польше. Местная газета «Западная Польша» (*Polska Zachodnia*), публикуя материал о книге, оставила без всякого внимания антисемитский характер монографии, что совсем не удивительно, если учитывать столь же сильную антисемитскую кампанию в Польше после смерти Пилсудского. По мнению газеты, книга Серафима заслуживала «внимания польских читателей»²⁴. Правда, критике подверглось то обстоятельство, что Серафим связывал «еврейскую проблему» прежде всего с Польшей и противопоставлял польской политике в отношении евреев политику национал-социалистской Германии как положительный пример. Подобный взгляд отклонялся газетой как необоснованный, так как, прежде всего в западных районах Польши «оевреиванье»²⁵ являлось в прямом следствии предшествующего немецкого господства.

Преимственность или разрыв? Период после 1945 года

После того как в апреле 1945 года Серафим попал в американский плен, он занимался составлением экспертиз для американских военных и разведывательных служб, а также для «Организации Гелена» – предшественницы Федеральной разведывательной службы Германии послевоенного периода. Одновременно он участвовал в реорганизации немецкой «Остфоршунг» (*Ostforschung*). Позже, в мае 1948 года, после так называемой процедуры «денацификации» ему предоставилась возможность преподавать в качестве почасовика, но, в отличие от большинства его коллег, ему не удалось задержаться надолго на академическом поприще вне контекста «Остфоршунг». Вместо этого в 1954 году он проходит по конкурсу на должность проректора по учебным делам Академии управления и экономики в Бохуме. До 1967 года он занимался на этой должности вопросами повышения квалификации государственных и муниципаль-

ных служащих и работающих в сфере экономики. Скончался Серафим в мае 1979 года в Розенхайме. Как свидетельствуют сохранившиеся документы, на протяжении всего послевоенного периода вплоть до своей смерти Серафим ни разу не ставил перед собой задачи критического переосмысления собственной биографии.

То обстоятельство, что Серафиму так и не удалось продолжить карьеру после войны, ни в коей мере не свидетельствует в пользу серьёзной критической рефлексии с его стороны над собственной ролью в национал-социалистической социальной инженерии. Наоборот, определяющими были стратегически продуманные шаги: бывшие коллеги публично демонстрировали дистанцию, чтобы не нанести ущерб собственным шансам, дававшим им возможность «восстановиться» в науке. При этом в личных беседах они постоянно заверяли Серафима в «объективности» его книги. Исключением из правил были только немногие. Среди них стоит назвать упоминавшегося выше историка, специалиста по истории Восточной Европы Вернера Филиппа²⁶. Несмотря на бывшую личную причастность к «Остфоршунг» эти историки нашли слова, немотивированные тактическими соображениями, для чёткой оценки прошлой деятельности Серафима. Хотя, по большому счёту, Вернер Филипп оставался единственным в своем роде (само)критиком.

Заключение

Историк Митчел Г. Аш описывал науку как процесс, развитие которого осуществляется не только благодаря поиску лучшего аргумента в плоскости рационального, но и в результате полемики, связанной с постоянной борьбой за ресурсы. При этом под ресурсами им понимаются как финансовая поддержка, так и аппаратно-институциональные (в форме, например, «восточных институтов» и рабочих групп), когнитивно-конституирующие ресурсы (в смысле развития новых или модификации прошлых исследовательских парадигм), а также ресурсы риторики²⁷. Сферы политики и науки Аш рассматривает как две области, которые не только не противоречат друг другу, но более того – снабжают друг друга ресурсами. В свою очередь, такие ресурсы определялись им как «политически поливалентные и как взаимомобилизующие». Это означает, что «деятели науки пытаются мобилизовывать ресурсы политической сферы ровно также, как и политики, заинтересованные в мобилизации учёных и их исследований в свою пользу»²⁸.

В случае применения данного теоретического посыла к проблеме степени влияния немецкого «Юденфоршунг» (*Judenforschung*) становится очевидным, что отдельно взятый учёный не может рассматриваться больше исключительно как жертва существующих обстоятельств, а вместе с тем как «жертва насилия» или «введенный в заблуждение». Он должен рассматриваться как активный субъект, усилия которого активно направлены на мобилизацию соответствующих ресурсов для оказания влияния на политику. Отсюда возникает вопрос

ответственности, которая должна быть возложена на таких «Юденфоршунг»-исследователей как Серафим.

Серафим внёс своими исследованиями в рамках «Юденфоршунг» достаточно серьёзный вклад в развитие национал-социалистской социальной инженерии. Он идентифицировал и квантифицировал «чужаков» в «восточно-европейском пространстве» и пытался добиться от политики «решения» той «проблемы», которую он сформулировал как «эксперт». При этом, в конечном итоге, остается вторичным, что кто-то, как Серафим, «только» способствовал, а кто-то лично приложил руку к принятию соответствующих мер. Несколько лет назад Гётц Али (Götz Aly) совершенно верно заметил, что разделение на «практический» ручной труд, с одной стороны, и «теоретическую» плановую деятельность, с другой – есть проявление модерного, в высокой степени профессионально дифференцированного общества. Обе эти группы неотъемлемо нуждаются друг в друге для того, чтобы добиться от рабочего процесса желаемого результата²⁹.

Основываясь на тезисе Зигмунта Баумана, можно констатировать, что подчёркивая «массовый характер» «еврейского вопроса», Серафим способствовал процессу «обесчеловечивания» жертв, сводя их образ к чисто количественным показателям: «Люди лишаются человеческих признаков, если их превращают в цифры и номера»³⁰. И хотя Серафим не предвещал в своей книге последовавшего позже физического уничтожения евреев, он, вне всякого сомнения, внёс вклад, и отнюдь не только «теоретический», в эскалирующийся и радикализирующийся процесс, итогом которого стал холокост.

Примечания

¹ Первод с немецкого Эллы Каплуновской.

² Winfried Schulze, Gerhard Otto Oexle (Hg.). *Deutsche Historiker im Nationalsozialismus*. Frankfurt a.M. 1999.

³ Dirk Rupnow. *Judenforschung im Dritten Reich. Wissenschaft zwischen Ideologie, Propaganda und Politik* // Matthias Middell, Ulrike Sommer (Hg.). *Historische West- und Ostforschung zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg (Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert, Bd. 5)*, Leipzig 2004, S. 107–133, здесь S. 123. По истории *Judenforschung* см.: Alan Steinweis. *Studying the Jew. Scholarly Antisemitism in Nazi Germany*. Cambridge, Mass. 2006, а также тематический номер ежегодника Института им. Симона Дубнова под редакцией Николаса Бергера (Nicolas Berg) и Дирка Рупнова (Dirk Rupnow) - *Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts/Simon-Dubnow-Institute Yearbook*. Bd. 5 (2006). S. 301–535.

⁴ Биографии и научной деятельности Серафима посвящена моя диссертация: Hans-Christian Petersen. *Bevölkerungsökonomie – Ostforschung – Politik. Eine biographische Skizze zu Peter-Heinz Seraphim (1902–1979)*. Osnabrück 2007 (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, Bd. 17).

⁵ Seraphim, Peter-Heinz, *Das Judentum im osteuropäischen Raum*, Essen 1938.

⁶ Seraphim. *Das Judentum*. S. 11.

⁷ Seraphim. *Das Judentum*. S. 9.

- ⁸ Seraphim. Das Judentum. S. 678.
- ⁹ Seraphim. Das Judentum. S. 13 и след.
- ¹⁰ Rupnow. Judenforschung im Dritten Reich. S. 123.
- ¹¹ Seraphim. Das Judentum. S. 326.
- ¹² Seraphim. Das Judentum. S. 326.
- ¹³ Seraphim. Das Judentum. S. 327 и след.
- ¹⁴ Об этом см.: Joachim Schlör. Juden sind Städter – Ein Stereotyp und seine Bedeutungen // Fritz Mayrhofer, Ferdinand Opll (Hg.). Juden in der Stadt. Linz 1999. S. 341–365; Idem. Der Urbantyp // Julius H. Schoeps, Joachim Schlör (Hg.). Antisemitismus. Vorurteile und Mythen München. Zürich 1995. S. 229–240.
- ¹⁵ Seraphim, Das Judentum, S. 328.
- ¹⁶ Werner Philipp. Ostwissenschaften und Nationalsozialismus // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 33 (1983), S. 286–303, здесь S. 292.
- ¹⁷ См. Zygmunt Bauman. Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust. Hamburg 1992. Бауман предлагает рассматривать холокост не как домодерный «особый случай» истории, который начался в 1933 и внезапно окончился в 1945 году. Напротив, он усматривает в нем имманентный современному процессу цивилизации феномен, который не был неизбежным, но который в своей предельной форме стал возможным только благодаря модерну. Об этом см. Idem. Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Frankfurt a.M. 1991.
- ¹⁸ Seraphim. Das Judentum. S. 14.
- ¹⁹ Как пример такого рода оценок – см. рецензию Георга Шатдтмюллера (Georg Stadtmüller), опубликованную в журнале Института мировой экономики в г. Киль: Weltwirtschaftliches Archiv. 53 (1941). Н. 1. S. 165–169, цитата S. 168. Единственное исключение в общем ряду составляет рецензия Ханса Бобека (Hans Bobek), который, в отличие от Серафима, подчеркивал в истории еврейства не «кровную предрасположенность» а социальную среду – см. Hans Bobek. Das Judentum im osteuropäischen Raum. Betrachtungen zu einem gleichnamigen Werk von P. H. Seraphim // Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung. 3 (1939). Н. 3/4. S. 697–706, цитата S. 699. Подробный обзор рецензий современников на книгу Серафима дает Gerhard F. Volkmer. Die deutsche Forschung zu Osteuropa und zum osteuropäischen Judentum in den Jahren 1933 bis 1945 // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 42 (1989), S. 109–215, здесь S. 152–156.
- ²⁰ Hamburger Tageblatt. Das Siedlungsgebiet des Judentums in Osteuropa. 6.5.1939.
- ²¹ Рецензия в Berliner Börsenzeitung. 26.7.1939.
- ²² Westfälische Landeszeitung. Zur Judenfrage. 5.7.1939.
- ²³ Dresdener Anzeiger. Das Judentum im osteuropäischen Raum. 3.5.1939.
- ²⁴ Niemiec o kwestii żydowskiej w Polsce [Немец о еврейском вопросе в Польше] // Polska Zachodnia. №. 36. 5.2.1939.
- ²⁵ Niemiec o kwestii żydowskiej w Polsce.
- ²⁶ См. о Вернере Филиппе Hans-Christian Petersen. «Die Gefahr der Renazifizierung ist in unserer Branche ja besonders groß.» Werner Philipp und die deutsche Osteuropaforschung nach 1945, in: Hans-Christian Petersen/Jan Kusber (Hg.): Neuanfang im Westen. 60 Jahre Osteuropaforschung in Mainz, Stuttgart 2007, S. 31–53.
- ²⁷ Ср.: Mitchell G. Ash. Wissenschaftswandel in Zeiten politischer Umwälzungen: Entwicklungen, Verwicklungen, Abwickelungen // NTM. Internationale Zeitschrift für Geschichte

und Ethik der Naturwissenschaften, Technik und Medizin. 3 (1995). S. 1-21, цитата S. 3; см. также Idem. Verordnete Umbrüche – Konstruierte Kontinuitäten: Zur Entnazifizierung von Wissenschaftlern und Wissenschaften nach 1945 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 43 (1995). S. 902–923.

²⁸ Mitchell G. Ash. Wissenschaft und Politik als Ressourcen füreinander. Programmatische Überlegungen am Beispiel Deutschlands // Jürgen Büschenfeld, Heike Franz, Frank-Michael Kuhlemann (Hg.). Wissenschaftsgeschichte heute. Festschrift für Peter Lundgreen. Bielefeld 2001. S. 117–135, цитата S. 118.

²⁹ Götz Aly. Rückwärtsgewandte Propheten. Willige Historiker – Bemerkungen in eigener Sache // Idem. Macht – Geist – Wahn. Kontinuitäten deutschen Denkens. Berlin 1997. S. 153-185, цитата S. 220.

³⁰ Bauman. Dialektik der Ordnung. S. 118.

А. П. Беликов

(Ставропольский государственный университет, г. Ставрополь)

**ПОЛИБИЙ И ВЫЗОВЫ ЕГО ВРЕМЕНИ: ТВОРЧЕСТВО,
МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ, ВОСПРИЯТИЕ ПОТОМКАМИ**

Как творчество, так и судьба самого Полибия во многом уникальны. Он жил в очень сложное и переломное для Эллады время, испытал взлёты и падения, лично стал участником многих важнейших исторических событий. Если бы не те вызовы времени, которые выпали грекам этого периода, он мог бы остаться просто благополучным ахейским аристократом. Возможно, он и стал бы историком, но, очевидно, менее известным и оказавшим меньшее влияние на всё последующее историописание.

Однако к извечным проблемам Греции – междоусобице, попыткам Македонии установить свою гегемонию, социальным проблемам – добавился и внешнеполитический фактор. Рим, утвердившийся в Иллирии, тоже стремился к господству над югом Балканского полуострова. Молодость и активная политическая деятельность будущего историка совпали с политикой лавирования, проводимой Ахейским союзом: сохранять свой суверенитет, не раздражая римлян, и не слишком портить отношения с Македонией. Несомненно, это заметно повлияло на Полибия, способствуя выработке таких полезных качеств, пригодившихся ему впоследствии, как осторожность, умение учитывать обстоятельства, проницательность, гибкость.

После разгрома Македонии в 168 г. до н. э. сильные союзники в Греции римскому сенату уже стали не нужны. В результате Рим взял курс на всемерное ослабление и подавление бывших «друзей». Используя, в том числе, и своих «агентов влияния» внутри Ахейского союза. Полибий, к тому времени занимавший высокий пост гиппарха, наблюдал за закатом силы своей федерации и утратой независимости Греции. В конечном счёте, в 167 г. до н. э. наш автор, ничем не провинившийся перед Римом, вместе с тысячей других предводителей Ахейского союза был интернирован в Италию (Polyb. XXX.13.9; Liv. XLV.31.9; Paus. VII.10.7).

Только через семнадцать лет около 300 уцелевших изгнанников сумели вернуться домой по разрешению сената. Все остальные умерли на чужбине от

болезней и тоски по близким, либо поплатились жизнью за неудачные попытки бежать из Италии (См.: Paus. VII. 10. 12). Такая же печальная судьба могла ожидать и Полибия, однако его спасли... хорошее образование и любовь к книгам! Благодаря случайному разговору о книгах он познакомился с представителем римской правящей верхушки – Сципионом Младшим, покорило его своей образованностью и сумел стать другом, советником молодого аристократа. И даже вошёл в «кружок Сципиона» (Сис. De ger. I.15; 34.) – неформальное объединение прогрессивно мыслящих римских интеллектуалов.

Широкий круг общения, достойные собеседники, свобода перемещения по Италии и за её пределами – в Испанию и Карфаген, куда он сопровождал на войну своего друга, давали обильную пищу для размышлений. А главное, Полибий, как мыслящий человек, очевидно, пытался понять, в чём причины упадка его родины и возвышения Рима. Для этого, прежде всего, надо было понять самих римлян. И ему это удалось.

Вероятно, тогда же у него зародился замысел написания исторического труда, главной целью которого было показать, почему и как столь значительная часть ойкумены оказалась под властью римлян (Polyb. VI. 12.3.). Для осуществления такой задачи подходил именно и только принцип «всеобщей» истории, показывающей, как переплетаются судьбы народов. А учитывая политический опыт автора, это должно было стать ещё и чисто прагматическим сочинением, призванным дать полезные знания государственным деятелям и полководцам. Безусловно, сам Полибий был человеком серьёзным и ответственным, поэтому и к созданию своего труда он подошёл так же основательно: изучал архивные документы, критически штудировал работы предшественников, расспрашивал очевидцев и участников событий. Так оформился его метод исследования, близкий к установкам Фукидида.

Безусловно, заслуги Полибия в развитии подлинно научного изучения истории неоспоримы. Пожалуй, лишь Фукидида и Тацита можно поставить вровень с ним – по широте замысла, глубине освещения, объективности и подлинной научности исследования. Поэтому не случаен тот интерес, который вызывает у ученых личность и творчество ахейского историка. За несколько веков сложилась огромная исследовательская литература, настоящая «полибиана», насчитывающая тысячи томов¹.

Разрозненные во времени и пространстве события и явления он пытался свести воедино, а главное – дать им объективные объяснения. «Раньше события на земле совершались как бы разрозненно, ибо каждое из них имело свое особое место, особые цели и конец» (Polyb. I. 3.16). Но рассмотрение истории «по частям даёт лишь очень мало для точного уразумения целого...» (I. 4. 11). Эти две фразы автора можно считать его программным заявлением. Принципы «всеобщей» и «прагматической» истории оказали колоссальное влияние на все последующие поколения исследователей.

Как и любой добросовестный историк, Полибий пытался следовать принципу объективности и писать «без гнева и пристрастия». Разумеется, это ему

далеко не всегда удавалось. Но есть ли хоть один историк, которому это удавалось в полной мере?

Пристрастность нашего автора обычно проявлялась только в двух случаях – его личная, часто обусловленная социальной принадлежностью, либо «этническая» предвзятость. Отсюда и его негативные оценки ахейских демагогов², Филиппа V, в целом этолийцев и македонян. Учитывая партикуляризм сознания греков, Полибий был, прежде всего, ахейским патриотом, а потом уже эллинским. Действительно, он ведь не случайно пишет столь хвалебную биографию Филопемена, с гордостью сообщает о заслугах своего отца Ликорта перед Ахейским Союзом, да и сам он всегда работал в тесном контакте и полном согласии с ахейской верхушкой³. Однако достоверность передаваемой им информации общепризнанна, некоторые претензии можно предъявить лишь к самой интерпретации событий и их оценкам.

Сейчас, похоже, мы переживаем очередную волну гиперкритицизма по отношению к письменным источникам. Нередко «неудобную» для каких-то построений информацию источников пытаются дискредитировать суждениями о предвзятости автора, его недостаточной информированности, или даже голословными обвинениями в явной недостоверности. В результате, как справедливо отметила Н. Ю. Сивкина, историки «вследствие отсутствия другого материала в этом случае нередко оказываются в области чистых предположений и гипотетических построений»⁴. Известный исследователь творчества великого ахейца А. Я. Тыжов неслучайно констатирует, что некоторые авторы порой заходят слишком далеко в своем недоверии к Полибию⁵. К сожалению, он прав.

Тем не менее, в целом высокая оценка Полибия именно как исследователя никем не подвергается сомнению. Сложнее обстоит дело с восприятием его личных качеств, отношением к римлянам и его ролью в римско-греческих отношениях того периода. Один из аспектов, явно ещё не получивших достаточного освещения, – это проблема политической и даже морально-этической оценки взаимоотношений Полибия с римлянами во время покорения ими Греции.

Как реальный политик, он несколько не виноват в том, что римляне завоевали Грецию. К гордым квиристам он относился объективно, не умалчивая об их недостатках, но честно отмечая и то, в чём они превосходили греков. Воочию убедившись в военной силе Рима, Полибий отмечал и другое важное для него обстоятельство: по его мнению, римляне превосходили греков морально. Сам Полибий подчеркивает, что в его дни стандарты личной честности намного выше у римлян, чем у его греческих соплеменников (VI. 51; XVIII. 34–35). Безусловно, он уважал римлян, отмечая, что «для них нет ничего постыднее, как поддаться подкупу или обогащаться непристойными средствами» (Polyb. VI. 56. 2). Богобоязненность, по его мнению, у римлян составляет основу государства (Polyb. VI. 56. 7). «Если у других народов редки честные люди, для которых общественное достояние неприкосновенно, то у римлян, наоборот, редки случаи изобличения в хищении» (Polyb. VI. 56. 15). Он отмечает мудрость, справедливость и скромность римлян (VI. 10. 10–13; VI. 14. 7–9; IX. 10. 1.),

их неподкупность и верность долгу (XVIII. 35. 1–2). Мы бы не стали говорить о «восторженном отношении самого Полибия к Риму»⁶, хотя его восхищение римским порядком, дисциплиной, разумным государственным устройством Республики совершенно искренне.

Несомненно, он несколько идеализировал римлян и преувеличивал их моральные качества. И это не удивительно, ведь по сравнению с тем хаосом и анархией, которые царили в Греции, действительно, Рим мог показаться Полибию государством с идеальной формой правления и с на редкость законопослушными гражданами. В римском национальном характере проявляются громадная целеустремленность, дисциплинированность, организационные способности; в Риме была четкая организация и иерархия, которой не было у греков⁷ – всё это, очевидно, Полибий должен был заметить и оценить. Естественно, такие качества могли его только восхищать. Конечно, надо учитывать, что Полибий писал и для римлян тоже⁸, да и положение его было достаточно двусмысленным. Какая-то доля «комплиментарности», безусловно, здесь присутствует. Критическое отношение к словам самого автора необходимо, но ведь он откровенно отмечал и то, что ему в квиритах не нравилось.

По словам Цицерона (De ger. IV. 33), историк упрекал римлян в недостаточном внимании к постановке обучения подрастающего поколения. Также он осуждал римлян за вывоз культурных ценностей из Греции (см.: Polyb. IX. 10–13). Критиковал сенат, возвышающий в Греции льстецов (XXIV. 11. 1–9; 12. 3–5; 11–12), и таким образом, неодобрительно заключает Полибий, льстецов среди эллинов было много, а вот подлинных друзей Рима – мало. Эта фраза как-то совершенно не вяжется с образом «римского угодника».

У нас нет достаточных оснований сомневаться в уважении автора к римлянам или упрекать его в неискренности. У кого на тот момент «нравственные стандарты» были выше, у греков или римлян, – это отдельная проблема и мы её здесь касаться не будем, но отметим лишь, что, *по мнению самого Полибия*, всё же у римлян.

Однако, хорошо зная все недостатки своих соплеменников, Полибий в то же время свято верил, что эллины «превосходят все прочие народы» (Polyb. V. 90. 8). Как и любому порядочному человеку, ему было присуще чувство долга, притом – с некоторым «этническим оттенком». Не случайно он пишет: «Долг эллина оказывать в трудных обстоятельствах всяческое содействие эллинам, то защищая их или прикрывая их слабости, то смиряя гнев властителей; все это мы исполняли добросовестно на деле, когда требовалось» (XXXVIII. 6. 7). И это были не просто красивые слова, а именно жизненное кредо выдающегося историка.

По мнению А. Экстейна, наш автор сожалел о достаточно бесцеремонном вмешательстве римлян в греческие дела, считая частично виноватыми в этом самих эллинов, в частности – Калликрата⁹. Как полагает известный английский исследователь, Полибий неслучайно подчёркивает, что до Третьей Македонской войны отношение римлян к грекам было заметно мягче, и лишь добившись гегемонии на Балканах, они повели себя более жёстко по отношению к недавним

союзникам⁹. Очевидно, что всё же Полибий воспринимал римлян варварами, хотя, разумеется, и не афишировал своё восприятие. Однако, когда он с горечью и болью пишет о легионерах, в разграбленном Коринфе играющих в кости на брошенных в грязь бесценных картинах греческих мастеров (см.: XXXIX. 13. 2), в этом сквозит не только осуждение грубости и неотёсанности воинов. Всё-таки явным подтекстом звучит (позволим себе сформулировать ощущения ахейского патриота и культурного человека!) – на такое способны лишь варвары.

По нашему глубокому убеждению, в глубине души Полибий продолжал считать римлян варварами, да и не могло быть иначе, ибо любой, кто не эллин, мог быть только варваром. Здесь мы не согласны с Ф. Уолбэнком, полагавшим, что мегалополец в своем труде фиксировал восприятие римлян греками, но сам его не разделял¹⁰. Спорно мнение и о том, что Полибий занимал в этом вопросе компромиссную позицию, не относя римлян, строго говоря, ни к эллинам, ни к варварам¹¹. Такое едва ли возможно, поскольку для любого эллина мир жестко делился на две части: мы и они, и каждый, кто не являлся эллином, мог быть только варваром без всякой альтернативы. Римляне об этом прекрасно знали (См.: Plautus. Miles gloriosus. 211–214). Неслучайно Катон оскорблённо констатировал, что греки «nos quoque dictitant “barbaros”» (Pliny NH. XXIX. 7. 14.), даже не видят особой разницы между римлянами и осками (Ibid.). Греки считали римлян варварами и относились к ним плохо¹² – у нас нет ни малейших оснований пересматривать этот давно ставший общепринятым постулат. Разумеется, Полибий никак не проявлял и, тем более, не афишировал такое своё восприятие гордых квиристов. Оставаясь в глубине души ахейским и эллинским патриотом, он вынужден был примириться с неизбежным: время Эллады ушло, и теперь, ради самосохранения, ей придётся налаживать симбиоз с Римом. Это и определило модель поведения ахейского историка.

Следует учитывать и прагматизм Полибия как опытного политика. Очевидно, он прекрасно понимал, что сохранить независимость Эллады не удастся. Поэтому лучше избежать ненужных и излишних жертв. Древний афоризм, гласящий «Разумный человек не спорит с неизбежным», несомненно, был ему известен. Подобно большинству своих просвещенных современников, он «поддавался обаянию силы и склонен был признавать не только неизбежность, но и справедливость совершившегося факта»¹³. Надо было вживаться в новые условия, которые уже не зависели от воли и усилий одного человека.

Общение и даже дружба Полибия с римлянами – это осознанный и активный выбор, но отнюдь не стремление выжить во вражеской среде ценой предательства или низкопоклонства. Всегда и везде, где только это было возможно, он старался помочь своим соплеменникам, чему сохранилось несколько свидетельств в источниках. Помогая римлянам обустроить покорённую ими Грецию, он пытался облегчить участь покорённых эллинов. Оставаясь при этом лояльным Риму.

Вместе с тем, можно отметить как минимум четыре конкретных случая, когда его действия и их конечный результат не соответствовали римским интере-

сам. И даже напрямую противоречили им¹⁴. А ведь при этом он рисковал не только хорошим отношением к себе в Риме, но вполне вероятной была угроза впасть в опалу со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Особая значимость его деятельности заключается в том, что он самым первым попытался проложить мост между греками и римлянами, сыграть роль связующего звена между ними. Он хотел внушить победителям римлянам чувство уважения к побеждённым грекам, а эллинов призывал к терпению и благоразумию, надеясь, что они научатся жить вместе в рамках одного государства.

Поэтому в восприятии и современников, и потомков, он остался не только выдающимся историком, но и человеком, не нарушившим своего нравственного долга перед родиной.

Несколько особняком стоят оценки, пожалуй, лишь нескольких исследователей, обвинявших Полибия не только в пособничестве римлянам, но даже и в том, что он являлся их «секретным агентом». Это Т. Моммзен¹⁵, А. Момильяно¹⁶ и А. Г. Бокщанин.

Например, А. Г. Бокщанин пишет: дружба историка с домом Эмилия Павла, возникшая на базе «общих классовых интересов», постепенно превратила его «в убежденного сторонника проримской ориентации греческой политики»¹⁷. «По существу Полибий выступал как ставленник и агент римских завоевателей Греции [!!! – А. Б.] и можно сильно сомневаться в искренности греческого населения, воздвигшего в его честь статуи в ряде городов Пелопоннеса»¹⁷. Историк идейно обосновывал необходимость подчинения власти Рима¹⁸. В прекрасной аналитической работе Т. В. Блаватской содержится досадная для нас фраза о ложном положении греческого историка, «перешедшего на сторону завоевателей его родины»¹⁹. Наконец, только явным непониманием сути творчества Полибия можно объяснить фразу: Полибий и Панетий «пытались приспособить свои философские теории к потребностям римского нобилитета»²⁰. Как отмечал А. Я. Тыжов, сторонникам Диея и Критолая было выгодно выставить Полибия как предателя национальных интересов ради дружбы с римлянами, и, возможно, что эти обвинения, хотя бы отчасти, достигали своей цели и вселяли в сердца части ахейцев недоверие к сыну Ликорта²¹.

Однако тщательный анализ всей жизни Полибия, его конкретных действий, как в Риме, так и в Греции, убедительно опровергает эти ни на чём серьёзном не основанные обвинения²².

А. Экстейн посвятил целый раздел своей книги проблеме «Полибий и макиавеллизм», для нас принципиально важен его конечный вывод – в своих личных поступках историк руководствовался больше соображениями чести, нежели прагматическими намерениями²³. Очевидно, именно так и было. Как историк-исследователь Полибий исходил из прагматического назначения написания и изучения истории для политического деятеля. Однако для повседневного поведения человека он, безусловно, определяющим фактором признавал только правила аристократической чести. Ведь он использовал свои личные связи с римскими нобилем не для получения личной выгоды, хотя

такая возможность ему представлялась не раз. Характерен тот случай, когда римляне предложили ему бесплатно взять себе всё, что он пожелает, из конфискованного имущества Диэя, и он не только сам отказался, но и просил своих друзей не покупать ничего из вещей, продаваемых квестором (Polyb. XXXIX. 15. 1–2).

И, наконец, наверное, самый главный аргумент. Современников и соплеменников обмануть трудно. Калликрата и Андронида, ставших римскими «агентами влияния» в Ахейском союзе, греки ненавидели и откровенно презирали. Ярость и ненависть к ним была столь велика, что, как отмечает сам ахейский историк, «даже дети не стеснялись на улице обзывать их в лицо предателями» (Polyb. XXX. 23. 7). Оспаривать эти слова Полибия – означает вообще отрицать его объективность и достоверность, не доверять ему как современнику и участнику событий, ставить под сомнение ценность самого его труда как исторического источника. В его фразе сквозит естественное для всякого порядочного человека искреннее презрение по отношению к предателям.

Совсем по-другому соотечественники воспринимали Полибия. Используя доверие и расположение к нему римлян, он в качестве посредника между Римом и Грецией очень много сделал для смягчения их взаимоотношений. «Деятельность Полибия в щекотливой роли друга Рима и защитника интересов Эллады была успешной»²⁴. Он служил «национальным интересам» греков²⁵. Полибий добивался от римлян более гуманного отношения к побежденным²⁶. В его руках находились нити спокойствия и умиротворения соотечественников и их постепенной адаптации к новым политическим условиям²⁷. Он реально помог своей родине и, по мере сил, отстаивал её интересы перед римлянами.

Проявлялось это не только в большом, но и в малом тоже. Он, в частности, спас от уничтожения римлянами статуи Филопемена, добился возвращения в Ахайю уже вывезенных оттуда статуй Ахея, Арата, Филопемена (Polyb. XXXIX. 14. 3–10). «Ахейский народ в благодарность за эту услугу соорудил мраморное изображение Полибия» (Polyb. XXXIX. 14. 11). Ладно, это пишет он *сам о себе*, но вот что сообщает *абсолютно беспристрастный* Павсаний: упоминая статую историка в Мегалополе, он приводит надпись на её основании: Полибий стал союзником римлян, «и ему удалось успокоить их гнев на Элладу» (Paus. VII. 16. 8). Те эллинские города, которые входили в Ахейский союз, получили от римлян разрешение, чтобы Полибий устроил их государственное правление и написал для них законы (Paus. VII. 16. 9) – это проявление доверия равно как с римской, так и с греческой стороны. Известно, что его статуи стояли в пяти городах Пелопоннеса (См.: Paus. VIII. 9. 1; VIII. 30. 8; VIII. 37; VIII. 43. 5; VIII. 48. 8). Доброжелательно пишет о нём и Плутарх: Полибий извлёк пользу из дружбы со Сципионом, пользуясь его расположением, он оказал важные услуги своей родине (Plutarch. Praecept. polit. p. 814 C).

В труде самого Полибия есть удивительная фраза: за оказанные ахейцам услуги «они всеми способами выказывали ему благоволение, и в отдельных городах воздавали высшие почести, *«как при жизни, так и после смерти»*

(Polyb. XXXIX. 16. 4). Нет никаких оснований сомневаться, что это интерполяция, вставленная кем-то из последующих переписчиков текста Полибия.

Она наглядно показывает, кем считали и как воспринимали великого историка его соплеменники-эллины.

Список сокращений

AHR – The American Historical Review

AJP – American Journal of Philology

CAN – Cambridge Ancient History.

Примечания

¹ Перечислим лишь некоторые, на наш взгляд, наиболее важные и значимые работы: Werner H. M. De Polybii vita et itineribus questiones chronologicae. L., 1877; Scala R. von. Die Studien es Polybios. Stuttgart, 1890; Cunz O. Polybios und sein Werk. Leipzig, 1902; Buttner-Wobst Th. De vita Polybii // Polybii Historiae / ed. a L. Dindorfeie curatam retr. Th. Buttner-Wobst. Lipsiae, 1905; Laquer R. Polybios. Leipzig ; Berlin, 1913; Sihler E. G. Polybius of Megalopolis // AJPh. 1927. Vol. VIII, № 189; Gliber T. R. Polybius // CAN. Vol. VIII. Cambridge, 1930; Treu M. Biographie und Historie bei Polybios // Historia. Bd. III. Hft. 2; Fritz K. von. The Theory of the Mixed Constitution in antiquity. A critical Analysis of Polybius's political ideas. N. Y., 1954; Pedech P. : 1) La methode historique de Polybe. Paris, 1964; Walbank F. W. Polybius. Berkeley, 1972, 1990; 2) A historical Commentary on Polybius. Vol. I–III. Oxford, 1957, 1967, 1979; Ekstein A. M. Moral Vision in the Histories of Polybius. Berkeley ; Los Angeles, 1995; Williams M. F. Polybius on Weals, Bribery, and the Downfall of Constitutions // AHR. 2001. № 14; Craige B. : 1) Champion. Polybian Demagogues in Political Context // Harvard Studies in Classical Philology. 2004. Vol. 102. P. 199–212; 2) Cultural politics in Polybius's Histories. Berkeley ; Los Angeles ; London, 2004; Мищенко Ф. Г. Федеративная Эллада и Полибий // Полибий. Всеобщая история. Т. 1. М., 1890; Тыжов А. Я. Полибий и его «Всеобщая история» // Полибий. Всеобщая история. Т. 1. СПб., 1994; Самохина Г. С. : 1) Полибий : эпоха, судьба, труд. СПб., 1995; 2) Полибий : судьба греческого политика и историка в условиях римской экспансии. URL : <http://petsu.karelia.ru/psu/Chairs/GenHist/polybius4.html>.

² См.: Craige B. Champion... P. 199–201.

³ Ibid. P. 208.

⁴ Сивкина Н. Ю. Последний конфликт в независимой Греции : Союзническая война 220–217 гг. до н. э. СПб., 2007. С. 26.

⁵ Тыжов А. Я. Новая книга по истории эллинизма // Сивкина Н. Ю. Последний конфликт в независимой Греции... С. 8.

⁶ Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990. С. 213.

⁷ Шкуратов В. А. Историческая психология. М., 1997. С. 270, 271.

⁸ Ф. Уолбэнк, рассматривая проблему «Полибий между греками и римлянами», отмечает, что хотя мегалополец писал и для греков, и для римлян, но прежде всего – именно для своих соотечественников (Walbank F. W. Polybius. P. 3, 6). С этим выводом, очевидно, следует согласиться.

⁹ См.: Eckstein A. M. Rome enters the Greek East : from anarchy to hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230–170 B. C. Blackwell Publishing, Singapore, 2008. P. 380.

- ¹⁰ Walbank F. W. Polybius and Rome's eastern Policy // JRS. 1963. Vol. LIII. P. 8–11.
- ¹¹ См.: Никишин В. О. : 1) Чужеземцы в произведениях Цицерона, Цезаря и Саллюстия : (К вопросу о сущности римского «шовинизма» в I в. до н. э.) : дис. ... канд. ист. наук. М., 1999. С. 79; 2) Эллины, римляне и варвары : эволюция понятий в эпоху римского владычества // Ставропольский альманах общества интеллектуальной истории. Вып. 2. Ставрополь, 2002. С. 150.
- ¹² Ешевский С. В. Центр римского мира и его провинции // Сочинения С. И. Ешевского. Ч. 1. М., 1870. С. 207.
- ¹³ Мищенко Ф. Г. Указ. соч. С. ССIII.
- ¹⁴ Подробнее см.: Беликов А. П. Полибий между греками и римлянами: оценка политической деятельности историка // Вестн. древ. истории. 2003. № 3.
- ¹⁵ Mommsen Th. Romische Geschichte. Bd. II. Berlin, 1903. S. 451.
- ¹⁶ Momigliano A. The historian's skin // Momigliano A. Essays in Ancient and Modern Historiography. Oxford, 1977. P. 68.
- ¹⁷ Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Т. 1. М., 1960. С. 35.
- ¹⁸ Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. М., 1972. С. 234.
- ¹⁹ Блаватская Т. В. Из истории греческой интеллигенции эллинистического времени. М., 1983. С. 46.
- ²⁰ Чистякова Н. А., Вулих Н. В. Указ. соч. С. 303.
- ²¹ Тыжов А. Я. Политическая миссия Полибия в Элладе // Город и государство в древних обществах. Л., 1989. С. 113.
- ²² Более развёрнутую аргументацию см.: Беликов А. П. Указ. соч. С. 153–158.
- ²³ Ekstein A. M. Moral Vision in the Histories of Polybius. P. 16–27.
- ²⁴ Нерсесянц В. С. Политические учения древней Греции. М., 1979. С. 244.
- ²⁵ См.: Бузескул В. П. Введение в историю Греции. Харьков, 1903. С. 228; Walbank F. W. A Historical Commentary on Polybius. Vol. I. Oxford, 1957. P. 3.
- ²⁶ Мень А. История религии. Т. 6. URL : www.amen.org.ru
- ²⁷ Тыжов А. Я. Политическая миссия... С. 111.

*В. В. Высокова
(Уральский государственный университет, г. Екатеринбург)*

ИСТОРИЗМ ЭДВАРДА ГИББОНА: ПРЕДТЕЧИ И ВЛИЯНИЯ

Вклад английского историка второй половины XVIII в. Э. Гиббона (1737–1794) в становление западной историографии сегодня оценивается высоко. Он является общепризнанным отцом-основателем британской историографической традиции¹. Эти обстоятельства объясняют неустанный интерес профессиональных историков к творчеству Э. Гиббона. Классическая гиббониана обширна². Однако следует отметить работы П. Креддок, которая в 1980-х гг. создала лучшую на сегодняшний день биографию Гиббона в двух книгах «Молодой Эдвард Гиббон» и «Эдвард Гиббон – выдающийся историк, 1772–1794»³. «Новая историческая наука» определила разработку в изучении творческого наследия британского историка XVIII в. такой коннотации, как «историк и его эпоха». Напряженная связь прошлого, настоящего и будущего в творчестве Э. Гиббона через его отношение к христианству рассмотрел Д. Уомерсли в работе «Часовые Святого Града»⁴. Но самой последней заявкой на углубление изучения творческого наследия Эд. Гиббона стала четырехтомная работа Дж. Покока «Варварство и религия»⁵.

Проблема изучения историзма Гиббона в контексте развития исторической науки была поднята уже в 1950-е гг. в работах А. Момильяно⁶, который проанализировал преемственность творчества Гиббона и античной исторической традиции, а также – исторической традиции французского Просвещения. Начинания А. Момильяно продолжили, прежде всего, британские историки⁷. Темы творческой лаборатории историка, рождения уникального исторического сочинения «Истории упадка и гибели Римской империи», определившего на долгое время развитие национальной историографии, по-прежнему остаются актуальными. Британская историческая традиция в российской историографии так и остается тайной за семью печатями. К тому же «долголетие» Гиббона – один из немногих уникальных примеров связи в историческом нарративе – прошлого и настоящего в раздумьях о будущем.

В размышлениях по этому вопросу следует оттолкнуться от тезиса о синкретизме литературы и истории в англосаксонской исторической традиции.

Весьма затруднительным является «отделение» литературной деятельности Гиббона от его исторических изысканий. Самую первую свою книгу «Этюд об изучении литературы» (*Essai sur l'Étude de la Littérature*) он опубликовал на французском языке в 1761 г. Во второй половине 60-х гг. XVIII в. вместе со своим товарищем Дэвердэном он работал над журналом «Литературные памятники Великобритании»: два выпуска вышли в свет в 1768 и 1769 гг.⁸ Прекрасный литературный стиль «Истории» Гиббона зачастую объясняется его исключительным знанием Вергилия. В 1770 г. он анонимно опубликовал «Критические замечания на шестую книгу Энеиды»⁹. Все эти работы были написаны на французском языке и большого успеха не имели. Сам Гиббон в «Автобиографии» заметил, что история является популярнейшим видом литературы и что он выбрал, быть может, самый интересный сюжет, т. к. история Рима интересна как школьнику, так и государственному деятелю¹⁰. Очевидно, что в первой половине 1870-х гг. Гиббон находился в творческом поиске «своей» темы, которая была подсказана ему событиями в Северной Америке.

Противоборство североамериканских колоний с метрополией заставило высказаться ряд видных современников эпохи. Первый том «Истории упадка и гибели Римской империи» Э. Гиббона вышел в свет в 1776 г., когда противоборство вступило в фазу вооруженного конфликта. Он одним из первых обозначил параллели между Римской и Британской империей, указывая тем самым на исход любой империи¹¹. А. Смит в работе 1776 г. «Исследование о богатстве народов» призывал отказаться от меркантилизма и доказывал, что развитие связей Великобритании со свободными американскими государствами будет экономически гораздо более эффективным, нежели с зависимыми колониями¹². Третьим ярким комментатором эпохи был Т. Пэйн. В работе «Здравый смысл», вышедшей также в 1776 г., он утверждал, что всякая монархия – это, в конечном счете, тирания, основанная на средневековом завоевании, и что только республиканизм обеспечивает стабильность и конституционный порядок¹³. Итак, исследовательский импульс творчества Гиббона был задан эпохой и ее обстоятельствами. Его «ценность» заключалась, в отличие от экономиста и политика, в знании прошлого и способности его осмысливать.

Годы интеллектуального формирования Гиббона (1753–1758) и написания им большей части книги «История упадка и гибели Римской империи» (1784–1793) прошли в республиканской Женеве, средоточии интеллектуальной жизни эпохи европейского Просвещения. В середине XVIII в. она являлась центром новой рационалистической историософии, основанной на критическом прочтении исторических источников. Именно здесь свободно уживались и гражданская история в духе Гвичардинни и Макиавелли, и восстановившая свои позиции эрудитская традиция церковной истории в духе Боссюэ и мавристов. Религиозный скептицизм, сомнение в возможности рационального обоснования религиозных догматов, представление о независимости морали от религии стали основой новой историософии эпохи Просвещения. Сочинение Гиббона явилось синтезом этих двух традиций – светского и церковного историописания.

Первая традиция – светская – через историописателей эпохи Возрождения восходит к античности. Как отмечает Гиббон в «Автобиографии», идеалом мыслителя-философа для него являлся Корнелий Тацит. «Открытие» его трактата «О происхождении германцев и местоположении Германии», а также его произведений «История» и «Анналы» началось в эпоху гуманистов. В век Просвещения Тацит воспринимается уже как образчик гражданского историописателя и защитника свободы. Его произведения стали основой для формирования «неоримской» традиции XVIII в. Сжатость изложения, содержательность фразы, глубина мысли были заимствованы Гиббоном у Тацита, ему импонировала манера римского историка «держаться на высоте великого и славного, взывая к гражданскому чувству читателя».

В своей автобиографии Гиббон прямо упоминает тех авторов, на которых он опирался¹⁴. Он называет Муратори, Барония, комментарии Якоба Готфрида к Кодексу Феодосия и др. Но прежде всего, вторая традиция историописания – церковная – в творчестве Гиббона восходит к сочинениями святого отца из Пор-Рояля Себастьяна Тиллемона, французского историка XVII в. Большой знаток древних авторов, поклонник Тита Ливия и Сезаро Барония, Тиллемон создал шеститомную «Историю императоров и других принцев, которые правили в течение первых шести веков христианства»¹⁵ и шестнадцатитомную «Историю церкви первых шести столетий»¹⁶. Как сегодня ясно, его труд являлся обширной компиляцией древних авторов без какой-либо критики привлекаемых ими источников и сообщаемых ими сведений. Для Тиллемона римская история – это история отношений императоров и христианской церкви. Гиббон взял значительную часть фактического материала из многотомных сочинений Тиллемона, однако кардинально их переосмыслил в антихристианском духе¹⁷.

Современный исследователь, представитель Кембриджской школы интеллектуальной истории, Дж. Покок уделяет особое внимание влиянию на творчество Гиббона итальянского историка и юриста, жившего на рубеже XVII–XVIII вв., Пьетро Джанноне. Двадцать лет жизни последний посвятил написанию опубликованной в 1723 г. книги «История Неаполитанского королевства»¹⁸, где впервые в систематическом виде была изложена история взаимодействия церкви и государства. Общий критический настрой автора, а также подборка используемых документов поставили Джанноне в конфликтную ситуацию с Римско-католической церковью. Отлученный церковью Джанноне вынужден был бежать сначала в Вену, позже под именем Антонио Ринальдо поселиться в Женеве. Здесь он опубликовал в 1736 г. сочинение¹⁹, направленное не только против курии, но и против самих католических догматов. Впоследствии был арестован и заточен в тюрьму в Турине, где и умер. Во время своего долгого заключения Джанноне переводил Ливия и написал еще несколько исторических сочинений. После его смерти было опубликовано его работа «В защиту гражданской истории правления Неаполя»²⁰. Скандальные обстоятельства жизни Джанноне, его большая ученость, которую еще помнили в Женеве во время пребывания там Гиббона, а также непринужденность и

свобода мысли итальянского юриста сделали его произведения популярными в XVIII в. Общий критический и полемический настрой по отношению к церкви и, в частности, содержание знаменитых XV и XVI глав «Истории» Гиббона, несомненно, имеют общую природу.

Если же говорить о прямой провокации сочинения Гиббона «История упадка и гибели Римской империи», по-видимому, это был небольшой трактат Ш. Монтескье «Рассуждение о причинах величия и упадка римлян»²¹, опубликованный в 1734 г. Работа Монтескье написана на обширном источниковом материале, автор проводит сопоставительный анализ сведений Ливия, Светония и Тацита, указывает на идеализацию ими римской истории. В этом небольшом сочинении Монтескье предложил собственную оригинальную концепцию римской истории. В основе римского величия лежали гражданские добродетели, способность жертвовать личными интересами во имя общества, любовь к отечеству. Роль богатства, успешные завоевания, неравенство в распределении земельной собственности привели к порче нравов и общей деградации римлян. Знание источников и исследовательская техника Монтескье не уступали лучшим образцам современной ему историографии, его социологические построения поражали современников своей новизной и смелостью. Обратно можно сказать, что дебютная идея Монтескье была реализована Гиббон в обширном шеститомном сочинении.

Ну и, в конце концов, будет несправедливо не отметить влияние на творчество Э. Гиббона шотландской исторической школы. Дэвид Юм, старший его современник, был первым британским автором, получившим широкую известность и влияние как историописатель за пределами Британских островов. Общим местом в историографии является утверждение о глубокой взаимосвязи шотландского и французского Просвещения. В частности, Юм был секретарем британского посольства в Париже в 1763–1765 гг. Однако поехал во Францию он уже автором шеститомной работы «История Англии»²², изданный в 1754, 1756, 1759 и 1762 гг. и ставшей в скором времени бестселлером. Эта «История», также как «История» Гиббона, начинается от вторжения Юлия Цезаря на Британские острова. Здесь, в сочинении Юма, Гиббон черпал свое вдохновение. Именно Юм настоятельно рекомендовал Гиббону писать «Историю» на английском языке и сразу издать ее большим тиражом, предрекая ей небывалую популярность и коммерческий успех. Собственно первым откликом на «Историю» Гиббона было письмо Д. Юма от 18 марта 1776 г., в котором он подчеркивает необычайную сложность и тонкость предмета истории ранней христианской церкви и предрекает, какой шум следует ожидать Гиббону в связи с этим²³. Скептицизм Гиббона, его враждебность к предрассудкам, критицизм и свободолобие были заимствованы у Юма²⁴. Гиббон состоял в переписке с А. Смитом, историками А. Фергюсоном, У. Робертсоном, хотя сам в Шотландии никогда не был.

Таким образом, «источники и составные части» историзма Э. Гиббона можно обозначить достаточно определенно. Его «История упадка и крушения Рим-

ской империи» является обширным полотном краха одной из величайших империй в истории человечества, гибели прекрасной культуры. На смену ей шла христианская цивилизация, что совершенно объективно и показывает Гиббон в своем сочинении. При этом он синтезирует творческое наследие предшествующих историков. Тацит «наделяет» Гиббона высокой гражданственностью и риторикой, Монтескье – интерпретативной «моделью» современности через призму истории и самой философской идеей сочинения, Джанноне – исследовательским дискурсом конфликта государства и церкви, Тиллемон – богатым фактическим материалом, Юм – критицизмом и чувством ответственности за будущее своего Отечества.

Примечания

¹ Высокова В. В. Эдвард Гиббон. «История упадка и гибели римской империи» и британские историки XX в. // *Imagines Mundi* : альм. исслед. всеобщ. истории XVI–XX вв. Екатеринбург, 2010. С. 216–224.

² Toynbee A. A. *Critique of Gibbon's General Observations on the Fall of the Roman Empire in the West* // *A Study of History*. 2-nd ed. Vol. IX. L., 1955, P. 741–757; Low D. M. *Edward Gibbon, 1737–1794*. L., 1937; Young G. M. *Gibbon*. Camb., 1948; Norton J. E. *A Bibliography of the Works of Edward Gibbon*. N. Y., 1940, repr. 1970; Norton J. E. *The Letters of Edward Gibbon*. 3 vols. L., 1956. и др.

³ Craddock P. B. *Edward Gibbon, Luminous Historian 1772–1794*. Baltimore, 1989; Craddock P. : 1) *Historical Discovery and Literary Invention in Gibbon's 'Decline and Fall'* // *Modern Philology*. 1988. № 85 (4). May. P. 569–587; 2) *Young Edward Gibbon : Gentleman of Letters*. Baltimore, 1982; 3) *Edward Gibbon : a Reference Guide*. Boston, 1987.

⁴ Womersley D. : 1) *A Companion to English Literature from Milton to Blake*. Oxf., 2000; 2) *Gibbon and 'the Watchmen of the Holy City' : The Historian and his Reputation, 1776–1815*. Oxf., 2002

⁵ Pocock J. G. A. *Barbarism and Religion*. Vol. 1. *The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737–1764*. L., 1999; Vol. 2. *Narratives of Civil Government*. L., 1999; Vol. 3. *The First Decline and Fall*. L., 2003; Vol. 4. *Barbarians, Savages and Empires*. L., 2005.

⁶ Momigliano A. : 1) *Gibbon's Contributions to Historical Method* // *Historia*. 1954. № 2. P. 450–463. Repr.: Momigliano A. *Studies in Historiography*. N. Y., 1966. P. 40–55; 2) *After Gibbon's Decline and Fall // The Age of Spirituality : a Symposium*. N. Y. ; Princeton, 1980. P. 14; 3) *The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century*. N. Y., 1963; 4) *Studies in Historiography*. N. Y., 1966; 5) *Essays in Ancient and Modern Historiography*. N. Y., 1977; 6) *The Classical Foundations of Modern Historiography*. N. Y., 1991; 7) *Eighteenth-Century Prelude to Mr. Gibbon // Gibbon et Rome à la lumière de l'historiographie moderne* / ed. P. Ducrey. Geneva, 1977; 8) *Gibbon from an Italian Point of View // Edward Gibbon and the Decline and Fall of the Roman Empire* / ed. G. W. Bowersock. Camb., 1977; 9) *Declines and Falls // American Scholar*. 49. Winter, 1979. 37–51; 10) *After Gibbon's Decline and Fall // Age of Spirituality : a symposium* / ed. Kurt Weitzmann. Princeton, 1980.

⁷ Porter R. *Edward Gibbon : Making History*. L., 1988; Dickinson H. T. *The Politics of Edward Gibbon // Literature and History*. 1978. № 8 (4). P. 175–196; Beer G. de. *Gibbon and His World*. L., 1968; Bowersock G. W. *Gibbon's Historical Imagination*. Stanford, 1988;

Brownley M. W. : 1) Appearance and Reality in Gibbon's History // Journ. of the History of Ideas. 1977. Vol. 38, 4. P. 651–666; 2) Gibbon's Artistic and Historical Scope in the Decline and Fall // Journ. of the History of Ideas. 1981. № 42 (4). P. 629–642; Ghosh P. R. Gibbon's Dark Ages : Some Remarks on the Genesis of the Decline and Fall // Journ. of Roman Studies. 1983. Vol. 73. P. 1–23.

⁸ Mémoires Littéraires de la Grande-Bretagne : in 2 vol. Vol. 1. L., 1767; Vol. 2. L., 1768.

⁹ Critical Observations on the Sixth Book of [Vergil's] 'The Aeneid'. L., 1770.

¹⁰ Gibbon Ed. The Autobiography / ed. by D. A. Saunders. N. Y., 1961. P. 175.

¹¹ The Times. 1791. April 12. P. 2; Gibbon E. Decline and Fall of the Roman Empire. L., 1903. Vol. I. P. 9–12, 63–65; Vol. II. P. 199–206.

¹² Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 2 vol. L., 1910. Vol. II. P. 192, 426–430.

¹³ Foner E. Tom Paine and Revolution. Oxf., 1976. P. 74–78, 87; Potter J. The Liberty We Seek. Loyalist Ideology in Colonial New York and Massachusetts. Cambr., 1983. P. 167–169, 179–180; McConville B. The King's Three Faces : The Rise and Fall of Royal America, 1688–1776. Chapel Hill NC., 2006. P. 212–219, 253–255, 286–299.

¹⁴ Gibbon Ed. The Autobiography. P. 166.

¹⁵ De Tillemont S. L. Histoire des empereurs et des autres princes, qui ont régné durant les six premiers siècles de l'église. 6 vol. Paris, 1696–1738.

¹⁶ De Tillemont S. L. Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles. 16 vol. Paris, 1693.

¹⁷ Gibbon Ed. The Autobiography. P. 175.

¹⁸ Giannone P. Storia civile del regno di Napoli. Neapel, 1723.

¹⁹ Giannone P. Il Triregno, ossia dei regno terreno, celesto e papale. Geneva, 1736.

²⁰ Giannone P. Opere postume in difesa della sua storia civile del regno di Napoli. Neapel, 1755.

²¹ Montesquieu C. L. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence. Paris, 1734.

²² Hume D. The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688 : in 6 vol. L., 1778.

²³ Gibbon Ed. Memoirs of My Life and Writings // Miscellaneous Works of Edward Gibbon, Esq., with Memoirs of his Life and Writings, Composed by himself, Illustrated from his Letters, with occasional Notes and Narrative by the Right Honorable John, Lord Sheffield : in 5 vol. 2-nd ed. L., 1814. Vol. I. P. 225.

²⁴ Gay P. Style in History Text. N. Y., 1974. P. 22–23, 34–35.

*А. А. Кара-Мурза
(Институт философии РАН, г. Москва)*

**ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРАНОВСКИЙ –
РОДОНАЧАЛЬНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИСТОРИКОВ**

Генезис исторической науки в России отмечен многими славными именами. Однако у истоков российской исторической науки как профессионального корпоративного ремесла стоит одно конкретное имя – Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855).

Выдающийся русский историк-просветитель Т. Н. Грановский родился в Орле в дворянской семье 9 марта 1813 г. – в 2013 г. будет отмечаться его 200-летний юбилей¹.

Дед Грановского, появившийся в Орле, как рассказывали, «неведомо откуда с 15 копейками в кармане», накопил здесь немалое состояние на посредничестве в деловых операциях. Однако его сын, чиновник соляного управления, питал неодолимую страсть к азартной игре и быстро спустил отцовские деньги. Эта семейная драма потом долго отравляла жизнь самого Тимофея Николаевича, боявшегося, что пагубная страсть отца к картам могла передаться ему «по наследству».

До тринадцати лет юный Грановский воспитывался дома, обучаясь в основном языкам и достаточно бессистемно поглощая книги из семейной и соседских библиотек. В 1826 г. отец определил его в московский частный пансион Кистера на Большой Дмитровке – один из лучших в тогдашней первопрестольной.

Иоганн Фридрих (Федор Иванович) Кистер, выходец из Брауншвейга, сделал хорошую карьеру на своей новой родине. Имея юридическое образование Гельмштедского университета, он выдержал испытание в Московском университете и получил степень доктора права. Преподавал немецкую словесность в университете, а в 1819 г. основал «для благородных детей мужеского пола» частный пансион, за образцовое управление которым неоднократно поощрялся Министерством просвещения и был награжден орденом св. Анны 3-й степени. Именно пансиону Кистера Тимофей Грановский обязан глубоким знанием немецкой культуры и немецкого языка (французским и английским он овладел

еще в детстве), что позволило ему впоследствии плодотворно совершенствовать свое образование в Германии у лучших немецких профессоров.

В Москве юный Грановский познакомился с молодыми преподавателями университета, увлекся поэтическими переводами, начал сам писать стихи и даже напечатал в «Дамском журнале» некую «элегию» собственного сочинения. Однако учебный курс у Кистера Грановским завершен не был: после летних вакаций 1828 г. отец по каким-то причинам оставил его при себе в Орле, где Грановский провел еще три года, о «бессмысленности» которых впоследствии очень сожалел.

В 1831 г. он приехал в Петербург, где недолго работал мелким чиновником в Министерстве иностранных дел, параллельно серьезно готовясь к поступлению в столичный университет. Подав через год в отставку, Грановский поступил, за недостаточностью знаний древних языков, не на словесный, а на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где все равно наибольшее внимание уделял литературе, истории, философии. Ему пришлось тогда начать зарабатывать на жизнь самому (отец часто забывал прислать денег), и вместе со старшим другом Евгением Коршем, будущим известным журналистом, стал активно сотрудничать в популярной тогда «Библиотеке для чтения» О. Сенковского, где помещал переводы, рецензии, небольшие статьи. Литературные дарования Грановского обратили на себя внимание, в частности, известного литератора и преподавателя университета П. А. Плетнева. Обладая обширными знакомствами, тот ввел Грановского в литературные круги обеих российских столиц, познакомил с В. А. Жуковским, В. Ф. Одоевским, А. С. Пушкиным.

После окончания университета Грановский несколько месяцев служил библиотекарем при Главном морском штабе. Бывая в Москве, он в 1836 г. познакомился с Николаем Станкевичем и примкнул к его кружку «молодых гегельянцев». Один из членов кружка, Владимир Ржевский (из помещиков Мценского уезда, сосед И. С. Тургенева), сыграл важную роль в дальнейшей биографии Грановского. Пользуясь близким знакомством с попечителем Московского учебного округа, графом С. Г. Строгановым, Ржевский включил Грановского в группу молодых людей, командируемых для продолжения образования и подготовке к профессорскому званию в Германию.

Именно университетская атмосфера в Германии стала для молодого Грановского образцом ученой корпорации. Обучаясь в 1836–1839 гг. в Берлинском университете истории, философии и языкам, Грановский получил уникальную возможность общения с корифеями европейской науки. Особое влияние на него оказали историки и политологи Леопольд Ранке и Фридрих Раумер, один из основоположников новейшей географии Карл Риттер, юрист Фридрих Савиньи, философы-гегельянцы Эдуард Ганс и Карл Вердер. В Берлине Грановский еще более сдружился с лидером русских «гегельянцев», удивительным человеком и ярким мыслителем Н. В. Станкевичем.

А. И. Герцен, хорошо знавший и Грановского, и Станкевича, очень глубоко и точно, как представляется, описал характер их общения в университетском

Берлине: «Жизнь Грановского в Берлине с Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из ярко-светлых полос существования, где избыток молодости, сил, первых страстных порывов, беззлобной иронии и шалости шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какою дружба только бывает в юности <...> Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в летах... и оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти...». «Но для кровной связи, для неразрывного родства людей, – продолжает Герцен, – сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга, для деятельной любви – различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство вяло, страдательно и обращается в привычку. В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история – не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением; Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду».

Ранней осенью 1839 г. молодой историк-гегельянец Т. Н. Грановский приехал в Москву и 17 сентября прочел свою первую лекцию по всеобщей истории университетским филологам и юристам, очень быстро завоевав симпатии студенчества. В то время в Москве Грановский впервые познакомился с Герценом, который впоследствии вспоминал: «Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы – все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и не увлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой».

Несмотря на тихий голос и скверную дикцию, Грановский, получивший дружеское прозвище «шепелявый профессор», вскоре стал самым популярным лектором университета. Слушатели, приходившие с разных факультетов и до отказа заполнявшие лекционную залу, вполне понимали главное: прогрессист-

ские настроения молодого профессора-европеиста шли вразрез с господствовавшей в николаевскую эпоху и административно насаждаемой «теорией официальной народности», объясняющей неизбежность русских порядков раз и навсегда заданным «цивилизационным кодом». «Несмотря на обилие материалов, – вспоминал один из учеников Грановского, глубоко проникнувшийся его гегельянской историософией, – на многообразии явлений исторической жизни, несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, по-видимому, могли бы отвлечь слушателя от общего, – слушателю всюду чувствовалось присутствие какой-то идущей, вечно неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел, и отходил, а выработанное им с поразительной яркостью выступало и воспринималось другим. История у Грановского действительно была изображением великого шествия народов к вечным целям, постановленным человеку Провидением».

Позднее это удивительное свойство Грановского – «мыслить и учить историей» – особенно ценил другой выдающийся русский историк, В. О. Ключевский, который полагал, что именно от Грановского «пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек». По его мнению, «Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая светила им путеводной звездой среди самых беспросветных ночей нашей жизни <...> История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни...».

Довольно быстро универсалист и либерал Грановский убедился в существовании в Московском университете сильной «самобытнической партии» во главе с С. П. Шевыревым. Шевырев до этого несколько лет прожил в Италии, обладал большой эрудицией в области истории русской словесности и поначалу пользовался авторитетом у студентов. Однако очень скоро его личностные качества стали вызывать нарастающее неприятие. Даже его коллега и тоже «самобытник» М. П. Погодин вынужден был признать: «С возбужденными всегда нервами вследствие усиленной работы и разнообразных занятий, он делался иногда, может быть, неприятным или даже тяжелым, вследствие своей взыскательности, требовательности, запальчивости и невоздержанности на язык». Студентам явно претили очевидные факты заискивания Шевырева перед «сильными мира сего», его грубость с подчиненными, и даже его женитьба (как все считали, «по расчету») на воспитаннице князя Б. В. Голицына (брата московского губернатора) – С. Б. Зеленской.

Похоже, разделение тогдашней университетской профессуры на две «партии» – самобытников и европеистов, консерваторов и либералов, имело в своей основе не только различия мировоззренческие, но и, так сказать, «стилистические», что для чуткого к таким вещам студенчества имело немалое значение. В этом смысле «искательствующему почестей», «трескучему» на кафедре и бесцеремонному в быту Шевыреву (через несколько лет из-за публичной драки с графом Бобринским ему пришлось оставить университет) зримо противостоял

независимый, скромный, обаятельный и демократичный Грановский, который никогда не ограничивал своего общения со студентами формальными отношениями. «Мне, – написал он как-то Станкевичу, – по приезде сюда советовали держать себя подальше от студентов, потому что они “легко забываются”. Я не послушал и хорошо сделал. В исполнение моих обязанностей я не сделаю никакой уступки, но вне обязанностей мне нельзя запретить быть приятелем со студентами». Студенческий выбор между «партией Шевырева» (М. П. Погодин, И. И. Давыдов, О. М. Бодянский) и «партией Грановского» (куда входили «западники» Н. И. Крылов, П. Г. Редкин, К. Д. Кавелин, Д. Л. Крюков, П. Н. Кудрявцев) был преопределен.

«Стилистику» поведения Грановского в Московском университете, тайну его обаяния и авторитета блестяще раскрыл Герцен в посвященной уже умершему к тому времени другу главе в «Былом и думах»: «Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации – не тех бурных, грозных, которые в “гневе своем чувствуют вполне свою жизнь”, как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмутимо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей. Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов, и, действительно, Грановский, по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр».

Однако при всей внешней приветливости и невозмутимости, Грановский был настоящим и бескомпромиссным вождем «либералов» в Московском университете. Среди непрекращающихся «позиционных боев» между двумя «профессорскими партиями» особенно запомнился московским студентам такой случай. В начале 1842 г. «западник» В. Г. Белинский опубликовал в Санкт-петербургских «Отечественных записках» едкий памфлет против С. П. Шевырева под названием «Педант». Оскорбленный Шевырев пытался апеллировать к «солидарности москвичей» и публично спросил своего коллегу (и подчиненного) по университету Грановского, может ли тот теперь подать руку Белинскому. «Как! Подать руку? – вспыхнул Грановский. – На площади обниму!». В. П. Боткин написал тогда Белинскому: «Удар произвел действие, превзошедшее ожидания: у Шевырева вытянулось лицо, и он не показывался эту неделю в обществах».

В 1841 г. Грановский женился на восемнадцатилетней Елизавете Богдановне, урожденной Мюльгаузен – дочери врача Фридриха-Вильгельма Мюльгаузена. В доме тестя бережно хранились документы, связанные с общением хозяина с Константином Батюшковым и Александром Пушкиным, которых доктор Мюльгаузен когда-то лечил в Крыму от лихорадки.

Большой теплотой наполнены строки А. И. Герцена в «Былом и думах», посвященные отношениям Тимофея Николаевича и Елизаветы Богдановны

Грановских: «Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку спокойно и твердо идти перед инквизитором».

Осенью 1843 г. Грановский с друзьями задумал свой первый курс публичных лекций – небывалого дотоле общественного явления. Помимо традиционного приглашения друзей и знакомых, были распространены платные абонементы по 50 р. за штуку. Герцен писал тогда Н. Х. Кетчеру: «Beau monde собирается к нему, и Петр Яковлевич [Чаадаев. – А. К.] говорит, что это событие». К началу ноября было уже собрано 2500 р. – солидная сумма.

Уникальное для «николаевской эпохи» публичное интеллектуальное действо в самом центре Москвы (лекции должны были проходить в актовом зале Московского императорского университета) быстро поляризовало московское общество. Грановский, по-видимому, впервые в жизни явственно осознал, что у него есть не только друзья и почитатели, но и откровенные враги. 15 ноября 1843 г. он писал Кетчеру: «У меня много врагов. Не знаю, откуда они взялись; лично я едва ли кого оскорбил, следовательно, источник вражды в противоположности мнений. Постараюсь оправдать и заслужить вражду моих врагов».

23 ноября 1843 г. Грановский прочел в Университете свою первую публичную лекцию по истории средних веков. Весь курс был построен на универсальной историософии Гегеля, что Грановский (без упоминания имени) обозначил в самом начале чтений. Уже первую лекцию Грановского Герцен характеризовал в своем дневнике, как «камень в голову узких националистов...».

Сам Грановский был крайне вдохновлен своим дебютом на публичных слушаниях, по сути, на новом для себя поприще – общественном. В середине декабря 1843 г. он писал Кетчеру: «Недоставало мне эти дни. В жизни моей я не испытал таких тревог и волнений. Лекции мои произвели более впечатления, нежели я ожидал. В аудитории нет места, дамы приезжают за полчаса до начала, чтобы сесть поближе <...> Хвалят и бранят не в меру <...> Я начал ругаться с первой лекции, после которой Шевырев поседел и состарился <...> Шевырев обнаружился вполне: он очень хлопотал до начала лекций, упрекал за то, что я не предупредил его и через это лишил его возможности доставить большее число слушателей. Одним словом, являлся покровителем молодого таланта, а когда лекции начались и пошли хорошо, он приуныл и отпустил уже несколько ядовитых фраз насчет моего направления и пристрастия к известным идеям».

Однако и в те дни Грановский не лишился характерной для него самоиронии: «На первой лекции я, было, очень сконфузился и несколько раз высморкался без всякой внутренней потребности...». Он с юмором выслушивал оценки друзей, например, едкого А. Д. Галахова, который уверял, что Грановский

«благодарил публику с таким видом, как будто чихнул, а публика сказала ему: желаю здравствовать...». Другие советовали оратору вести себя «театральнее», «чтобы, всходя на кафедру, я делал приятный жест рукой». Грановский отверг дружеские советы: «Я ограничиваюсь одним поклоном и не намерен делать более».

Успех первых публичных лекций Грановского удивил даже друзей. Герцен писал: «Я всегда был убежден, что он прекрасно будет читать; но признаюсь, он превзошел мои ожидания, при всей бедности его органа, при том, что он в разговоре говорит, останавливаясь, – на кафедре увлекательный талант, что за благородство языка, что за живое изучение своего предмета <...> Какая округлость в каждой лекции, какой широкий взгляд и какая гуманность – это художественный, полный энергии и любви рассказ. Одна беда: орган плох, на задних лавках худо слышно».

Еще более поразила Герцена реакция московской публики: «И Москва отличилась, просто давка, за 1/4 часа места нельзя достать, множество дам <...>, и все как-то так кругло идет. Сверх билетов, розданных даром, без малого сто взяты (ergo около 5000 р.)» (Из письма Кетчеру 2–3 декабря 1843 г.); «Публика, может, сначала стала собираться шутя, курьезу ради, – но вскоре она была увлечена ей вовсе неведомым наслаждением энергической всенародной речью; смелая чистота и романтическая нежность, открыто благородный образ мыслей, вера в прогресс и любовь к каждой увядающей форме – возбуждали un fremissement de sympathie [прилив симпатии. – *фр.*]» (Из письма Кетчеру 27 апреля 1844 г.).

Между тем, лидер университетских «славян», С. П. Шевырев, поначалу вроде поддержал лекции Грановского. «Мы искренно рады тому прекрасному зрелищу, – так начал он свою статью в «Москвитянине», – которое Московский университет представляет у нас по вторникам и субботам». Далее, однако, Шевырев обвинил Грановского во многих грехах: что в основу курса положена далекая от понимания «русскости» философия истории Гегеля, что Грановский «отклонил от себя изображение борьбы христианства с язычеством и историю образования церкви» и т. п. Герцен охарактеризовал тогда Шевырева и редакцию «Москвитянина» как «добровольных помощников жандармов»: «Они негодуют на Грановского за то, что он не читает о России (читал о средних веках в Европе), не толкует о православии, негодуют, что он стоит со стороны западной науки (когда восточной вовсе нет) и что будто бы мало говорит о христианстве вообще».

На все обвинения Грановский был вынужден отвечать в очередных лекциях: чтения окончательно сделались полемическими, а стало быть, – политическими. Герцен точно заметил: «В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее». Через какое-то время, когда противники начали открытую кампанию за запрещение лекций Грановского и ранее благоволивший Грановскому граф С. Г. Строганов был вынужден вынести ему серьезное предупре-

ждение, Герцен посчитал, что в любом случае свою миссию лекции Грановского уже выполнили: «Может, власть наложит свою лапу, закроют курс, но дело сделано, указан новый образ действия университета на публику».

Между тем, после небольшого перерыва, связанного с Новым годом и Рождеством (у Герцена в те дни родился сын Николай, и Грановский стал его крестным отцом), лекции продолжились с еще большим успехом. Герцен отмечал: «Лекции Грановского продолжают с чудовищным успехом, и он растет, читая. Что за живой, широкий взгляд, что за язык – просто удивленье <...> Шевырев и С-пие, удивленные успехом, как-то смолкли, закусив губы...» (из письма Кетчеру 1 марта 1844 г.); «А Грановский – черт его знает, что его прорвало, – со всякой лекцией лучше и лучше. Он как-то вдохновляется на кафедре. Речь идет плавно, грустный элемент, присущий ему всегда и во всем, не мешает торжественному *maestoso* – просто каждая лекция художественное произведение. Аудитория так бывает полна, что нет места всем сидеть» (из письма Кетчеру 15–16 марта 1844 г.).

Заключительный день чтений, 22 апреля 1844 г., стал триумфом Грановского. Герцен вспоминал: «Такого торжественного дня на моей памяти нет <...> Аудитория была битком набита, Грановский заключил превосходно; он постиг искусство как-то нежно, тихо коснуться таких заповедных сторон сердца, что оно само, радуясь, трепещет и обливается кровью <...> Окончив, он встал. “Благодарю, – говорил он, – тех, которые сочувствовали с моими убеждениями и оценили добросовестность, благодарю и тех, которые, не разделяя их, с открытым челом, благородно высказывали мне несколько раз свое несогласие”; при этих словах он как-то весь трепетал, и слезы были на глазах, когда он еще раз сказал: “Еще раз благодарю вас”. Что было потом, нельзя себе представить, крики “браво, прекрасно”, треск, шум, слезы на всех глазах, дамы жали его руки etc, etc.» (из письма Кетчеру 27 апреля 1844 г.).

В тот день в доме С. Т. Аксакова был приготовлен торжественный обед с преподнесением памятных подарков. «Всё напилось, – вспоминал Герцен, – даже Петр Яковлевич [Чаадаев. – А. К.] уверяет, что на другой день болела голова, я слезно целовался с Шевыревым <...> За пиром продолжалась та же энергия и воодушевление. Распоряжались обедом Самарин, я и Сергей Тимофеевич Аксаков. Вина выпито количество гигантское и NB не было сотерну, лафиту меньше 9 р. бутылка...». Поэт Николай Языков, открыто сочувствовавший славянофильской партии, был также вынужден признать: «Обед Грановского был очень пышен и очень весел, т. е. пьян. Противные партии на нем не только что съехались, но и сошлись, обнимались и целовались». Правда, поэт-славянофил сделал в конце характерное прибавление: «Но мне как-то не верится, чтобы Запад мог искренне помириться или помириться с Востоком!». И Языков не ошибся – более того, сделал всё для скорейшего прекращения временного перемирия славянофилов и западников. Дело едва мне закончилось дуэлями между представителями враждебных «партий».

В последующие годы Т. Н. Грановский с успехом продолжил опыт публичных чтений: в 1845–1846 гг. он прочел курс сравнительной истории Англии

и Франции, а в 1851 г. свои ставшие знаменитыми «четыре характеристики» (Тамерлан, Александр Великий, Людовик IX, Бэкон).

Наиболее серьезными научными трудами Грановского в 1840-х гг. были две его диссертационные работы. В магистерской диссертации «Волин, Иомбург и Винета» автор (в немалой степени – в пику «самобытникам») на основании различных источников убедительно доказал, что легендарная «Винета» – «величественная столица» прибалтийских «славян-венедов» есть не что иное, как красивый миф, в котором перемешались представления о славянском торговом городе Волине и норманнской крепости Иомбург. «Националисты» были вне себя от ярости – и это понятно: ведь М. П. Погодин, например, в своих работах много сил положил на доказательство того, что могущество «славян-венедов» простиралось вплоть до Средиземноморья: их руками, например, согласно Погодину, была построена Венеция!

История с защитой магистерской диссертации Грановского ввергла две враждующие «профессорские партии» в состояние открытой войны. «Самобытники» попытались снять диссертацию Грановского с защиты, повторив тактику, успешно примененную ими в отношении работы по истории римского папства ученика Грановского, П. Н. Кудрявцева, с формулировкой: «за несогласие с учением Православной церкви». В середине ноября 1844 г. Герцен писал Н. Х. Кетчеру: «Славянофильство доходит до какого-то комического безумия <...> Потеря этой фортеции [речь идет о развенчании Грановским мифа о славянской «Винете». – А. К.] свела с ума Шевырева, Бодянского и компанию, плач и стенание. Сарагосса взята, они начали делать Грановскому всевозможные неприятности, чтоб возратить от факультета диссертацию etc.».

Однако сам Грановский был уже готов к такому повороту событий. В годовом письме от 1 января 1845 г. он писал Н. Х. Кетчеру: «Диссертацию я не защищал до сих пор, потому что друзья мои, Давыдов и Шевырев, при пособии Бодянского [все – члены партии «самобытников». – А. К.] хотели возратить ее мне назад с позором. Я просто не взял и потребовал от них письменного изложения причины. Разумеется, они уступили...».

Магистерский диспут Грановского состоялся 21 февраля 1845 г. и закончился полным успехом диссертанта: аудитория поддержала его дружными аплодисментами и криками «браво!»; неприятели-самобытники были «зашиканы» и посрамлены. Шевырев жаловался тогда на «студентов-хулиганов» московскому попечителю, графу Строганову. Герцен, в свою очередь, написал в те дни письмо к славянофилу Ю. Ф. Самарину, к которому относился с уважением и порывать связь с которым не собирался: «Теперь позвольте (основываясь на том праве искренней речи, о котором вы пишете) вам сказать несколько слов о славянской партии. С каждым днем грузнет она в жалкую, ненавидящую и готовую преследовать односторонность. Наконец, ее действия увидела публика, и общественный голос осудил ее. Я говорю о диссертации Грановского. Ряд гнусных проделок предшествовал диспуту, наконец, на диспуте явился Бодянский – дерзко, неделикатно, с оскорблениями и колкостями, его прово-

дили шиканьем, а равно и Шевырева <...> Грановского проводили страшным “браво” <...> Раздраженное самолюбие, сознание своего бессилия, шиканье – все это вместе окончательно сорвало личину с хваленой славянской любви <...> Если б вы видели благородную кротость, самоотверженность (да, в этом высокое самоотвержение – публично уметь с кротостью принять наглую дерзость, кабацкий тон) Грановского, вы согласились бы, что любовь совместима и не с вашим воззрением. Может, они интригами и вздуют из этого дело, может, Грановский должен будет оставить университет. Я не завидую им в этой победе!...»

19 декабря 1849 г. Грановский защитил докторскую диссертацию «Аббат Сугерий. Об общинах во Франции», где, в ходе аналитического жизнеописания настоятеля аббатства Сен-Дени под Парижем, показал историю взаимодействия государства и церкви в деле становления современной европейской цивилизации. В том же, 1849 г., Грановский был вынужден пройти «испытание в Законе», на котором он «принес свои объяснения» московскому митрополиту Филарету в том, насколько его преподавательская деятельность соответствует догматам православной церкви.

Однако намного больше печалил Грановского факт все большего расхождения его, умеренного либерала, идеалиста и просветителя, с бывшими друзьями – Герценом, Огаревым и др., все более уходящими в сторону политического радикализма. Между тем, переписка со ставшим в 1847 г. эмигрантом Герценом, хотя изредка, но продолжалась: в самые горькие минуты Грановский всегда мог рассчитывать на моральную поддержку старинного друга. «Положение наше, – писал Грановский Герцену в 1850 г., – становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничили следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В Московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право принять сотню новых <...> Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением <...> Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, – когда же развалится этот мир?.. Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать – пусть выгонят сами». В одном из своих последних писем Герцену Грановский писал: «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, – а выхода нет живому»

Несмотря на глубокие идейные несогласия, эмигрант Герцен очень высоко оценивал подвижническую деятельность в России профессора Грановского: «А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в

положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселил, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание <...> Грановский сумел в мрачную годину гонений, от 1848 года до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей».

Внезапная кончина императора Николая Павловича в феврале 1855 г. и воцарение его сына Александра II, казалось, не только привели к серьезным изменениям в жизни страны, но и благотворно сказались на положении самого Грановского. В мае 1855 г. прибывшая в Москву профессура выбрала его (вместо Шевырева) деканом историко-филологического факультета Московского университета. Грановский получил звание «коллежского советника» (гражданский чин VI класса в «Табели о рангах», соответствующий воинскому званию полковника) и был награжден орденом Анны 2-й степени. Однако сердце Грановского, никогда не отличавшегося завидным здоровьем, было уже необратимо изношено.

Тимофей Николаевич Грановский скончался от внезапного инфаркта 4 октября 1855 г. в своем доме в Малом Харитоньевском переулке в возрасте 42 лет. 6 октября вечером друзья и студенты собрались на его квартире, а затем перевезли гроб с телом в Университетскую церковь Святой великомученицы Татьяны на Большой Никитской, где и провели остаток ночи перед похоронами. (Тогда и зародилась между товарищами и учениками Грановского, раскиданных жизнью по всей России, традиция собираться каждый год 6 октября на его могиле).

7 октября утром, после отпевания, большая толпа людей двинулась вслед за гробом через Моховую, Лубянку, Сретенку, Мещанскую на Пятницкое (Крестовское) кладбище Москвы; здесь университет приобрел участок земли в 3-м, самом скромном разряде, где хоронили московскую бедноту. Друзья, ученики, студенты несли гроб на руках до самой могилы. Товарищ Грановского, историк и этнограф И. Г. Прыжов вспоминал: «Во всю дорогу два студента несли перед гробом неистощимую корзину цветов и усыпали ими путь, а впереди шел архимандрит Леонид, окруженный толпою друзей покойного. Пришли к могиле <...> Опустили в могилу Грановского и плотно укрыли ее лавровыми венками». Позднее, на деньги, собранные студентами, над могилой был установлен обелиск из темно-красного гранита. На нем надпись: «Тимофею Николаевичу Грановскому (1813–1855). Студенты Московского университета».

Елизавета Богдановна пережила мужа лишь на два года; в 1857 г. она скончалась в возрасте 33-х лет и была похоронена рядом с Грановским.

Споры об уникальной роли, сыгранной Тимофеем Николаевичем Грановским в истории русской культуры и общественной жизни, с его кончиной лишь усилились. Характерно, например, что профессор-историк остался одной из главных мишеней со стороны «самобытнической партии». В черновых записях к роману «Бесы» Федор Достоевский прямо отождествляет Степана Трофимовича Верховенского – с Грановским, а его сына Петра Верховенского – с

Нечаевым. Просветитель-европеист Грановский – идейный предшественник террориста-убийцы Нечаева – возможно ли такое?

«Почвенник» Достоевский был в этом абсолютно уверен и настаивал на своей правоте. Когда в 1873 г. «Бесы» вышли отдельным изданием, писатель послал экземпляр книги наследнику-цесаревичу Александру Александровичу (будущему Александру III) с сопроводительным письмом, в котором, в частности, говорилось: «Главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем». Напомним, что в числе «духовных отцов» Нечаева Достоевский неоднократно называл также Ивана Сергеевича Тургенева – в «Бесах» он выведен в образе Кармазинова. Но в том конкретном случае с посланием наследнику русского престола писатель удержался от прямого доноса на живого человека: все-таки упомянутые в письме Белинский и Грановский к тому времени давно уже умерли.

Обвинения «западника» Грановского в «непатриотизме», а иногда и в прямом «национальном нигилизме» со времен Достоевского не утихли. Эти инвективы не только несправедливы, но и исторически ущербны. Очень точно высказался по этому поводу другой великий русский историк, Василий Осипович Ключевский, которого и самого, несмотря на сугубые занятия русской историей, тоже упрекали и в «западничестве», и в «либерализме». В 1905 г., когда в России отмечалось 50-летие кончины Грановского, Ключевский заметил: «Лекции Грановского о Греции и Риме, о феодальном средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому Отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах, сквозь вековые препятствия, все тягости преобразовательной эпохи <...> В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни».

Примечания

¹ Международный Оргкомитет уже приступил к работе по подготовке юбилея ученого.

А. В. Антощенко
(Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск)

**П. Г. ВИНОГРАДОВ: ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
С АНГЛИЙСКИМ НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ**

Становление П. Г. Виноградова как историка происходило во время обучения в Московском университете и заграничных командировок. Сразу же по окончании *alma mater* начинающий историк отправился в Германию, где в течение 1875–1876 академического года стажировался в Берлинском и Боннском университетах, готовясь к университетскому преподаванию и сдаче магистерских экзаменов. В 1878 г. на полгода он был направлен на средства Министерства народного просвещения в Италию для подготовки магистерской диссертации, материалы для которой русский исследователь собирал в государственных и монастырских архивах и библиотеках Рима, Ватикана, Флоренции, Сиены, Ареццо, Монте Кассино, Беневента. Первая поездка в Англию в 1883–1884 гг. была самой длительной – 15 месяцев, так как целью ее была подготовка докторской диссертации. Если в Германии П. Г. Виноградов занимался в университетах, а в Италии – в архивах и библиотеках, то в Англии он имел возможность познакомиться со всем разнообразием научной, а порой даже личной жизни английских историков. Во время пребывания на «туманном Альбионе» он проживал главным образом в Лондоне, где работал в Британском музее и Государственном архиве. После первого кратковременного посещения Оксфорда с 14 по 16 августа 1883 г. русский историк еще дважды приезжал сюда на два-три месяца поздней осенью этого же года и весной-летом следующего, занимаясь в библиотеках Бодлея и Радклифа. В начале октября 1883 г. и в конце марта 1884 г. он по несколько дней провел в Кембридже, а в середине марта 1884 г. съездил на пару дней для занятий в частной библиотеке Томаса Филлипса в Челтенхеме. Завершил П. Г. Виноградов свое пребывание в Англии отдыхом в июле-августе 1884 г. на побережье графства Норфолк в Кромере.

В данной статье будут рассмотрены те особенности и специфические черты английского научного сообщества, которые были отмечены русским историком во время его первого пребывания в Англии. Понятно, что при этом будет учтен

опыт его предыдущих заграничных поездок. Источниками для реконструкции его отношения к английским ученым (в первую очередь к историкам) стали его многочисленные письма к родным и некоторым коллегам (прежде всего к учителю, В. И. Герье, и к редактору ЖМНП Л. Н. Майкову).

Первое время в Лондоне П. Г. Виноградов проводил без знакомств и общения. Это не только было результатом занятости архивными изысканиями или задержки прибытия багажа с его вещами и посланных родными денег, но и отражало специфику установления научных связей в то время и некоторые особенности англичан. В первом случае речь идет о рекомендательных письмах, позволявших наладить первые контакты в иностранной научной среде с тем, чтобы уже от вновь приобретенных знакомых получить новые рекомендательные письма для расширения связей, во втором – о замкнутости англичан, определяемом характерным для них «островным» менталитетом. Если при поездке в Германию и Италию начинающий историк мог не только запастись рекомендательными письмами у своего учителя, который в свое время был в длительной командировке в этих странах, но и получить поручение выяснить у Г. Зибеля судьбу статьи своего друга В. О. Ключевского или совет, где поселиться, от лектора итальянского языка в Московском университете В. Г. Мальма, то с Англией все обстояло иначе. Среди тех, к кому П. Г. Виноградову удалось раздобыть рекомендательные письма не было ни одного историка или человека, который мог бы познакомить с ними. Свои первые визиты в Лондоне он нанес семейству Сёлливан, секретарю посольства Российской империи А. Н. Крупенскому и предпринимателю Фр. Мерилизу, с «московским» братом которого он был знаком. Однако они мало заинтересовали его с точки зрения установления профессиональных контактов, и характеристика их в письмах родным была весьма иронична¹. Заводить же знакомства среди английских священников, с которыми П. Г. Виноградов жил в одном отеле, он не стремился, зная о замкнутости англичан и убеждаясь в этом путем наблюдения. «Что касается клерджименов, – писал он родным, – то я не понимаю, почему папа спрашивает, принадлежат ли они к иезуитскому обществу. Это все почтенные англиканские священники, для которых нет ничего на свете хуже иезуитского ордена. Я, впрочем, не имею ничего общего с ними. За завтраком все молчат, даже лично знакомые как-то неохотно говорят друг с другом»².

В таких условиях установление контактов с английскими коллегами могло стать результатом счастливой случайности, которые происходят редко. Однако П. Г. Виноградову везло, о чем он с радостью писал домой. «Недавно у меня прибавился один знакомый довольно странным образом. Недели три тому назад я стал довольно часто получать отказы в ответ на требование англо-саксонских книг. Так как “in use” оказывались довольно специальные сочинения, то это меня несколько удивляло. Дело объяснилось, когда раз один довольно молодой

джентльмен попросил у меня позволения взглянуть в кое-какие забранные мною книги. Очевидно, я ему столько же мешал, сколько он мне. Мало-помалу познакомились. Оказался очень милый малый – некто Паркер, адвокат, кончивший года три тому назад в Кембридже по классической филологии»³. Новый знакомый обещал помочь с устройством во время планируемой П. Г. Виноградовым поездки в Кембридж и впоследствии сдержал обещание.

В общем-то, счастливой случайностью было обусловлено и начало знакомства с английскими коллегами в Оксфорде. Приезд в Лондон французского историка О. Ж. Деларка, с которым П. Г. Виноградов познакомился еще в Италии во время изучения рукописей в монастыре Монте Кассино и вновь встретился в Париже по пути в Англию, стал толчком к расширению посещаемых мест русским историком в столице Англии. Однако важнее стала их поездка в Оксфорд, где у О. Ж. Деларка были дела.

Приехав в университетский город днем, приятели до глубокой ночи бродили по нему, знакомясь с архитектурой отдельных колледжей, подмечая исторически сложившиеся отличительные черты некоторых из них. «Особенно интересными показались мне, – сообщал П. Г. Виноградов родным, – старый Merton college, основанный в 70-х годах XIII века, с его низкою норманскою башнею, странною библиотекою, сохранившею средневековое монастырское убранство: дубовые лавки, узенькие, черные от ветхости, так и остались от XV века; Magdalen – с своим крытым ходом вокруг двора, обставленным аллегорическими статуями пороков и добродетелей; New college, с чудным садом, приютившимся среди остатков колоссальных городских стен; Keble college с архаической орнаментацией и мозаиковыми картинами в церкви, Christ Church, с аллеей каких-то необыкновенных громадных деревьев. Да всего не перечислить и не описать – надо видеть. <...> Повторяю, общее впечатление несравненное; и пока жив буду, никогда не забуду лунной ночи 14 августа 1883 года, когда мы блуждали среди этого живого средневекового города»⁴.

Однако важнее оказалось знакомство не с архитектурой, а с людьми. Уже в первый визит в Оксфорд О. Ж. Деларк свел П. Г. Виноградова с «очень симпатичным господином» Р. Л. Неттльшипом, который, в свою очередь, представил его Ф. Стебсу, «автору классической истории английских учреждений в средние века», оказавшемуся весьма полезным своими знаниями русскому коллеге⁵. Столь же короткий визит в Кембридж накануне второй, уже длительной, поездки в Оксфорд, принес встречу с университетским библиотекарем Г. Бредшоу и его помощником Я. Х. Гессельсом. Несомненно, эти знакомства, как и последующее – с библиотекарем Корпус Кристи колледжа в Кембридже С. С. Люисом, имели особое значение, так как в их лице русский ученый получал надежных консультантов, помогавших ориентироваться как в английской научной литературе, так и, что было особенно важно, в рукописных материалах библиотек⁶. К тому же они содействовали расширению круга знакомых. Если поездка в загородный дом «Mr. Сёрля», «слишком решительного консерватора Бикосфильдского типа», организованная Я. Х. Гессельсом, показала П. Г. Виноградову

малоинтересной в силу различия их политических пристрастий⁷, то встреча с Ф. Сибомом, «автором оригинальной, парадоксальной и очень талантливой книги об английской общине», приглашенным Г. Бредшоу в Кембридж специального для знакомства, положила начало их многолетней дружбе, несмотря на критическое отношение к основной идее этой книги со стороны русского исследователя⁸. П. Г. Виноградов с удовольствием принял приглашение посетить дом англичанина в Гитчине и не жалел об этом, так как познакомился там еще с одним интересным человеком – Ф. Поллоком, «профессором юриспруденции в Оксфорде, преемником Мэна»⁹. Конечно, тогда он не мог еще предполагать, что через двадцать лет сам станет преемником этого английского юриста на кафедре сравнительного правоведения в Оксфорде. Позже, после второго посещения дома Ф. Сибома, последний специального съездил в Лондон, чтобы познакомить П. Г. Виноградова не только со своим братом, но и директором Государственного архива, что сделало работу русского историка в нем еще более интенсивной¹⁰.

Установление связей в Оксфорде шло по той же схеме, что в Кембридже: новый английский приятель представлял русского историка своим друзьям и коллегам, что значительно расширяло не только круг знакомых, но и представления П. Г. Виноградова об особенностях научной и университетской жизни здесь. «В Оксфорде круг моих знакомств все расширяется, – сообщал Павел Гаврилович своим родным 4 ноября 1883 г. – Недавно сошелся с преинтересною личностью D^r Нейбауером, одним из первых знатоков еврейского Востока, членом Académie d'Inscriptions и т. д. Он начальник отделения восточных рукописей здешней библиотеки, человек уже старый, еврей, должно быть, австрийский по происхождению, голубоглазый однако. Англичан и Оксфорд ненавидит, п[отому] ч[то] воспитан в немецких университетах, ничего не понимает в общем гуманизме и джентльменстве здешней жизни, да и так уже своим языком наделал себе массу врагов и кучу неприятностей. Все его здесь терпеть не могут, но ничего не могут сделать, п[отому] ч[то] он знаменитость, и не последняя. Для меня он представляет нечто вроде Мефистофеля, всячески старается показать мне изнанку здешних отношений и правил. Интересно посмотреть на это и с этой стороны, конечно. Через него познакомился еще с Пельгамом из Экзетер колледжа, который много занимался римской историей. Впрочем, мне трудно было бы даже перечислить вам всех моих здешних знакомых; кажется, когда поживу здесь еще недели три, я уверен, буду знать весь город»¹¹.

Особую роль в расширении круга знакомств П. Г. Виноградова и его представлений об особенностях университетской жизни в Англии играли «университетские обеды», на которых он впервые встретил известных английских правоведов В. Р. Ансона, А. В. Дайси, К. Э. Дигби, Т. Э. Голланда, Г. С. Мэна и других. «[К]олледжи тут нечто вроде клубов, – объяснял русский историк ситуацию родным, – и всякий считает прежде всего своим долгом пригласить вас туда, может быть, имея ввиду, что для иностранца эти университетские обеды должны быть особенно интересны. Я уже несколько раз писал вам об аристократической обстановке здешней университетской жизни. В All Souls, где я обедал вчера, чин-

ность и роскошь достигают совершенно невероятных размеров. Этот колледж имеет только Fellows, студентов нет. Здание построено сэром Кристофером Реном, залы вычурно великолепной архитектуры: обедают в одной, пьют вино после обедов в другой и затем курят и пьют кофе в третьей. Старший Fellow чистый портрет с князя Долгорукова, нашего губернатора – даже усы так пострижены и нафабрены. Важность невыразима»¹². В целом, в приватной коммуникации представителей английского университетского мира «обеда» играли примерно ту же роль, что «журфиксы» в домах русских профессоров. Правда, последние явно отличались большим демократизмом и непосредственностью, что, возможно, и явилось основанием для нередких скептических замечаний П. Г. Виноградова о скуке за обедом, даже несмотря на отличное вино¹³.

Другой своеобразной «английской формой» превращения обычных бытовых рутинных занятий в события научной коммуникации благодаря интенсивному общению были прогулки. П. Г. Виноградов не сразу открыл их для себя в таком качестве, поскольку первоначально их целью было визуальное знакомство с новыми местами¹⁴. Но постепенно он усвоил и эту их сторону. Именно в «клубе воскресных прогулок», организуемых Лесли Стефеном, он познакомился с начинающим историком права Ф. В. Мэтландом, встреча с которым с годами переросла в дружбу, длившуюся до самой смерти англичанина¹⁵.

Понятно, что для П. Г. Виноградова особый интерес представляли, прежде всего, специалисты по всеобщей истории и особенно по английскому средневековью. Он же, в свою очередь, привлекал не только их внимание, но и внимание востоковедов и особенно славистов – У. Р. Морфила и А. Дж. Эванса. Если «курсик» из четырех лекций «по славянщине», прочитанный У. Р. Морфилом в институте Тэйлора, вызвал скептические замечания П. Г. Виноградова в письме родным¹⁶, то знание стран Балканского полуострова А. Дж. Эвансом расширяло представления русского историка о политике России в этом регионе. В доме Эвансов П. Г. Виноградов познакомился с Э. Фриманом, который пригласил русского гостя провести несколько дней в его имении в Сомерлизе¹⁷. Здесь состоялась встреча с «автором разных книг по восточному вопросу в защиту России и русских» М. Мак-Коллем, который собирался «писать статью о своем последнем путешествии [в Россию. – А. А.] и очень рад был случаю поговорить с русским либералом»¹⁸.

Расширение и интенсификация коммуникаций с английскими коллегами постепенно вели к развитию заинтересованного взаимопонимания. С одной стороны, П. Г. Виноградов *volens nolens* преодолевал стереотип восприятия англичан как замкнутых и чопорных людей. Показательна в этом отношении его характеристика, данная в письме родным Ф. Поллоку: «По внешности настоящий англичанин – холодный и сдержанный до неловкости, в сущности, всегда искренний и внимательный. Вообще личность недюжинная»¹⁹. С другой – для англичан, узнававших русского историка, он становился, по словам У. Р. Морфила, «such a fine representative man», что даже вызвало немного ироничное признание П. Г. Виноградова родным: «Никогда не ожидал, что попаду в представи-

тельные представители славянства, но, оказывается, что это более или менее моя роль здесь»²⁰.

Впрочем, это было не единственное признание достоинств русского историка. Если в Италии ему не удалось опубликовать казавшиеся важными материалы, то в Англии он дважды сообщил в «Athenaeum» о своих находках: «сотенных свитков» графства Уорвик и «записной книги» Г. Брактона²¹. В результате редколлегия создаваемого журнала «Law Quarterly Review» заказало статью с анализом последнего источника, а «милый и умный» приятель П. Г. Виноградова Йорк Пауэл даже стал искать английского издателя для его будущей книги²². Правда, осуществилась эта задумка лишь через девять лет²³.

Думается, что такое внимание английских коллег породило желание у русского историка поделиться своими впечатлениями и наблюдениями об английских университетах²⁴. Первое, что бросилось в глаза П. Г. Виноградову даже при беглом знакомстве с университетской жизнью, было богатство университетов, которое порой оборачивалось, как ему представлялось, расточительностью средств из-за отсутствия четкой систематизации и централизации рождавшихся и развивавшихся исторически колледжей, составлявших университеты в «Оксбридже». В отличие от централизованных континентальных университетов, каждый колледж Оксфорда или Кембриджа стремился превратиться в «полный маленький университет».

Среди характерных особенностей П. Г. Виноградов отметил материальный недостаток преподавателей и студентов. Даже начальная оплата английских профессоров и тьюторов намного превышала жалование их немецких или российских коллег, имея тенденцию к росту по мере их движения по ступеням карьеры и обеспечивая благоприятные материальные условия для работы. Студенты же Оксфорда, по его оценкам, могли позволить себе расходовать на свое содержание в 2–3 раза больше по сравнению с их континентальными *commilitones*. Условия жизни английских студентов, в которых «русский гость» имел возможность провести несколько дней в одном из студенческих общежитий Кембриджа, были намного комфортабельнее.

Однако за этими вызывающими у англичан чувство удовлетворения чертами русский историк подметил качество, которое легко превращало это казалось бы оправданное чувство в самодовольство. Таковым был аристократизм университетского образования, опирающийся на классическую традицию изучения «свободных искусств». Следование ей обуславливало, во-первых, ограниченность доступности высшего образования, что противоречило главной тенденции современной жизни – ее демократизации, а, во-вторых, разъединенность университетского («академического») и профессионального образования, равно вредную для того и другого. Академизм, основанный на классических традициях образования, был лишен, по мнению П. Г. Виноградова, практичности, оторван от жизни, сосредоточен преимущественно на формальной стороне, а не на содержании изучаемых предметов. В свою очередь при таком положении дел профессиональное образование становилось приземлённым, не одухотво-

ренным научным и философским подходом к обучению. К этому добавлялось отсутствие в университетах систематичности лекций и их элементарный уровень, а также недостаток исследовательской направленности в университетском образовании («научной школы»), что сказывалось во всем: подборе литературы в библиотеках, формах организации занятий студентов, когда главное внимание уделялось самостоятельному знакомству с литературой по предмету, наконец, в слабости критического подхода к изучаемому материалу. Одним из возможных способов устранения замеченных недостатков П. Г. Виноградов, прошедший «школу» семинарской подготовки у В. И. Герье в Московском университете, а затем у Т. Моммзена в Берлинском, считал введение «семинариев» по гуманитарным дисциплинам.

Таким образом, система университетского образования в Англии представилась П. Г. Виноградову в ходе первой встречи с ней (после достаточно обстоятельного знакомства с континентальной, прежде всего – германской) далекой от того идеального образца, который рисует воображение некоторых исследователей его жизни и творчества²⁵.

Примечания

¹ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 25 июля 1883 г. // Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 36. Л. 2–3 об.

² Там же. Л. 3 об.–4.

³ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 13 сентября 1883 г. // Там же. Д. 38. Л. 4–4 об.

⁴ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 17 августа 1883 г. // Там же. Д. 36. Л. 11–11 об.

⁵ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 17 августа 1883 г. // Там же. Д. 36. Л. 9 об.; Из писем П. Г. Виноградова / публ. и ком. К. А. Майковой // СВ. 1962. № 22. С. 277; Письмо П. Г. Виноградова к родным от 17 августа 1883 г. // Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 36. Л. 9 об.

⁶ Fisher H. A. L. A Memoir // Collected Papers of Paul Vinogradoff. N. Y, 1995. Vol. 1. P. 16.

⁷ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 12 октября 1883 г. // Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 38. Л. 10 об.

⁸ Там же. Л. 10 об.–11. Ср.: Fisher H. A. L. A Memoir. P. 17. Впоследствии П. Г. Виноградов неоднократно бывал в гостях у Ф. Сибоба в Гитчине, написал несколько рецензий на его книги и откликнулся некрологом на его смерть. См.: Vinogradoff P. : 1) [Рец.] Tribal Custom in Anglo-Saxon Law. By F. Seebohm. London 1902. // Vierteljahrsschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte. 1903. Bd. I. Hf. I. S. 128–138; 2) [Рец.] Tribal System in Wales. By F. Seebohm. 2nd edition. (London: Longmans, 1904) // EHR. 1906. Vol. XXI. No. LXXXI. P. 195–196; 3) [Рец.] Customary Acres and their Historical Importance. (F. Seebohm's Posthumous Work, 1912.) // The Nation. 1914. April 18; 4) Frederic Seebohm (1833–1912) // Economic Journ. 1912. Vol. XXII. No. 86. P. 338–342.

⁹ Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Л. 11.

¹⁰ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 10 декабря 1883 г. // Там же. Д. 41. Л. 9 об.

¹¹ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 4 ноября 1883 г. // Там же. Д. 38. Л. 20–21. Следует отметить, что практически всех своих новых знакомых П. Г. Виноградов старался

живо представлять в письмах родным, не забывая при этом своеобразие черт их ученой жизни.

¹² Письмо П. Г. Виноградова к родным от 20 октября 1883 г. // Там же. Д. 38. Л. 16 об –17.

¹³ Ср.: Письмо П. Г. Виноградова к родным от 29 апреля 1884 г. // Там же. Д. 43. Л. 27–27 об.

¹⁴ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 28 октября 1883 г. // Там же. Д. 38. Л. 19 об.

¹⁵ Fisher H. A. L. A Memoir. P. 15–16. См. также некролог, написанный русским историком: Vinogradoff P. Frederick William Maitland // EHR. 1907. Vol. XXII. No. LXXXVI. P. 280–289.

¹⁶ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 19 ноября 1883 г. // Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 41. Л. 1–1 об.

¹⁷ Fisher H. A. L. A Memoir. P. 16. Ср.: Письма П. Г. Виноградова к родным от 6 и 11 апреля 1884 г. // Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 43. Л. 15–22 об.

¹⁸ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 11 апреля 1884 г. // Там же. Д. 43. Л. 22 об.

¹⁹ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 16 декабря 1883 г. // Там же. Д. 41. Л. 12 об.

²⁰ Письмо П. Г. Виноградова к родным от 3 декабря 1883 г. // Там же. Д. 41. Л. 6.

²¹ См.: Vinogradoff P. : 1) Letter on the Hundred Rolls of the County of Warwick discovered in the Record Office // Athenaeum. 1883. December 22. P. 815; 2) A Note Book of Bracton // Athenaeum. 1884. July 19. P. 81–82.

²² Письмо П. Г. Виноградова к родным от 3 декабря 1883 г. // Архив МГУ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 41. Л. 5 об.

²³ См.: Vinogradoff P. Villainage in England. Essays in English Mediaeval History. Oxford, 1892.

²⁴ См.: Vinogradoff P. Oxford and Cambridge through Russian spectacles // Collected Papers of Paul Vinogradoff. N. Y, 1995. Vol. 1. P. 275–285. Впервые опубликовано в 1885 г. в «Fortnightly Review».

²⁵ Ср.: Малинов А. В. Павел Гаврилович Виноградов : социально-историческая и методологическая концепция. СПб., 2005. С. 27.

*Д. А. Цыганков
(Московский государственный университет, г. Москва)*

Р. Ю. ВИППЕР И ЕГО ПУТЬ В СОВЕТСКУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ

Одна из центральных проблем современных гуманитарного знания в России – это вопрос об отношении к наследию советской исторической науки, становление, формирование и развитие которой было очень сложным. Один из вопросов, органично входящих в это исследовательское поле, – проблема влияния дореволюционных научных школ, их практик и исследований на формирование молодой советской исторической науки, особенно в 1930–1950-е гг., когда, после возрождения исторических факультетов вузов, была предпринята попытка воспитания советского человека с помощью традиционных патриотических ценностей, преломленных, правда, классовым сознанием и подпольной большевистской идеологией. Определенную роль в создании истории как нового вида знания в СССР сыграли представители «старой школы»¹, дореволюционные ученые, чей опыт оказался востребованным в условиях «построения социализма в одной, отдельно взятой стране». Процесс вхождения дореволюционных историков в поле идеологизированной советской науки в целом хорошо освещен в современной историографии². Однако более детальное изучение личных биографий дореволюционных историков, оказавшихся в советских университетах, позволяют внести новые штрихи к коллективному портрету советских историков сталинской эпохи.

Одним из дореволюционных историков, волею судеб оказавшихся в СССР эпохи И. В. Сталина, был Р. Ю. Виппер. Карьерный путь Виппера как историка представляется в целом очень удачным³. Выходец из непривилегированного сословия, потомок небогатых, но деловитых иностранных предпринимателей в России, он стал первым отпрыском в семье, сделавшим профессорскую карьеру (по пути ученого пошел и его сын Б. Р. Виппер, ставший крупным советским искусствоведом). При этом педагогическая и научная карьера Виппера формально развивалась по нарастающей: профессор в Новороссийском университете в Одессе (1894–1897), один из трех профессоров в Московском университете (с 1899), ведущий профессор университета в эпоху между двумя революциями. И хотя годы Первой мировой войны и ее последствия вызвали у

Виппера явный духовный кризис, он смог найти себя и в условиях новой действительности. Спасаясь от кровавых ужасов революции, Виппер эмигрировал в Латвию и продолжил преподавание там⁴. Наконец, присоединение Прибалтики к СССР привело его к возвращению на Родину, где научные достижения ученого были высоко оценены: бывший профессор Императорского Московского университета стал советским академиком (1943), хотя и оставался под пристальным идеологическим контролем.

Однако позволяют ли формальные данные биографии, помноженные на общее количество трудов историка, исчисляемое сотней наименований⁵, говорить о безболезненном существовании ученого-гуманитария в условиях «монархической России», «демократической Латвии», «тоталитарной России». Русский интеллигент, тонко чувствующий человека в истории, исследователь⁶, Виппер не мог не испытывать сложные чувства, наблюдая и будучи втянутым в глобальные и разрушительные конфликты своей эпохи. Что же позволяло ему служить музе истории Клио и сделать успешную карьеру в совершенно разных университетских мирах Восточной Европы?

Однозначный ответ на этот вопрос практически невозможен в современной историографической ситуации, поскольку в научный оборот практически не введены источники послереволюционного и советского этапа жизни историка (более того, существуют устные предания, гласящие о том, что историк сознательно уничтожал материалы личного происхождения – прежде всего письма, стремясь обезопасить свою семью от преследований). Следовательно, практически единственный способ, позволяющий реконструировать нравственно-мировоззренческие установки Виппера – это материалы личного происхождения его дореволюционного этапа жизни⁷.

Безусловно, Виппер относился к поколению либеральной студенческой молодежи Московского университета, которая, ориентируясь на пристрастие собственных родителей, стремилась улучшить, просветить, облагородить современное ему общество. При этом Виппер стремился к служению студентам в университете, делал ставку на «чистую науку» без примеси политики. В обществе российских всеобщих историков Виппер выделялся среди других исследователей. Он отрицал реальное существование всеобщей истории как единого однонаправленного процесса, характерного для всего человечества (всеобщую историю Виппер рассматривал как своего рода педагогическую дисциплину, которая позволяет проводить интеллектуальный эксперимент с большим объемом фактических данных, которые совсем произвольно или более или менее научно выстраиваются историками)⁸, его отличали последовательный антиклерикализм⁹ и все более усиливающаяся (особенно под влиянием Первой мировой войны) тяга к сильным¹⁰, если не тоталитарным личностям в истории. Вполне возможно, что именно такие «пристрастия» Виппера как исследователя сделали его, в конечном счете, лояльным советской власти, тем более что на Родине престарелый профессор встретил восторженный прием московского студенчества и симпатии со стороны влиятельных политиков.

Впрочем, и советская наука благодаря Випперу получила в качестве примера образцового историка человека с настоящим дореволюционным академическим прошлым, а не выдвигенца от политики для науки, какими могли быть и часто были выпускники Института красной профессуры 1920–1930-х гг. и их наставники. Как следствие, советская история исторической науки вынуждена была в процессе своего самоописания учитывать фактор влияния на нее дореволюционных историков. Конечно, историки исторической науки в СССР считали либеральных дореволюционных профессоров тупиковой ветвью в эволюции развития историков-марксистов (интуитивно марксисты, но еще не овладели методом исторического материализма; Виппер не был «законченным марксистом» – так определяется его положение в историографических работах вплоть до настоящего времени¹¹), однако стоит ли воспроизводить в настоящее время подобные оценки? А если не воспроизводить, то нет ответа на следующие вопросы: какая связь между либеральной концепцией всеобщей истории московских историков, ведущих свою родословную от Т. Н. Грановского, и марксистской пятичленной схемой теории формаций? Почему именно либеральные историки дореволюционной России стали одной из сил, которая формировала советский патриотизм и его нравственные ценности?

Примечания

¹ См., например, Гришина Н. В. Историки «старой школы»: проблемы вживания в советскую действительность // Истории в меняющемся пространстве российской культуры. Челябинск, 2006. С. 51–58.

² Робинсон М. А. Российское славяноведение: судьбы научной элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х гг.). М., 2004; Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950). Брянск, 2005; см. также ряд статей (А. Б. Цфасмана, П. С. Александрова, В. П. Корзун и Д. М. Колевадова, В. А. Токарева и др.) в сборнике «Истории в меняющемся пространстве российской культуры». Челябинск, 2006; Сидорова Л. А. Советская историческая наука середины XX века: синтез трех поколений историков. М., 2008.

³ См.: Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение Р. Ю. Виппера и его время. М., 1976; Володихин Д. М. «Очень старый академик». Оригинальная философия истории Р. Ю. Виппера. М., 1997; Георгиев П. В., Чиглинцев Е. А. Российские историки в поисках политического идеала: В. П. Бузескул и Р. Ю. Виппер об афинской демократии // Мир историка: историогр. сб. Вып. 2. Омск, 2006. С. 316–325; Голубцова Е. С. Роберт Юрьевич Виппер // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. М., 2000. С. 7–15.

⁴ Справедливости ради стоит заметить, что этот период жизни практически не находит отражения в исследовательской литературе. Между тем, он едва ли не определяющий в истории духовного мира историка.

⁵ Список научных трудов академика Р. Ю. Виппера по древней истории // Вестн. древ. истории. 1955. № 2; Список трудов Р. Ю. Виппера, имеющих философскую направленность (философия и методология истории, культурология, социология и религиоведение) // Володихин Д. М. Указ. соч. М., 1997.

⁶ Виппер Р. Ю. Две интеллигенции и другие очерки : сб. ст. и публ. лекций (1900–1912 гг.).

⁷ См. например, письма Р. Ю. Виппера к его учителю В. И. Герье: Цыганков Д. А. Профессор В. И. Герье и его ученики. М., 2010. С. 319–349.

⁸ См., например: Володихин Д. М. Критика теории прогресса в трудах Р. Ю. Виппера // Вопр. истории. 1999. № 2.

⁹ Именно труды с критикой ранней христианства были очень востребованы в СССР.

¹⁰ Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1922.

¹¹ Голубцова Е. С. Указ. соч. С. 13.

*А. А. Кузнецов
(Нижегородский государственный педагогический университет,
г. Нижний Новгород)*

**ОТЗЫВЫ Н. И. КАРЕЕВА, Е. А. КОСМИНСКОГО, В. Н. БОЧКАРЕВА
В 1929 ГОДУ О НАУЧНЫХ РАБОТАХ С. И. АРХАНГЕЛЬСКОГО**

Изучение биографии историка Сергея Ивановича Архангельского (1882–1958) показало, что сложилась традиция жизнеописания известного ученого с устойчивым вниманием к определенным вехам научного пути¹. При этом за рамками сформировавшегося канона остается массив невыясненных фактов жизни Архангельского. С другой стороны, закостеневший канон представляет историю жизни Архангельского порой так, что эта презентация противоречит данным источников, которые сейчас обнаруживаются.

В биографии С. И. Архангельского утвердилось положение, не подтверждаемое источниками, о том, что он в 1920-е гг. вынужденно занимался отечественной историей и прошлым Нижегородчины, поскольку был отрезан от столичных библиотек. Противоречит этому мнению то, что Архангельский, подобно другим представителям «московской исторической школы», сочетал в своих исследованиях штудии по истории России и всеобщей истории². В последнее время были обнаружены свидетельства того, что и в 1930-е, и в 1940-е гг., традиционно относимые к «английскому периоду» в творчестве историка, С. И. Архангельский вел исследования в области отечественной истории³. По стечению обстоятельств некоторые результаты этого научного поиска увидели свет в 1950-е гг. и после смерти ученого.

Аргументом в утверждении тезиса об универсальности и широте научных навыков и интересов ученого являются свидетельства того, что в период 1920-х гг., который привычно в биографии Архангельского связан с краеведческими изысканиями, ученый уже активно изучал историю революции в Англии. Еще в 1924 г. С. И. Архангельский обратился к Николаю Ивановичу Карееву, чтобы узнать его мнение о возможности изучать историю аграрного законодательства Английской революции. У него же Архангельский просил помощи для издания переведенной им на русский язык книги Анри Пиренна

«Средневековые города и возрождение торговли». Н. И. Кареев низко оценил шансы издать переведенную С. И. Архангельским книгу Пиренна⁴.

Евгений Алексеевич Косминский, первое письмо которого к Архангельскому датируется маем 1926 г., подобно Н. И. Карееву, скептически отнесся к возможности изучать в Нижнем Новгороде аграрное законодательство Английской революции⁵. В годы Великой Отечественной войны Косминский вспоминал, как он прикладывал усилия, чтобы опубликовать перевод Архангельским книги Пиренна⁶.

Безуспешно помогал в 1926 г. С. И. Архангельскому издать Пиренна и историк Валентин Николаевич Бочкарев, известный специалист по истории России⁷. Профессор Московского, Ярославского университетов Бочкарев до 1930 г. приезжал в Нижний Новгород, где читал лекции по истории России. Бочкарев появился в Нижнем Новгороде еще в 1916 г., когда там был открыт Народный университет⁸. В этом университете В. Н. Бочкарев преподавал дисциплины, связанные с историей России, а Архангельский – с историей Греции и Рима. Правда, до 1919 г. В. Н. Бочкарев более был связан с другим нижегородцем, тоже, как и Валентин Николаевич, и Сергей Иванович, выпускником Московского университета, Андреем Киприановичем Кабановым⁹. Об этом свидетельствует послание Бочкарева Кабанову в 1916 г., ошибочно помещенное в дело с письмами Валентина Николаевича С. И. Архангельскому¹⁰. Уже после гибели Кабанова в 1922 г. в тюрьме Бочкарев сблизился с Архангельским. В 1930 г. Бочкарев был арестован, но отношения его с Архангельским продолжались и потом. Они переписывались и до ареста, и после освобождения Бочкарева¹¹.

Именно к этим трем специалистам Архангельский обратился в 1929 г. за отзывами о своей научной деятельности, когда нужно было получать звание доцента. Примечательно в свете вышеуказанной проблемы научной специализации историка Архангельского то, что он просил дать отзывы по научным работам, относящимся и к истории России, и к всеобщей истории. Эти три отзыва (автографы), обнаруженные в личном деле С. И. Архангельского, показывают своеобразное разделение труда авторов.

Н. И. Кареев, с которым Архангельский состоял в переписке более 4 лет, 6 марта 1929 г. сообщал, что отзыв был быстро – сразу после получения письма [с просьбой. – А. К.] – составлен и отправлен через Главпочтамт. Н. И. Кареев отзыв посвятил, в основном, высокой оценке трудов С. И. Архангельского об аграрном законодательстве Английской революции¹².

Упомянуты в отзыве и работы по «древней» истории, и по истории средневековья. Под ними подразумевались следующие тексты: Архангельский С. И. Социальная история Флоренции и политическое учение Макиавелли // Журнал Министерства народного просвещения. 1911. № 1. С. 1–58; Архангельский С. И. Указ Диоклетиана о таксах // Известия Нижегородского государственного университета. Н. Новгород, 1928. № 2. С. 365–401. Статья о социальной истории Флоренции имела в своей основе «кандидатское сочинение», написанное под руководством Р. Ю. Виппера¹³. У Виппера в памяти студент

Архангельский остался в связи с другими изысканиями. Вот что писал Виппер Архангельскому в 1942 г. из Ташкента: «Наше знакомство с Вами (не правда ли в Москве 1903–1904 гг.?) представляется мне теперь в виде чего-то молниеносно мелькнувшего и исчезнувшего. Не писали ли Вы реферата о capitulare de villis? Подвижный, остро-наблюдательный студент. Как жалел я потом, что Вы не остались в Москве. С каким удовольствием узнал я 25 лет спустя о Ваших блестящих работах по аграрной истории Англии, где Вы открыли новые пути исследования. Честь и слава Вам, что Вы сумели развить такую богатую содержанием научную деятельность вдали от университетских и библиотечных центров»¹⁴.

Статья, посвященная «древней» истории, имела трудную судьбу. Написав ее в 1926 г., Архангельский обратился за помощью в ее издании коллеге по краеведческой работе И. М. Гревсу. Тот, в свою очередь, передал статью Ф. И. Успенскому на предмет публикации ее в «Известиях» Академии Наук. После переписки по поводу статьи Гревс передал отказ Успенского печатать эту работу: «...перевод этот очень полезен и произведен он с полной тщательностью, но это не соответствует традициям академических изданий. Так действительно мне и сказал Ф. И. Успенский, ознакомившись с рукописью. Он мне возвратил ее вчера и с огорчением заявил, что никак не может устроить именно ввиду указанных причин». Тем не менее, Гревс 11 июня 1928 г. писал: «Только получил Вашу работу, радуюсь и поздравляю Вас, что удалось напечатать (это теперь не всегда легко для таких специально научных вещей, да еще по древности)»¹⁵. По этому же поводу Кареев отметил 4 октября 1928 г.: «Большое спасибо за “Указ Диоклетиана”, полученный мною на днях <...> Вы счастливы тем, что Ваш университет имеет свои “Известия”, которых у нас нет»¹⁶.

В отзыве Кареев показал важность исследований Архангельского по многим направлениям научного поиска, обнаружил вдумчивое и критическое отношение источника, напутствовав коллегу идти далее по удачно выбранному пути. Под ним понимались исследования аграрного законодательства Английской буржуазной революции. Между тем, в первых письмах Н. И. Кареев выразил скепсис по поводу изучения этой темы в Нижнем Новгороде: «... в России ничего сделать по этому вопросу сделать [так. – А. К.] Вам ничего нельзя будет»; «Вам лучше было бы обратиться к Виноградову (Оксфорд), который на месте мог бы навести необходимые Вам справки»¹⁷. Несмотря на то, что С. И. Архангельский никак не мог в условиях Нижнего Новгорода связаться со своим университетским наставником П. Г. Виноградовым, он все-таки начал писать тексты по теме аграрного законодательства, а Н. И. Кареев – читать с доброжелательной критикой, подчеркивая, что не является специалистом в этой теме. В марте и апреле 1928 г. Кареев высоко отозвался о диссертационной рукописи Архангельского¹⁸. Можно сказать, что более двух лет последнего периода своей жизни Кареев читал англоведческие и другой проблематики тексты Архангельского и, по сути, благословил его в большую науку. Уже после отзыва весной 1930 г. Карееву довелось увидеть напечатанные первые главы исследования Архангельского¹⁹, прошедшего своеобразное обсуждение в их переписке.

Первая реакция Кареева на вопрос Архангельского об изучении избранной им темы сходна с реакцией Косминского, как и Архангельского, ученика Д. М. Петрушевского и А. Н. Савина, хотя Косминский и ответил в мае 1926 г.: «То, что у нас найдется по этому вопросу, Вы прочтете в несколько дней. Работать в этом направлении можно только в Лондонских архивах, где хранятся огромные и нетронутые залежи материалов. Все, что имеется в кабинете Англии, – к Вашим услугам. Предварительных формальностей для пользования книгами никаких не надо; когда приедете в Москву, идите прямо в Институт <...> и вызовете меня»²⁰. Между этим ответом и следующим письмом Косминского по времени находится отзыв, в котором высоко – на уровне западноевропейской и британской историографии – оцениваются труды Архангельского по аграрному законодательству английской революции. Отсутствие писем за это время объясняется тем, что Архангельский довольно часто ездил в Москву, где общался напрямую с Е. А. Косминским, о чем он сам упомянул в отзыве. Архангельский, как мог, осваивал запасы советских библиотек в связи с изучением Английской революции. Так, коллега Косминского и Архангельского, В. М. Лавровский, работавший в Нижегородском пединституте, во время своих приездов привозил Архангельскому книги из библиотеки Московского университета²¹. Все это повлияло на быстрое изменение отношения Косминского к англоведческим штудиям нижегородца.

Во время встреч с Косминским Архангельский, очевидно, и передал свои работы о локальном методе²² и об указе Диоклетиана. Интересно то, что Кареев читал большую статью Архангельского о локальном методе, но в отзыве о ней не вспомнил. Это связано с тем, что Кареев не принял методологические поиски Архангельского, предпочитая оставаться в рамках классического исторического исследования: «... в статье не дано ни определения “лок[альный] ме[тод]” не указаны на его отношения к методу общенаучному, о котором упоминается также без определения <...> Главное же в моем несогласии с Вашей основной идеей заключается в том, что тут нет никакого особого метода, да и вообще метода. Метод значит путь, способ, средство, логический прием, а “идея локальности” относится не к путям исследования, а к его предмету, к его материалу, к его масштабу. Взяли ли бы исследовать агр[арную] историю всей Англии или в одном только графстве, метод (общеевропейский) оставался тем же самым, и из того, что в общем случае Вы изучали бы только одно графство, а в другом всю Англию, нельзя было бы вывести, что в одном случае Вы работали бы методом локальным, а в другом – общенациональным. Ведь и вся Англия есть нечто локальное в сравнении с общеевропейским, как и в целом графстве один приход был бы чем-то особенно локальным. У меня нет сейчас времени развить всю логичную свою аргументацию против соединения слов “локальный” и “метод”, а потому здесь я ставлю точку, оговариваясь, что во всем остальном, касающемся локального интереса, материала и т. п. я с Вами в общем согласен»²³. Косминский же, как видно из отзыва, ничего крамольного в этой статье не увидел и даже упомянул ее в отзыве среди прочих научных

достижений Архангельского. Думается, что статья Архангельского о локальном методе стала тогда предметом спора между представителями разных поколений. Косминский, через несколько лет после Архангельского закончивший Московский университет, безболезненно воспринял опыты коллеги.

Ныне работу Архангельского о локальном методе традиционно относят к разработкам краеведческой мысли, предназначенным, прежде всего, для отечественного краеведения. В этом смысле показательно, что В. Н. Бочкарев, сделавший в своем отзыве упор на исследованиях Архангельского, как краеведа, по истории России, о работе о локальном методе не упомянул. В отзыве, говоря о вопросах истории и методологии краеведения, Бочкарев приводит названия других статей Архангельского. Это не случайно. Статья о локальном методе, насыщенная примерами из западноевропейской истории и историографии, все-таки предлагает общеисторический метод, вводящий краеведение в пространство фундаментальной науки, что оспаривал Н. И. Кареев. Пользуясь этим методом, Архангельский исследовал социальную и экономическую историю Нижегородчины, аграрное законодательство Английской революции. Это подметил коллега Архангельского в 1971 г. В. Т. Илларионов: «С. И. Архангельский неоднократно отмечал, что методом локального исследования он овладел, работая над публикацией “Аграрное движение в Нижегородской губернии”. Он применил этот метод и при изучении Англии»²⁴.

В отзыве В. Н. Бочкарева упомянуты работы С. И. Архангельского, которые в силу ряда обстоятельств оказались незаслуженно забытыми. В частности, исследование «Финансы Ополчения 1812 года», опубликованное в «Действиях Нижегородской губернской ученой архивной комиссии» в 1916 г., оказалось первым в ряду работ, которые только сейчас начинают выходить в Нижнем Новгороде по этой теме.

Введение в научный оборот таких историографических источников, как отзывы на научную деятельность конкретного историка – С. И. Архангельского, позволяет обогатить представления о биографиях и научном творчестве самих авторов отзывов, смоделировать коммуникационное поле историков 1920–1930-х гг., рассмотреть переплетение различных тенденций в противоречивом развитии исторической науки тех лет. Три отзыва, связанные одной персоной, позволяют свести в цельный исследовательский нарратив разнесенные по разным проблемам сведения (письма Н. И. Кареева, Е. А. Косминского, В. Н. Бочкарева, И. М. Гревса, В. М. Лавровского, Р. Ю. Виппера и др.) и факты (тексты разных историков, судьбы конкретных историков). Изучение процесса выстраивания отношений столичной и провинциальной (нижегородской) исторической науки в 1920-е гг. показывает, что он происходил на основе актуализации дореволюционных связей внутри определенной университетской корпорации. Учитывая то, что Н. И. Кареев сформировался как историк в Московском университете, можно его связать с более поздними выпускниками этого вуза – В. Н. Бочкаревым, Е. А. Косминским, В. Н. Бочкаревым, С. И. Архангельским. В трудных условиях идеологического наступления на историческую науку она

самоорганизовывалась, находила опору во взаимной поддержке ученых. Тем самым, четче определяется степень воздействия дореволюционной историографической традиции на возникновения советской исторической науки. Отзывы на научную деятельность Архангельского дают ценную информацию не только по его научной биографии, но и для понимания процессов в советской историографии в самом начале ее формирования.

Отзыв

профессора В. Н. Бочкарева о работах

С. И. Архангельского по русской истории

Специалист по истории Западной Европы, главным образом по истории Англии XVII в., С. И. Архангельский в своей научно-исследовательской работе немало внимания уделяет русской истории и в первую очередь истории Нижегородского края.

Среди почти 20 его работ, посвященных Русской истории, большая часть касается двух вопросов: Нижегородского крестьянства и аграрного движения в Нижегородской губернии (5 статей) и происхождения промышленного пролетариата Нижегородской губернии на фоне роста в ней крупной промышленности и проявления первых признаков рабочего движения (6 статей). Остальные его работы или дают характеристику местных краевых историков – Гацисский, Короленко, Садовский (сюда же может быть отнесена и статья о К. Н. Бестужева-Рюмине – нижегородце по происхождению) или касаются вопросов истории и методологии краеведения («Из истории краеведческой идеи в Нижегородском крае», «Волжский торговый путь и экономика Нижегородского края в XIII–XV вв.»), или вскрывают весьма интересные явления в прошлых судьбах Нижнего Новгорода в связи с крупными событиями общерусского значения («Финансы Ополчения 1812 года»). Все это говорит, с одной стороны, о широком научном интересе С. И. Архангельского как историка-краеведа, с другой – о его стремлении выдвинуть для разработки в первую очередь наиболее актуальные научные проблемы.

При этом почти все его работы основаны на самостоятельном изучении свежего архивного материала, до него еще никем не использованного, а в методологическом отношении отличаются весьма точными и осторожными приемами исследования.

Для истории Нижегородского края С. И. Архангельский, бесспорно, сделал весьма много и своими работами внес в местную историографию новую исследовательскую струю, находящуюся в полном контакте с требованиями современной как русской, так и Западно-Европейской исторической науки.

Профессор Московского и
Нижегородского государственных
университетов, Ярославского
педагогического института,

действительный член научно-исследовательского института истории в Москве
Бочкарев
10 марта 1929 г.
(ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 91–92 об.).

Отзыв о научных трудах С. И. Архангельского

Я своевременно ознакомился с вышедшими в свет историческими работами С. И. Архангельского и всегда видел в них результат серьезного научного труда. Особенно хорошо мне известны последние, из которых один («Аграрное законодательство в Англии в сороковых годах XVII века) имел в рукописи и очень внимательно читал, вступив даже в переписку с автором по этому поводу. Эти работы С. И. Архангельского принадлежат к области экономической и социальной истории, причем одна относится к древней, другая к новой истории, как бы о том, что их автор не замыкается в одном каком-то периоде (у него прежде была статья и на тему средневековой истории). Далее обе работы имеют исследовательский характер и основываются на источниках, с которыми автор обращается в методологическом смысле вполне правильно. Незаконченная книга по аграрной истории Англии в XVII веке касается притом предмета еще сравнительно мало исследованного, большой, наконец, важности для понимания первой английской революции и вообще всего социально-экономического развития Англии в новое время. Тщательное отношение к источникам, критическая вдумчивость в них и осторожность сделанных выводов обнаруживают в С. И. Архангельском настоящего научного работника в области истории, которому можно только пожелать идти и далее по избранному им и удачно научному пути.

Почетный член Академии
Наук СССР, проф. Ленингр.
гос. университета
Н. Кареев

6 марта 1929 г.
(ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 93–94).

Отзыв о научных трудах С. И. Архангельского

С научной работой С. И. Архангельского знаком по его статьям «Локальный метод в исторической науке», по книжке «Указ Диоклетиана о таксах», по рукописи «Секвестры владений деликвентов в 40-х годах XVII в. в Англии», по его докладам и личным беседам, касавшимся его работ по аграрной истории Англии в XVII веке.

Знакомство с ходом работ т. Архангельского оставило у меня убеждение, что в его лице историческая наука в СССР имеет солидного историка-экономиста, стоящего по своим научным интересам вполне на высоте современных научных требований. Подчеркивание т. Архангельским локального метода в исследовании экономической и особенно аграрной истории показывает, что он верно понял основное направление современной Западно-европейской историографии, подготавливающей почву для широких историко-экономических обобщений тщательным анализом местных особенностей. Большой исторический такт обнаружен им в выборе и трактовке основной темы его занятий аграрной истории Английской революции XVII века. Это мало обследованная проблема, без разрешения которой, однако, немислимо правильное марксистское понимание истории Английской революции, стоит в настоящее время на очереди перед европейской наукой. Т. Архангельский выбрал в этой проблеме вопрос, имеющий коренное значение и при том еще никем пока не изучавшееся, – вопрос о перемещениях земельной собственности в эпоху революции. Недаром крупнейшие специалисты в данной области в Англии (как R. H. Tawney), выражают большой интерес к ходу работы нашего исследователя, так как английские ученые стали только теперь подходить к этим проблемам (из частного письма Tawney ко мне). В своем обзоре «The Russian Work [слово дано по контексту, т. к. в отзыве оно написано как Wak] in English Economic History», помещенной во 2-м томе *Economic History Review* за 1928 г., я счел необходимым отметить работы т. Архангельского как особо интересные.

Как в своих работах по истории Англии, так и в других своих исследованиях, т. Архангельский обнаруживает умение ставить вопросы, ориентироваться в сложном материале, осторожно и четко работать над источником, путем тщательного анализа подходит к разрешению трудных проблем основного значения. Все это заставляет с большим интересом следить за ходом работ т. Архангельского и ждать многого от начатого им труда.

Профессор I МГУ.

11. III. 1929

(ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 99–100)

Е. Косминский

(Публикация подготовлена А. А. Кузнецовым)

Примечания

¹ См., например: Зыбко Н. В. Архангельский и нижегородское краеведение // Нижегородский край в эпоху феодализма. Н. Новгород, 1991; Кеткова И. В., Телегина Э. П. Сергей Иванович Архангельский // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. М. ; Иерусалим, 2000. С. 187–196; Кузнецов Е. В. Метод и результат : к оценке творчества С. И. Архангельского // Англия и Европа : проблемы истории и историографии. Арзамас, 2001. С. 210–215; Лукоянов В. В. С. И. Архангельский – ученый, педагог // Проблемы британской истории и наследие С. И. Архангельского. Н. Новгород, 1999; Минеева Т. Г. С. И. Архангельский в отечественной историографии // Исследования по истории России. Н. Новгород, 1996; Парусов А. И. С. И. Архан-

гельский как историк нашего края // Из истории нашего края : учен. зап. ГГУ. Вып. 135. Горький, 1971. С. 5–13; Седов А. В. Сергей Иванович Архангельский // Записки краеведов. Горький, 1983. С. 72–80; Седов А. В., Телегина Э. П. Сергей Иванович Архангельский // Горьковский государственный университет. Выдающиеся ученые. Горький, 1988. С. 23–38. См. также статьи Е. А. Молева, М. В. Белова, В. В. Лукоянова, Э. П. Телегиной, Ю. Г. Галая, М. Н. Добротвор, А. В. Седова в сборнике, посвященном С. И. Архангельскому: Сергей Иванович Архангельский : жизнь в науке (к 120-летию со дня рождения). Н. Новгород, 2002.

² Кузнецов А. А., Мельников А. В. Новые источники по научной биографии С. И. Архангельского // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Вып. 9. Н. Новгород, 2005. С. 161–172, 176–177.

³ Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 6299. Оп. 1. Д. 37. Л. 9, 82, 84, 87, 211–212; Д. 53. Л. 571–572; Д. 73 и др. См. также: Кузнецов А. А., Мельников А. В. Новые источники... С. 174–176.

⁴ См. подробнее: Кузнецов А. А. Письма Н. И. Кареева к С. И. Архангельскому // Национальный/социальный характер : археология идей и современное наследие. М., 2010. С. 294–295.

⁵ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 193. Л. 1.

⁶ Там же. Л. 13.

⁷ Там же. Д. 114. Л. 3–3 об., 5.

⁸ Нижегород. листок. 1916. 5 янв. С. 2.

⁹ О А. К. Кабанове см.: Кузнецов А. А., Мельников А. В., Пудалов Б. М. Новые данные о судьбе нижегородского историка А. К. Кабанова // Материалы II Нижегородской архивоведческой конференции. Чтения памяти А.Я. Садовского. Н. Новгород, 2006. С. 160–164; Кузнецов А. А. Еще раз о биографии нижегородского архивиста А. К. Кабанова // Материалы V нижегородской межрегиональной архивоведческой конференции «Святыни земли Нижегородской. Нижегородский кремль». Н. Новгород, 2010. С. 172–179. Расширенный вариант этой статьи см: <http://opentextnn.ru/history/historiografy/historians/ros/nn/?id=3760>.

¹⁰ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 114. Л. 71–71 об.

¹¹ Там же. Д. 114.

¹² Там же. Д. 183. Л. 26.

¹³ ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 13.

¹⁴ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 127. Л. 1.

¹⁵ Там же. Д. 147. Л. 1–3 об., 5, 8.

¹⁶ Там же. Д. 183. Л. 24.

¹⁷ Там же. Л. 2.

¹⁸ Там же. Л. 16–19 об.

¹⁹ Там же. Л. 32.

²⁰ Там же. Д. 193. Л. 1.

²¹ Там же. Д. 201. Л. 1, 4.

²² Архангельский С. И. Локальный метод в исторической науке // Краеведение. 1927. № 2. С. 181–194.

²³ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 183. Л. 12–12 об.

²⁴ Илларионов В. Т. К высотам мировой науки. О краеведческих трудах С. И. Архангельского // Горьк. правда. 1971. 19 июня. Л. 4.

М. А. Киселев
(Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург)

Н. А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ: ИСТОРИК ВНЕ КОРПОРАЦИИ

Фамилия 'Воскресенский' хорошо известна всем исследователям эпохи Петра I по объемистому первому и пока последнему печатному тому «Законодательных актов Петра I»². Без использования этого сборника сейчас невозможно представить себе работы по петровским реформам. О самом Николае Алексеевиче Воскресенском (1889–1948) исследователи обычно не упоминают, для них это всего лишь фамилия составителя сборника документов, не говоря уже о введении его научных сочинений в историографический оборот, а не просто использования в рамках исторических исследований тех источников, которые он собрал. Краткая биография и обзор рукописного наследия Николая Алексеевича были опубликованы в 1977 г. Е. П. Федосеевой³. Однако исследователи петровской эпохи не обратили внимания на ее статью. Такое отношение к научному наследию историка едва ли связано с тем, что оно обладает небольшой ценностью. Неизданные материалы Н. А. Воскресенского вызывали и продолжают вызывать интерес у специалистов по XVIII в.: в листах использования архивных дел фонда Н. А. Воскресенского Отдела рукописей РНБ (г. С.-Петербург) значатся Я. Е. Водарский, А. Г. Маньков, Л. Н. Семенова, Е. В. Анисимов, Л. Хьюз, Н. В. Козлова, О. Е. Кошелева⁴. Скорее всего, отсутствие интереса к самому Воскресенскому, при интересе к собранным им источникам, было связано со спецификой его взаимоотношения с профессиональным сообществом историков в 20–40-е гг. XX в.

Н. А. Воскресенский, выпускник Нежинского историко-филологического института, с 1918 г. живший в Петербурге⁵, приступил к изучению материалов по законодательству Петра I в октябре 1923 г.⁶ В своих исследованиях он обратился за поддержкой к С. Ф. Платонову, которого он сам называл своим «высокопочтимым учителем», чьими «Лекциями» он «вдохновлялся и на ученых трудах которого учился работать над памятниками русской истории»⁷. В частности, 5 мая 1924 г. Н. Воскресенский сообщал С. Ф. Платонову, что подготовил к печати этюд «К истории текста Генерального Регламента», в связи с чем хотел бы

«услышать <...> мнение и получить указания»⁸ от известного историка. Сергей Федорович отнесся к изысканиям Воскресенского благожелательно и стал способствовать им по линии Академии наук. По результатам своих изысканий Н. А. Воскресенский подготовил и подал 28 января 1925 г. в Отделение исторических наук и филологии Академии Наук докладную записку об издании «Памятников законодательства Петра Великого»⁹. Эта записка, как сообщил Воскресенскому Платонов, была принята «вполне благосклонно»¹⁰.

29 декабря 1925 г. Н. А. Воскресенский выступил с докладом «Приемы научного издания памятников законодательства Петра Великого» в Археографической комиссии¹¹, председателем которой был Платонов. В прениях по докладу помимо Платонова приняли участие А. И. Андреев, Б. Д. Греков, А. Е. Пресняков и С. В. Рождественский.

Свой доклад Воскресенский начал с критики существовавших основных изданий законодательных актов, в которых получило отражение и законодательство Петра I: «Указателя российских законов» Л. М. Максимовича (14 ч. М., 1803–1812) и «Полного собрания законов Российской империи» (45 т. СПб., 1830). По его мнению, они «в некоторых своих частях не могут быть признаны удовлетворительными, дающими точный и достоверный материал для исследований в области русской истории и права». В связи с этим Воскресенский предложил свою программу научной публикации «памятников законодательства Петра Великого». Акты должны были издаваться не просто в хронологической последовательности, а в определенном тематическом порядке, например, «относящиеся к установлению высших центральных учреждений», или «относящиеся к установлению областных учреждений». Он считал, что следует публиковать не только официально утвержденные законодательные акты, но и законоподготовительные материалы. Для этого «предварительно должны быть разысканы по различным архивам и изучены все последовательные редакции важнейших законов и затем изданы так, чтобы по ним обнаруживались постепенность и ход выработки отдельной нормы, а также и всего закона в целом». В издании актов это должно было получить следующую реализацию: «Первая и последняя редакции должны быть воспроизведены полностью, а из промежуточных редакций, пользуясь указанными обозначениями, могут быть приведены только главы и пункты, содержащие изменение норм». Кроме того, учитывая специфику петровской эпохи, «должны быть собраны и изданы полностью или в извлечениях проекты иностранцев, а также переводы того времени с западно-европейских законодательных актов, послужившие источниками для русского законодательства той эпохи».

Таким образом, для Воскресенского законодательство виделось не просто источником, из которого можно было бы потребительски брать информацию по эпохе Петра I. В предложенном подходе феномен петровского законодательства представлял самостоятельный интерес в качестве объекта исследований по истории права.

Показательно, что уже в 1926 г. Платонов в своей работе «Петр Великий» рассматривал Н. Воскресенского как продолжателя дела «рано умершего» Н. П. Павлова-Сильванского в критике взглядов П. Н. Милюкова о том, что реформы Петра I были результатом «случайности, произвольности, индивидуальности, насильственности». Платонов ссылаясь на наблюдения Воскресенского о законодательстве Петра I из его «Докладной записки» для Академии Наук. Отталкиваясь от этих наблюдений, Платонов отмечал, что роль Петра I в реформах была «сознательна и влиятельна, разумна и компетентна». При этом сам Н. А. Воскресенский был охарактеризован как исследователь, который хорошо изучил «законодательный материал Петровской эпохи»¹².

10 января 1927 г. Воскресенский просил Платонова «поставить на повестку заседания» Историко-археографической комиссии доклад «К постановке вопроса о характере и степени заимствований из иностранных законодательств в эпоху Петра Великого». Также Воскресенский отмечал, что приступил к «переписке набело текстов “Законодательных актов Петра В., относящихся к высшим центральным учреждениям России”», в связи с чем желал бы, чтобы подготовленный им текст «Регламента Главного магистрата» был оценен одним «из членов Комиссии, из старых профессоров». В качестве главной кандидатуры Воскресенский указал на профессора С. В. Рождественского¹³. Пожелания Воскресенского были выполнены: доклад состоялся 8 февраля, а 22 октября 1927 г. профессор С. В. Рождественский прочитал на заседании Историко-археографической комиссии отзыв о статье Н. А. Воскресенского «Регламент Главному магистрату. Анализ памятника в связи с историей текста»¹⁴. Сам Воскресенский продолжал свои штудии и лето 1927 г. «провел в Москве над бумагами Петра Великого в его Кабинете»¹⁵. Воплощая на практике принципы своей научной программы, к 1930 г. Воскресенский подготовил к изданию первый том источников по петровскому законодательству – «Законодательные акты первой четверти XVIII в., относящиеся к преобразованию высших центральных учреждений России»¹⁶.

Арест С. Ф. Платонова 12 января 1930 г., в связи с развернувшимся в 1929 г. «Академическим делом», практически лишил поддержки Н. А. Воскресенского в исторической науке. В 1931 г. на базе фактически разгромленной Историко-археографической комиссии был создан Историко-археографический институт, который должен был работать по новым, «марксистским», темам в истории. Воскресенский обратился в институт со своим проектом и получил отказ, так как его исследования были признаны «неактуальными»¹⁷. Тем не менее, он не отказался от своих научных изысканий.

В 30-е гг. Воскресенский продолжил свои работы по сбору материалов по истории петровского законодательства. Важно отметить, что он занимался исследованиями в свободное от основной работы время: в 20–30-е гг. он «преподавал историю и географию в школах Ленинграда»¹⁸. Он тратил существенные для своего бюджета суммы на поездки в Москву и изготовление фотокопий. Его изыскания не получили поддержки среди профессиональных историков. В

частности, он отправил подготовленные к публикации материалы в Институт истории АН СССР, где они пролежали «5 лет без движения»¹⁹. Подстраиваясь под конъюнктуру, связанную с особым акцентом советской марксистской исторической науки на исследованиях по социально-экономической истории, в 1938 г. Воскресенский в качестве первого тома «Законодательных актов Петра Великого» предложил акты «О промышленности и торговле»²⁰.

Определенные изменения в его научной карьере произошли в конце 30-х гг. О Н. Воскресенском и его работе узнал Б. И. Сыромятников, один из последних историков права «старой» дореволюционной школы, начавший в 1938 г. работу в Институте права АН СССР²¹. В 1938 г. Сыромятниковым была запланирована подготовка монографии «Регулярное государство Петра I и его идеология»²². В качестве приложения к монографии им планировалось опубликовать «отрывки из важнейших памятников эпохи». При этом Сыромятников полагал, что «было бы желательным издать сборник важнейших законодательных памятников петровской эпохи, суррогатом которого лишь могут быть вышеозначенные “приложения”. При наличии особого “сборника” последние могли бы быть и совсем опущены, поскольку в основе своей они будут использованы и цитированы в тексте исследования»²³.

При таких планах труды Воскресенского, который подготовил уже несколько томов о законодательстве Петра I, оказались более чем актуальными для Б. И. Сыромятникова. Воскресенский писал, что «при первом же ознакомлении с представленными на его отзыв трудом, Б. И. Сыромятников определил значение его для исторической науки и правильность исследовательских приемов его автора. <...> им было приложено много сил и таланта для разъяснения в печати, в ученых заседаниях и среди отдельных специалистов ценности публикуемых источников»²⁴. В 1940 г. первый том – «Акты о высших государственных установлениях» – был принят к печати в Институте права²⁵. 1 февраля 1940 г. Воскресенский подписал «Археографическое введение» к этому тому, в котором отмечал, что «первые томы “Актов” были готовы к печати более 10 лет назад. Но появление их в свет задерживалось господством в историографии СССР антиисторических тенденций и приемов, не оставшихся без влияния на отношение к “Законодательным актам Петра В.” до последнего времени»²⁶. Уже в ноябре 1940 г. в журнале «Советское государство и право» появилась рецензия Б. И. Сыромятникова на этот, еще не изданный, том. Конечно, в ней содержались некоторые критические замечания. Однако в целом ее тон был очень благожелательным. Б. И. Сыромятников подчеркивал «исключительную научную ценность и оригинальность этой публикации, которая представляет итог многолетней работы, можно сказать, итог всей жизни ее автора»²⁷.

Второй том, посвященный «актам об общественных классах», был внесен в план работы института на 1941 г.²⁸ Однако начавшаяся Великая Отечественная война нанесла большой удар по этим планам. Б. И. Сыромятников оказался в эвакуации в Ташкенте, а Н. А. Воскресенский – в блокадном Ленинграде, где продолжал при поддержке своей жены – Зинаиды Андреевны Воскресенской

– работать над изучением законодательства. В результате, к 1943 г. им были подготовлены к печати три тома «Законодательных актов Петра I» (в 5 частях), четвертый готовился, а также представлены два тома «Фотокопий собственноручных писаний Петра», в которых каждая фотокопия сопровождалась расшифрованным текстом²⁹. Б. И. Сыромятников так описывал условия, в которых Воскресенский вел свои изыскания в блокадном Ленинграде: «Ни прибегая ни к чьей сторонней материальной помощи, своей собственной рукой, немеющей от холода, под гром вражеской бомбежки, в голодающем городе, Н.А. Воскресенский спешил завершить свой научный труд»³⁰. Данные труды были представлены Воскресенским в качестве диссертации на соискание степени кандидата юридических наук, каковая была ему присвоена после защиты в 1944 г.³¹

С. Н. Валк в 1944 г. дал следующую оценку проекта Н. А. Воскресенского: «Война прервала печатание двух важнейших изданий по истории правительственной деятельности в XVIII веке. Первое из этих изданий – труд целой жизни ленинградского ученого Н. А. Воскресенского, посвятившего многие годы самоотверженной работы по подготовке к изданию документов по истории государственной деятельности Петра Великого. Н. А. Воскресенский предпринял громадные, казалось бы, непосильные для единичного исследователя розыски в <...> архивах». По мнению С. Н. Валка, «выход в свет всех томов этого грандиозного труда будет крупнейшим явлением для всей петровской литературы»³².

Помимо подготовки законодательных актов, Воскресенский приступил к обобщению своих знаний о законодательном процессе 1-й четверти XVIII в. в докторской диссертации. К 1945 г. Воскресенский подготовил 12 глав этой диссертации, которую он назвал следующим образом: «Петр Великий как законодатель. Исследование законодательного процесса в России в эпоху реформ первой четверти XVIII века»³³. Работа осталась незавершенной. Главную роль в этом сыграло то, что блокада подорвала здоровье Н. А. Воскресенского³⁴.

В 1945 г. вышел из печати первый том «Законодательных актов Петра I» Н. А. Воскресенского. Издание второго тома задерживалось. Вполне возможно, что это было связано с той критикой, которой в 1944 г. Б. И. Сыромятников подвергся за свою работу о «Регулярном государстве Петра Великого» со стороны Института истории во главе с Б. И. Грековым, с которым у Сыромятникова с конца 30-х гг. существовала определенная конфронтация, связанная с неприятием им грековской концепции феодализма³⁵. Б. И. Сыромятников не собирався молчать, и в 1944 г. на совещании по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) он выступил с критическими замечаниями источниковедческого характера в отношении статьи К. В. Базилевича о Петре I, монографий Е. В. Тарле, С. В. Юшкова, А. И. Яковлева и Б. Д. Грекова. Также по вопросу о периодизации истории СССР Сыромятников подверг критике взгляды Грекова на Древнюю Русь³⁶. Как вспоминала А. М. Панкратова, «Сыромятников <...> резко напал на всех историков»³⁷.

Н. А. Воскресенский, наблюдая критику Б. И. Сыромятникова в научной печати, занял сторону Сыромятникова, подготовив в ноябре 1944 г. «Критические

замечания на рецензию проф. С. В. Бахрушина о книге проф. Б. И. Сыромятникова», которые так и не были напечатаны³⁸.

На вышедший из печати в 1945 г. том «Законодательных актов» первая научная рецензия была опубликована в 1946 г. Ее автором был ученик А. С. Лаппо-Данилевского А. И. Андреев, с сентября 1943 г. возглавлявший в Институте истории АН СССР группу, «работающую над изучением петровской эпохи». Этой группе в 1944 г. было поручено издание «Писем и бумаг императора Петра Великого», прерванное еще в 1918 г. Редактором возобновившейся публикации стал Андреев³⁹. Собственно, рецензия открывалась сообщением, что группа «довольно быстро закончила подготовку переписки Петра Великого за вторую половину 1708 г. (VII том), предполагая в 1946 г. начать подготовку VII тома (переписка за 1709 г.)». В то же время в отношении Воскресенского отмечалось, что он «вел всю работу индивидуально, но потом его труды вошли в план Института права».

Рецензия была выдержана в довольно жестком критическом духе. В связи с этим укажем на личную характеристику, которую дала А. И. Андрееву его ученица К. Н. Сербина: «В вопросах науки он был всегда принципиален, тверд, а подчас и весьма суров, но его критика всегда носила деловой характер»⁴⁰.

А. И. Андреев подверг критике как полноту издания, так и те археографические приемы, которые были предложены Н. А. Воскресенским⁴¹. Также рецензент указал на игнорирование Воскресенским достижений отечественной археографии. По его мнению, «незнакомство Н. А. Воскресенского с работой советских историков, касающейся выработки правил изданий исторических источников (а такие правила появились в 1919–1945 гг.), привело к тому, что Н. А. Воскресенский применяет свои собственные правила»⁴².

Здесь следует отметить связь А. И. Андреева с отечественной археографической традицией. Ее развитие в начале XX в. было во многом связано с деятельностью его учителя, А. С. Лаппо-Данилевского. Именно под его руководством, в том числе и при участии Андреева, были составлены известные «Правила издания сборника грамот Коллегии экономии», которые, как отмечал С. Н. Валк, превзошли «собой все аналогичные образцы правил издания документов; труд, значение которого для разрешения некоторых общих вопросов археографии далеко выходит за узкие прикладные рамки установления правил издания одного совсем особого фонда»⁴³. Сам Андреев в 1926 г. писал, что «являясь результатом изучения большинства известных опытов этого рода, составленные А. С. Лаппо-Данилевским правила, благодаря своей детальности и отчетливости формулировки, занимают среди правил издания документальных текстов виднейшее место»⁴⁴. Во многом дальнейшее развитие приемов издания источников опиралось на «Правила издания сборника грамот Коллегии экономии»⁴⁵.

В связи с этим А. И. Андреев, подводя итог своим замечаниям, отмечал: «Поставив себя в изолированное положение по отношению к давним нашим археографическим учреждениям и к нашей археографической традиции и пой-

дя по пути поисков новых методов и приемов работы в области публикации документов XVIII в., Н. А. Воскресенский дал пока сборник документов, который своими археографическими приемами вызывает серьезные возражения». По мнению Андреева, у Воскресенского «картины “правотворчества” Петра Великого не получилось, а налицо лишь случайные, иногда интересные материалы для того, чтобы дальше работать над той же темой»⁴⁶.

Таким образом, Н. А. Воскресенский со своим проектом был определен А. И. Андреевым вне развивавшейся научной традиции. Действительно, Н. А. Воскресенский не успел закрепиться в историческом научном сообществе, которое переживало непростые трансформации и после ареста и ссылки С. Ф. Платонова находился в научной изоляции. Его научные замыслы оказались проектами одиночки, которые осуществлялись в свободное от основной работы время. Поддержка, оказанная ему Б. И. Сыромятниковым, пришлось уже на завершающие стадии проекта и была крайне осложнена войной.

А. И. Андреев выступил защитником научной традиции, фактически противопоставив коллективный, признанный научный проект издания «Писем и бумаг императора Петра Великого» «Законодательным актам» Воскресенского. Однако парадокс развития оказался таков, что к настоящему времени издано только 13 томов «Писем и бумаг», хронологически заканчивающихся 1713 г. Неизданными остаются 1714–1724 гг., т. е. самые насыщенные годы с точки зрения написанного и созданного Петром как законодателем. Учитывая принцип сплошной публикации всего написанного Петром с составлением массивных комментариев, неизвестно, на сколько десятилетий может затянуться такая публикация. В то же время тематическая ориентированность подхода Н. А. Воскресенского, при всех недостатках и пробелах издания, создавала убедительную картину законотворческого процесса 1-й четверти XVIII в. С этим необходимо связать тот факт, что историки, профессионально сталкивавшиеся с вопросами истории законодательства Петра I, указывали на важность как изданного Воскресенским, так и подготовленного к печати, но не опубликованного.

Сам Воскресенский в 1946 г. продолжал работать над дополнением томов «Законодательных актов». При этом в письме Б. И. Сыромятникову от 12 августа 1946 г. Воскресенский беспокоился о судьбе второго тома своих «актов». Свою обеспокоенность он связывал с Б. Д. Грековым и его «приспешниками», которых обвинял в том, что они «погубили меня и мою семью голодом во время блокады, так как задержали мои работы и препятствовали их напечатанию». Едва ли стоит понимать эти слова в прямом смысле. Скорее, такими словами и обвинениями была выражена обида за отсутствие поддержки в 30-е гг., эмоциональный отклик уставшего человека, который уже не имел «сил бороться и сражаться за свое дело». В связи с этим, все свои надежды он продолжал связывать с поддержкой, которую ему оказывал Сыромятников: «Прошу по-прежнему Вашей благожелательной и действенной поддержки и помощи, без которой “Зак. акты Петра I” не увидели бы света и не получают дальнейшего движения»⁴⁷. Как оказалось, Н. А. Воскресенский беспокоился не зря. 12 ян-

варя 1947 г. Б. И. Сыромятников умер. Без его поддержки Воскресенскому так и не удалось опубликовать второй том. Сам Н. А. Воскресенский пережил Б. И. Сыромятникова на год с небольшим: он умер 28 января 1948 г.

После смерти Воскресенского так никто и не взялся за завершение издания его «актов». Конечно, некоторые из специалистов, которые знакомились с собранными им, но неизданными источниками по петровскому законодательству, указывали на необходимость издания. Так, в 1968 г. А. Л. Шапиро отмечал, что «к сожалению, издан только один том труда Н. А. Воскресенского»⁴⁸. В 1977 г. Е. П. Федосеева, сотрудница Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, опубликовала краткую биография и обзор рукописного наследия Воскресенского⁴⁹.

Рукописное наследие Воскресенского было использовано при подготовке и издании в 1986 г. четвертого тома многотомной публикации «Российского законодательства X–XX вв.». Т. Е. Новицкая, ознакомившись с рукописью второго тома «Законодательных актов», писала: «Крупный археограф, знаток петровского законодательства Н. А. Воскресенский собрал и расположил архивный материал таким образом, что история принятия и разработки нормативного акта становится ясной до мельчайшей подробности. <...> К сожалению, этот фундаментальный труд до сих пор не издан полностью»⁵⁰.

Уже в постсоветской российской историографии Н. В. Козлова, также ознакомившись с рукописным наследием Воскресенского, отмечала, что «в целом можно сожалеть, что столь ценный для науки труд Н. А. Воскресенского, воплотивший принципиально новую методику издания исторических материалов и не имевший аналогов в отечественной историографии, в основной своей части до сих пор остается не опубликованным»⁵¹. Высоко оценил вклад Н. А. Воскресенского в изучение петровского законодательства другой известный специалист по XVIII в. – Д. О. Серов. При этом Воскресенский был охарактеризован как «незаслуженно подзабытый сегодня ленинградский ученый-подвижник»⁵².

Таким образом, несмотря на большую научную ценность наследия Н. А. Воскресенского, его имя попало в область забвения. Показательно, что в это время издавалось и продолжает издаваться научное наследие российских историков XX в., в частности, С. К. Богоявленского, М. М. Богословского, С. Б. Весловского, С. В. Бахрушина⁵³. Все данные авторы занимали свое почетное место в коллективной памяти исторических корпораций. Николая Алексеевича Воскресенского постигла иная судьба. Выпускник провинциального института, он формально не был ничьим учеником, не попадал в генеалогию какой-либо научной школы. Волею судеб он не смог встроиться ни в одну из профессиональных корпораций историков. Он работал как одиночка и, если бы не помощь Б. И. Сыромятникова, даже первый том его «актов» едва ли был издан. Таким образом, он оказался исключенным из коллективной памяти российских историков XX в., несмотря на свой самоотверженный труд на благо науки.

Подобный случай позволяет поставить вопрос о соотношении коллективной памяти профессиональных корпораций историков и научной значимости

изучения наследия того или иного историка. Вызвана ли публикация научного наследия исследователя, а также проведение мемориальной конференции по изучению его наследия значимостью такового, или это в большей степени связано с местом, которое исследователь занимает в коллективной памяти той или иной профессиональной корпорации историков?

Примечания

¹ Статья подготовлена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры для инновационной России» по теме «Человек в условиях социально-культурных трансформаций российского общества XVII–XX вв.», госконтракт № 14.740.11.0209.

² Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. Редакции, проекты, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники. Т. I. Акты о высших государственных установлениях. М. ; Л., 1945.

³ Федосеева Е. П. Документальные материалы Н. А. Воскресенского в архивных хранилищах Ленинграда и Москвы // Археографический ежегодник за 1976 год. М., 1977.

⁴ См.: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, г. С.-Петербург (далее – ОР РНБ). Ф. 1003. Д. 7, 8.

⁵ См. подробнее о биографических фактах: Федосеева Е. П. Указ. соч.

⁶ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2570. Л. 1; Ф. 1003. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

⁷ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2570. Л. 3.

⁸ Там же. Л. 1.

⁹ Платонов С. Ф. Петр Великий. Личность и деятельность. Л., 1926. С. 32–33.

¹⁰ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2570. Л. 2.

¹¹ Летопись занятий археографической комиссии за 1923–1925 годы. Вып. 33. Л., 1926. С. 61.

¹² Платонов С. Ф. Указ. соч. С. 31–33.

¹³ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2570. Л. 4–5.

¹⁴ Федосеева Е. П. Указ. соч. С. 228.

¹⁵ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2570. Л. 6.

¹⁶ Там же. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

¹⁷ См.: ОР РНБ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 24. Л. 10–15.

¹⁸ Федосеева Е. П. Указ. соч. С. 221.

¹⁹ Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки, г. Москва (далее – НИОР РГБ). Ф. 366. К. 38. Д. 61. Л. 49.

²⁰ ОР РНБ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 8.

²¹ См.: Тихонов В. В. Жизнь и научная деятельность Б. И. Сыромятникова // История и историки : историогр. вестн. 2007. М., 2009. С. 294.

²² Советская историко-правовая наука : (Очерки становления и развития). М., 1978. С. 66.

²³ НИОР РГБ. Ф. 366. К. 36. Д. 21. Л. 110.

²⁴ Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. С. 24.

²⁵ Советское государство и право. 1940. № 11. С. 121.

²⁶ Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. С. 24.

²⁷ Сыромятников Б. И. Рец. на: Н. А. Воскресенский. Законодательные акты Петра Великого. Редакции, проекты, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностран-

ные источники. Т. I. Акты о высших государственных установлениях. Л., 1940. 929 с. (рукопись) // Совет. гос. и право. 1940. № 11. С. 125.

²⁸ НИОР РГБ. Ф. 366. К. 36. Д. 21. Л. 47.

²⁹ Там же. К. 28. Д. 10. Л. 1–2.

³⁰ Там же. Л. 2 об.

³¹ Федосеева Е. П. Указ. соч. С. 229.

³² Валк С. Н. Советские издания документов по истории СССР до XIX века // Ист. журн. 1944. № 4. С. 95.

³³ ОР РНБ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 24.

³⁴ См., напр.: НИОР РГБ. Ф. 366. К. 37. Д. 41. Л. 1–7.

³⁵ См.: Тихонов В. В. Указ. соч. С. 294–304.

³⁶ Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в 1944 г. // Вопр. истории. 1996. № 3. С. 99–104.

³⁷ Письма Анны Михайловны Панкратовой (вступительная статья Ю. Ф. Иванова) // Вопр. истории. 1988. № 11. С. 62.

³⁸ НИОР РГБ. Ф. 366. К. 38. Д. 61.

³⁹ См.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. VII, вып. 2. М. ; Л., 1946. С. IV.

⁴⁰ Сербина К. Н. А. И. Андреев – ученый и педагог : (Из воспоминаний об учителе) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 17. Л., 1985. С. 359.

⁴¹ См.: Андреев А. И. Рец. на: Н. А. Воскресенский. Законодательные акты Петра I. Акты о высших государственных установлениях. Т. I. Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники / под ред. и с предисл. Б. И. Сыромятникова. М. ; Л., 1945 // Вопр. истории. 1946. № 2–3. С. 137–140.

⁴² Там же. С. 140.

⁴³ Валк С. Н. Советская археография. М. ; Л., 1948. С. 44.

⁴⁴ Андреев А. И. О правилах издания исторических текстов // Архив. дело. 1926. Вып. V–VI. С. 98.

⁴⁵ См., напр.: Правила издания документов XVI–XVII вв. // Проблемы источниковедения. Сб. II. М. ; Л., 1936. С. 315.

⁴⁶ Андреев А. И. Рец. на: Н. А. Воскресенский. Законодательные акты Петра I. С. 142.

⁴⁷ НИОР РГБ. Ф. 366. К. 37. Д. 41. Л. 3–4 об.

⁴⁸ Шапиро А. Л. О фундаментальном издании документов «Письма и бумаги императора Петра Великого» // История СССР. 1968. № 1. С. 232.

⁴⁹ Федосеева Е. П. Указ. соч.

⁵⁰ Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 54.

⁵¹ Козлова Н. В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в. : 20-е – начало 60-х годов. М., 1999. С. 34.

⁵² Серов Д. О. Судебная реформа Петра I : Историко-правовое исследование. М., 2009. С. 59. Д. О. Серов ошибочно называет Воскресенского «Николаем Александровичем».

⁵³ См. подробную библиографию: Беленький И. Л. Наследие отечественных ученых XIX–XX вв. – историков России (книги 1950–2004 гг.) // Россия и соврем. мир. 2004. № 4. 2005. № 1, 2.

*Л. А. Сыченкова
(Казанский федеральный университет, г. Казань)*

ФЕДОР ШМИТ: УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Федор Иванович Шмит (1877–1937) принадлежал к плеяде выдающихся русских ученых, творческий расцвет которых пришелся на переломную эпоху русских революций и первых послереволюционных десятилетий. Уже почти сорок лет, как имя Федора Шмита на слуху у византинистов, искусствоведов, историков культуры и музееологов. Почти все исследователи, обращавшиеся к биографии ученого, пытаются понять, почему его оригинальная теория циклического развития искусства оказалась на обочине отечественной науки XX в.

Творческая биография Ф. И. Шмита, уникальность пройденного им пути в поисках новой синтетической методологии в искусствознании позволяет более объемно воссоздать картину взаимоотношений и преемственных связей в научном мире 20-х гг. На основании сопоставления ранее известных и сравнительно недавно открывшихся документов стало возможным откорректировать «затуманенные» фрагменты биографии ученого. Документы раскрывают не только то, что думал Ф. Шмит о своих коллегах, наставниках, учениках, но то, что ему не дано было узнать. Вновь обнаруженные источники позволяют глубже разобраться в коллизиях личной судьбы Ф. И. Шмита, а также частично объясняют причины его забвения.

Итак, кто был среди учителей Ф. Шмита? Среди них были именитые А. В. Прахов, Ф. И. Успенский, П. В. Никитин, Д. В. Айналов и другие. Были среди них и те, кого он считал наставниками «по духу»: кроме Адриана Прахова, следует назвать русского дипломата и коллекционера, ценителя античной древности А. И. Нелидова, лингвиста и культуролога Н. Я. Марра. Своими идейными вдохновителями Ф. Шмит считал Л. Н. Толстого, Дж. Вико, И. Тэна, австрийского востоковеда Й. Стриговского и других.

Учителя Ф. Шмита не только заразили его любовью к науке, но принимали деятельное участие в его судьбе. А. В. Прахов помог ему избежать военной службы, придумав какой-то «пышный титул»¹. Н. Никитин по рекомендательному письму пристроил его к послу в Италии – А. И. Нелидову – в качестве

губернера его сына. Дипломат Александр Нелидов предложил Ф. Шмиту тему первой научной работы – статуэтка Стефануса Праксителя. Русский дипломат А. И. Нелидов преподавал Ф. Шмиту «уроки» этикета и правила поведения в академических кругах. Александр Нелидов дал рекомендательное письмо Ф. Шмиту для поступления в магистратуру к Ф. И. Успенскому¹. Он же одновременно помог Ф. Шмиту «ловко составить письмо» от своего имени к «метру» российского византиноведения, в котором особо «подчеркивалась» любовь и интерес начинающего ученого к русскому искусству. Акцент на «любви к русскому» был важен в этом обращении. Ф. Успенский и институт в Константинополе, которым тот руководил, занимали русофильские позиции. А. И. Нелидов понимал важность «дипломатического подхода», поскольку хорошо знал о «русофильских» взглядах Ф. Успенского¹.

Отношения между Ф. Шмитом и учителями складывались непросто. Если Александр Иванович Нелидов всячески покровительствовал неискушенному юноше, то Федор Иванович Успенский дал своему ученику жесткую школу. С самого начала Ф. Успенский бросил Ф. Шмита «в омут византиноведения», «ожидая» на берегу: выплывет ли ученик, обремененный таким сложным заданием. Ф. Успенский не предложил, а буквально навязал Ф. Шмиту тему о памятнике Кахрие-Джами. Работа над этим памятником стала для молодого ученого трудным испытанием, но результаты исследований, превзошедшие первоначальные ожидания, сделали ему имя в науке. С момента публикации книги о Кахрие-Джами в 1906 г. Ф. Шмит прочно занял почетное место в мировом византиноведении.

Ф. Шмит, при всем почтительном отношении к своему константинопольскому наставнику – Ф. Успенскому, решительно с ним расстался в 1917 г.² Но даже этот разрыв не изменил их уважительного отношения друг к другу: после смерти учителя Ф. Шмит написал прекрасный некролог о своем патроне³. Ф. И. Успенский же до конца дней отзывался о своем ученике в самых положительных тонах, о чем свидетельствовал академик В. В. Струве в письме в защиту репрессированного Ф. И. Шмита.

Ф. Шмит считал, что именно А. Прахов определил его выбор научной специализации – история искусства. «Когда я был еще студентом Петроградского Университета, – писал Ф. Шмит, – я имел счастье слушать лекции по истории искусства профессора Адриана Викторовича Прахова⁴. <...> Вернувшись в Петербург осенью 1897 г., Прахов посвятил первую (вступительную) свою лекцию вопросу: что такое искусство? Это была не лекция, а поэма, и ответа на поставленный вопрос он нам так и не дал». Еще в ранней молодости Ф. Шмит сделал свой сознательный выбор в пользу «искусствоведческой методологии» А. В. Прахова.

Но, несмотря на заботу и участие в жизни Ф. Шмита столь значительных фигур, надо сказать, что строгой научной школы он так и не прошел⁵. И, тем не менее, следует признать, что предпочтение Ф. И. Шмитом того направления, которое представлял А. Прахов в искусствознании, было его сознательным са-

моопределением в науке. «Мои учителя – и те, которых я назвал, и многие другие, о которых я всегда вспоминаю с благоговением и благодарностью, – указали мне путь, по которому я пошел»⁶.

С тех самых пор Ф. И. Шмит считал себя последователем А. В. Прахова. Будучи уже зрелым ученым, осмысливая пройденный в науке путь, Ф. Шмит в статье 1933 г. сформулировал свое отношение к разным методологическим подходам в русском искусствознании⁷.

Ф. И. Шмит по наивности не замечал или старался не замечать, как настороженно следили за его успехами представители старшего поколения: Д. В. Айналов, С. А. Жебелев, Б. В. Формакровский и другие. Многие русские византилисты, в том числе Ф. И. Успенский, Д. В. Айналов, С. А. Жебелев и другие, были «русофилами» по своим взглядам, а Н. П. Кондаков был известен своей «германофобией». Русофильский клан российских ученых сильно недолюбливал немцев, считал их выскочками и «колонизаторами» русской науки и образования. Однако отношение Д. В. Айналова к Ф. Шмиту менялось по мере того, как становились очевидны успехи Ф. Шмита в науке. Уже в 1903 г. Айналов писал о Шмите более благосклонно: «Немец из Археологического института в Константинополе Шмит, которого, говорят, можно было бы взять»⁸. В то же время Сергей Жебелев⁹ своего отношения к Ф. Шмиту не изменил и в дальнейшем, а в 1925 г., с едкой иронией писал Н. П. Кондакову в Прагу: «У нас появилось новое светило – Ф. И. Шмит, тот, кто писал о Кахриэ-Джами. Болтун невероятный и, должно быть, бросил совсем заниматься наукою. Все изыскивает новые методы, или, как у нас теперь говорят, “подходы”. Недавно читал доклад о греческом искусстве, к которому, как он выразился, нужно придумывать какую-нибудь этикетку. Таковою оказалось “движение”, а у всего последующего искусства, оказывается, такую этикеткою служит “пространство”. Тут не без Стриговского, который, стремясь прославиться, всеми и всем недоволен»¹⁰. Таковую характеристику Ф. Шмиту С. Жебелев мог позволить себе, будучи полностью уверенным в том, что Н. П. Кондаков разделяет эти взгляды.

Ф. Шмит прекрасно понимал, что А. В. Прахов не был теоретиком, как и другие его наставники. Поэтому решившись отправиться в самостоятельное плавание в область теории искусствознания, он будет вынужден доверять только своей интуиции и изобретать новые научные подходы. Подлинной научной школой для Ф. И. Шмита стала работа в Константинополе, в процессе которой он познакомился со многими европейскими учеными. Поездки по Европе – Италии, Греции, Германии, раздвинули его представления о памятниках, расширили горизонты научного общения. Тогда Ф. Шмиту удалось установить контакты со многими западными византистами, историками искусства, появились его первые научные публикации за рубежом.

В это время у Ф. Шмита возникла идея определить общую логику развития искусства, ради которой он отказался от почти готовой докторской диссертации по «Византийской монументальной живописи»¹¹. С этого момента Ф. Шмит оказался в научной изоляции: сообщество антиковедов, византинистов его не

принимало; искусствоведы считали, что вместе со своей теорией он «покинул пределы искусствознания». Представленная в 1919 г. в книге «Искусство» концепция Ф. Шмита не вписывалась в предметные рамки ни одной из существовавших гуманитарных дисциплин. Случилось так, что по своим методологическим позициям Ф. Шмит к середине 1920-х гг. оказался «между двух огней». Ни его коллеги, искусствоведы старшего поколения, ни искусствоведы-марксисты ему не верили. «И те, и другие не понимали, почему ученый византолог, профессор, с почтенным уже именем в науке, вместо, того, чтобы заниматься византологией, создает маловразумительные теории с “красным” душком, по мнению одних, и не марксистские, то есть еретические, по мнению других. Первые называли его “красной вороной”, а другие пытались вывести на чистую воду его “антисоветскую идеалистическую сущность” злобной критикой»¹².

Сведения об учениках Ф. Шмита можно почерпнуть не только из воспоминаний дочери, но и из сохранившейся переписки с учениками из архивов Санкт-Петербурга, Киева, Харькова. Современные харьковские историографы¹³ первыми обозначили новое направление в изучении персоналии Ф. Шмита: тему его научной школы¹⁴. Украинские историографы высоко оценивают вклад Ф. Шмита в развитие национального византиноведения¹⁵ и искусствознания¹⁶. Географические истоки такой проблематики имеют серьезные основания, поскольку именно в украинский период, Харькове и Киеве, у Ф. Шмита формируется круг учеников и последователей.

Ф. Шмит, вероятно, притягивал людей своей эрудицией, яркими идеями, глубокими знаниями, влюбленностью в предмет своего исследования¹⁷. По отзывам С. А. Таранущенко, «патрон», как его называли в своем кругу, «был идеальным руководителем своих учеников, уделял им много времени, заботился о них, но никогда не навязывал тем»¹⁸. В этой связи показателен пример В. А. Богословского, который до 1923 г. успешно учился в Чернигове на физико-математическом факультете, но, прочитав книгу Ф. Шмита «Искусство» 1919 г., ушел с третьего курса и в 1923 г. переехал в Киев¹⁹, поступил в Археологический институт, отказавшись от прежней специальности: «Поздней весной 1923 года произошла моя встреча с Федором Ивановичем Шмитом, ознаменовавшая крутой поворот в моей жизни, к этому времени я успел уже прочитать его книгу “Искусство Древней Руси-Украины”. <...> После этой беседы с Федором Ивановичем, личность которого произвела на меня незабываемое впечатление своей доброжелательностью и молниеносным пониманием всего, о чем шла речь, я сразу отказался от мысли закончить физико-математический факультет и подал заявление о приеме в Киевский археологический институт, и стал самым преданным учеником Федора Ивановича»²⁰. «Книга “Искусство” произвела на меня сильнейшее впечатление <...> я сразу убедился в том, что Ф. И. Шмит гениальный ученый, сделавший величайшее открытие законов художественного развития человечества...»²⁰.

«Все его ученики были либо студентами, либо окончили в Харькове университет, или Высшие женские курсы, – писала в своих воспоминаниях дочь

Ф. И. Шмита. – Они часто, как свои, бывали у нас дома и дружили не только с отцом, но и с матерью. Из мужчин хорошо помню веселого, живого и остроумного Дмитрия Ивановича Гордеева, который впоследствии жил в Тбилиси, и молчаливого, застенчивого, скромного Степана Андреевича Таранущенко <...> Оба они стали профессорами. Девушек было много. Запомнились подружки – Алиса Васильевна (Вильгельмовна) Фюннер и Вера Карловна Крамфус, Елена Александровна Никольская и Татьяна Александровна Ивановская, Ксения Акимовна Берладина, Клавдия Рудольфовна Унгер-Штейнберг, Наталья Васильевна Измайлова»²¹.

Рассматривая виртуальный портрет школы Ф. Шмита, удивляешься ее значительному вкладу в отечественную науку и духу новаторства, который сумели сохранить его ученики, несмотря на все испытания, выпавшие на их долю. Ученики расстрелянного в 1937 г. Ф. Шмита, сами не избежавшие репрессий, предпочитали срывать свою принадлежность к его школе, поэтому пока описаны только фрагменты ее истории²².

Чему хотел научить Ф. Шмит своих учеников? В 1925 г. Ф. И. Шмит изложил свои принципы – все выводы должны опираться на детальное изучение памятника. Но «иконографический метод» он считал одним из предварительных этапов работы. Далее предполагалось стилистическое и сравнительно-типологическое осмысление памятника. Ученики своими вопросами также стимулировали Ф. Шмита к постановке сложных проблем: «Почему искусство развивается так, а не иначе? <...> И есть во всем этом правильность и закономерность?». «Вот уже двадцать слишком лет, – писал Ф. Шмит в 1925 г., – как я стараюсь идти все этим самым путем, и до какого-то ответа я дошел – пусть мои ученики пойдут дальше, добудут более глубокий и более полный ответ».

Сегодня известна биография не всех его учеников Ф. Шмита: следы многих теряются. Не исключено, что ученицы дворянского происхождения были репрессированы. Некоторые из учениц, будучи этническими немками, репатриировались в Германию еще в годы Первой мировой войны. Среди них, вероятно, были А. В. Фюннер, В. К. Крамфус, К. Р. Унгер-Штейнберг. Во время блокады в Ленинграде погибла Наталья Васильевна Измайлова²³, которая еще в начале 1930-х гг. была вынуждена сменить профессию искусствоведа-византиниста на библиотекаря.

Характеризуя школу Ф. Шмита, следует отметить ряд ее особенностей. Первое: в школе был научный лидер – Ф. Шмит, признанный авторитет. Второе: географический центр школы постоянно дрейфовал вместе с учителем: из Киева в Харьков, Москву, затем в Ленинград²⁴. Ученики сопровождали своего «патрона» в экспедициях в Крыму, на Кавказе, в республиках Средней Азии. Третье: методологические принципы, «подходы», были определены Ф. Шмитом и предусматривали непосредственное изучение памятника. Ученики осваивали его синтетическую методологию, пытаясь применять ее при изучении конкретных вопросов искусства, в музеологии, при изучении детского творчества. Четвертое: практически никто из его учеников не стал продолжать главное дело учителя – развивать его теорию. На тему «циклической концепции»

было наложено «табу». Сознательный выбор учеников Ф. Шмита в сторону византиноведения, археологии, искусства Древней Руси, истории национальных художественных школ Грузии, Армении, Азербайджана, Средней Азии, истории народного и декоративно-прикладного творчества, музееведения был обусловлен комплексом причин. Многих учеников постигла трагическая судьба – на протяжении 1933 г. была арестована вся харьковская секция искусствознания: они оказались на Колыме, в лагерях Казахстана и Сибири. После реабилитации и освобождения «птенцы» шмитовской школы продолжали работать в отдаленных уголках бывшего СССР: в Грузии, Армению, Осетию, Украине, Азербайджане, Белоруссии. Но после выпавших на их долю испытаний ученики Ф. Шмита были морально сломлены, поэтому многие предпочли заниматься проблемами, получившими официальное признание властей, и это был единственный способ выжить в условиях тоталитарного режима. Большинство учеников Ф. Шмита остались в профессии, что подтверждало их сознательный выбор специальности. Правда, многие сменили направление своих поисков. Среди учеников Ф. Шмита оказалось много личностей ярких и незаурядных, оставивших заметный след не только в гуманитарном знании, но и в интеллектуальной истории страны второй половины XX столетия.

Оправдала надежды своего учителя Елена Эммануиловна Липшиц (1901–1990)²⁵, став крупнейшим советским византинистом, специалистом по истории византийского права²⁶.

Всеволод Михайлович Зуммер (1885–1970) также получил докторскую степень, стоял у истоков ориенталистики в украинском искусствоведении, работая в Азербайджане и в Харькове²⁷. Наследуя от своего учителя склонность к теоретическому осмыслению, В. М. Зуммер²⁸ сумел сделать ряд обобщений относительно роли, происхождения и особенностей искусства тюркских народов.

Студентка Ф. И. Шмита – М. И. Вязьмитина (1896–1994), ставшая затем первой аспиранткой В. М. Зуммера, успешно занималась археологическими исследованиями скифов и сарматов, возглавляя отделы искусства Востока в музеях Киева и Харькова²⁹. М. А. Новицкая продолжила изучение декоративного искусства Древней Руси³⁰. Новую область этнического искусствознания открыла К. А. Берладина³¹, сосредоточив свой исследовательский интерес на материале осетинской техники вышивания.

Киевский студент Ф. И. Шмита – Арнольд Александрович Альшванг (1898–1960), специализировавшийся по теории музыки, стал известным советским музыковедом, доктором искусствоведения (1944)³². О нем с теплотой вспоминала дочь Ф. Шмита в числе прочих киевских знакомых и учеников: «В дом приходили люди, связанные с работой отца. Помню Базилевича, Зуммера и больше всех А. А. Альшванга, который окончил консерваторию, был аспирантом и занимался теорией музыки. Он оживлял мамин рояль, мама на нем не играла – у нее руки были отморожены, и услаждал нас чудесной музыкой»³³. Позднее А. А. Альшванг приобрел известность как исследователь творчества А. Н. Скрябина, Л. Бетховена, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича.

К кругу учеников и последователей Ф. И. Шмита в направлении изучения памятников древнерусского искусства принадлежала и Лидия Александровна Дурново (1885–1963). Хотя надо сказать, что Л. А. Дурново к моменту знакомства с Ф. Шмитом уже имела прекрасную искусствоведческую подготовку³⁴. Но нельзя исключать значительного влияния, которое Ф. Шмит оказал на формирование ее научного мировоззрения. С середины 1920-х гг. Л. А. Дурново тесно сотрудничала с «патроном» в копировальной мастерской в ГИИИ и поддерживала все его новые проекты. Впоследствии Л. А. Дурново также не избежала репрессий, но ей удалось стать известным исследователем искусства средневековой Армении³⁵.

Два последователя Ф. Шмита в области изучения древнерусского искусства, С. А. Тарнущенко и Д. П. Гордеев, отсидев в лагерях, также сменили научное направление. С. А. Тарнущенко сосредоточил внимание на исследовании украинского средневекового искусства и архитектуры. Д. П. Гордеев приобрел известность как крупный кавказовед и византист, специалист по искусству Ближнего Востока и грузинского средневековья.

Виталий Александрович Богословский (1902–1989)³⁶ сделал несколько крутых поворотов в своей профессиональной карьере. Абрис его биографии позволяет согласиться с характеристикой дочери Ф. Шмита: «...человек он был непримиримый и принципиальный»³⁷. В молодости В. А. Богословский, попав под очарование теории Ф. Шмита, сделал решительный кульбит и оказался в числе студентов Киевского археологического института. Но в дальнейшем он ушел и от Ф. Шмита, считая лучшими работами Ф. Шмита «Искусство» 1919 г. и «Почему и зачем рисуют дети», «Живопись, ваяние, зодчество». «В этих работах Федор Иванович в последний раз выступил во всеоружии его огромного искусствоведческого опыта во всем блеске его гениальной одаренности ученого (а также и писателя), концепции которого еще не подверглись деформации под влиянием официального марксизма тех годов»³⁷. После 1926 г. между Ф. Шмитом и В. А. Богословским возникли разногласия по поводу новой периодизации мировой истории искусства по циклам и фазам, они привели к тому, о чем В. Богословский с грустью пишет: «Так я остался на положении ученика Федора Ивановича (по его собственному выражению) вплоть до 1925 г., но не дальше»³⁷. Второй раз В. А. Богословский сменил направление в область архитектуры. После окончания университета В. Богословский работал в Эрмитаже, затем в ГАИМК и наконец, у А. С. Никольского³⁸, в его архитектурной мастерской. В декабре 1937 г. он защитил кандидатскую диссертацию на архитектурную тему. «Таким образом, В. А. Богословский, восхищаясь отцом и его теорией, любя и уважая его, помощником и продолжателем его дела не стал из-за чисто теоретических разногласий с отцом в области его же теории»³⁹. Кроме того, в начале 1920-х гг. В. А. Богословский увлекся антропософией, входил в Петроградскую антропософскую группу⁴⁰. Совмещая работу в области архитектурного проектирования, В. А. Богословский с конца 1940-х гг. преподавал на кафедре истории искусств Ленинградско-

го университета курсы по «Истории русской архитектуры» и «Прикладному искусству»⁴¹.

Но в области теории Ф. Шмита во второй половине 1920-х гг. горячо поддерживал киевский ученик Б. С. Бутник-Северский, он продолжал развивать шмитовскую теорию. Б. Бутник-Северский сохранил письма Ф. И. Шмита к нему 1920-х гг., которые раскрывают характер доверительных отношений. Ф. Шмит делился со своим учеником новыми впечатлениями о поездке в Германию 1926 г. и научными замыслами. На протяжении нескольких лет Б. Бутник-Северский продолжал уточнять «циклы», «фазы», «секунды», опираясь на материалы детского творчества. Ф. Шмит и его ученик находились в это время в заблуждении, что они развивают теорию, тогда как на самом деле все больше загоняли оригинальную идею в тупик схематизации. Б. С. Бутник-Северский свою книгу по детскому творчеству он так и не издал. В 1960-е гг. на Украине он занимался разными темами: от истории украинской графики до народного искусства⁴².

В области музейной теории и практики продолжателями дела Ф. Шмита стали ленинградские ученики Ф. Шмита – С. Гейченко и А. Шеманский. Впоследствии С. Гейченко реализовался в музейном деле, став знаменитым директором Пушкинского заповедника (1945–1989). С. Гейченко вместе со своим коллегой А. Шеманским разработали метод тематического показа и театрализованных экспозиций в музее⁴³.

Подводя итоги обзора «школы Ф. И. Шмита», следует отметить, что все ученики состоялись как прекрасные профессионалы, овладевших в полном объеме методикой типологических обобщений даже при проведении конкретных исследований. В этом состояли «главные уроки мастерства», усвоенные учениками от своего «патрона». Несмотря на то, что среди учеников Ф. Шмита не оказалось прямых продолжателей его теории, поскольку почва для ее реализации оказалась «размыта», а «ростки» новой методологии были уничтожены в 1930-е гг., нельзя считать, что его наработки оказались бессмысленными. Обращение к теории Ф. Шмита спустя несколько десятилетий, в том числе и в лице его непрямого последователя – Р. Б. Климова (1928–2000), свидетельствует о предвосхищении Ф. Шмитом одного из самых перспективных направлений в области теоретического искусствоведения.

Примечания

¹ Шмит П. Ф. Жизнь Федора Ивановича Шмита (1877–1941). Воспоминания о моем отце. Рукопись. Л., 1978 // Российский архив Института истории материальной культуры (РА ИИМК) РАН. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 45. С. 6.

² Причина размолвки была в одном неприятном инциденте. По поручению Русского археологического общества в 1916 г. Ф. Шмит занимался регистрацией и описанием памятников в Трапезунде, вместе со своим бессменным помощником – художником Н. Клуге. По окончании работ Ф. Шмит отправил все документы Ф. И. Успенскому, который официально считался руководителем экспедиции в Трапезунде. После этого начались странные события. Ф. Успенский на запросы Ф. Шмита отвечал, что материалы не получил. В другой раз отказал, мотивируя это тем, что материалы ему были нуж-

ны для подготовки плана экспедиции на 1917 г. Подготовленные Ф. Шмитом рабочие материалы не были опубликованы и бесследно исчезли. Дружба Ф. Шмита с бывшим шефом Ф. Успенским после этого прекратилась. В 1917 экспедиция состоялась, но уже без Ф. Шмита. Его Ф. Успенский не пригласил. См.: Шмит П. Ф. Указ. соч. Л. 45.

³ Шмит Ф. И. Федор Иванович Успенский. Рукопись. 11 июля 1929 г. // Российский архив Института истории материальной культуры (РА ИИМК) РАН. Ф. 55. Ед. хр. 45. Л. 6; Архив Санкт-Петербургского Института истории материальной культуры РАН. Ф. 55. Ед. хр. 11. Л. 1–9.

⁴ Прахов Адриан Викторович (1846–1916), историк искусства, археолог и художественный критик, профессор. С 1875 преподавал в Академии Художеств в Петербурге, в 1887–1897 в Киевском университете. В Киеве руководил сооружением и росписью Владимирского собора, исследовал ряд памятников древнерусской живописи XI–XIII вв., занимался также изучением искусства Древнего Востока.

⁵ Современный украинский искусствовед С. И. Побожий приписывает Ф. Шмита к школе Н. П. Кондакова. Однако основания для таких утверждений выглядят неубедительно. С. И. Побожий представляет себе ситуацию таким образом: «В отличие от Д. В. Айналова и Е. К. Редина, Ф. И. Шмит не был учеником Н. П. Кондакова в прямом смысле слова, но принадлежал к школе Н. П. Кондакова по содержанию задач и решению проблем, которые входили в сферу его исследования». См.: Побожий С. И. Из истории украинского искусствознания. Феномен харьковской университетской школы искусствознания // Собор лиц. СПб., 2006. С. 89.

⁶ Шмит Ф. И. Искусство. Основные проблемы теории и истории. Л., 1925. С. 2–7.

⁷ См.: Шмит Ф. И. Византиноведение на службе самодержавия // Искусствознание. 2010. № 2. С. 586–587.

⁸ Д. В. Айналов – Д. И. Корсакову. 4 ноября 1903 г. // Национальный музей Республики Татарстан. Рукопис. отд. Фонд В. В. Егерова (1866–1956). Д. 12366–3277. Л. 1.

⁹ Известно, что историк античности С. А. Жебелев крайне негативно относился к «немецкой партии», властвовавшей в Эрмитаже (в 1920–1930 гг.). По воспоминаниям Б. Б. Пиотровского, в 1920-е г. разговорным языком в отделе древностей Эрмитажа был немецкий. См.: Пиотровский Б. Б. Страницы моей жизни. СПб., 1995. С. 35, 53–56.

¹⁰ Тункина И. В. Академик Н. П. Кондаков : последние годы жизни (по материалам эпистолярного наследия) // Мир русской византистики : материалы архивов Санкт-Петербурга. СПб., 2004. С. 752.

¹¹ О судьбе рукописи этого капитального труда Ф. Шмита сообщает Е. Ю. Басаргина: «К лету 1914 года рукопись текста находилась в одной из константинопольских типографий, и значительная часть его была набрана и откорректирована, а часть листов даже напечатана. Чертежа, фотографии и акварели были уже воспроизведены венской фирмой М. Яффе, и готовые таблицы доставлены в Константинополь. Осенью 1914 года, после вступления Турции в войну и последовавшего вслед за ним закрытия Института, работа во время спешной эвакуации из Стамбула вывезена не была, таблица и рукопись погибли в Вене во время затопления складов фирмы М. Яффе» См.: Басаргина Е. Ю. Указ. соч. С. 492.

¹² Шмит П. Ф. Жизнь Федора Ивановича Шмита. Л. 67.

¹³ Подъем историографических исследований в Харькове на рубеже 1990–2000-х гг. был связан с подготовкой к празднованию двухвекового юбилея Харьковского университета (1804–2004).

- ¹⁴ См.: Побожий С. И. Из истории украинского искусствознания... С. 86–95.
- ¹⁵ Домановский А. Н., Сорочан С. Б. Харьковская византистика : истоки, история, перспективы // Российское византиноведение : традиции и перспективы : тез. докл. XIX Всерос. науч. сес. византинистов в МГУ. М., 2011. С. 90–96.
- ¹⁶ Филиппенко Р. И. Харьковская школа истории искусства : Е. К. Редин // Общество, среда, развитие : науч.-теорет. журн. 2010. № 1 (14). С. 120–124.
- ¹⁷ С. И. Побожий приводит любопытный документ «обожания» Ф. Шмита его учениками, сохранившийся в Центральном государственном архиве литературы и искусств Украины (Киев). На одном из раритетных экземпляров книги «Из истории Украинского искусствознания» помещена репродукция титульного листа с надписью: «Дорогому патрону от учеников 21.V.1930» с автографами статей авторов сборника: Д. Гордеева, О. Степанова, Е. Никольской, С. Таранущенко, Т. Ивановской, М. Лейтер, К. Берладиной. В киевском архиве сохранилось письмо К. Берладиной к Д. Гордееву от 16 августа 1931 г. «Сейчас мы в Питере. Я, в частности, живу на квартире Patron'a. Елена и Таня (Е. Никольская и Т. Ивановская) в общежитии научных Работников. Подготавливали работу для Горбенко. Между прочим, я была с Patron'ом в Новгороде, до чего достойный городок! У Patron'a настроение – хуже всякой критики. В ГАИМКе ему не совсем везет, а в университете, кажется, часы сильно сократили. Он все мечтает о штатном месте в ВУАНе, но выйдет ли из этого что-либо – неизвестно...». См.: Побожий С. И. Из истории украинского искусствознания... С. 86–95.
- ¹⁸ Шмит П. Ф. Жизнь Федора Ивановича Шмита. С. 80.
- ¹⁹ Там же. Указ соч. С. 81.
- ²⁰ Богословский В. А. Федор Иванович Шмит как теоретик и историк искусства. Его открытия и концепции. Рукопись. Л., 1978. // РА ИИМК РАН. Ф. 55. Оп. 1. Д. 47. Л. 2–3.
- ²¹ Шмит П. Ф. Жизнь Федора Ивановича Шмита.
- ²² См.: Побожий С. И. Из истории украинского искусствознания... С. 86–95.
- ²³ Измайлова Наталья Васильевна (1890–1942) искусствовед, работала в Эрмитаже, затем библиотекарем. В 1912 г. окончила Женский педагогический институт в Петербурге, затем училась в Сорбонне, откуда вернулась в мае 1914 для сдачи государственных экзаменов за курс университета, диплом которого получила в 1915 г. В течение последующих трех лет работала сестрой милосердия сначала на фронте, потом в приютах для детей беженцев в Петрограде. С августа 1917 жила у родственников в Харькове, готовилась к магистерскому экзамену. Вернулась в Петроград в 1919 и в мае этого же года была зачислена в РАИМК. Работу совмещала со службой в Эрмитаже в отделе древностей. Уволена из ГАИМК и Эрмитажа по сокр. штатов соответственно в 1930 и 1931. С 1938 г. работала библиотекарем. Умерла во время блокады в 1942 г. См.: Измайлова Н. В. : 1) Византийская капитель в Херсонесском музее // *Seminarium Kondakovianum*. Prague, 1927; 2) Описание византийских печатей, хранящихся в Академии // *Изв. РАИМК*. Л., 1924. Т. 3; 3) Хроника войны // *РНБ*. Ф. 10/1, 10/2. Л. 123, 124–125.
- ²⁴ Хотя надо сказать, что из украинских учеников в Ленинград за Ф. Шмитом поехали немногие, но связи с «патроном» не прерывали.
- ²⁵ Липшиц Е. : 1) Восстание Фомы Славянина // *Вестн. древ. истории*. 1939. № 1 (335); 2) К истории закрепощения византийского крестьянства в VI в. *Vd*. 1. P. 1–9; 3) Очерки византийского общества и культуры : VIII – первая половина IX века. М. ; Л., 1961.
- ²⁶ В. М. Алпатов назвал Е. Э. Липшиц «византисткой новой, марксистской формации». См.: Алпатов В. М. О матери : (Воспоминания о Зинаиде Владимировне Удальцовой). URL : <http://librarius.narod.ru/personae/zvudal.htm>.

²⁷ В 1920-е гг. В. М. Зуммер преподавал в Киевском археологическом институте, а после его закрытия переехал в Баку. В. М. Зуммер стал профессором Бакинского университета, преподавал в Азербайджанской высшей художественной школе, но не прерывал связей с Украиной. Когда организовалась ВУНАВ, он стал ее активным членом. В. М. Зуммер работал в Азербайджане и в Харькове. Главной темой его исследований было искусство тюркских народов.

²⁸ Зуммер В. М. : 1) Эсхатология Ал. Иванова // Учен. зап. кафедры истории европейс. культуры. Харьковский университет. 1929. Вып. 3. С. 388 // Наше Наследие. 2000. № 54; 2) Ропс, идеология и психология творчества // Искусство в южной России. 1913. № 9–10. С. 426–430.

²⁹ Вязмитина М. И. Сарматское время // Археология Украинской ССР. Киев, 1986. С. 185–187.

³⁰ Новицкая М. А. Золотная вышивка Киевской Руси // *Byzantinoslavica XXXIII*. Prague, 1972.

³¹ См.: Берладина К. А. Орнамент народной вышивки Северной Осетии : дис. ... канд. ист. наук. Тбилиси, 1959; Хохов А. З., Берладина К. А. Осетинский народный орнамент. Дзауджикау, 1948.

³² Жизненный путь А. А. Альшванга был непростым. Учился в Киевской консерватории. В 1914 был сослан в Олонецкую губернию «за неблагонадежность». Киевскую консерваторию окончил уже в советское время – в 1920 г. Учился по классу фортепиано у Г. К. Ходоровского и Г. Г. Нейгауза, Р. М. Глиэра. С 1923 – профессор Киевской консерватории. С 1924 жил в Москве. В 1928–1932 действительный член Государственной академии художественных наук (ГАХН). В 1930–34 преподавал в Московской консерватории. В 1923–1931 – концертировал как пианист. Альшванг А. А. : 1) Идеальный путь Стравинского // Совет. музыка. 1933. № 5; 2) Экспрессионизм в музыке // Там же. 1959. № 1; 3) Место Скрябина в русской музыке // Там же. 1961. № 1; 4) Клод Дебюсси. М. ; Л., 1935; 5) А. Н. Скрябин. М. ; Л., 1945; 6) Бетховен. М., 1952, 1963; 7) П. И. Чайковский. М., 1959. 2-е изд. М., 1967; 8) Избр. соч. Т. 1–2. М., 1964–1965; 9) Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. М., 1963.

³³ Шмит П. Ф. Жизнь Федора Ивановича Шмита. Л. 80.

³⁴ Дурново (псевд.: Дурнова) Лидия Александровна (1885–1963), происходила из старинного дворянского рода. В 1901 г. окончила Орловскую гимназию; в 1901–1903 училась в частной рисовальной школе в Смоленске, с 1903 в Рисовальной школе барона Штиглица в Петербурге. Одновременно училась на Высших женских курсах. С 1916 – студентка РИИИ, с 1918 – в аспирантуре ГИИИ. Окончила Археологический институт (1920–1923). Кроме ГИИИ, работала научным сотрудником по разряду греко-римского искусства художественно-исторического отделения ГАИМК, помощником хранителя в отделе древнерусского искусства Русского музея.

³⁵ Л. А. Дурново была арестована в 1933 г., сослана в Сибирь. Освободившись из ссылки в 1936 г., уехала в Калугу, затем на Кавказ, где занялась изучением древнеармянской живописи. Работала в Музее изобразительных искусств Армении. Дурнова Л. А. : 1) Портретные изображения на первом заглавном листе Чашоца 1288 г. // ИАН АрмССР. Обществ. науки. 1946. № 4 С. 63–69; 2) Краткая история древнеармянской живописи. Ереван, 1957; 3) Очерки изобразительного искусства средневековой Армении. М., 1979.

³⁶ Богословский Виталий Александрович (1902–1989), профессор истории ленинградского университета, антропософ, переводчик трудов Рудольфа Штейнера. О Виталии

Богословском в числе своих университетских наставников вспоминал генеральный директор (1965-2008), а настоящее время – президент Государственного музея-заповедника «Петергоф» – Вадим Валентинович Знаменов. См.: Знаменов В.В. Чтоб не распалось студенческое братство... // Журнал Санкт-Петербургский университет, № 14-15 (3737-3738), 29 июня 2006. См. труды В.А.Богословского: Кваренги – мастер русского классицизма. Л.; М., 1955; Общественная природа и идейная сущность архитектуры русского классицизма последней четверти XVIII века // Ученые записки ЛГУ. Л., 1985; Планировка площади перед Александрйским театром // Архитектурное наследство. Л.-М., 1959, Выпуск 9; Очерк истории тибетского народа. (Становление классового общества). М., 1962.

³⁷ Шмит П. Ф. Жизнь Федора Ивановича Шмита... С. 111.

³⁸ Никольский Александр Сергеевич (1884–1953), советский архитектор. В 1923 г. организовал в Институте гражданских инженеров (ИГИ) творческую мастерскую, сыгравшую значительную роль в развитии и утверждении новых методов архитектурного образования. Его мастерская ограничила свою деятельность узкой специализацией – спортивными сооружениями и стадионами – и полностью сосредоточилась на воплощении единственного грандиозного замысла – создании крупнейшего в Ленинграде стадиона им. С. М. Кирова (1932–1950). В разработке проекта стадиона А. С. Никольского и К. И. Кашина-Линде принимали участие Н. Н. Степанов, В. А. Богословский, А. М. Данилюк, С. Ф. Берсенев, К. И. Дергунов и др. Проект был удостоен Государственной премии в 1951 г.

³⁹ Шмит П. Ф. Жизнь Федора Ивановича Шмита... С. 111.

⁴⁰ Петроградскую антропософскую группу возглавляли Е. И. Васильева (Дмитриева) и Б. А. Леман. В. А. Богословский принадлежал к «младшей ветви» первого поколения русских антропософов. Среди антропософских трудов В. А. Богословского наиболее известные переводы «Тезисы антропософии», «Кармические циклы», драм-мистерий Р. Штейнера, частично отредактировал перевод К. Н. Бугаевой двухтомника лекций Р. Штейнера о «Фаусте» Гёте. Автор оригинального исследования на основе сообщений Р. Штейнера – о двух путях индивидуального оккультного развития.

⁴¹ Знаменательно, что В. А. Богословский стал преподавать на кафедре, которой прежде руководил И. И. Иоффе (1888–1947), отстаивавший те же принципы синтетического искусствоведческого образования, что и Ф. И. Шмит пытался развивать в ГИИИ. После смерти И. И. Иоффе кафедру в 1949 г. возглавил Михаил Константинович Каргер (1903–1976) – специалист по славяно-русской археологии и истории древнерусской культуры и искусства, доктор исторических наук. Он заведовал кафедрой до 1973 г.

⁴² Труды Б. С. Бутника-Северского: Бутник-Северский Б. С. : 1) Об изучении художественной наследия Т. Г. Шевченко в связи с подготовкой издания его произведений // Вестн. АН УССР. 1953. № 6; 2) О городе Белая Церковь // Совет. археология. 1958. № 2. С. 263–267; 3) Украинское советское народное искусство // Советский плакат эпохи Гражданской войны. М., 1918–1921.

⁴³ См. труды С. С. Гейченко и А. Шеманского: Гейченко С. С., Шеманский А. : 1) Петергофский нижний дворец (Бывшая дача Николая II). Л., 1929; 2) Путеводитель по Нижней даче. Л., 1931; 3) Кризис самодержавия : Петергофский Коттедж Николая I. 4-е изд. М. ; Л., 1932; Шеманский А., Гейченко С. Историко-бытовой музей XVIII века в Петергофе : Большой дворец. М. ; Л., 1932.

К. Б. Умбрашко
(Новосибирский государственный педагогический университет,
г. Новосибирск)

**ИСТОРИОГРАФИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА: А. И. АНДРЕЕВ**

Крупным источниковедом и археографом, занимавшимся историографией картографического изучения Сибири, был Александр Игнатьевич Андреев (1887–1959). Его жизненный и творческий путь «навсегда будет служить ярким примером трудолюбия, научной принципиальности, честности, преданности науке»¹. Особое внимание историк уделял изучению исторической географии.

Л. А. Гольденберг наметил в свое время несколько направлений в историко-географических трудах А. И. Андреева. Первое направление – Personalia и исследования по истории русской науки. Это изучение жизни и творчества С. У. Ремезова, В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера, С. П. Крашенинникова, М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева. Второе направление – русские географические открытия XVII–XVIII вв. и экспедиционная деятельность XVII–XX вв. В этих исследованиях ученым уделено особое внимание проблемам истории картографии и картографического источниковедения. А. И. Андреев подчеркивал, что географическая карта, являясь ценнейшим историческим документом, синтезирующим разнообразные данные, служит достоверным источником для ряда дисциплин исторического и географического цикла, применяющих картографический метод исследования. Третье направление – это картографическое источниковедение и история картографии. Сохранившиеся картографические материалы (начиная со второй половины XVII в.) почти без исключения являются чертежами Сибири. Поэтому вполне логично, что четвертым направлением стало источниковедение Сибири².

Сибирские картографические источники имеют большое значение для изучения конкретно-исторической проблематики. Многие страницы трудов А. И. Андреева³ посвящены картам Сибири XVIII в. Рассмотрим основные положения его исследования.

Большое значение имеет собрание материалов первой половины XVIII в., которые отложились в центральных хранилищах в результате работ Второй Камчатской экспедиции 1733–1743 гг. Однако научный интерес к Сибири, к ее прошлому появился еще до того, как Г. Ф. Миллер отправился в сибирское путешествие. К началу XVIII в. присоединение северо-восточной Сибири русскими было закончено, остался не присоединенным к Русскому государству лишь Чукотский полуостров. Усилия промышленных и служилых людей в начале XVIII в. стали направляться на освоение островов, лежащих у берегов Якутии в Северном Ледовитом и Тихом океанах, и, в частности, к югу от Камчатки – Курильских. Описания походов служилых и промышленных людей на прибрежные острова Северного Ледовитого и Тихого океанов и составленные тогда чертежи в большинстве своем до нас не дошли, но сохранившиеся карты: И. Львова (1710 г.), Ф. Бейтона (1710–1711 гг.), Я. Елчина (1719 г.) – составляют комплекс ценных источников по истории северо-восточной Сибири и Якутии⁴. В 1718 г., когда Петр I мог уделить внимание внутренним делам, он решал вопросы о посылке нескольких экспедиций в Сибирь: одной большой, с целью длительного изучения Сибири, и двух других, перед которыми ставились задачи: 1) выяснить, соединяется ли Азия с Америкой; 2) узнать, нельзя ли из верховьев Иртыша пройти в Индию, где, как думали, имеются большие россыпи нужного стране золота⁵.

Большая экспедиция Д. Г. Мессершмидта, отправленная в Сибирь в 1719 г., собрала обширные материалы. Состоялось решение о посылке геодезистов Ивана Евреинова и Федора Лужина для исследования Курильских островов. Геодезистам поручалось решить вопрос: сходится ли Азия с Америкой. Экспедиция Евреинова-Лужина составила карту Сибири, Камчатки и Курильских островов.

По возвращении из экспедиции Евреинов вручил свою карту лично Петру Первому в Казани, когда тот направлялся в 1722 г. в Персидский поход. К концу 1723 г. выяснились результаты еще двух экспедиций в Сибирь. После первой экспедиции в верховья Иртыша (экспедиции И. Д. Бухгольца) была составлена карта этих мест. Сопровождавший Лихарева геодезист Петр Чичагов на основании расспросов и личных наблюдений составил карты верховьев Иртыша, которые и являются самыми ранними русскими картами этих мест.

По окончании этой экспедиции состоявший при Лихареве геодезист П. Чичагов был послан в 1721 г. в Тобольск и в течение следующих 4–5 лет работал по описанию северной части Тобольской, а затем Енисейской провинции и, наконец, южной части Западной Сибири. Составленные им четыре карты поступили в 1725 г. в Сенат, а в 1726 г. были переданы в Академию наук.

Описание Чичагова было начато тогда, когда на север Тобольской провинции направлялась специальная экспедиция, которой Петр I поставил задачу – попытаться из устьев Оби пройти насколько возможно далеко на восток. Из свидетельств современников Петра I ясно, что вопросы, касавшиеся сношений со странами Средней Азии, Индией и т. п., обсуждались в кругу лиц, близких к Петру, и находили у него самого и у его приближенных (Брюс, Вольтер, Соймонов и др.) живой отклик.

Экспедиции 1718–1722 гг. к 1724 г. дали только одну карту Сибири и Камчатки – И. Евреинова, прочие оставались на местах или в частных руках.

В декабре 1724 г. секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов донес Петру I, что Генеральная сибирская карта еще не составлена, а имеется несколько карт отдельных частей Сибири. Получив это сообщение И. К. Кирилова, Петр I велел соединить имеющиеся карты отдельных частей Сибири на один лист и объявить, «что то воля Его Величества». «Через одну ночь» Кирилов «своеручно нарисовал» сводную карту и представил ее Петру, который ее «изволил к себе взять»; позднее Кирилов, будучи в Москве, видел свою карту у Я. В. Брюса, который сообщил, что получил карту от самого Петра «для скопирования».

Существует позднейшая редакция этой карты с дополнениями, сделанными Кириловым в 1726 г. на основании бесед с А. Ф. Шестаковым. Якутский казначий голова А. Ф. Шестаков прибыл в Петербург в начале 1726 г., и здесь он показывал карты (очевидно, составленные кем-либо другим, так как сам Шестаков был человеком неграмотным), на которых в соседстве с крайним северо-востоком Сибири был обозначен берег Большой Земли. Сохранилось несколько экземпляров этой карты, на одном из них имеется надпись: «Сию карту сочинил иакутский житель Афанасий Феодотович Шестаков». На карте Шестакова в Северном Ледовитом океане напротив устья Колымы изображен остров, на котором живут «на своей области шелаги, их князь Копай называется». Известия о Копее и об острове напротив Колымы действительно были доставлены в Якутск в 1723 г. сыном боярским Федотом Амосовым и промышленным человеком Иваном Вилегиным; последний рассказывал, что в 1720 г. он по льду ездил с устья р. Чукочьей, что к западу от Колымы, на остров, который в ясные дни виден в устье р. Чукочьей.

Из расспросов А. Ф. Шестакова и на основании его карты И. К. Кирилов внес в свою карту северо-восточной Сибири 1724 г. некоторые дополнения и исправления. Но карта Кирилова, по-видимому, мало удовлетворила Петра I, который именно в декабре 1724 г. решил отправить на Камчатку новую экспедицию.

Задачи первой экспедиции Беринга были указаны Петром. Помимо научных целей, первая экспедиция Беринга преследовала и торговые цели – установление связей с испанской Мексикой, откуда шло драгоценное для страны золото.

В XVIII в. собирание материалов о Сибири в значительной мере связано с пребыванием здесь пленных шведов, которых с 1711 г. стали расселять по разным городам этого региона. Среди них было много образованных людей разных специальностей, которые в месте своего невольного поселения до 1722 г., когда им было разрешено вернуться на родину, собирали о Сибири сведения. Собранные шведами географические известия о Сибири были использованы в западноевропейской картографии для издания более точных карт Сибири.

Особая роль в развитии картографии Сибири принадлежит Филиппу Иоганну фон Страленбергу (1676–1747), который около десяти лет прожил в Тобольске (1711–1721). Страленберг преимущественно интересовался географией

Сибири и к 1715 г. приготовил первую карту Сибири, которая была украдена во время бывшего в этом году в его доме пожара. Страленберг после кражи первой карты взялся за составление новой, но в 1718 г. она была отобрана от него кн. Гагариным, сибирским губернатором, запретившим ему, под угрозой ссылки на Ледовитое море, заниматься картографией. Страленберг вернулся к этим занятиям уже после увольнения Гагарина.

Копия карты 1718 г. попала в руки царя Петра I, который приказал, если явится за нею неизвестный сочинитель карты, представить его себе. Об этом повелении стало известно Страленбергу; по его словам, он старался еще более усовершенствовать свою новую карту Сибири, за составление которой принялся вскоре после 1718 г. Прибыв в Москву в 1722 г., он поднес царю новую карту Сибири, которая так понравилась Петру I, что Страленбергу было предложено начальство над землемерной частью, от чего он, однако, отказался.

Для своей третьей карты Сибири, которую он увез с собою в Швецию, Страленберг использовал те чертежи Сибири, которые были получены им от С. У. Ремезова или от его сыновей; он внес некоторые исправления, сделанные на основании известий, собранных им во время путешествия по Сибири в 1721–1722 гг.

В феврале 1722 г. Страленберг прибыл в Красноярск, откуда был послан в Енисейск; по возвращении в Красноярск он уехал в европейскую Россию, а затем на родину. Во время этих путешествий он собрал новые материалы, которые явились важным дополнением к полученным им в Тобольске, Томске и Красноярске.

Особенно тщательно отмечены Страленбергом на его карте народы Сибири. По Уралу показаны вогулы, в истоках Иртыша и Оби – «*ropulī Kankaragai*», на Оби – телеуты, мрасы, затем татары, которых он делит на татар абинцев на Томи, чатских татар, чулымских татар с ачинцами – по течению Чулыма. Остяки делятся на нарымских, сургутских, обских, иртышских, казымских, ляпинских, обдорских и надымских. По течению Селенги – монголы, по берегам Байкала – буряты. Прибайкалье и верховья Амура составляют Даурию. Часть Енисея принадлежит тунгусам и оленным тунгусам. Самоеды занимают весь север до Хатанги. По течению Лены – тунгусы, собачьи тунгусы и в нижней части – якуты. По берегам Ледовитого океана к востоку от Лены находим не столь подробные сведения.

Карта Страленберга, по мнению Андреева, – одна из лучших иностранных карт Сибири XVIII в.; для нее использованы такие ценные русские источники, как чертежи С. У. Ремезова, исправленные и дополненные во время путешествия Страленберга по Сибири вместе с Д. Г. Мессершмидтом. Впервые на карте Страленберга показана напротив Чукотки часть Америки как неизвестный остров. Представляют интерес карта Енисея, камни с древнетюркскими надписями, изображения шаманских бубнов и божков-покровителей и др.

Труд Страленберга «Историческое и географическое описание полуночно-восточной части Европы и Азии» (русский перевод был опубликован в 1797 г.)

содержит в себе много новых и ценных сведений о России и Сибири. Основной недостаток труда состоит в том, что автор, не зная хорошо русского и других языков народов России и Сибири, часто использует филологические рассуждения, столь характерные для историков XVIII в. И уже в XVIII в. его за это справедливо укоряли Миллер и Гмелин. Считая критику основательной, следует признать достойной внимания попытку Страленберга выяснить на основании языковых данных этнические отношения сибирских и восточнорусских народов, а встречающиеся в труде материалы – ценным научным источником⁶.

В своем труде Страленберг сообщает много сведений о сибирских народах: барабинских татарах, даурах, якутах, юкагирах, камасинцах, канских татарах, коряках, остяках, тунгусах и др. На карте показаны места их обитания.

У Страленберга впервые собраны известия о плаваниях русских к востоку от Лены; соответствующее место в его труде, где он говорит об этом, заслуживает внимания тех, кто интересуется историей плавания в Северном океане.

Широкая известность труда Страленберга в XVIII в., его научное значение остается актуальным и сегодня⁷. Научная биография исследователя стала предметом специального изучения.

Примечания

¹ Гольденберг Л. А. Александр Игнатъевич Андреев как историко-географ // Вопросы истории Сибири досоветского периода (Бахрушинские чтения, 1969). Новосибирск : Наука. Сиб. отд-е, 1973. С. 288.

² Там же. С. 289–291.

³ Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 2. XVIII век (первая половина). М. ; Л. : Наука, 1965.

⁴ Андреев А. И. Изучение Якутии в XVIII в. // Учен. зап. Якут. филиала АН СССР. Якутск : Ин-т яз., лит. и истории, 1956. Вып. IV. С. 3–4.

⁵ Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 2. С. 13.

⁶ Там же. С. 43.

⁷ Новлянская М. Г. Филипп Иоганн Страленберг. М. ; Л., 1966; Грищев В. А. Карта Сибири Филиппа Иоганна фон Страленберга // Краеведческие записки / Иркут. обл. краев. музей. Иркутск : Изд-во Ин-та географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2007.

*Д. М. Колеватов
(Омский госуниверситет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск)*

***ПЕРЕИЗОБРЕСТИ СЕБЯ: ДВЕ СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТНОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СОВЕТСКОГО
ИСТОРИКА (М. А. ГУДОШНИКОВ И С. А. ПИОНТКОВСКИЙ)¹***

В ходе построения нового общества, как указывает Шейла Фицпатрик, «было необходимо переизобрести себя в качестве советского гражданина и – еще более настоятельно – установить приемлемую классовую идентичность»². Конструирование активного советского субъекта осуществлялось в различных вариантах, на основании различных поведенческих стратегий, личностно опосредовалось. Частью процесса субъективизации для деятеля науки советского периода было выяснение/определение/обретение более или менее наглядного представления о собственной профессии, выяснение экзистенциального вопроса о своем месте в этом мире через отношение к своей науке, через личный опыт социального и научного позиционирования. При этом важно учитывать, что объективное содержание науки и ее восприятие/оценка/образ в историографической практике выступают в нерасчлененном виде, как единство взаимосвязанных сторон научного процесса. Каждая из этих сторон для нас ценностно-информативна, и личностные варианты представления о научности мы можем попытаться реконструировать, анализируя как творчество историка (объективация образа), так и его субъективно-рефлексивные попытки осмысления этого творчества, его природы, целей, социальной роли, социокультурного контекста ее развития, ценностно-этических норм. И, разумеется, размышления (часто горестные) о соответствии реального состояния науки, профессиональных и личностных характеристик ее представителей абстрактно-желанному ее образу.

Этот образ с его иерархией обязательных догматизированных характеристик (партийность, научность, историзм и т. д.) не без основания заслужил определение «клишатника». Проблема для нас, однако, в том и заключается – какое место эти клишированные определения занимают в научной деятельности и жизненном мире историка, в выявлении «горизонта возможностей» его лично и науки в целом. И что, собственно, более плодотворно (да, пожалуй, и

безопасно) – стараться рефлексивно приблизиться к этому горизонту или проактивно дистанцироваться от него?

Рассмотрим имеющиеся варианты. Вариант первый – более привычный и отраженный в литературе – гуманитарий, «умеющий дышать под водой», гнуть свою линию, выполнять профессиональный долг вопреки или в обход официальных идеологов. Но даже в этом случае личностная нетривиальность обращения с указанными идеологами не означала разрыва с советским историографическим дискурсом, скорее свидетельствовала о поливариантности образов науки в этих дискурсивных рамках. «Под» или «над водой» дышать можно было лишь воздухом своей эпохи.

Диалогическое взаимодействие с эпохой, позволяющее сформировать собственное мирозерцание, собственные образы мира и науки, присуще жизни и творчеству иркутского историка М. А. Гудошникова (1894–1956 гг.). Собственно, создание образа науки является частью процесса самоидентификации нашего героя. Этот процесс, по понятным причинам, весьма динамичен на начальном, «формирующем» этапе его научной деятельности (1920-е гг.). В рамках советского историографического mainstreama молодой историк-марксист последовательно примеряет роли критическо-нигилистическо настроенного краеведа-бытописателя (применительно к дореволюционной истории Карелии), ревностного, хотя и не вполне ортодоксального, сторонника теории торгового капитализма, методолога, озабоченного вопросами завершения марксистского философского проекта (социологической его части)³. Дискурсивные рамки, в которых Гудошниковым осознается/трансформируется образ исторической науки, определялись не только «рефлексом идеологии победившей партии», но и общей социокультурной ситуацией, «принципиально лишенной исторического измерения». Социологическая завроженность, свойственная эпохе, безусловно, разделяется им. Он полагает, что задача истории ясна – открытие социологических законов, т. е. законов развития общества.

Но уже на этом этапе его научного и жизненного пути «клубок начинает разматываться в обратном направлении» – от сатирически-иронического, публицистического рассмотрения дореволюционной социальной реальности он переходит к собственно историческому. Теория торгового капитализма, в рамках которой происходит этот переход, скоро также перестает его удовлетворять, так как она явно недооценивает влияние духовного климата («жизненного шума, идейного узора эпохи») на общественное развитие. Переосмысливается Гудошниковым и отношение к марксизму – неизбежное официальное признание марксистской доктрины сочетается у него с довольно очевидными народническими пристрастиями. Довольно рано Гудошников приходит к скептицизму относительно возможности познания глубинных оснований исторического процесса как на базе марксистской методологии, так и на иных методологических основаниях. В «сухом остатке» после этих методологическо-личностных трансформаций остается своеобразный позитивизм на советской почве, профессионализация в специфически советских формах. Зрелый и признанный

(по крайней мере, в рамках сибирской региональной историографии, иркутского культурного гнезда) Гудошников старается совместить научную значимость и социальную востребованность, профессионализировать социальный заказ, защитить сформировавшийся советский историзм от экспансии со стороны смежных областей гуманитаристики. Процесс переизобретения себя как советского гражданина в варианте Гудошникова создает историка-профессионала, соавтора-интерпретатора марксистского проекта на отечественной почве. Многими из знавших Гудошникова он воспринимался как живой образ истинной науки.

Второй вариант идентификации по-советски, при котором акцент делается не на профессионализм, а на «классовую идентичность», стопроцентную «советскость», представлен, на мой взгляд, поведенческой стратегией известного советского историка С. А. Пионтковского (1891–1937). Обратимся к уникальному источнику – «Дневнику С. А. Пионтковского», который ввел в научный оборот казанский историк А. Л. Литвин⁴.

Для Пионтковского характерно постоянное стремление понять логику жизни/власти/науки, фиксация нестыковки между этой вроде бы улавливаемой логикой и научной и житейской конкретикой. Это проявляется в его отношении к старой профессуре, в котором не только и даже может быть не столько сквозит ненависть к буржуазным историкам (хотя и это, конечно, имеет место быть), сколько проявляется кризис идентичности самого Пионтковского, его неумение войти в образ дореволюционной науки, наладить содержательный диалог с ее представителями. Пионтковский искренне не понимает, как совместить новую социальную реальность и классический профессионализм старой профессуры: «почему они не эмигрируют, почему остаются в России? Ведь в большинстве это очень крупные специалисты в своей области, и в любом буржуазном университете и Петрушевский, и Довнар-Запольский, и тот же Петров получили бы и кафедры, и заработок, и положение»⁵. Он с тревогой видит и признает, что без постоянной борьбы, репрессивно-ограничительных мер по отношению к «матерым волкам» старой профессуры в современной ему историографической ситуации постоянно будет воспроизводиться прежний, дореволюционный образ науки, укорененный и в науке, и в обыденной, повседневной жизни.

При избранном Пионтковским варианте социального позиционирования крайне сложным для него оказывается путь «позитивной самоидентификации». Безусловно, социально лояльный, ориентированный на идеальный образ новой науки и ее деятелей («цвет науки и цивилизации»), он в то же время контекстуально наблюдателен, чуток к жизненному шуму, идейному узору эпохи, находит прямо-таки талантливые, очень запоминающиеся определения для фиксации противоречия между идеалом и жизнью: «До 4-х социализм строят, а после четырех – разлагаются, отдыхая от трудов праведных». Пионтковский тонко фиксирует фантастический, прямо-таки гоголевский («из Ревизора») колорит основанной на этом противоречии социальной реальности: «... жизнь не действенная, а какая-то кинематографическая»⁶.

Оппозиция 'свой – чужой' не доводится Пионтковским до логического конца, безусловного советского автоматизма, презумпции виновности тех, кто не вписывается в политический *mainstream* периода становления сталинизма. Социально маргинализирующиеся, «промахнувшиеся в исторических ощущениях» могут быть не во всем безусловно неправы и, в любом случае, способны вызывать уважение своей политической и нравственной стойкостью.

Пионтковский достаточно объективен, способен в полемике с нападающими на него «с величайшей яростью студентами – сторонниками Троцкого – заявить: Троцкого ставлю выше, чем они, и считаю, конечно, что Троцкий представляет, несомненно, резко выраженное и очерченное течение социал-демократической мысли». В рабочей аудитории ему приходится вступать в полемику и по более общим, предельно политически заостренным вопросам, которые «ребята-агитаторы с фабрик и заводов <...> ставят резко и ребром – выполнили ли мы на практике те задачи, которые стояли перед Октябрем <...> будут ли и после десятилетия Октябрьской революции нехватки и недостатки в промышленных продуктах и продуктах питания»⁷. Он способен объективно-уважительно констатировать смелость и принципиальность отважной девушки – сторонницы оппозиции, «которая очень спокойно и резко заявила о своей принадлежности к троцкизму <...> и бросила всем нам в глаза заявление, что мы защищаем интересы, чуждые пролетарскому классу»⁷, равно как и разделяющих ее взгляды – «из партии исключили человек восемь, все ребята стойкие, один, краснознаменщик, очень умный парень». Произнесенную последним «политическую речь, в которой доказывалось, что метод исключения – не метод политического действия, что с политической точки зрения оно мертвит и убивает партию», Пионтковский признает великолепной⁸. И в тоже время – и в этом противоречивость его позиции – морально-привлекательное рассматривается Пионтковским как исторически обреченное, пережиток мирозерцания «буржуазно-демократического демократизма» [так в тексте. – Д. К], противостоящего традициям «старого большевизма».

Репрессивность рассматривается Пионтковским не только как условие, но и как несомненный показатель успешности социалистической трансформации: «успех строительства социализма сопровождается усилением жестокости пролетарской диктатуры». И поскольку эта жестокость социально-благотворительна, то, по логике рассуждений Пионтковского, «ее <...> совсем не должны замечать сторонники пролетарской диктатуры, ее служители, ее борцы, непрерывно растущие в своем числе»⁹. Установки такого рода носят характер труднореализуемого социального заклинания, попытки «стереть сущность», уговорить/обязать себя избавиться от лично- и профессионально-присущей цепкой наблюдательности. Пионтковскому все-таки трудно примириться с ситуацией, «когда заявление своего мнения, почему бы то ни было не совсем согласного с официальной точкой зрения, вызывает весьма косое отношение»¹⁰. Он, как представляется, просто не в состоянии перестать быть внимательным наблюдателем, историком/современником, чье обостренно-критическое восприятие

окружающей действительности подпитывается зыбкостью социального позиционирования (своеобразный Даниил Заточник эпохи раннего сталинизма).

При рассмотрении «реальной социальности», окружающей подробной жизни Пионтковский руководствуется присущей духовной атмосфере эпохи (в особенности в марксистском ее варианте) «герменевтикой подозрения», уйти от которой также, по-видимому, не в силах. Пионтковский фиксирует/конструирует запоминающиеся образы окружающей его социальной реальности («партийные сановники <...> аристократия», которая «ни в одной, пожалуй стране не поставлена так крепко и в высоко привилегированные условия, как у нас»¹¹, вспоминающий о расстрелах белых офицеров чекист – «из себя весь шуплый, жидкий, только в глазах какая-то кровожадность, чертовщина»¹². Рассказывал чекист о кровавых эпизодах своей биографии «с таким наслаждением», что сумел напугать Пионтковского: «...мне стало страшно, а вдруг он опять кого-нибудь начнет расстреливать». И, разумеется, не может не быть отмечена им труднопереносимая тяжесть советского быта: «...а хотя мы и строим сейчас социализм, а еду доставать все труднее становится»¹³. Состояние быта (а эта тема для Пионтковского является одной из наиболее болезненных) и приводит его к выводу, зафиксированному в дневнике 31 марта 1931 г., «что до полного социализма нам еще далеко. Слишком уж наш быт консервативен, мало в нем социалистического. Ну, что внесено в быт нового. Вместо попов на похоронах играет военный оркестр, вместо свадьбы в церкви ходят в загс, вместо аборт – презервативы. Ну и все. Живут по-прежнему. Накопленный предыдущим поколением капитал – дома, постройки, города – давит своей тяжестью, держит в объятиях буржуазно-индивидуалистического хозяйства»¹⁴.

В обстановке внутринаучных дрызг («...меня, – пишет Пионтковский, – из Ленинского института выставили с треском») состояние быта рассматривается им, по сути дела, как наиболее общая характеристика социальной реальности, а размышления на эту тему носят мрачно-безнадежный характер о неискоренимости в советском обществе «правой опасности», своего рода социальном тупике. «Правые настроения, – пишет Пионтковский в декабре 1928 г., – отливаются в какой-то дикий и уродливый быт, быт рвачества и неприкрытого насилия, могущего расцвести и вырасти только в обстановке отсутствия всякой гласности, всякого контроля, огромной и безответственной власти и полного бессилия оказать пользующимся этой властью хоть какое-нибудь сопротивление»¹⁵. Историк, по сути дела, конструирует концепцию непрекращающейся борьбы двух типов социальности внутри страны – социалистической и капиталистической, причем последняя трактуется предельно расширительно (от индивидуалистических настроений, индивидуального и группового эгоизма, пережитков «буржуазного демократизма» в политике, науке и искусстве до действительных или мнимых заговоров против власти). Пионтковский выступает последовательным и весьма радикальным сторонником «жесточайших перемен» в науке, которые трактуются им как часть социалистического наступления. Эти пере-

мены рассматриваются Пионтковским в плане социальной роли науки («наука служит массам»), организационном плане («физическими носителями науки становятся огромнейшие коллективы», «индивидуалист, кустарь-одиночка в науке сейчас недоразумение»¹⁶). Наконец, с его точки зрения радикальная трансформация должна произойти с самим содержанием научных исследований: «в прошлое начинает отходить деление истории на историю России и Запада. Вместо этого появляются специалисты по империализму, торговому капиталу, промышленному капиталу, люди с новыми теоретическими установками и новыми комплексами фактов <...> в типологических разрезах у нас растут узкие специалисты»¹⁷. Реалии научного сообщества, увы, не вполне подтверждают прогнозы чрезмерно увлекающегося Пионтковского – традиционное деление на историю России и Запада сохраняется, между научными коллективами, как признает и он сам, «грызня идет в самых уродливых формах <...> как-то странно переплетаются политика и шкурничество»¹⁸.

Базовое недоверие к «неправильной» социальной реальности позволяет Пионтковскому принимать и оправдывать «репрессивно-исправляющий» курс власти, придерживаться официальной версии событий, внося от себя разве что профессиональную оранжировку историка-марксиста (печально знаменитый тезис об обострении классово-борьбы по мере продвижения к социализму коррелирует с его личностным мировосприятием). Такой симбиоз официального и личного определяет восприятие Пионтковским политических процессов сталинской эпохи, в том числе и направленных против коллег историков («академическое дело», расправа над Д. Б. Рязановым и т. д.)¹⁹.

Для автора дневника универсальным объяснением происходящего является концепция обостряющейся борьбы между буржуазным и социалистическим обществом как внутри страны, так и на международной арене. Пионтковский принадлежит к поколению, пережившему грандиозные социальные катаклизмы и жившему ожиданием новых. Представления о постоянной угрозе войны, капиталистической реставрации, возможности форсированного (10 лет) строительства социализма и скорой победы мировой революции во многом определяли духовную атмосферу эпохи (недаром, представляется, избравший во многом иной вариант социального позиционирования М. А. Гудошников марксизм этой эпохи сравнивает с теорией катастроф Кювье). Пионтковский именно логикой социальных потрясений, катастрофизмом политической борьбы объясняет разгромно-проработочные кампании конца 1920–1930-х гг.: «Эта волна проработок, коснувшаяся идеологов, которые в течение 10 лет считались или близкими, или совсем марксистами, чрезвычайно социально знаменательна <...> старые идеологические установки, бывшие 10 лет тому назад приемлемыми, сейчас становятся тормозом строительству социализма и иногда и прямо враждебным ему»²⁰.

Оказавшись, в конечном счете, не в состоянии наладить конструктивный диалог с политическим режимом (что закончилось для ученого трагически), приобретавшим все более репрессивный характер, Пионтковский никак не мо-

жет устойчиво позиционироваться в научном пространстве советской гуманитаристики, обрести внутренне приемлемый для него образ советской исторической науки, утвердиться в сделанном им жизненном выборе («не надо было заниматься историей, не надо было заниматься наукой»). Как внимательный и достаточно квалифицированный наблюдатель, Пионтковский фиксирует такие черты новой научности, как ограниченность когнитивных возможностей («мы <...> не можем дать анализ воспроизводства всего буржуазного мира в целом»²¹), очень далекий от идеала профессиональный и моральный облик ее представителей, опасную (и тут предчувствие его не обмануло) зависимость от политических проработочных компаний. С. А. Пионтковский был арестован 7 октября 1936 г. по обвинению в том, что, являясь членом контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации, вел подготовку к совершению теракта против Сталина²². Как отмечает А. Литвин, «в последнем слове на суде Пионтковский признал “виновность” только своего Дневника: сам никогда не был троцкистом, но в дневнике “излагал свои антипартийные контрреволюционные взгляды”». 8 марта 1937 г. Пионтковский был расстрелян вместе с другими историками, объединенными следователями в одну террористическую организацию²³.

Представляется, что из двух рассмотренных нами вариантов социального и профессионального позиционирования вариант С. А. Пионтковского был более последовательно советским. В этом варианте соседствовали «вера в революцию и Сталина, классовую сущность бытия» и весьма критическое отношение ко многим реалиям современного ему общества, коллегам по профессии («все историки наши жулики»), знаковым фигурам советской эпохи. Пионтковский стремится совпасть в профессиональном и личностном плане с «происходящей в стране изумительно грандиозной стройкой», и оказывается не в состоянии сделать это. «Мальчик из гуманитарной семьи», как он сам называет себя на страницах дневника, образованный и классово последовательный историк-марксист отстает, по собственному признанию, от логики жизни и все менее оказывается способен понять логику власти.

Вариант самореализации деятеля науки, представленный А. М. Гудошниковым, на наш взгляд, является менее социально уязвимым и более профессионально продуктивным, он в значительно большей степени социально локализован, внутренне независим. Осуществив в размышлениях для себя, в «Подневных записях по вопросам истории», скептически-рефлексивную разметку поля профессиональной деятельности, он избирает путь внутрипрофессиональной реализации.

Итак, нами представлены две поведенческие стратегии, которые по большому счету проявляются и в различных типах дискурса – научно ориентированном и социально ориентированном²⁴. Но этот сюжет нуждается в специальном исследовании.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02.740.11.0350.

² Sheipela Fitzpatrick. Making a Self for the Times : Impersonation and Imposture in 20-th – Century Russia // *Kritika*. 2001. Vol. 2, No. 3. P. 469.

³ См. подробнее: Колеватов Д. М. : 1) Исторические взгляды М. А. Гудошникова // История и историки. 2001 : историогр. вестн. М. : Наука, 2001. С. 228–241; 2) Творчество А. М. Гудошникова в 40–50-е годы XX века // Вестн. Челяб. гос. ун-та. История. Вып. 20. 2007. № 11. С. 84–96.

⁴ Дневник историка С. А. Пионтковского (1927–1934) / отв. ред. и вступ. статья А. Л. Литвина. Казань, 2009. 516 с.

⁵ Там же. С. 222.

⁶ Дневник историка С. А. Пионтковского... С. 74.

⁷ Там же. С. 81.

⁸ Там же. С. 82.

⁹ Там же. С. 83.

¹⁰ Там же. С. 93.

¹¹ Там же. С. 100.

¹² Там же. С. 101.

¹³ Там же. С. 189.

¹⁴ Там же. С. 412.

¹⁵ Дневник историка С.А. Пионтковского... С.216-217.

¹⁶ Там же. С.254-255.

¹⁷ Там же. С. 254.

¹⁸ Там же. С. 255.

¹⁹ Там же. С. 255–259.

²⁰ Там же. С. 428.

²¹ Там же. С. 223.

²² Литвин Алтер. Дневник историка : предисл. к публ. // *AV IMPERIO*. 2002. № 3. С. 427.

²³ Там же. С. 429.

²⁴ Подробнее об этом см.: Маловичко С. И. Историописание : научно ориентированное vs социально ориентированное // *Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин*. М., 2010. С. 21–28.

Раздел 4.
**Сообщества историков: исследовательские
и коммуникативные стратегии и практики**

В. П. Корзун
(Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
г. Омск)

**КОММУНИКАТИВНОЕ ПОЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ:
НОВЫЕ РАКУРСЫ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ¹**

В данной статье пойдет речь о некоторых поисках и первых итогах исследования омских историографов в рамках проекта «Образы отечественной исторической науки в контексте смены познавательных парадигм (вторая половина XIX – начало XXI в.)». Один из этапов разработки проблемы связан с попытками идеальной реконструкции коммуникативного поля отечественной исторической науки в XX в.

О мотивах обращения к теме. Авторы проекта исходили из того, что тот или иной образ исторической науки складывается в научном сообществе и проговаривается/утверждается благодаря разнообразным коммуникативным практикам, то есть на этапе замысла проекта обращение к коммуникативному полю предполагалось как «контекстное сопровождение» исследования образов науки. Но по мере проникновения в тему проблема приобретала все большую значимость и обозначилась как вполне самостоятельная. Несколько неожиданно для себя мы стали «конструкторами» нового проблемного поля, что не могло не спровоцировать, в свою очередь, интереса к такой трансформации и выявлению ее мотивов. Проблемное поле науки – это своего рода барометр, фиксирующий подвижное состояние функционирующих в научном сообществе идей, задач, средств и форм научного исследования. Это живое, провокативное дыхание науки. Признавая безусловно персонифицированный характер идей/проблем, обратим внимание на корреляцию проблематики с укорененными моделями науки, разделяемыми большинством научного сообщества. Нарушение же «чистоты проблематики», интеллектуальная напряженность, выход в маргинальное пространство, ситуация «крупного разговора» часто являются симптомами становления нового образа науки, новой модели научности. Вряд ли целесообразно выстраивать иерархию методологических парадигм и исследовательских практик, но нельзя не обратить внимания на тот факт, что

становление новых моделей научности во многом предвосхищается на уровне конкретных исследований.

Своеобразную «проблемную» революцию можно заметить в дисциплинарном поле историографии – как научной и учебной дисциплины, что воспринимается частью научного сообщества как смерть дисциплины. Современный исследователь не может не констатировать дробление проблемного поля историографии и выходов в историю повседневности, новую социальную историю, интеллектуальную историю и т. д. Данный процесс воспринимается членами историографического сообщества по-разному, диапазон его оценок широк – от констатации институционального кризиса до оптимистического гимна «новой историографии», «ориентирующей на осмысление, анализ собственной профессии, ее истории, ее дисциплинарного бытия»². Последнее, и в этом мы разделяем мнение Т. Н. Поповой, предполагает смену «дисциплинарного типа мышления» «рефлексивным»². Это обстоятельство проблематизирует роль субъекта познания, носителя тех или иных идей, его профессиональную идентификацию, осознание своего места в иерархичной институциональной системе организации науки. Интересующая нас проблематика коммуникативного поля исторической науки изначально междисциплинарно ориентирована, является и отражением, и иллюстрацией, и программой поиска иного образа историографии. Она позволяет прояснить, на наш взгляд, явные или неявные попытки примерки на себя неклассической и постнеклассической моделей науки и собственно «творение» этих парадигм, в том числе, в процессе историографической эмпирии.

Историографические подступы к проблеме. Появление в XX в. коммуникативных теорий спровоцировало исследовательский интерес к способам функционирования научных сообществ. Теоретические и конкретно-социологические наработки Ю. Хабермаса, Р. Мертона, Т. Куна, П. Бурдьё, Р. Коллинза, М. Кастельса и др. расширили и трансформировали проблемное поле исследования истории науки. В отечественной традиции можно выделить два параллельных процесса в изучении научных коммуникаций: 1) науковедческие исследования, в которых представлена теоретическая рефлексия (А. П. Огурцов, А. В. Юревич, А. Г. Аллахвердян, А. Г. Ваганов, А. В. Литвинов)³; 2) конкретные историографические практики, преимущественно схолярные, где проблематика коммуникаций постепенно из эпизодической, маргинальной превращается в весьма значимую⁴.

Принципиальным для нас является понимание науки как коммуникации, четко артикулируемое в историко-научных работах А. П. Огурцова. Им отмечается, что в настоящее время все более ясным становится то, что одной из решающих характеристик науки является ее коммуникативная природа. Ни ход, ни результаты, ни субъекты познания не могут быть оторгнуты от той ситуации общения, в которой осуществляется научное исследование. Каждый элемент познавательного акта и его содержания пронизан, освещен контекстом коммуникационного взаимодействия.

Познавательный акт, по А. П. Огурцову, обусловлен контекстом общения, где каждый участник коммуникации взаимоориентирован на общение, каждый акт коммуникации нагружен интенциональными смыслами, установкой на другое равноправное сознание. Наука «соткана» из множества живых диалогических нитей – как со своими современниками, так и со своими предшественниками. Научное знание оказывается направленным взаимодействием различных актов полагания смысла, его смысл, полагаемый в деятельности каждого из равноправных участников коммуникации, размещается на границе с другими смыслами, а взаимопонимание, достигаемое в диалогической коммуникации, есть нахождение на одной и той же исторической плоскости, где каждый предшественник становится современником и равноправным участником диалога. Участие в коммуникации ученых приучает их считаться с мнениями других, сообразовывать свое поведение и собственное мнение с позицией коллег, искать согласие, достигать общей точки зрения...

Наука, понятая как интерференция актов коммуникации, подчиняется определенным нормам и образцам взаимодействия ученых. Эти нормы и образцы, обеспечивающие устойчивость научного знания, отлагаются в системе дисциплинарного знания и в определенных идеалах и критериях научности, выявляемых методологией науки⁵.

Историко-научная мысль относит коммуникацию к числу базовых механизмов функционирования и развития науки и её связей с обществом, а также считает ее важным условием формирования личности ученого и его ценностных ориентаций. Состояние научной коммуникации (широта, протяженность, интенсивность) определяет жизнеспособность научного сообщества, непосредственно отражается на уровне эффективности научных исследований.

Наработки в области науковедения с различной степенью интенсивности постепенно внедряются в исследовательские практики историографов и становятся более менее очевидными к концу 1990-х гг. Наиболее объемно, масштабно и профессионально-корректно коммуникативное поле русской исторической науки середины и второй половины XIX в. в контексте новых подходов представлено в двухтомной монографии М. П. Мохначевой «Журналистика и историческая наука»⁶. Коммуникации в научно-литературном сообществе как важнейшее условие и проявление наукотворчества впервые предстали если не как предмет специального исследования, то, во всяком случае, как самостоятельная тема, как фокус бытия науки. Автор обнаружила удивительное интеллектуальное чутье к новейшим движениям историко-философской и социологической мысли, в частности к работам Р. Коллинза и его сетевому анализу науки. Замечу, что для меня, как автора данного текста, именно через монографию М. П. Мохначевой состоялось первое знакомство с исследованиями Р. Коллинза.

В концепции Р. Коллинза сеть выступает как новое пространство, пространство собственно информационное. А сама сеть осмысливается как в координатах микро-, так и макроистории. Как отмечает Л. П. Репина, для Р. Коллинза

«локальная ситуация выступает как безусловно необходимая, отправная, но не конечная точка анализа»⁷. По Коллинзу, «никакая локальная ситуация не является одиночной; ситуации окружают друг друга во времени и пространстве. Макроуровень общества должен быть понят не как слой, расположенный вертикально над микро- (как если бы он находился в другом месте), но как раз-вертывание спиралей микроситуаций. Микроситуации встроены в макропаттерны, являющимися именно теми способами, которые связывают ситуации друг с другом <...> Мы можем понимать макроструктуры, не реифицируя (не овеществляя) их, как если бы они были сами по себе существующими объектами, но рассматривая макро- как динамику сетей, объединение цепочек локальных столкновений...»⁸. В таком ракурсе коммуникативное поле получает статус самостоятельной и чрезвычайно сложной проблемы – новое проблемное поле и одновременно новый понятийно-терминологический инструментарий, соответствующий сетевой модели исследования науки. А сама сетевая модель как продукт постнеклассической науки ориентирует исследователя на преодоление кумулятивистского подхода к истории науки, поскольку изначально задает параметры объемного видения проблемы, ибо сетевое пространство многомерно – исследователь фокусирует на себе и накопленный культурный капитал в рамках горизонтальных связей, и институциональный капитал в рамках вертикальных связей, и межличностные отношения, затрагивающие сферы передачи эмоциональной энергии.

О некоторых результатах исследования. Авторами проекта под коммуникативным полем науки понимается социальное пространство институций и связей, в котором рождаются, функционируют, трансформируются и умирают научные идеи. Коммуникативное поле имеет сложную структуру, представляющую единство *внутринаучных коммуникаций* (которые могут быть как внутридисциплинарными, так и междисциплинарными) и *внешних коммуникаций*, связанных с социокультурным контекстом, включающим и властный уровень. Названные структурные компоненты коммуникативного поля могут носить как *личностный*, так и *институциональный* характер. В качестве *акторов* коммуникации может выступать и отдельная личность, в нашем случае – историк, и отдельные институты – как формальные, так и неформальные.

Нами условно выделено несколько вариантов типологии научных коммуникаций в исторической науке. Они варьируются в ракурсах от решаемых задач исследования и, соответственно, разные критерии могут быть положены в основу той или иной типологии в зависимости от целеполагания.

1. *По направленности* коммуникации могут быть *внутринаучными* и *внешними* (с обществом, властью, бизнесом и т. д.). 2. *По акторам (основным участникам)* коммуникации дифференцированы как *личностные*, *групповые* и *институциональные*. В свою очередь личностные коммуникации могут носить как *приватный*, так и *официальный* характер. 3. *По способу трансляции информации* коммуникации могут быть *устными*, *письменными*, *печатными*, *Интернет* и др. Преобладающими способами трансляции в исторической науке

вплоть до второй трети XX в. является письменный текст. 4. По критерию иерархичности – можно выделить горизонтальные и вертикальные коммуникации. В реконструкции данных коммуникаций для нас принципиально важны методики Р. Коллинза и П. Бурдьё. 5. По механизму трансляции дисциплинарных нормативов выделяются – диссертация с обязательным авторефератом, дискуссия, рецензия, публикации и требования к ним, различного рода методические рекомендации и учебные пособия и т. д. 6. По критерию форм организации научного текста определяются внутритекстуальная, внетекстуальная и интертекстуальная научные коммуникации. Применительно к исторической науке этот уровень коммуникации является чрезвычайно важным. 7. По критерию культурного взаимодействия выделяют внутрикультурную коммуникацию и межкультурную коммуникацию. Межкультурная коммуникация в силу специфики работы историка в свою очередь подразделяется на коммуникацию между различными национальными школами и на коммуникацию между историками, представляющими различные эпохи. 8. По степени интенсивности коммуникации выступают как постоянные, ограниченные или эпизодические.

Представленная типология может служить своего рода исследовательской программой/моделью для идеальной реконструкции коммуникативного поля исторической науки (идеального конструкта). Она, как нам представляется, ориентирует на расширение горизонта возможных исследований.

Отсутствие цельной картины коммуникативного поля исторической науки в XX в., отсутствие сетки основных институтов коммуникаций, непроясненность их влияния на исследовательские стратегии историков определили исходную локацию нашего исследования – это 1) инфраструктура исторической науки в контексте интеллектуальной географии; 2) площадки интенсивного накопления научной информации и каналы ее трансляции. В этом пространстве и происходит складывание сетей общения между основными акторами научного процесса – как отдельными учеными, так и различного рода сообществами, в том числе научными школами. Данная исходная посылка определила еще одно направление исследования в рамках проекта – 3) динамика коммуникативных практик и поведенческих стратегий в научном сообществе историков. И, наконец, для историографа не может не представлять интереса 4) «внутреннее личностное измерение» происходящих трансформаций в коммуникативном поле отечественной исторической науки – саморефлексия ученых-историков по этому поводу, что называется – «здесь и сейчас».

В данной статье, которая носит в определенной степени обзорный характер, я остановлюсь подробнее на презентации двух первых из указанных направлений.

Замечу, что наши исследовательские практики корреспондируются и с опытами европейских исследователей. Сошлюсь на вышедший в 2010 г. «Атлас европейской историографии»⁹, созданный в рамках Европейского научного фонда, в котором инфраструктура исторической науки представлена университетами, исследовательскими институтами, музеями и архивами. Также об-

ращается внимание на параметры численности дисциплинарного сообщества историков в европейском интеллектуальном пространстве. Но наши подходы всё же отличаются. Для авторов «Атласа» характерен институциональный подход в его классическом варианте. В рамках нашего проекта акцент сделан на рассмотрение инфраструктуры исторической науки в контексте социокультурного ландшафта и выделены, условно говоря, основные черты матрицы такого ландшафта, учитывающие и региональную специфику. Эта линия поиска отчетливо намечена в исследованиях В. Г. Рыженко¹⁰. К первому параметру «матрицы» (своего рода совокупности «горных хребтов» советской исторической науки) отнесены академические структуры АН СССР (научно-исследовательские институты, непосредственно связанные с изучением всемирной и отечественной истории). Во втором параметре, образно названном «предгорьями», объединены университетские структуры (факультеты и кафедры, связанные с историческими исследованиями и преподаванием истории, связанным с подготовкой кадров для науки и высшего образования). Используя третий институциональный параметр и, одновременно, удаляясь в реальном географическом пространстве от центральных городов Европейской России на восток, фиксируем вузовские подразделения (специальные институты, исторические кафедры педагогических институтов, где деятельность представителей сообщества историков ориентирована на прикладные задачи, преимущественно, на подготовку школьных учителей). Можно выделить еще один, четвертый, параметр «матрицы», связанный с исторической наукой, с исследовательскими практиками, но в большей степени обеспечивающий комплектование библиографической и источниковой основы для работы специалистов, а также трансляцию научно-популярных исторических знаний и репрезентацию образов прошлого. Сюда входят архивные учреждения, библиотеки и музеи (исторические, историко-краеведческие и мемориальные).

В качестве отдельного и особого параметра «матрицы» социокультурного ландшафта исторической науки предлагается выделить символические знаки/маркеры, которые способствуют пониманию специфики изменений, происходящих на том или ином этапе развития социокультурного ландшафта исторической науки. Таковыми могут быть «события и фигуры памяти» трех видов, в воссоздании образов которых принимали в интересующий нас период участие историки. Первый вид имеет значение набора идеологических установок, дающих «образцы/каноны» репрезентации официально значимых событий и героев для использования в общегосударственном масштабе. Второй выборочно героизирует прошлое и закрепляет в массовом сознании соответствующий «пантеон выдающихся предков». Третий должен утверждать почетный социальный статус корпорации историков с помощью выделения персон «великих» (официально почитаемых) русских и частично советских историков. Эти сюжеты нашли отражение в целом блоке работ омских исследователей¹¹, а также в коллективной рукописи подготовленной монографии «Трансформация образов исторической науки в первое послевоенное десятилетие (1945 – середина 1950-х гг.)»¹².

Отдельные институции в рамках социально-культурного ландшафта исторической науки нами проанализированы и с точки зрения внутренней социальности, завязанной на интересах, нормах и ценностях корпорации, исследовательских практиках и стандартах, ее этосе. Поскольку преобладающим способом трансляции в исторической науке вплоть до второй трети XX в. является письменный текст, то это обстоятельство и предопределило наше пристальное внимание к журнальной периодике, позволяющей уловить ритмы научной коммуникации. Не случайно, в истории науки по крайней мере, на протяжении XX в. именно журналы избирались как эффективные площадки для манифестирования и оформления новых направлений в историографии («Анналы» во Франции; «Past and Present», «New Left Review», «History Workshop» в Британии; Quaderni «Storici» в Италии; «Review» в США (Бингхэмптон) и т. д.¹³ В дореволюционной России, как отмечает В. Берелович, на такую роль в конце XIX – начале XX в. претендовали «Журнал Министерства народного просвещения» и «Историческая социология» Санкт-Петербургского университета¹⁴.

В развитии коммуникативного пространства исторической науки советского периода выделено несколько этапов, которые не вполне совпадают с периодизацией советской историографии. Первый этап – 1920-е гг.; второй – конец 1920-х – начало 1940-х гг., третий – 1940 – первая половина 1950-х гг.; и четвертый этап – со второй половины 1950-х – до первой половины 1980-х гг. включительно. Постсоветская историография рассматривается нами в рамках второй половины 1990-х – начала 2000-х гг.

В 1920-е гг. складывается сложное коммуникативное пространство, отражающее неоднородность институционального происхождения журналов как периодических изданий. Одни из них были связаны с частными издательствами, другие были привязаны к различным институциям, как новым, так и старым. Условно их можно сгруппировать следующим образом: 1. Журналы, выходявшие при центральных органах новой власти («Большевик», «Красный архив» при Центральном архивном управлении, «Новый восток», «Красный архив», «Коммунистический интернационал», «Архивное дело», «Коммунистическая революция», «Жизнь национальностей» и др.). 2. Журналы при академических структурах, которые можно подразделить: а) на старые, сформированные еще в дореволюционный период («Русский исторический журнал», «Известия АН СССР. Серия истории и философии», «Анналы», «Дела и дни», «Проблемы истории материальной культуры», «Византийский временник», «Русский исторический журнал», и др.); б) вновь образованные («Вестник Социалистической (Коммунистической) Академии», «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», «Известия ГАИМ и РАИМК», «История пролетариата СССР» и др.). 3. Периодические издания при специализированных новых Институтах («Красная летопись», «Летописи марксизма», «Проблемы марксизма», «Записки института Ленина», «Революционный Восток» и др.). 4. Журналы, выпускаемые различными Обществами и общественными организациями, последние в свою очередь подразделяются на: а) издания с дореволюционным стажем («Известия

Общества археологии, истории и этнографии» и др.); б) вновь образованные в советский период («Красная новь», «Историк-марксист», «Борьба классов», «Бюллетень истпарта», «Каторга и ссылка» при Обществе бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, «Архив истории и труда», «Пролетарская революция», «Бюллетень Центрального совета Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев» и др.). При этом обратим внимание, что новые Общества и общественные организации возникают при центральных учреждениях, финансируются и находятся под контролем ЦК партии. 5. Журналы общественно-политической направленности, созданные в дореволюционный период («Голос минувшего», «Былое» и др.). Вокруг них группировались, как правило, представители старой профессуры.

В 1930-е гг. наблюдается изменение сложившегося коммуникативного поля: исчезают периодические издания, выпускаемые при старых академических структурах («Известия Общества археологии, истории и этнографии», «Византийский временник») в связи с общей реорганизацией академических институтов и системой образования и нарастающими репрессиями, связанными с разгромом старой исторической школы («Академическое дело»). Многие научные Общества прекратили свое существование на рубеже 1920-х – 1930-х гг., что естественно привело и к закрытию их периодических органов. И, наконец, последняя, пятая, группа журналов, имеющая дореволюционную историю, также исчезает к концу 1920-х гг.

Во второй половине 1930-х гг. значительно расширяется репертуар исторических изданий при академических структурах («Вестник древней истории», «Исторические записки», «Исторический архив», «Советская археология», «Советское востоковедение»), а также, с возобновлением исторического образования, при высших учебных заведениях («Труды Московского государственного историко-архивного института», «Ученые записки ЛГУ. Серия исторических наук»). Происходит заметная специализация периодических изданий. За этими структурными изменениями стояли существенные процессы в исторической науке, связанные с профессионализацией историков-марксистов, унификацией научного сообщества, централизацией и усиливающимся идеологическим контролем со стороны власти.

Война и послевоенный период изменили коммуникативное поле и развитие самой исторической науки. При работе над проектом выделились две значимые характеристики поля. Первая связана с сокращением периодических изданий как площадок для коммуникации. Вторая – с тенденцией к саморегулированию уже созданных институций, которая им имманентно присуща, а значит, отдельные индивидуальные и даже групповые стратегии самореализации внутри этих институтов начинают приходить в противоречие с государственной установкой на внешнее регулирование и контролем за их деятельностью. Это особо ярко проявляется в судьбе и деятельности журнала «Вопросы истории»¹⁵.

С начала 1950-х гг. в основном все профессиональные периодические исторические издания сводятся к одной форме – журналу. Одновременно с этим

шел процесс дифференциации периодических изданий по содержанию. Были созданы журналы по основным разделам истории – «История СССР» (1957 г.), «Новая и новейшая история» (1957 г.); по отдельным историческим дисциплинам – «Советское востоковедение», «Советское китаеведение», «Советское славяноведение», «Исторический архив»; по отраслям исторического знания – «Вопросы истории КПСС» (1957 г.), «Вестник истории мировой культуры» и др.

В 1950–1960-е гг. происходит дальнейшая специализация, в коммуникативном пространстве периодики формируется достаточно устойчивая сетка изданий, которая просуществовала вплоть до второй половины 1980-х гг. В этот период практически не меняется репертуар изданий. Назовем лишь несколько новых журналов гуманитарного толка, отражающих тенденции дальнейшей дифференциации общественных наук («Общественные науки и современность» (1976 г.), «Социологические исследования» (СОЦИС) (1974 г.) «Вопросы истории, естествознания и техники» (ВИЕТ) (1980 г.)).

С середины 1980-х гг. прошлого столетия коммуникативное поле отечественной исторической науки переживает количественные и качественные трансформации. Развитие профессиональной исторической периодики на рассматриваемом нами этапе характеризуется появлением значительного числа новых периодических изданий. Она становится одной из наиболее динамичных форм организации знания. Это многообразие периодических изданий потребовало их типологизации и классификации. Авторы проекта предложили несколько критериев для их классификации. Так, по мнению Ю. П. Денисова, критериями могут быть: 1) *Время создания журналов*. Отсюда можно выделить «старые» советские журналы, многие из которых были переименованы, однако сохранили свой облик, свои традиции и свои содержательные характеристики («Вопросы истории», «Российская археология», «Этнографическое обозрение» и т. д.). В другую группу попадают журналы, появившиеся в исследуемый нами период, а также «воссозданные» журналы, закрытые до 1917 г. («Родина», «Одиссей: Человек в истории», «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории» и т. д.). 2) *Географическое местоположение* издаваемого журнала. На этой основе можно выделить центральные (или столичные) и региональные (периферийные, провинциальные) издания. К центральным изданиям, то есть к журналам, издаваемым в Москве и Санкт-Петербурге, относятся все названные нами выше периодические издания. Столичные издания, как правило, характеризуются жёстким отбором публикуемых материалов, высокоформализованным подходом к работе. На их страницах преобладают работы столичных авторов. Однако «интеллектуальный ландшафт» отечественной исторической периодики 1980–2000-х гг. отнюдь не ограничивается московскими и петербургскими изданиями. В этот период успешно функционируют и журналы, издаваемые на периферии. Яркими примерами могут служить «Археология, этнография и антропология» (Новосибирск), «Вестник археологии, антропологии и этнографии» (Тюмень), «Уральский исторический вестник»

(Екатеринбург) и т. д. 3) *Источники финансирования*. Выделены государственные (например, «Родина», издаваемый Администрацией Президента РФ и Правительством РФ, «Археографический ежегодник», издаваемый Археографической комиссией РАН, «История наук о земле», издаваемый Институтом физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, и т. д.) и негосударственные издания, то есть журналы, издаваемые за счёт частных средств (например, «Клио», «Вестник Евразии», «Ab impregio», «Новое литературное обозрение» и т. д.). 4) *Включение в список ВАКа РФ*. 5) *По направленности на междисциплинарное взаимодействие*.

Анализ динамики такого института коммуникации, как журнальная периодика, дает основание сделать вывод, что эта своеобразная форма наукотворчества на современном этапе выступает и как наиболее продуктивная форма развития дисциплины. Она является не только способом трансляции знания, но и задает определенные коммуникативные стратегии сообществу историков. Так, к примеру, при ориентации на узкую специализацию ученые-историки проводят жесткую демаркационную линию между научными дисциплинами и научными школами, выстраивая взаимоотношения в научном сообществе по линии «свой-чужой», их когнитивная практика строится на углублении исследовательского подхода в рамках «своей», строго обозначенной дисциплины. Исследователи-междисциплинарщики нацелены на диалог с другими дисциплинами, они формируют широкий круг общения с представителями других научных направлений и профессиональных школ, создавая тем самым обширную интеллектуальную сеть научных коммуникаций в научном поле исторической науки.

Естественно, мы не могли ограничиться вниманием только к периодике. Нами выявлены и охарактеризованы новые элементы и сегменты коммуникативного поля современной исторической науки, принципиально изменившие его конфигурацию в конце XX – начале XXI в. Это: 1) исторические сообщества разного типа. По степени институционального оформления как внутреннему критерию выделены а) формальные научные сообщества, функционирующие относительно автономно; б) формальные научные сообщества, функционирующие в составе официальных учреждений в качестве их структурных элементов; в) неформальные научные сообщества историков, (преимущественно виртуальные интернет-«сообщества»). 2) Произведен «замер» основных параметров виртуальных коммуникаций, дана их характеристика и предпринята попытка реконструкции «виртуального» историографического пространства с помощью изучения интернет-пространства как специфического места бытования исторической науки. 3) На локальном материале произведена проверка возможностей выявления динамики изменений в «живых» «сетях общения» современной исторической науки (научные мероприятия различного типа, прежде всего научные конференции).

Подведем итог. Наши первые попытки построения целостной картины динамики коммуникативного поля исторической науки натолкнулись на отсутствие даже сетки основных институтов коммуникации, не говоря об их субординации, направления трансформации и выявления факторов, определяющих их динамику¹⁶. Такое невнимание историографов к данным сюжетам связано с преобладанием историографической модели исследования, в центре которой находится концепция – интеллектуальный продукт на выходе. А контекстуальность зарождения и трансляции той или иной концепции, как правило, сводится к упрощенному представлению о значимости социального заказа или общей, весьма абстрактной констатации «вызова времени». При таком подходе напряженный личностный выбор историка, его исследовательская стратегия и тесно связанный с ней выбор научного дискурса, его самоидентификация осядутся, как правило, вне поля зрения историографа¹⁷.

Новые модели историографического исследования, отражающие попытки синтеза антропологического, культурологического и коммуникативного подходов, ориентируют на выход из оппозиции интернальных и экстернальных факторов развития науки в сложную область интеллектуальной культуры, в рамках которой проблема коммуникативного поля приобретает особую значимость. «Важно <...> подчеркнуть, – замечает современный методолог и историк науки Л. П. Репина, – интеллектуальная культура – это не только тексты, она имеет коммуникативную природу, и одним из самых, на наш взгляд, перспективных направлений является анализ процесса обмена элементов интеллектуальной культуры, её “социального обращения”»¹⁸. Так что мы прогнозируем интерес к проблематике коммуникативного поля исторической науки, что называется, «всерьез и надолго». Это к тому же удобная площадка для экспериментаторства в плане методологического синтеза.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02.740.11.0350.

² Попова Т. Н. Историография в контексте дисциплинарной истории // Историческая наука сегодня : (Теории, методы, перспективы) / под ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 490.

³ Аллахвердян А. Г., Мошкова Г. Ю., Юревич А. В., Ярошевский М. Г. Психология науки : учеб. пособие. М., 1998; Ваганов А. Г. : 1) Миф – Технология – Наука. М., 2000; 2) Российская наука и глобальное сетевое общество // Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки / под ред. А. Г. Аллахвердяна, Н. Н. Семеновой, А. В. Юревича. М. : Логос, 2005. С. 159–184; Литвинов А. В. Научный дискурс в свете межкультурной коммуникации // Филология в системе современного университетского образования : материалы науч. конф. (22–23 июня 2004 г.). Вып. 7. М., 2004.

С. 283–289; Огурцов А. П. Научный дискурс : власть и коммуникация (дополнительность двух традиций) // Филос. исслед. 1993. № 3. С. 12–59.

⁴ Алеврас Н. Н. Очертания культурного пространства русской историографии XIX в. // Исторический ежегодник. 2002–2003 / под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Омск, 2003; Корзун В. П. Образы исторической науки на рубеже XIX–XX вв. Екатеринбург ; Омск, 2000; Мягков Г. П. : 1) «Русская историческая школа». Методологические и исторические позиции. Казань, 1988; 2) Научное сообщество в исторической науке : опыт «русской исторической школы». Казань, 2000; Свешников А. В. Петербургская школа медиевистов начала XX века. Попытка антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010.

⁵ Огурцов А. П. Научный дискурс... С. 12–59.

⁶ Мохначева М. П. Журналистика и историческая наука : в 2 кн. М., 1998–1999.

⁷ Репина Л. П. Теоретические новации в современной историографии // Харькiвський iсторикографiчний збiрник. Вип. 10. Харкiв, 2010. С. 34.

⁸ Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 67.

⁹ Atlas of European historiography. The Making of a Profession, 1800–2005. Basingstok, 2010.

¹⁰ Рыженко В. Г. Социокультурный ландшафт советской исторической науки во второй половине 40-х – начале 50-х гг. XX в. : возможности реконструкции // Исторический ежегодник. Вып. 3. Всеобщая история. Историография / под ред. А. В. Якуба, В. П. Корзун. Омск, 2008. С. 135–144.

¹¹ Корзун В. П., Колеватов Д. М. : 1) Социальный заказ и трансформация образа исторической науки в первое послевоенное десятилетие : («На классиков, ровняйся») // Мир историка : историогр. сб. / под ред. Г. К. Садретдинова, В. П. Корзун. Вып. 2. Омск, 2006. С. 199–224; 2) Социальный заказ и историческая память (научное сообщество историков в годы Великой Отечественной войны) // Мир историка : историогр. ежегодник. Вып. 1. Омск, 2005. С. 75–95; Мамонтова М. А. Как «русский ученый» вытеснил «русского полководца» : изменение тематики исторических исследований в СССР в первое послевоенное десятилетие (по материалам «Ежегодника книги СССР») // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманитар. науки. Т. 152. Кн. 3, ч. 1. Казань, 2010. С. 195–203; Рыженко В. Г. : 1) «Просмотрено-исключить...» (о переходе к идеологическому наступлению на историков в провинции в начале 1930-х гг.) // Мир историка : историогр. сб. / под ред. Г. К. Садретдинова, В. П. Корзун. Вып. 2. Омск, 2006. С. 179–199; 2) Историческая наука, регионоведение, культурология : возможности кооперации вокруг проблемы «присвоения прошлого» // Историческая наука сегодня. Теория. Методы. Перспективы : сб. ст. / под ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 330–342.

¹² Корзун В. П., Кныш Н. А., Колеватов Д. М., Мамонтова М. А., Рыженко В. Г., Свешников А. В. Трансформация образа исторической науки в первое послевоенное десятилетие (вторая половина 1940-х–середина 1950-х гг.) (рукопись).

¹³ См. например, Агирре Рохас К. А. Историография в XX веке. История между 1848–2025 годами. М., 2008.

¹⁴ Berelowitch Vladimir. History in Russia Comes of Age. Institution-Building, Cosmopolitanism, and Theoretical Debates among Historians in Late Imperial Russia // Kritika : Explorations in Russian and Eurasian History. Winter 2008 (Vol. 9, №. 1). P. 115.

¹⁵ Об этом подробнее см.: Сидорова Л. А. : 1) Оттепель в исторической науке первого послесталинского десятилетия. М., 1997; 2) «Вопросы истории» академика А. М. Пан-

кратовой // Историк и время. 20–50-е годы XX века. М., 2000; Кныш Н. А. Образ исторической науки в первое послевоенное десятилетие : автореф. дис. ... канд ист. наук. Омск, 2009; Колеватов Д. М. Начало холодной войны и поворот к изоляционизму в исторической науке (по материалам журнала «Вопросы истории») // Исторический ежегодник. Вып. 2. Омск, 2008. С. 26–33.

¹⁶ Antoshchenko Alexander V. Russia // Atlas of European historiography. The Making of a Profession, 1800–2005. Basingstok, 2010. P. 87–92.

¹⁷ В качестве удачного выхода за пределы такого исследовательского канона назову работы: Алеврас Н. Н., Гришина Н. В. Историк на перепутье : научное сообщество в «смуте» в 1917 г. // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. М., 2008. С. 87–108; Гордон А. В. Великая французская революция в советской историографии. М., 2009; Дубровский А. М. Историк и власть : историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е годы). Брянск, 2005; Историк и власть : советские историки сталинской эпохи. Саратов, 2006; Колеватов Д. М. : 1) Исторические взгляды М. А. Гудошникова // История и историки. 2001 : историогр. вестн. М., 2001. С. 228–241; 2) Творчество А. М. Гудошникова в 40–50-е годы XX века // Вестн. Челяб. гос. ун-та. История. Вып. 20. 2007. № 11. С. 84–96; Свешников А. В. Петербургская школа медиевистов начала XX века. Попытка антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010; Советская медиевистика в контексте идеологической борьбы конца 1930–1940 гг. // Новое лит. обозрение. № 90. М., 2008.

¹⁸ Репина Л. П. Интеллектуальная культура и проблемы историографии // Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI. М., 2011. (Благодарю Л. П. Репину за любезно предоставленную возможность ознакомиться с рукописью книги).

О. В. Богомазова

(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)

**В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ: АКТУАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ОБ ИСТОРИКЕ
В КОММЕМОРАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
XX ВЕКА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)¹**

«Без воспоминания не существует прошлого», «истории не существует без историка» – эти тезисы сейчас вполне общеприняты в современной исторической науке. В свою очередь, мы продолжим эту логическую цепочку вопросом: «Существует ли историк без воспоминаний о нем?»

Время, в которое мы живем, П. Нора назвал «эрой коммемораций», когда практически каждое сообщество считает необходимым искать свои «корни», подкрепляя свою самоидентификацию. Применительно к традициям историографии, память о конкретном историке может представляться как конструируемый, контекстуальный феномен – «место памяти», значимость которого выкристаллизовывается в ритуале коммеморации². Юбилей, который стал поводом данной статьи, – это столетняя годовщина со дня смерти Василия Осиповича Ключевского и столетие со дня его рождения. Для отечественной историографии это, можно сказать, момент знаковый, продолжающий вековые традиции коммеморации в сообществе историков.

Особенно пристальное внимание нам хотелось бы сосредоточить на отдельных этапах в развитии этого «места памяти», которые бы отражали особенности его существования в меняющейся на протяжении столетия научной и культурной среде, неизменно влияющей на характеристику данного феномена. Представляется, что исторический контекст, выдвигая на первый план те или иные научные и социальные ценности и стереотипы, способен актуализировать память об историке или же, напротив, способствовать ее деконструкции, создавать «антивоспоминания»³.

Современные исследователи констатируют тенденцию, что институция или конкретный символический образ чаще становятся объектом исследования, чем стоящие за ними практики⁴. Обращение к феномену коммеморации позволит нам не только соединить два этих аспекта, но и подойти к решению вопроса о

влиянии такой категории, как память, на научную повседневность⁵. Это, в свою очередь, будет способствовать переводу проблематики памяти (*memory studies*) из чисто символической области в область «практических действий», например, таких, как юбилейные события или передача профессиональных навыков.

Отталкиваясь от этих гипотетических размышлений, обратимся к теориям памяти, разработанным западными социологами и историками. Признавая, что аккумуляция памяти – процесс, развивающийся и принадлежащий как минимум одной социальной группе, возьмем за константу, что сообщество историков, как и отдельные формальные и неформальные группы его составляющие, соответствует, по сути своей, модели любого общества с точки зрения социологии. Отсюда представляется возможным привлечь научный опыт М. Хальбвакса, П. Хаттона и П. Нора для изучения процессов памяти в коммуникативном пространстве исторической науки. Изучая проблему реконструкции памяти в сфере культуры и воспоминаний в истории, М. Хальбвакс приходит к заключению, что в общественном сознании манифестируются коллективные воспоминания. При этом они, в сущности, являются реконструкцией прошлого, обусловленной современностью. Таким образом, воспоминания могут рассматриваться как коллективный социальный феномен, конституирующий сообщество и необходимый для его жизнедеятельности и выживания⁶. М. Хальбвакс называет этот феномен «коллективной памятью», считая ее залогом социальной идентичности⁷. Тогда ключ к расшифровке функционирования коллективной памяти открывает и проблему локализации: в воспоминании мы размещаем или локализуем образы прошлого в специфическом пространстве, называемом «мнемоническими местами» (М. Хальбвакс) или «местами памяти» (П. Нора). Воспоминание, по мнению П. Хаттона, можно назвать процессом воображаемой реконструкции, в рамках которого мы интегрируем специфические образы, созданные в настоящем, в особый контекст, отождествляемый с прошлым и репрезентирующий его. Этот контекст, в свою очередь, способствует оформлению этих репрезентаций, выдвигая на первый план стереотипы сознания тех социальных групп, с которыми они ассоциируются⁸.

Таким образом, современной историографии представилась возможность использования модели для изучения истории научной традиции, которая раскрывается через свои репрезентации. Использование подходов означенных авторов позволяет по-новому взглянуть на историографический факт, освещая его в рамках истории памяти. Для исследователя открывается определенное число проблем в истории коллективных ментальностей. В связи с этим целый ряд оставшихся ранее за пределом кругозора историка источников знания может по-новому осветить любую историческую проблему, в том числе и традиции историографии⁹.

Разумеется, память об историке может локализоваться лишь в тех точках культурного пространства, где его фигура, авторитет, творческое наследие были наиболее значимы: это сфера науки как профессиональной деятельности, как этоса. Основные моменты ее фиксации отслеживаются через истори-

ографический нарратив, эго-документы и делопроизводственные источники, и реконструируются через коммуникативные практики, выраженные в форме юбилейных торжеств, свидетельствующих об «организованном» сохранении памяти о научном деятеле.

В качестве «места памяти» в нашем исследовании выступает образ В. О. Ключевского, историка и «учителя», заложившего традиции своей школы¹⁰. Соответственно этому определяется и круг носителей памяти о нем. Во-первых – это его ученики, представители «школы». Во-вторых – те, кто по разным причинам проявлял интерес к его научному наследию и, занимаясь его интерпретацией, создавал новые слои памяти о В. О. Ключевском.

Когда в условиях жесткой культурной ломки, историки «старой школы» теряли родину, профессию, семью, у них оставалась только память. Но для практики самоопределения мало просто акта вспоминания; «инвокация прошлого должна экстернализоваться» для совместных переживаний и чтобы произвести впечатление на окружающих¹¹. Та часть учеников Ключевского, которая в 20-е гг. XX столетия пребывала в эмиграции, продолжала хранить память об «Учителе», манифестируя это через публично отмечаемые юбилейные даты¹². Память о В. О. Ключевском и для его учеников, оставшихся в России, становится компенсаторным средством переживания травмирующих эпизодов истории, феноменом, конституирующим сообщество «историков старой школы» и необходимым для его самоидентификации, сплочения и выживания в новых реалиях советского общества¹³. В 1920–30-е гг. ученики Ключевского, оставшиеся в Москве, старались держаться вместе и передавать традиции «школы» уже своим ученикам, которые отождествляли себя с «внуками» великого историка. Вспоминая Василия Осиповича, – по замечанию М. М. Богословского, – они говорили о нем так «как будто он жив до сих пор»¹⁴. Описания «мест памяти» появляются в некрологах, докладах, воспоминаниях, посвященных памяти «Учителя», делающих его самого объектом коммеморативного поклонения¹⁵.

Отметим, что меморизация культурного пространства в Москве, связанного с именем историка, стала активно развиваться уже в первые годы после его кончины¹⁶. Через несколько дней после смерти В. О. Ключевского, в мае 1911 г., в Московскую городскую думу поступило заявление гласного Н. А. Шамина о «необходимости увековечения памяти знаменитого русского историка В. О. Ключевского»¹⁷. По результатам заседаний Думы было постановлено с 1912 г. учредить в Московском Императорском университете стипендию «в память о В. О. Ключевском»¹⁸. Именная стипендия Ключевского была также учреждена Московскими высшими женскими курсами, где преподавал историк¹⁹.

В доме на Житной улице, где жил Василий Осипович в последние годы, его сыном, Борисом Ключевским, был открыт музей²⁰. Он также следил за проведением ежегодных панихид в память о своем отце, собирая его учеников и всех, кому была дорога память о нем. Таким образом, дом В. О. Ключевского и после его смерти продолжал играть роль центра, объединяющего московских историков²¹. Здесь осталась библиотека, личный архив В. О. Ключевского и

его портрет кисти художника В. О. Шервуда²². Но в 1918 г. дом историка подвергся обыскам; Борису Ключевскому на некоторое время удалось получить «Охранную грамоту на библиотеку В. О. Ключевского»²³.

В связи с тем, что в 1920–1930-е гг. историография была в ряду тем, не обсуждаемых в официальной науке, коммеморативные практики о В. О. Ключевском переходят в иную нишу общественно-научной деятельности – в область краеведения²⁴. Осенью 1927 г. в Общество изучения Московской губернии поступила инициатива по установке памятника на могиле В. О. Ключевского. Его ближайшие ученики еще ранее заявляли о необходимости установки креста или памятника на кладбище. Например, по воспоминаниям С. В. Бахрушина, это происходило на «собрании учеников» в 1927 г.²⁵ Ими же неоднократно озвучивалась идея об установке отдельного памятника историку. Она нашла поддержку и на заседании «Комитета по вопросу об увековечении памяти В. О. Ключевского» упомянутого общества 21 января 1928 г.²⁶ Один из докладчиков, И. И. Штиц, высказывался, что могилу историка «следовало бы обязательно отметить какой-нибудь надписью», а памятник В. О. Ключевскому, «равно как и Тимирязеву, следовало бы поставить перед Университетом, вместо памятников Герцену и Огареву»²⁷.

Стараниями историков и краеведов 4 октября 1928 г. было открыто заседание секции «Старая Москва», полностью посвященное В. О. Ключевскому²⁸. На нем прозвучали выступления А. И. Яковлева, Н. П. Розанова, В. А. Адольфа, М. С. Саламытовой, И. К. Линдемана. Блестящий доклад в память об учителе был сделан М. М. Богословским. Его речь заканчивалась словами: «Придет время, когда В. О. будет поставлен памятник как выдающемуся научному деятелю». В итоге, по результатам работы Комитета, 7 октября 1928 г. был установлен общий памятник на могиле четы Ключевских на старом кладбище Большого Донского монастыря, который на тот момент представлял собой открытый для посещения музейный комплекс²⁹. Предложение по установке отдельного памятника В. О. Ключевскому в центре города по ряду причин так и не осуществилось.

В рамках развития коммеморативных практик в историографии наблюдается процесс трансформации памяти, который содержит в себе коммуникативный и культурный слои памяти об объекте. Так, мнемогенез, от повторения через восстановление и реконструкцию, в обстоятельствах меняющейся социокультурной ситуации, порождающей подчас множественность конфликтующих образов, вполне может прийти к деконструкции, или к «негативной памяти» с элементами антивоспоминания³⁰. В случае с памятью о В. О. Ключевском сталкиваются две традиции памяти, конфликтующие между собой, с разными целями «припоминания» и разными социокультурными контекстами. При этом они сосуществуют в одну историческую эпоху и даже порой локализируются в одних институтах организации науки. Мы говорим о «памяти» ярых сторонников официальной советской исторической науки, для которых марксизм стал единственной системой научной ориентации, и той группы историков, кото-

рые к середине XX столетия продолжали сохранять традиции «старой школы» и передавать их своим ученикам.

Середина 1930-х – конец 1940-х гг. – драматичный период в историографической судьбе В. О. Ключевского, продемонстрировавший продолжение конкурентно-напряженных отношений между поколениями историков «старой школы» и «красных профессоров». По мнению исследователей историографической ситуации тех лет, результаты борьбы за научный капитал в условиях подвижной и изменчивой конъюнктуры не были предопределены заранее. После знаковых решений 1934 г. о восстановлении преподавания гражданской истории изменился ее статус: на историю и историков возложили особые надежды в процессе становления «нового» советского патриотизма. В рамках данной тенденции нашлось место и концепциям дореволюционных историков с их «старым патриотизм и аполитичностью» (о чем свидетельствуют переиздания книг В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова)³¹.

Признаки деконструкции памяти по отношению к представителям дореволюционной исторической науки отслеживаются в 40–50-е гг., когда были еще слишком свежи в памяти времена «борьбы с космополитизмом», «низкопоклонством перед Западом», с «буржуазным объективизмом»³². В среде «красных профессоров» росла тревога о том, что бывшие ученики В. О. Ключевского «теперь открыто гордятся своей принадлежностью к этой школе», и она была вполне оправданна. В мае 1946 г. прокатилась волна чествований В. О. Ключевского. На заседании Ученого совета Московского государственного историко-архивного института, посвященного 35-летию со дня кончины В. О. Ключевского, доклады об историке прочитали С. К. Богоявленский, П. П. Смирнов, Н. В. Устюгов. В том же году вышла в свет статья А. И. Яковлева о В. О. Ключевском, вызвавшая общественный резонанс еще на этапе подготовки. В статье, опубликованной в периферийном издании, но все же отслеженной беспощадными критиками³², А. И. Яковлев назвал В. О. Ключевского «главой всей современной русской историографии». При этом автор мемориальной статьи особо обратил внимание на то, что поколение В. О. Ключевского «всегда высоко держало скрижали свободного научного исследования и ни перед кем не склоняло знамени независимой мысли»³³. Эта и другие статьи о дореволюционных «буржуазных» историках (например, статья А. И. Андреева о С. М. Соловьеве) подвергались резкой критике в прессе. Мишенью для острейшей критики также стала «Русская историография» Н. Л. Рубинштейна, в которой в научный оборот марксистской науки вводится термин ‘школа Ключевского’. Вышедшая в свет в 1941 г. книга, изначально принятая довольно благосклонно и властью, и научным сообществом, в конце 1940-х гг. была подвергнута обсуждению и довольно жесткой критике, суть которой сводилась к перечислению недостатков и идеологических ошибок автора³⁴. Считалось, что подобные труды «принижали» марксистскую историческую науку перед буржуазной. Авторов обвиняли в «буржуазном объективизме», академизме и прочих «грехах». Заниматься историографией стало небезопасно, и изучение истории исторической науки практически замерло³⁵.

Попытки дальнейших исследований наследия В. О. Ключевского сталкивались с превентивным сопротивлением в научном сообществе³⁶. В 1957 г. А. А. Зимин представил на кафедре вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института программу своей монографии «Творческий путь В. О. Ключевского (1841–1911)». А. А. Зимин писал: «Согласно моему плану монография должна быть закончена к 110 десятой годовщине со дня рождения и к 40 годовщине со дня смерти В. О. Ключевского (1 сентября 1951 г.)»³⁷. Однако, по выражению Р. А. Киреевой, на разработку историком выбранной темы было наложено «вето»³⁸. Поддержанный прежними учениками В. О. Ключевского – А. Н. Троицким, С. В. Бахрушиным, С. К. Богоявленским, замысел А. А. Зимина столкнулся с экспертной проверкой на соответствие сложившемуся «классическому образу» советской исторической науки³⁹. Обладатели институционального капитала в лице А. Л. Сидорова усмотрели в интерпретации наследия В. О. Ключевского А. А. Зиминим излишний пиетет перед историком XIX в., недостаточную критичность по отношению к его творчеству⁴⁰. В результате А. А. Зимин смог реализовать свой творческий замысел лишь в существенно усеченном виде, в том числе через работы собственных учеников, в 1960–1980-е гг.⁴¹ В этот период тема Ключевского переживала настоящий подъем, были изданы и переизданы многие труды В. О. Ключевского⁴².

К рубежу 70–80-х гг. созрело несколько монографических исследований темы Ключевского. Л. В. Черепнин начинает подготовку монографии под рабочим названием «Школа Ключевского в русской историографии». К сожалению, эта монография так и осталась незавершенной, но отдельные ее фрагменты увидели свет в виде сборника статей о различных историках XVIII–XX вв. Л. В. Черепнин, выделяя в «школе Ключевского» две генерации ученых – «детей» и «внуков» историка, – одним из первых заговорил о роли поколений в научном сообществе и попытался проследить процесс трансформации школы в ходе передачи ее научной и преподавательской традиции от одного поколения к другому⁴³. В 1970 г. выходит книга Э. Г. Чумаченко «В. О. Ключевский – источниковед». Ее научным консультантом и редактором выступил А. А. Зимин. А через четыре года была завершена фундаментальная монография М. В. Нечкиной, посвященная В. О. Ключевскому⁴⁴. Работа над темой была начата ею еще в 1921 г. и велась около 50 лет, при тесном сотрудничестве с учениками и родственниками Ключевского⁴⁵.

Традиции «школы Ключевского» и дореволюционного этоса науки продолжали бережно храниться и манифестироваться в рамках советской исторической науки его учениками и теми историками, которые причисляли себя к «внукам» Ключевского. Очевидно, что и своеобразная символика «образа» В. О. Ключевского, как идеала дореволюционной науки, является «продуктом воспоминания о прошлом», сохраняемым и востребованным в живой традиции сообщества историков. А «поминальный комплекс» документов, неугасающий историографический интерес, юбилейные собрания, учреждение сти-

пендий имени В. О. Ключевского и открытие памятника на могиле историка в 1911–1970-е гг. тому свидетельства.

Развиваясь в рамках мнемогенеза, коммеморация от общности через индивидуализацию приходит к омассовлению (экстериоризации), переводя память, имеющую первоначальный коммуникативный генезис, на уровень культурной памяти. Память о Ключевском в классическом понимании «культурной памяти» приобретает статус таковой в России постперестроечного периода. В условиях кризиса этнокультурной идентичности и остро переживаемой научным сообществом социальной «травмы» стали возвращаться к жизни символы прошлого, хранимые культурной памятью. Именно культурная память берет на себя функции не только по реконструкции прошлого, но и организует переживание настоящего и осмысление будущего⁴⁶. Так, в переломном для судьбы России 1991 г. сообщество историков обращается к своему прошлому: 150-летний юбилей В. О. Ключевского был отмечен переизданием книг, изданием юбилейных статей, где он, наряду с Карамзиным и Соловьевым, выступает в качестве эталона научного этоса⁴⁷. 1991, 1996, 2001, 2006 и текущий 2011 г. отмечены проведением научных конференций и выпуском сборников научных статей (Пенза, Москва, Петербург, Нижневартовск, Омск, Челябинск), приуроченных к юбилейным датам В. О. Ключевского.

Со второй половины XX в. «места памяти» возродились там, где стала актуальной и востребованной память о «великом земляке», «воспитателе», «ученом» – на Пензенской земле⁴⁸. Мероприятия по увековечению памяти великого земляка были проведены здесь еще в середине XX в. В 1966 г. на мемориальном доме была установлена памятная доска, а улица Боевая (бывшая Поповка) получила имя Ключевского⁴⁹. Знаковым событием для региона стало открытие памятников В. О. Ключевскому: в 1991 на родине историка, в с. Воскресеновка, у стен общеобразовательной школы, получившей имя Ключевского; и 2008 в Пензе, куда семья Ключевских переехала после смерти отца и проживала до отъезда Василия Осиповича в Москву. Примечательно, что инициативы по увековечению памяти историка, как правило, исходили от местных властей.

В 1991 г., к 150-летию со дня рождения Ключевского, в Пензе был открыт музей, получивший его имя⁵⁰. Начиная с 1991 г. и до настоящего времени, каждые пять лет там проводятся всероссийские конференции, посвященные юбилеям Ключевского. На базе Дома-музея организуются различные краеведческие выставки, проходят заседания исторического клуба «Наследие». При участии клуба была восстановлена утраченная мемориальная доска, обозначающая дом, где жил будущий историк. В 2010 г. Музей В. О. Ключевского и Пензенский государственный краеведческий музей проводили выездную выставку в Тамбове. Часть экспонатов были специально посвящены теме увековечения памяти великого историка. Экспонировались фотографии с научных конференций, церемонии открытия памятника Ключевскому в Пензе. Кроме того, были представлены снимки выдающихся общественных деятелей России, посещавших музей Ключевского (патриарх Алексей II, писатель

А. И. Солженицын, академик С. О. Шмидт). Стоит отметить, что московские историки, в частности С. О. Шмидт и Р. А. Киреева, активно принимали участие в научной жизни пензенского музея и внесли существенный вклад в расширение его книжного фонда.

Новые возможности, открывшиеся на заре XXI в., оказали влияние и на формы меморизации историка: в пензенском музее хранится свидетельство о присвоении малой планете № 4560 имени «Ключевский».

Сохранился и другой пласт памятных мест, связанных с жизнью Ключевского в Пензе. Это разрушенная церковь в с. Можаровка, где служил его отец, Иосиф Васильевич. Экспедицией, направленной от Музея Ключевского, там был воздвигнут памятный крест. Кроме того, сохранился и полуразрушенный остов церкви в Воскресеновке, где был крещен В. О. Ключевский. Прискорбно, что причастность этого «места памяти» к имени Ключевского никак не обозначена.

Специфика образа В. О. Ключевского, отраженного в памяти его земляков, в итоге способствовала тому, что в Пензе и Воскресеновке возник не просто мемориал выдающемуся земляку, а целый исторический комплекс, вписанный в геокультурное пространство. Память о Ключевском, перенесась из столицы в провинцию, уже в другом месте и в другое время – на исходе XX в., вновь становится фактором, объединяющим представителей сообщества российских историков.

В итоге мы отмечаем, что «вспышка памяти» и период оживления историографического дискурса, как правило, связаны с юбилейными датами. И в совокупности это можно рассматривать как целостное и развивающееся во времени коммеморативное событие, в структуре которого можно наблюдать следующие условные формы:

- посмертные нарративные практики (некрологи; воспоминания; сборники статей, посвященные памяти почившего);
- коммеморативные акции (панихиды; проведение собраний и конференций, манифестирующих юбилейное событие; учреждение стипендий; установка памятников, надгробий; именование улиц; открытие музея);
- историографический нарратив (публикация архивных материалов, сборников, монографий, научных статей).

Историографическая среда, находящаяся в контексте социокультурного развития, вырабатывает свой механизм выбора объекта и способы сохранения и трансляции памяти о нем, решает, насколько будет закрыто или открыто пространство памяти, определяет, какие характеристики приобретет образ историка. В связи с этим она сама может рассматриваться как «место памяти», обладающее своей специфичной «историографической памятью», хранящей наши знания об историках и их научном наследии. В рамках развития коммеморативных практик в историографии наблюдается процесс трансформации памяти, который содержит в себе коммуникативный/социальный и культурный слои памяти об объекте. «Историографическую память» можно представить как явление, стоящее на стыке коммуникативной и культурной памяти, в

том смысле, что, беря свое начало из среды «коммуникативной памяти», она, со временем, способна перерождаться в «культурную память» (в трактовке М. Хальбвакса). Этому процессу способствуют такие вновь возникающие и развивающиеся «пункты фиксации», как научный нарратив, «ритуалы» (юбилейные торжества), институционализированные формы воспоминания (например, музеи). Носителями культурной памяти выступают уже не современники «актуального сообщества вспоминающих», а особые, иногда профессиональные, хранители и носители памяти (историографы, музейные работники).

Память об историке и коммеморативные традиции в историографической среде, как и в любом другом культурном субстрате, представляет собой процесс, который служит выражением солидарности группы, мобилизует разные дискурсы и практики в репрезентации событий научной повседневности. В связи с этим они приобретают значимость как свидетельства способности корпорации историков к самопрезентации и являются маркером актуального научного этоса.

Примечания

- ¹ Исследование проведено при поддержке ФПМУ ЧелГУ. Проект № 10/1.
- ² См.: Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 217–219; Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж., Винок М. Франция-Память / пер. с фр. Д. Хапаевой ; науч. консультант пер. Н. Копосов. СПб., 1999.
- ³ См.: Малыгина И. В. От «помнящей культуры» к «культуре забвения» : дискурсы и исторические формы репрезентации культурной памяти // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. 2007. № 3. С. 66–71.
- ⁴ Калинин И., Келли К. Советская память/память о советском // Неприкоснов. запас. 2009. № 2 (64). С. 3–4.
- ⁵ О комплексе культурных форм, в которых может воплощаться память (memoria) см.: Малыгина И. В. Указ. соч. С. 69.
- ⁶ Арнаутова Ю. А. Культура воспоминания и история памяти // История и память : историческая культура Европы до начала нового времени / под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. С. 47.
- ⁷ Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.
- ⁸ Хаттон П. Указ. соч. С. 199–200.
- ⁹ Там же. С. 217–219.
- ¹⁰ См.: Гришина Н. В. «Школа В. О. Ключевского» в исторической науке и российской культуре. Челябинск, 2010.
- ¹¹ Кустарев А. Скажи мне, что ты помнишь // Неприкоснов. запас. 2009. № 2 (64). С. 10–11.
- ¹² См. напр.: Кизеветтер А. А. Первый набросок курса В. О. Ключевского // Зап. Рус. науч. ин-та в Белграде. 1931. Вып. 3. Сборник Русского исторического общества в Праге. С. 12; Памяти В. О. Ключевского : (Доклады, прочитанные на Торжественном публичном заседании общества бывших воспитанников Московского университета) // Россия и славянство. 1931. № 12. 26 дек.
- ¹³ См. подробнее: Алеврас Н. Н., Гришина Н. В. Историк на перепутье : (Научное сообщество в «смуте» 1917 года) // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. 2008. № 25. С. 87–108.

¹⁴ Филимонов С. Б. Доклад М. М. Богословского о В. О. Ключевском на заседании общества «Старая Москва» // Археогр. ежегодник за 1991 год. М., 1994.

¹⁵ Гришина Н. В. Миф о В. О. Ключевском в исторической науке конца XIX–XX вв. // Полиэтничность России в контексте исторического дискурса и образовательных практик XIX–XX вв. : сб. ст. всерос. науч. конф. (III Арсентьевские чтения). Чебоксары, 2010. С. 121.

¹⁶ См. подробнее: Богомазова О. В. Память о В. О. Ключевском в геокультурном пространстве Москвы в конце XIX–XX вв. // Вестн. Челяб. гос. ун-та. История. Вып. 44. 2011. № 9 (224). С. 137–143.

¹⁷ Памяти В. О. Ключевского // Ран. утро (Москва). 1911. 15 мая.

¹⁸ Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 418. Оп. 242. Д. 61. Л. 1; Ф. 418. Оп. 243. Д. 66. Л. 2–5; Ф. 634. Оп. 1. Д. 47. Л. 16–20.

¹⁹ ЦИАМ. Ф. 363. Оп. 1. Д. 140. Л. 42–45; Оп. 1. Д. 158. Л. 11 об, 69, 71; Оп. 7. Д. 159. Л. 26; Ф. 363.

²⁰ Дом № 10 на ул. Житной до наших дней не сохранился.

²¹ См.: Бухерт В. Г. Борис Васильевич Ключевский // В. О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии : материалы науч. конф. (Пенза, 25–26 июня 2001 г.) : в 2 кн. Кн. 1. М., 2005. С. 199–209.

²² По поводу портрета Шервуда В. О. Ключевский писал художнику: «Если задача искусства – мирить с действительностью, то написанный Вами портрет вполне достиг своей цели: он примирил меня с подлинником». Анисье Михайловне удалось уговорить мужа оставить картину, и она стала практически единственным украшением в доме историка.

²³ Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 131. К. 40. Д. 28, 30; К. 246. Д. 36, 38.

²⁴ См.: Филимонов С. Б. Материалы о В. О. Ключевском в архиве «Старой Москвы» // В. О. Ключевский : сб. материалов. Вып. 1. Пенза, 1995. С. 227.

²⁵ НИОР РГБ. Ф. 177. К. 31. Д. 45. Л. 10 (машинописный лист 2).

²⁶ НИОР РГБ. Ф. 177. К. 2. Д. 10. Л. 1 об. О критике деятельности Комитета см. подробнее: Там же. С. 281; Ученые кресты // Вечер. Москва. 1929. 12 авг.

²⁷ НИОР РГБ. Ф. 177. К. 31. Ед. хр. 45. Л. 9.

²⁸ НИОР РГБ. Ф. 177. К. 2. Д. 10. Л. 1–1 об. См. также: Иванова Л. В. «Старая Москва» и увековечение памяти В. О. Ключевского // Археогр. ежегодник. 1991. М., 1994. С. 200–202; Филимонов С. Б. Общество «Старая Москва» // Памятники отечества : альм. Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. М., 1980. № 2. С. 113–116.

²⁹ НИОР РГБ. Ф. 177. К. 31. Д. 43. 55 л.; Там же. К. 30. Ед. хр. 20. Л. 1; Там же. К. 31. Ед. хр. 44–45.

³⁰ См.: Высокова В. В. Память как исторический феномен // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 2. Гуманитар. науки. Вып. 16. 2008. № 59. С. 320–321.

³¹ См.: Гришина Н. В. Указ. соч. С. 28–29.

³² Киреева Р. А. М. А. Алпатов и «Очерки истории исторической науки в СССР». С. 327. URL : http://library.by/portalus/modules/rushistory/referat_readme.php?subaction=showfull&id=1192094339&archive=&start_from=&ucat=19& (дата посещения: 16.04.2011).

³³ Яковлев А. И. В. О. Ключевский // Зап. Науч.-исслед. ин-та при Совете Министров Морд. АССР. Вып. 6. Саранск, 1946. С. 124, 127.

³⁴ См.: Гришина Н. В. Указ. соч. С. 31; Корзун В. П., Колеватов Д. М. «Русская историография» Н. Л. Рубинштейна в социокультурном контексте эпохи // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. М., 2007. № 20; Мандрик М. В. Николай Леонидович Рубинштейн : очерк жизни и творчества // Рубинштейн Н. Л. Русская историография. СПб., 2008.

³⁵ Киреева Р. А. Указ. соч. С. 327.

³⁶ Гришина Н. В. Указ. соч. С. 34–35.

³⁷ Петербургский филиал Архива Российской академии наук (ПФА РАН). Ф. 934. Оп. 3. Ед. хр. 71. Л. 64–71.

³⁸ См.: Киреева Р. А. Из истории советской исторической науки конца 1940-х гг. : (Первое веет в научной жизни А. А. Зимина) // Археогр. ежегодник. 1993. М., 1995. С. 223–225.

³⁹ А. А. Зимин отдавал себе отчет, что до него тема Ключевского уже разрабатывалась, но до сих пор не приобрела монографической формы, так как архив историка стал доступен только с 1946 г. Среди исследователей Ключевского он перечислял «Любавского М. К., Голубцова С. А., Нечкину М. В., Рубинштейна Н. Л., Яковлева А. И.». Пожалуй, самым серьезным «конкурентом» в борьбе за «научный капитал» для Зимина была М. В. Нечкина. Вероятно, ее научный авторитет и «политическая надежность» склонили чашу весов в ее пользу, и приоритет в разработке архива В. О. Ключевского в итоге был отдан М. В. Нечкиной.

⁴⁰ Гришина Н. В. Указ. соч. С. 35–36.

⁴¹ См. напр.: Чумаченко Э. Г. В. О. Ключевский-источниковед / под ред. А. А. Зимина. М., 1970; Киреева Р. А., Зимин А. А. Археографическое послесловие // Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 371–374.

⁴² Исторические записки. Т. 69 / ред. А. Л. Сидоров. М., 1961; Сапожников Г. Н. Афоризмы В. О. Ключевского // Ист. арх. 1961. № 2. С. 224–230; История и историки : (Историография истории СССР) : сб. ст. / ред. М. В. Нечкина. М., 1965; Леонтьев М. Ф. Изречения и афоризмы В. О. Ключевского // Вопр. истории. 1965. № 7. С. 244–253; Киреева Р. А. В. О. Ключевский как историк русской исторической науки / ред. М. В. Нечкина. М., 1966; Нечкина М. В. Юные годы В. О. Ключевского // Вопр. истории. 1969. № 9. С. 67–90; Киреева Р. А. За строками примечаний // Вопр. истории. 1970. № 1. С. 214–220; Нечкина М. В. В. О. Ключевский-студент // Вопр. истории. 1971. № 5. С. 61–79; Этюды о лекторах : сб. / ред. Н. Н. Митрофанов. М., 1974; Нечкина М. В. Предисловие // Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 3–10; Шамаро А. Истина превыше всего : (К 145-летию со дня рождения В. О. Ключевского) // Наука и религия. 1986. № 5. С. 34–35; Александров В. А. Послесловие // Ключевский В. О. Сочинения : в 9 т. Т. 1–8 / ред. В. Я. Янин. М., 1987–1990.

⁴³ Гришина Н. В. Указ. соч. С. 38. См. также: Черепнин Л. В. Отечественные историки XVIII–XX вв. : сб. ст. М., 1984. С. 333.

⁴⁴ Нечкина М. В. В. О. Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974.

⁴⁵ Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 442. К. 261. Д. 52. Л. 5–8; Ф. 449. Оп. 1. Д. 35. Л. 14–14 об.

⁴⁶ Малыгина И. В. Указ. соч. С. 70–71.

⁴⁷ См. например: Александров В. А. Василий Осипович Ключевский (1841–1911) // История СССР. 1991. № 5. С. 57–67; Васильев Г. Василий Осипович Ключевский. 150

лет со дня рождения // Совет. милиция. 1991. № 1. С. 36–37; Лапицкий М. И. Глазами Ключевского : (Наше прошлое, настоящее и будущее) // Полис. 1991. № 4. С. 116–124; Персанова Е. М. Об изучении наследия В. О. Ключевского в школе // Преподавание истории в школе. 1991. № 5. С. 107–108; Павленко Н. Великий Ключевский // Наука и жизнь. 1996. № 7. С. 50–57; см. также ряд статей в «Археографическом ежегоднике за 1991 г.» (М., 1994).

⁴⁸ Автор выражает признательность сотрудникам музеев В. О. Ключевского в г. Пензе и с. Воскресеновке и благодарит за предоставленные материалы.

⁴⁹ И. Калинин и К. Келли пишут о 1960-х гг. как особом периоде, когда любые отсылки к прошлому, а также борьба за «охрану памятников», «стали формами латентной критики» модернизационного вектора внутренней власти и официальной идеологии партии. Указ. соч. С. 5.

⁵⁰ О концепции музея В. О. Ключевского и истории его создания см. подробнее: Арзамасцев В. История – в мемориальном пространстве // Мир музея. 1994. № 2 (136). С. 3–10.

Т. Н. Иванова

(Чувашский государственный университет, г. Чебоксары)

**В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ О В. И. ГЕРЬЕ И НЕ ТОЛЬКО:
К ПУБЛИКАЦИИ ОДНОГО ПИСЬМА**

В архиве Академии наук хранится письмо В. О. Ключевского, предположительно обозначенное в описи как адресованное в 1909 г. П. Г. Виноградову. Однако содержание письма свидетельствует о том, что оно было написано в мае 1875 г.¹ В самом послании традиционное обращение в начале листа отсутствует, но ясно, что адресат – близкий друг Ключевского, преподававший с ним вместе на Московских Высших женских курсах, находящийся в момент написания письма в Париже. Всем этим характеристикам отвечает только Александр Александрович Шахов (1850–1877), читавший на курсах в 1873–1875 гг. всеобщую литературу, который весной 1875 г. уехал в научную командировку². Адресатом письма не мог быть П. Г. Виноградов, приступивший к преподаванию на курсах лишь в 1876 г.

Основное содержание письма касается характеристики преподавания на Высших женских курсах, основанных в 1872 г. Владимиром Ивановичем Герье. Они с В. О. Ключевским долгие годы были соратниками и коллегами на Женских курсах и в Московском университете, где первый олицетворял собой всеобщую историю, а второй – историю России. Однако в методологических, методических, педагогических и политических взглядах двух ученых было много различий, о чем свидетельствует и публикуемое письмо. Ключевский настороженно относился к перенесению на русскую почву иноземного опыта, а западник Герье считал, что просвещение и прогресс придут в Россию из Европы. Несмотря на содержащуюся в публикуемом письме критику педагогических новаций Герье, его якобы отрицательного отношения к русской истории (что не соответствует действительности), Ключевский осознавал огромное значение его деятельности для российского образования³.

Текст письма публикуется по оригиналу, написанному рукой В. О. Ключевского. Устаревшее правописание слов заменено современным, авторская пунктуация сохранена. Подчеркивание слов – по оригиналу.

Архив Академии наук. Московское отделение. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 14. Ключевский Василий Осипович. Письмо [Виноградову Павлу Гавриловичу], [1909] б. д. 5 л.:

[Л. 1.] Когда Вы садились писать ко мне, Вам, очевидно, припомнилось стихотворение:

В чужбине свято наблюдаю

Святой обычай старины...

Вы хотели похристосоваться с умирающим человеком и словом «воскресе» возложить набожно-благотворительной рукой смягчающую боль листерову повязку на его старческую язву. Спасибо Вам на добром слове, ибо слово воистину доброе. Прочитав Ваше письмо, я пожалел, что под ним одна Ваша подпись; по крайней мере я с удовольствием подписался бы под ним и послал бы его к кому-нибудь третьему из «русских немцев»⁴. Только одно для меня не совсем ясно: это ваша мысль, что мы получим культуру позже, но дешевле. Да, получим, если в истории бывает «Фоминая» неделя, когда объявляется в магазинах распродажа по дешевым ценам. Я знаю одного картежника, который весь одевается на Фоминой и очень дешево. Зато и костюм же на нем! Штаны в вечной ссоре с сюртуком, сюртук с жилетом, жилет с галстуком, а шляпа и с галстуком, и с жилетом, и со штанами: все на нем сборное, коллегияльное, т. е. все смотрит врозь, как в Гагаринском по субботам⁵. Если блеск будущего нашей родины, Вами предусматриваемый, будет рябить в глазах, если ей суждено щеголять в культурных отбросах и обносках, я против этого ничего не имею: ведь костюм – прикрытие наготы, а чувство наготы – следствие греха, нравственная рана; следовательно, не все ли равно, чем ни прикрыться, лишь бы скрыть срамные части. Но я против одного, именно против взгляда [Л. 1 об.] на культуру, как на благо, которое можно заработать, но можно и прозевать. Возвращаюсь к нашим спорам на Малой Полянке. Культура – неизбежное несчастье, вопрос времени и статистики, т. е. того же времени. Накопит себе народ известный запас опыта, т. е. скуки – он становится культурным. Народят бабы известное количество ребят на квадратную милю – станет возможно известное раздробление труда, накопятся капиталы, т. е. умножится класс балбесов, могущих существовать без труда и платить за разбитые в трактире зеркала: опять культура! Культура не выхаживается, как невеста: она приходит, как старость. Она может и не придти; но для этого надо умереть пораньше, а не умрешь вовремя – неминуемо попадешь в культуру. Если мы с Вами хлопочем о своеобразной, самобытной национальной культуре, – это значит только, что мы желаем, чтобы наш народ старел по своему, кряхтел не так, как кряхтит немец, давал песок не того цвета, какой сыплется из француза. Как дряхлеет немец? Он опирается на ружье и надев очки, читает толстую глупую книгу. Француз надевает корсет и читает Золя, т. е. стареет, как Давид, бесстыдно щупая молодое женское мясо. Англичанин рыщет по свету, точно угорелый, хлопая по карманам, словно он потерял что-то, но где – не помнит. Мы – да,

как мы будем стареть? Это – вопрос, не лишенный научного интереса; стоит написать об этом маленькую сравнительно-историческую диссертацию на докторскую степень. Русские иностранцы желают, чтобы мы умирали эклектично, и каждый по своему вкусу подбирает старческие гримасы из разных [европейских]⁶ пожилых национальностей, выкрикивая [рекламируя]⁷ русскому народу: «вот эта рожа прочнее и [тебе]⁸ приличнее». В. И. Г[ерье]. желает, чтобы мы умирали надев тонкий французский корсет и усевшись за толстую немецкую книгу, да в веселую минуту выпивали по рюмке мараскину, – желает, чтобы мы усвоили все, из чего сшита его сборная добрая природа; А. И.⁹ прибавляет к этому рецепту табакерку и Библию. Максиму¹⁰, [Л. 2] напротив, очень дезирэбельно, чтобы мы стали международными бродягами, изучающими сравнительным методом всемирную порнографию. Ну, а какую отходную скомпонуем своей родине мы с вами, русские русаки? Вот это и вопрос; у нас еще нет прожекта. Вы впрочем уже замечаете некоторые «зачатки». Верую и радуюсь, что национальный саван уже кроится. Так давайте шить его с разных концов, но по одной самобытной выкройке: Вы с головы, а я с хвоста; Вы с Запада, а я с Востока; ведь покойника кладут ногами к Востоку, чтобы пробужденный от гробового сна архангельской трубой, он очутился прямо пред восходящим солнцем.

Впрочем что за чепуху несу я! Вы пожелали от меня «парочки слов», а я в благодарность за присланное мне патриотическое красное яичко (получено на 4-й день Пасхи) [старая накашлял]¹¹ и начихал Вам сравнительно-историческое надгробное слово. Ведь я хотел писать Вам о каком-то деле. Да, о курсах! Вы, вероятно, уже извещены о приключениях нынешней зимы. У нас кое-что случилось. Я зол и на Г[ерье], и на них (nominative он). Но Г[ерье] все перенес благодушно. Вчера у нас в Гагар[инск]ом был совет. Г[ерье] предложил новый способ экзамена – умного, ответы должны быть письменные и на вопросы, для решения коих записки служили бы только материалом. Значит, речь идет об испытании разума, а не памяти. Все согласились, я возражал, говоря, что для нового способа экзамена необходим и новый порядок преподавания, что надобно было в течение года готовить аудиторию к этому новому экзамену, а объявив его теперь, мы только спутаем и переконфузим бедняжек, что вообще нужно сообщить более определенное направление преподаванию, без чего последнее становится взаимным недоразумением. Я предложил или превратить курсы в школу для приготовления учительниц с разучиванием лекций, или в настоящие публичные курсы без всяких дипломов и экзаменов, даже с разовыми билетами для праздношатающихся¹². Г[ерье] осердился. Решено: всем [Л. 2 об.] экзаменовать по-новому, а мне по-старому. Что из этого выйдет, пока не знаю, а только подумываю, кого бы порекомендовать Г[ерье] для преподавания отечественной истории. По его взгляду, тщательно, но неудачно скрываемому, эта история в системе курсов есть неизбежная тяжесть, необходимая ненужность, что-то вроде местной, земской натуральной повинности, наложенной обычаями страны на женскую податную душу, из которой надо

выделать немецко-французскую космополитку с еврейским запахом. Хорошо, я с этим согласен и не хочу навязываться в становой для взыскания земских налогов с благородных душ, культивируемых для получения золотой медали на международной выставке безродных редкостей или скрещенных пород. Хорошо, я согласен; виноват, что не догадался раньше; впредь не буду, простите! [*Текст обрывается на половине листа. На пустой половине наискосок карандашом надпись другим почерком «Из архива историка А. И. Яковлева. Не Павлу ли Виноградову?»*].

[Л. 3]¹³ А[вдотья] И[вановна] и подавно, сказала мне колкость, которую я забыл тотчас по слабости причиненной ею боли. Решено: всем экзаменовать по-новому, а мне по-старому. Я не одобряю ни предложения, ни резолюции. Все это повергло меня в большое уныние: я испортил свой курс и являюсь виновником нескладицы в производстве экзаменов, буду экзаменовать не как другие. Притом я давно знаю взгляд Г[ерье] на русскую историю и ее значение в системе преподавания; этот взгляд тщательно, но неудачно скрывается. Русская история по этому взгляду лишнее, но неизбежное педагогическое бремя, необходимая ненужность, что-то в роде земской натуральной повинности, наложенной обычаями страны на учащиеся души, из которых надо выделать немецко-французских космополитов и космополиток с еврейским запахом. Но я не хочу быть рабочим в такой фабрикации и не хочу играть роли станового, взыскивающего земские повинности с благородных душ, культивируемых для получения золотой медали на международной выставке безродных кукол или скрещенных пород, - не хочу быть орудием культурного насилия: я родился и хочу умереть безобидным вогулом. Дайте мне прямой и откровенный совет, как поступить. Только Вы можете дать такой совет: другие не захотят или не сумеют. Мое желание – уйти, ибо я лишний. Но я не могу уйти, если Г[ерье] не пустит: мы с ним старые товарищи по курсам, и было бы не товарищески с моей стороны уйти молча. Притом я считаю Г[ерье] ненашим, но порядочным человеком: он не понимает и никогда не поймет ни нашей истории и ничего русского, как я и Вы не поймем четвертого измерения. Что же делать? Научите. Ведь нельзя участвовать в деле, [зная]¹⁴, что дело идет неправильно и что руководитель дела считает твое участие лишним, но терпимым только по [Л. 3 об.] необходимости, из национального приличия, т. е. местного предрассудка, а я узнал это недавно: прежде я считал преподавание на курсах правильно поставленным; прежде я знал, что Г[ерье] не придавая научного значения русской истории, признает за ней значение педагогическое и потому считает ее преподавание нелишним. [*Далее текст обрывается. На пустой части листа карандашом, как на л. 2 об., написано: «Не Павлу ли Виноградову? Из архива историка А. И. Яковлева»*].

[Л. 4] Известия, сообщенные мне о Вас Александром Николаевичем, когда я зашел за вашим адресом, показали мне, что Вы приобрели в Париже новые доказательства в пользу благоустроенности мира и реального существования в нем закона справедливости (оптимизма). Вы хорошо устроили свои ученые занятия и надеетесь поработать: этому я очень рад, как и всему опровергающему

мое мирозерцание. Я даже хочу послать Вам из Москвы несколько здешних доказательств оптимизма: они не сильны в логическом отношении, но очень сдобны. Во-первых, душа уехала за границу и даже слишком за границу – в пространственном и во многих других отношениях... Но это последнее для Вас не важно. Важнее, то что она обязала меня доставить ей Ваш адрес, прибавив: нам было бы очень приятно видится с ним в Париже. Если эта приятность только от доставки Вашего адреса, Вы увидите с ней, т. е. с душей, а не с приятностью. Ах, окажите мне услугу: она в Париже наверное (если я удостоюсь быть предметом столь отдаленной беседы) будет вас уверять, что я имею отличное сердце и скверные мысли; это убеждение она получила на последнем чтении, которым я ее огорчил. Постарайтесь ее уверить, что я напротив имею прекрасные мысли и скверное сердце, у которого нет веры не только во Влад[имира] Сол[овьева]¹⁵, но даже в душу, не говоря уж о теле.

Второе доказательство оптимизма идет из литературного источника. Прихожу на днях к ней – оставляют обедать. Являются неприятные Добчинский с Бобчинским, физика с математикой, кургузые, один – с подходцем танцующий, другой с беседой вялой и тягучей, как детская сопля. Приходит и неизвестный с бегающими и маленькими, чисто-кулацкими и чисто-русскими глазами семикопеечного жулика: представляется – Стасюлевич¹⁶! А, думаю, банкир литературных фальшивых бумаг! Но дело в том: у нас рыболовов примета – где окунь, там плотвы не бывает, потому – окунь плотву истребляет. А тут – чистое царствие Божие, в Евангелии проповеданное, когда ягненок будет мирно лизать под хвостом у волка и волк ему ничего за это не сделает. И еще доказательство: даже в спиритизм не верит, над статьей Вагнера¹⁷, в его же журнале напечатанной, смеется. После этого неверие в оптимизм равняется уже неверию в таинство евхаристии или в исторический закон Денежного Переулка о естественном и необходимом.

Теперь доказательства от противного. За пессимизм говорит многое более серьезное. Во-первых, окрестности Зачатейского монастыря. 30 апреля был у нас Совет в Гагаринском под председательством Его Превосходительства. Много говорили об украшениях на дипломе. Директор предлагал три фигуры женские; другие отвергали кто ту, кто другую – и в результате были отвергнуты все. Надобно было видеть огорчение директора, когда он плакался, что ведь дипломы не стенке будут вешать, другие будут смотреть и если диплом будет украшен тремя столь знаменитыми дамами, станут заниматься на курсе; а если украсить простой бордюшкой (как я предлагал, во вкусе XVI в., Домостроя, имея в виду плетень, которой бездействию надо приписать беспечность наших слушательниц), кто тогда пожелает у нас экзамен держать? Я ждал вопроса о будущем годе, о том, кто будет читать и кто не будет. Представьте: Савича¹⁸ не было, а Г[ерье] просто объявил, что он по-прежнему станет читать 4 часа. И тени какой-либо конспирации не было. Ник. Ильич¹⁹ был тут и рассказывал нам с Степой²⁰ грязнейший анекдот о северной Семирамиде, которую мы хотели поместить на дипломе, Степа гладил головой обои, обращая на себя тоскли-

вые взоры хозяина; председатель²¹ лежал в кресле с выражением неловкости, что вот именно председатель-то и не расписывается, а Бредих.²² продолжал в десятый раз рассказывать о заплате на штанах какого-то русского астронома, имеющего стотысячный дом в Петербурге. Так и здесь все кончилось [Л. 5] благополучно: тем не менее прав пессимизм.

Тоже и со Степой. Он был предложен один без танцмейстера. Но кому он обязан этим? Известному декану, который, болтая на все четыре стороны, очевидно доложил робкому Вольдемару о последствиях его намерения, слышанных от Савича²³.

Диспут Филиппа Ф.²⁴ отложен до сентября по просьбе Дювернуа²⁵, который демонстрировал, что диспозиция университетских оккупаций не позволит ему в такой кратковременный интервал погрузиться в надлежащем градусе в глубины тайников Риг-веды, тем более что в настоящее время, находясь на таком расстоянии от дочери лампового негоцианта, он обязан уже погружаться не в одни санскритские глубины, но и в другие более керосинового свойства, и если он сделает это неудачно, то ему грозят очень серьезные перили (?).

Приглашение в наш музей новой примадонны – политической экономии – на будущий год состоялось²⁶. Она заменит собой отпавшую в неоплатонизм философию²⁷, которая оживилась на последнем чтении, по какому вопросу Вы бы думали? – о бессмертии души! Об этом впрочем я передаю не на месте – это к доказательствам оптимизма. Разумеется, новая примадонна будет в другом роде, – но с точки зрения антрепренера и она – только примадонна. Я уже приготовил расписание труппы на следующий год для Моск[овских] Вед[омостей] (в объявлениях):

С 1 окт. будут там-то петь

Вл. И. Г.²⁸ – в опере: «Примирение Зевса, Саваофа, Христа и Кредитного Общества».

Н. С. Т.²⁹ – в мистерии «Византия, Двоеверие и безденежье».

Н. И. С.³⁰ – в музык[альном] водевиле «Пляска Шекспира с Турпином».

А. И. Ч.³¹ – в сатирич[еской] драме «Севильский Цирюльник, или Законы Народного Богатства».

А. И. Ш.³² – в оратории «Возрождение и оптимизм».

В. О. К.³³ – в музык[альной] былине.

Примечания

¹ В письме упоминается готовящаяся защита магистерской диссертации Ф. Ф. Фортунатова, которая состоялась осенью 1875 г., приглашение на Высшие женские курсы для преподавания А. И. Чупрова, который читал там только в 1875 г.

² См.: Владимир Иванович Герье и Московские Высшие женские курсы : мемуары и документы. М., 1997. С. 155.

³ См.: Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 178.

⁴ В. И. Герье – из семьи эмигрантов немецко-французского происхождения, но, по свидетельству Ю. В. Готье, считал себя русским и был «по своему бытовому укладу

глубоко русским человеком» (Московский университет в воспоминаниях современников. 1755–1917. М., 1989. С. 559).

⁵ В Гагаринском переулке находился дом Герье, где по субботам проходили своеобразные «педсоветы» Высших женских курсов.

⁶ Написано сверху над словом «разных».

⁷ Написано сверху над словом «выкрикивая».

⁸ Написано сверху строки.

⁹ Вероятно, Авдотья Ивановна – супруга Герье, принимавшая активное участие в судьбе курсов.

¹⁰ Вероятно, речь идет об ученом Максиме Максимовиче Ковалевском (1851–1916).

¹¹ Написано сверху строки.

¹² Первоначально Герье ставил задачей курсов не получение профессии, а получение знаний университетского характера. Лишь в 1877 он, возможно и под влиянием критики Ключевского, пишет проект нового устава курсов, по которому выпускницы получали право преподавания в женских учебных заведениях.

¹³ На наш взгляд, л. 3–3 об. является вторым вариантом текста на л. 2–2 об.

¹⁴ Написано сверху строки.

¹⁵ Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, богослов, поэт, публицист. Сын С. М. Соловьева. До 1875 г. преподавал на курсах.

¹⁶ Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911), историк, журналист и общественный деятель. В 1866–1908 гг. был редактором-издателем журнала «Вестник Европы».

¹⁷ Вагнер В. А. (1849–1934), основоположник сравнительной психологии в России.

¹⁸ Тихонравов Николай Савич (1832–1893), профессор кафедры истории русского языка и литературы, археограф, в 1876–1877 гг. декан историко-филологического факультета, в 1877–1883 гг. ректор Московского университета. На курсах читал древнерусскую литературу и историю русского языка.

¹⁹ Стороженко Николай Ильич (1836–1906), профессор кафедры всеобщей литературы Московского университета. На курсах читал классическую и средневековую литературу.

²⁰ Фортунатов Степан Федорович (1850–1918), был магистрантом В. И. Герье, но диссертации так и не защитил. Известен в среде историков благодаря высокой эрудиции, педагогическому таланту, но, одновременно, крайней неорганизованности и «большим чудачествам». На курсах читал всеобщую историю, в том числе, одним из первых в России – историю США.

²¹ Возможно, речь идет об историке С. М. Соловьеве, который в 1872–1879 гг. был председателем Педагогического совета МЖВК, но лекций на курсах не читал, т. е. его не было в расписании.

²² Бредихин Федор Александрович (1831–1904), профессор астрономии Московского университета. На курсах читал астрономию и космографию.

²³ Возможно, речь идет о неудачном представлении в совет в качестве магистерской диссертации книги С. Ф. Фортунатова «Представитель индпендентов Генри Вен».

²⁴ Фортунатов Филипп Федорович (1848–1914), брат С. Ф. Фортунатова, осенью 1875 г. защитил магистерскую диссертацию по сравнительной грамматике индоевропейских языков.

²⁵ Дювернуа Александр Львович (1838–1883), лингвист, профессор истории и литературы славянских наречий. Его труды отличались крайне витиеватым слогом. Незадолго до описываемых событий женился.

²⁶ Чупров Александр Иванович (1842–1908), в Московском университете читал политэкономия и статистику.

²⁷ Вл. Соловьев в 1875 г. прекратил преподавание на курсах.

²⁸ Герье. Читал в 1875 г. историю древнего мира и средних веков, руководил финансовым обеспечением курсов.

²⁹ Тихонравов. Вел историю древнерусской литературы.

³⁰ Стороженко. Вел всеобщую литературу.

³¹ Чупров читал политэкономия.

³² Вероятно, А. А. Шахов, специалист по литературе эпохи Возрождения.

³³ Ключевский В. О. Вёл русскую историю.

*И. Г. Воробьева
(Тверской государственный университет, г. Тверь)*

**ИСТОРИКИ И ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ**

В дореволюционной России центрами воспроизводства и расширения научных знаний о прошлом являлись в основном университеты. Они же инициировали создание научных обществ, изданий, проведение научных форумов. Какова же была ситуация в губерниях, не имевших университетов, то есть на основном пространстве России?

В конце XIX в. интеллектуальными центрами становятся губернские ученые архивные комиссии, к деятельности которых в историографии в последние годы имеется стойкий интерес.

Тверская ученая архивная комиссия, одна из первых в России, была открыта в 1884 г. по инициативе и при содействии профессионального архивиста Н. В. Калачова. Петербургский Археологический институт, возглавляемый Н. В. Калачовым, осуществлял научное руководство новыми учреждениями, позднее этим занималось Русское историческое общество. По положению о комиссиях непрерывными их попечителями являлись губернаторы, но вся организационная и научная работа находилась в ведении председателей – лиц, отметившихся выдающимися исследовательскими и организаторскими талантами.

Первым председателем Тверской комиссии (ТУАК) стал Август Казимирович Жизневский (1819–1896). А. К. Жизневский – поляк, римско-католического вероисповедания, родился в Витебской губернии. Окончив 2-е отделение философского факультета Московского университета, он с 1841 г. и до конца дней пребывал на государственной службе. В Тверскую губернию впервые был назначен в 1851 г., а с 1863 г. жил в Твери постоянно, находясь на службе в должности управляющего Казенной палатой и дослужившись до чина тайного советника.

Предполагалось, что главная задача комиссии – спасение местных архивов и памятников старины от уничтожения и забвения. Сотрудники комиссий должны были обладать знаниями во многих областях – истории и археологии, музейном деле и архивоведении, прекрасно ориентироваться во всех нюансах

развития государственных учреждений России. Однако состав комиссий отвечал этой задаче лишь частично: среди их членов – а это были губернские чиновники, местные помещики, преподаватели средних учебных заведений, купцы, представители духовенства, мещане – многие не имели специального образования и исследовательских навыков, в том числе и сам А. К. Жизневский. Правда, он был с 1872 г. директором Тверского музея и в этой должности энергично общался со столичными археологами, искусствоведами, музейными работниками¹.

В ходе работы комиссии стало очевидным, что без профессиональных историков, архивистов, палеографов обойтись невозможно. В ее состав постепенно были избраны с официальным уведомлением профессор Московского университета Н. А. Попов, профессор Петербургского университета И. А. Шляпкин, директор Исторического музея И. Е. Забелин, профессор Казанского университета Д. А. Корсаков. При их участии реализовывались разнообразные, как бы мы сейчас сказали, проекты по сбору, хранению и популяризации исторических документов региона. Один из них – публикация найденной в библиотеке Тверской духовной семинарии рукописи XVII в. под названием «Объяснение изводно о письме Словенском». Ее автором оказался хорватский миссионер Юрий Крижанич. Об истории реализации этого проекта мне уже приходилось писать².

В настоящей статье хочу обратить внимание на создание при участии профессионалов и любителей истории новой трактовки региональной истории Тверской земли. Речь пойдет о книге «Тверской патерик. Краткие сведения о Тверских местно чтимых святых»³. Эта работа, вышедшая при участии архиепископа Димитрия (Самбикина) в 1908 г., готовилась долго. Попытаемся выяснить, кто и когда высказал идею составления Тверского патерика? Какие ученые силы привлекались в ходе работы?

Ответы на поставленные вопросы следует искать в делопроизводственных бумагах ТУАК. К сожалению, архив комиссии сохранился не полностью, некоторые документы и часть библиотеки пропали, поэтому каждая новая находка и ее публикация сегодня очень ценны и значимы. Так, письма председателя ТУАК А. К. Жизневского к профессору Петербургского университета И. А. Шляпкину, подготовленные к изданию еще в 1916 г., оказались в архиве РНБ и не были востребованы исследователями, их удалось опубликовать только в 2007 г.⁴ Именно в тех письмах и обнаружился факт начальной истории создания Тверского патерика.

Первоначально следует изложить восстановленную хронологию событий. А. К. Жизневский, будучи губернским чиновником, часто бывал по долгу службы в Петербурге. В числе его новых знакомых в середине 1880-х гг. оказался Илья Александрович Шляпкин (1858–1918).

И. А. Шляпкин – известный историк русской литературы, палеограф, коллекционер рукописей, книг и предметов народного быта, профессор, преподававший в Петербургском университете, на Высших женских курсах, в Археологическом институте, член-корреспондент Академии наук. Его магистерская диссертация «Св. Димитрий Ростовский и его время» – важный вклад в

церковно-историческую науку. Он неоднократно бывал в Твери. В 1888 г. петербургского ученого избрали членом ТУАК, и он принял активное участие в делах комиссии: присылал необходимые книги, составлял справки в архивах по запросу А. К. Жизневского.

Именно И. А. Шляпкин в марте 1890 г. предложил членам комиссии первый крупный исследовательский проект, который мог бы объединить всех членов ТУАК, – собрать Тверской патерик. А. К. Жизневский тут же ответил письмом от 4 апреля того же года: «Ваше предложение насчет Тверского патерика принимаем с радостью, хотя и не без тревоги <...> Комиссия наша, как нужно было ожидать, отнеслась к Вашему предложению сочувственно, но одного сочувствия мало»⁵. Жизневский, размышляя о том, кто будет готовить столь значительный проект, писал, что «В. И. Колосов с охотой принимает на себя разработку жития святителя Арсения епископа Тверского, он этим предметом уже занимается, имея у себя под рукою и самые древние редакции <...> надеется, что со временем может заняться и житием Ефрема Новоторжского». В. И. Колосов – выпускник Петербургской духовной академии, преподаватель истории в Тверской семинарии – имел удачный опыт исследовательской и издательской работы. Он опубликовал в Чтениях Общества истории и древностей при Московском университете (ОИДР) вышеупомянутую рукопись Юрия Крижанича.

А. К. Жизневский предполагал, что «хорошим редактором» жития преподобного Нила будет осташковский священник В. П. Успенский. Называлось имя еще одного сотрудника ТУАК, способного взяться за подготовку Патерика, – М. Н. Сперанского, работавшего в то время над книгой «Описание рукописей Тверского музея». Но М. Н. Сперанский готовился к поездке за границу на два года, и «поэтому на него пока нельзя рассчитывать», по словам Жизневского, следовало «приискать кого-либо для жития пр. Макария Калязинского». В том же письме сообщалось, что, принимаясь за проект, ТУАК рассчитывала его с помощью Шляпкина «пристроить к напечатанию в Петербурге». В следующем письме Жизневский повторял, что «печатание Патерика ТУАК принять на себя не может <...> у нас же нет для этого средств». Он предлагал обратиться с этой идеей в Общество древнерусской письменности или ОИДР.

Итак, уже в начале 1890 г. выявилась команда, готовая к составлению Тверского патерика, и представлялось, что проект будет завершен в ближайшее время.

И. А. Шляпкин, вдохновлённый тем, что его предложение нашло поддержку, приступил к разработке плана Тверского патерика и просил Жизневского прислать ему в Петербург необходимые материалы. Тот поддержал его целеустремленный порыв и писал в ответ 20 апреля 1890 г.: «Ваши указаниями относительно Тверского патерика начинаю пользоваться <...> Вчера отправлена мною к Вам выписка из рукописи “Русское небо святым”, о Тверских угодниках». Далее он добавлял: «К ним, по всему вероятно, следует присоединить местночтимую в Кашинском девичьем монастыре монахиню этого монастыря Дорофею». В свою очередь, Шляпкин предлагал для работы В. И. Колосова свой экземпляр жития св. Арсения.

С планом работы над Патериком, составленным Шляпкиным, председатель познакомил членов комиссии на заседании 5 мая 1890 г. Его сообщение зафиксировано в опубликованном Журнале 28-го заседания, на котором присутствовало 13 человек, в том числе протоиерей В. Ф. Владиславлев, редактор «Тверских епархиальных ведомостей». Программа предполагала «собрать не только жития и службы местных святых, но и указания на все, что после них осталось <...> если имеются грамоты или другие документы, то списать с них копии, если – вещи, то приложить рисунки их или, по крайней мере, тщательно описать их. Списки житий предварительно должны быть распределены по редакциям <...> в каждой редакции должен быть выбран лучший текст, а затем подведены варианты». Шляпкин составил список литературы, которым могли бы воспользоваться составители Патерика. Он называл монографию В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871), Н. П. Барсукова «Источники русской агиографии» (СПб., 1882), архиепископа Филарета «Русские святые, чтимые всею церковью или местно» (СПб., 1882), архимандрита Сергия «Месяцеслов Востока». Как видим, список невелик.

Предполагалось, что факты житийной литературы следует объяснять «дан-ными из летописей, актов, преданий, археологических изысканий». Шляпкин предложил комиссии «сосредоточить дело в руках одного редактора, которому, с помощью подредакторов, и предоставить распределение составления житий». Сам же Шляпкин думал взять «на себя труд разработки жития благоверного князя Михаила Тверского». Владимир Петрович Успенский «изъявил готовность потрудиться над житием св. Нила Столобенского чудотворца», а Владимир Иванович Колосов – над житием св. Арсения, епископа Тверского. ТУАК решила «принять изложенное к сведению и просить любителей родной старины принять участие в этом деле».

Об этом заседании Жизневский тут же сообщил Шляпкину (письмо 10 мая 1890 г.), но заметил: «Все с сочувствием отнеслись к Вашему предложению. Придется, однако, приступить к этому делу осенью». В начале зимы того же года Жизневский докладывал: «Дело о Патерике в ходу, только медленно продвигается. Все-таки буду повторять: вперед, вперед!» Сам председатель ТУАК продолжал работать над исследованием житий св. Михаила Ярославича и просил «сделать некоторые справки» (письмо 20 апреля 1891 г.).

В конце 1893 г. у членов ТУАК появилась новая идея, высказанная в письме к Шляпкину: «Писать же я собирался <...> по поводу Тверского патерика. Мы собираемся к августу 1894 г. напечатать другую редакцию “Жития святителя Арсения Тверского”, основываясь на рукописях преимущественно Тверского Музея <...> Эти издания приурочиваются к 500-летию Тверского Желтиковского монастыря. Не желая приступить к этому изданию без Вашего ведома, я долгом счел известить Вас об этом, чтобы не помешать в осуществлении Вашего плана насчет Тверского патерика» (письмо 1 января 1894 г.). В это же время Жизневский обратился к графу С. Д. Шереметеву (председателю ОЛДП) напечатать полное житие св. Арсения. «Труд составления такого жи-

тия принял на себя В. И. Колосов при содействии М. Н. Сперанского в Москве и И. А. Шляпкина в Петербурге»⁶.

Итак, предлагалось часть готового материала публиковать, продолжая работу над Патериком: «В настоящее время по моей просьбе составляется членом ТУАК Андреем Афанасьевичем Митропольским список Тверских святых, доселе преимущественно на основании рукописей Тверского музея» (письмо 1 января 1894 г.).

Как показывает переписка, в 1894 г. состав участников проекта несколько изменился (в декабре 1894 г. скончался В. П. Успенский). Основным составителем Патерика становится А. А. Митропольский. Жизневский сообщал Шляпкину: «Под влиянием переписки моей с Вами один из членов нашей Комиссии по моему почину и данным мною материалам составил “Агиографию святых и подвижников благочестия Тверской епархии, чтимых и прославляемых в местной церкви и особенно там, где почивают их нетленные мощи” (письмо 3 января 1895 г.).

Имя Андрея Афанасьевича Митропольского (?–3.09.1902) известно современному тверскому духовенству. По окончании Московской духовной академии он преподавал в Тверской семинарии на кафедре истории церкви, был принят в члены ТУАК.

С ходом своей работой над «Агиографией святых Тверской епархии» А. А. Митропольский знакомил членов комиссии регулярно. В декабре 1894 г. (48-е заседание ТУАК) он прочитал отрывок своего, как сказано, обширного труда, указав на изученные им источники. Стоит обратить внимание, что на том же заседании была прочитана «записка, составленная тверским иконописцем Ив. Фил. Арефьевым, под заглавием “Приемы и правила древнего русского иконописания”». Ее текст вызвал «живое сочувствие присутствующих», и было принято решение «заказать г. Арефьеву написать для Архивной комиссии иконы всех Тверских святых по старинным иконописным подлинникам, для чего руководством могут служить исследования А. А. Митропольского в области тверской агиографии.

Вскоре (26 мая 1895 г.) Митропольский прочитал отрывок из своего сочинения, «закрывающий в себя сведения о жизни князя Владимира и княгини Агрипины Ржевских»⁷. Из записей в журнале того заседания можно узнать, что все его сочинение состояло из двух частей. В первой сообщались сведения о 35 святых и подвижниках благочестия Тверской епархии, причем их имена излагались в хронологическом порядке, начиная с преп. Ефрема Новоторжского и кончая Анной Кашинской. Во второй части труда приведены сведения о 8 святых и подвижниках благочестия, мощи которые почивают в Тверской епархии (преп. Савва Вишерский, св. Гурий и Герман, архиепископы Казанские, патриарх Иов). А. А. Митропольский обстоятельно докладывал источниковую базу своего исследования, анализировал тексты рукописей Тверского музея.

Обсудив труд Митропольского, ТУАК приняла решение «просить редакцию Тверских епархиальных ведомостей, испросивши предварительно на то разрешение Его Высокопреосвященства архиепископа Саввы, напечатать сочинение г. Митропольского».

Итак, уже летом 1895 г. текст по тверской агиографии в основном был готов, но не был опубликован. Возможно, это связано с тем, что в 1896 г. скончались оба радателя Патерика – архиепископ Савва и А. К. Жизневский.

Но ТУАК не отказалась от проекта, члены комиссии продолжали составление Патерика. В журналах заседаний встречаем сообщения о докладах В. И. Колосова, А. А. Митропольского, Н. В. Лилеева, И. Я. Кункина, посвященных тверской агиографии.

В июне 1901 г. состоялось выездное заседание комиссии в Кашине, на котором была показана икона всех святых – уроженцев Тверской епархии⁸. Как уже сказано, мысль о написании такой иконы была высказана еще в 1894 г., осуществил же эту задачу Иосаф Яковлевич Кункин с благословения Высокопреосвященного архиепископа Дмитрия, взошедшего на тверскую кафедру в 1896 г. В журнале заседания комиссии записано, что в сооружении иконы архиепископ Дмитрий принял самое близкое участие: он указал имена тверских святых, давал советы, как изобразить их на иконе, отыскивал подлинники. Как известно, икона была написана инокинями Кашинского Сретенского женского монастыря. Объяснения к ней давал А. А. Митропольский. Текст рукописи он дорабатывал для печати, захватив ее с собой в Крым, куда отправился на лечение весной 1902 г. Но произошла трагедия: А. А. Митропольский умер в Алушке, тело покойного привезли в Тверь, а рукопись пропала.

Все надежды на составления Патерика теперь возлагались на архиепископа Дмитрия, которого избрали в почетные члены ТУАК 29 декабря 1896 г.⁹ Эти надежды имели весомое основание. Архиепископ Дмитрий был автором многих ученых трудов, больше всего среди священства был известен «Полный месяцеслов Востока» на все 12 месяцев года. В 1902 г. владыка открыл в Твери Церковно-исторический комитет с древлехранилищем. На еженедельных заседаниях по вторникам обсуждались составленные местными священниками описания всех древних предметов, находившихся в храмах епархии¹⁰. Архиепископ Дмитрий поддержал проведение в Твери в 1903 г. Второго областного археологического съезда, на который прибыли духовные лица из разных мест епархии. Он совершил закладку и освящение единственного в своем роде здания церкви-музея, сооруженного почетным членом ТУАК А. А. Ширинским-Шихматовым в имении Островки Вышневолоцкого уезда. В 1904 г. Священный Синод по представлению Санкт-Петербургской духовной академии удостоил архиепископа Дмитрия ученой степени доктора церковной истории.

Собрав все подготовленные и опубликованные членами ТУАК материалы по тверской агиографии, владыка Дмитрий приступил к созданию текста Патерика. Покинув Тверь весной 1905 г., он продолжил эту работу в Казани. Мне, к сожалению, оказалась недоступной его переписка с председателем ТУАК, но известно, что незадолго до кончины архиепископ Дмитрий приезжал в Тверь. Благодаря содействию Церковного историко-археологического общества Казанской епархии текст Тверского патерика был издан в 1908 г.

Итак, на основании обнаруженных архивных материалов, записей в журналах заседаний ТУАК, комментариев в тексте самого Тверского патерика удалось установить, что работа длилась более 15 лет, с 1890 г.; инициатива проекта исходила от членов ТУАК И. А. Шляпкина и А. К. Жизневского; в проекте приняло участие около 10 человек, но завершить его удалось только архиепископу Димитрию. Тверской патерик – результат совместных изысканий и глубокой аналитической работы светских и церковных историков, профессионалов и любителей истории.

Результатом деятельности такого сообщества стало создание собственной концепции исторического развития тверских земель. Образ прошлого визуально представляла икона «Собор Тверских святых», сопровождавшаяся текстом житий 57 святителей, мучеников, преподобных, праведных, благоверных, связанных с тверским регионом. Читателю предлагалось рассматривать местно чтимых святых небесными покровителями, защитниками тверитян, которые своим покровом как бы вычленили тверские земли среди других земель. Иными словами, религиозный фактор выдвигался в качестве главной категории осмысления собственного прошлого.

Примечания

¹ Об этом общении см.: Воробьева И. Г., Шаплов А. Е. Фонд А. К. Жизневского (1819–1896) как источник тверского краеведения // Вестн. архивиста : информ. бюл. 2007. № 3 (99). С. 247–252; Воробьева И. Г., Штыков Н. В. : 1) Славист К. Я. Грот и исследователь Тверского края А. К. Жизневский (по данным переписки) // Славян. альм. 2008. М., 2009. С. 149–165; 2) Научные контакты Санкт-Петербурга и Твери во второй половине XIX – начале XX в. // Первый Петербургско-Тверской семинар «Тверской край в науке и культуре» : сб. науч. ст. Тверь, 2009. С. 12–27; Воробьева И. Г., Хухарев В. В., Потапова Е. В. Письма И. Е. Забелина А. К. Жизневскому : к истории взаимоотношений Российского исторического и Тверского музеев // Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры / отв. ред. В. Л. Егоров. М., 2010. С. 58–70.

² См.: Воробьева И. Г. Юрий Крижанич и его трактат «Объяснение сводное о письме славянском» // Тверская рукопись Юрия Крижанича / сост. И. Г. Воробьева, В. М. Воробьев. Тверь, 2008. С. 5–27.

³ См. репринт издания: Тверской патерик. Краткие сведения о Тверских местно чтимых святых / отв. за вып. В. Е. Егоров. Тверь, 1991. История создания патерика в этом издании не представлена.

⁴ См.: Воробьева И. Г. Письма А. К. Жизневского к И. А. Шляпкину // Твер. старина. Тверь, 2007. № 26. С. 23–33.

⁵ См.: Воробьева И. Г. Письма А. К. Жизневского к И. А. Шляпкину. С. 29. Далее цитаты из писем приведены по этой публикации. Письма самого И. А. Шляпкина в архивах Твери, к сожалению, не обнаружены.

⁶ См.: Журнал 45-го заседания ТУАК 27 янв. 1894 г.

⁷ См.: Журнал 50-го заседания ТУАК 26 мая 1895 г.

⁸ См.: Журнал 83-го заседания ТУАК.

⁹ См.: Журнал 61-го заседания ТУАК.

¹⁰ См.: Журнал 99-го заседания ТУАК.

К. В. Ванюшева

(Удмуртский государственный университет, г. Ижевск)

**РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ АРХЕОЛОГИИ
В РОССИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)**

С конца XIX в. в российской археологии происходят изменения, направленные на профессионализацию науки. Их можно рассматривать как на социальном (т. е. развитие труда, в результате которого он обретает профессиональную форму), так и на личностном (когда человек усваивает элементы профессиональной культуры, становится профессионалом) уровне.

Социальный уровень отражает процесс обретения сферой любительских занятий, археологией, статуса профессии. Одним из признаков этого было создание учреждений и организаций, осуществлявших профессиональную деятельность. В столицах появились Русское археологическое общество (РАО), Московское археологическое общество (МАО), Императорская Археологическая Комиссия (ИАК), а на Урале сначала Губернские статистические комитеты и ученые архивные комиссии, а позднее – образовательные общества и музеи, Казанский и Пермский университеты. Складывалась инфраструктура, обеспечивавшая координацию и оперативное взаимодействие сообщества. В тот период налаживание и поддержание постоянных связей между научными обществами и организациями обеспечивала деловая переписка.

К признакам профессии также относится формирование специальных требований, норм и стандартов, характеризующих и регулирующих данный вид деятельности. Общеизвестен факт привлечения государством в XVIII в. иностранных ученых для академических экспедиций в районы Урала и Поволжья, в ходе которых постепенно накапливались знания об археологических объектах, методических приемах их изучения, вылившиеся в инструкции и правила раскопок. В конце XIX – начале XX в. они представлены Инструкциями ИАК, рекомендациями археологических съездов, руководствами отдельных авторов, а также закреплялись в уставах Образовательных обществ. Развивалась система подготовки профессиональных кадров: на разных факультетах столичных

университетов Д. И. Анучиным, В. А. Городцовым, Ю. В. Готье, А. А. Спицыным, Ф. К. Волковым и др. читались лекции, содержавшие информацию по археологии, были созданы Археологические институты. Появлялись методы и способы оценки квалификации специалистов, осуществлявших профессиональную деятельность – через рекомендации специалистов или выдачу дипломов об окончании обучающих курсов. Социальная потребность в отношении археологических исследований формировалась путем популяризаторской работы (издание книг, брошюр, публикация статей в местных газетах, чтение лекций, организации экскурсий).

На личном уровне происходило индивидуальное освоение норм и ценностей зарождавшейся профессии. Невозможно стать специалистом изолированно от профессионального сообщества, поэтому одним из путей приобщения к знаниям были научные коммуникации. Формальные – через изучение специальной литературы, исполнение инструкций ИАК, рекомендаций МАО и его съездов; неформальные – путем непосредственного общения при подготовке и проведении раскопок, личных встреч и переписки, обсуждения планов, способов и результатов исследований в научных обществах и на археологических съездах.

Провинциальная археология, в силу ее территориальной отдаленности от столичных образовательных и научных центров, испытывала проблемы с доступностью и полнотой специальных книжных фондов. Тем более значимыми становились межличностные коммуникации, которые давали возможность начинающим исследователям усваивать профессиональные нормы, а специалистам постоянно повышать квалификацию.

Научное общение завязывалось на заседаниях местных образовательных обществ, где ученые разных специальностей и интересующиеся соответствующей проблематикой любители выступали с докладами, обсуждали актуальные вопросы изучения истории края (в том числе древнейшей истории). На Всероссийских Археологических съездах круг общения значительно расширился, складывались «незримые колледжи» – ассоциации ученых, объединенных общими интересами, идеями, эти специалисты периодически встречались друг с другом, обменивались письмами, оттисками статей. Таким образом, провинциальный ученый включался в широкую коммуникационную сеть, позволявшую через частную переписку постоянно обмениваться различной информацией, оперативно узнавать новости, просить советы.

Главным источником для исследования межличностных связей представляются письма. Они были естественным средством продолжения диалога, открытого при личной встрече. Ценно то, что научная переписка всегда сопровождала исследовательскую деятельность, начиная с археологов-любителей и заканчивая современными учеными (хотя и в меньшей степени).

Целенаправленное выявление и изучение эпистолярного наследия уральских археологов дало возможность рассуждать о роли межличностных коммуникаций в профессионализации провинциальной археологии на основании переписки деятелей Вятской и Пермской губерний конца XIX – начала XX в. с

региональными и столичными коллегами. В качестве источников наиболее информативны не единичные письма, а эпистолярные комплексы, свидетельствующие о постоянном характере контактов археологов. Исходя из собранных к настоящему времени сведений в научное общение были вовлечены: И. Я. Кривошеков – географ, краевед, археолог-любитель Соликамского уезда Пермской губернии, член Пермской ученой архивной комиссии (ПУАК); Ф. А. Теплоухов – лесничий пермского имения Строгановых и археолог во втором поколении, почетный член МАО, ПУАК; А. А. Спицын – археолог, уроженец Вятской губернии, сотрудник ИАК; И. Г. Остроумов – историк, член ПУАК; А. С. Лебедев – археолог, музейный работник Вятской и Пермской губерний; И. К. Зеленев – археолог, этнограф Вятской, Нижегородской, Казанской губерний; А. М. Тальгрэн – финский археолог; М. С. Тюнин – земский деятель Вятской губернии; Л. А. Беркутов – член Петербургской Археологической комиссии¹.

На основе содержания их частной переписки был проанализирован процесс профессионализации на личностном уровне. Выявлены механизмы формирования определенных знаний, умений, навыков, усвоения норм, ценностей археологического сообщества, становления профессиональной морали, а также выработки профессионального самосознания.

В современной научной литературе в структуре личности профессионала выделяют несколько компонентов, формирование которых определяет достижение профессионализма. Выделим наиболее значимые компоненты.

1. Психологический компонент, включающий «профессиональную пригодность» как совокупность особенностей человека, необходимых для достижения эффективности в профессиональном труде, и положительная мотивация. Возникновению и упрочению ее способствовала моральная стимуляция, одной из форм которой была поддержка начинающих исследователей авторитетными учеными. Такой пример мы обнаруживаем во взаимоотношениях молодого А. С. Лебедева и опытного исследователя А. М. Тальгрена: «Ваша статья в “*Raiva*”, в которой, хотя я сознаю это, вы и незаслуженно похвалили меня, но все же эта статья меня ободрила в то тяжелое для меня время»². Другой формой возможно считать сообщения о важности, востребованности производимых ученым исследований, что выразилось в ответе А. С. Лебедева А. М. Тальгрэну: «Чем дальше, тем больше Ваша книга, изданная Кукарским обществом, заинтересовывает учреждения и специалистов. Я не раз встречал ссылки на нее в разных изданиях <...> Таким образом, Вы теперь видите, что Ваш труд приносит большую пользу нашей возрождающейся и просыпающейся от дремоты необъятной России»³. Таким образом, подобные высказывания служили своеобразной внутренней формой научного вознаграждения, чрезвычайно важного для человека умственного труда.

2. Интеллектуальный компонент – теоретические и исторические знания научных основ данной деятельности, представления о ее предмете, месте в обществе, функциях, принципах, включенные в мировоззрение специалиста. Интеллектуальный компонент усваивался в процессе профессиональной под-

готовки – при изучении специальной литературы, на лекциях и в ходе неформального общения с более опытными коллегами. Профессиональные нормы вырабатывались также «изнутри», в региональной переписке провинциальных деятелей порой делались эмпирические обобщения. Так, в 1886 г. пермский лесничий И. Я. Кривошеков пишет управляющему именем, который, кроме этого, еще глубоко интересовался археологией, Ф. А. Теплоухову, что «без всякой теории, чутьем начинает различать древнерусские вещи от чудских». Это значит, что обычный служащий, исполняя поручения и инструкции по покупке древних вещей от образованного начальника – археолога-любителя, приходит к неосознанному выделению определенных критериев для классификации предметов. Затем он, как сам пишет, «втягивается в археологический вкус...» и в конце концов принимает вывод о генетической связи древних и современных народов: «...есть много оснований думать, что современные пермяки и зыряне есть потомки Чуди», – пишет он⁴. При моральной поддержке и патронате Ф. А. Теплоухова И. Я. Кривошеков внес значительный вклад в изучение истории Пермского края – обследовал средневековые городища в Соликамском и Чердымском уездах, раскапывал Чазовской I могильник V–VI вв.

Кроме того, личное общение позволяло проверять и корректировать имеющиеся знания, а значит повышать уровень компетентности провинциальных исследователей. «Простите меня за мои суждения, – пишет А. С. Лебедев А. М. Тальгрену, – не будучи специалистом, я их высказываю, но я надеюсь в случае ошибок с моей стороны встретить от вас авторитетные исправления и указания»⁵.

3. Практический компонент – включает в себя полученные или самостоятельно выработанные практические умения и навыки, правила и нормы, важные для успешной созидательной деятельности. На первых порах заимствовался опыт иностранных коллег, зафиксированный в научных публикациях. Но в силу отсутствия еще системы сбора и распространения библиографических сведений по археологии информация о специальных изданиях доходила до провинциальных исследователей случайным образом по каналам личных связей. И. Я. Кривошеков сообщает Ф. А. Теплоухову: «Вы изволили упоминать о неимении руководств для правильной раскопки могил и курганов, в бумагах моего брата я случайно нашел указания Уральского общества на эти книги; первая из них *Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen*, где статья Вирхова дает указания на предосторожности при раскопках, и вторая: инструкции для антропологических наблюдений Борка»⁶. Таким образом, частная переписка выполняла важную информационно-справочную роль в процессе накопления знаний.

При проведении первых самостоятельных практических исследований провинциальные деятели часто уточняли требования Императорской Археологической комиссии у столичных профессионалов, что давало возможность вести исследования на должном профессиональном уровне. А. А. Спицын консультировал вятских исследователей, а также помогал пермским деятелям. Разъяснения И. Г. Остроумову – члену Пермской ученой архивной комиссии, звучали так: «Остаюсь при уверенности, что только Археологическая комиссия может

разрешить производить раскопки на казенных, общественных и церковных землях. Пермский музей может без труда получить от Комиссии законное разрешение, на общих основаниях, т. е. представить отчет о раскопках...»⁷.

Позднее опыт нарабатывался путем непосредственного участия в археологических раскопках специалистов. В письме земской управы Вятской губернии в ИАК сообщалось, что «господин член археологической Комиссии А. А. Спицын по просьбе одного из учредителей Сарапульского земского музея любезно обещал сообщить господину Беркутову руководящие указания как теоретически, так и практически при археологических работах, предположенных текущей весной в Лужском уезде»⁸. Позднее в переписке Л. А. Беркутова и председателя музея Сарапульского земства М. С. Тюнина нашли отражение такие профессиональные нормы, как использование научных методов в получении и обработке археологического материала (метод раскопок, разведок, анкетирования, систематизации, метод аналогий), обязательное составление отчетов о раскопках и публикация результатов исследований.

4. Ценностный компонент – это фундамент профессиональной морали, т. е. ценности, которые определяют приемлемые цели, способы деятельности, критерии оценки результатов. Важным было уважительное и бережное отношение к памятникам древности. И. Я. Кривошеков писал Ф. А. Теплоухову по поводу покупки чудских вещей, что «эта покупка, благодаря Вашему поручению, принесла мне много пользы <...> более проникся уважением к этому малоизвестному народу»⁹. А А. С. Лебедев не мог безразлично смотреть на массовую продажу местных археологических находок, поэтому в письме М. С. Тюнину он «журит» его за недостаточную внимательность к памятникам культуры: «...необходимо Вам с самого начала весны следить за Ананьинским могильником, чтобы вещи из него не попадали случайно проезжающим людям, или кому бы то ни было»¹⁰.

Другой ценностью было самоотверженное служение на благо своей страны и народа, в частности в деле науки и просвещения. В то время ученый мог отказаться от предложения занять почетное место, если не чувствовал в себе силы достойно организовывать исследовательскую деятельность: «Дано предположение избрать меня, – пишет А. С. Лебедев А. М. Тальгрену, – в председатели секции (родиноведения), но я едва ли соглашусь, т. к. не чувствую себя достаточно подготовленным для роли руководителя такой организации. А я уверен, что при хорошем руководителе эта секция может сыграть огромную роль в деле изучения России»¹¹.

5. Эмоционально-волевой компонент – это внутренний регулятор саморазвития. Профессиональный ученый должен постоянно находить в себе силы развиваться, повышать уровень своей квалификации, не опускать руки под давлением различных обстоятельств, будь то финансовые трудности или политическая нестабильность: «Если бы в это время я вам писал, – сообщает А. С. Лебедев в другом письме А. М. Тальгрену, – то мои письма были бы грустными. Но сейчас я вам скажу – силен русский народ. Сейчас опять много сил, веры. Вся разруха пройдет, со всеми ретроgrадами, провокаторами, большевиками и прочей нечистью – это

случится, верю, скоро. Наряду с разрухой ведь у нас много идет и созидательной работы»¹². Он заражал своей волей окружающих: «Ради Бога, доктор, ничуть не падайте духом и не думайте об эмиграции. Надо вам делать невозможно. Поверьте, настроение, подобное вашему, переживают очень многие культурные люди в России. Это настроение могло бы явиться и у меня, но я глубоко верю в будущее России и на все, что происходит у нас, смотрю, как на переходящее»¹³.

Кроме того, для раскрытия темы продуктивным способом изучения является классификация межличностных коммуникаций по территориально-пространственным группам. В рамках исследовательской организации – образовательного общества, за ее пределами на региональном, общероссийском, возможно, международном уровнях тематика и стиль общения были разными, отличались также цели этого взаимодействия.

Внутренняя коммуникация предполагала наиболее оперативный обмен информацией, решение текущих проблем: «На письмо Ваше <...> имею честь уведомить, что раскопка Бородкинского кургана <...> остановлена, дальнейшие работы будут производиться по лету; относительно же результатов работы <...> мною было лично доложено Вам», – пишет И. Я. Кривошеков Ф. А. Теплоухову¹⁴.

Общение с коллегами, работавшими в провинции, имело более широкий масштаб и определялось территориальным разделением археологических исследований между специальными обществами с целью максимально эффективного охвата памятников, задачами поддержки, контроля состояния археологических объектов, а также консультаций по изучению памятников с учетом местной специфики. А. С. Лебедев советует И. К. Зеленову с сомнениями и предположениями о найденном им Пьяноборском могильнике в Вятской губернии обратиться к казанскому исследователю: «...лично я думаю, что самым компетентным по этому вопросу человеком является П. А. Пономарев»¹⁵.

На общероссийском уровне взаимодействие археологов позволяло быть в курсе состояния и изменений в дисциплине в целом. Например, в письме А. А. Спицына И. Г. Остроумову 1925 г. вскрывается проблема с публикацией археологического материала: «Что Вы, что Вы? Мы здесь только и мечтаем, как бы где-нибудь <...> Только на местах и печатают, а здесь ничего. Кроме разве вещей с громким наименованием и с ног сшибательного содержания»¹⁶. Коммуникации археологов создавали условия для обмена профессиональной информацией посредством пересылки современных специальных изданий. С подобными целями часто А. С. Лебедев обращался к А. М. Тальгрену: «Доктор, мне помнится у Вас есть печатный указатель литературы по родиноведению в Финляндии? Если можно, то пришлите мне»¹⁷.

Но независимо от территориальной отдаленности ученые рано или поздно находили близких по духу и мировоззрению коллег и в дружеских посланиях раскрывали глубокие профессиональные переживания, основанные на анализе собственной деятельности, делились радостями, поражениями, проектами. Таким образом, пространство письма превращалось в поле рефлексии, благодаря которой рождались новые идеи.

Несомненно, в процессе профессионализации археологии в России в целом и в провинции в частности немалая роль принадлежала формальным средствам передачи информации – через указы императоров, инструкции государственного учреждения ИАК, рекомендации МАО. Однако именно в ходе межличностного общения происходил оперативный обмен информацией, поиск и передача необходимой литературы, поддерживался высокий уровень личной положительной мотивации. Свидетельства межличностных коммуникаций отражают различные грани протекавшего процесса профессионализации археологической науки, но влияние частных контактов заметнее на росте личного профессионализма ученых. Они служили средством передачи знаний, ценностей, проверки уровня собственной компетенции, самоанализа исследовательской деятельности.

Переписка является богатым источником для изучения историографии археологии, поэтому одной из современных задач в этой области видится собирание фонда этих источников, как из личных фондов археологов, так и научных и общественных учреждений и организаций. Эта работа открывает большие перспективы для понимания процесса становления и развития археологической науки.

Примечания

¹ В исследовании были использованы письма И. Я. Кривошекова – Ф. А. Теплоухову (1886–1888 гг.), А. А. Спицына – И. Г. Остроумову (1903–1930 гг.), А. С. Лебедева – А. М. Тальгрону (1911–1928 гг.), М. С. Тюнину (1909 г.), И. К. Зеленову (1910 г.), Л. А. Беркутова – М. С. Тюнину (1910–1911 гг.) и др.

² «Надо торопиться жить, торопиться работать» : письма А. С. Лебедева А. М. Тальгрону // Вестн. Удмурт. ун-та. Сер. «История и филология». Вып. 2. Ижевск, 2008. С. 179.

³ Там же. С. 185.

⁴ ГАПК. Ф. 613. Оп. 2. Д. 114. Л. 9.

⁵ «Надо торопиться жить, торопиться работать»... С. 177.

⁶ ГАПК. Ф. 613. Оп. 2. Д. 114. Л. 15.

⁷ ГАПК. Ф. Р. 72. Оп. 1. Д. 18. Л. 2.

⁸ Мельникова О. М. Становление профессиональной археологии в российской провинции в начале XX в. : А. А. Спицын и музей Сарапульского земства (по материалам ЦГА УР) // История и практика археологических исследований. СПб., 2008. С. 121.

⁹ ГАПК. Ф. 613. Оп. 2. Д. 114. Л. 9–10.

¹⁰ ЦГА. Ф. 349. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 23–24.

¹¹ «Надо торопиться жить, торопиться работать»... С. 179.

¹² Там же. С. 187.

¹³ Там же. С. 189.

¹⁴ ГАПК. Ф. 613. Оп. 2. Д. 114. Л. 25–26.

¹⁵ ЦАНО. Ф. 993. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 2.

¹⁶ ГАПК. Ф. Р. 72. Оп. 1. Д. 18. Л. 5.

¹⁷ «Надо торопиться жить, торопиться работать»... С. 177.

О. И. Зезегова
(Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар)

ЖЕНЩИНЫ-ИСТОРИКИ «ECOLE RUSSE»

Крупнейшие представители «Ecole russe» И. В. Лучицкий, Н. И. Кареев, Е. В. Тарле сотрудничали с Высшими женскими курсами. Об ученицах профессором - Софье Михайловне Глаголевой-Данини (1884–?), Александре Александровне Матвеевой-Леман, Марии Аркадьевне Буковецкой¹ (1888–1946), обучавшихся на Бестужевских курсах в 1908–1913 гг., отечественная историография доносит лишь отрывочные сведения, однако без упоминания работ историков не обходятся сегодня исследования, посвященные истории Французской революции или «русской исторической школе»².

В архиве ВЖК сохранилась запись А. А. Матвеевой-Леман³, в которой читаем, что она бесплатно была оставлена на курсах для продолжения научной карьеры за весьма удовлетворительные успехи. Кареев заметил талантливую ученицу и предложил опубликовать ее работу «Праздник Верховного Существа» в «Историческом обозрении». Этому сюжету посвящали уже свои труды А. Олар⁴ и Н. В. Водовозов⁵. Статья А. А. Матвеевой, основанная на критическом изучении источников, представляла собой более подробное изложение этого эпизода истории Французской революции. Исследователь больше доверяет повествованиям очевидцев, не упуская из виду того, что «власть и влияние Робеспьера были безмерны»⁶. Периодические издания кажутся автору «прямо списанными одно с другого». Недоверие у А. А. Матвеевой вызывают и позднейшие поколения писателей и историков, большинство из которых опирались на одну из главнейших газет той эпохи «Монитор». Журналисты издания не были очевидцами праздника, как доказывает автор, а пользовались при изложении планом Давида и программой “Detail des ceremonies”, вышедших в виде брошюр, оказавшись в неведении того, что она была изменена. А. А. Матвеева обращает внимание и на отношение народа к новому празднику. Так, современники и очевидцы говорят «о радости и удовлетворении народа», но после 9-го термидора появились свидетельства того, что «многие из зрителей» требовали «мщения за все совершенные Робеспьером убийства»⁷. Историки первой

трети XIX в. находят, что «народ не был доволен праздником», и это результат католической реакции. Косвенным доказательством того, что праздник пришелся по душе народным массам, является тот факт, что после низвержения Робеспьера созданный им культ исчез не сразу, кое-где праздники продолжались, были воздвигнуты храмы в честь Верховного Существа.

Н. И. Кареев отметил, что труд А. А. Матвеевой представляет «собой критический разбор всех известий, имеющихся на счет того, как прошел этот патристический праздник»⁸. А. Олар также был знаком с работой Матвеевой. Более того, до поступления на ВЖК она являлась студенткой Сорбонны и написала под его руководством статью “Etude critique sur la journee de 20 prairial an II”, за которую была удостоена “diplome d’etudes universitaires”⁹. Современные историки не обходят вниманием статью А. А. Матвеевой, если их научный интерес лежит в сфере политической истории Французской революции¹⁰.

Знакомство с фондами Национального архива Парижа и департаментских архивов провинции Дофинэ побудили и С. М. Данини выбрать для своих штудий историю Франции XVIII в. В 1912 г. выходит в свет ее первое научное исследование¹¹. Ею «по крупицам» были собраны документы о крестьянских волнениях, относящихся к трем периодам: волнения до революции, волнения конца июля – начала августа 1789 г. и волнения после 4 августа. Эти события лишь вскользь упоминал французский социалист Ж. Жорес¹². Современники были склонны считать эти бунты «злокозненными махинациями врагов отечества». С. М. Данини, напротив, обнаруживает причину крестьянских волнений «в материальном положении сельского населения, сделавшемся особенно невыносимым в последние годы старого порядка в связи с начавшейся сеньориальной реакцией, возобновлением “terriers”, взиманием упущенных или давно забытых феодальных повинностей, выколачиванием недоимок за много лет»¹³. Она приходит к выводу, что «никакие репрессии, действия превотальных судов, виселицы, постой войска, переполнение тюрем не могли устрашить народ и прекратить начавшееся крестьянское движение, и отдельные вспышки волнений и акты насилия встречаются и дальше»¹⁴. В том же году статья С. М. Данини была опубликована в виде брошюры¹⁵.

В 1914 г. ученики и коллеги Н. И. Кареева подготовили сборник к 40-летию его профессорской деятельности, в котором приняли участие А. А. Матвеева и С. М. Данини. В небольшой статье А. А. Матвеевой, основанной на актах продаж в департаменте Жиронды, выясняется степень «участия городского населения в приобретении земель, поступивших в продажу по указу Учредительного Собрания»¹⁶. Распродажа национальных имуществ, конфискованных во время ВФР, имуществ короля, церкви и мигрантов привлекала внимание русских и французских историков – И. В. Луцицкого¹⁷, М. М. Ковалевского, М. Мариона¹⁸. Заслуга А. А. Матвеевой состоит в подготовке таблицы с указанием социальной (ремесленники, земледельцы, купцы, свободные профессии, буржуа¹⁹) и гендерной (женщины) принадлежности покупателей, количества купленной земли и ее стоимости. Исследователь делает вывод, что «буржуа

являются самыми многочисленными покупателями, но по величине затраченного капитала первое место занимают купцы»²⁰. Этот вывод Матвеевой не расходится с посылкой А. Д. Люблинской²¹, Е. В. Киселевой²², С. Н. Короткова. Последний пишет: «Буржуазия завладела большей частью богатств Франции, но лишь благодаря национальным имуществам она сумела так значительно и в столь сжатые сроки расширить свои владения»²³.

Обширная статья С. М. Данини «К истории сеньории в Дофинэ в XVIII в.»²⁴ опирается на сеньориальный архив баронов Сушон дэ Про, хранящийся в департаментском архиве Верхних Альп под названием «фонд Робер». Автор показывает быстрое возвышение представителей третьего сословия до титулованной аристократии на примере семьи Сушон. Далее она описывает распределение поземельной собственности в сеньории, в том числе в виде таблиц и диаграмм, из которых следует, что большинство земель находилось в руках крестьян, в то время как владения сеньора в каждом приходе были невелики. С. М. Данини подчеркивает тяжесть сеньориальных платежей и стремление сеньора возобновить забытые и надуманные повинности и налоги, что привело к восстанию крестьян в апреле 1789 г.

После окончания Бестужевских курсов историки приступают к преподавательской деятельности. С. М. Данини преподает на курсах Лесгафта²⁵, М. А. Буковецкая в гимназиях А. И. Болсуновой и О. К. Витмер, на вечерних курсах для взрослых, женской реформаторской гимназии²⁶.

Местом встреч трех слушательниц ВЖК мог быть и неформальный кружок молодых историков. Заседания кружка проходили на квартирах С. М. Данини и А. А. Матвеевой. В сохранившихся воспоминаниях Н. С. Штакельберг обнаружены забавные характеристики его членов, написанные в честь трехлетия кружка. Вот одна из них: «Пирог и все там вкусно, Кто готовит так искусно? Повара или богини? Шефом кухни кто? Данини!»²⁷.

С. М. Данини также посещала «салон Тарле» и кружок Кареева, где встречались его «способные и обещающие в будущем ученики»²⁸. В мемуарах Кареев писал: «Участие в моем семинарии принимали и некоторые слушательницы Высших Женских курсов. Среди них отмечу А. А. Матвееву (по мужу – Леман), уже кое-что печатавшую, а также назову С. М. Данини, которая примкнула к семинарию после того, как самостоятельно поработала в общей сложности около года во французских архивах...»²⁸. С семьей Кареевых С. М. Данини поддерживала тесные отношения, о чем свидетельствует открытка, отправленная с курорта²⁹.

Результатом работы семинара Кареева стал сборник статей «Из далекого и близкого прошлого»³⁰, в котором была опубликована статья С. М. Данини по истории промышленности и торговли. А. А. Матвеева в «Анналах» прорецензировала этот сборник этюдов³¹.

Немалую роль в популяризации работ выпускниц Бестужевских курсов сыграл Тарле, являвшийся редактором «Анналов». В этом историческом журнале были опубликованы статьи М. А. Буковецкой, С. М. Данини, А. А. Матвеевой.

В первом выпуске «Анналов» помещена историографическая статья Данини по аграрной истории дореволюционной Франции. Особенно высоко она оценивает работу соотечественников: «...недаром французы с уважением говорят о Русской школе в изучении французской революции и признают ее громадные заслуги»³². В следующем выпуске опубликовано ее историографическое исследование «Научное изучение Великой Революции. Сорокалетие журнала Олара “La Revolution française”», которое совпало с 40-летием «со времени появления первого большого труда Альфонса Олара». В отличие от А. А. Матвеевой, С. М. Данини обращает внимание на то, что все напечатанное «о революции ее участниками и свидетелями <...> носит яркий отпечаток партийной принадлежности и идеологии их авторов; беспристрастие их – химера; это публицистика, а не история». Начало применения научного метода в изучении французской революции ученый связывает с деятельностью А. Токвиля и А. Олара. А. В. Сидоров в своей статье не обошел вниманием исследование С. М. Данини, отметив, что ей принадлежит историографический анализ аграрного вопроса в ВФР и обнаружение вклада выдающегося французского историка А. Олара в изучение этого сюжета³³.

В следующих двух томах «Анналов» были опубликованы статьи М. А. Буковецкой. Первая представляла собой рецензию на вышедший в Берлине русский перевод книги Л. Мадлена о ВФР³⁴. Вторая – «Развал королевской армии во Франции первые годы Великой Французской революции»³⁵ посвящена малоизученной теме истории армии Французской революции. Армия представлялась в основном как военная организация, ни в одном труде она не рассматривалась как учреждение, связанное с революцией и прошедшее вместе с ней все этапы своего развития. В этом и состоит новизна постановки проблемы М. А. Буковецкой. Опираясь на работы французских и отечественных авторов, французскую прессу того времени, М. А. Буковецкая описывает сложную ситуацию в армии в последние годы старого режима. Автор обращает внимание на то, что просвещенная часть общества понимала необходимость проведения реформы в армии. Особое внимание М. А. Буковецкая уделяет законодательным мероприятиям Учредительного Собрания, касающихся армии, и прежде всего Декрету 6 августа 1790 г. и представляет историографический анализ этого акта во французской научной литературе. Автор приходит к выводу, что «весь декрет в целом является компромиссом между страхом оттолкнуть от Революции солдатскую массу и желанием ввести в определенные законом рамки ее “самочинно” создавшуюся организацию»³⁵. В заключительных строках историк пишет: «Накануне восстания в Нанси, этого кульминационного развала королевской армии, общественное мнение с одной стороны и неорганизованные, стихийные солдатские мятежи с другой стороны – толкали Национальное Собрание на путь реформы армии»³⁶.

Восстанию в Нанси М. А. Буковецкая планировала посвятить свой следующий этюд в «Анналах», который так и не увидел свет в связи с началом раскручивания «Академического дела». «Анналы» были объявлены органом, «обслу-

живающим русских специалистов», – антимарксистов. «Деятельными сотрудниками журнала», «плеядой молодежи, выросшей на дрожжах антимарксистской реакционной методологии» среди прочих была названа С. М. Данини. В связи с описанными событиями статьи А. А. Матвеевой и С. М. Данини в «Анналах» стали их последними научными работами. Рецензия в журнале по всеобщей истории – это последнее сведение в биографии Матвеевой, по нашему предположению, она могла эмигрировать во Францию, но точных данных на этот счет нет. С. М. Данини за активную деятельность в кружках была приговорена к пяти годам и выслана из Ленинграда.

М. А. Буковецкая не являлась активным членом кружков, и потому, вероятно, арест и ссылка ее миновали, но она вынуждена была уйти с кафедры всеобщей истории Педагогического института им. А. И. Герцена под предлогом недостаточной нагрузки. Можно констатировать, что начинается вытеснение «эпигонов русской школы»³⁷ из вузов.

Однако именно в этот период во Франции была опубликована ее статья в журнале “*Annales Historiques de la Revolution Fracaise*”, представлявшая собой обзор работ Н. М. Лукина, Я. М. Захера, О. Л. Вайнштейна по истории Французской революции³⁸. Не нарочно ли в журнале была допущена опечатка: фамилия историка была обозначена как Boukonetzkaia.

После длительных поисков работы М. А. Буковецкая зачислена в штат Публичной библиотеки, вернувшаяся в 1934 г. в Ленинград С. М. Глаголева-Данини устраивается на работу в библиотеку Академии наук. Она была вынуждена вовсе порвать со своей научной темой. Долгое молчание было прервано только однажды, когда ей удалось вновь косвенно прикоснуться к истории Франции. В 1939 г. она написала предисловие к русскому переводу романа Эркмана и Шатриана «Новобранец», в котором описываются суровые испытания молодого солдата, призванного в армию Наполеона кампании 1813 г. На этом обрываются наши сведения о С. М. Данини, дата ее смерти также не установлена.

М. А. Буковецкая после более чем десятилетнего перерыва публикует две научные статьи – «Война революционной Франции против контрреволюционной интервенции 1792–1794 гг.»³⁹ и «Борьба якобинцев за создание революционной армии»⁴⁰. В них она рассматривает преобразования, происходившие в армии в связи с формированием национальной гвардии (1789) и «национальных батальонов волонтеров» (1791–1792), предназначавшихся для защиты государства в случае войны. Она приходит к выводу, что национальная гвардия, планируемая создаваться из представителей буржуазии, на деле комплектовалась из солдат разных полков, самовольно уходивших из своих воинских частей. В условиях войны с Австрией и Англией был принят декрет об «амальгаме», предусматривавший полное слияние батальонов добровольцев и линейных войск, а также введение принципа избираемости командного состава. Подводя итоги, М. А. Буковецкая заключает: «Неоднократные победы, которые одержала революционная Франция над своими врагами, были результатом напряженной борьбы якобинцев за создание новой армии»⁴¹.

В 1941 г. в коллективном труде «Французская буржуазная революция 1789–1794» была помещена ее новая публикация⁴². Но только лишь на склоне лет, 26 февраля 1945 г., на историческом факультете ЛГУ состоялась защита ее кандидатской диссертации «Очерки по истории французской армии во время Великой Французской революции (1789–1793)»⁴³. В отзыве на диссертацию Тарле отметил: «Исследование Буковецкой – это целая книга, которая при некоторых небольших дополнениях, несомненно, со временем могла быть принята даже как диссертация на степень доктора»⁴⁴. Планам этим не суждено было сбыться, 14 декабря 1946 г. М. А. Буковецкая скоропостижно скончалась. Исследования историка внесли существенный вклад в изучение истории французской армии, что подчеркивается отечественными и зарубежными учеными В. В. Бирюковичем⁴⁵, Г. В. Кигурадзе⁴⁶, М. Рейнаром⁴⁷.

Тернист был представленный в статье жизненный и творческий путь женщин-историков, чье научное становление пришлось на предреволюционные годы. Они были отторгнуты не только от научной практики, но и преподавательской деятельности. Можно с уверенностью сказать, что в «аудитории куколок»⁴⁸ присутствовали настоящие ученые, чья научная деятельность, к сожалению, была насильственно прервана.

Примечания

¹ См.: Кряжева-Карцева Е. В. Буковецкая Мария Аркадьевна // Чернобаев А. А. Историки России XX в. : библиогр. слов. Т. 1. Саратов, 2005. С. 135–136; Вольфцун Л. Б. М. А. Буковецкая – историк Французской революции // Всеобщая история и история культуры : петербург. историогр. сб. СПб., 2008. С. 217–226.

² Погодин С. Н. «Русская школа» историков : Н. И. Кареев, И. В. Лучицкий, М. М. Ковалевский. СПб., 1997. С. 77, 88–89; Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке : опыт «русской исторической школы». Казань, 2000. С. 115.

³ См.: ЦГИА. Ф. 113. Оп. 2. Л. д. 1192.

⁴ См.: Aulard F. A. Le culte de la Raison et le culte l'Être Suprême (1793–1794). Essai historique (1793–1794). Paris, 1892. URL : <http://www.scribd.com/doc/14645710/Le-culte-de-la-Raison-et-le-culte-de-l'Être-supreme-1793-1794-Essai-historique>.

⁵ См.: Водовозов Н. В. Культ Разума и Верховного Существа // Ист. обозр. Т. 6. СПб., 1893. С. 136.

⁶ Ист. обозр. Т. 16. 1911. С. 37.

⁷ Там же. С. 74.

⁸ Кареев Н. И. Эпоха Французской революции в трудах русских ученых за последние десять лет (1902–1911) // Ист. обозр. Т. 17. СПб., 1912. С. 12–126.

⁹ Ист. обозр. Т. 16. 1911. С. 24.

¹⁰ Черноверская Т. А. К вопросу о театральной природе политического дискурса Французской революции // XVIII век : театр и кулисы : сб. науч. тр. М., 2006. С. 41–49.

¹¹ Глаголева-Данини С. М. Крестьянские волнения в Дофинэ в конце XVIII в. // Ист. обозр. СПб., 1912. Т. 17. С. 127–172.

¹² Histoire socialiste (1789–1900) sous la dir. de J. Jaures. Т. 1. [1789–1815]. Paris, 1901.

¹³ Глаголева-Данини С. М. Указ. соч. С. 129.

¹⁴ Там же. С. 164.

- ¹⁵ Глаголева-Данини С. М. Указ. соч.
- ¹⁶ Матвеева-Леман А. А. Участие Бордо в продажах национальных имуществ // Николаю Ивановичу Карееву ученики и товарищи по научной работе. 1873–1913. СПб., 1914. С. 188–194.
- ¹⁷ Лучицкий И. В. Вопрос о крестьянской поземельной собственности во Франции и продажа национальных имуществ. Киев, 1894. С. 27.
- ¹⁸ Marion M. La vente des biens nationaux pendant la Revolution fransaise. P., 1908; Departament de la Gironde. Documents, relatives a la vente des biens nationaux publies par M. Marion, J. Benzacar et Caudrillier. T. I. Bordeaux, 1911.
- ¹⁹ Матвеева оговаривает, что «под именем буржуа я подразумеваю всех тех покупателей, профессия которых не обозначена».
- ²⁰ Матвеева-Леман А. А. Участие Бордо... С. 193–194.
- ²¹ Люблинская А. Д. : 1) Французские крестьяне в XVI–XVIII вв. Л., 1978; 2) Франция при Ришелье : (Французский абсолютизм в 1630–1642 гг.). Л., 1982.
- ²² Киселева Е. В. К вопросу о продаже национальных имуществ // Французский ежегодник. 1974. М., 1976.
- ²³ Коротков С. Н. О роли национальных имуществ в «рождении» новой буржуазии // Французская революция XVIII века. Экономика. Политика. Идеология. М., 1988. С. 108.
- ²⁴ Глаголева-Данини С. М. Указ. соч. С. 279.
- ²⁵ In memoiam : ист. сб. памяти Ф. Ф. Перченка. М. ; СПб., 1995. С. 70.
- ²⁶ Вольфцун Л. Б. Указ. соч. С. 218.
- ²⁷ Штакельберг Н. С. «Кружок молодых историков» и «Академическое дело» // In memoiam... С. 39.
- ²⁸ Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 284.
- ²⁹ См.: Письмо С. Данини Н. И. Карееву, 31 авг. 1924 г. (открытка) // НИОР РГБ. Ф. 119. Картон 16. Ед. хр. 1.
- ³⁰ Из далекого и близкого прошлого. М. ; Пг., 1923.
- ³¹ Матвеева-Леман А. А. Из далекого и близкого прошлого [Рец.] // Анналы. Л., 1924. № 4. С. 311.
- ³² Глаголева-Данини С. М. Крестьянство и аграрный вопрос в эпоху великой революции : (Постановка вопроса в современной науке) // Анналы. 1922. № 1. С. 82.
- ³³ Сидоров А. В. Теоретико-концептуальные проблемы историографии на страницах научной периодики России первой половины 1920-х гг. // История и историки. 2001. № 1. С. 15, 19, 27.
- ³⁴ Буковецкая М. А. Труд Луи Мадлена о Великой революции (Л. Мадлен. Французская революция / пер. С. И. Штейна. Т. 1–2. 1922) // Анналы. 1923. № 3. С. 272–273.
- ³⁵ Буковецкая М. А. Развал королевской армии в первые годы французской революции // Анналы. Т. IV. Л. ; М., 1924. С. 93–116. В оглавлении журнала название статьи иначе: Разложение королевской армии в первые годы Великой Французской революции.
- ³⁶ Там же. С. 116.
- ³⁷ Зайдель Г., Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте. М. ; Л., 1931. С. 139.
- ³⁸ См.: Annales Historiques de la Revolution Francaise. Reims. 1926. Т. 3, № 15. P. 225–232.
- ³⁹ Ист. журн. 1939. № 7. С. 42–54.

⁴⁰ Воен.-ист. журн. 1939. № 1. С. 64–78.

⁴¹ Там же. С. 78.

⁴² См.: Буковецкая А. М. Армия в 1789–1791 гг. Реорганизация армии // Французская буржуазная революция 1789–1794 / под ред. В. П. Волгина, Е. В. Тарле. М. ; Л., 1941.

⁴³ См.: Буковецкая М. А. Очерки по истории французской армии во время ВФР (1789–1793) : дис. ... канд. ист. наук // ОД РГБ. Л. д. № 46277. 403 с.

⁴⁴ Личное дело М. А. Буковецкой // ОЛД РНБ. Ф. 10/1. Л. 70.

⁴⁵ См.: Бирюкович В. В. Армия Французской революции (1789–1794). М., 1943.

⁴⁶ См.: Кигурадзе Г. Ш. Французская армия на первом этапе Великой революции (1789–1792). Тбилиси, 1982.

⁴⁷ См.: Reinhard M. О революционной армии в период Французской революции // Французский ежегодник. 1961. М., 1962.

⁴⁸ Мякотин В. Письма Н. И. Карееву 2 июня 1896 г. // НИОР РГБ. Ф. 119. К. 10. Ед. хр. 53. Л. 30.

С. Б. Крих

(Омский государственный университет, г. Омск)

**ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ДРЕВНОСТИ¹**

В настоящее время в отечественной историографической науке проявились две важные тенденции, которые свидетельствуют о том, что, возможно, переходный период послесоветских лет подходит к концу. Эти две тенденции, без сомнения, тесно связаны.

Первая выражена желанием осмыслить и согласовать теоретическую базу исторической науки вообще и историографии в частности. Очевидно, что для большинства исследователей неприемлемо делать это на основе любого вида монистической философии (и уж тем более, монистической идеологии), что многие желали бы учесть опыт дискуссий о природе исторического познания, развернувшихся в западной науке и достигших своего пика в 70–90-е гг. прошлого века². Но, заметим при этом, что безграничная и поверхностная методологическая свобода минувших двух десятилетий, когда простое заимствование и компилирование (в экзотических случаях дополняемое изобретением) терминов выдавалось за новое достижение в истории идей, кажется, наконец-то вышла из моды. Подчеркнём: речь идёт не о том, чтобы все историки употребляли один и тот же набор терминов в их строго выверенном значении, а о том, чтобы было восстановлено единое коммуникативное поле, в пределах которого историки могли бы элементарно понимать друг друга. Не случайно ведь наше время так бедно на серьёзные дискуссии: невозможно спорить там, где нет никаких точек соприкосновения.

Вторая тенденция полностью согласуется со спецификой исторического знания: историк не может быть теоретиком вне практики. Только работая с историческим материалом, историк в состоянии сформировать жизнеспособную методологию, в противном случае он неизбежно уйдёт на уровень мифотворчества. В отношении историографии это означает стремление по сути дела заново написать историю исторической науки: в первую очередь, собственной, отечественной. Конечно, на первом месте в этом новом создании образа нау-

ки стоит советский период: поскольку его специфика и его итоги до сих пор определяют мышление и колебания современного этапа.

Очевидно и то, что решение этой задачи не будет простым и однозначным. Различие в подходах исследователей и обилие конкретного материала обещают серьёзные противоречия в научной среде, как только появятся разные версии обобщения до этого разрозненных локальных выводов. Но начинать работу нужно, и хотя её нужно делать с методологическим «прицелом», тем не менее, прежде всего по локальным проблемам. Данная статья направлена на то, чтобы постараться дать проблемный очерк изучения одной из таких проблем – специфики и значения дискуссий в советской исторической науке.

1. Дискуссия как форма коммуникации

То, что дискуссия возникает благодаря коммуникации и сама способствует интенсификации коммуникаций, очевидно. Важнее обратить внимание на то, какие возможности для общения она предоставляет и каким образом влияет на достижение наукой её целей. Для этого, в свою очередь, необходимо раскрыть содержание другого важного понятия в рамках данного подхода: коммуникативного поля³.

Мы предлагаем понимать под коммуникативным полем совокупность связей (коммуникаций) между членами того или иного сообщества, общая цель деятельности которого касается какого-либо объекта. Связи эти могут быть более или менее структурированными, но обычно в них сочетаются системные и несистемные элементы. К системным элементам относится то, что считается непосредственной функцией сообщества; в случае учёного сообщества: издание и обсуждение книг и статей, конференции, семинары и симпозиумы, защиты квалификационных работ и чтение лекций. К несистемным – те формы общения, которые традиционно должны нивелироваться при достижении научных результатов: личная симпатия или неприязнь, взаимоотношения учителя и ученика, поколенческие связи, работа в одних и тех же учреждениях (за пределами собственно научных институтов). Грань между этими формами, конечно, не может быть резкой: фактор принадлежности к школе базируется на поколенческих связях и ученичестве, но часто становится моментом, определяющим методологическую базу исследований значительной группы учёных, а само название школы несёт теоретическую нагрузку (например, Франкфуртская школа).

Основой коммуникации в любом научном сообществе всегда является объект исследования, и если он утрачивается, то сообщество обречено на распад или трансформацию. Но будет большим заблуждением считать, что любое учёное сообщество можно понять исключительно или даже преимущественно через понимание объективных исследовательских задач, стоящих перед ним. Не менее важно также и то, каким образом выстраиваются дополнительные механизмы общения, напрямую не связанные с объектом исследования. Иными

словами, в учёном сообществе коммуникация по поводу коммуникаций может стать столь же важной, как и коммуникация по поводу объекта исследования, особенно это касается общественных наук, которые всегда изучают именно коммуникации. Поэтому в науках об обществе диалогичность, полемичность – имманентно присущая форма репрезентации знаний. Дискуссия – одно из наиболее сложных и структурированных проявлений этой диалогичности с наиболее откровенно выраженным агональным началом.

Можно сказать, что дискуссии являются узловыми элементами коммуникативного поля науки. В образном отношении дискуссия есть война, в которой присутствует манифестация силы (заглавная статья или серия статей), объявление «военных действий» (выдвижение противной точки зрения с подчёркнутым стремлением оспорить выводы другой стороны), сами эти действия (сочетание аргументов и контраргументов), итог (полное или частичное признание правоты по принципиальным аспектам одной или обеими сторонами, иногда с завершающими дискуссию итоговыми статьями, монографиями) и последствия (первичные – коллективные труды по конкретной проблеме, написанные с учётом результатов дискуссии, и вторичные – историографические работы, излагающие её ход). К этому основному протеканию дискуссии добавляются «привходящие элементы»: личные отношения участников спора; деление на «своих», «чужих» и «нейтральных» (группы последователей крупного учёного, научные коллективы, редакционные коллегии); отражение дискуссии за пределами учёного сообщества (реакция власти и общества; средств массовой информации; популяризаторов науки; иногда – отражение в художественном творчестве). Намеченная выше последовательность развития дискуссии может быть прервана на любом этапе; кроме того, любой из этапов может проходить в снятом, «скомканном» виде, под давлением тех или иных обстоятельств (повторного развития дискуссии, когда основные аспекты уже ясны; вмешательства со стороны, исказившего картину противостояния). В том случае, когда дискуссии имеют возможность развернуться в полную силу, они проявляют себя как высший аспект коммуникации – как всякая война, они заставляют мобилизовать все силы, имеющиеся в наличии, задействовать максимум коммуникативных каналов, и, как всякая война, они не проходят бесследно для того поля, на котором разворачиваются: они могут закончиться не только победой одной из сторон, но и их взаимным истощением.

Дискуссии являются выражением сложного единства научного сообщества, ведь, как отмечалось выше, они возможны только в том сообществе, которое, в широком смысле слова, говорит на одном языке⁴. Поэтому основная цель и польза дискуссий – в сохранении единства научного сообщества, выявлении реальных расхождений в позициях и поиск возможных примиряющих вариантов. Потому-то после первых самых острых этапов дискуссии всегда появляются сторонники промежуточных точек зрения, которые говорят о крайностях обеих сторон. Но итог дискуссии может быть и совсем другим: она ложится на научное сообщество как трещина на фарфор, и если даже не приводит к его

расколу, остаётся потенциальной угрозой и принципиальной гранью разных позиций в рамках пока ещё целостной системы.

Между двумя разными научными сообществами дискуссия в полном смысле слова невозможна: возможно лишь взаимное изучение и взаимное порицание. Когда советская историография перешла от практики общего порицания западных коллег к практике корректной научной дискуссии, градус противостояния между двумя научными сообществами стал заметно снижаться. Научные дискуссии по частным вопросам помогли установлению стабильных контактов с западной наукой, подготовив возврат советской науки в целокупность западных историографий. В собственном развитии советской науки они сыграли иную роль.

2. Дискуссии в советской историографии древности: краткий очерк

Феномен советского времени – незавершённые дискуссии (или прерванные – как один из подвидов незавершённых), что показывает нам, насколько важную историографическую роль играет их анализ. Внешние обстоятельства всегда навязывали дискуссиям советского времени определённую форму и определённые следствия. Лучший пример – исход дискуссии об азиатском способе производства в 1932–1934 гг.

Как известно, 20-е гг. прошлого века были временем относительной свободы мнений, как в политическом поле молодого советского государства, так и в становящихся советских общественных науках. Свободу эту, правда, не нужно ни преувеличивать, ни идеализировать. Она, во-первых, стремилась сама себя ограничить (рамками марксизма), во-вторых, желала более всего перестать быть свободой (найти единственно верное, и не только с точки зрения истины, но и с точки зрения партии, решение)⁵. Тем самым, 20-е гг. – период не методологической свободы, а идейной вольницы, отражение партийной борьбы за власть и недостаточного знания марксистской теории революционным поколением историков. Симптоматично, что многие ранние дискуссии 20-х гг. идут «с колёс»: спорщики прочитывают накануне одну-две книжки по теме и с увлечением присоединяются к обсуждению; дело настолько типичное, что иногда в докладах сами участники честно говорят об этом.

С окончанием периода многовластия в партии были предприняты усилия и по окончанию многообразия мнений в науке. Дискуссии предшествующего периода представляли как хаос, который следовало организовать, то есть, по сути, создать теоретическое бытие из небытия. Поэтому в начале 30-х гг. и состоялось настоящее рождение советского марксизма: властью спровоцированное и ею же позже подтверждённое. В области истории древнего мира наибольшую роль здесь сыграла фигура В. В. Струве. Как известно, именно объёмный доклад последнего поставил жирную точку в затянувшихся дискуссиях об азиатском способе производства⁶. Интересно и то, как Струве решал эту проблему: определённые черты азиатского способа производства относились к ранней

восточной древности, когда родовые общины ещё не потеряли своей роли, после чего весь древний мир, без принципиального различия Запада и Востока, перешёл к различным формам классического рабовладения.

Доклад Струве полон различными фактами и даёт ссылки на впечатляющее количество исторической литературы (в основном на немецком языке). Но это не означает, что он был безупречен и что специалистам нечего было на него возразить в первые же минуты после окончания доклада. Судя по всему, первоначально планировалась ещё одна долгая дискуссия. Однако доклад шёл в русле сталинской линии и вскоре после смены руководства ГАИМК стал основой для классической трактовки азиатского способа производства в советском марксизме. Постепенно число прямых защитников других трактовок уменьшилось, а оставшиеся выступали с очень ограниченной критикой.

Внешне эта первая дискуссия более всего похожа на логически завершенную, не прерванную. Фиксируется её начало, развитие, итог и труды, использующие полученную новую теорию. Но в действительности дискуссия была прервана на своей нисходящей фазе, когда многие историки уже несколько раз поменяли свою точку зрения и убедились, что можно найти бесконечное количество аргументов в пользу любой трактовки. Партийное вмешательство позволило выбрать из двух равных тогда позиций (был ли на древнем Востоке особый строй или рабовладение) наиболее приемлемую. Не удивительно, что незадолго до этого сделанное сталинское заявление о «революции рабов» было принято без намёка на дискуссию⁷.

Тем не менее, управляемое окончание дискуссии создавало впечатление благотворности такого подхода, и в начале 50-х гг. был осуществлён опыт изначально управляемой дискуссии. На страницах «Вестника древней истории» была поставлена проблема падения рабовладельческого строя. Были также затронуты вопросы, которые показали сложный характер зависимого положения в древности и различные формы рабовладения в отдельные её эпохи. После того, как авторы высказали свои точки зрения (часто оспаривавшие стереотипы раннего этапа советской историографии), редакция подвела общий итог, по сути, в том же духе теории рабовладельческого общества, которая была выработана в начале 30-х гг.⁸ Но вскоре сама же редакция признала, что поспешное завершение дискуссии было неудачным. Проблема перехода к феодализму перешла в разряд «вечных» для советской историографии.

Возрождение дискуссий в послесталинский период не изменило принципиально характера их протекания в советской науке, но привело к известной трансформации: дискуссии всё так же не имели возможности развернуться полностью, но в них всегда был велик подтекст – тот аспект, который участники умели «читать между строк». Таковой была новая дискуссия об азиатском способе производства, медленно разворачивающаяся ещё с середины 50-х и достигшая пика в середине 60-х гг.⁹ Внешне дискуссия была также завершена, причём сторонники классической («струвианской») точки зрения зафиксировали свою победу в специальных монографиях¹⁰, вузовских и школьных учебни-

ках. Но несогласные не только остались, а продолжали развивать собственные взгляды. Свидетельством этому был выход конкурирующего с основным вузовским учебником курса лекций, в котором отсутствует однозначная трактовка важнейших теоретических вопросов советской историографии древности¹¹. Можно сказать, что здесь перед нами сознательный отказ учёного сообщества от вывода дискуссии на стадию развязки: недоговорённость становится залогом хотя бы относительной свободы мнений.

Это указывало на грядущие перемены. Неразвёрнутость в советском дискуссионном дискурсе начинала нарастать. Пример противостояния Данилова¹² группе «структуралистов»¹³ – яркий образец уже и внешне не законченной дискуссии: хотя Гуревич и написал ответ Данилову, тот не был опубликован¹⁴. Именно с этого времени единое коммуникативное поле советской науки начинает расплзаться: дискуссия как форма коммуникации в рамках целостного поля изжила себя (спор между сторонниками Гуревича и Данилова стал невозможен, возможен только скандал). Наступила пора «замкнутых» дискуссий (в Тартуском университете, в отдельных вузах), которые и не стремились выходить за пределы круга «посвящённых», тем самым обрекая «официальную» науку на внешне бесконфликтное, но при этом бесперспективное существование. Не случайно то, что начало 80-х гг. серьёзных дискуссий не знало. Когда Е. М. Штаерман попробовала на страницах «Вестника древней истории» спровоцировать дискуссию о характере раннего римского государства, жаркого спора не получилось¹⁵.

Общий итог этой эволюции, приводящий нас в современность, кратко охарактеризованную в начале этой статьи, печален. Постепенное обесценивание дискуссии в советской историографии не спасло науку от разночтений, а обрело её на искажение и преувеличение этих разночтений. Сохранилось и противостояние между различными взглядами как на древний мир в целом, так и на отдельные важные проблемы его развития, только теперь представители этих различных взглядов всё более привыкали идти каждый своим путём, и это разорвало целостную ткань науки – особенно тогда, когда государство перестало следить за хотя бы показной её сохранностью. Но будет пределом наивности (хотя, следует признать, последние годы этот род наивности возвращается в моду) считать, что именно властное воздействие было залогом целостности советской исторической науки. Заботясь лишь о внешней монолитности, власть научила и учёное сообщество ценить только её, а тем самым фактически сделала невозможным развитие и обновление советской марксистской теории как целостного явления, обрела её на дробление и обесценение.

Примечания

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02.740.11.0350.

² Один из немногих удовлетворительных обзоров: Ярошевич И. Б. Постмодернизм в историографии : дискуссии на страницах журналов «History & Theory» и «Past & Present» // Социальные институты в истории : ретроспекция и реальность : материалы VII межвуз. регион. науч. конф. (Омск, 15 нояб. 2003 г.). Омск, 2004. С. 107–115.

³ На тему социальных полей писал ещё П. Бурдьё. См.: Бурдьё П. Социология политики. М., 1993. В российской социологии преобладает общетеоретический подход к характеристике этих вопросов. См., напр.: Савруцкая Е. П. Феномен коммуникации в современном мире // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб., 2004. С. 75–85.

⁴ Следует помнить и о пределах этого «широкого смысла». Дискуссия возможна и на нескольких языках, но для это нужны определённые условия. Прежде всего, сами эти языки должны входить в число хорошо освоенных учёным сообществом (дискуссия одновременно на английском и французском несравнимо более реальна, чем на португальском и банту), а кроме того, даже в первом случае обычно требуется перевод основных (заглавных) статей.

⁵ Например, в одном из изводов дискуссии об азиатском способе производства в начале 30-х гг. отсылки к мнению партии являются частью научной аргументации, поскольку не только озвучиваются, но обсуждаются, проверяются по первоисточникам, получают многостороннее истолкование. См.: Дискуссия об азиатском способе производства. По докладу М. С. Годеса. М., 2009.

⁶ Струве В. В. Проблема зарождения, развития и упадка рабовладельческих обществ Древнего Востока // Изв. ГАИМК. Вып. 77. Л., 1934. С. 32–111.

⁷ Подробнее см.: Raskolnikoff M. Des anciens et des modernes. Paris, 1990. P. 84–86; Yavetz Z. Slaves and Slavery in Ancient Rome. New Brunswick, 1991. P. 127–130; Крих С. Б. «Революция рабов» в советской историографии 30-х годов XX века // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. Вып. 17. М., 2006. С. 224–236.

⁸ Проблема падения рабовладельческого строя (к итогам дискуссии) // Вестн. древ. истории. 1956. № 1. С. 3–13.

⁹ Годелье М. Понятие азиатского способа производства и марксистская схема развития общества // Народы Азии и Африки. 1965. № 1. С. 102–104; Струве В. В. Понятие «азиатский способ производства» // Народы Азии и Африки. 1965. № 1. С. 104–109; Васильев Л. С., Стучевский И. А. Три модели возникновения и эволюции докапиталистических обществ // Вопр. истории. 1966. № 5. С. 77–90.

¹⁰ Никифоров В. Н. Восток и всемирная история. М., 1975.

¹¹ История древнего мира / под ред.: И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. М., 1982. Ч. 1–3.

¹² Данилов А. И. К вопросу о методологии исторической науки // Коммунист. 1969. № 5. С. 68–81.

¹³ Пытаясь применить методы структурного анализа в марксистской методологии, авторы касались проблем докапиталистических формаций. По феодализму наиболее примечательны были работы А. Я. Гуревича, по древности – К. К. Зельина и Е. М. Штаерман. Гуревич А. Я. : 1) Общий закон и конкретная закономерность в истории // Вопр. истории. 1965. № 8. С. 14–30; 2) К дискуссии о докапиталистических общественных формациях: формация и уклад // Вопр. философии. 1968. № 2. С. 118–129; Зельин К. К. Принципы морфологической классификации форм зависимости // Вестн. древ. истории. 1967. № 2. С. 7–31; Штаерман Е. М. : 1) О повторяемости в истории // Вопр. истории. 1965. № 7. С. 3–20; 2) К проблеме структурного анализа в истории // Вопр. истории. 1968. № 6. С. 20–37.

¹⁴ Это столкновение – лучше всего освещено в историографии, и ещё по сей день не пережито отечественной медиевистикой. См.: Гуревич А. Я. История историка. М., 2004; Мильская Л. Т. Заметки на полях (по поводу статьи А. Я. Гуревича «Историк среди руин : Попытка критического прочтения мемуаров Е. В. Гутновой // Сред. века. 2002. Вып. 63. С. 362–393) // Сред. века. М., 2004. Вып. 65; Уваров П. Ю. Портрет медиевиста на фоне корпорации // Новое лит. обозрение. 2006. № 81.

¹⁵ Штаерман Е. М. : 1) К проблеме возникновения государства в Риме // Вестн. древ. истории. 1989. № 2. С. 76–94; 2) К итогам дискуссии о римском государстве // Вестн. древ. истории. 1990. № 3. С. 68–75. В общем по теме было опубликовано около 20 статей, многие из которых лишены полемического содержания.

Dietrich Beyrau

(Тюбингенский университет, Германия)

***EASTERN EUROPE AS A GERMAN SPACE:
NAZI HISTORIANS AND EXPERTS ON THE EAST***

On the basis of the historiography of the last years on historians and experts on the East during the Nazi period I will explain two problems

- a) central categories of the historical-political research on Eastern Europe
- b) the role and importance of the research for the national socialist politics in Eastern Europe.

a) Central for the research on Eastern Europe was the category “voelkisch” (ethno-national). It was part of a broad, often incoherent ideological movement since the 1890s – the so called voelkisch movement. Main ideological points were uneasiness with and a sometimes radical critique of the modern civilization and industrialism. It propagated an agrarian romanticism, combined with ethno-nationalism. The defeat in the First World War politicized the voelkisch movement, it became radical nationalist and influenced in many respects also the historical-political research. The loss of territories after WWI was the main impulse, systematically to organise research on the German borderlands and German minorities in Eastern Europe. In the mainly peasant minorities the researchers – geographers, ethnologist, historians – imagined something of a original, in Germany almost lost spirit of Germandom, and a mystical community, based on soil, blood and culture. The research on German borderlands, German minorities and “German soil” outside of Germany implicated also territorial claims, during the Weimar republic a revision of the borders, since 1939 aggressively realized claims, direct occupations and German domination in Eastern Europe.

In the German historiography of the last decade were controversial disputes about the value of the voelkisch research: Combined it methodical innovations, compared with the very conventional past historicist approaches, with reactionary and ethno-nationalist attitudes, i. e. was it methodically “progressive” and politically regressive?

After 1933 the so called research on Germandom (Deutschumsforschung) in borderlands and Eastern Europe boomed, but the historical-political research on East-

ern Europe and especially on Russia suffered by political and antisemitic purges in the few institutions and chairs. Since the middle of the 1930s many research institutions, mainly outside of the universities, fell under the influence of or became financially dependent on the many offices of Heinrich Himmler's organisations, the SS, the commissar for the consolidation of Germanism (Kommissar für die Festigung des Deutschtums), and the RSHA (Reich's Main Security Office) which organized the ethnic cleansing and Germanization of Eastern territories. With coming up of a new generation in the 1930s this meant also a change in approaches and world view. The research combined now ethno-nationalist categories with racist components. This transition from voelkisch to combined ethno-nationalist-racist categories was not fully realized, not least because of the short period of Nazism. There were historians and other experts who denied explicitly the racist categories as unscientific and useless. But one cannot overlook the trend to include racist categories into the research, which, certainly, had also to do with opportunism and conformism, strong in milieus of scholars as elsewhere. This trend will be demonstrated at the example of two volumes - one published 1933, the other during the war.

In 1933 there was published a collective volume "Germany and Poland", prepared for the International Congress of Historians in Warsaw. This volume tried to legitimize the German claims on Eastern Europe and especially on Poland: Historically it was argued that the Polish culture and its "occidental" orientation was the result of German political, cultural and demographic influences since the Middle Ages. The volume confronted the "primitive Slavic east" and the "highly developed culture" of the Germans. The Germans were the "Kulturträger". Some historians disputed more or less directly the right of existence of the Polish state, historically by legitimizing the partition of Poland, politically by disputing the legitimacy of national states in Eastern Europe. The articles argued partially in the traditional etatist-nationalistic way, partially already with voelkisch arguments – the German soil, the German constructive forces in Polish history etc. And there was an almost luxurious part with very elegant photographs of "German art in Poland".

Since the late 1920s there were attempts to introduce racial categories into historical research. The historian Hans Joachim Beyer, one of "Heydrich's professors", argued in several books, written during the war, that Central Europe – from Denmark to Budapest, from Brussels to Warsaw – had been a "German space", because many parts of the urban population and the elites from Denmark to Hungary had been German till the middle of the 19th century. In accordance with Himmler's and Heydrich's practical politics – he propagated a re-Germanization of this space by resettlements and dissimilation of those parts of the resident population in these countries, who might be of great value for the German race. In fact, he wanted to annul the long process of nationalisation in the neighbouring countries of Germany and he denied their right of independent existence.

There was the so-called Wannsee-Institute, which did secret research on the Soviet Union. Historical works on Russia and the Soviet Union were minimal. One ex-

otic exemption was a history of Catherine II, exotic because of its Marxist approach. In the end, the author died as an inmate of a concentration camp.

The greater part of experts and historians on Russia or the Soviet Union were employed either by the Wehrmacht (Abwehr/Counter-Intelligence) or by the ministry of the East (Rosenberg), both more or less explicit foes of Himmler and his empire. They partially open, partially indirect criticized the brutal and indiscriminate repressions in the Soviet territories. But in their brochures and pamphlets for soldiers or a general audience these historians and experts on Russia also over-emphasized the Germanic or German factor in Russian history, as Hitler already had done in his canonical book "Mein Kampf".

b) There has been many disputes about the use of this kind of political-ethnic-historical research for the SS, RSHA and the officers, who realised the ethnic cleansing, resettlements and liquidations in Eastern Europe. There is the accusation that these historians and experts were propagating and preparing the liquidation of peoples (Götz Aly: "Vordenker der Vernichtung"). Other historians speak of a leaching process, by which Nazi semantics began to penetrate the research, a specific way of "speaking Nazi" without serious meaning. This would confirm the thesis of general opportunism and conformism of historians and other experts. Another controversy is about the significance and effect of the *voelkisch* influenced research. In this field one has to differentiate among the disciplines. Geography, demography, and social planning had a more practical use than history and the often nostalgic ethnography. Generally, I would argue with other colleagues that the classical *voelkisch* ethnographic-historical research had for the Nazi practitioners only a historical value, because they wanted to construct a new sociobiological German race; the German minorities (as other peoples) in the East were for them only raw material, and for the Wehrmacht only useful for subaltern jobs, exploiting and controlling the Eastern countries. That few of the researches were involved in mass murder had more to do with their accidental function in the SS or Wehrmacht than with their scholarly activities.

This does not apply to those scholarly institutions and their experts, who were involved in the selection of elites at the beginning of the war in Poland, where – as on the Soviet side – representatives of the Polish elite were systematically murdered. Or one has to mention those experts for social and space planning, projecting for the future a German dominated space in the East.

But otherwise, the direct use of the historical, ethnographic and geographic researches for the practitioners seems to be minimal. But nonetheless this kind of scholarship was also of great value even for the anti-intellectual Nazi elites, as a resource of culture, legitimacy and decoration. Otherwise Himmler and his men would not have financed these researches with its minimal practical usefulness.

К. А. Руденко
(Казанский университет культуры и искусства, г. Казань)

**КАЗАНСКИЕ АРХЕОЛОГИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х – НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ:
ЛИЧНОСТИ, НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО И МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)**

Изучение личности учёного стало в последние десятилетия в российской историографии объектом специального исследования. Развивается это направление и в отношении региональной науки. Особый интерес вызывают учёные-историки и археологи. В Волго-Вятском регионе эта тема отражена в публикациях В. А. Бердинских, О. М. Мельниковой, Т. И. Оконниковой, М. В. Гришкиной и др. Из казанских археологов XIX–XX вв. внимание привлекали личности А. Ф. Лихачёва, М. Г. Худякова, А. П. Смирнова, А. Х. Халикова.

Тем не менее, специальных исследований, посвящённых им и другим казанским археологам, очень немного. Остались пока без внимания и ключевые вопросы, связанные со становлением советской археологической науки в Татарии в 30–40-е гг. XX в. Именно в это время был заложен фундамент современной археологии Татарстана, без которой изучение древнейшей истории Волго-Камья невозможно. Очевидно, что эти вопросы нельзя понять без исследования личностей ведущих специалистов – археологов и их научного творчества.

Казанская археология в первые годы после Великой Отечественной войны переживала второе рождение. Причем ни численного роста специалистов-археологов, ни новых направлений исследований не появилось. Были продолжены запланированные до войны разведочные обследования в ТАССР и раскопки нескольких ключевых археологических памятников, в числе которых на первом месте было Болгарское городище¹. Однако именно в это время началось формирование двух научных школ булгаристики² – регионального научного направления советской археологической науки³. Затем это вылилось в почти 30-летнее научное соперничество и конкуренцию нескольких крупных учёных-археологов, а затем их учеников и последователей.

Единственными специалистами в этой области с середины 1930-х гг. в ТАССР были Алексей Петрович Смирнов (1899–1974) и Николай Филиппович Калинин (1888–1959). Научное наследие этих учёных изучалось неоднократно. Отметим работы Г. А. Фёдорова-Давыдова, А. Х. Халикова, М. Г. Ивановой, Т. И. Останиной, Ю. А. Зеленева, А. Г. Ситдикова и др., посвящённые различным аспектам их научных взглядов, концепций и биографии⁴.

Сохранились личные фонды этих учёных (в большей части неопубликованные), хранящиеся в музеях Казани (например, Национальный музей и музей А. М. Горького), в Национальном архиве Татарстана, в отделе редких книг и рукописей научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Поволжского федерального университета, в фонде письменных источников ГИМ; в архиве Института археологии РАН, а также в архиве Национального центра археологических исследований АНРТ и т. д. Особо ценным источником представляется переписка А. П. Смирнова со своими учениками – А. М. Ефимовой, Н. Д. Аксёновой⁵. Раскрытию темы помогают также опубликованные материалы личного архива О. С. Хованской⁶, работавшей в 1940–50-х гг. с А. П. Смирновым и Н. Ф. Калининным.

Изучение этих материалов позволяет представить роль личности учёного в личном и научном общении, а также в становлении и развитии научного знания в сложные послевоенные годы. Обратимся к одному из писем А. П. Смирнова, адресованному А. М. Ефимовой и датированному 26 марта 1945 г., которое позволяет проанализировать эти вопросы⁷.

Предварительно необходимо отметить несколько моментов. До войны в Казани из научных учреждений, занимавшихся археологией, был только Центральный музей ТАССР⁸. Восстановленный после закрытия исторический факультет Казанского университета к археологическим исследованиям прямого отношения не имел. В январе 1945 г. был образован Казанский филиал АН СССР, в работе которого активное участие стал принимать Н. Ф. Калинин, единственный профессиональный археолог в Казани. Одновременно Н. Ф. Калинин преподавал в университете и вёл там археологическую практику. Кроме того, он продолжал активно сотрудничать с казанским музеем, помогая в восстановлении экспозиции, демонтированной во время войны. В 1945 г. ему было 57 лет, научной степени ещё не было.

А. П. Смирнов, кандидат исторических наук, заведующий археологическим отделом (с 1949 г. – заместитель директора) Государственного исторического музея в Москве, с начала 1930-х гг. проводил работы в Татарии, а с 1938 г. вёл стационарные раскопки (совместно с Н. Ф. Калининным) на Болгарском городище. Именно там он познакомился с Александрой Михайловной Ефимовой, сотрудницей музея, работавшей тогда в экспедиции у Николая Филипповича. Ольге Сергеевне Хованской, химику по образованию, в первой половине 1930-х гг. А. П. Смирнов помог устроиться на работу в казанский музей, где в то время работал зав. отделом Н. Ф. Калинин⁹ и поддерживал её давний интерес к археологии. А. П. Смирнов был моложе Николая Филипповича на 10 лет – в 1945 г. ему было 46 лет.

В конце февраля 1945 г., когда стало очевидным, что Великая Отечественная война подходит к концу, в Москве состоялся музейный съезд, на котором присутствовали директор Государственного музея Татарии Василий Михайлович Дьяконов и заведующая историческим отделом этого музея Александра Михайловна Ефимова. А. П. Смирнов, планировавший возобновление археологических раскопок на Болгарском городище в 1945 г. по планам, которые были намечены ещё до войны, собирался договориться о поддержке этих исследований со стороны казанского музея и о личном участии А. М. Ефимовой на раскопках. Однако на совещании это осуществить не удалось – не позволили регламент и формат совещания.

Был ещё один немаловажный аспект. А. М. Ефимова долгое время работала вместе с Н. Ф. Калининым, который также планировал археологические работы в Татарии в это время и рассчитывал на помощь казанского музея и его сотрудников. Этот этический момент хотел обсудить А. П. Смирнов с А. М. Ефимовой с глазу на глаз. Однако встреча, которая проходила в служебном кабинете А. П. Смирнова в ГИМе, была прервана – Алексея Петровича отвлекли по срочным проблемам.

Все эти вопросы не могли быть отложены, поскольку археологические работы вошли в план по охранным исследованиям в зоне строительства Куйбышевского гидроузла и провести их было необходимо в кратчайшие сроки. А. П. Смирнов как куратор археологических исследований в Поволжье и Прикамье от АН СССР получил финансирование на проведение охранных исследований в Болгарах¹⁰, и тема об участии казанского музея и его сотрудников в раскопках оставалась для него по-прежнему актуальной.

А. П. Смирнов писал по этому поводу: «Дорогая Александра Михайловна! Обстоятельства сложились так, что нам не удалось поговорить по душам. Я все же надеюсь быть в Казани и в Болгарах. Во всяком случае, мне обещали деньги и время. Мне самому очень грустно, что мы не смогли встретиться на свободе и побеседовать. Наши встречи в кулуарах и неудавшееся свидание у меня – оставили большое неудовлетворение. Хотелось о многом поговорить с Вами».

Рабочие моменты в переписке, касавшиеся музейных дел, были незначительными. Так, в первых числах февраля А. П. Смирнов обращался к А. М. Ефимовой с просьбой о возможности получить для научной работы зарисовки хранящихся в казанском музее христианских крестиков и иконок. А. М. Ефимова эту просьбу выполнила, и Алексей Петрович написал: «...большое сердечное спасибо за крестики и иконки. Это то, что мне нужно».

Однако более всего беспокоили А. П. Смирнова отнюдь не музейные вопросы. Оказалось, что согласовать действия между двумя исследователями-археологами, работавшими по одной программе, оказалось сложнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. А. П. Смирнов с тревогой писал: «Не знаю почему, но у меня сложилось впечатление полной неслаженности между Вами, Калининым и Хованской. Это грустно. В таком случае Вам как заву трудно до-

бываться чего-нибудь в дирекции. Особенно при коренных расхождениях во взглядах на музей, как у Вас и Дьяконова».

В 1945 г. А. М. Ефимова была заведующей историческим отделом, в её подчинении был один сотрудник – О. С. Хованская, совместителем числился в штате отдела и Н. Ф. Калинин. Задачи, стоявшие перед отделом, были очень значительными – это и сверка коллекций, и создание концепции новой исторической экспозиции, и участие в археологических исследованиях. Н. Ф. Калинин, многие годы проводивший эту работу, очевидно, претендовал на роль руководителя, что вызывало серьёзные проблемы в коллективе отдела. Кроме того, директор музея В. М. Дьяконов в тот момент видел основную задачу своего учреждения в активизации выставочной деятельности, увеличения количества лекций, которые, по его мнению, должны были отражать актуальные проблемы советского общества и иметь явную пропагандистскую направленность. А. М. Ефимова характеризовала эти идеи как «поиск “изюминок” в дьяконовском вкусе»¹¹.

Натура у Николая Филипповича была романтическая: он любил литературу, музыку, рисование, сам был неплохим художником и писал стихи. Вообще он занимался всем – историей, литературой, краеведением, археологией, татарской эпиграфикой и еще многим другим. Пережив военное лихолетье, серьёзно отразившееся на его здоровье, он стал сентиментальнее, особенно по отношению к родным и близким, к студентам, с которыми он много работал, но вместе с тем и более строгим в отношении с коллегами, даже если был знаком с ними много лет, причем отношения выстраивались очень сложно и неровно.

Алексей Петрович, человек интеллигентный и образованный, всё это вполне понимал, но относился к сложившейся ситуации очень своеобразно. Он писал следующее: «Николай Филиппович производит странное впечатление, его интересы всегда были очень широки, а теперь с его увлечением поэзией [неразборчиво] совместимых».

Конфликтную ситуацию А. П. Смирнов пытается смягчить, приводя свои оценки людей, с которыми А. М. Ефимова работает. Он пишет: «Ольга Сергеевна [Хованская] человек чудесный, хороший, но в науке она человек новый, не старше Вас. В музее, у Вас в отделе она может оказать большую пользу». Депрессивное настроение адресата Алексей Петрович пытается переключить на позитивный лад, обратив внимание на научные занятия.

Вот строчки из его письма: «Мне не нравится Ваше настроение. Возьмите себя в руки и работайте. У Вас есть тема о каменных топорах. Это очень важная и нужная работа. Если дело идет медленно, то тоже не отчаивайтесь. Пусть сначала будет систематика, простой разбор по типам. Затем дадите анализ топоров, найденных на стоянках (такие у Вас есть), установите их дату, а потом перейдите к обобщениям. Ваши топоры все датируются эпохой бронзы. А эпоха бронзы в Прикамье изучена плохо. Эта работа, если она Вам интересна, отвлечет Вас от скверных мыслей, даст зарядку душевную и поможет пережить дни одиночества. Ну, а если работа не понравится, то перемените

тему (хотя она и очень всем нам нужна)». Работа, которой рекомендовал заняться А. П. Смирнов, была сделана, впоследствии на её основе была написана и опубликована небольшая статья. Помогли ли эти советы Александре Михайловне? Без сомнения, да. Работа заведующей требовала многого, а найти поддержку и опору было непросто.

Очень интересны рекомендации, которые А. П. Смирнов дает А. М. Ефимовой: «Помните, что Вы как зав. отделом отвечаете за все и всех. Научный работник отвечает за свою работу (статью, экспозицию). А Вы за все: за неудачную экспозицию, за нехорошо проведенную экскурсию, за плохую статью. В связи с этим Вы должны проверять работу (на практике только тогда, когда не доверяете), планы, этикетаж, подбор экспонатов. Это большая нагрузка, но она должна быть отмечена в плане, который составляется с учетом часов».

Любопытны его замечания о взаимоотношениях в отделе, которым руководила А. М. Ефимова. А. П. Смирнов высказался по этому поводу так: «... вопрос о взаимоотношениях. Я должен сказать, что это очень трудный вопрос. Это потому, что каждый из нас чувствует себя крупным ученым и не желает подчиняться другому. Если товарищи злоупотребляют, то приходится призвать их к порядку, особенно если это влечет неприятности для Вас. В таком случае, не взирая на лица, надо сказать им наедине, что вот Вы плохо себя ведете, а мне попадает, прошу без моего ведома не уходить и т. д. Тут нужен такт, иногда можно и не заметить нарушения, но, как правило, надо держать всех в узде, несмотря на возраст и т. п. (заслуги)».

Здесь, очевидно, нашли отражение те события, которые ранее уже озвучивались в этом письме. Осложнялась ситуация и музейными проблемами. Это касалось, прежде всего, тех заданий, которые приходилось выполнять сотрудникам музея, согласно плану и вне плана, по поручению дирекции.

А. П. Смирнов рекомендовал следующее: «...теперь о расширении работ отдела. Этого допускать нельзя. Вы должны помнить, так же как и Ваш директор, что план отдела полный и у Вас запасов времени нет. Если Вам дают маленькое поручение, то можно и выполнить, не считаясь со временем, ну, а если поручения большие по объему работы или много мелких, то, не отказываясь выполнять, надо поставить вопрос перед дирекцией очень твердо. “За счет какой работы плановой прикажете выполнять Ваше поручение?” На это Вам скажут – сверх плана, но Вы должны твердо сказать, что план составлен и утвержден дирекцией весьма напряженный – и новые поручения могут выполняться только за счет качества. Это Ваша позиция, с которой нельзя сходить. Таким приемом вы сможете упорно бороться с тенденцией руководства увеличивать план. Эта боязнь есть и у нас – и мы живем только этим приемом и удачно».

Понимание того, что человеку нужно иногда просто дружеское участие, постоянно звучит в письмах А. П. Смирнова. Вот заключительные строчки этого письма: «Александра Михайловна – держитесь твердо, не обращайтесь на шероховатости в отношениях с сослуживцами. Это неизбежно, особенно в

наши дни, когда все мы распустились. В случае трудности решения того или иного вопроса – пишите, постараюсь помочь советом. А главное – не унывайте, не давайте восторжествовать плохому настрою».

Анализируя эти материалы, несложно понять, что не только и не столько научная проблематика связывала коллег, учителей и учеников на научном поприще. Наука была основой для совместной работы, но она была для каждого из них своя, особенная, наделённая личным восприятием, с одной стороны, и духом эпохи, ее настроением, с другой¹². Парадоксально, но археология для этих людей и их преемников стала затем своеобразным игровым полем, элементом соревнования, конкуренции, где глобальные научные проблемы переплетались с личными чувствами, отношениями, идеями.

Любопытно и то, что разница в возрасте, опыте, таланте, сначала выступавшие как основание для выстраивания отношений учитель-ученик, быстро отступали на второй план, замещаясь официальным институтом ученичества, в рамках как формальной, так и неформальной научной школы. Это впоследствии привело к своеобразным трансформациям самой идеи научной археологической казанской школы в 1990-х гг.

Примечания

¹ Руденко К. А. Археология Волжской Булгарии. Историография и история изучения (X–XX вв.) : учеб. пособие. Казань, 2008. С. 124–125.

² Руденко К. А. Казанские археологические школы болгаристики 1940–80-х гг. (периодизация) : к постановке проблемы // Археологическое наследие как отражение исторического опыта взаимодействия человека, природы, общества (XIII Бадеровские чтения) : материалы Всерос. науч. конф. Ижевск, 2010. С. 57–61.

³ Руденко К. А. Археология XX века : две жизни – две судьбы : О. С. Хованская и А. М. Ефимова. Казань : Изд-во МОиН РТ, 2010. С. 154.

⁴ Разбор этих трудов является самостоятельной исследовательской темой и здесь не рассматривается.

⁵ Руденко К. А. Археология XX века... С. 7–8; Любовь моя – Болгары. Воспоминания и научные работы Н. Д. Аксёновой. Казань, 2010. С. 124–167.

⁶ «Осада и взятие Казани в 1552 г.» – историко-археологический очерк О. С. Хованской. Казань, 2010. С. 103–190.

⁷ ОРРК НБЛ КГУ. Е. х. № 9792-2. Л. 2–5. Далее в тексте цитируется данный источник.

⁸ Статус государственного он получил в 1944 г.

⁹ Руденко К. А. Археология XX века... С. 30–31.

¹⁰ Смирнов К. А. А. П. Смирнов и исследование Булгарского городища в период строительства Кубышевской ГЭС // Татар. археология. 1999. № 1–2. С. 5–9.

¹¹ Руденко К. А. Археология XX века... С. 93.

¹² Там же. С. 154–157.

М. А. Базанов
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)

**В ПОИСКАХ ОЧЕРТАНИЙ «НАУЧНОЙ ШКОЛЫ А. А. ЗИМИНА»:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ**

Для современной историографии характерно повышенное внимание к схолярной проблематике. Во многом это связано с методологической переориентацией отечественной исторической науки в 1990-е гг. Проникновение в российскую науку идей исторической антропологии¹ и интеллектуальной истории² направило внимание историографов на социальный контекст, в рамках которого разворачивалась жизнь и творчество историков. Отсюда всплеск работ, посвященных изучению научных школ в отечественной историографии.

На этом фоне весьма актуальным представляется вопрос о феномене «научной школы А. А. Зими́на». Мысль о существовании данного коммуникативного сообщества уже неоднократно высказывалась биографами А. А. Зими́на и его учениками (например, в статьях В. Б. Кобрина³, С. М. Каштанова⁴, Л. В. Столяровой⁵; многократно школа А. А. Зими́на упоминалась в выступлениях на Пятых Зиминских чтениях⁶). К сожалению, эти работы не сопровождаются развернутой аргументацией относительного данного вопроса. Таким образом, проблема «научной школы А. А. Зими́на» еще ожидает своего детального изучения.

В данной статье мы, не претендуя на всестороннее освещение заявленной темы, остановимся преимущественно на одном аспекте, связанном с характером взаимоотношений А. А. Зими́на с учениками.

Еще в 1995 г. исследователь С. В. Михальченко выделил, на основании анализа существовавшей на тот момент историографической литературы, два основных критерия выделения научных школ. Таковыми, на его взгляд, являлись: во-первых, критерий «педагогический», то есть «связь учитель – ученики, хотя бы в начале формирования школы, затем возможно прекращение этой связи»; во-вторых, критерий «методологический» – «общность методов, форм работы, близость в тематике исследований»⁷. Попытаемся для решения задач данной статьи несколько откорректировать выделенные С. В. Михаль-

ченко критерии. На наш взгляд, возможность существования школ без ярко выраженного лидера побуждает нас в качестве первого аспекта/критерия существования этого феномена рассматривать не только наличие связей «учитель – ученики», а учитывать тесную, неформальную коммуникацию на глубоко личностном уровне между членами данного сообщества. Соответственно, наряду с «педагогическим» можно говорить о «коммуникативном» аспекте/критерии научных школ. Не вполне точен применительно к критерию школы и термин ‘методологический’. Помимо единой методологии и методик исследования членов научной школы могут объединять еще и сходные концептуальные построения, хронологические рамки исследования, даже специфическая, присущая лишь им, манера письма/построения нарратива. Пожалуй, более адекватным было бы именовать это «интеллектуальным» аспектом научной школы. С учетом сделанных корректировок идея С. В. Михальченко представляется нам вполне плодотворной.

В данной статье мы ограничимся лишь анализом коммуникативной стороны сообщества, сложившегося вокруг А. А. Зимины. Посмотрим, насколько его характеристики соответствуют озвученным нами выше представлениям о взаимоотношениях внутри научной школы. Науковеды неоднократно отмечали, что формирование и функционирование данного феномена (во всяком случае, его «лидерского» типа) тесно связано с образовательным процессом⁸. Поэтому мы, опираясь на опубликованные воспоминания А. А. Зимины⁹ и его учеников¹⁰, попытаемся охарактеризовать основные принципы педагогической деятельности ученого, особенности его взаимоотношений с учениками.

Интерес представляет уже сам факт того, что историк посвятил в своих мемуарах столько внимания ученикам, что в целом нехарактерно для воспоминаний других его советских коллег. Более того, рассказ об учениках А. А. Зимин начинает с рассуждения о том, что представляет собой научная школа. Четкого определения этого понятия он так и не сформулировал. Так, согласно его пониманию, школой может именоваться содружество ученых, развивающих намеченную учителем тематику и методику, либо просто явление ученичества («всякий, учившийся у кого-либо чему-нибудь, вправе себя считать его учеником»). Но, считает А. А. Зимин, школа «в лучшем смысле – это сотрудничество людей, связанных единством нравственных ценностей»¹¹. При этом историк подчеркивает, что явление школы имеет не только позитивные, но и негативные стороны, так как она способна подавить творческую индивидуальность исследователей. Своих учеников А. А. Зимин относит к «содружеству единомышленников», хотя и подчеркивает, что среди них «бывали люди и иного типа»¹¹. Термина ‘школа’ по отношению к ним он не употребляет. Однако же все изложенное далее в мемуарах подводит читателя к мысли о сформировавшемся вокруг него схолярном сообществе «в лучшем смысле» этого понятия. Трудно сказать, почему А. А. Зимин так и не сделал в своих воспоминаниях данный вывод. Возможно, его удерживали от этого соображения этического плана (подобное заявление могли счесть проявлением гордыни), или историк

поостерегся применить к себе это «забытое» понятие, памятуя еще недавние бои в советской науке со «школой» М. Н. Покровского.

К своим ученикам А. А. Зимин, «следуя завету С. В. Бахрушина», своего учителя, «подходил как к сотоварищам по общему делу», «старался внушить ребятам, что они не школяры, а служители науки»¹². Следовательно, главная цель для него – сформировать из студента полноценного исследователя – историка. При этом А. А. Зимин относился к своим ученикам как к равным себе личностям, которые отличались от него лишь несколько меньшим профессиональным и жизненным опытом. Подобное отношение подчеркивалось им манерой неизменно звать своих студентов по имени и отчеству¹³. Более того, связь между ними не приобретала одностороннего характера. Историк не только учил их, но и сам не считал зазорным перенимать у молодых исследователей их нестандартные подходы к решению научных проблем.

В работе с ними А. А. Зимин изначально отказывался от некоего усреднения, нивелировки своих учеников под единый образец, стандарт идеального специалиста-историка. Свою задачу он видел в том, чтобы «помочь каждому стать самим собой»¹⁴, т. е. раскрыть в полной мере присущие каждому индивидуальным таланты и способности¹⁵. Лучшим доказательством тому являются многочисленные психологические портреты его учеников, которыми наполнены его воспоминания. Каждый из них предстает оригинальной, своеобразной личностью с неповторимым характером и чертами ума.

Как то явственно следует из написанного ученым, первостепенное значение для него приобретает формирование духовного облика, ценностных установок ученика. В психологических зарисовках А. А. Зимина очень часто повторяется ряд положительных характеристик. Вполне логично предположить, что именно эти качества он и считал нужным развивать у своих учеников. Историк требовал от них полной самоотдачи, трудолюбия, готовности поступиться материальными благами ради занятия наукой. Более того, научную деятельность он отождествлял со служением религиозному культу – отсюда и название книги воспоминаний, на опубликованный фрагмент из которой мы и опираемся в данной статье, – «Храм науки».

Истинный ученый, полагал А. А. Зимин, никогда и ни в коем случае не руководствуется корыстными мотивами, корысть исключает науку. Морально-этические нормы должны всецело управлять действиями исследователя. Историей его ученики, согласно А. А. Зимину, занимались ради того, чтобы «стать сопричастными тому, что сделано было их пращурами»¹⁶. Подобные жесткие этические требования распространялись и на отношение исследователя к историческому источнику¹⁷. Поэтому А. А. Зимин столь часто подчеркивает, что работы его учеников основывались на тщательном, скрупулезном изучении как можно большего количества источников, с сожалением отмечает редкие отступления от этого правила.

Весьма интересным представляется следующий эпизод педагогической деятельности историка. На втором курсе обучения ученик А. А. Зимина С. М. Каш-

танов выступал с докладом о жалованных грамотах на его спецсеминаре. По словам самого С. М. Каштанова, он «любя ложную образованность» «употребил в докладе выражение, гласившее, что дипломатика (или дипломатический анализ) “срывает покров Изида с застывших форм”», что «вызвало бурную реакцию у соподгруппниц»¹⁸. Вероятно, А. А. Зимин именно в этом усмотрел признаки «зазнайства», которое он в учениках ненавидел. Поэтому историк дал резкий критический отзыв, тем самым «доведа докладчика чуть ли не до слез»¹⁹. Подчеркнем, критика была вызвана не столько реальными недостатками доклада, о них ни у С. М. Каштанова, ни у А. А. Зимина в воспоминаниях речь не идет, а именно «зазнайством» студента. Подобные жесткие методы, как то следует из текста, историк считал вполне допустимыми в деле воспитания подрастающей смены.

Безусловно, А. А. Зимин прилагал огромные усилия на то, чтобы выстроить со своими учениками контакты на глубоком личностном уровне. Подобная линия поведения, надо сказать, вообще была характерна для преподавателей Историко-архивного института. Приведем пример. Согласно воспоминаниям выпускника МГИАИ Е. В. Старостина, его однокурсник Владимир Волков мог целую неделю ночевать у Ф. А. Коган-Бернштейн, когда из-за ссоры с женой его выгоняли из дома²⁰. Но, видимо, даже на этом фоне коммуникативное сообщество, сложившееся вокруг А. А. Зимина, отличалось большой степенью сплоченности. Так, тот же Е. В. Старостин говорил: «У Зимина вообще его ученики составляли семью. Он их возил на дачу, дома принимал, поил чаем, благославлял на браки»²⁰.

Дача А. А. Зимина явно была одним из часто посещаемых мест, его ученики неоднократно упоминали о своем пребывании на ней²¹. По словам самого историка, «мои птенцы собирались по праздникам или после защиты дипломов у меня дома»²². Необходимо отметить, что ученичество в понимании ученого – явление неформальное. Так, своих учеников он, как правило, именуется «друзьями», иногда – «детьми». Кстати, к числу их ученый относил тех, кто занимался в его спецсеминарах и защитил под его же руководством дипломную работу. Поэтому среди описываемых им учеников мы не найдем такого крупного специалиста по истории Киевской Руси и Русской Православной церкви, ныне член-корреспондента РАН Я. Н. Щапова. А. А. Зимин был его руководителем во время написания кандидатской диссертации, но свои студенческие годы Я. Н. Щапов провел на историческом факультете МГУ, где его учителем был Б. Д. Греков²³. И в то же время А. А. Зимин весьма много рассказывает о В. В. Цаплине, который после защиты диплома был вынужден в силу сложных жизненных обстоятельств резко сменить тематику своих исследований и заняться историей России периода капитализма²⁴.

Многие из его учеников после выпуска сменили и научного руководителя, и тему своих научных изысканий. Некоторые из них вообще отошли от научной деятельности (такова была судьба С. А. Левиной, К. Т. Остриковой, Э. С. Радзинского, Ю. В. Фаева²⁵). Несмотря на это, он все же счел нужным отметить их

в числе своих учеников. Более того, он упомянул (пусть даже мельком) тех, кто защищал свои дипломы под руководством других историков «по формальным причинам», но, несмотря на это, «сохраняли добрые отношения со мной [т. е. с А. А. Зиминим. – М. А.] на долгие годы»²⁶. С горечью ученый указывает на случаи, когда духовной близости с учениками не сложилось (В. Н. Автократов, С. И. Сметанина²⁷). Контакты А. А. Зимина с его «детьми» не прекращались и после того, как последние защищали дипломные работы, что он порой фиксирует в своих записях. Так, например, Д. В. Карев сначала преподавал во Владивостоке, затем переехал в Гродно, но, по словам ученого, «меня не забывает и, когда представляется возможность, заезжает на несколько часов»²⁸. Вслед за уже приведенной нами выше фразой из воспоминаний, согласно которой «птенцы» ученого собирались у него по праздникам и после защиты диплома, следует: «Некоторые из них заглядывают и теперь»²⁹. Интересным представляется и такое замечание, «оброненное» А. А. Зиминим: «Отношения с В. С. Мингалевым самые добрые, но мы с ним фактически не встречаемся»³⁰. Из этого оборота ясно видно стремление ученого к поддержанию непосредственных личностных контактов с любимыми им учениками. В случае же с В. С. Мингалевым их заменила переписка. В личном архиве последнего (согласно его устному заявлению, сделанному на Пярых чтениях памяти А. А. Зимина) сохранилось тридцать писем от учителя, ныне они готовятся к публикации. И наоборот, историк считал нужным отметить те случаи, когда отношения с учениками по той или иной причине прерывались (Е. Я. Сазикова, В. С. Моргайло), что вновь свидетельствует о том, сколь ценились им эти личностные контакты.

Из всех видов занятий А. А. Зимин наиболее результативными называет семинары и спецкурсы. Наименее ценил он общие курсы, которые, по его мнению, сводились к тому, чтобы «вещать с кафедры прописные истины, предписанные программой»³¹. В спецкурсах же «первостепенное значение имеет не сумма знаний, не проблематика сама по себе, а ознакомление с методикой исследования, которую развивает лектор»³². Еще более эффективны семинарские занятия, которые предполагают двустороннюю связь преподавателя и ученика, их совместный труд. Следовательно, в процессе обучения А. А. Зимин стремился привить студентам в первую очередь методики работы с источниками, концептуальные построения при этом отступают на второй план. Исходя из этого положения, историк мог на первом же занятии по палеографии выдать для работы сложные тексты XVI–XVII вв., так как «в палеографии нужно учить размышлению, а не вдавливать сведения о типе букв по векам»³³. В. В. Минаев в своих воспоминаниях утверждает, что некоторые из этих источников не мог прочесть и сам А. А. Зимин, у студентов же они вызвали оторопь. Однако «несколько месяцев напряженной работы, и почти перестали существовать проблемы с чтением любых тестов»³⁴. Часть занятий по палеографии преподаватель переносил в Отдел рукописей РГБ, где студентам выдавались подлинники источников XVI–XIX вв. (естественно, для других занятий А. А. Зимин

использовал фотокопии). Знакомство с источниками в подлиннике, по мысли А. А. Зимина, придавало юным исследователям особый эмоциональный настрой, в дальнейшем сопровождавший их на всем жизненном и научном пути.

Пристальное внимание ученый уделял теме дипломных работ своих учеников и, соответственно, докладов на спецсеминарских занятиях. В дипломе в полной мере должны раскрыться способности и таланты ученика, а они индивидуальны и неповторимы, их необходимо учитывать в первую очередь. Однако понимание этого, видимо, пришло к историку не сразу. В воспоминаниях ученый неоднократно укоряет себя за то, что при выборе тем, а он, как то явствует из употребляемых им речевых оборотов, сам определял их, часто обращал мало внимания на желания самих студентов и руководствовался при этом в первую очередь собственными научными интересами. В частности А. А. Зимин обвиняет себя в неудавшейся карьере А. Г. Кравченко. Темой его дипломной работы стал Московский летописный свод конца XVI в. Однако для изучения летописания, по убеждению А. А. Зимина, необходима особая манера мыслить, которой А. Г. Кравченко был лишен. Поэтому после защиты диплома он предпочел отойти от активной научной деятельности³⁵. Дипломная работа должна, согласно историку, строиться таким образом, чтобы в дальнейшем могла стать основой кандидатской диссертации. Это обеспечивало его ученикам надежную основу для последующей научной деятельности. Отсюда и высокие требования к уровню дипломных сочинений, которые должны были быть выполнены «по всем правилам научного исследования и ничем не отличаться от работ профессоров и академиков, разве что свежестью подхода к теме и методике»³⁶. Наиболее ярко этот подход воплотил в жизнь любимейший ученик А. А. Зимина С. М. Каштанов. Прочитируем отзыв его оппонента С. О. Шмидта: «Работа С. М. Каштанова вполне может быть рекомендована по своим научным достоинствам к защите в качестве дипломной работы, но и в качестве кандидатской диссертации. А каждая глава ее в отдельности <...> вполне может быть оценена как отличная дипломная [работа], и после небольших поправок и дополнений в основном редакционного характера, рекомендуется к печати»³⁷. Сходные оценки содержали отзывы А. А. Зимина³⁸ и Л. В. Черепнина³⁹. Кафедра вспомогательных исторических дисциплин обратилась в Ученый совет МГИАИ с ходатайством принять диплом С. М. Каштанова в качестве кандидатской диссертации⁴⁰. К сожалению, это намерение так и осталось неосуществленным.

Безусловно, А. А. Зимин был требовательным научным руководителем, жестко добивавшимся от подопечных выполнения поставленных перед ними задач. Так, С. М. Каштанов вспоминает о графиках работы над дипломом, которые они составляли с научным руководителем. А. А. Зимин следил за их выполнением, время от времени своими телефонными звонками напоминая о необходимости сдать в отведенный срок очередной фрагмент текста⁴¹. Е. П. Маматову он заставил несколько раз переписывать историографический раздел к своей кандидатской диссертации⁴². Будучи человеком ироничным, А. А. Зимин мог подшучивать над учениками, «подчас издеваясь, иногда дразня»⁴³. По

словам В. В. Минаева, «он любил острое словцо, меткое замечание»⁴⁴. Промонстрируем на конкретных примерах, каким образом в общении с учениками раскрывались эти качества характера историка. Проверяя цифровые таблицы к диссертации Е. П. Маматовой, ученый сделал вид, что обнаружил ошибку в одной из граф. Диссертантка «безумно испугалась»⁴⁵ и пообещала пересчитать цифровые данные. Историк был возмущен. По его словам, даже ошибка в десять или двадцать единиц в целом не поколебала бы основные выводы, сделанные в диссертации, а неуверенность в точности своих данных лишь может произвести неприятное впечатление на аттестационную комиссию. Подобным педагогическим приемом А. А. Зимин пытался привить ученице необходимую твердость и уверенность в себе. Иногда его шутки над учениками выглядят несколько сомнительными с точки зрения этики. С. М. Каштанов рассказывает о случае из педагогической практики А. А. Зиминой, когда он потерял доклад одной из своих учениц. После чего «с довольно скорбным, но непреклонным видом высказался в том смысле, что чего нет, того нет и уже не будет»⁴⁶. Впрочем, С. М. Каштанов утверждает, что это лишь еще более расположило его к своему учителю.

А. А. Зимин принимал самое активное участие в научной карьере своих учеников. Так, найденные им «Отданные книги» Троице-Сергиева монастыря середины XVI в. он передал для подготовки к публикации С. М. Каштанову⁴⁷. Они, явно не без помощи А. А. Зиминой, были изданы в журнале «Исторический архив», когда автор еще обучался на третьем курсе⁴⁸. В год защиты дипломной работы вышла в свет статья С. С. Печуро⁴⁹, что, опять же, вряд ли было возможно без содействия научного руководителя. Этим, однако, его помощь не ограничивалась. С. М. Каштанов отмечает, что А. А. Зимин сознательно и целенаправленно создавал ему хорошее реноме, положительно отзываясь о своем ученике в разговорах со своими коллегами. С некоторыми из них он же С. М. Каштанова и познакомил, в частности, с Л. В. Черепниным, впоследствии давшим отзыв на его дипломную работу.

Безусловно, А. А. Зимин был харизматичным человеком, являвшимся для своих учеников непререкаемым авторитетом. Он умел вызвать у своих подопечных необходимые ему эмоции, направить их энергию в нужное русло. Е. П. Маматова пишет, что критика А. А. Зиминим ее работ не только не вызвала отрицательных эмоций, но, наоборот, вела к подъему сил, порождала желание работать дальше и исправлять совершенные ошибки⁵⁰. Ученики стремились получить одобрение историка. Сходные переживания испытывал и В. В. Минаев: «Хотелось посвятить себя науке, сидеть день и ночь в архивах и за письменным столом, лишь бы сделать что-нибудь подобное тому, что понял и сделал в науке Сан Саныч, удостоиться его близости и похвалы»⁵¹. С. М. Каштанов однажды сказал Е. П. Маматовой: «Да для тебя Зимин просто Мессия»⁵². Воспоминания учеников вообще переполнены разного рода положительными характеристиками и эпитетами в адрес своего учителя. Он представлялся им в качестве крупного ученого, смелого новатора, «генератора идей»⁵³, честно-

го и бескомпромиссного человека, буквально живущего наукой и ни в каком ином качестве (кроме как историка) не могущего существовать. В то же время в нем они видели человека, не лишённого светского лоска, энциклопедически образованного интеллигента, великолепно разбирающегося в отечественной литературе и мировом кинематографе, строгого, сурового наставника и, одновременно, он был для них «ангелом хранителем»⁵⁴, живым, эмоциональным, с крайне развитым интеллектом и присущим ему скептическим складом ума. Безусловно, А. А. Зимин являлся для учеников примером для подражания, образцом идеального исследователя, который они пытались воспроизвести в своей повседневной практике.

Подведем итоги. Главная цель, которую преследовал в своей педагогической деятельности А. А. Зимин, – воспитать из неопытного студента полноценного ученого-историка. Первостепенное значение в этом процессе, по его мнению, имело формирование ценностных установок, морально-этического облика. Конечно, это было невозможно без тесных межличностных контактов учителя с учениками. Такие контакты были им установлены. В своей преподавательской деятельности А. А. Зимин ориентировался на передачу ученикам набора методик, приемов работы с источниками и лишь в последнюю очередь – готового знания, концепций и исторических фактов. Отсюда и то предпочтение, которое он отдавал семинарским занятиям и спецкурсам. Как научный руководитель он огромное внимание уделял выбору темы дипломной работы, которая, с одной стороны, должна стать основой кандидатской диссертации, с другой – должна соответствовать индивидуальным способностям и пристрастиям ученика. Темы А. А. Зимин определял сам, при этом, естественно, беря в расчет и сферу своих научных интересов.

Таким образом, свою педагогическую деятельность А. А. Зимин направил на создание вокруг себя неформального научного сообщества (и таковое, безусловно, сложилось), которое помимо признания его лидерства было бы сплочено единством методик работы с источниками, сходной тематикой исследований и общими представлениями об этике научного творчества. Все это – признаки научной школы А. А. Зимина.

Сама фигура А. А. Зимина – строгого и требовательного наставника, яркой, харизматической личности, не лишённой определенных патерналистских черт, – как нельзя лучше подходит под образ лидера научной школы. Конечно, для того, чтобы с уверенностью говорить о доказанности существования «научной школы А. А. Зимина», необходимо подвергнуть тщательному анализу научные труды ученого и его учеников, доказать сходство их центральных положений, но приведенные нами выше наблюдения уже убедительно свидетельствуют в пользу данной гипотезы.

Примечания

¹ См., например: Кромм М. М. Историческая антропология. М., 1998; Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // Новое лит. обозрение. 2005. № 5.

С. 64–91; Гуревич А. Я. История в человеческом измерении (размышления медиевиста) // Новое лит. обозрение. 2005. № 5. С. 38–63.

² См.: Репина Л. П. Интеллектуальная история на рубеже XX–XXI вв. // Новая и новейш. история. 2006. № 1. С. 12–20.

³ Кобрин В. Б. Александр Александрович Зимин // Историческая наука России в XX веке. М., 1997. С. 362.

⁴ Каштанов С. М. Александр Александрович Зимин – исследователь и педагог // История СССР. 1980. № 6. С. 157.

⁵ Столярова Л. В. Памяти Евгении Платоновны Маматовой (16.02.1934 – 28.01.2004) // Проблемы источниковедения. М., 2006. Вып. 1 (12). С. 14.

⁶ К сожалению, сборник материалов данной конференции так и не был опубликован.

⁷ Михальченко С. И. О критериях понятия «школа» в историографии // Исторична наука на порозі XXI століття : підсумки та перспективи : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Харків, 1995. С. 57.

⁸ Там же. С. 109, 113–114.

⁹ Зимин А. А. Дети становятся взрослыми // Александр Александрович Зимин / сост. В. Г. Зимина, Л. Н. Простоволосова. М., 2005. С. 74–124.

¹⁰ Каштанов С. М. Александр Александрович Зимин. Штрихи к портрету // Россия в X–XVIII вв. : (Проблемы истории и источниковедения) : тез. докл. и сообщ. Вторых чтений, посв. памяти А. А. Зимина. М., 1995. Ч. 1. С. 19–23; Маматова Е. П. Вспоминая Александра Александровича Зимина // Там же. С. 23–29; «Они сохраняли лучшие традиции старой университетской дореволюционной школы...» : (Из воспоминаний выпускников и преподавателей МГИАИ. Конец 1940-х–1960-е гг.) // Отечеств. арх. 2009. № 3. С. 94–103; Минаев В. В. Педагогическая харизма Александра Александровича Зимина // Учителя учителей : очерки и воспоминания. М., 2009. С. 73–77.

¹¹ Зимин А. А. Указ. соч. С. 74.

¹² Там же. С. 76–77.

¹³ «В отношениях панибратства я не терпел и старался звать всех по имени и отчеству. <...> тут полное равноправие: как они звали меня, так и я их» (Там же. С. 86).

¹⁴ Там же. С. 79.

¹⁵ В одном из личных разговоров со мной ученица А. А. Зимина М. Е. Бычкова отметила, что уровень требовательности ученого зависел от его оценки творческого потенциала ученика. От тех, кто, по его мнению, мог в дальнейшем стать крупным ученым, он весьма жестко требовал выполнения поставленных задач (к таковым, например, относился С. М. Каштанов), остальным он мог позволить определенные послабления. Но в целом А. А. Зимин оставался весьма требовательным педагогом.

¹⁶ Там же. С. 82.

¹⁷ На данную сторону воззрений А. А. Зимина обратила наше внимание М. Е. Бычкова.

¹⁸ Каштанов С. М. Указ. соч. С. 20–21.

¹⁹ Зимин А. А. Указ. соч. С. 82.

²⁰ «Они сохраняли традиции...» С. 101.

²¹ Там же. С. 97–98 (рассказ Р. В. Овчинникова); Маматова Е. П. Указ. соч. С. 24–25. Возможно, именно в окрестностях его дачи состоялся описываемый С. М. Каштановым разговор с учителем, см.: Каштанов С. М. Указ. соч. С. 23.

²² Зимин А. А. Указ. соч. С. 116.

- ²³ О Я. Н. Щапове см.: Найденова Л. П. Русская Православная церковь в исследованиях Я. Н. Щапова // *Отечеств. история*. 2003. № 2. С. 136–140; Сахаров А. Н., Сеницына Н. В. Творческий путь Я. Н. Щапова // *От Древней Руси к новой России : юбилейн. сб., посв. чл.-корр. Я. Н. Щапову*. М., 2005. С. 6–16.
- ²⁴ См. напр.: «Историко-архивный институт закончен. В сделанном не раскаиваюсь» (студенческие дневники В. В. Цаплина. 1947–1952) // *Отечеств. арх.* 1998. № 3. С. 56–57.
- ²⁵ Зимин А. А. Указ. соч. С. 85, 96, 97–100, 114.
- ²⁶ Там же. С. 76.
- ²⁷ Там же. С. 85, 101.
- ²⁸ Там же. С. 115.
- ²⁹ Там же. С. 116. Данный текст был написан в конце 1970-х гг.
- ³⁰ Там же. С. 104.
- ³¹ Там же. С. 76.
- ³² Там же. С. 80.
- ³³ Там же. С. 81.
- ³⁴ Минаев В. В. Указ. соч. С. 75.
- ³⁵ Зимин А. А. Указ. соч. С. 89, 91.
- ³⁶ Там же. С. 77.
- ³⁷ Шмидт С. О. Отзыв о дипломной работе студента МГИАИ С. М. Каштанова на тему «Феодальный иммунитет в XVI веке» // *Ad fontem (=У источника) : сб. ст. в честь Сергея Михайловича Каштанова*. М., 2005. С. 95.
- ³⁸ Зимин А. А. Отзыв о работе С. М. Каштанова «Очерки по истории феодального иммунитета в период укрепления Русского централизованного государства (1503–1584)» // Там же. С. 103.
- ³⁹ Черепнин Л. В. Отзыв о монографии С. М. Каштанова «Развитие феодального иммунитета в XVI веке» // Там же. С. 107.
- ⁴⁰ Столярова Л. В. Проблемы истории феодальной России в творчестве Сергея Михайловича Каштанова // Там же. С. 20–21.
- ⁴¹ Каштанов С. М. Указ. соч. С. 21.
- ⁴² Маматова Е. П. Указ. соч. С. 27.
- ⁴³ Каштанов С. М. Указ. соч. С. 22.
- ⁴⁴ Минаев В. В. Указ. соч. С. 76.
- ⁴⁵ Маматова Е. П. Указ. соч. С. 27.
- ⁴⁶ Каштанов С. М. Указ. соч. С. 20.
- ⁴⁷ Там же. С. 21; Зимин А. А. Указ. соч. С. 79.
- ⁴⁸ Каштанов С. М. Отдаточные книги Троице-Сергиева монастыря 1649–1650 гг. // *Ист. арх.* 1953. Кн. 8. С. 198–220.
- ⁴⁹ Печуро С. С. Земские служилые люди в годы опричнины // *Тр. МГИАИ*. 1961. Т. 16. С. 467–474.
- ⁵⁰ Маматова Е. П. Указ. соч. С. 26–27.
- ⁵¹ Минаев В. В. Указ. соч. С. 76.
- ⁵² Маматова Е. П. Указ. соч. С. 27.
- ⁵³ Там же. С. 24.
- ⁵⁴ Каштанов С. М. Указ. соч. С. 23.

В. Г. Рыженко
(Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
г. Омск)

**ВОЗВРАЩЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ИСТОРИКОВ XX ВЕКА
В КОММУНИКАТИВНОМ ПОЛЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ:
ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ¹**

Расширение проблематики современных историографических исследований, появление множества авторских исследовательских практик заставляет обратить специальное внимание историографов на коммуникативное пространство российской исторической науки, возникшее на рубеже XX–XXI вв., и показать обозначившиеся подходы к изучению этого сложного объекта. Определенный шаг в данном направлении был сделан недавно омскими соавторами (В. П. Корзун, В. Г. Рыженко) в подготовленном цикле статей, одна из которых уже опубликована². Распространение в XX в. коммуникативных теорий обеспечивает устойчивый интерес науковедов, философов, социологов и, с недавнего времени, историков к научным сообществам, к способам их функционирования, включая характер взаимоотношений профессионалов как внутри корпораций, так и с представителями других областей научного знания.

Использование понятия ‘коммуникативное поле’ позволяет наиболее объемно представить науку как сетевой социокультурный феномен, организующийся с помощью разных видов коммуникации, в которых есть как преемственность, так и разрыв (условно говоря, «положительные» и «отрицательные» коммуникации). Основа коммуникации для любой науки – это профессиональное общение. В целом же в структуре коммуникационного процесса исследователями выделяются в качестве главных составляющих три группы компонентов. Обозначим их, делая акценты, необходимые для подходов современных историографов, в том числе, для постановки задач предлагаемой статьи. К первой группе отнесем опосредованные связи, тиражирующие информацию о движении мысли и результатах деятельности членов научного сообщества (публикации, препринты, непубликуемые материалы). Во вторую

группу войдут непосредственные связи ученых (личные беседы, очные научные дискуссии, устные доклады). Третью группу составят смешанные связи – научные конференции, научно-технические выставки и др. Содержание этих трех групп можно считать «горизонтальными» параметрами коммуникативного поля. Оно пронизано институциональными «вертикалями» социокультурного ландшафта науки. При этом мы учитываем конкретно-историческую изменчивость обеих координат. Интересующий нас современный этап развития российской исторической науки условно охватывает период с конца 1980-х гг. и до настоящего времени. Он отличается повышенным динамизмом коммуникативных процессов, их противоречивым характером и нестабильностью показателей каждого параметра.

Принимая за аксиому утверждение, что научная межкультурная коммуникация может осуществляться только по «корпоративным» каналам, историограф вправе усомниться в наличии раз и навсегда определившейся структуры для всех «отраслевых» (дисциплинарных) научных корпораций. Более того, даже присутствие определенной заданности, предсказуемости характера передаваемой информации, значительного влияния традиций, стереотипов, сложившихся в корпоративной среде, не исчерпывают всей специфики внутреннего содержания коммуникативного поля отдельной науки. Особенно, если речь идет об исторической науке, переживающей в российских условиях рубежа XX–XXI вв. принципиальные трансформации прежних образов и представлений о профессиональных корпоративных ценностях.

В предлагаемой статье учитывается позиция социологов науки и науковедов, что наука «соткана» из множества живых диалогических нитей – как со своими современниками, так и со своими предшественниками³. Отсюда, вполне естественно, что научное наследие исследователей разных поколений должно являться необходимым и обязательным звеном коммуникации внутри профессионального научного сообщества. В то же время хорошо известно, что реалии российской истории после событий 1917 г. и вплоть до конца советской эпохи приводили к исключению имен и наследия целого ряда историков-эмигрантов, а также «опальных» историков, в состав которых попадали не только представители «буржуазной» историографии, но и историки-марксисты.

С конца 1980-х и в 1990-е гг. имена наиболее известных российских ученых возвращались из небытия, их наследие переиздавалось и включалось в коммуникативный ресурс исторической науки. *Однако возникает вопрос, насколько этот ресурс оказывался востребованным современными историками, тем более, молодым поколением?*

Пока можно попытаться ответить лишь приблизительно и преимущественно относительно наследия крупных фигур отечественных историков. Разумеется, что интерес к той или иной фигуре возникал зачастую из новой политической конъюнктуры, а в наборе возвращаемых имен на первом плане оказывались наиболее ярко выраженные бывшие «враги» и «жертвы». Неслучайно в постсоветской российской исторической науке наблюдается любопытный прецедент

– трансформация образа «отверженного историка» в сторону его презентации как «нового классика». Уже предприняты опыты изучения складывающейся ситуации применительно к отдельным ученым⁴.

Впрочем, можно обнаружить и другую версию востребования научного наследия, когда оно привлекает пристальное внимание не собратьев «по цеху», а представителей других гуманитарных корпораций. В этом случае «забытый» историк и его труды оказываются в пространстве межкультурной коммуникации и выполняют миссию междисциплинарного связующего звена в современном гуманитарном знании. В качестве примера приведу превращение фигуры П. Н. Милюкова в особый авторитет для современных культурологов (начало было положено С. Н. Иконниковой). Они гораздо чаще, чем историки, обращаются к главному труду ученого – «Очеркам по истории русской культуры»⁵. В начале XXI в. в рамках этого активного освоения наследия Милюкова были защищены две кандидатские диссертации, посвященные теоретико-методологическому значению «культурологической» концепции П. Н. Милюкова⁶. Так на стыке коммуникативных полей культурологии и исторической науки возникают хорошие предпосылки к диалогу со «смежниками». Это даст импульс движению сообщества историков по пути к открытости своей корпорации.

Однако наиболее сложно в настоящее время складывается судьба советской историографии наследия советских историков. В поисках новых подходов возникает опасность вычеркнуть их из памяти вместе с советским периодом нашей истории. Тем самым получается новый вариант «забвения»/ «отторжения» под предлогом «ненужности» трудов советских историков в условиях смены научных парадигм и знакомства российских историков с трудами известных зарубежных ученых, ставших символами многообразных теоретико-методологических «поворотов» второй половины XX в. в мировой исторической науке и «образцом для подражания». Отсюда превалируют оценки советского историографического наследия как исключительно идеологизированного и ангажированного властью, представляющего тупиковую линию внутри российской исторической науки, своего рода «атавизм». Из констатации краха мононаучной марксистско-ленинской парадигмы⁷ постепенно формируется тенденция к вымарыванию образа советской исторической науки из историографии XX в., при этом предельно упрощая сам образ, пока так и непознанный в своей сложной сущности, мозаике деталей и в контексте антропологического поворота, столь модного для молодой поросли постсоветских исследователей.

Ниже остановлюсь на локальном срезе обозначенных проблем, используя сибирские материалы, связанные с наследием Владимира Ивановича Шемелева (1885–1942), мало кому известного в современных кругах «столичных» историографов, «беспартийного революционно-общественного деятеля, активного члена Западно-Сибирского отделения Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, историко-революционной секции Западно-Сибирского краеведческого комитета (ЗСБК)». Можно утверждать, что и в региональной

(сибирской) историографии, в которую имя и наследие Шемелева возвращено сравнительно недавно, он воспринимается как историк «второго плана». В справочных изданиях он упоминается как историк профсоюзов Сибири, работник краевых профсоюзных организаций и архивных учреждений. В недавней юбилейной книге по истории профсоюзов Алтая В. И. Шемелев упомянут как «первый историк профсоюзов Сибири и первый губернский комиссар труда»⁸. Возможность представить фигуру Шемелева как более значимую возникала в связи с проектом по реконструкции неопубликованного 5-го тома Сибирской Советской энциклопедии в полнотекстовом виде и дополнительного 6-го тома с исключенными статьями и комментариями об участниках коллектива ССЭ⁹. (Руководитель проекта – А. Л. Посадсков; сам проект – пример попытки современных историков включить в коммуникативное поле исторической науки «репрессированное наследие»). К сожалению, воплотить это до сих пор не удалось.

Первым и на сегодня единственным открытием фигуры В. И. Шемелева в качестве историографа, создателя труда по истории одного из регионов Сибири, следует считать учебное пособие «История Кузбасса. Возвращенные имена»¹⁰. Хотелось бы подчеркнуть выразительный подзаголовок и указать тираж книги – 300 экз. Во вступительной статье составитель и редактор А. А. Халиулина писала, что на протяжении пяти лет в Кемеровском государственном университете для студентов-историков читается спецкурс по историографии Кузбасса, одна из лекций которого посвящена В. И. Шемелеву. Таким образом, уже к середине 1990-х гг. в сохранявшейся ситуации разрыва прежних государственных (вертикальных) институциональных информационных связей коммуникативное поле исторической науки приобретало свойства точечного налаживания горизонтальных «сетей общения». Разумеется, в приведенном примере мы имеем локальную попытку, но важны ее последствия – ведь речь идет о классическом университете и лекциях по историографии.

История с рукописью В. И. Шемелева (сначала включенной в план изданий 1937 г., а затем отправленной на повторное редактирование, так как прежний редактор А. А. Ансон был репрессирован), считает А. А. Халиулина, «интересна для нас не столько фактологическими находками, сколько тем, что мы знакомимся с оригинальным взглядом на историю нашего края, и, конечно же, тем, что эта находка воссоздает разорванную репрессиями связь времен и поколений в среде исследователей Кузбасса»¹¹. Структура учебного пособия, его содержание со сравнительной характеристикой фрагментов первой и второй редакции, с комментариями современного сибирского историографа заслуживают отдельного описания. Подчеркну лишь, что в этой книге оказалась востребованной только часть материалов из архивного фонда.

Обращение омских историков в 2004 г. к составу документов личного фонда В. И. Шемелева (переданы на хранение в Государственный архив Новосибирской области достаточно давно, в 1942 г.: Ф. Р-869, 236 ед. хр., материалы по описи 1926–1941 гг.) позволило оценить разнообразие исследовательских ин-

тересов советского историка. В то же время В. И. Шемелев проявился как человек своего времени с активной жизненной позицией. Из сохранившихся рукописей и машинописных текстов, с вкраплениями и вставками от руки, можно вычленил также некоторые важные характеристики о специфике и плотности коммуникативного поля советской исторической науки 1920–1930-х гг.

Сравнительно недавно, в 2002 г., в рамках подготовки 70-летия Новосибирской области совместная инициатива Государственного архива Новосибирской области и Сибирской академии туризма при поддержке Администрации Новосибирской области завершилась изданием еще одной подборки документов из личного фонда В. И. Шемелева¹². Составители (кандидат исторических наук Л. С. Романова – директор турфирмы «Полярная звезда» и ректор Сибирской академии туризма, М. И. Корсакова – главный специалист Государственной Архивной службы Новосибирской области) заявили, что это первая публикация по истории сибирского туризма, которая открывает имя В. И. Шемелева как организатора туризма в Сибири в 1920–1930-е гг. Среди прочих документов здесь был помещен очерк В. И. Шемелева по истории становления туризма по горному Алтаю (Д. 185. Рукопись. Подлинник. Л. 1–40; Документ № 7. С. 39–67).

Увы, появление этой книги слабо отразилось на региональных исследованиях по истории туризма в Сибири и на Алтае в XX в., один из центров которых находится в Барнауле (группа социальных историков туризма под руководством профессора В. С. Бовтуна). Наследие В. И. Шемелева пока ими не востребовано. Об этом свидетельствуют, например, статья Е. Ю. Пашковой, появившаяся в 2006 г.¹³, а также диссертация Е. Кондратенко, защищенная в 2008 г. Таким образом, эта публикация документов из личного фонда историка не стала звеном внутрипрофессиональной коммуникации, не говоря уже о выходе за пределы корпорации историков. Как показывает содержание официального сайта Сибирской Академии туризма, интерес ее сотрудников к наследию историка В. И. Шемелева в настоящее время полностью угас.

Еще одно из направлений деятельности В. И. Шемелева до сих пор остается без внимания, хотя, на мой взгляд, несомненно, заслуживает этого. Мне приходится констатировать это еще раз, спустя почти семь лет после первого моего обращения к проблеме сотрудничества историков, музеологов, историков музейного дела, музейных работников-практиков¹⁴. Тогда я подчеркнула, что на пересечении проблемных полей исторической науки и музееведения находится блок вопросов, связанный с поисками способов адекватного отражения прошлого, в том числе советской эпохи, в музейных экспозициях. Отдельный акцент был сделан на необходимости сохранения для этого историко-революционных музеев, связанных с местами пребывания лидеров революционного движения, ставших затем руководителями советской власти, в ссылке (в качестве примера приводилась ситуация с перепрофилированием музея В. И. Ленина в Шушенском). Дискуссия, прошедшая в рамках работы международной конференции «Теории и методы исторической науки: шаг в

XXI век» (Москва, ноябрь 2008 г., секция 3 «Парадигмы изучения прошлого и их актуализация»), показала, насколько остро стоят вопросы современного музейного проектирования и участия историков в этом процессе. Л. И. Скрипкина (Государственный исторический музей) обратила внимание на изменения в современной музейной сфере и на проблемы поиска стратегии отражения исторических процессов в музейных экспозициях. Она подчеркнула принципиальную новизну ситуации, которую, по ее убеждению, необходимо осознать историкам: в музейном сообществе на первый план вышли принцип адекватности подхода к показу прошлого и понимание значимости визуальных представлений о нем. Кроме того, в условиях административного реформирования музейной сети и функций краеведческих музеев, начиная с 2009 г., проблемы музеефикации исторических процессов сместятся на региональный уровень, необходимо будет преодолеть существующую тенденцию к показу прошлого в региональных музеях без общероссийского контекста. Итак, потребность к налаживанию междисциплинарной коммуникации очевидна.

Насколько же в ее воплощении будет полезен опыт *советских* предшественников? Отмечу, что речь идет о музеях, уже задумывавшихся в период строительства социалистической культуры как «места памяти о славном революционном прошлом». Документы из фонда В. И. Шемелева отражают его напряженные занятия проектной музейно-выставочной деятельностью с 1929 г. и в первой половине 1930-х гг.¹⁵ Естественно, что при этом Шемелев руководствовался сложившимися у историков-марксистов представлениями о начале новой исторической эпохи с Октябрьской революции. Как член и секретарь историко-революционной секции Западно-Сибирского Бюро Краеведения, он вместе с остальными строил свою работу «на основе марксистско-ленинской методологии, под ближайшим руководством истпартотдела Крайкома ВКП(б)», связываясь для проработки методологических вопросов с обществом историков-марксистов, прорабатывал письмо И. В. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция», в котором были вскрыты «попытки протаскивания в историческую науку враждебных антиленинских теорий»¹⁶.

В то же время он опирался в методическом отношении при составлении планов музейной работы Новосибирского отделения Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, развертывания стационарных экспозиций и передвижных выставок, особенно в период подготовки к созданию в Новосибирске историко-революционного музея («Музея каторги и ссылки») на практику музея Революции, Исторического музея, на сотрудничество с Центральным Советом Общества. С этой точки зрения вряд ли для сегодняшнего историка деятельность В. И. Шемелева выглядит новаторской. Однако интересны ее детали и мотивы, а также реально возникавшие «сети общения» между Центром и провинциальными институциями социокультурного ландшафта советской исторической науки.

В 1930 г. в связи с подготовкой к юбилею революции 1905 г. и согласованием работы по Истпрофу, Шемелев «попутно с использованием отпуска» вы-

яснил в Москве, что Истпроф как органическая часть ВЦСПС ликвидирован, а основная научно-исследовательская часть этой работы передана Комакадемии ЦИК СССР. Поэтому он консультировался в Институте истории Комакадемии (где имела секция по изучению истории пролетариата СССР с подсекцией истории продвижения) у «тов. Панкратовой», замещавшей руководителя этой подсекции «тов. Сидорова». Панкратова предложила «установить возможно тесную связь с Истпартом (руководство и согласование планов работы) и, кроме того, оформить в Новосибирске отделение Общества историков-марксистов с привлечением к этому делу направленных в Новосибирск историков, окончивших Комакадемию (Алыпов, Гоберник)»¹⁷.

В. И. Шемелев ознакомился с имевшимися на тот момент в Музее Революции выставками, включая выставку-передвижку «Профинтерн», которую «в упрощенном оформлении» он заказал отложить «до согласования расходов», а для ориентировки он взял фотографии готовых щитов выставки. Он успел просмотреть каталог архива музея и убедился в наличии значительного материала по истории рабочего движения в Сибири, сделал заказы на отдельные комплекты фотоматериалов выставок «Три революции» и «Первая революция». Эти материалы были включены им в план выставки Западно-Сибирского отделения Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев к 16-й годовщине Октября под названием «Через каторгу и ссылку к пролетарской революции и социалистическому строительству»¹⁸. Об этом свидетельствуют рекомендация к вводу щиту – (монтируется вместе с заглавием): «От старой каторжной России в Союз советских социалистических республик» и вставка, дописанная от руки: («фотомонтаж Ц. Музея Кат. и сс.»). На некоторых щитах к отдельным темам указано: «фотоплакаты ЦМК и С». Мотивы юбилейных выставок раскрывает фраза из статьи В. Шемелева «Шаг в массы», посвященной выставке-передвижке Западно-Сибирского Крайсовпрофа по истории революции 1905 г.: «Устроителем выставки была поставлена задача напомнить старым рабочим и показать молодым опыт “генеральной репетиции Октября” в 1905 г., проследить основную ленинскую линию пролетарской революции в противопоставлении с всякого рода уклонами от нее (экономизм, меньшевизм, троцкизм), связать ее с новыми задачами социалистического строительства “через 25 лет после первой революции”»¹⁹.

Однако все-таки основным детищем, о котором беспокоился Шемелев, был краевой Музей каторги и ссылки. Подготовленный им (1932 г.) проект «Музея каторги и ссылки» в Новосибирске базировался, с одной стороны, на идее отражения сибирской части общей истории революционного движения и ее особой роли, с другой стороны. Музей рассматривался как «достойный памятник борцов трех революций и длительной подготовки к ним в мрачные годы самодержавия, начиная с эпохи декабристов и ранее»²⁰. Для предложений Шемелева характерны стремление опереться на подлинные местные материалы и осознание необходимости большой собирательской и исследовательской работы.

Среди обнаруженных материалов несколько черновых набросков ори-

ентировочного плана Шушенского историко-революционного музея имени В. И. Ленина²¹. В имеющихся публикациях, включая современную «Музейную энциклопедию», указывается, что мемориальный музей В. И. Ленина был открыт в селе Шушенское в 1930 г. в двух домах, где проживала семья Ульяновых, и оставались вещи, которыми они пользовались²². В материале, появившемся в 2004 г. в журнале «Вокруг света» (рубрика «Музеи мира»), открытие мемориальной экспозиции 1930 г. связывается только с домом крестьянки Петровой, а открытие экспозиции во втором доме (А. Зырянова) отнесено к 1940 г.²³

Найденные мною тексты относятся к 1932–1933 гг. и связаны с общей концепцией сибирского Музея каторги и ссылки (который должен был находиться в Новосибирске), то есть с попыткой включить музей в селе Шуше в состав регионального (краевого) музейного комплекса. Этот замысел отличается как от первоначального варианта, так и от того, который был осуществлен в 1970 г. в виде государственного мемориального музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина», имевшего еще и архитектурно-этнографическое направление. Примечательно, что к рукописным текстам планов «Шушенского историко-революционного музея имени В. И. Ленина» приложена вырезка заметки «В Шушенском» из газеты «Советская Сибирь» от 8 сентября 1933 г. с фотографией дома, где в ссылке жил Ленин²⁴. В газетном тексте сообщалось о постановлении Западно-Сибирского Краевого исполнительного Комитета «для сохранения памяти о пребывании т. Ленина в селе Шушенском <...> считать необходимым сделать макет дома, в котором жил Ленин, и заказать картину “Ленин в селе Шушенском”, отпустить на изготовление макета и картины 4000 руб., поручить Западно-Сибирскому отделению “Техфильма” произвести киносъемку села и его окрестностей». Возможно, мотив сохранения памяти о вожде был самым серьезным для Шемелева в его работе над вариантами плана музея. Однако, как показывает их содержание, ленинская тема хотя и была одной из главных, но ее раскрытие встраивалось в концепцию показа истории революционного движения, политической ссылки, двух революций как истоков социалистического преобразования Сибири и России.

Второй рабочий вариант плана историко-революционного музея имени В. И. Ленина, разработанный В. И. Шемелевым, имеет подзаголовок «Первый зал: Ленин в сибирской ссылке» и содержит описание 7-ми щитов экспозиции с подробным указанием на иллюстрации. Приведем полностью содержание четвертого щита «Ленин в Шуше»: Портреты Ленина, Крупской и ее матери. Фото домов Попова и Зырянова. Фото обстановки в доме Попова. Ленин за шахматами. Ленин – охотник (фото статуэтки). Ведомость на получение пособия (фото). Фото крестьян, знавших Ленина и охотившихся с ним (3–4 экз.) Письмо к матери и ее портрет. Список литературных работ, написанных Лениным в Шуше. Пятый щит экспозиции посвящен основной работе Ленина «Развитие капитализма в России», законченной в Шуше. Намечено представить ее в цитатах, диаграммах и иллюстрациях, причем особо должен быть выделен материал, относящийся к Сибири.

Следует указать, что одновременно с вопросами создания историко-революционного музея и подготовкой различных юбилейных выставок В. И. Шемелев занимался организацией работы историко-революционной секции Западно-Сибирского краевого бюро краеведения. Это влияло на широту его представлений о возможных направлениях поиска документальных и вещественных материалов по истории края, в том числе и для историко-революционного музея при Обществе политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Перечень актуальных направлений работы секции определялся соответствующими заданиями ЦК ВКП(б). Тема ленинской ссылки по-прежнему оставалась одной из важных, но в русле показа общей революционной и политической истории Сибири и СССР. Это хорошо заметно по соотношению материалов в намечаемой экспозиции историко-революционного музея имени В. И. Ленина в Шушенском: из 7-ми щитов первого зала «Ленин в сибирской ссылке» только два (№ 3 и № 4) относились к Сибири. Остальные, с весьма подробно обозначенными экспонатами, относились к началу революционной деятельности Ленина и его жизненному пути после ссылки. Предполагалось, что изучением истории ссылки Ленина должна заниматься местная ячейка историко-революционной секции, которую следовало организовать в Шушенском.

Среди современных проблем музея-заповедника в Шушенском, по мнению А. В. Степанова, заместителя директора музея по научной работе, высказанному в 2004 г., главной становилось представление образа и деятельности В. И. Ленина, «хотя бы потому, что он – необыкновенный теоретик, создатель оригинальной, хотя и утопической концепции социально ориентированного государства. Его книга “Развитие капитализма в России”, которую он завершил именно в Шушенском, – настоящая докторская диссертация ученого-экономиста <...> На эту книгу до сих пор ссылаются экономисты всего мира»²⁵.

Нет ли сходства проблемной ситуации с судьбой нереализованных планов краевого Музея каторги и ссылки? С ликвидацией Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, с закрытием Центрального Музея Каторги и ссылки в Москве из истории культуры и музейного дела оказались вычеркнутыми региональные музейные проекты, соответствовавшие установкам своего времени и тем не менее представлявшие историю политической ссылки в документированном и еще не мифологизированном в духе «Краткого курса истории ВКП(б)» виде. Знание о них позволит современным исследователям задавать забытым историкам свои вопросы и получать их ответы. Преемственность – принцип, необходимый современной исторической науке и музееведению для того, чтобы избежать опасности очередного идеологического колебания «социального заказа».

Таким образом, в коммуникативном поле современной отечественной исторической науки формируется потенциальный ресурс для внутридисциплинарных и межкультурных «сетей общения» в виде возвращаемого наследия историков XX в. Процесс его освоения протекает неровно. В первую очередь

востребуются труды авторитетных ученых. По отношению к советскому наследию, даже с трудной судьбой, пока не наблюдается стремление к положительной коммуникации. Усилия архивистов, описывающих и предлагающих исследователям личные фонды советских историков, пока не получают отдачи.

Примечания

¹ Выполнено в рамках проекта Федерального агентства по науке и инновациям в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02.740.11.0350.

² Корзун В. П., Рыженко В. Г. Коммуникативное пространство отечественной исторической науки как проблема современной историографии // Проблемы историографии и источниковедения отечественной и всеобщей истории : сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Якуб, В. П. Корзун. Омск, 2011. С. 67–83.

³ См.: Огурцов А. П. Научный дискурс : власть и коммуникация (дополнительность двух традиций) // Филос. исслед. 1993. № 3. С. 12–59.

⁴ См., например: Свешников А. В., Степанов Б. Е. История одного классика : Лев Платонович Карсавин в постсоветской историографии // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М., 2009. С. 332–360.

⁵ Среди первых подобных публикаций: Иконникова С. Н. История культурологи : идеи и судьбы. СПб., 1996; Митина И. Д. Философско-культурологическая концепция П. Н. Милюкова. М., 1997.

⁶ Трепалина Н. Е. Концепция «культурной эволюции» в теории и истории культуры П. Н. Милюкова : дис. ... канд. культурол. наук. М., 2004; Прокуденкова О. В. Методологические основы культурологической концепции П. Н. Милюкова : дис. ... канд. культурол. наук. СПб., 2005.

⁷ Логунов А. П. Отечественная историографическая культура : современное состояние и тенденции трансформации // Образы историографии : сб. ст. М., 2001. С. 53, 250–251.

⁸ Профсоюзы Алтая. Прошлое и настоящее. К 100-летию профсоюзов России. Барнаул, 2005. С. 12.

⁹ Сибирская Советская энциклопедия : проблемы реконструкции издания : сб. ст., организац. и метод. док. по итогам выполнения проекта Рос. гуманитар. науч. фонда № 01-01-00352А. Новосибирск, 2003. 83 с.

¹⁰ История Кузбасса. Возвращенные имена. По документальным материалам личного фонда В. И. Шемелева, переданным в Государственный архив Новосибирской области в 1942 г. / ред.-сост. А. А. Халиулина. Кемерово, 1998. 116 с.

¹¹ История Кузбасса. Возвращенные имена... С. 114.

¹² Сибирский туризм в документах В. И. Шемелева / авт.-сост. Л. С. Романова, М. И. Корсакова. Новосибирск, 2002. 160 с.

¹³ Пашкова Е. Ю. Основные этапы развития туристско-экскурсионной отрасли в Алтайском крае // Ползун. вестн. 2006. № 3. С. 322–325.

¹⁴ Рыженко В. Г. «Ненужное» наследие 1930-х годов? : (Опыты музейного проектирования сибирского историка В. И. Шемелева) // XVI Слобцовские чтения : материалы докл. и сообщ. XVI Всерос. науч.-практ. краевед. конф. и заседания Сиб. фил. Науч. совета ист.-краевед. музеев при М-ве культуры и массов. коммуникаций РФ. Ч. 2. Тюмень, 2004. С. 76–79.

¹⁵ ГАНО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 166, 167, 170, 171, 172.

¹⁶ Там же. Д. 170. Л. 12.

¹⁷ Там же. Д. 171. Л. 9–9 об.

¹⁸ Там же. Д. 167. Л. 46–48.

¹⁹ Там же. Д. 171. Л. 4–5.

²⁰ Там же. Д. 172. Л. 1–12.

²¹ Там же. Д. 166. Л. 2–3 (с двух сторон), 4–4 об., 5.

²² См.: Российская музейная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 346.

²³ Панов А. Село Шушенское на реке Шуше // Вокруг света. М., 2004. № 9. С. 39.

²⁴ ГАНО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 166. Л. 1.

²⁵ Панов А. Село Шушенское... С. 40, 42, 44.

Раздел 5.
Образы истории: способы конструирования
и презентации прошлого

О. А. Жукова
(Московский педагогический государственный университет,
г. Москва)

**ОБРАЗ РОССИИ: КУЛЬТУРНОЕ ПРЕДАНИЕ
И ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА**

Современный исторический и цивилизационный контекст существования русской культуры, сохраняющей глубинную память христианского учения на уровне церковного, политического, духовно-нравственного и художественно-философского самосознания, имеет ряд особенностей. Они определяются, во-первых, технологическим универсализмом постиндустриальной цивилизации, во-вторых – многоукладностью и поликультурностью жизненного пространства, в-третьих – демонтажем европоцентристской (=христианской) модели культурного и исторического развития, осуществляемым в постмодернистской философии. Образ человека современности все настойчивее определяется системой вещей, способом коммуникации и функциональными связями с вещным миром (Ж. Бодрийяр). Сформулированный теоретиками постмодернизма вопрос о смерти объекта и субъекта характеризует, по их мнению, ситуацию завершения «большого стиля» метафизического мышления европейской культуры. По образному выражению М. Фуко «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»¹.

Исчезновение человеческого лица связано с исчезновением истории – ее концом. Начавшееся в модернистской философии и культурологии развенчание телеологических представлений об истории привело к констатации смерти самого смысла (Ж. Бодрийяр). В этом контексте пафос постмодернизма связан с попыткой снижения статуса идеи прогресса, выражающей стратегическую линию развития европейской цивилизации. Как отмечает Ж. Деррида, логика исторического развития не определяется формулой «будущее – это не будущее настоящее, вчера – это не прошедшее настоящее»². В постструктуралистской парадигме историческое и культурное наследие не является подлинной реальностью, существующим (существовавшим) целостным бытием, а неким мифом, плохо определимой, расплывчатой «многослойностью», которая не

прочитывается с точки зрения логики Единого, Абсолютного, но может быть представлена только как «дифференциация ценностей». Результатом подобного способа чтения истории и культуры становится устранение единого, «сквозного» смысла и высшего ценностного результата жизни человека и культуры, который может быть транслирован другим историческим поколениям, став основой преемственности духовного опыта. Участие в глобальном проекте современности ставит перед культурами, понимающими себя как некое историческое целое, вопрос о сохранении своей идентичности – о будущем, т. е. о творческом потенциале и пути развития традиций, что составляет сегодня главную проблему и для России, интегрирующим началом которой является русская культура.

Проблема изучения исторического наследия России и творческого развития ее художественных, духовно-нравственных и религиозно-философских традиций становится актуальной темой гуманитарных наук. Национальные культуры, пережив катастрофический опыт XX в., сталкиваются с проблемой сохранения своей самобытности в условиях развития современной цивилизации, унифицирующей образ жизни человека. Подвергая ревизии культурно-историческое наследие России, мы сталкиваемся с той же задачей, которая стояла перед русскими мыслителями, трагически разделенными со своей Родиной в XX столетии. По слову И. А. Ильина, тот, кто желает серьезно подойти к вопросу изучения духовно-культурного наследия России, должен заглянуть в историю народа, «попытаться понять способ организации его *труда и хозяйствования*, изучить склад его *характера и дарования его души*, вдуматься в его *культуру*, уяснить себе его *религию и благочестие*, открыть для себя его *искусство*, проникнуться его *правосознанием в быту и в политике*, прислушаться к его поэзии и – понять»³.

Вопрос об идентичности российской цивилизации, своеобразии ее исторического пути был поставлен и осмыслен в русской религиозно-философской мысли периода конца XIX – первой половины XX в., приобретя драматический оттенок в эпоху революционных потрясений. Культурфилософские построения отечественных мыслителей тесно переплетены с поиском и формулированием русской идеи, которая понимается как поиск идентичного образа России – «адекватного места внутри многосложной цельности европейского культурного предания»⁴. Предметом рассмотрения в трудах отечественных философов А. Белого, Н. А. Бердяева, Вяч. Иванова, И. А. Ильина, Е. Н. Трубецкого, Н. О. Лосского, П. А. Флоренского, С. Л. Франка становится исторический и духовно-творческий опыт русской культуры, определяющий, по мнению мыслителей, ее своеобразие и сущностные особенности.

На современном этапе развития исторического и культурологического знания необходимо заново вернуться к тем проблемам, которые были сформулированы русскими мыслителями, рассматривая их в философском и историко-культурном ключе. Для этого следует произвести культурологическую реконструкцию исторического пути русской культуры, понимая социально-

творческий опыт ее представителей как основу исторической преемственности форм и содержания духовных и социальных практик. В данной трактовке общественный и индивидуальный опыт выступает в качестве условия и, одновременно, механизма трансляции исторической и культурной памяти, обеспечивающего сохранение культурной идентичности на протяжении длительного периода времени. Отметим, что настоящая задача оказывается достаточно трудной. «История России» – предельно сложный историко-культурный феномен, объективно существующий, но зачастую плохо читаемый и «неуловимый» для процедур исследования и еще более трудный для интерпретации и культурологической реабилитации понятия ‘русская культура’.

История русской культуры на протяжении тысячелетнего пути демонстрирует, на наш взгляд, определенную логику развития, позволяющую говорить о ней как о целом, содержащем неизменяемое ядро – парадигму (образец, первообраз), которая выступает в качестве своеобразной порождающей модели мира смыслов и значений жизни человека. В истории Руси/России она во многом связана с вероучением и духовной традицией православия, усвоенной и творчески развитой в опыте строительства государства и культуры. Существенным для определения особенностей развития русской культуры и творческого опыта человека, ее носителя, является факт принятия христианской концепции миропонимания и характеризующих ее типа духовности и культурных практик в «готовом» виде – как образцов-идеалов новой культуры, воспринимавшихся не на философско-богословском уровне мышления, а, в большей степени, на эстетически-художественном и нравственно-практическом. Художественная и аскетическая практика формирующейся культуры, на наш взгляд, и определила содержание и формы культурного творчества в исторической перспективе существования Руси/России, придав творчеству особый смысл оправдания жизни. В религиозной культуре оно понималось как спасение, а в рамках светской приобрело значение оправдания творчеством. Этот секулярный аналог религиозного идеала принял форму особого служения и несения нравственной ответственности за судьбу человека и общества.

Ставя проблему исторического опыта русской культуры в аспекте наследования и преемственности духовно-культурного опыта, при анализе социокультурных процессов, художественных явлений, духовных событий, на наш взгляд, продуктивно проследить происходящие ментальные изменения как изменения *образа идеального* и способа его достижения, как в общественных практиках, так и в персонализированном опыте. Здесь важна мысль об инвариантном для русской культуры духовно-ценностном ядре, связанном со сферой идеальных представлений и абсолютных значений жизни, имеющих в основе христианскую онтологию, гносеологию и антропологию. *Слово и Образ* в русской культуре – это модусы явленной Божественной сущности, передающие смысл христианского учения в слове и находящие воплощение в логике художественного образа. Однако необходимо отметить, что уже на раннем этапе сложения древнерусского общества приходится говорить о взаимодействии

двух типов мировоззрения, породивших, как отмечалось многими исследователями, ситуацию двоеверия. Происходившая аккультурация не устранила родовой характеристики славянской культуры. Языческие пласты мышления в народном сознании на уровне верований и бытовых форм культуры оказались не преодоленными. Яркий пример – совпадение календарно-земледельческого культа с церковными праздниками. Языческая архаика сохранилась и в музыкальном фольклоре, и в обрядовой поэтике, определяя жизненный уклад не только Древней Руси, но и продолжая присутствовать в крестьянском быту послепетровской России. С распространением христианства и появлением новых художественных образцов культурного творчества (книга, икона, фреска, каменные храмы) утверждаются нормы поведения и духовные ценности православия, но фольклорно-мифологическое содержание языческой культуры древних славян не растворяется, а переосмыляется в недрах русской культуры. Об этом свидетельствует былинный эпос, идеальный облик героев которого имеет узнаваемые черты христианской добродетели.

В высокой книжной традиции получают развитие этические мотивы христианства. В произведениях агиографического жанра утверждается идеал святого – книжника, просветителя и подвижника. *Святость* становится в древнерусской культуре высшей ценностью и ступенью духовной красоты человека, красота понимается как нравственное совершенство. Выражение предельного образа Совершенного – Первообраза в образе – определяет концепцию иконы. Русским иконописцам удалось воплотить в сюжетах и в образах иконописи содержание христианских догматов, художественными средствами передать сложную богословскую систему взглядов.

В XVII в. культура веры постепенно утрачивает свое значение. Светская форма правления и связанные с ней новые элементы обмирщенного быта, распространение западных влияний начинают изменять не только онтологию образа, но и сам способ культурного творчества. Коренной поворот от «священной истории» к «естественной» происходит в эпоху петровских преобразований. Главная идея XVIII в. – идея знания – знания законов естественной, социальной и культурной природы. Выразительница идеи знания – личность, освобожденная от церковного догмата, созидающая историческую действительность. Пафос созидания – психологический мотив петровских начинаний. По своей природе социально-историческое творчество Петра I является безрелигиозным вариантом религиозной идеи преображения мира, однако носит иной характер причинности. XVIII в. – век Петра Великого и Екатерины II – в целом проходит под знаком классицизма. Идеалы ясности, чистоты, правильности, нормативности и цельности определяют не только художественную, но и государственно-политическую практику. Знание в рационалистической картине мира выступает условием усовершенствования природы и человека. По западноевропейским образцам в России создаются центры научного производства знания и его распространения. Цель культурных преобразований – просвещение, научение и воспитание народа, ибо только просвещенный человек способен выступить

автором своей судьбы – творческим делателем, что является смысловой доминантой социального и интеллектуального опыта человека русской культуры XVIII столетия. Вне церковного сознания в рамках литературно-философского и художественного творчества зарождается светский гуманизм, в котором получают новое толкование традиционные религиозно-философские вопросы о свободе воли, о смысле истории, о природе мироздания, сущности человека, его социальном и духовном облике, определяя структуру и содержание культурного идеала – образ прекрасного и целесообразного.

В XIX в. творчество гениев классического периода русской литературы и искусства – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. И. Глинки, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского – определяет собой духовный горизонт русской культуры. В полной мере русские художники эпохи великой классики осуществили преемственность в понимании целей и культурного смысла творчества, что позволило, по словам Д. С. Лихачева, поставить в один ряд прп. Андрея Рублева и А. С. Пушкина. Творческий опыт человека утверждается как высшая ценность культуры – особый способ достижения идеала благого и прекрасного.

На рубеже XIX–XX вв. складывается ситуация, когда главными событиями культуры становятся возникающие и программно заявляющие о себе многочисленные художественные объединения, творческие союзы и художественно-философские течения. Культура, приходящая на смену классической и постклассической, утверждает художественный миф в качестве проекта социального преобразования действительности. Творческая революция русского авангарда имела продолжение в социальной революции XX в., оказавшись ее художественно-философской предтечей. Идея разрушения и созидания мира как идея творчества человека в истории в своем материалистическом и утопическом варианте разрешилась в русской революции и построении социалистического общества, вследствие чего произошло кардинальное изменение духовного ядра русской культуры.

Традиции русской культуры нашли развитие в советской культуре, парадоксальным образом сочетавшей в себе разрыв и преемственность с историческим опытом Руси/России. Арт-миф русского авангарда на идейном и формально-структурном уровне наиболее полно выразил философию коренной ломки традиций, реанимируя социально-утопический, по природе своей мифологический, способ мышления. Но творческий потенциал новых «демиургов» и «председателей земного шара» оказался опасным с точки зрения задач построения новой коммунистической (социалистической) общности, вопиюще личностным, «персональным». Созданный в рамках партийной идеологии социалистический реализм стал опираться на традиции академизма как стилистически «благочестивого» направления. Однако этическая и эстетическая линия русской литературы и искусства воплотилась в опыте духовного противостояния писателей, композиторов, режиссеров – гениев XX в. – Д. Д. Шостаковича, Б. Л. Пастернака, А. А. Ахматовой, А. Г. Шнитке, А. А. Тарковского, А. И. Сол-

женицына. Они выступили авторами нового «предания» XX в. – романа о трагической судьбе человека культуры, пытающегося сохранить и утвердить высшие идеалы добра, красоты и истины. Особый путь прошла русская культура, «вывезенная» в эмиграцию. Эстетическое совершенство произведений искусства, исключительная сила дарований С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского, Ф. И. Шаляпина, И. А. Бунина, последовательность в защите европейской идентичности русской культуры С. Н. Булгакова, Б. К. Зайцева, И. А. Ильина, Ф. А. Степуна, Г. П. Федотова, С. Л. Франка и многих других ее талантливых представителей произвели сильнейшее впечатление в Европе и Америке, создав устойчивое представление о русской культуре как о традиции духовно-творческого пути жизни.

Несмотря на историческую трагедию русского мира, когда в буквальном смысле произошел срыв цивилизационного развития в архаику, русская культура все же не потеряла свой творческий потенциал. Ее ценности и идеалы обладают универсальным гуманистическим значением, выступая в качестве условия развития личности, что совпадает с целью культуры как таковой – целью созидания человека, воспитания его целостного мировоззрения. При этом картину мира, лежащую в основе духовной и социальной практики русской культуры, можно было бы назвать онтологическим (духовным) реализмом, в которой высшие цели и ценности человеческой жизни определяются образом и опытом достижения духовного идеала добра, красоты, истины, правды. Потому творческое задание русской культуры (И. А. Ильин) на протяжении тысячелетней истории с момента христианизации Руси простиралось во все области человеческой деятельности – от религиозной и художественной до государственной и семейно-бытовой. В XX в. «площадь поражения» традиций оказалась огромной, тем не менее, говорить о том, что творческая парадигма русской культуры разрушена, – нельзя. Ее опыт может быть востребован и освоен современностью. Это потребует, в первую очередь, *философской рефлексии исторического опыта* – серьезнейшей и многосоставной культурной работы ученых, педагогов, гражданского общества, власти и религиозных организаций.

Речь идет о концентрации духовно-интеллектуальных усилий в формулировании созидательной идеи мира – мира как универсума и как принципа мирного существования. Важнейшим здесь является вопрос о судьбе русской культуры в контексте современности: каким образом ее ценности и идеалы, выношенные в духовно-нравственной и художественно-философской традициях, отстаиваемые выдающимися представителями творческой интеллигенции, религиозными деятелями, должны стать доминантой мышления человека современности, определяемого политическими и финансово-экономическими реалиями жизни? Очевидно, в век сциентизма и экономического прагматизма ведущей политической идеологией становится позиция силы, скрывающая корпоративный интерес элит в борьбе за основные ресурсы жизни. В то же время культурная идеология старается избавить человека от бремени духовной и нравственной рефлексии, навязывая некритический тип мышления. В этой

ситуации *новая гуманитарная инициатива* может исходить от традиции культуры, продолжающей утверждать человека как высшую цель творения. Слово русской культуры, выраженное в творческом опыте мыслителей, писателей, художников, духовных подвижников, должно быть не только услышано, но может быть принято в качестве культурной стратегии современности, ибо альтернативы созиданию мира и пути духовного совершенствования человека нет.

Для этого традиция русской культуры должна стать основанием культурного мышления человека нашей эпохи, требующей духовно ответственного типа поведения от своих участников. Это ведет за собой актуализацию нравственного сознания и в других мировоззренческих системах, в том числе и в естественнонаучной парадигме знания. Только в этом случае реализуется *стратегия человеческой деятельности как стратегия человека культуры*, где главными ценностями являются интеллект, знания, творчество, миролюбие, милосердие, взаимопонимание – ценности, которые были столь значимы для выдающихся представителей русской религиозной традиции и мыслящей интеллигенции. Национальные культуры, пережив катастрофы XX в. и подойдя в своей социальной практике к опасной черте обрушения цивилизации, могут и должны почерпнуть силы в своих традициях, реализовать творческий потенциал научного, духовно-философского, художественного знания в разработке общей концепции политического устройства мира, культурного со-бытия народов и стран, модели цивилизационного развития.

В современном поликультурном мире вопрос об историческом будущем русской культуры заключается в том, каким потенциалом она обладает, какой запас идей и каких идей может быть востребован и творчески развит современностью, с ее новым информационным форматом цивилизации. На фоне известных внутренних и внешних политических событий создается устойчивое впечатление, что современный мир балансирует между цивилизацией и варварством, культурой и антикультурой, знанием и невежеством, технологическим могуществом и духовной беспомощностью, агрессией и параличом воли. *Сохранение национальных традиций сегодня – это борьба за историческое мышление, за память культуры.* Одна из реальных опасностей современного мира – антиисторизм (в форме сознательного отказа от истории как процесса развития, имеющего внутреннюю цель, или в форме эмоционально-психологической атрофии исторического чувства, связанного с ощущение истощенности большого времени). Во многом настоящие умонастроения порождены установками постмодерна, который не случайно иногда трактуют как отказ от христианской парадигмы культуры и истории. В этой ситуации Россия оказывается перед необходимостью творческого ответа на глобальный вопрос современности. Вне опоры на свои духовно-интеллектуальные традиции сделать это невозможно. Ответ же возникает на границе, в диалогическом сопряжении культур, по определению М. М. Бахтина.

Многосоставный вопрос гуманитарной инициативы русской культуры в современном мире касается как идеалообразующей стороны, так и проблемы ор-

ганизационных условий и управленческих решений. В духовно-практическом смысле, понимая наследие русской культуры как творческое задание, переданное от прошлого настоящему, созидавая культурный мир современной России, сегодня важно объединять усилия государства, Русской Православной Церкви, общества, финансово-экономической и творческой элиты. Подобное умственное и общественное движение русского мира можно назвать путем *синтеза духовной и светской культуры*.

Неоценимое природное и культурное богатство, одухотворенное трудом и творчеством нации, приобретает в истории русской культуры значение храма-музея. Эта категория нравственного и художественно-философского самосознания оказалась значимой для человека, жившего на рубеже XIX–XX вв. Она была воплощена в строительстве мемориального храма Христа Спасителя, воссоздана в литургических текстах С. В. Рахманинова, философски, богословски и художественно осмыслена представителями культуры Серебряного века. Культура как святыня и памятник, природные ландшафты как эстетически прекрасные образы творения остаются творческим заданием и для человека русской культуры рубежа XX–XXI вв. Здесь идеи сбережения и научения, познания и творчества по законам Духа, человека, общества, культуры, природы объединены, а гуманитарное знание приобретает значение культурфилософской и историсофской рефлексии.

В этом смысле роль Историка в сохранении преемственности культурного опыта оказывается необходимым и значимым звеном в диалектике освоения исторического наследия нации, поскольку Современность с ее доминантой индивидуализированного рефлексировующего сознания, в преодолении нарастающего хаоса, должна мыслить себя в пространстве культурной истории. Таким образом, язык гуманитарной науки, исторического и культурологического знания становится важнейшим средством самопонимания и репрезентации смысла.

Примечания

¹ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 404.

² Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 474–475.

³ Ильин И. Собр. соч. : в 10 т. Т. 6, кн. 3. М., 1997. С. 7.

⁴ Аверинцев С. Собр. соч. Связь времен. К., 2005. С. 341.

О. Б. Леонтьева

(Самарский государственный университет, г. Самара)

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО
В РОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА**

Одним из перспективных направлений развития исторической науки в наши дни является изучение исторической культуры общества. Вслед за крупнейшим отечественным методологом XX в. М. А. Баргом историческую культуру в современной науке определяют как системное единство «исторической мысли», «типа исторического письма» и «представлений о прошлом», живущих в коллективной памяти той или иной эпохи¹. Обращение к этой проблематике позволяет расширить традиционное проблемное поле классической историографии: предметом рассмотрения становится не только научное творчество историков, но и тот конкретно-исторический контекст, социально-культурная среда, вне которой это творчество было бы невозможно.

С этой точки зрения, чтобы понять внутреннюю логику методологических поворотов в исторической науке, следует учитывать, что история является не только отраслью научных знаний, но и частью исторической памяти общества, «совокупности донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом»². Поэтому методологические поиски в области исторического познания могут переплетаться с художественными исканиями в исторических жанрах искусства, а изменения социальных функций исторического знания, как правило, идут параллельно с кардинальным пересмотром картины «общего прошлого» в общественном сознании.

В настоящем исследовании рассмотрены два периода, когда методологические поиски, процессы смены парадигм в отечественной исторической науке совпадали по времени и по смысловой направленности с переменами в других сферах исторической культуры – в том числе в исторических жанрах искусства. Один из этих периодов – 1860–1870-е гг., «эпоха Великих реформ»; второй – начало XX в., «серебряный век» русской культуры.

Обращаясь к первому из этих периодов – эпохе Великих реформ, – следует сразу же отметить, что характерной чертой исторической культуры того времени была значительно меньшая, чем в наши дни, дистанция между профессиональной исторической наукой и историческими представлениями широких кругов «образованного общества», между «знаниями о прошлом», добываемыми исторической наукой, и «образами прошлого», которые создает искусство. В одних случаях историческая наука выступала как «поставщик материала» для художественных воплощений прошлого, в других – сами художественные произведения становились импульсами к историческим дискуссиям. Так, дискуссия К. Н. Бестужева-Рюмина и Н. И. Костомарова о личности Ивана Грозного и историческом значении его правления выросла из отклика на постановку трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» в Александринском театре³; живописное полотно Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» появилось как реакция художника на бурные общественно-политические дебаты о цене петровских преобразований, о мотивированности расправы царя-реформатора над непокорным сыном и, в свою очередь, послужило импульсом для нового витка жарких споров⁴. Представители исторической науки осознанно и ответственно брали на себя задачу формирования исторической памяти общества и актуализации исторических сюжетов.

Однако взаимодействие и внутренняя близость науки и искусства в деле формирования исторической памяти проявлялись в тот период не только в форме коммуникаций между ученым, художником и публикой, но и на более глубоком – методологическом и даже эпистемологическом уровне. Как показали в своих классических исследованиях П. Новик и Ф. Анкерсмит, время становления академической исторической науки и формирования «профессионального кодекса» историка-исследователя – середина и вторая половина XIX в. – соответствовало эпохе расцвета реалистического искусства, и это было далеко не случайным совпадением. «Благородная мечта» об объективном научном знании естественным образом сочеталась с реалистическим направлением в искусстве. Реалистический роман и профессиональная историография опирались на одни и те же познавательные установки и следовали сходной методической практике: интерес скорее к типичному, чем к исключительному; понимание человека как продукта исторической наследственности и социальной среды; настойчивое стремление избегать «субъективности» и соответствующий «прозрачный» стиль повествования с позиций «идеального наблюдателя»... Все это в совокупности должно было дать тот результат, который Ролан Барт назвал «эффектом реальности»⁵.

Добавим к этому, что к созданию эффекта реальности во второй половине XIX в. стремились не только авторы научных или же литературных текстов. Реалистическая живопись трудилась над созданием иллюзии «прозрачного стекла» между зрителем и изображенным объектом; целью исторической живописи было обеспечить эффект присутствия, непосредственного наблюдения за давно прошедшим событием – отсюда внимание и вкус к точности исто-

рической детали. Реализм в музыке, крупнейшим представителем которого был М. П. Мусоргский, стремился дать максимально адекватное музыкальное воплощение живой, естественной человеческой речи. Зримого «воскрешения прошлого» добивались авторы исторических театральных постановок. Ранкенское стремление воссоздать прошлое «как оно было на самом деле» определило и интеллектуальный климат, и эстетические запросы эпохи.

Целью всех этих вдохновенных и упорных трудов по воссозданию исторического прошлого было, однако, нечто большее, чем сам по себе эффект реальности. Центральную категорию художественного мышления пореформенной эпохи назвал Л. Н. Толстой в «Севастопольских рассказах»: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда»⁶. По единодушному мнению многих исследователей, начиная с народнического критика Н. К. Михайловского, Правда является одной из основополагающих категорий русской культуры – именно потому, что означает не просто отвлеченную истину, но «истину на деле, истину во образе», «полное согласие слова и дела»⁷.

Стремление к Правде в культуре пореформенной эпохи, таким образом, означало не только потребность в исторической достоверности, но и убеждение, что познание не должно быть оценочно нейтральным, бесстрастным. В исторических публикациях настойчиво возникала метафора суда, перед которым предстают деятели прошлого; труды историков включали в себя морально-этическую оценку явлений прошлого; научный дискурс вбирал в себя риторику, характерную для обвинительного акта или, напротив, защитной речи⁸.

Таким образом, историческая культура, сложившаяся во второй половине XIX в., была основана на парадоксе: «благородная мечта» об объективном познании прошлого сочеталась со стремлением к «суду над историей» с позиций Правды, общественных представлений об истине и справедливости. Эти стремления отразились не только в сфере профессионального историописания, но и в великом реалистическом искусстве пореформенной эпохи. Реалистическое воспроизведение прошлого, объективизм взгляда историка или художника были призваны служить средством решения более насущных задач: в первую очередь, восполнения сильной общественной потребности в исторической самоидентификации.

Любая коллективная идентичность немислима без мифов: устойчивых образно-символических представлений о прошлом, обращение к которым обладает мобилизующим эффектом, позволяя сплотить членов общества в едином *со-переживании*. Специфика интеллектуальной атмосферы пореформенной эпохи состояла в том, что мифологизированные пласты памяти о прошлом, чтобы приобрести власть над умами и чувствами современников, должны были считаться строго научными, реалистическими мифами. «Механизм» создания мифа вокруг реального исторического события предполагал расстановку в повествовании об этом событии должных смысловых акцентов, соотношения

факта с определенной системой ценностных координат и, наконец, перевод повествования в яркий образный ряд⁹. Таковы были, например, мифологизированное представление о том, что Петр Первый был вынужден пожертвовать собственным сыном ради блага страны, или миф о народных восстаниях как своеобразных «моментах истины», позволивших выявить сокровенную сущность народной Правды.

Ситуация изменилась, когда в последней четверти XIX в. в российских общественных науках утвердилась позитивистская парадигма, для которой было типично критическое, даже скептическое, отношение к сформировавшимся прежде историческим мифам и образам прошлого. Ученые поколения 1870–1880-х гг. отказывались от роли «исторической Немезиды» ради постановки и решения принципиально иных задач – прежде всего, ради поиска объективно существующих исторических закономерностей, типических черт социальных процессов в прошлом и настоящем человечества, стремления вывести «общие правила» или «схему» исторического процесса¹⁰. Поэтому к концу XIX в. пути науки и искусства в деле воссоздания исторического прошлого кардинально разошлись: искусство продолжало создавать исторические мифы, наука взяла на себя дело их критики.

В начале XX в. в российской культуре наметился принципиально новый – в сравнении с предшествующим периодом – подход к восприятию истории. Характерной приметой художественной жизни России предреволюционных десятилетий был «мемориальный уклон»: поэтические и прозаические стилизации под искусство давно прошедших эпох, игра исторических аллюзий, обращение к древностям погибших цивилизаций, к экзотическим культурам Востока, к средневековой мистике и утонченным нравам «галантного века». Недаром в ахматовской «Поэме без героя» «серебряный век» предстает как грандиозный фантазмагорический маскарад: воображаемые странствия по эпохам и странам должны были привести человека к некоему сокровенному знанию о нем самом¹¹.

Для серебряного века мемориальный уклон был не просто творческой игрой: теоретики искусства были убеждены, что историческая память имеет мистическую природу, искали «в каждом мгновении просвет в вечность». Воскрешающая сила исторической памяти – один из излюбленных мотивов русской литературы и художественной критики «серебряного века»¹²: Так, Александр Бенуа в своей «Истории русской живописи» настаивал, что историческому живописцу необходим «дар исторического прозрения», «ясновидения», способность ощущать «таинственную мистическую связь с мертвым, с исчезнувшим»¹³. Восприятие познания прошлого как «исторического ясновидения» нашло отражение и в творчестве «младших детей» серебряного века – тех, чей творческий расцвет пришелся уже на 1920–1930-е гг. «О, как я угадал! О, как я все угадал!» – благоговейно произносит Мастер в романе М. А. Булгакова, выслушав рассказ Воланда о Понтии Пилате¹⁴; а в стихотворении П. Г. Антокольского «Из далекой Италии в Санкт-Петербург» создание знаменитого историче-

ского полотна Г. А. Флавицкого «Княжна Тараканова» предстает как чудо – «пред художником Время разверзлось»¹⁵...

Истоки этой веры в возможность «воскрешения» исторического прошлого силой художественной интуиции, по всей очевидности, коренились в философии Вл. Соловьева – мыслителя, которого считали своим учителем и религиозные философы, и литераторы-символисты начала XX в. Онтология Соловьева основывалась на том, что в замыслах Бога предвечно хранятся идеальные прообразы всех земных явлений; поэтому в религиозно-философской традиции «серебряного века» и в творчестве символистов познание могло интерпретироваться как платоновское припоминание – пробуждение воспоминаний о той сфере идеальных прообразов сущего, которые созерцала душа человека в иной жизни¹⁶.

Христианский неоплатонизм и символизм, оказавшие мощное влияние на художественную культуру «серебряного века», проторяли себе дорогу и в сферу гуманитарного знания. В начале XX столетия в исторической науке назревали серьезные методологические перемены: смена исследовательских приоритетов была связана с общеевропейскими процессами переоценки ценностей в сфере исторической науки и философии истории. Именно тогда историками был поставлен вопрос о возможности адекватного понимания внутренней жизни людей ушедших эпох и тем самым сделаны первые шаги к «антропологическому повороту»¹⁷. В российской культуре этот процесс шел со своими особенностями: в работах Л. П. Карсавина нашла воплощение непривычная модель исследования, где постановка новаторских научных задач (реконструировать «основную психологическую стихию» ушедшей эпохи) сочеталась с задачами религиозно-философского плана (раскрыть религиозный смысл эпохи в контексте учения о Богочеловечестве)¹⁸. Это означало, что в предреволюционной культуре вновь оказалось востребованным историческое мифотворчество, метаисторические построения. Но «серебряному веку» была свойственна иная, нежели в эпоху Великих реформ, направленность исторического познания – целью его был поиск уже не народной Правды, а религиозной истины, вечных замыслов Бога о мире.

Наконец, в начале 1920-х гг. эта исследовательская и художественная практика была подвергнута методологической рефлексии: практически одновременно вышли в свет работы Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина, С. Л. Франка, где проблемы эпистемологии истории рассматривались с религиозно-философских позиций. Исторический процесс предстал в трудах религиозных философов как «непрерывный видоизменяющийся поток», «исторический океан», нерасчленимый рационалистически, но поддающийся интуитивному восприятию – «живому созерцанию», которое «связано с живым погружением субъекта в объект и с сочувственным переживанием объекта». Познание истории предстало в таком случае как экзистенциальное событие в духовной жизни самого мыслителя, когда мы «переносим свою духовную судьбу во все великие эпохи», в «великом сокроуенном акте припоминания» обретаем свою подлинную природу и преодолеваем «болезненную разорванность своего бытия»¹⁹.

Едва ли можно считать случайностью, что методологическое оформление парадигмы «исторического прозрения» осуществилось в отечественной мысли именно после революции 1917 г. Послереволюционная культура российской интеллигенции – и «бывших», оставшихся в Советской России, и эмигрантов, создавших уникальный мир «русского зарубежья», – была проникнута ностальгией и мучительным желанием отыскать высший смысл совершившегося. Именно в этих исторических условиях сложилось понимание исторической памяти как экзистенциального усилия, с помощью которого можно связать распавшуюся связь времен. Из художественного опыта «серебряного века» и религиозной историософии, из «критики исторического разума», из катастрофического опыта переломной эпохи выростал новый тип исторической культуры, для которого был характерен интуитивизм, трактовка познания как платоновского припоминания, поэтизация возрождающей силы памяти.

Разумеется, далеко не вся интеллектуальная элита приняла эти теоретико-методологические и эстетические новшества. Отличительной чертой исторической культуры начала XX в. было то, что в ней соседствовали, переплетаясь друг с другом, и парадигма «суда над историей», и позитивистская парадигма, предполагающая социологизацию исторического знания, и формирующаяся модель «исторического прозрения», основанная на христианском неоплатонизме Вл. Соловьева. Сочетанием этих принципиально разных подходов к целям и социальным функциям истории во многом определялся интеллектуальный климат эпохи.

Таким образом, смена парадигм исторического знания свидетельствовала о столь же кардинальных изменениях других форм исторической культуры, о смене отношения к истории в целом: социум, проходя через ломку привычных стандартов и стереотипов мышления, вырабатывал новые способы познания прошлого и новые формы сохранения исторической памяти.

Примечания

¹ Барг М. А. Историческое сознание как проблема историографии // «Цепь времен» : проблемы исторического сознания. М., 2005. С. 12–13.

² Репина Л. П. Образы прошлого в памяти и в истории // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М., 2003. С. 10.

³ Бестужев-Рюмин К. Н. Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Иоанна Грозного // Заря. 1871. Т. 3, № 3. С. 83–90; Костомаров Н. И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного // Вестн. Европы. 1871. Т. 5, кн. 10 (октябрь). С. 499–571.

⁴ Стасов В. В. Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. М., 1904. С. 227–228, 231–239.

⁵ Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 392–400; Novick, Peter. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1988. P. 31–46; Ankersmith F. R. The Reality Effect in the Writing of History; the Dynamics of Historiographical Topology. Amsterdam ; N. Y., 1989.

- ⁶ Толстой Л. Н. Севастополь в мае // Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 12 т. Т. 2. М., 1984. С. 63.
- ⁷ Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1911. Стб. V; Т. 4. СПб., 1909. Стб. 405–406; Юрганов А. Л., Данилевский И. Н. «Правда» и «вера» русского средневековья // Одиссей. Человек в истории. 1997. М., 1998. С. 144–170; Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 33–116; Ахиезер А. С. Россия : (Критика исторического опыта). Т. 2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск, 1998. С. 345–346; Исупов К. Правда/истина // Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcją Andrzeja de Lazari. Т. 1–5. Warszawa – Łódź, 1999–2003. Т. 4. С. 442–449.
- ⁸ Кареев Н. И. Суд над историей : (Нечто о философии истории) // Рус. мысль. 1884. № 2. С. 14, 23, 25; Тимошук В. В. Михаил Иванович Семевский – основатель исторического журнала «Русская старина». Его жизнь и деятельность. СПб., 1895. Приложения. С. 70; Лавров П. Л. Собр. соч. / под ред. Н. Русанова, П. Витязева, А. Гизетти. IV сер. Статьи историко-философские. Вып. 1. Пг., 1918. С. 190.
- ⁹ См.: Нуркова В. Историческое событие как факт автобиографической памяти // Воображаемое прошлое Америки : история как культурный конструкт. М., 2001. С. 28–30; Гришанин П. И. Белое движение и гражданская война : историческая феноменология и историческая память // Вopr. истории. 2008. № 2. С. 168; Эрлих С. Е. История мифа. («Декабристская легенда» Герцена). СПб., 2006. С. 79–90.
- ¹⁰ Ключевский В. О. Русская история : полный курс лекций : в 3 кн. Кн. 1. М., 1993. С. 9, 11.
- ¹¹ История русской литературы. XX век. Серебряный век / под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды и Е. Эткинда. М., 1995. С. 80–81, 468.
- ¹² Волошин М. Лики творчества. Л., 1989. С. 471–477; Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 26.
- ¹³ Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. Изд. 2-е. М., 1998. С. 330–338.
- ¹⁴ Булгаков М. А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Избр. соч. Т. 2. М., 2000. С. 446, 668.
- ¹⁵ Антокольский П. Г. Избр. произведения : в 2 т. Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1941–1976. М., 1986. С. 339–340.
- ¹⁶ Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 328–329.
- ¹⁷ См., напр.: Ястребицкая А. Л. У истоков культурно-антропологической истории в России // Российская историческая мысль. Из эпистолярного наследия Л. П. Карсавина. М., 1994. С. 8–22; Румянцева М. Ф. Эпистемологическая концепция А. С. Лаппо-Данилевского и современная источниковедческая парадигма // Источниковедение : (Поиски и находки) : сб. науч. тр. Воронеж, 2000. Вып. 1. С. 3–13; Шепелева В. Б. Историческая наука и русская религиозно-философская мысль // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. 4. Спец. вып. : Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории. М., 2001. С. 232–242.
- ¹⁸ Карсавин Л. П. : 1) Культура средних веков. Киев, 1995; 2) Сочинения : в 2 т. Т. 2. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках. СПб., 1997; 3) Очерки религиозной жизни Италии XII–XIII веков. СПб., 1912.
- ¹⁹ Карсавин Л. П. Введение в Историю : (Теория истории). Пб., 1920. С. 12–26; Франк С. Л. : 1) Кризис западной культуры // Освальд Шпенглер и Закат Европы. М., 1922. С. 44; 2) Очерк методологии общественных наук. М., 1922. С. 102–105; Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 15–17.

*И. И. Кобылин
(Нижегородская государственная медицинская академия,
г. Н. Новгород),
Ф. В. Николаи
(Нижегородский государственный педагогический университет,
г. Н. Новгород)*

**ИСТОРИЯ ЗРЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ «ЧИСТОГО ВООБРАЖЕНИЯ»:
КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД Ж. СТАРОБИНСКОГО И М. ДЖЕЯ
НА ОБЩЕСТВО СПЕКТАКЛЯ**

Рост интереса к культурной истории зрения и социальному воображаемому во второй половине XX в. был связан не только с развитием медиа-индустрии и востребованностью пропагандистских техник в ходе холодной войны¹, но также и с полемикой вокруг структурализма по вопросу о степени свободы человека внутри безличных структур. Так, например, две работы, ключевые для понимания тематизации «воображаемого» в указанный период, – киноведческий труд К. Метца «Воображаемое означающее» (1975) и социально-философская книга К. Касториадиса «Воображаемое установление общества» (1974) – были во многом инспирированы дискуссиями вокруг лакановской топики «Воображаемое – Символическое – Реальное». Но как часто случается в ходе дискуссии, сама острота споров, стирающая нюансы и оттенки и заставляющая недвусмысленно «занять позицию», привела к сравнительно жесткому противопоставлению зримого и воображаемого. Оппозиция между ними, равно как между реальным и вымышленным (fiction), объективным и субъективным, текстом и образом², является достаточно распространенным элементом анализа в современных исследованиях культуры.

Однако, как представляется, эта антитеза слишком искусственна и условна, чтобы быть продуктивной. Указанные полемические баталии превратили ситуативный характер предполагаемой оппозиции ‘зримое (очевидное) vs. воображаемое’ в практически абсолютную дихотомию. Необходим более взвешенный и сбалансированный подход, демонстрирующий тесную взаимосвязь обеих ее частей, а также их укорененность в единстве человеческого восприятия,

в мировоззрении конкретной исторической эпохи и в самой ткани социальной реальности.

Эта укорененность как зрения, так и воображения в социальных процессах часто нивелировалась. Примером подобного нивелирования могут выступать исследования воображение Ж. Дюрана, критическая герменевтика Р. Керни, тропологическая концепция Х. Уайта. (Подчеркнем, что это пренебрежение социальными факторами нельзя назвать ни «англо-американским», ни «французским», хотя французских авторов в этом обвиняют гораздо чаще, и не всегда безосновательно). Так, например, К. Касториадис, полемизируя с Лаканом, отстаивает первичность творческой мощи воображаемого, противопоставляя его символическому и социально-функциональному: «Воображаемое не может исходить из образа в зеркале или взгляда Другого. Скорее, само зеркало, возможность его существования и Другой как зеркало суть творения воображаемого как творчества *ex nihilo*. <...> Воображаемое, о котором я говорю, не есть образ чего-то. Оно представляет собой непрерывное, по сути своей необусловленное творчество (как социально-историческое, так и психическое) символов/форм/образов, которые только и могут дать основание для выражения ‘образа чего-то’»³. Справедливо выступая против механической редукции воображаемого к воспроизведению культурных образцов, символов и социально-идеологических стандартов, Касториадис, напротив, склонен видеть в основе самих социальных институтов исключительно воображаемое: «Существовавшая в прежние времена точка зрения, отстаивающая “божественное” происхождение институтов, несмотря на ее мифическую оболочку, была более верной <...> Институты берут свое начало в *социальном воображаемом*, за пределами сознательной институциональной активности»⁴. Лишь отчуждение институтов в ходе классового противостояния превращает их в чисто функциональные структуры. Касториадис помещает способность к воображению в самую сердцевину политической теории: политика у него представляет собой не отражение и последующее воспроизведение существующих социальных отношений (или зримой реальности), но целеполагание – проектирование новых идей и образов посредством воображения, паразитически используемого «обществом спектакля/зрелища» в своих интересах. И хотя он отмечает «переплетенность» воображаемого с символическим и экономико-функциональным, приоритеты расставлены достаточно четко: без воображаемого и символическое, и экономическое остаются «неполными» и, в конечном итоге, «недостижимыми».

Впрочем, позиция самого Касториадиса неразрывно связана с социально-политической ситуацией 1970-х гг. После раскола и последующего самороспуска группы «Социализм или варварство» и особенно после поражения майских выступлений 1968 г., в условиях «растворения» сил социального сопротивления необходимо было найти новые ресурсы для продолжения борьбы с кажущимся несокрушимым капиталистическим обществом. В этом контексте понятие воображаемого у Касториадиса выступает в качестве идеологического аргумента в полемике как с догматизированным марксизмом многочисленных

левых «сект», так и с бывшими товарищами по группе «Социализм или варварство» – Ж.-Ф. Лиотаром и К. Лефором.

Насколько корректно так жестко противопоставлять социально-символический и креативно-воображаемый уровни, как это делает Касториадис? И действительно ли институализированные символические традиции ограничивают творческие возможности освободительных проектов? Привлекаемые в настоящей статье работы таких разных (и вместе с тем имеющих точку схода) исследователей, как Ж. Старобинский и М. Джей, позволяют скорректировать излишне радикальный (и именно в силу этой радикальности – упрощающий) подход к проблеме. При всем различии методологических установок и стоящих за ними академических традиций оба автора пытаются связать историю зрения и социальное воображение через критический анализ кодов социального поведения в обществе Нового времени.

В 1961 г. – вскоре после защиты диссертации о Руссо – один из лидеров Женевской школы истории идей Ж. Старобинский опубликовал работу «Живой взор», посвященную истории зрения в эпоху модерна. Ее название – не просто отсылка к «Новой Элоизе» Руссо⁵, оно представляет собой значимую для всего авторского проекта аллегорию. В центре размышлений Старобинского находится имеющая почтенную историю дихотомия ‘реальность/видимость (кажимость)’ (или ‘бытие/явление’). Исследователь отмечает ее преимущественно риторический характер: на самом деле видимость/кажимость неотделима от своих вербальных и жестуальных выражений (ложь, лицемерие, маска), явление неотделимо от бытия. Однако если противопоставление этих понятий риторично, то сами они отсылают к оптическому регистру. Внимание должно быть сосредоточено на взгляде, на связи между «видеть» и «быть видимым», как главных модальностей того, что Старобинский называет «довербальными отношениями». Но сами эти отношения становятся «видимыми» в пространстве литературного текста. «В литературных произведениях довербальные отношения воображаются, формируются и интерпретируются средствами языка. Они принадлежат (или нам кажется, что они принадлежат) миру, первичному в отношении текста, их описывающего. По отношению к ним текст функционирует как метаязык. Он заставляет их жить, он оживляет их в *иной* системе отношений»⁶. Литература предстает здесь как своего рода «живой взор», проявляющий (с помощью воображения и языка) отношения реальности⁷. Однако и сам литературный текст становится впоследствии объектом подобного «проявления» средствами критического наблюдения и анализа. «Критический текст делает видимым (и, следовательно, возвращает к порядку “зримого”) те отношения, которые конституируют текст интерпретируемый. <...> Критика относится к произведению так же, как это последнее к довербальному (впредь изображенному и воображенному) языку обмена взглядами»⁸. Старобинский подчеркивает, что именно в контексте этого диалектического движения взгляд становится «живой связью между человеком и миром, между мной и другими – каждый взгляд писателя вновь ставит под вопрос как статус реально-

сти (и реализма в литературе), так и статус коммуникации (и человеческого сообщества)»⁹. Более того, по мнению Старобинского, именно на основе взгляда строится искусство в целом: зрение формирует основу воображения и творчества (а также социально-политического проектирования и целеполагания).

Подчеркнем, что у Старобинского зрение неотделимо от социальности. И особенно важным социальным инструментом оно становится в обществе модерна, где власть основана на репрезентации – сиянии и блеске в глазах окружающих¹⁰. Этот оптический механизм визуализации власти выходит на первое место, подчиняя и контролируя всю машинерию человеческих желаний. Например, Старобинский следующим образом описывает влечения Стендаля: «Он всегда заводил романы только с теми, кто был либо выше его, либо ниже по общественному положению. <...> Страсть была для него привлекательна, только если предполагала какие-нибудь превращения»¹¹. Далее, говоря об ограниченных возможностях реализации стремления к власти и увеличению своего влияния в обществе модерна, Старобинский так характеризует выбор Стендаля: «Общество, в котором он жил, было весьма подлым; для того, чтобы в нем преуспеть, необходимо было носить маску. <...> Стендаль играл по этим правилам достаточно успешно, хотя и высказывал определенную ностальгию по временам, когда люди добивались власти и уважения благодаря благородным поступкам. <...> В конце концов, он стал создавать персонажей, которые проживали свои жизни иначе, но в которых он *чувствовал себя живым* [курсив наш. – И. К., Ф. Н.]»¹². В этом и состоит диалектика зрения у Старобинского: сначала социальные отношения вынуждают к созданию *маски* – некоей конфигурации поведения, призванной обмануть взгляд другого (Стендаль гримасничает перед зеркалом именно для того, чтобы расположить к себе взгляды света¹³). Далее текст воспроизводит это гримасничанье. Казалось бы, что все происходит лишь в тексте, но телесная метафорика языка заставляет читателя представить происходящее перед своим внутренним взором¹⁴. И, наконец, завершающий виток этой странной жизни взгляда связан с критикой, которая раскрывает то, что утрачено у автора. Критика выступает в роли синтеза оптических отношений довербальной реальности и «оживляющего» ее художественного нарратива – именно это качество, по мнению Старобинского, позволяет критическому анализу претендовать на статус метаязыка, которому присуща «незамутненность взгляда».

Таким образом, критика как специфический вид зрения у Старобинского предполагает исследование форм самосознания в обществе спектакля и разоблачение сути его социальных отношений. Причем одно без другого невозможно – они составляют две стороны единой структуры репрезентации¹⁵.

Как и для Старобинского, для Мартина Джея – одного из крупнейших представителей американской интеллектуальной истории, – обращение к истории зрения и «диалектическому воображению» также имеет отчетливо выраженные социальные коннотации. Джей начал работу над своей докторской диссертацией, посвященной истории Франкфуртской школы, в 1968–1969 гг., когда

выступления «новых левых» в Калифорнии достигли своего пика. Модный в те времена лозунг «Вся власть воображению» был для него напрямую связан с идеями неомарксистов 1930–40-х гг. Позже, проработав несколько лет в Европе, Джей собрал уникальный материал – интервью и устные воспоминания франкфуртцев. В условиях распада школы его работа была призвана «спасти от забвения»¹⁶ критическую теорию.

Книга «Диалектическое воображение: история Франкфуртской школы и института социальных исследований в 1923–1950 гг.» была опубликована в 1973 г. одновременно с «Метаисторией» Х. Уайта (которая, напомним, имела подзаголовок «Историческое воображение в XIX в.»). Объектом исследования Джея становится отчуждение интеллектуалов в XX в., парадигматическим примером которой и выступает история поколения М. Хоркхаймера. Оно пережило обе мировые войны, несколько страшных экономических спадов, волну антисемитизма и эмиграцию. Специфическим ответом на эти события и стала «критическая теория». Джей рассматривает ее как попытку левых интеллектуалов в Германии найти «третий путь» между русским большевизмом и либерализмом Веймарской республики.

Хорошо известной особенностью этой позиции стал отказ от позитивного описания будущего общества, типичным примером которого можно считать «Негативную диалектику» Т. Адорно. Однако Джей подчеркивает, что эта негативность для франкфуртцев оказывается возможной лишь при наличии некоего воображаемого (но не прорисованного в конкретных образах) будущего¹⁷. В заключение своей работы Джей выражает эту мысль следующим образом: «В один из наиболее тяжелых моментов Адорно заявил, что ‘писать стихи после Освенцима – варварство’. Заниматься социальной теорией и вести научные исследования возможно только сохраняя их критический, *негативный* импульс. Ибо, как настаивали сторонники Франкфуртской школы, лишь отказ от прославления настоящего *может и должен* сохранить возможность будущего, в котором писать стихи уже более не будет варварством»¹⁸.

Таким образом, критическая теория, с точки зрения Джея, выступает как символическое *действие*, основанное на особом телеологическом проекте или «диалектическом воображении»¹⁹. Она представляет собой перформатив или стремление изменить реальность на основе диалектической связи теории и праксиса²⁰. И в этом ему близка позиция Касториадиса. Но Джей выступает категорически против излишнего доверия творческому потенциалу воображаемого. Социальное воображаемое по-разному формируется и действует в различных культурных традициях, с этой точки зрения, оно зависимо от Символического. Так, если у франкфуртцев «диалектическое воображение» было связано с идеей преобразования общества, то в культуре декаданса «апокалиптическое воображение» способствовало скорее воспроизведению существующих порядков и минимализации критики²¹. Кроме того, в отличие от Касториадиса, Джей считает, что символические ресурсы эпохи модерна все еще сохраняют свой эмансипационный потенциал.

Анализу этого потенциала во многом посвящена и другая работа Джея «Downcast eyes: the denigration of vision in twentieth-century French thought» (1994), название которой можно перевести как «Потупленный взор: дискредитация зрения во французской мысли XX века». *Downcast eyes* – это одновременно потупленный взор и печальный взгляд, брошенный сверху. Но, кроме того, это и падение ставок самого зрения в культуре, падение, аллегорически связываемое Джеем с фигурой Икара. В главе, посвященной Ж. Батаю и сюрреалистам, автор подчеркивает, что их интерес к зрению и «глазу» был во многом вызван опытом визуальной дезориентации во время Первой мировой войны, когда благодаря чудесам технического прогресса враг оказался невидим, и в лабиринте окопов солдаты встречали абсолютно безликую смерть, а родные не могли подобрать для их гибели привычного образа. Лишь летчики, воспетые А. де Сент-Экзюпери, могли вырваться из этого слепого лабиринта. И хотя гибли они не менее часто, чем солдаты на передовой, их напоминающая судьбу Икара гибель в падении была видна с земли²². Как отмечает М. Джей, уже у Батая сравнение сюрреалистов с Икаром, наказанным за влечение к прекрасному солнцу, предполагало стремление к принципиально новому – возвышенному – визуальному опыту, связанному с искуплением и парадоксально ведущему к кризису окулярцентризма²³. Таким образом, аллегория падения связывает конкретный образ (Икара) с социальными проблемами «конца века» и общим движением французской мысли XX в.

Подобная многозначность аллегорий осознанно используется Джеем на протяжении всей работы. Автор пытается оживить визуальные метафоры, первоначальное значение которых стерлось в повседневной речи. В качестве провокативной иллюстрации этой идеи уже в первом абзаце своей книги Джей использует 21 визуальную метафору: *очевидно, с этой точки зрения, умозрительный, теория* и т. д. – это лишь верхушка гигантского пласта оптического инструментария, скрытого в языке²⁴, продолжающего работать в нашем сознании и не всегда прозрачного для понимания. То есть, задача книги – не только представить историю французской мысли XX в., но и показать работу зрения в различных речевых практиках европейской культурной традиции.

Эта соотнесенность визуального и дискурсивного режимов (важная и для Старобинского) по-разному проявляется в конкретных культурах и, соответственно, в разных моделях критики. Так, во Франции – центре европейского Просвещения и столице искусства Люмьеров, – власть визуальных репрезентаций долгое время была всеохватной. Даже после окончания эпохи Людовика XIV – «короля-солнца», когда вся придворная культура и общественная жизнь были нацелены на кодирование и декодирование «знаков власти и иерархий в жестах и обмундировании тела, выставяемых напоказ»²⁵, разрыва с окулярцентризмом (даже во время революции) не произошло. Только к концу XIX в. социальное недовольство (причем как правых, так и левых) переместилось с чисто политических вопросов на господство визуального и саму идею репрезентации. В результате в рамках кризиса «конца века» и в искусстве, и в фило-

софии, и в гуманитарных науках складывается мощнейшая критика окуларцентризма, граничащая с иконофобией²⁶. Именно в этом контексте появляется противопоставление телесного опыта и взгляда, чего Джей (как и Старобинский с его физикализмом) категорически не может принять.

Он предлагает рассматривать историю культуры как единую тотальность, в рамках которой невозможно выстроить жестко закрепленную иерархию течений и дискурсов: окуларцентризм и его критика неразрывно взаимосвязаны, а истоки этой связи укоренены в сложном переплетении социальных отношений модерна (точнее, его разных этапов) с многовековыми интеллектуальными традициями европейской культуры в целом.

В заключение необходимо отметить, что Джей не только часто ссылается на работы Старобинского, но и стремится защитить его позицию от критики со стороны Ж. Деррида или Х. Миллер²⁷. Можно даже сказать, что по сути Джей стремится продолжить и расширить трактовку истории зрения у Старобинского. Главным моментом этой преемственности становится понимание «критики» как подвижного, мобильного «взгляда», позволяющего одновременно быть внутри текста и над ним. Для обоих авторов различные пространства (литературное, политическое, художественное), где переплетаются язык, зрение и воображение, насыщены социальными инвестициями, но при этом они обладают творческим ресурсом «оживления» и преобразования самой социальной реальности.

Примечания

¹ Так, например, М. Маклюэн писал в 1964 г.: «‘Холодная война’ – это настоящая электрическая битва информации и образов, которая намного превосходит в глубине и одержимости старые индустриальные войны горячего железа.<...> Электрическое убеждение с помощью фотографии, кино и телевидения работает, за счет того, что окунает все население в новый мир воображения». Маклюэн М. Понимание медиа : внешние расширения человека. М. : Канон-Пресс-Ц, 2003. С. 390.

² Ж. Деррида отметил, что в западной культуре (во всяком случае, в культуре юридической) текст ближе к реальному/объективному/очевидному, нежели технически воспроизводимый образ: «В западном праве отснятая пленка доказательством не является. Для нашего, западного мышления характерно непреодолимое недоверие к образу вообще и к образу, снятому на пленку в частности. Возможно, это архаизм, но в нас глубоко укоренено представление, будто лишь восприятие, слово или письмо имеют право на доверие – благодаря своей онтологичности». Деррида Ж. Кино и его призраки // Сеанс. 2005. № 21/22. С. 93.

³ Касториadis К. Воображаемое установление общества. М. : Гнозис, 2003. С. 9.

⁴ Там же. С. 148.

⁵ Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. М., 1968. С. 261–262.

⁶ Starobinski J. The living eye / trans. by Arthur Goldhammer. Cambridge : Harvard Univ. Press, 1989. P. vi.

⁷ Ф. Китлер убедительно показал, что романтические писатели начала XIX в. (во всяком случае, немецкие романтики) начинают рассматривать литературу как род оптического видения: «...литература в конце своей исторической монополии на письмо полу-

чила все привилегии камеры-обскуры и волшебного фонаря». Киттлер Ф. Оптические медиа. М. : Логос, 2009. С. 121–122. Важно отметить, что разрабатываемая Старобинским концепция «оживляющего» взора во многом связана именно с романтической традицией, в которой интерес к зрению и воображению оказывается соотношенным с интересом к самому понятию «жизни».

⁸ Starobinski J. *The living eye*. P. vi

⁹ *Ibid.* P. 6.

¹⁰ О становлении репрезентационного режима в европейской культуре нового времени см.: Ямпольский М. Физиология символического. Кн. 1. Возвращение Левиафана : политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М. : НЛЮ, 2004.

¹¹ Старобинский Ж. Поэзия и знание : история литературы и культуры. Т. 1. М. : Языки славян. культуры, 2002. С. 406.

¹² Starobinski J. *The living eye*. P. 11.

¹³ Старобинский Ж. Поэзия и знание. С. 405. В качестве примера из русской литературы можно вспомнить аналогичное гримасничанье Чичикова.

¹⁴ Заметим здесь, что этот ход мысли у Старобинского отличается от концепции мимесиса у Рикера. Для Старобинского важно не герменевтическое понимание текста читателем, но почти самостоятельная жизнь героев в авторском воображении: «Герои живут в его глазах, — они действуют и получают удовольствие от этого действия». Старобинский Ж. Поэзия и знание. С. 410. Внутреннее зрение здесь очень плавно переходит в воображение, которое также оказывается социально окрашено: «Урок, который стоило бы извлечь из работ критиков-фрейдистов или марксистов либо из сартровской критики (обязанной Фрейду и Марксу разом), в том, что не существует чистого воображения, воображения, которое не было бы поведением, не руководилось бы силой аффекта или морали и не окрашивалось позитивным либо же негативным отношением к социальной данности». Там же. С. 83.

¹⁵ Важно отметить, что этот социальный подтекст критики Старобинский распространяет и на собственную позицию. В предисловии к «Живому зору» он связывает свой интерес к зрению со Второй мировой войной и «тем страхом, который вызывал во мне фанатизм в форме, поддерживаемый умением харизматичных лидеров того времени носить маски». Starobinski J. *The living eye*. P. V. Другим императивом его обращения к проблематике взаимосвязи зрения и воображения стала, по всей видимости, отчасти институциональная, отчасти теоретическая полемика со швейцарским кругом «Eranos» — семинаров с участием М. Элиаде, Ж. Дюмезиля, Ж. Дюрана, которые стремились соединить левистроссовский структурализм и юнгианство. Прямую полемику с юнгианской интерпретацией как психоанализа, так и мифологии см.: Старобинский Ж. Поэзия и знание. С. 82.

¹⁶ Именно так охарактеризовал работу Джей М. Хоркхаймер в своем предисловии к ней. Jay M. *The dialectical imagination : a history of the Frankfurt school and the Institute of Social Research, 1923–50*. L. : Heinemann, 1973. P. Xi.

¹⁷ Причины этого отказа от образов можно связывать с влиянием религиозной традиции иудаизма. Однако, как справедливо отмечает Джей, самостоятельное и существенное влияние на франкфуртцев оказали также негативность антропологии Фрейда или отсутствие описания коммунизма у Маркса. *Ibid.* P. 56.

¹⁸ *Ibid.* P. 299.

¹⁹ *Ibid.* P. Xiv.

²⁰ «Теория – это единственная форма праксиса, все еще открытая честному человеку». Ibid. P. 280.

²¹ Подробнее см.: Jay M. *The Apocalyptic imagination and the inability to mourn* // Jay M. *Force fields : between intellectual history and cultural criticism*. Routledge, 1993. P. 84–98.

²² Jay M. *Downcast eyes : the denigration of vision in twentieth-century French thought*. Univ. of California Press, 1994. P. 213.

²³ Ibid. P. 224–225, 235–236.

²⁴ Джей убедительно доказывает, что визуальная метафорика принципиально важна для всех индоевропейских языков, в отличие, например, от дравидских. Ibid. P. 2. Таким образом, важно отметить социально-культурную детерминацию речи и визуальной метафорики у Джея.

²⁵ Jay M. *Downcast eyes*. P. 87. Впрочем, Джей отмечает, что и здесь торжество визуальных форм всегда сочеталось с идеей косвенной репрезентации – отсылкой ко «второму телу короля», наследующему христианскую традицию евхаристии.

²⁶ Конечно, истоки этой критики уходят глубоко в прошлое – к эстетике романтиков, драматургии барокко, апокалиптической традиции внутри христианства и т. д.

²⁷ Несмотря на существенные различия их трактовок Руссо и даже прямую критику Старобинского у Деррида, Джей пытается примирить их взгляды. Ibid. P. 92. А в связи с критикой окулярцентризма женевской школы у Хиллис Миллер (Miller H. *The Geneva School // Modern French criticism : from Proust and Valéry to structuralism* / ed. by John K. Simon. Chicago, 1972. P. 294–300) Джей даже прямо встает на сторону Старобинского. Jay M. *Downcast eyes*. P. 86–87.

Л. Н. Мазур

(Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург)

**РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ В СОВЕТСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 1920–1980-х ГОДОВ**

Кинодокументы относятся к чрезвычайно интересным, но пока малоизученным источникам, позволяющим исследовать разные исторические темы. С учетом характера подачи информации художественные фильмы можно условно подразделить на две категории: 1) фильмы, отражающие события в режиме реального времени, т. е. современность; 2) ретроспективные фильмы, в которых изображаются явления прошлого.

Первая группа фильмов является уникальным источником, позволяющим реконструировать разные стороны повседневности (быт, обстановку, образ жизни, поведение, отношения людей), а также декларируемые обществом и государством ценности, проанализировать актуальные проблемы и предлагаемые способы их решения. Следует подчеркнуть их участие в формировании исторических образов эпохи у последующих поколений зрителей, которые воспринимают эти фильмы уже как свидетельство истории. Вторая группа фильмов интересна с точки зрения изучения транслируемых образов прошлого.

Образы истории, т. е. массовые представления о характере, содержании и значении исторических событий и явлений, формируются в обществе по-разному. Один из основных каналов их создания – это историческая наука и образование как способ трансляции научных знаний. Другой не менее значимый канал создания образов истории – это художественное творчество (искусство, литература, в XX в. – кинематограф). Обладая высокой степенью эмоционального воздействия, художественные произведения оказывают огромное влияние, закрепляя на подсознательном уровне как научные знания о прошлом, так и циркулирующие в обществе и поддерживаемые властью мифы.

Особенностью художественных текстов, к которым относится и художественный кинематограф, является двухуровневая рефлексия (общественная и авторская), т. к. их создание опирается на те представления, которые существуют в общественном сознании и отражают их, но кроме этого большое значе-

ние имеет авторское видение прошлого, преломленное через художественные образы. В этом смысле художественные произведения позволяют в большей степени, чем исторические научные труды, реконструировать именно *образы* истории, т. е. *чувственно-символьные представления об исторических явлениях и процессах*.

Следует подчеркнуть, что кинематограф обладает дополнительными средствами отражения и конструирования исторических образов, т. к. позволяет их визуализировать. Ощущение реальности, которое вызывает кино у зрителя, дополненное эмоциональным восприятием, превращает его в грозное оружие манипулирования массовым сознанием.

Интерес к истории в кинопроизводстве в советский период всегда увязывался с «задачами текущего момента» и работал на них. Прошлое должно было способствовать пониманию настоящего и поддерживать его, а иногда и оправдывать. В результате исторические реконструкции в кино ограничивались более или менее достоверным воспроизведением общего антуража: одежды, обстановки, манеры речи и проч. Хотя и здесь можно говорить только об условной «историчности», поскольку зрелищный характер кинематографа, безусловно, влиял на выбор реквизита, съемочных декораций или натуральных съемок. Что касается содержания и оценочных аспектов исторических событий, отражаемых в кино, то они в наибольшей степени подвергались идеологическому контролю и корректировке. Достаточно вспомнить, например, фильмы о Петре I, снятые российским кинематографом в разные годы.

Впервые обращение кинематографистов к образу Петра состоялось в 1910 г., когда режиссерами К. Ганзенем, В. Гончаровым, М. Гашем была снята историческая драма «Петр Великий» («Жизнь и смерть Петра Великого»), в которой были изложены основные события из жизни великого реформатора. Это, пожалуй, единственная экранизация, которая опиралась на исторические труды, в частности в основу сценария были положены историко-биографический очерк С. А. Чистякова¹. Как и книга историка, фильм воспроизводил образ царя-реформатора, заложившего основы будущей Великой России, что неизбежно способствовало его идеализации.

Все последующие фильмы о жизни Петра были основаны на экранизации романа А. Толстого «Петр Первый», хотя акценты в личности и судьбе героя менялись в зависимости от времени постановки. В 1937–1938 гг. вышел двухсерийный фильм реж. В. Петрова (сценаристом выступил А. Толстой) «Петр Первый», где главную роль сыграл Н. Симонов. Фильм презентовался как историко-биографическая кинодиалогия и был удостоен Сталинской премии. По замыслу создателей фильма, Петр – это прозорливый и успешный государственный деятель, борец с косными традициями, жестокий по необходимости, талантливый полководец, труженик, т. е. идеальный правитель, создающий новое государство. Более того, авторам удалось успешно создать образ «отца народа» – роль, на которую претендовал сам Сталин. В результате сталинская эпоха породила свой вариант прочтения жизни и личности Петра. Причем в

трактовке образа отразились не только социальный заказ власти, но и определенные черты времени. Эпоха форсированного строительства социализма сопровождалась не только репрессиями и казнями, но и невиданным подъемом энтузиазма масс, бурлением энергии молодых строителей общества будущего. Недаром культ молодости стал одной из примет 1930-х гг. Это ощущение полноты жизни проявилось в образе Петра. Он живет жадно, азартно, в нем бурлит, кипит энергия. Все это покоряло зрителей и создавало ощущение подлинности и правдивости изображения.

Следует отметить, что фильм в известной степени отвечал требованиям научности. Однако его историзм был связан с очень скрупулезным воссозданием на экране мелочей быта. В фильме использовалась настоящая мебель из музеев, посуда, вещи – это придавало достоверность воспроизведенным на экране событиям прошлого. Иной вопрос – трактовка личности Петра. Она соответствовала реалиям исторической науки: еще в середине 1930-х гг. прошли дискуссии по вопросу роли личности в истории, была осуждена школа М. Н. Покровского, который, борясь за утверждение принципов марксизма в исторической науке, заявлял, что исторические деятели не играют большой роли в истории. В условиях формирования культа личности были востребованы прямо противоположные точки зрения: личности могут менять ход истории и определять его. Роль фильма состояла не только в утверждении, но и в дальнейшей мифологизации этого тезиса. Картина открыла дорогу целому направлению в сталинском кино, которое стало ведущим в послевоенный период – кино о великих людях: государственных деятелях, полководцах и флотоводцах («Александр Невский», «Минин и Пожарский», «Суворов», «Кутузов», «Иван Грозный», «Адмирал Ушаков» и проч.).

Следующая многосерийная экранизация биографии Петра, основанная на литературном материале А. Толстого, была создана в 1980–1981 гг. (Юность Петра, реж. С. Герасимов, 1980; В начале славных дел, реж. С. Герасимов, 1980; Россия молодая, реж. И. Гурин, 1981). Обратившись к проблеме личности царя, авторы попытались проследить основные этапы его взросления, становления как государственного деятеля. В целом концепция личности Петра I осталась прежней – неистовый богатырь, реформатор, великий полководец и государственный деятель, но в фильме он предстаёт уже не как герой, а как человек.

Такой, как принято сегодня говорить, «антропологический поворот» характерен не только для кинематографа того времени, но и для исторической науки. В 1975 г. в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Н. И. Павленко «Пётр Первый». Впоследствии она переиздавалась неоднократно, положив начало новому этапу историографии личности Петра². В отличие от сложившейся в исторической науке традиции хроникального изучения жизни Петра Первого, проявившейся в трудах М. П. Погодина, Н. Г. Устрялова, М. М. Богословского, Н. И. Павленко создал психологический портрет императора, позволяющий лучше понять причины и истоки его реформаторства. Важнейшей чертой личности императора, подмеченной историком, была страстность, дополнен-

ная волей, упорством, рассудительностью, активностью. Главный смысл своей жизни и деятельности император видел в служении государству. Именно эти черты и нашли отражение в образе молодого царя в трилогии.

На примере рассмотренных выше фильмов мы видим, что они порождены определенным временем, которое диктует свои правила и подходы к подаче исторического материала, формируя разные образы истории. Причем для повышения достоверности восприятия традицией становится обращение к научным знаниям, которые, в свою очередь, также не свободны от конъюнктуры, идеологического пресса и человеческих заблуждений. В случае с Петром Первым можно смело говорить о влиянии экранных образов на оценочные суждения историков последующих поколений, которые, попав под их обаяние, в свою очередь начинают достраивать, дополнять эти представления новым историческим материалом.

Возьмем для анализа комплекс кинодокументов, которые посвящены истории российской деревни. Всего с 1920 по 1985 г. по сельской тематике (ретроспективной и актуальной) было создано более 600 кинолент, что составляет около 12,2 % от общего объёма кинопродукции (см. таблицу). Причем ретроспективные картины среди них составили в среднем 33 %. В зависимости от времени создания их доля могла возрастать. Так, например, в 1920-е гг. более половины деревенских фильмов были историческими. В дальнейшем их удельный вес сокращается, что во многом было связано с затратностью и сложностью создания исторических картин, а также ориентацией кино на преимущественное отображение будней и подвигов социалистического строительства. Большой удельный вес деревенских ретроспективных картин (свыше 38 %) отмечается также в позднесоветский период (1965–1985 гг.), который можно рассматривать как время расцвета деревенского кино.

*Динамика кинопроизводства в СССР в 1920–1985 гг.**

Годы	Всего фильмов	Фильмы о деревне	Удельный вес к общему количеству фильмов, %	Количество ретроспективных деревенских фильмов
1920–1928	228	26	11,4	14
1929–1940	412	78	18,9	14
1941–1945	159	11	6,9	2
1946–1952	110	14	12,7	4
1953–1964	809	113	14,0	26
1965–1985	3214	360	11,2	140
Итого	4932	602	12,2	200

*Составлено по материалам: Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия. Изд. 2-е. М., 2003.

Можно выделить два этапа в развитии ретроспективного деревенского кино в советский период, для которых были характерны разные образы сельской истории:

1) 1920–1950-е гг. – время, когда сюжетная канва картин была преимущественно ориентирована на досоветское прошлое. Соответственно, воспроизводились в основном события, связанные с классовой борьбой крестьян, обоснованием исторической вины помещиков и крепостников, оправданием политики уничтожения эксплуататорских классов. Такой социальный заказ вполне объясним. Основная задача кино того времени – пропаганда советских ценностей, достижений социализма, которые были более очевидными на фоне контрастного противопоставления прошлому. Поэтому все художественные средства были направлены на формирование образа темной, нищей, задавленной гнетом эксплуататоров деревни. Такой подход соответствовал марксистской оценке деревни воспринималась классиками как оплот отсталости, невежества («деревенского идиотизма»);

2) в 1960–1980-е гг. объектом экранизации становится преимущественно советская история: прежде всего нэп, Гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление. Досоветская история деревни перемещается в область мифов, преданий, легенд и приобретает романтико-героические черты. В это время предпринимаются попытки создания исторических эпосов, задачей которых было показать основные этапы социалистической реконструкции российской деревни. В качестве основы формирования образов истории используются сложившиеся в обществе и науке, в том числе благодаря кино, устойчивые стереотипы об особенностях доколхозной и колхозной жизни, стремление показать сельскую историю как *историю борьбы* «света и тени», коллективного и индивидуального. Только в 1960–1980-е гг. начинается поворот от истории событий к человеку в истории, что отразилось в тональности фильмов, оценочных суждениях, ревизии сложившегося образа сельской истории.

Рассмотрим более детально особенности каждого из этапов.

С момента своего становления советский кинематограф был настроен на документирование и осмысление тех революционных изменений, которые происходили в обществе. Специфика кинематографа 1920–1930-х гг. и его отличие от более позднего времени состояли в том, что он был призван визуализировать образы и явления, необходимые для формирования новой советской мифологии. К ним можно отнести образы классовых врагов, классовой борьбы, передовой роли рабочего класса и мелкособственнического характера крестьянства, отсталости деревни и проч. Кино создавало свою реальность, которая закреплялась в сознании советского человека.

В этот период ретроспективное кино было связано преимущественно с формированием представлений о беспросветной жизни деревни в дореволюционный период и борьбе крестьян с помещиками, кулаками, т. е. история рассматривалась как отражение классовой борьбы. Образы крепостной деревни

усиливались жестким делением героев на положительных (крестьяне) и отрицательных (помещики), их противопоставлением и идеализацией. Многие из фильмов основаны на литературном материале, как например фильм «Помещик» (1923 г., реж. Вл. Гардин), снятый по поэме Н. Огарева и повествующий о сластолюбивом барине и трудной доле его крепостных.

Эти тенденции усиливаются кинематографом 1930-х гг. Его отличие от более раннего периода состоит в смене акцентов. Если в 1920-е гг. большинство деревенских фильмов были ретроспективными, то в 1930-е гг., напротив, их число резко сокращается (см. таблицу). В них привычно тиражировались сюжеты о борьбе крестьян против угнетателей, построенные преимущественно уже на национальном материале (Ануш, реж. И. Перестиани, 1931; Арсен, реж. М. Чиаурели, 1937; Кармелюк, реж. Ф. Лопатинский, 1931 и др.). Все фильмы были сняты в жанре историко-героической драмы, что задавало тональность подачи материала.

Благодаря формированию в сельской местности стационарной сети кинопроката, дополненной кинопередвижками, появилась возможность расширить зрительскую аудиторию. Деревня становится одним из важнейших потребителей кино, особенно зрелищного, что оказывает влияние на стилистику и способ презентации информации. Для мифологизации сознания сельских жителей потребовались другие художественные образы, более привычные, связанные с традициями народного балагана, ярмарки, лубка. Эти приемы использовались не только в кинокартинах, отражающих современные процессы в деревне, но и в ретроспективных. В конце 1930-х гг. в качестве самостоятельного жанра появляются фильмы-сказки (По щучьему велению, реж. А. Роу, 1938; Василиса Прекрасная, реж. А. Роу, 1939; Сорочинская ярмарка, реж. Н. Экк, 1939), перенося прошлое деревни за грань реальности. Так закрепляется устойчивый образ деревни как явления прошлого, не имеющего перспектив в социалистическом обществе.

Новым в кинематографе 1930-х гг. стало обращение к событиям Октябрьской революции и Гражданской войны, т. е. помимо образа *крепостной деревни* начинает складываться образ *революционной деревни* (Клятва, реж. А. Усольцев-Граф, 1937; Дума про казака Голоту, реж. И. Савченко, 1937). Впоследствии деревня, расколотая на два непримиримых лагеря «своих» и «чужих», надолго станет основным образом советской сельской истории как в художественных произведениях, так и в научных.

1950–1960-е гг. в целом характеризуются возросшим интересом к прошлому, прежде всего революционному. Почти 2/3 ретроспективных фильмов этого времени посвящены важнейшим событиям советской истории. Причем по характеру изложения материала они подразделяются на две группы: 1) фильмы, ориентированные на создание эпических полотен о Гражданской войне или коллективизации. В них наиболее полное отражение получила официальная трактовка исторических событий, сформулированная еще во времена Сталина в «Кратком курсе истории ВКП(б)». К первой группе можно отнести, в част-

ности кинотрилогию реж. Н. Макаренко, рассказывающую об истории одного из первых колхозов Украины, охватившей события Первой мировой, Гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны (Кровь людская – не водица, 1960; Дмитро Горицвит, 1961; Люди не всё знают, 1963).

2) фильмы, в которых заметно стремление показать человека на фоне крупных исторических событий (война, революция), поставить героя в ситуацию выбора, тем самым высветив его душевные качества (Бессмертная песня, 1957, реж. М. Володарский; Хлеб и розы, 1960, реж. Ф. Филиппов и др.). Так, например, в драме А. Салтыкова «Бабье царство» (1967 г.) повествуется о судьбе деревенской женщины в годы войны, ее удивительном мужестве и внутренней силе, позволившим пережить смерть близких и весь ужас оккупации.

Новый подход к подаче исторического материала демонстрирует фильм Л. Шепитько «Родина электричества» (1967 г.), поставленный по новелле А. Платонова и рассказывающий об электрификации села в начале 1920-х гг. Небольшой сюжет о том, как в деревне заработала динамо-машина, позволившая подвести воду к засыхающим полям, стал основой для понимания того, что чудо – это то, что ты делаешь сам и своими руками.

В 1970-е гг. появляются исторические фильмы с попыткой панорамного освещения истории советской деревни. В 1971–1973 гг. был снят многосерийный фильм «Тени исчезают в полдень» (реж. В. Краснопольский, В. Усков), ставший одним из первых опытов художественного осмысления тех изменений, которые произошли в деревне за годы Советской власти. Он был поставлен по роману А. Иванова, написанного в 1963 г. Несмотря на стремление показать историю Гражданской войны, коллективизации, послевоенного восстановления через судьбы героев, авторам фильма все же не удалось очеловечить исторические образы. Красной нитью через все повествование проходит тема борьбы света и тени, коммунистического и капиталистического начала, которые рассматриваются через призму этических категорий. Подобный подход к подаче исторического материала сохранился и в более поздней экранизации А. Иванова «Вечный зов», поставленной также реж. В. Краснопольским, В. Усковым в 1973–1981 гг. Данные фильмы презентуют устойчивые исторические образы сельской истории, сложившиеся к этому времени в общественном сознании и транслируемые официальной исторической наукой.

Интерес к исторической повседневности, жизни довоенной деревни в ее бытовых и человеческих проявлениях появляется в 1980-е гг. Достаточно интересным с этой точки зрения выглядит фильм «Еще до войны» (1982 г., реж. Б. Савченко), снятый по повести В. Липатова. В нем рассказывается история несложившейся любви деревенского парня и приехавшей из города девушки Раи. Лиричность и поэтизация колхозной деревни усиливается знанием авторов и зрителей о надвигающейся войне, которая разрушит этот светлый мир. В фильме нет отголосков тех страшных событий, которые происходили в стране в это время, – репрессий, нет отзвуков классовой борьбы, которая была обязательным элементом исторических фильмов более раннего времени. Есть почти

идиллическая картина благополучной жизни довоенного села, которая стала в брежневский период одной из мифологем исторической науки. Ужасы коллективизации и послевоенного прозябания деревни забылись новым поколением историков и кинематографистов, и они формируют новые образы истории, отражающие успехи советской власти и в известной степени идеализирующие прошлое.

В конце 1980-х гг. в условиях перестройки образы истории начинают трансформироваться в соответствии с новыми задачами – ликвидация белых пятен, возникших в информационном поле истории и замененных в общественном сознании классовыми мифологемами. Как и в 1960-е гг., снова появляется потребность посмотреть в лицо фактам и отразить их в художественных образах. Причем деревня, ставшая «жертвой» индустриализации, коллективизации, Великой Отечественной войны, приобрела новые, более реальные черты. Востребованной со стороны кинематографистов стала точность к бытовым мелочам, реконструкция новых исторических образов. Примером такого кино стал фильм «Во бору брусника», снятый в 1989 г. реж. Е. Герасимовым и повествующий об истории деревни и ее жителей в послевоенные годы и затем 1970-е гг. Два исторических образа деревни, созданных авторами, позволяют прикоснуться к особому миру, в котором сохраняют ценность доброта, верность, человеческое отношение к природе и окружающему миру. Созданный на исходе советской эпохи, этот фильм, с одной стороны, стал порождением эпохи урбанизации, несущей свои этические и эстетические ценности, а с другой, попыткой сохранить в форме художественного произведения значимые для общества черты сельской истории.

Обзор ретроспективных фильмов, посвященных сельской тематике, свидетельствует о значительном потенциале художественного кино как носителя информации о способах формирования и семантике тех исторических образов, которые были одобрены властью и созданы научной и творческой интеллигенцией на разных этапах истории. Они имеют заметные отличия, выраженные в ключевых понятиях ‘классовая борьба’ (образ 1920–1940-х гг.) и ‘уходящий деревенский мир’ (1960–1980-е гг.). Источниками их формирования стали социальный заказ власти; особенности научного осмысления исторических событий; авторские представления и личный опыт создателей фильмов. Дополняя и корректируя друг друга, они придают образам прошлого устойчивые черты и формируют определенное отношение к ним зрителя.

Примечания

¹ Чистяков С. А. История Петра Великого. 2-е изд. СПб. ; М. : Изд. Тов-ва М. О. Вольф, 1903. 6 н. с., 512 с.

² Павленко Н. И. : 1) Пётр Первый. М. : Молодая гвардия, 1975. 384 с.; 2) Птенцы гнезда Петрова. М. : Мысль, 1984. 332 с.

Е. В. Волков
(Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск)

**ОБРАЗЫ ОКТЯБРЯ, ЕГО ГЕРОЕВ И ВРАГОВ НА СОВЕТСКОМ ЭКРАНЕ
В 1920–1930-е ГОДЫ**

Кино, несомненно, является каналом трансляции коллективной памяти. Наряду с художественной литературой и другими произведениями искусства оно оказывает огромное влияние на формирование массового национально-исторического сознания.

Одним из базовых идеологических постулатов советского общества являлся исторический миф о закономерности и неизбежности Октябрьской революции 1917 г., обеспечившей наилучший путь развития России. Значительную роль в конструировании и трансляции данного мифа играло, конечно, и кино. В качестве примера для исследования того, каким образом менялись в зависимости от социального и политического заказа общества трактовки и акценты в показе образов Октября на экране, мы обратились к двум художественным фильмам. Первый из них – «Октябрь», созданный к десятилетней годовщине революции, являлся последним в трилогии режиссера С. М. Эйзенштейна (1898–1948) после «Стачки» и «Броненосца “Потемкин”». Другую картину «Ленин в Октябре», вышедшую на экраны в 1937 г., поставил М. И. Ромм (1901–1971).

Фильм Эйзенштейна снимался в период, когда тоталитарный режим в Советском Союзе еще окончательно не утвердился. Существовало значительное поле для экспериментов, в том числе и в кино. Как известно, сам режиссер, создавая экранные образы, нередко оперировал символами и мифологическими конструкциями. Помимо этого, многие из участников и современников «великих событий» тогда еще здравствовали и могли рассказать о них. С другой стороны, ужесточалась цензура в условиях власти одной партии. Поэтому «Октябрь» оказался неоднозначным фильмом.

С. М. Эйзенштейн и его помощник Г. В. Александров (Мармоненко) (1903–1983) работали над фильмом очень быстрыми темпами, чтобы успеть к годовщине революции. Власти не скупились: бюджет картины составил не менее 560 тыс. р.¹ Большую помощь оказал большевик Н. И. Подвойский, который

не только сыграл самого себя как председателя Военно-революционного комитета, но и организовал для режиссеров несколько вечеров-воспоминаний с участниками Октябрьского переворота².

К десятой годовщине революции фильм так и не вышел на экраны – съемки и монтаж заняли много времени. Только в начале 1928 г. состоялся премьерный показ картины.

Следуя своей традиции, Эйзенштейн, как и в предыдущих фильмах, почти не задействовал профессиональных актеров. Для него важны были типажи, и поэтому он отбирал для съемок фактически «людей с улицы» с подходящими физиономическими и телесными данными. В. И. Ленина, например, сыграл уральский рабочий В. Никандров. Его сходство с вождем производило сильное впечатление на окружающих. Согласно воспоминаниям тогда еще начинающего кинематографиста М. И. Ромма, когда В. Никандров, исполнявший роль вождя, одетый в пиджачок и жилетку, в кепке, шел по двору кинофабрики, люди крестились и падали в обморок³.

Согласно другим воспоминаниям, «все солдаты и матросы, участвовавшие в массовках, встречали его как настоящего Ленина. Когда он проходил по актовому залу, направляясь к трибуне, не надо было искусственно подогревать “энтузиазм масс”. Присутствующие кричали “ура” и кидали вверх шапки вполне естественно, что и фиксировалось на пленке»⁴.

С Никандровым произошла неприятная история. Он в пьяном виде, одетый в ленинский костюм, устроил драку в ресторане и попал в отделение милиции. В ответ на действия милиционеров он кричал: «Кого забираете, гады! Я – Ленин, я вам свободу дал!». Его даже не хотели первоначально выпускать, так как предполагали, что он – «аферист, работающий под Ленина»⁴.

Председателя Временного правительства А. Ф. Керенского предложили сыграть студенту Н. Попову, Л. Д. Троцкого – похожему на него зубному врачу, а Г. Е. Зиновьева – его родному брату. Только роль министра М. И. Терещенко исполнил начинающий молодой актер Б. Ливанов. Один из видных большевиков В. А. Антонов-Овсеенко сыграл в эпизодах, как и Подвойский, самого себя⁵.

Наряду с постановочными сценами в фильм включили и ряд документальных кадров. Картина являлась немой, и некоторые ее сцены сопровождались пояснительными титрами. В фильме звучала симфоническая музыка Д. Шостаковича, записанная позднее. Как полагают киноведы, от такого музыкального сопровождения картина только выиграла.

Эйзенштейн представил революцию как стихийное движение народных масс, перед которыми не смогут устоять никакие барьеры. По словам самого режиссера, истинный лозунг фильма – «революция – это вихрь, сметающий всех ему сопротивляющихся». И поэтому «все элементы фильма “поют” вихрем, “клубятся” вихрем, сплетаются и расплетаются им»⁶.

С другой стороны, «экранные» лидеры партии большевиков (среди которых, наряду с В. И. Лениным, показаны будущие «враги народа» и Л. Д. Троцкий, и Г. Е. Зиновьев, и В. А. Антонов-Овсеенко), опираясь на принцип коллектив-

ного руководства, успешно преодолевая сопротивление меньшевиков и эсеров, направляют народную стихию в революционное русло.

Символом свержения старого мира стал эпизод разрушения памятника Александру III, стоящего в Москве у храма Христа Спасителя⁷. А показ кадров в обратную сторону демонстрировал восстановление монумента, говорил о планах контрреволюции возродить самодержавие. Именно с монархией и диктатурой, с подавлением и унижением трудящихся масс связаны в фильме символы контрреволюции: двуглавый орел с угрожающим клювом, гигантский и безликий памятник Александру III, бездушная статуя египетского сфинкса.

Жалкой и отталкивающей выглядит фигура А. Ф. Керенского, тщеславного и в то же время трусливого политика, вынесенного революцией на вершину власти. Наслаждаясь собственной славой и богатством апартаментов Зимнего дворца (повторные кадры его бесконечного восхождения по широкой лестнице), он, при первой же опасности, стремится, как страус, спрятать голову под одеяло в бывшей постели императрицы.

Зрители увидели в фильме и образ Л. Г. Корнилова, одного из основателей Белого движения. Генерал, мечтавший о славе Наполеона, показан восседающим на белом коне и направляющим на Петроград танки и броневики. Его выступление в августе 1917 г. под лозунгами «во имя Бога», «во имя Родины», «за восстановление самодержавия» – выпад не только против большевиков, но и против Керенского, с которым он не желает делить будущие лавры Наполеона. Об этом свидетельствуют кадры с двумя статуэтками Бонапарта, стоявшими друг против друга в угрожающей позе. «Столкновение Керенского с Корниловым, – заметил биограф Эйзенштейна, – иронически упрощено, как столкновение двух одинаковых статуэток псевдонаполеонов. Люди выражены отношениями вещей. Но люди не только объяснены вещами – показана как бы злоба вещей, их бесчисленность, показано общество потребления»⁸.

О соединении фигуры Корнилова с образом нового Бонапарта свидетельствуют и заметки Эйзенштейна к режиссерскому сценарию. Видимо, такие ассоциации были связаны с информацией о том, что генерал интересовался сочинениями Наполеона и не раз обращался к ним. Данный факт отражен в первой советской биографии Л. Г. Корнилова, написанной его бывшим сослуживцем Е. И. Мартыновым⁹.

С контрреволюцией отождествлялись и показанные на экране религиозные идолы, сменявшие один другого, когда речь шла и выступлении войск генерала Л. Г. Корнилова на Петроград. По мнению английского историка Р. Тейлора, в данных кадрах содержалась мысль, что революция будет мировой¹⁰.

Другие «вражеские» персонажи – это «бывшие царские лакеи»: генералы и адмиралы, чиновники, готовые служить новому режиму – Временному правительству. В одном из эпизодов рядом с Керенским зрители увидели отдающих ему честь генерала и адмирала. Первый очень похож на реального генерала М. В. Алексеева, а второй – на адмирала А. В. Колчака. Как известно, и тот, и другой после прихода к власти большевиков встали во главе Белого движения

в разное время и в разных регионах России. Таким образом, их появление рядом с Керенским говорит о единстве врагов большевизма. Они сначала служат Временному правительству, а затем будут воевать за Белую идею. Тем самым фильм доказывает, что контрреволюция едина и не имеет принципиальных оттенков.

Офицеры и юнкера, защищающие последний бастион буржуазии, показаны как люди, не способные противостоять народной стихии. Все они в страхе убегают от матросов и красногвардейцев, штурмующих Зимний дворец. За лицемерной чистотой их помыслов и патриотизмом скрывается стремление к наживе, которое обнаруживается, когда юнкеров уличают в воровстве столовых серебряных приборов из залов Зимнего дворца.

«Вражеские» образы второго плана – это те, которые становятся или вскоре могут стать «нашими», т. е. сторонниками революции. Например, кавказцы из Дикой дивизии¹¹, в августе 1917 г. по приказу Корнилова наступающие на Петроград¹². Первоначально они настороженно и озлобленно встречают агитаторов и даже берутся за ножны своих кинжалов. Но затем узнают, что большевики борются «За хлеб! За мир! За землю! За братство!». Получив листовки на родном языке, кавказцы отказываются идти на Петроград и пляшут лезгинку, которую дополняет и русская плясовая в исполнении большевистских агитаторов.

Еще очень интересные персонажи – это уже немолодые и потрепанные жизнью ударницы женского батальона. Они расположились в апартаментах Зимнего дворца для защиты Временного правительства. Как верно заметила одна из киноведов, показ женского «батальона смерти» – это «сатирическое разоблачение обывательщины», которое «доводилось до предела и перерастало в монтажный экскурс о противоестественности, чудовищном уродстве, вопиющей неженственности кликуш и психопаток в сапогах и галифе»¹³.

Сначала женщины в солдатских мундирах настроены по-боевому, но после ультиматума большевиков часть из них бросает оружие. «Многие зрители, – по утверждению одного из историков кино, – восприняли эти кадры как издевательство над женщинами вообще, другие – как утверждение невозможности женских военных подвигов. Неэстетичность этих полуголых, полувоенных женщин отвращала многих», а одна из партийных руководителей, вдова Ленина Н. К. Крупская назвала раздевающихся на экране ударниц «недопустимой уступкой мещанским вкусам»¹⁴.

Казачи в фильме также представлены как ненадежная боевая сила. Они держат нейтралитет и, несмотря на приказы свыше, не выступают против большевиков. В картине есть следующий эпизод. Молодой казак, неся дежурство в конюшне и получив по телефону указание от Керенского, вновь садится и продолжает курить свою трубочку, даже не думая поднимать казачью сотню. Другая сцена дополняет предыдущую: казачья артиллерийская батарея под влиянием большевистских агитаторов спешно покидает ряды защитников Зимнего дворца.

О реакции творческой интеллигенции на «Октябрь» свидетельствуют некоторые выступления в апреле 1928 г. при обсуждении картины. Одни критиковали ее за чрезмерный символизм, порой не совсем понятный, другие – за то, что Эйзенштейн представил врагов «идиотами» и не показал их ожесточенное сопротивление. Суровая критика слышалась от членов Ассоциации работников революционной кинематографии (АРРК), сторонников «гегемонии пролетариата». Эйзенштейна ругали за обскурантизм и потакание собственным желанием. Так, режиссер П. П. Петров-Бытов в апреле 1929 г. писал, что такие фильмы, как «Октябрь», «проповедуют чуждые нам эстетические взгляды и принципы», потому что их создатели способны «понять лишь абстрактные проблемы», но не знают жизни¹⁵.

По словам кинокритика и сценариста В. Б. Шкловского, «Октябрь» стал лентой в стиле «советского барокко», где на первом плане доминировали предметы, статуи, идолы, монументы, а не люди. Посмотрев фильм, можно было прийти к выводу, что Октябрьскую революцию вершили статуи в виде львов, слонов, различных эпических фигур¹⁶.

Например, В. В. Маяковский, посмотрев фильм, выступил против типизации фигуры В. И. Ленина в игровом кино. «Пользуюсь случаем при разговоре о кино, – заявил поэт, – еще раз всяческим образом протестую против инсценировок Ленина через разных похожих Никандровых. Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения – и за этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли. Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него»¹⁷.

В журнале «Советский экран», в июне 1928 г., даже появилась карикатура на режиссера с надписью «Всякий сам себе Эйзенштейн». По мнению британского историка Р. Тейлора, такая ирония является наилучшим примером того, как режиссера подвергли обструкции за попытку создать кинематографический миф. Он замахнулся на святое, попытался популяризировать идеалы, в которые верили многие советские люди¹⁸.

Однако имелись и положительные отклики. Режиссера хвалили за мастерство и новаторский подход. Но таких отзывов оказалось немного.

Через десять лет, 6 ноября 1937 г., в Большом театре столицы состоялась премьера фильма «Ленин в Октябре». Подобно «Октябрю», картина снималась как политический заказ по приказу сверху, к очередной годовщине большевистской революции. Причем режиссер М.И. Ромм вынужден был прервать съемки фильма «Пиковая дама», к которому позже так и не вернулся¹⁹.

Создание картины «Ленин в Октябре» заняло менее трех месяцев, и здесь, как в случае с фильмом Эйзенштейна, партийные чиновники торопили кинематографистов, чтобы успеть к 7 ноября²⁰.

Несмотря на то, что премьерный просмотр сопровождался техническими сбоями (рвалась пленка, снижался уровень звука), после завершения показа И. В. Сталин и все члены Политбюро аплодировали фильму стоя. Повторно

посмотрев картину в кремлевском кинотеатре, Сталин через председателя Главного управления кинематографии Б. З. Шумяцкого передал требование включить в нее сцены штурма Зимнего дворца и ареста министров Временного правительства. По мнению вождя, такие эпизоды должны были внести ясность в сюжет и наглядно показать «крах буржуазного правительства в России»²¹.

Фильм, уже запущенный в прокат, исключили из репертуара кинотеатров. Новые сцены спешно сняли в павильонах Мосфильма, и в начале декабря картина вновь появилась на экранах²².

Таким образом, как и в фильме «Октябрь», кульминационной сценой стал штурм Зимнего дворца. Причем символов самодержавия, по сравнению с картиной Эйзенштейна, здесь уже нет. Время взятия резиденции Временного правительства названо «последней ночью русского капитализма». Заканчивается фильм пением «Интернационала», что подчеркивало мировое значение Октябрьской революции.

В отличие от «Октября», фильм Ромма утверждает, что победа революции обеспечена не благодаря революционному порыву масс, а хорошо спланированной деятельности партии большевиков во главе с «гениальным вождем» Лениным и его ближайшим соратником Сталиным. Рабочие, матросы и солдаты выступают преимущественно как послушная и организованная сила, идущая за большевиками.

С критикой того, что постановщики картины не показали роль народных масс, выступил режиссер А. П. Довженко на творческом совещании об историческом и историко-революционном фильме (1940)²³. Но его голос не услышали, политическая ситуация в стране была иной.

Если в «Октябре» сценарий фильма создавался самим режиссером и его помощником Александровым, правда, при этом в качестве консультантов приглашались историк И. И. Минц и писатель Б. Н. Агапов, то в картине Ромма существенную роль сыграл А. Я. Каплер как автор сценария к фильму. Профессиональные историки, видимо, не принимали никакого участия в создании картины. Между А. Я. Каплером и другим драматургом Н. Ф. Погодиным, писавшим пьесу для театра о Ленине, развернулось настоящее соперничество. Первый готовил сценарий для киностудии «Мосфильм», а второй – для «Ленфильма». В итоге, «наверху» каплеровский образ Ленина признали более убедительным и приемлемым, поэтому съемки проводились на «Мосфильме».

Фильм стал первым опытом создания драматического образа В. И. Ленина на экране. Ведь в «Октябре» Эйзенштейна он изображен в нескольких эпизодах на фоне общего революционного порыва. Перед Роммом стояла непростая задача – показать характер Ленина как одного из главных героев картины. Судя по воспоминаниям режиссера, он очень волновался и сразу не мог придумать, каким образом представить «вождя мирового пролетариата». Он видел его близко трижды в начале 1920-х гг., но лично не был знаком. Роль Ленина доверили актеру Б. Щукину, так как тот уже играл характер вождя в театральной постановке Н. Погодина «Человек с ружьем»²⁴.

В итоге Ленин получился открытым и неприхотливым человеком, обладающим большой силой воли и в то же время чувством юмора. Как впоследствии отметил советский режиссер Г. Чухрай, «в картинах Ромма Ленин предстал перед зрителями простым, доступным и человечным, совсем не похожим на монумент»²⁵.

Стоит также отметить, что Ленин, судя по отдельным сценам фильма, запечатлен как политик, для которого убийство классовых врагов – необходимое явление. Так, например, в разговоре с рабочим Василием по поводу письма его брата из деревни он настоятельно советует крестьянам брать землю в свои руки. На сообщение о том, что усадьба помещика разгромлена и все члены его семьи вместе с ним убиты, Ленин отзывается положительными репликами, заявляя: «Что ж, очень толковое письмо».

После показа фильма в 1938 г. на экранах США критик «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Наджент (Frank S. Nugent) написал: «Прежде всего отмечу вклад режиссера Михаила Ромма и Бориса Щукина, справившихся со столь щекотливой задачей, как сыграть Ленина для советской публики (представьте, если бы кто-то решил, что он вредительно плохо сыграл эту роль). Ромм предпочёл отодвинуть революцию на второй план, а на первом представить личность Ленина. Щукин – это подлинное чудо грима и погружения в персонаж, его Ленин интересен, ярок и симпатичен зрителю»²⁶.

Не удивительно, что фильм в 1941 г. получил Сталинскую премию. Ее присудили режиссеру Ромму и актеру Щукину (посмертно).

Видимо, чтобы продемонстрировать близость вождя именно к рабочему классу, создатели фильма во многих сценах показали его рядом с высоким и добродушным пролетарием Василием, который выступает в качестве телохранителя и «адъютанта» при Ильиче. Он повсюду следует за вождем, выполняя его поручения и оберегая от нежелательных встреч с врагами. Прототипом данного персонажа, характер которого блистательно исполнил актер Н. Охлопков, являлся Э. А. Рахья (1885–1936), финский рабочий-большевик, участник Гражданской войны.

Среди положительных персонажей выделяется и вожак питерских рабочих Матвеев (В. Ванин). В одном из кульминационных эпизодов фильма он руководит арестом министров Временного правительства в Зимнем дворце. Его прототипом являлся отнюдь не представитель рабочего класса, а бывший военный, революционер со стажем В. А. Антонов-Овсеенко, который за месяц до премьеры фильма оказался в застенках НКВД после своего приезда из охваченной гражданской войной Испании. В следующем, 1938 г., его расстреляли. Даже если бы создатели картины знали о судьбе Антонова-Овсеенко, а это, скорее всего, было так – нехорошие новости распространяются быстро, – то времени на изменения в сюжете уже не оставалось. Фильм готовился к выходу на экраны под ноябрьский праздник.

Кстати, роль Матвеева первоначально получил известный актер и режиссер А. Дикий. Однако на него пришел политический донос, а затем последовал

арест. Он провел четыре года в исправительно-трудовом лагере. По этой причине роль досталась другому актеру²⁷. В общем, съемки шли в непростых условиях, в атмосфере массовых репрессий.

Фигуру Сталина постановщики картины представили как самого близкого помощника и советника Ленина. Одна из первых реплик Ильича, подъезжающего на паровозе с Василием к Петрограду, – это просьба обеспечить ему встречу со Сталиным²⁸.

Как справедливо отметила одна из современных исследователей советского кинематографа, показать Сталина оказалось делом непростым. «Если с образом Ленина можно было экспериментировать, то образ Сталина должен был соответствовать ожиданиям зрителей и, главное, оригинала: он должен был ему “понравиться”. Впервые в мире на киноэкране ожидалось появление художественного образа здравствующего лидера страны». И, видимо, поэтому постановщики фильма в данном вопросе отличались робостью. Сталин говорил мало и даже без акцента. «Сталинский образ в исполнении Семена Гольдштаба оказался лишь внешней зарисовкой, тенью, неотступно сопровождающей Ленина»²⁹.

Стоит отметить, что в фильме в качестве врагов революции предстали некоторые соратники вождя, которые «предали партию» и выдали планы ЦК относительно вооруженного восстания в Петрограде. В отличие от «Октября», где среди руководителей революции предстают Троцкий и Зиновьев, картина «Ленин в Октябре» создавалась в совершенной иной политической атмосфере. Троцкий, Зиновьев и Каменев не показаны на экране, но о них с возмущением говорит Ленин, называя «святошами», «политическими проститутками», «бандитами» и «изменниками» в духе открытых политических процессов 1930-х гг.

К моменту выхода фильма Троцкий на положении политического изгнанника находился за границей, а Каменева и Зиновьева уже расстреляли как «врагов народа». И поэтому с точки зрения официальной и внутренней цензуры режиссера они никак не могли быть показаны в качестве соратников Ленина и руководителей вооруженного восстания в Петрограде.

Лагерь контрреволюции в картине разнолик. На экране предстают безупречно одетые и причесанные контрреволюционеры, русские и иностранные буржуа, плетущие заговор. Создатели картины постарались показать их внутреннее уродство. Русские капиталисты готовы отдать половину страны иностранцам ради прихода и поддержки настоящего диктатора, который расправится с большевиками. Например, М. В. Родзянко (Н. Соколов) даже предлагает убить Ленина. С этой целью нанят бывший филёр Филимонов (И. Лагутин). Ему, как профессиональной ищейке, удастся выследить местонахождение вождя революции. Юнкера под командой поручика Н. М. Кирилина (Н. Чаплыгин) отправляются арестовать Ильича. Но водитель автомашины, для которого Ленин – великий вождь пролетариата и всех трудящихся, ценой своей жизни срывает коварные планы врагов. И в результате поручик Кирилин получает прозвище Шляпа.

Глава Временного правительства А. Ф. Керенский (А. Ковалевский) – персонаж с мрачным взглядом и оттопыренными ушами. Когда он начинает говорить о своей славе и поддержке народа, все министры тихо смеются над его самолюбованием и необоснованным оптимизмом. По разговорам обывателей, он совершает ошибку и не опирается на известных военных, таких как генерал Ф. А. Келлер или адмирал А. В. Колчак, чтобы защитить их от большевиков. И вообще, Керенский мало что решает, он больше говорит пафосные речи.

Наиболее активным политиком среди врагов показан эсер Рутковский (Н. Свободин). Вот он стремится разоружить рабочих одного из петроградских заводов, вот дает указания о поимке и убийстве Ленина, но вся его деятельность оборачивается крахом. Он попадает в руки большевиков вместе с министрами Временного правительства.

В целом, образы врагов получились одномерными и неубедительными. Сам режиссер позднее признавался, что труднее всего давались сцены, рисующие лагерь контрреволюции, они казались ему наиболее слабыми³⁰.

Таким образом, два фильма, «Октябрь» и «Ленин в Октябре», оказали большое влияние на представления советских людей о своем недавнем прошлом. Картины стали классикой историко-революционного кинематографа. Ряд эпизодов из фильмов нередко демонстрировались как документальные кадры, когда зрителям показывали визуальные образы тех «великих» событий. В то же время картины кардинально различаются в показе революции, в объяснении причин ее победы. Политический и социальный заказ, господствующий в советском обществе при выходе фильмов на экраны, очень различался.

В последующем, в советском общественном сознании на долгое время укоренились экранные образы революции, созданные в фильмах, подобных «Ленину в Октябре». Создатели таких картин, основанных на принципе социалистического реализма, не использовали язык символов и аллегорий, а строили киноповествование, опираясь на официальные идеологические установки. Поэтому в прокате зеленый свет им был обеспечен. А массовый зритель, в отсутствии альтернативных киноисторий, довольствовался теми образами, которые демонстрировались на экранах страны.

Стоит заметить, что обе картины в разное время оказались неудобными для советских властей. Так, «Октябрь» с его символикой, духом стихийности и эпизодическими фигурами Троцкого, Зиновьева, Антонова-Овсеенко, как фильм «искажающий» историю революции, с 1933 г. «положили на полку»³¹. О картине вспомнили только в период политики «перестройки», после чего она вновь появилась на большом и малом телевизионном экранах, на DVD-дисках.

Монтажные ножницы в связи с развенчанием культа личности прошли и по фильму «Ленин в Октябре». В 1956 г. вышла перемонтированная версия картины без сцен, где фигурировал один из главных персонажей – Сталин, были также купированы пояснительные титры, где он упоминался. При восстановлении этой сокращенной версии фильма в 1963 г. внесли новые изменения: с помощью различных технических приемов образ Сталина удалили даже там,

где он появлялся на заднем плане. Его просто закрывали то стоящие к зрителям спиной фигуры, то настольная лампа. Все упоминания о Сталине вырезали или переозвучили. Так, например, в одной из сцен Ленин говорит Василию: «Бегите к Сталину и Свердлову». Но в последнем варианте картины из уст Ильича звучали уже несколько иные слова: «Бегите к Бубнову и Свердлову». Таким образом, появилось три версии фильма³². Конечно, от подобных исправлений кинопроизведение Ромма существенно пострадало.

Итак, сопоставление и анализ экранных образов разных по времени игровых картин, их исторического контекста дает ценную информацию в плане исследования коллективной памяти. В этих кинематографических историях различаются акценты, диалоги, общий фон и ключевые идеи. Они обусловлены изменениями в представлениях советского общества о своем прошлом.

Примечания

¹ Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 1923 (С. М. Эйзенштейн). Оп. 1. Д. 263. Л. 45.

² «Октябрь» в кино // Огонек. 1927. № 26. С. 8–9.

³ Зоркая Н. М. История советского кино. СПб., 2006. С. 112.

⁴ Городницкий А. М. И вблизи, и вдали. М., 1991. С. 15.

⁵ Там же. С. 14–15.

⁶ Эйзенштейн С. «Над этим городом мне пришлось крепко поработать». Внутренний полижанризм «Октября» // Киновед. зап. М., 2003. Вып. 63. С. 112.

⁷ На самом деле памятник Александру III в Москве снесли в 1921 г.

⁸ Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М., 1976. С. 152.

⁹ Юренин Р. Н. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод : в 2 ч. Ч. 1. М., 1985. С. 218; Мартынов Е. И. Корнилов (попытка военного переворота). М., 1927. С. 16.

¹⁰ Taylor R. Film propaganda. Soviet Russia and Nazi Germany. N. Y., 1979. P. 98.

¹¹ На самом деле в Дикой дивизии русской армии служили не кавказцы, а туркмены (текинцы).

¹² По словам С. М. Эйзенштейна, для изображения воинов Дикой дивизии «были мобилизованы все чистильщики сапог города [Ленинграда. – Е. В.] – “типажные” айсоры. Они были удивительно эффектны в туземных военных нарядах, и их темперамент в переживаниях был чуть ли не мхатовского уклона». (Эйзенштейн С. М. В боях за «Октябрь» // Эйзенштейн С. М. Избр. произведения : в 6 т. Т. 1. М., 1964. С. 139).

¹³ Зоркая Н. М. Советский историко-революционный фильм. М., 1962. С. 96.

¹⁴ Юренин Р. Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 220.

¹⁵ Цит. по: Тейлор Р. Борис Шумяцкий и советское кино в 30-е годы : идеология как развлечение масс // Киновед. зап. М., 1989. Вып. 3. С. 42–43.

¹⁶ Шкловский В. Б. За 60 лет. Работы о кино. М., 1985. С. 115–116.

¹⁷ Цит. по: Конеса Ж.-К. «Октябрь» : кризис изображения // Киновед. зап. М., 2000. Вып. 46. С. 146.

¹⁸ См.: Совет. экран. 1928. № 19. С. 6–7; Taylor R. Film propaganda. Soviet Russia and Nazi Germany. P. 101.

¹⁹ Савельева Э. Платье из 37-го... // Мой режиссер Ромм : сб. / сост. И. Г. Германова, Н. Б. Кузьмина. М., 1993. С. 59; Каплер А. Слово о Ромме // Мой режиссер Ромм... С. 65.

- ²⁰ Зак М. Михаил Ромм и его фильмы. М., 1988. С. 83.
- ²¹ Ромм М. Устные рассказы. М., 1989. С. 51, 53.
- ²² Там же. С. 54–56.
- ²³ Довженко А. П. Историческая правда и наши фильмы // Довженко А. П. Собр. соч. : в 4 т. Т. 4. М., 1969. С. 127–128.
- ²⁴ Зак М. Указ. соч. С. 64–65, 78.
- ²⁵ Чухрай Г. В защиту фильмов Ромма о Ленине // Искусство кино. 1997. № 10. С. 128–130.
- ²⁶ См.: «Ленин в Октябре» (фильм). URL : ru.wikipedia.org/wiki; опубликовано: The New York times. 1938 April 2.
- ²⁷ Зак М. Указ. соч. С. 95.
- ²⁸ Очерки истории советского кино : в 4 т. Т. 2. М., 1973. С. 308.
- ²⁹ Чернова Н. «Мы говорим – партия, подразумеваем...». Ускользящий образ сталинского кинематографа. URL : http://www.polit.ru/research/2006/01/24/chernova_print.html.
- ³⁰ Зак М. Е. Указ. соч. С. 94.
- ³¹ «Октябрь» (фильм). URL : ru.wikipedia.org/wiki.
- ³² «Ленин в Октябре» (фильм). URL : ru.wikipedia.org/wiki.

А. А. Фокин

(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)

**ОБРАЗЫ «СОВЕТСКОГО»
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ**

В XX в. произошло несколько глобальных разрывов истории, что привело к пересмотру интерпретации исторических фактов и самого отношения к истории. Современная Россия, или, как призывают называть ее участники тематического номера «Неприкосновенного запаса», Régime nouveau¹, еще не выработала четких мемориальных норм. Память о прошлом остается полем противостояния различных группировок. Показательна активная общественная дискуссия вокруг учебника истории А. Вдовина и А. Барсенкова. Также периодически возникают законодательные инициативы, направленные на регламентацию восприятия отдельных эпизодов истории, начиная от запрета реабилитации нацистских преступлений и заканчивая требованием переименовать все объекты, названные в честь революционеров. При этом наиболее острые дискуссии возникают вокруг советского прошлого. Это можно объяснить и недавним его переживанием – еще живы несколько поколений, которые родились и выросли во время СССР, и актуальностью коммунистической идеологии в политическом спектре России. Если в советской традиции сравнение проводилось с Российской Империей 1913 г., поскольку именно с ней происходил разрыв, то Российская Федерация сравнивается с СССР. В последние годы существования СССР возникают два крупных направления «контрпамяти», которые были полюсами общественного мнения: националистически-консервативная «Память» и западнически-прогрессистский «Мемориал», что, по мнению авторов сборника «Империя и нация в зеркале исторической памяти», привело к потере легитимности советского строя и его крушению².

Изучение современных представлений о временах СССР является важной задачей не только в рамках исторических исследований, но и в общественном смысле, если рассматривать идею социального примирения как магистральную. В последнее время российское историческое сообщество активно восприняло идею исследования исторической памяти и представлений о прошлом.

М. Халбвакс, П. Нора и Я. Ассман активно цитируются в работах, посвященных различным периодам и темам. На основании их концепций проводятся конференции и семинары, публикуются сборники статей и монографии.

Говоря об исследованиях данной тематики, необходимо упомянуть работу Н. Колосова³, в которой он анализирует изменение политики по отношению к прошлому начиная с XIX в. и заканчивая современной эпохой. В центре внимания книги – политика последнего времени по отношению к советскому прошлому и прежде всего к И. Сталину и Великой Отечественной войне. Исследование массовых представлений основывается на социологических опросах, как современных, так и начала 1990-х. Если вынести за скобки идеологическую ангажированность работы, направленную на развенчание и осуждение советского прошлого, и личные отношения автора с рядом историков, то с динамикой мемориальной политики в современной России, описанной автором, можно согласиться. Минусом книги Н. Колосова, на мой взгляд, выступает тот факт, что исследуются прежде всего государственная политика (определение «правильного» школьного учебника, архивная «контрреволюция», практики празднования исторических дат и т. д.) и позиция исторического сообщества по отношению к советскому прошлому. Объясняя социологические данные, автор апеллирует к этим двум областям, подразумевая, что они оказывают наибольшее влияние на коллективную память. Массовая культура в книге упоминается вскользь⁴, со ссылкой на статью В. Шляпехова об исторических фильмах при «путинском режиме»⁵. В условиях распада «больших нарративов» на смену традиционным, «жестким» приемам формирования исторической памяти приходят «мягкие», «неформальные», тесным образом связанные с массовой культурой.

В статье Г. Янковской⁶ показано, как современная российская культура активно использует элементы «социалистического реализма», причем прежде всего сталинского периода. Галина Александровна, констатируя факт подобной стилистической ностальгии, не может объяснить ее причину.

Я. Ассман в своей концепции выделяет культурную память, которая, в отличие от коммуникативной памяти, нуждается в поддержке и распространении социально обусловленными институтами⁷. Исходя из этого, можно говорить о том, что для молодого поколения россиян советский опыт переходит из одного типа памяти в другой. Образы советского прошлого для него оказываются искусственно сформированными. Существует несколько крупных источников по наполнению этих образов: 1) связь поколений и рассказы старших о своем советском опыте, 2) школьный или вузовский курс истории, 3) массовая культура. Отдельно, конечно, необходимо рассматривать коммеморационные практики, многие из которых уходят корнями в советское прошлое. Если 7 ноября пытаются оттеснить на второй план, подменив его празднованием Дня народного единства, то 9 мая становится важнейшим праздничным событием. Масштабное празднование 50-летия первого полета человека в космос демонстрирует, что государство пытается активно использовать элементы советского прошлого в своих целях. Большинство таких коммеморационных мероприя-

тий сопровождается активной информационной компанией в массовой культуре. В особых случаях к датам приурочивают выпуск полнометражных фильмов, в качестве примера можно привести «1612» (2007, реж. В. Хотиненко) к Дню народного единства, «Тарас Бульба» (2009, реж. В. Бортко) к юбилею Н. В. Гоголя, «Утомленные солнцем: Предстояние» (2010, реж. Н. Михалков) к 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Но основная масса коммеморационных медиапродуктов появляется в СМИ. Радио, газеты, телевидение выпускают тематические номера или специальные проекты. С одной стороны, эти издания и проекты выполняют объяснительную функцию, их можно сопоставить с мифами в традиционных обществах, вербализирующими и интерпретирующими ритуалы. СМИ дают инструкции, как отмечать памятные даты, и помогают обществу «вспомнить заново» то или иное событие. Если для людей старшего поколения многие даты являются важной частью жизненного мира, то молодые поколения, процесс социализации которых проходил в период разрушения советской политики памяти, нуждаются в «мемориальных костылях». В этом качестве для основной массы населения выступают по большей части СМИ, а не традиционные формы передачи исторической памяти вроде исторических курсов в учебных заведениях разного уровня. С другой стороны, СМИ не могут упустить из своего внимания «точки памяти», поскольку повышенное внимание людей ко всему, что связано с ними, позволяет активно реализовывать медиапродукты.

Важным теоретическим вопросом является проблема соотношения формирования и отражения коллективных исторических представлений в медиасреде. С одной стороны, книги, фильмы, игры, СМИ воспроизводят и поддерживают уже существующие массовые представления. С другой стороны, государственные или общественные институты с их помощью борются с доминирующей исторической концепцией, предлагая «контрпамять». В произведениях искусства ситуация осложняется наличием позиции автора, выражающего собственное миропонимание, и жанровой спецификой. Автоматически рассматривать медиапродукты как отражение коллективной памяти неправомерно.

В статье основное внимание будет уделено образам советского, которые возникают и функционируют в современной отечественной массовой культуре. Прежде чем приступить непосредственно к описанию результатов исследования, необходимо сделать несколько важных терминологических замечаний. Возможность широкой трактовки терминов является и достоинством, и недостатком гуманитарного знания, что характерно и для понятия 'советское'. Словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова дает следующую дефиницию: «Советский – 1) прил., по знач. связанное с социалистической организацией власти Советов и общества эпохи диктатуры рабочего класса; 2) Находящийся, происходящий в СССР, в Стране Советов; 3) Соответствующий мировоззрению и практическим задачам рабочего класса, преданный советской власти; 4) *Прил.*, по знач. связанное с деятельностью в советах; 5) *Прил.* к совет в 3 и 4 значениях»⁸.

Наиболее распространено использование термина во втором значении, то есть 'советское' хронологически ограничено рамками 1917–1991 гг., а террито-

риально – рубежами РСФСР/СССР. Применительно к другим странам используют термины ‘социалистический’ или ‘коммунистический режим’. При этом часто происходит отождествление двух понятий. Уже упоминавшийся Н. Колосов является показательным примером, поскольку он фактически ставит знак равенства между «сталинизмом» и «советскостью». Такой подход связан с зарождением советологии, которая институционально оформилась в послевоенные годы и именно на материале 1930–1950-х гг. строила свои схемы, в том числе и теорию тоталитаризма. В дальнейшем ревизионисты тоже сосредоточили свое внимание на этом историческом периоде, и получилось, что история страны до прихода И. В. Сталина к власти рассматривается как предпосылки, а после него – как последствия его руководства. Сталинский период становится смысловым центром советской истории. С этим, конечно, связана дискуссия об общих и отличительных чертах советского и нацистского режимов. «Большой террор», система лагерей ГУЛАГа, преследование инакомыслящих и т. п. – все это позволяет говорить о схожести двух режимов, а значит, о необходимости осуждения сталинизма как явления и, как следствие, всего советского строя. Однако за период с 1917 по 1991 г. как государство, так и общество прошли сложный путь развития. На мой взгляд, СССР времен «Перестройки» и даже брежневского периода гораздо ближе к современной России, чем к РСФСР времен Гражданской войны. Но мы живем в постсоветский период, а Я. М. Свердлов и Е. К. Лигачев жили в советский. Возможно, следует говорить не о некоем целостном советском периоде, а о советских периодах, которые переходили один в другой.

Другой важной категорией для данного исследования является понятие массовой культуры. Первоначально под массовой или популярной культурой подразумевалась культура, предназначенная для низов города, малообразованных рабочих. В романе Дж. Оруэлла есть упоминание о пролах, которым специальные машины изготавливали низкопробную литературу. Сейчас под массовой культурой понимается культура, ориентированная на обладание минимальным культурным багажом, то есть на максимально широкий круг аудитории. В рамках Франкфуртской школы выработалось понимание «массовой культуры» как продукта, порожденного «сверху»: властными структурами, государством, крупными компаниями. Она представляет собой «доступные» послания, передаваемые по каналам массовой коммуникации и рассчитанные на «средний» уровень смыслов⁹. Массовая культура не стремится сформировать новые представления, она охотнее использует уже готовые элементы, перестраивая их в нужном порядке. Таким образом, через «похищение языка» создается определенная мифология в бартовском смысле¹⁰. В. Подорога отмечает, что культура памяти разрушается, не выдерживая конкуренции со стороны «низкой» культуры. Это происходит из-за возможности привлекать высококлассных исполнителей и приносить потребителям результат в виде удовольствия¹¹. В целом же отметим, что изучение массовой культуры остается на периферии внимания исследователей. Количественно массовая культура превосходит культуру «элитарную», и если произведения «высокой» культуры оставляют длительный

исторический след, то массовая культура имеет более короткий срок годности, но, в конкретный исторический период, оказывает большее воздействие.

В качестве основной источниковой базы исследования выступают кино и телевидение как наиболее массовые виды культуры в современном российском обществе. Хотя следует отметить, что «советскость» проявляется и во многих других сферах: модная одежда с гербом СССР, возвращение советских брендов (напитки «Байкал», «Саяны», автоматы с газированной водой и т. д.), апелляция к советскому как к качественному (завод «Микоян», квас «Никола» и т. п.). Принимая во внимание концепцию М. Маклюэна, можно признать, что в современности происходит распад «галактики Гуттенберга» и усиление аудиовизуальных форм подачи информации. Текст уступает место изображению и звуку, именно телевидение со второй половины XX в. является доминирующим СМИ. Следует признать, что в начале XXI в., в эпоху развития Интернета, происходит «контрреволюция текста», поскольку основной массив интернет-данных представлен в гипертекстовом виде. Но дальнейший технический прогресс всемирной паутины приводит к тому, что основной трафик приходится на мультимедийные продукты.

Образы «советского» в современной массовой культуре можно типологизировать по двум признакам: содержательному и эмоциональному. По первому критерию разграничиваются продукты просветительского и развлекательного характера. Просветительский подход позиционирует себя как научно-популярный и зачастую направлен на раскрытие новой информации из истории СССР, например, передачи «Суд времени», «Исторические хроники», «Советская империя», «Намедни» и т. д. Помимо циклов передач, к этому типу следует отнести телевизионные фильмы, которые обычно посвящены конкретным историческим событиям или крупным фигурам советской истории. Часто такие фильмы вызывают значительный общественный резонанс. Так, например, фильм НТВ «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» (2009, реж. С. Нурмамед) многие восприняли как попытку пересмотра некоторых позиций истории Великой Отечественной войны и в первую очередь критику полководческого таланта Г. К. Жукова. НТВ знаменит своим скандальным подходом, однако этот телеканал входит в «Газпром-Медиа Холдинг», который, в свою очередь, контролируется государственной корпорацией «Газпром». В целом, в отношении к Великой Отечественной войны в российском медиапространстве можно отметить двойственную позицию. Продолжая советскую традицию воспринимать победу над Германией как одну из самых значимых страниц отечественной истории, современная элита не может позволить себе присоединиться к мнению о решающей роли советского режима в победе над врагом. Поэтому основным героем войны становится народ, а руководство и лично И. В. Сталин подвергаются критике. В целом же «просветительские» передачи ставят своей целью сформировать историческое представление, которое могло бы занять место академической традиции. Что человек не получил во время учебы, он может узнать благодаря телевидению.

Развлекательный тип представлен передачами «ДОстояние РЕспублики», «Старые песни о главном», а также отдельными эпизодами из различных комедийных шоу (КВН, Comedy Club, 6 кадров). Если говорить о смеховой культуре в рамках рецепции советского прошлого, то следует указать на карнавализацию исторических образов. Самым частым героем становится И. В. Сталин, а его «любимой» фразой – приказ «Расстрелять!». Людям, лучше знакомым с современным юмором, чем с историей, Сталин скорее запомнится как усатый человек с трубкой и странным акцентом, который всех казнил. В основном данные передачи используют отсылки к антуражу и стереотипам советской эпохи, хотя происходящее зачастую «осовременивается». Например, в одной из юмористических миниатюр Comedy Club Сталин требует от Берии, чтобы он смог трубку не только курить, но и по ней звонить, делать фотоснимки и играть в шахматы. Юмористические передачи приспособливают к новым условиям жизни те образы, которые возникли еще в традициях советского политического анекдота.

К категории «развлекательных продуктов» необходимо добавить и продукцию кинематографа: «Звезда» (2002, реж. Н. Лебедев), «Космос как предчувствие» (2005, реж. А. Учитель), «Заяц над бездной» (2006, реж. Т. Кеосаян) и т. д., а также сериалы, в основе которых часто лежат литературные первоисточники: «Ликвидация» (2007, реж. С. Урсуляк), «Апостол» (2008, реж. Г. Сидоров, Ю. Мороз), «Александровский сад» (2005, реж. О. Рясков, А. Пиманов), «Девять жизней Нестора Махно» (2007, реж. Н. Каптан), «Исаев» (2009, реж. С. Урсуляк), «Дети Арбата» (2004, реж. С. Эпшай), «Завещание Ленина» (2007, реж. Н. Досталь) и т. д. В сериалах, приключенческих и мелодраматических, советская эпоха, как правило, выступает фоном или предысторией для сюжета. Стоит упомянуть и весьма необычный проект, соединяющий в себе просветительский и развлекательный типы, – «Сталин. Live» (2006, реж. Д. Кузьмин, Г. Любомиров, Б. Казаков). Сериал, построенный как реалити-шоу, к чему отсылает и название, ставил своей целью реконструировать последний период жизни Иосифа Виссарионовича и дать трактовку его смерти.

Второй критерий, эмоциональный, позволяет выделить критическое и ностальгическое направления в массовой культуре. Так, например, уже упоминавшийся цикл передач «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» явно относится к критической категории, поскольку история СССР в нем подается как череда ошибок, трагедий и преступлений. Такой подход связан с развитием истории на рубеже 1980–1990-х гг., с «демифологизацией» советских исторических конструкций. В современности критический подход играет ту же роль, что и 20 лет назад – он обосновывает разрыв современной политической структуры с советским наследием и должен проводить грань между демократией и тоталитаризмом.

В ностальгическом направлении массовой культуры на первый план выходит не политическая составляющая, а скорее повседневность, коллективность и «душевность». «Ностальгический» аналог «Исторических хроник» Н. Сванидзе – это «Намедни» Л. Парфенова. В основе «Намедни» лежит «среда обитания» советского человека, через которую и подается хронология Советского

Союза. Хотя Л. Парфенов указывает и на недостатки системы, но это не превращается у него в основную задачу. Особенно ярко ностальгическая направленность проявляется в передачах, нацеленных на вторичное использование культурного багажа. Так, современные звезды перепевают советские песни, демонстрируя в числе прочего и преимущества советской эстрады перед современной. Часто к ностальгическому дискурсу добавляется патриотический, что связано, прежде всего, с темой Великой Отечественной войны.

Для наглядности представим предложенную концепцию образов советского в массовой культуре в виде схемы:



Итак, в современной массовой культуре существует несколько противоречивых образов советского прошлого. Такое многообразие не способствует консолидации точек зрения и приводит к сбоям в функционировании коллективной памяти. В результате советский период перестанет восприниматься как реальность и вместо государственной политики десталинизации мы, скорее, станем свидетелями превращения советской истории в штамп, шаблон, симулякр.

Примечания

¹ Неприкоснов. запас. 2006. № 6 (50).

² Империя и нация в зеркале исторической памяти. М., 2011. С. 7.

³ Колосов Н. Память строгого режима : (История и политика в России). М., 2011.

⁴ Там же. С. 162.

⁵ Shlapentokh D. Russian History and the ideology of Putin's regime through the window of Contemporary Russian movies // Russian History. 2009. № 36/2. P. 278–301.

⁶ Янковская Г. А. Ностальгия в стиле социалистического реализма в культурной памяти постсоветской России 1990-х гг. // Век памяти, память века : (Опыт обращения с прошлым в XX столетии). Челябинск, 2004. С. 347–357.

⁷ Ассман Я. Культурная память : (Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности). М., 2004. С. 57.

⁸ Советский // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940.

⁹ Зверева В. Предисловие // Массовая культура : современные западные исследования. М., 2005. С. 13.

¹⁰ Барт Р. Мифологии. М., 2000. С. 238–240.

¹¹ Подорога В. Культура и реальность. Заметки на полях // Массовая культура : современные западные исследования. М., 2005. С. 321.

А. Н. Галямичев
(Саратовский госуниверситет, г. Саратов)

ГУСИТСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ ЖОРЖ САНД

Тема, заявленная в названии настоящей статьи, не принадлежит к числу неизвестных или малоизученных. Знаменитые романы Жорж Санд «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» любимы многими поколениями читателей. Более того, имеются работы маститых отечественных учёных, специально посвящённые этому сюжету¹. И всё-таки представляется необходимым ещё раз вернуться к нему, поскольку не все его грани, на наш взгляд, нашли отражение в исследовательской литературе.

Следует отметить, что работы Б. Г. Реизова несут на себе глубокую печать времени своего возникновения. Их автор, прекрасный знаток истории французской литературы и историографии первой половины XIX в.², обратившись к наследию Жорж Санд в качестве историка исторической мысли, стремился выявить те черты новизны её взглядов на гуситское движение, которые казались ему созвучными марксистской исторической науке, представить французскую писательницу как предшественницу марксистской гуситологии, тем более что известные факты её биографии буквально подталкивали к таким выводам. «Битва или смерть, кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса», – этими словами из очерка Жорж Санд «Ян Жижка» завершил Карл Маркс своё знаменитое произведение «Нищета философии» и в знак благодарности преподнёс его автору «Яна Жижки»³.

Отдавая должное проделанной видным учёным работе, нельзя не высказать и несколько соображений критического свойства. Представляется, что предложенная им точка зрения сужает значение наследия Жорж Санд в истории осмысления феномена гуситского движения. Прежде всего, не вполне обоснованным представляется преимущественное внимание Б. Г. Реизова к очеркам «Ян Жижка» и «Прокоп Великий», которые публиковались на страницах журнала «Независимое обозрение» в 1843–1844 гг. одновременно с текстами романов «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт», впервые увидевших свет в те же годы и в том же издании, и были призваны помочь читателю составить

общее представление об истории гуситского движения, выступающей в качестве одного из слагаемых исторического фона художественного повествования Жорж Санд. Конечно, они имеют немалую историографическую ценность и в своё время способствовали открытию истории гуситской эпохи не только французским, но – шире – вообще европейским читателем⁴. В начале XX в. очерк «Ян Жижка» был издан в русском переводе в нашей стране, поскольку во многих своих разделах содержал материалы, до тех не изучавшиеся в русской историографии⁵.

Но правомерно ли ставить на первый план подготовительные (вспомогательные) материалы, оставляя в тени художественный текст, в котором автор высказал то главное, что он хотел сказать современникам и потомкам? Тем более – художественный текст романа, единодушно признаваемого лучшим из произведений великой французской писательницы?⁶

Отличительной чертой трактовки гуситской эпохи в романах Жорж Санд, в которой видится отражение особого места музыки и музыкантов в сюжетной линии, представляется её своеобразное многоголосье. Она предстаёт здесь одновременно с нескольких точек зрения. Одна из них – точка зрения эрудитской, придворной, кабинетной учёности. Её представляет фигура «учёнейшего академика Штосса, хранителя кабинета редкостей и библиотеки дворца» прусского короля Фридриха Великого. Выражая сомнения в подлинности хранимого в кабинете древностей барабана, будто бы сделанного из кожи Яна Жижки, академик видит в самом гетмане таборитов лишь «страшного злодея и свирепого бунтовщика»⁷. «Если же история, написанная невежественными или скептически настроенными людьми, расскажет вам, будто только жажда крови и золота разожгла эти злополучные [т. е. гуситские. – А. Г.] войны, не верьте: это ложь перед богом и людьми!», – так определяет писательница степень глубины постижения сути гуситских событий придворной историографией XVIII в.

Другой взгляд на гуситскую эпоху, представленный в романах, – её истолкование в духе идей романтизма первой половины XIX в., ставшей временем Национального Возрождения в славянских странах. Время написания романов было временем счастливого супружеского союза французской писательницы с великим польским композитором Ф. Шопеном, мировоззренческие искания и самый круг знакомств которого сделали Жорж Санд «слависткой»⁸.

Влияние видных представителей Славянского Возрождения, в особенности великого польского поэта Адама Мицкевича, создавшего в 1840 г. в Коллеж де Франс кафедру славянских языков и приступившего к чтению лекций по истории славянских литератур⁹, на формирование представлений Жорж Санд о гуситах было очень велико. Взгляд А. Мицкевича и других деятелей Славянского Возрождения на гуситство был пронизан одной из ведущих идей романтической историографии – идеей иррационального, непостижимого для рассудочного научного познания «народного духа», неповторимой духовной сущности каждого народа, которая определяет его историческую судьбу. Чешский материал, казавшийся в те времена французскому читателю экзотическим, давал

обширный материал для размышлений на эту тему. Такой взгляд на гуситскую эпоху нашёл отражение в адресованном главной героине романов – прибывшей в Чехию из солнечной Венеции певице Консуэло – рассказе молодой баронессы Амалии: «Триста с лишним лет тому назад угнетённый и забытый народ, среди которого вы теперь очутились, был великим народом, смелым, непобедимым, героическим. Им, правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная религия была ему непонятна. Бесчисленные монахи подавляли его; развратный, жестокий король издевался над его достоинством, топтал его чувства. Но скрытая злоба и глубокая ненависть кипели, нарастая, в этом народе, пока наконец не разразилась гроза: иностранные правители были изгнаны, религия реформирована, монастыри разграблены и уничтожены, пьяница Венцеслав сброшен с престола и заключён в тюрьму¹⁰. Сигналом к восстанию послужила казнь Яна Гуса и Иеронима Пражского – двух мужественных чешских учёных, стремившихся исследовать и разъяснить тайну католицизма. Они были вызваны на церковный собор, им обещана была полная безопасность и свобода слова, а потом их осудили и сожгли на костре. Это предательство и гнусность так возмутили национальное чувство чести, что в Чехии и в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, продлившаяся долгие годы. Эта кровавая война известна под названием гуситской. Бесчисленные и безобразные преступления были совершены с обеих сторон. Нравы были жестоки и безжалостны в то время по всей земле, а политические раздоры и религиозный фанатизм делали их ещё более свирепыми. Чехия наводила ужас на всю Европу. Не буду волновать вас описанием тех страшных сцен, которые здесь происходили: вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С одной стороны – бесконечные убийства, пожары, эпидемии, костры, на которых живьём сжигали людей, разрушенные и осквернённые храмы, повешенные или брошенные в кипящую смолу священники и монахи. С другой стороны – обращённые в развалины города, опустошённые края, измена, ложь, зверства, тысячи гуситов, брошенных в рудники, целые овраги, до краёв наполненные их трупами, земля, усыпанная их костями и костями их врагов. Свирепые гуситы ещё долго оставались непобедимыми, мы и теперь с ужасом произносим их имена. А между тем их любовь к родине, их непоколебимая твёрдость, их легендарные подвиги невольно будят в глубине души чувство гордости и восхищения, и молодым умам, подобным моему, порой бывает трудно скрыть эти чувства»¹¹.

Гуситское движение выступает в этом рассказе как порождение неистребимого «народного духа» чехов, который продолжает жить в их сердцах, несмотря на утрату национальной независимости и долгие десятилетия угнетения. Идея «народного духа» являлась для деятелей Славянского Возрождения источником надежды на завоевание славянскими народами свободы и независимости, какой бы трудноразрешимой ни казалась эта задача в сложившихся условиях. Наиболее ярко идея непобедимости «народного духа» обосновывается в следующих словах графа Альберта Рудольштадта: «Как ни сжигай архивы и исторические документы, <...> как ни воспитывай детей в неведении минувшего,

как ни заставляя молчать простодушных людей с помощью софизмов, а слабых – с помощью угроз, ни страх перед деспотизмом, ни боязнь ада не могут заглушить тысячи голосов прошлого – они несутся отовсюду <...> Они слишком громки, эти ужасные голоса, чтобы слова священника могли заставить их умолкнуть. Когда мы спим, они говорят с нашими душами устами призраков, поднимающихся из могил, дабы предупредить нас; мы слышим эти голоса среди шума природы; они, как некогда голоса богов в священных рощах, исходят даже из древесных стволов, чтобы рассказать нам о преступлениях, о несчастиях и подвигах наших отцов»¹².

С мыслью о незримом присутствии и направляющей историю народов силе «народного духа» связаны представленные на страницах романов живописные картины суровой природы Чехии, средневековых развалин, старинных замков, стены которых хранят память о событиях давних лет, наконец, сами названия мест действия – замок Исполинов, Скала ужаса – несут в себе память о минувших столетиях. Народная музыка («эти чудесные образцы пламенного народного гения старой Чехии»¹³) выступает в роли главной хранительницы неуловимого для рационального анализа «народного духа».

Но этот вариант истолкования сути гуситских событий, по мысли французской писательницы, хотя и позволяет найти ответы на многие вопросы, но всё же далеко не исчерпывает всего богатства их содержания.

Третий, более близкий мировоззренческим исканиям самой Жорж Санд, взгляд на гуситские события рассматривает их в контексте вековой борьбы человечества за социальную справедливость. Гуситская эпоха впервые в мировой литературе предстаёт на страницах романов в широком всемирно-историческом контексте. Именно в этом, по нашему мнению, и состоит главный элемент новизны, по-настоящему новаторский характер её освещения французской писательницей.

Идеи гуситов, точнее их радикального крыла – таборитов – оказались удивительно созвучными учению, увлекшему Жорж Санд в начале 40-х гг., – христианскому социализму Пьера Леру. Движение таборитов выступает на страницах романов как одно из звеньев извечной борьбы человечества за справедливость и равенство. Яркая характеристика радикального течения в гуситстве даётся в одном из монологов графа Альберта Рудольштадта: «Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов лютеранской, Прокопа Большого – мстительному Кальвину, подвиги таборитов – подвигам солдат Валленштейна, то это сущая правда... Народ – грубый, но искренний, фанатичный, но вдохновенный – объединился в секты, поэтические названия которых вам известны: табориты, оребиты, сироты, союзные братья. Этот народ – мученик своей веры – бежал в горы, где соблюдал со всей суровостью закон дележа и полнейшего равенства, верил в вечную жизнь душ, воплощающихся в обитателях земного мира, ждал пришествия и торжества Христа, воскресения Яна Гуса, Яна Жижки, Прокопа Голого и всех непобедимых вождей, проповедовавших свободу и служивших ей»¹⁴.

Основные события романов «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» происходят в XVIII в., породившем новую форму борьбы за торжество великих принципов Свободы, Равенства и Братства – тайные общества. В «Графине Рудольштадт» большое место занимает деятельность общества «Невидимых». Однако рождённые веком Просвещения тайные общества, по мысли писательницы, несут в себе неистребимые пороки, способные обратить благородные идеалы в свою противоположность. Разум, расчёт грозят внутренним перерождением тайных обществ, оказываются гораздо менее надёжной основой борьбы за идеалы Равенства, нежели стихия народной революции, подобной гуситской. Искреннее чувство выше холодного рационализма, пусть даже и наделённого учёностью и политическим опытом: «Консуэло! – обращается к главной героине романов граф Альберт, – Вы родились благочестивой и святой; более того – вы родились в бедности, неизвестности. И ничто не могло затуманить ваш разум, вашу совесть, ваше чувство справедливости»¹⁵. Заключительные строки «Графини Рудольштадт» – пророчество грядущей революции: «Я слышу над Францией громкий глас Исайи: “Восстань и осветись, ибо пришёл свет твой, и слава господня воссияла над тобой <...> И пойдут народы к твоему свету”. Табориты пели это на Таборе. Ныне же Табор – это Франция»¹⁶. В середине 1840-х гг., в обстановке назревавшей революции, эти слова звучали более чем актуально, сближая стихию народного восстания в Чехии в XV в. с событиями современности, а свойственный средневековым еретическим учениям мистицизм находил немало точек соприкосновения с духовной атмосферой Западной Европы первой половины XIX в.

Относительно степени глубины истолкования сущности гуситских событий в романах Жорж Санд высказывались различные суждения. Весьма любопытны, например, замечания П. Н. Ткачёва, лидера заговорщического направления русского народничества. Скрыв своё имя под псевдонимом П. Гр-ли, он резко отрицательно оценивает степень исторической достоверности образа гуситской эпохи в произведениях французской писательницы: «Жорж-Занд <...> никогда не ставила задачей своего творчества воспроизведение действительности. Большинство или, лучше сказать, все без исключения герои и героини её романов – люди совершенно абстрактные, отвлечённые от данного времени, места и общества. Как существа абстрактные, бесплотные, они могут с одинаковым удобством поместиться в каком им (т. е. автору) угодно уголке земного шара и быть современниками всех, кого пожелают: хотят – Гуса, хотят Наполеона I, хотят – Наполеона III или IV, или XXIV – это решительно всё равно»¹⁷. Впрочем, не менее сурово звучал и общий приговор творчеству Ж. Санд, вынесенный П. Н. Ткачёвым: «Не имея никакого воспитательного значения, романы Жорж-Занд ещё менее могут претендовать на значение “нравоописательное”, бытовое. Действительность в них постоянно идеализируется, изображаемые характеры заимствованы не столько из реальной жизни, сколько из собственной фантазии автора; герои и героини имеют лишь слабое сходство с настоящими людьми и представляют собою <...> не более как воплощение некоторых

человеческих чувств, преимущество чувства “любви”, в различных его формах и проявлениях»¹⁸. Причина столь негативных оценок видится в том явном предпочтении, которое отдаётся Жорж Санд стихии народного движения перед расчётливой деятельностью заговорщиков, для которых захват власти нередко (если не как правило) становится самоцелью.

Но гораздо больше было высказано суждений иного рода. Самая высокая оценка из них, что представляется в полной мере закономерным, принадлежит духовному антиподу П. Н. Ткачёва – Ф. М. Достоевскому, который назвал Жорж Санд «одной из самых ясновидящих предчувственниц счастливого будущего, ожидающего человечество». По определению великого русского писателя, она основывала «свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, <...> на стремлении его к совершенству и чистоте <...> Она верила в личность человеческую, <...> возвышала и раздвигала представления о ней всю жизнь свою – в каждом своём произведении»¹⁹.

Время показало правоту оценок Ф. М. Достоевского. Разумеется, великий русский писатель оценивал творчество Жорж Санд в целом, имея в виду прежде всего гуманистическое содержание её литературного наследия. Но и «гуситские страницы» романов «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» внесли в наследие Жорж Санд свой вклад, причём не только как образцы превосходной прозы, но и высказанными в них смелыми философско-историческими идеями, многие из которых намного опередили своё время и сохраняют свою актуальность до наших дней.

С одной стороны, романы Жорж Санд отмечены неизбывной верой в прогресс, в неизбежное торжество идеалов Свободы, Равенства и Братства. В то же время она высказывает очень важную мысль о трудности исторического прогноза, научного предвидения. Подводя итог рассмотрению идейных исканий XVIII в., Жорж Санд отмечала: «Все – и самые пылкие, и самые благоразумные – не могли предвидеть будущее <...> Они мечтали, эти благородные юноши, и всеми силами души старались претворить в жизнь свои мечты. Они были такими же детьми своего века, как ловкие политиканы и мудрые философы – их современники. Они так же дурно или так же хорошо, как те, другие, видели абсолютную истину будущего – эту великую незнакомку, которую каждый из нас представляет себе по-своему и которая обманывает всех нас, но всё-таки подтверждает нашу правоту в тот момент, когда является нашим сыновьям, облачённая в расцвеченную тысячью красок императорскую тогу, сшитую из лоскутков, некогда приготовленных каждым из нас. К счастью, каждое столетие видит будущее более величественным, ибо каждое столетие создаёт всё больше тружеников, способствующих его торжеству»²⁰.

Эти суждения очень созвучны, на наш взгляд, размышлениям одного из самых вдумчивых историков XX в., голландского учёного Й. Хёйзинги, который писал: «История ничего не может предсказывать, кроме одного: ни один серьёзный поворот в человеческих отношениях не происходит в той форме, в которой воображало его себе предшествующее поколение. Мы знаем на-

верняка, что события будут развиваться иначе, не так как мы *можем* их себе представить»²¹.

Есть ли в романе абсолютизация революционного пути преобразования общества, апология революционного насилия? Признавая право народа на революцию, писательница смотрит на вещи гораздо шире. Созданный писательницей образ Яна Жижки более чем далёк от идеализации – это не только искатель истины и непобедимый полководец, но и «кровожадный фанатик», «грозный слепец в круглой каске, заржавленном панцире, с окровавленной повязкой на глазах»²². Одним из кульминационных моментов повествования Жорж Санд является совпавшее с появлением главной героини романов на пороге Замка Исполинов, исполненное глубоким символизмом событие: молния поражает вековой дуб, именовавшийся «Гуситом». Во время гуситских войн дуб стал орудием жестокой расправы Жижки с беззащитными монахами: дерево было превращено в гигантскую виселицу для двадцати пяти жертв. Граф Альберт Рудольштадт, считавший себя потомком Жижки и полагавший, что он продолжает нести ответственность за совершённые далёким предком преступления, видит в гибели дуба символ искупления: «Мрачные картины канули в вечность; они перестали существовать вместе с дубом – орудием пытки, которое грозовой вихрь и небесный огонь повергли в прах. Вместо скелетов, которые раскачивались на его ветвях, я вижу цветы и плоды, колеблемые ветерком на ветвях нового дерева»²³. Искупление (по-испански – «консуэло»), а в конечном итоге – внутреннюю гармонию и семейное счастье приносит графу Рудольштадту «чистая, светлая душа» Консуэло.

Тем самым, как нам представляется, писательница выражает простую и ясную мысль: в сложном современном ей мире человек может обрести гармонию только внутри самого себя. Вопрос же о гармонизации отношений между людьми в обществе в целом остаётся делом будущего. По ёмкой характеристике Андре Моруа, Жорж Санд, «будучи католичкой, всегда была христианкой и верила в мистическое единение со своим богом; которая стала социалисткой – так же, как осталась христианкой, – по благодетству своей души»²⁴.

В заключение уместно, на наш взгляд, привести слова из одного из писем Жорж Санд: «Подобно тому, как в 50-м году нашей эры были христиане, сейчас я коммунистка. Для меня это идеал прогрессивного общества, религия, которая будет жить через несколько веков. Я не связываю себя ни с одной из современных формул коммунизма, так как они носят довольно диктаторский характер и уверенность, что могут утвердиться без содействия нравов, навыков и убеждений. Никакая религия не утверждается силой...»²⁵. Трудно не признать справедливость этих слов и сегодня, спустя более полутора столетий после их написания и появления в свет романов «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт».

Примечания

¹ См.: Реизов Б. Г. : 1) Жорж Санд и гуситы // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. 1957. Т. 16, вып. 4. С. 324–334; 2) Жорж Санд и крестьянско-плебейская революция в Чехии

// Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970. С. 249–265. Вторая публикация, вошедшая в сборник избранных трудов видного литературоведа, представляет собой исправленный и дополненный вариант первой статьи Б. Г. Реизова по интересующей нас проблеме.

² Достаточно вспомнить его монографию о французской исторической науке эпохи романтизма: Реизов Б. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956.

³ См.: Трескунов М. Жорж Санд. М., 1976. С. 127.

⁴ В числе тех, кто ознакомился с историей гуситов по очерку «Ян Жижка», как показывают вышеупомянутые факты, оказался и Карл Маркс.

⁵ См.: Трачевский А. Книжки о гуситах и Жорж Занд // Занд Ж. Ян Жижка. СПб., 1902. С. XLVIII–LV.

⁶ См.: Моруа А. Жорж Санд. Киев, 1988. С. 266.

⁷ Санд Ж. Графиня Рудольштадт. С. 52–53. При этом академик Штосс ссылается на авторитет Жака Ланфана (1661–1728), «проповедника её величества королевы и автора удостоенной одобрения истории гуситов». Перу жившего в Берлине французского протестантского пастора Ланфана действительно принадлежала книга по истории гуситского движения: Lenfant J. Histoire de la guerre des Hussites et du console de Basle. Utrecht, 1731.

⁸ См.: Моруа А. Жорж Санд. С. 265.

⁹ См.: Историография истории южных и западных славян. М., 1987. С. 223.

¹⁰ Имеется в виду король Вацлав IV из династии Люксембургов, правивший в Чехии в 1378–1419 гг.

¹¹ Санд Ж. Консуэло. Алма-Ата, 1991. С. 130–131.

¹² Там же. С. 148.

¹³ Там же. С. 302.

¹⁴ Там же. С. 293, 298–299.

¹⁵ Там же. С. 293.

¹⁶ Санд Ж. Графиня Рудольштадт. Махачкала, 1988. С. 496.

¹⁷ Гр-ли П. Жорж-Занд // Дело. 1875. № 5. С. 241.

¹⁸ Там же. С. 258.

¹⁹ Достоевский Ф. М. Несколько слов о Жорж Занде // Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973. С. 279–280.

²⁰ Санд Ж. Графиня Рудольштадт. С. 418–419.

²¹ Хейзинга Й. Homo ludens : (В тени завтрашнего дня). М., 1992. С. 357.

²² Санд Ж. Консуэло. С. 292, 304.

²³ Санд Ж. Консуэло. С. 120.

²⁴ Моруа А. Жорж Санд. С. 3.

²⁵ Цит. по кн.: Моруа А. Жорж Санд. С. 313.

Р. М. Жумашев
(Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова,
г. Караганда, Казахстан)

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА XX ВЕКА
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: ОТ СОВЕТСКОГО ОПЫТА
К СОВРЕМЕННЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРАКТИКАМ**

Художественная культура была важнейшим направлением грандиозной культурной трансформации, осуществлявшейся в годы ускоренного культурного строительства в национальных республиках. Развитие художественной культуры, зарождение новых форм искусства и литературы проходило в острой идеологической борьбе на протяжении 1920–1930-х гг. Жизнь художественной культуры протекала на фоне парадоксальных, взаимоисключающих процессов. С одной стороны, в эти годы была осуждена, а затем и физически истреблена тонкая прослойка дореволюционной национальной интеллигенции, заявившая о своем служении Советской власти и настойчиво отстаивавшая автономные права в области культуры и образования. С другой стороны, широкое развитие всех ступеней образования сопровождалось столь же широким приобщением народа к высоким видам искусства – театру, кинематографу, балету и т. д. Антиэлитарная направленность культурной политики сопровождалась массовой подготовкой национальных кадров, ставшей важнейшей составной частью политики коренизации. В то же время провозглашенный курс на всемерное развитие национальных культур с использованием родного языка сменился в 1930-е гг. унификацией и грубой русификацией, поставив национальные культуры перед угрозой денационализации.

Многие казахстанские исследователи больше внимания обращают на положительные стороны развития художественной и в целом всей культурной сферы. Так, в книге М. А. Айтбакиной «Взаимообогащение национальных культур развитого социализма» автор пишет, что «культурная революция в Казахстане привела к бурному развитию национальной по форме, социалистической по содержанию культуры. Она проходила на национальной основе путем усвоения прогрессивных традиций дореволюционной культуры, на национальном

языке»¹. М. А. Айтбакина права, когда обращает внимание современного читателя на то, что трансформация форм художественной культуры происходила на национальном языке. Ускоренное развитие национальных культур на основе национальных языков соответствовало ленинскому пониманию перспектив культурного прогресса национальных республик. Такой подход, как известно, отстаивали соратники В. И. Ленина – Н. К. Крупская, А. В. Луначарский.

Подобная направленность культурного прогресса соответствовала первоначальным революционным лозунгам и отвечала потребностям этнокультурного развития ранее угнетенных народов и преобладавшему общественному сознанию тех лет. Эти лозунги поддерживались представителями национальной интеллигенции, надеявшиеся на национальное возрождение. Однако вставшие в середине 1930-х гг. проблемы совмещения задач общегосударственной централизации и взаимопонимания, а также сохранения культурно-языковой неприкосновенности, не нашли адекватного разрешения. Противоречия между потребностями централизации и потребностями языковой идентичности были разрешены И. В. Сталиным, отказавшимся, исходя из прагматических соображений, от идей, которыми он руководствовался при написании брошюр по национальному вопросу и позже, когда он руководил Наркомнацем. Вместо разъяснения большинству населения действительной выгоды распространения русского языка в стране стала господствовать принудительность, возросшая даже с по сравнению дореволюционными временами.

Данное противоречие отмечал в 1936 г. и Л. Д. Троцкий в книге «Что такое СССР и куда он идет?». Он писал, что «культурные потребности пробужденных революцией наций нуждаются в самой широкой автономии. В то же время хозяйство может успешно развиваться только при подчинении всех частей Союза общему централистскому плану. Но хозяйство и культура не отделены друг от друга непроницаемыми переборками. Тенденции культурной автономии и хозяйственного централизма естественно вступают поэтому время от времени в конфликт. Однако противоречие между ними не является непримиримым». В резких оценках Л. Д. Троцкий характеризует положение художественной литературы после известных постановлений 1932 г.: «Борьба направлений и школ сменилась истолкованием воли вождей. Для всех группировок создана общая принудительная организация, своего рода концентрационный лагерь художественного слова»².

Резкая смена курса, последовавшая в политике И. В. Сталина в развитии языков и культур народов СССР, не нашла отражения в исторической литературе доперестроечного периода. Казахстанские исследователи истории культуры, вслед за своими коллегами из центральных научных организаций, долгие годы придерживались ограниченной критики И. В. Сталина, акцентируя внимание только на периоде репрессий и негативных сторонах культа личности. В те годы детального анализа всего спектра мероприятий сталинского руководства в национально-культурной сфере не было. Декларативные заявления с высоких партийных трибун о решенности национального вопроса в СССР не

способствовали объективному анализу реальных проблем истории советского национально-культурного строительства в довоенный период.

Вместе с тем следует отметить, что историография художественной культуры советского Казахстана насчитывает довольно обширный круг исследований. В числе таких исследований можно привести работы советских обществоведов, в которых затрагиваются различные вопросы развития художественной культуры как одного из ведущих факторов культурного сближения советских наций. Это коллективный труд «Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях», монография Т. Ю. Бурмистровой «Закономерности и особенности развития социалистических наций в условиях строительства коммунизма», труды А. И. Головнева, М. С. Джунусова, М. И. Куличенко, Н. Джандильдина, Р. Б. Сулейменова³.

Многочисленные и содержательные работы посвящены истории развития музыки и новых музыкальных жанров, истории поступательного развития киноискусства, зародившегося в Казахстане в советские годы. Новым явлением художественной культуры в жизни казахстанцев стало и театральное искусство. Театральное искусство и художественная литература стали жанрами, в которых национальные формы искусства и художественного слова получили прогрессивную трансформацию. Нельзя сказать, что у казахов вовсе не было театрального искусства. Были обрядовые представления, и было то, что вполне можно назвать народным театром. Современному театру Казахстана чуть более 75 лет, и он значительно моложе русского, которому более 200 лет. Главный режиссер Казахского государственного академического театра им. Мухтара Ауэзова Т. Жаманкулов, говоря о национальном театре Казахстана, отметил, что «у нас русская театральная школа, и мы этим гордимся, потому что это лучшая школа в мире. И актерская школа, и режиссерская, и сама организация театрального дела – все это у нас русское. И хорошее»⁴. Эта оценка нашего современника и признанного мэтра театрального искусства как нельзя лучше демонстрирует результат помощи и поддержки русских коллег по сцене в деле становления и развития театрального искусства современного Казахстана.

В монографии Р. Б. Сулейменова «Ленинские идеи культурной революции и их осуществление в Казахстане»⁵, явившейся крупным обобщающим исследованием истории строительства современной культуры в Казахстане, проблемам развития художественной культуры было уделено значительное место. В этой работе нашли глубокое осмысление проблемы утверждения метода социалистического реализма в казахской художественной культуре. Развитие художественной культуры показано автором на материалах литературы Казахстана, театрального, музыкального и изобразительного искусств. Так, говоря о зарождении изобразительного искусства, Р. Б. Сулейменов справедливо отметил решающую роль русской художественной школы и помощь Н. Г. Хлудова в становлении национального изобразительного искусства Казахстана. В наше время имя выдающегося ученика Н. Г. Хлудова, А. Кастеева, носит национальная художественная галерея и музей изобразительного искусства Казахстана.

Художественная литература и искусство были областями духовной жизни, в которых получили свое новое развитие традиционные жанры устного народного поэтического творчества. Художники слова во многих произведениях советской прозы и драматургии органично использовали многие элементы и традиции фольклора.

Необходимо отметить, что развитие литературы на принципах социалистического реализма в 1930-х гг. проходило в значительной степени на художественном освоении революционной темы. Доминирование революционной темы в творчестве писателей Б. Майлина, С. Сейфуллина, С. Муканова, М. Ауэзова отмечено в книге «Советская культура в реконструктивный период. 1928–1941»⁶. В ней же отмечен и выдающийся вклад Джамбула Джабаева в освоение принципов социалистического реализма носителями устной поэтической традиции.

Во всех работах, посвященных истории художественной культуры Казахстана, отмечено, что ее формирование проходило в острой идейной борьбе. Борьба литературных течений, имея острый идейный характер, часто приобретала и личный характер. Обострению такой борьбы способствовала и политика руководителя Казкрайкома ВКП(б) Ф. Голощекина по отношению к национальной интеллигенции Казахстана. Идеино-эстетическое противостояние художественных сил использовалось партийным руководством республики тех лет в борьбе и в целях дискредитации художественной интеллигенции. Выдвинутые Ф. Голощекиным лозунги о необходимости борьбы с «правым» уклоном, «национализмом», «садвакасовщиной» свидетельствуют о придании этой кампании исключительно политического характера.

Отстранение представителей национальной интеллигенции, большая часть которой была активными участниками движения Алаш, от участия в общественно-политической жизни республики направлялось самим И. В. Сталиным. 29 мая 1925 г. в своем письме по поводу газеты «Ак жол» – органа главного партийного комитета республики – он писал: «Я против того, чтобы беспартийные интеллигенты занимались политическим и идеологическим воспитанием киргизской молодежи. Не для того мы брали власть, чтобы политическое воспитание молодежи предоставить буржуазным беспартийным интеллигентам. Этот фронт должен быть оставлен целиком и без остатка за коммунистами»⁷. Письмо фактически стало прямым указанием для начала карательных мер против национальной интеллигенции. Газета «Ак жол» была закрыта, национальная периодическая печать поставлена под контроль цензуры.

В концепции социалистического реализма большое значение приобретает вопрос о национальном своеобразии художественных культур. Теоретическая и эстетическая мысль 1930–1950-х гг. сводила национальные различия в искусстве лишь к отражению географических, климатических условий жизнедеятельности этноса. Носителем национального своеобразия литературы и искусства объявлялся язык народа. Ограничение сферы проявления этнического в художественной культуре лишь языком значительно сужало границы проблемы национального своеобразия художественной культуры.

Проблема национального своеобразия социалистического искусства в идейно-эстетической концепции социалистического реализма в 1930-е гг. была решена на основе сталинской формулы «советская культура социалистическая по содержанию, национальная по форме». Национальная форма сводилась главным образом к языку, отдельным национально-художественным своеобразным приемам и этнографическим элементам.

Сложным оказалось разрешение проблемы традиций и новаторства в художественной культуре Казахстана. В литературе это проявилось в отрицательных оценках творчества дореволюционных писателей и поэтов (например, Абая), неприятии фольклора. Упаднической и не способной передать динамизм социалистического строительства объявлялись размышления и лирика М. Жумабаева в статье «Об упаднических настроениях в национальной художественной литературе» на страницах журнала «Коммунистическая революция»⁸. Подобные оценки были примером типичного отношения тех лет ко всему дореволюционному культурному наследию. Абсолютизация классового, распространение тезиса о классовости языка, а также рассмотрение фольклора не по жанрам, а в плане историческом, привели к насилию над материалом, искусственности и вульгаризации. На фоне «красногвардейской атаки на капитал» психология штурма и натиска породила в сознании современников представления о ненужности всего традиционного в культуре, его отсталости. Нигилистические настроения базировались на пафосе и размахе реконструкции экономики, масштабных преобразований социальной сферы.

В послевоенные годы продолжалось утверждение идейно-политического и стилистического монизма. Творчество казахских писателей развивалось главным образом в трех тематических направлениях: созидательный труд советских людей, героика Великой Отечественной войны и историческое прошлое. Соответственно этому писатели создавали образы современников – человека героического труда, борца за мир, воина-фронтовика, защитника Родины и образ исторического деятеля, чьи деяния были связаны с судьбами народных масс. Ведущим героем был человек труда, положительный герой литературы тех лет – передовик и новатор производства.

Одним из первых таких произведений был роман С. Муканова «Сыр-Дарья» (1947 г.). Затем вышли в свет роман Г. Мусрепова «Миллионер», поэма Х. Ергалиева «Девушка из нашего аула», пьеса А. Абишева «Дружба и любовь». Одним из первых произведений прозы о войне тогда был роман Г. Мусрепова «Солдат из Казахстана». В 1949 г. в Москве прошла декада казахской литературы.

Образы рабочих-казахов были созданы в поэмах Т. Жарокова «Сталь, рожденная в степи», Д. Абишева «Огненные волны». Роман Г. Мусрепова «Пробужденный край» повествовал о рождении казахского рабочего класса. Со второй половины 1950-х гг. одной из ведущих тем в литературе становится тема целины. Всесоюзную известность получили очерки о целине С. Муканова, М. Ауэзова, И. Шухова. В 1954 г. состоялся 3-й съезд писателей Казахстана. Он подвел итоги работы писателей за последние 15 лет.

В этот период была закончена автобиографическая повесть С. Муканова «Школа жизни» и его пьеса о Чокане Валиханове. Появилась поэма К. Бекхожина «Мариям Жагор кызы» (Мария, дочь Егора).

В послевоенные годы в поэзии появились имена Г. Каирбекова, А. Шамкенова, И. Мамбетова, Т. Бердиярова, А. Дуйсенбаева, К. Идрисова. В произведениях К. Аманжолова, Ж. Саина, Ж. Молдагалиева, А. Сарсенбаева, Д. Абилева, М. Алимбаева образно и ярко показывалась освободительная борьба многонациональной Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков. Военно-патриотическая тема заняла важное место в творчестве казахских писателей. Традиции народной поэзии, песен Джамбула продолжали обогащаться Кененом Азербайевым, Омаром Шипиным и другими продолжателями устного народного творчества. Дальнейшее развитие получили айтысы, в творчество акынов сильнее, чем прежде, проникали элементы письменной поэзии.

Советскую литературу Казахстана всесоюзный читатель знал как многонациональную. Если со времени первой декады литературы и искусства в Москве (1936 г.) книги русских авторов насчитывались единицами, то только в конце 1950-х гг. в республике было издано свыше 150 книг русских писателей Казахстана. Из них 20 были изданы московскими издательствами.

Послевоенные годы в истории казахстанской русской литературы были периодом развития всех жанров, разрабатывавших самые разные сюжеты. В эти годы продолжали появляться произведения о Великой Отечественной войне. Например, повесть «На подступах» (1949 г.) офицера-фронтовика Д. Снегина, написанная на основе документальных материалов. Создавались произведения о послевоенной деревне и жизни рабочих: И. Шухов «Облик дня» (1950 г.), В. Ванюшин «Точка опоры» (1952 г.), Д. Черепанов «Крутизна» (1955 г.), Б. Петров «Светлый край» (1953 г.), Н. Пичугин «Зори над городом» (1951 г.). Продолжали публиковаться произведения на исторические темы. В 1948 г. вышел роман В. Анова «Ак-Мечеть», В. Кузнецова «Человек находит свое счастье» (1953 г.).

В поэзию после войны пришли В. Антонов, Д. Рябуха, Л. Скалковский, В. Копытин, В. Смирнов и другие.

Уйгурская советская литература после войны наряду с известными в то время мастерами (Х. Абдуллин, И. Бахтия, Б. Аршидинов), пополнилась такими именами, как М. Зулпыкаров, Д. Ясенов, Р. Разиев. Основной темой уйгурских писателей была тема революции, коллективизации, Великой Отечественной войны. В 1949 г. письменность уйгур была переведена на кириллицу.

Руководствуясь союзными постановлениями, ЦК Компартии Казахстана потребовал от Казахского академического театра драмы «очистить его от порочных в идеологическом отношении и малохудожественных пьес». Эти задачи были озвучены в постановлении ЦК КП(б) Казахстана от 18 октября 1949 г. «О состоянии и задачах дальнейшего развития театрального искусства республики». Театру указывалось «освещать грандиозные социалистические преобразования в республике». Как и требовалось, основное внимание уделялось современной советской тематике. Были поставлены пьесы о рабочем классе,

тружениках колхозного села и интеллигенции. Были поставлены и спектакли, посвященные казахским просветителям: Абаю, Чокану, певцам – Акан-сере и другим. В 1949 г. была поставлена инсценировка по роману «Абай». Спектакль был поставлен и исполнен на высоком художественном уровне. Исполнители главных ролей, К. Куанышпаев и Е. Умурзакова, были удостоены Сталинской премии. Одновременно осуществлялись постановки русской и зарубежной классики. В 1956 г. на сцене оперного театра была поставлена уйгурская опера «Назугум», написанная первым профессиональным композитором-уйгуром К. Кужамьяровым.

В 1950-е гг. слабой была материальная база многих учреждений культуры. Так, в 1955 г., кроме оперного театра, столица Казахстана еще не имела специального театрального здания. В помещении клуба одновременно работали казахский и русский драматический театры. Театр юного зрителя, кукольный театр, уйгурский театр не имели помещения. Кинотеатров явно не хватало. Не было современных стадионов и домов культуры.

В 1970–1980-е гг. в жизни литературы произошло много важных общественных и политических событий. Проходили съезды писателей СССР и Казахстана, издавались постановления ЦК КПСС о литературно-художественной критике, о работе с творческой молодежью. Все эти события оказывали свое влияние на творчество казахстанских писателей. В стихах С. Мауленова, Х. Ергалиева, Г. Орманова, А. Тажибаева получила дальнейшее развитие ленинская тематика. В творчестве Х. Бекхожина, А. Сарсенбаева, Ж. Молдагалиева, М. Алимбаева звучала тема патриотизма и интернационализма. Вечным вопросам бытия, месту человека в мире, историческим судьбам народа были посвящены произведения М. Макатаева, А. Тажибаева, К. Мырзалиева, О. Сулейменова, К. Салыкова. В 1974 г. Ж. Молдагалиев за поэмы «Орлиная степь» и «Сель» был удостоен Государственной премии СССР.

В этот период роман обогатился жанровым разнообразием, значительно поднялся его художественный уровень. Много романов было посвящено исторической тематике. Это романы И. Есенберлина «Ярость», «Алмазный клинок», А. Кекильбаева «Плеяды», А. Алимжанова «Стрела Махамбета», А. Абишева «Молния», М. Магауина «Вешние снега» и другие. Трилогия И. Есенберлина «Кочевники» разворачивает историческую панораму жизни казахов XV–XVIII вв. А. Кекильбаев в произведении «Плеяды» повествует о присоединении Казахстана к России. Трилогия А. Нурпеисова «Кровь и пот» в 1974 г. была удостоена Государственной премии СССР и рассказывает о жизни аральских рыбаков до октября 1917 г.

Литераторы создали много интересных произведений для сцены. Наряду с М. Ауэзовым и Г. Мусреповым, на театральных сценах шли постановки пьес Т. Ахтанова, С. Шаймерденова, Д. Исабекова, Р. Сейсенбаева, С. Жунусова, О. Бокеева.

Важным событием литературной жизни второй половины 1980-х гг. стало возвращение в научный и читательский оборот творческого наследия репрес-

сированных писателей. В духовную жизнь современников были возвращены произведения Ш. Кудайбердиева, Ж. Аймаутова, М. Жумабаева, А. Байтурсунова.

Нравственные, социальные, философские проблемы занимали творчество поэтов В. Смирнова, А. Елкова, М. Чистякова, Г. Круглякова, Н. Чернова, И. Потахина. Историко-революционные, историко-патриотические, социально-этические романы занимали важное место в творчестве казахстанских русских писателей. В. Анов опубликовал романы «Юность моя» (1964 г.), в 1970 г. «Выборгская сторона», в 1977 г. «Каширская легенда». Г. Свиридов в основу романа «Дерзкий рейд» положил реальные события из жизни А. Жангильдина (1976 г.). Д. Снегин продолжал историко-революционные темы, начатые в 1950-е гг., – были опубликованы романы «Мы из Семиречья», «Через наши сердца», «На краю света». О. Меркулов в романах «Западнее Днепра», «Комбат Ардатов», «На двух берегах» (1975–1978 гг.) раскрыл образы воинов Великой Отечественной войны.

В годы перестройки писатели обращались к «белым пятнам» отечественной истории, темам застоя в экономике, чиновничьего засилья. И. Щеголихин в 1984 г. опубликовал роман «Дефицит», 1988 г. «Должностные лица». М. Симашко возвращает читателя к истории в романах «Колокол» (1982 г.), «Семирамида» (1987–1988 гг.). Большой интерес читателей вызвали литературные воспоминания Д. Снегина «Встречи без расставанья» (1986 г.) о встречах с И. Эренбургом, А. Твардовским, Вс. В. Ивановым.

В 1960-е гг. заявила о себе казахстанская немецкая литература. Стала выходить на немецком языке газета «Фройндшафт» и была создана редакция по изданию литературы на немецком языке. На шестом съезде писателей Казахстана (1971 г.) был создан Совет по немецкой советской литературе. 11 немецких писателей являлись членами Союза писателей СССР. Наиболее популярным жанром была поэзия. В 1969 г. вышел поэтический сборник «Стихи» К. Вельца, «Призвание» И. Ваккера (1977 г.), «Начало вечного» Э. Ульмер (1988 г.) и другие.

Видное место в немецкой литературе заняли художественные переводы. Поэт И. Пфедфер переводил О. Сулейменова, К. Лейс – К. Мырзалиева и Ж. Молдагалиева. На немецком языке вышли «Казахские народные сказки», «Казахские новеллы». Казахские мотивы заняли большое место в творчестве Г. Бельгера, Реймгена, Гейнца, Гассельбаха. Создание немецкого драматического театра (1981 г.) стимулировало развитие немецкой драматургии.

С 1977 г. при Союзе писателей Казахстана начала работу секция корейской литературы. В 1989 г. 9 писателей, проживавших в республике, стали членами Союза писателей. Тематической основой корейской казахстанской литературы являлась советская действительность. В своем творчестве она опиралась на богатые традиции литературы народов Казахстана, возрождая одновременно древние традиции национальной литературы. Видный писатель Ким Дюн (1920–1980 гг.) 50-летию Казахстана посвятил поэму «Алия», в которой вос-

певал дружбу народов. В 1964 г. он опубликовал роман «Процесс о ста пятидесяти тысячах вон», посвященный революционной борьбе патриотов. В 1971 г. роман был опубликован в Москве под названием «Корейская сосна». Ким Дюн перевел на корейский язык произведений А. Фадеева, Б. Полевого. На сцене корейского театра музыкальной комедии шли пьесы заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Цая Еня (1906–1981 гг.) «Дружба», «Радостная жизнь», «Рассвет», «Радуга». С 1937 г. в корейском театре было поставлено более ста пьес корейских авторов. Кроме того, ставились пьесы казахских и русских авторов. Произведения корейских авторов Казахстана публиковались в коллективных сборниках в 1958, 1971, 1973, 1982 гг.

В общественно-политической и культурной жизни тех лет книга О. Сулейменова «Аз и Я» вызвала неоднозначную реакцию. В журналах «Звезда», «Москва», «Молодая гвардия» была высказана резкая критика. Ее назвали националистической. М. А. Суслов, контролировавший идеологические вопросы в ЦК КПСС, назвал ее книгой «с явно антирусской и националистической направленностью». Из-за позиции М. А. Сулова тогда в Казахстане чуть не получился казахский диссидент – Олжас Сулейменов. История с книгой «Аз и Я» в те годы благополучно завершилась, а О. Сулейменов был избран членом ЦК Компартии Казахстана. Сталинский ортодокс М. А. Суслов спустя почти 30 лет не допускал иных трактовок истории взаимоотношений славянских и тюркских народов, утвердившихся в советской историографии еще со второй половины 1940-х гг.

В послевоенные годы, особенно после XX съезда партии, многонациональная литература и искусство Казахстана создали немало произведений, которыми мы вправе гордиться. Никакие трудности не могли помешать формированию богатой многонациональной культуры Казахстана. Она была вызвана к жизни революцией 1917 г., и верность идеалам равенства и новой жизни она пронесла через все испытания. Можно смело утверждать, что в литературе, изобразительном искусстве, в музыке, кинематографе, театре у нас есть своя классика советского периода, сохранившая лучшие традиции национального мировосприятия и обогатившая их новыми открытиями в области формы, в постижении проблем человека и его судьбы. Роль художественной мысли, художественного знания в общественной жизни республики неуклонно возрастала.

Однако, как бы ни значительны были достижения нашей культуры, чувство неудовлетворенности оставалось. Нельзя отрицать царившего тогда чувства благодушия, гражданской пассивности, рапортомании о достижениях культуры по случаю юбилейных торжеств и праздников. Количественные показатели зачастую подменяли качественные, господствовал бюрократический стиль.

В то же время, жизнь культуры в период застоя не может быть охарактеризована несколькими критическими словами, равно относящимся ко всем, кто жил и работал тогда. Всегда, всюду и во все времена были люди, работавшие честно, по совести, с полным осознанием своей ответственности человека и художника.

Театральная жизнь 1960–1980-х гг. была насыщена разнообразием жанров и тематических направлений. Продолжались постановки национальных пьес о современности, широко ставились произведения советской и зарубежной драматургии, расширялся классический репертуар. В каждом областном центре Казахстана работали казахские и русские театральные коллективы.

Современные театры Казахстана накопили богатый опыт, их отличает разнообразие направлений, форм и жанров. Театры плодотворно развивают народные художественные традиции, творчески осваивают классическое наследие, используют достижения современного сценического искусства, вносят свою лепту в современную театральную культуру.

Творческой удачей казахского кинематографа стали детские фильмы «Меня зовут Кожа», «Безбородый обманщик». Фильмы «Сказ о матери», «Земля отцов», «Ангел в тюбетейке» свидетельствовали о росте и зрелости кинематографа. В кинематографическую жизнь включились выпускники ВГИКа М. Бегалин, А. Карпов, А. Карсакбаев, Ф. Абсалямов, А. Нугманов, С. Ходжиков и другие. Были созданы документальные кинопортреты Махамбета, Абая, Джамбула, Кенена Азербаева, Мухтара Ауэзова, Дины Нурпеисовой, Курмангазы, К. Байсеитовой, К. Сатпаева.

В 1970-е гг. были созданы ленты «Кыз Жибек», «Конец атамана», «Кровь и пот», «Погоня в степи», «Транссибирский экспресс», «Вкус хлеба».

В 1980-е гг. на Всесоюзных и международных кинофестивалях призов были удостоены фильмы «Двое на мотоцикле» (С. Апрымов), «Балкон» (К. Салыков), «Игла» Р. Нугманов, «Выше гор» (Б. Омаров), «Волчонок среди людей» (Т. Теменов), «Султан Бейбарс» (Б. Мансуров).

Во второй половине XX в. литература и искусство казахов становятся русскоязычным. Русскоязычный опыт культуры казахов в XX в. имеет и свои положительные качества. Он сделал доступным для нескольких поколений культурный опыт русского народа, расширил языковое поле культуры казахов. Опыт использования русского языка как языка общения, как канала для знакомства с научной мыслью и интеллектуальной традицией других народов и в наши дни остается исключительно ценным. Чингиз Айтматов оценил роль русского языка как «дар истории». По словам великого писателя и гуманиста, такая оценка – результат длительных размышлений конца XX – начала XXI в.

Ярким представителем новой литературы является Олжас Сулейменов. Он автор многих поэтических сборников, научных трудов «Аз и Я», «История письма» (1998). Его творчеству присущи тенденции модернизма, сложность поэтических ассоциаций, сплав казахских, русских и мировых художественных традиций. В 1989 г. он стоял у истоков массового антиядерного движения «Невада-Семипалатинск». Призыв поэта и голос народа Казахстана были услышаны, и 28 августа 1991 г. Указом первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева Семипалатинский ядерный полигон был закрыт.

По предложению О. Сулейменова режиссер Сергей Соловьев в 1984 г. набрал в свою студию группу из 20 человек. Выпускники студии С. Соловьева

стали зачинателями «казахстанской новой волны» в киноискусстве Казахстана. С. Апрымов, Р. Нугманов, Г. Каракозов, А. Амиркулов, Д. Омирбаев создали индивидуальное стилевое кино. Их произведения получили признание многих международных кинофорумов. «Новая казахстанская волна» стала проводником постмодернизма в современном киноискусстве. Постмодернизм возник в западноевропейской культуре как осознание ограниченности социального прогресса и опасения общества уничтожения самого времени и пространства культуры. Характерные черты постмодернизма – поиски универсального художественного языка, сращивание различных художественных направлений, «анархизм стилей», их бесконечное многообразие, коллажность. Синкретизм стал основой для появления постмодернизма в кинематографе Казахстана и распространения его в культуре Казахстана конца XX в. Кинематограф способствовал рождению первого казахстанского телесериала «Перекресток» (режиссер А. Карпыков, сценарист Л. Ахинжанова). Родилось творческое сотрудничество кинорежиссеров и телевидения. Киноработники привнесли в телевидение новые формы подачи материала, новый стиль.

Во второй половине прошедшего столетия в изобразительном искусстве появилась первая женщина-казашка. Полотна Айши Галимбаевой близки по духу исконно казахскому искусству своей декоративностью. Ее традиции продолжает художница Сауле Сулейменова и другие.

Художники Е. Тулепбаев, С. Тюлькиев, А. Аканаев – представители «новой реалистичности» на фоне постмодернистских веяний – объявили основой своего искусства натуралистические тенденции. Новые художественные тенденции, рыночные отношения способствовали созданию сети новых художественных галерей – «Тенгри Умай», «Авангард», «Улар», «Трибуна».

Тенденции постмодернизма воплотил на своей сцене и русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова. Спектакль Рубена Андриасяна «Амадей» (1990 г.) отразил эти веяния и в театральном искусстве Казахстана.

В 1990-е гг. были открыты архивы трагически известного Карлага. Исследователям истории искусства региона удалось собрать и выпустить альбом и книгу «Когда искусство уходит из памяти...» (Караганда, 2001 г.). В них представлены картины репрессированных художников А. И. Артобатской, А. Л. Чижевского, Л. Э. Гамбургера, В. А. Эйфорта, П. Фризен и других.

В 1988 г. была защищена кандидатская диссертация С. А. Куандыковой «Художественная интеллигенция Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»⁹. В этой диссертации нашли отражение вопросы перестройки деятельности учреждений искусства и творческих союзов в связи с военными условиями, приведены количественные изменения в составе художественной интеллигенции, показана деятельность эвакуированных учреждений культуры. Художественная культура в качестве самостоятельного вопроса в работе не выделена и поэтому не рассматривалась.

В 1990-е гг. был подготовлен ряд кандидатских диссертаций, посвященных истории деятельности творческих союзов Казахстана в 1920–1940-е гг.¹⁰, куль-

турной жизни отдельных регионов Казахстана¹¹, где затронуты отдельные сюжеты из истории художественной жизни, организационной деятельности профессиональных организаций писателей, художников и музыкантов.

После известных решений партийных органов Казахстана о реабилитации творчества репрессированных поэтов и писателей Ш. Кудайбердиева, продолжателя поэтических традиций Абая, М. Жумабаева, которого называют казахским Есениным, Ж. Аймаутова и других стали публиковаться произведения, долгие годы находившиеся в спецхранах. Феномен «изъятый» литературы поставил ученое сообщество перед необходимостью создания новой модели литературного процесса.

В 1991 г. в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова АН КазССР прошла научная конференция на тему «Казахская литература 20–30-х гг.»¹². Ученые-филологи высказали свое мнение о методологических проблемах изучения истории казахской литературы 20–30-х гг. XX в., о необходимости подготовки академического издания трудов репрессированных писателей и о создании объективной истории развития казахской литературы в советский период. Развитие прозы и поэтического жанра, литературные дискуссии 1920-х гг. также стали темами, вынесенными на обсуждение участников конференции. Важнейшим итогом этой конференции стала намеченная программа изучения и издания творческого наследия репрессированных писателей и поэтов и включения их в литературный и исторический контекст XX столетия.

Проблемы эстетических ценностей художественной культуры казахского народа разрабатывались главным образом в работах казахстанских литературоведов, искусствоведов, культурологов. Здесь хотелось бы отметить работу Б. Р. Казыхановой «Эстетическая культура казахского народа»¹³, в которой прослеживается процесс формирования и развития форм и типов казахского искусства и их выражение в эстетической культуре народа. В этой работе раскрывается эволюция художественной культуры казахов и дан анализ эстетической категории прекрасного. При этом основное внимание сосредоточено на анализе основных видов устно-поэтического творчества. Автор подчеркнул, что уровень развития, характер экономических, социальных отношений, природные условия оказывают свое воздействие на эстетическую культуру народа.

Традиционные ценности эстетической культуры проанализированы в работе К. Ш. Нурлановой «Эстетика художественной культуры казахского народа»¹⁴. В ней автор предпринял попытку проследить основные проблемы формирования и развития художественной культуры и своеобразие эстетического восприятия. Основное внимание автор уделит исследованию категорий эстетического в фольклоре на примере творчества акынов-жырау (сказителей). Автор обосновывает принципы исследования таких особенностей традиционного казахского искусства, как изустность, сотворчество, импровизация, сакральность слова, общение. Многие идеи автора, выдвинутые в этой работе, получили развитие в другой его работе – «Человек и мир. Казахская национальная идея»¹⁵.

Проблемы художественной культуры рассматриваются в книге М. Х. Балтабаевой «Современная художественная культура Казахстана»¹⁶. В этой работе автор рассматривает традиционное и современное в художественной культуре как социальный феномен, имеющий огромный потенциал развития. Они рассматриваются им как универсальные понятия, синтезирующие весь комплекс культурно-творческой деятельности. Особое внимание уделено автором проблеме традиции и преемственности в генезисе казахской культуры, иерархии национальных и общечеловеческих ценностей.

Коллективная монография, написанная в советские годы и опубликованная в 1993 г. «Кочевники. Эстетика. Познание мира традиционным казахским искусством»¹⁷, на материалах всего художественно-эстетического наследия – фольклора, традиционного искусства, литературы, археологических данных – раскрывает систему взглядов на окружающую социальную и эстетическую действительность.

Современный взгляд на традиционную культуру, состоящий в признании самоценности любой культуры, обуславливает необходимость преодоления этнографической узости в изучении всего комплекса социокультурной регуляции традиционалистского общества. Увидевшая свет книга Н. Шахановой «Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки)»¹⁸ значительно углубила современное понимание образа традиционного жилища, одежды как знаковой системы, места и значения ритуалов в системе традиционного жизнеобеспечения казахов. Этнологическая интерпретация базовых категорий традиционной культуры в работе сопровождается обширным архивным материалом и этнографическими описаниями. Вместе с тем, автору не удалось преодолеть рамки этнографической парадигмы в интерпретации всего комплекса жизнеобеспечивающих культовых, знаковых и ритуальных систем традиционной культуры кочевого социума. Исследование Н. Шахановой, на наш взгляд, еще раз продемонстрировало недопустимость пренебрежения к материальной культуре народа. К. Маркс высказал довольно перспективную для познания и искусства идею, когда увидел в вещах материализованную психологию народа: в предметном богатстве мира, народа (плодах труда, производства) – развернутую книгу человеческой психики, в том числе и национальной¹⁹.

В связи с появлением новых этнологических интерпретаций традиционной культуры необходимо заметить, что позитивным итогом такого поворота может стать, на наш взгляд, разработка проблемы дореволюционного культурного наследия. Новые этнологические, социологические и культурологические интерпретации будут способствовать, по нашему убеждению, преодолению абсолютного характера тезиса об отсталости казахской культуры до революции 1917 г. Признание самоценности каждой культуры, вносящей свои краски в культурную панораму эпохи, взамен императивного стереотипа об отсталых и передовых культурах требует новой исследовательской культуры и иных культурологических координат.

Исследованию эстетических проблем казахской культуры посвятили свои работы также и М. О. Ауэзов «Времен связующая нить»²⁰, М. Каратаев «Эстетика и эпос»²¹, М. Базарбаев «Эстетическое богатство нашей литературы», Г. Шалабаева «Этнос. Культура. Самосознание»²². Культурологическое освоение художественно-эстетического наследия казахского народа продолжено в монографии «Культурные контексты Казахстана: история и современность»²³. Все эти исследования широко привлекают данные литературных источников и являются комплексными синтезирующими описаниями. Они не утратили своей ценности для современного познания художественного историко-культурного процесса изнутри – через человека, через проникновение в самосознание людей изучаемой эпохи, в повседневные условия их существования. Ценность таких историко-литературных исследований состоит в том, что они способствуют пониманию жизни и образа мыслей людей и народов.

Сочинения современных казахских писателей М. Шаханова «Заблуждение цивилизации (Сага о нравах эпохи)»²⁴, О. Сулейменова «Язык письма», выпуски оригинального альманаха «Тамыр» («Корни») под редакцией А. Кодара, произведения А. Кекильбаева, О. Бокеева стали объектом культурологического и философского анализа в кандидатской диссертации А. Ш. Алимжановой «Эстетические ценности казахского народа»²⁵. Автор поставила своей целью исследование содержания эстетических ценностей на основе сравнительного анализа общечеловеческих и национальных этнических ценностей. В итоге, думается, что автору удалось показать иерархию и органическое единство этих категорий в системе эстетических ценностей.

История художественной культуры Казахстана в исследованиях современных казахстанских авторов представлена в качестве составной части общей истории культуры, иллюстрирующей изменения в духовной жизни казахстанцев на идейно-эстетической основе метода социалистического реализма. История развития художественной культуры оказалась как бы растворенной в общей картине истории культуры Казахстана советского периода. В указателе диссертаций по истории Казахстана (1935–1985 гг.), изданном Институтом истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова в 1988 г., приведены названия около 1300 диссертационных работ²⁶. Среди них нам не удалось найти исследований историков, посвященных истории художественной культуры. В то же время существует обширная искусствоведческая литература²⁷, труды по истории литературы, исследования и воспоминания по истории развития кино²⁸, музыкального и театрального искусства²⁹. Несмотря на их известную односторонность, эти работы, написанные в большинстве своем непосредственными участниками культурного строительства советского периода. Они сохраняют свои достоинства как свидетельства очевидцев и как труды, воссоздающие различные сюжеты культурной жизни Казахстана.

Таким образом, можно констатировать, что история художественной культуры советского Казахстана все еще не стала предметом специального исторического исследования. В казахстанской историографии отсутствуют обобщаю-

щие труды по истории развития художественной культуры в целом. Не созданы монографические исследования, показывающие взаимоотношения власти и художественной интеллигенции в различные периоды истории XX в.

В отличие от российских исследователей, опубликовавших в последнее десятилетие новые работы по истории подготовки кадров художественной интеллигенции³⁰, истории музыкального искусства, художественной жизни довоенного периода (1917–1941 гг.)³¹, истории киноискусства, истории художественной культуры периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.³², взаимоотношениям власти и художественной интеллигенции в 1950–1960-е гг.³³, казахстанские историки не развернули широких исследований по всему спектру проблем истории художественной культуры республики в годы Советской власти. Большинство кандидатских диссертаций, написанных в последнее десятилетие и посвященных истории творческих союзов, истории художественной интеллигенции в советский период, не преодолели ограниченности концепции тоталитаризма и не вышли за рамки односторонней критики издержек, негативных и не завершенных сторон культурных преобразований.

Думается, что неверным является мнение, что изучением культурного строительства в духовной сфере должны заниматься только литературо-, искусство-, театро- и прочие «ведь». Совершенно очевидно, что у историков в этой сфере существует свой определенный аспект изучения. Историкам не нужно заниматься анализом литературных произведений или специальным разбором спектаклей и кинофильмов. Но вопросы общественной роли литературы и искусства, их воздействия на массовые слои интеллигенции и на другие социальные группы общества, вопросы роста народной культуры, форм и методов партийного и государственного руководства художественной жизнью – все это тематика исторических исследований, и она в казахстанской историографии исследуется в настоящее время, по нашему мнению, недостаточно.

Из всех форм общественного бытия и сознания народа именно художественное творчество во всех своих проявлениях осуществляет и представляет нераздельную целостность всех пластов народной жизни, всех свойств и способностей человека. Следовательно, постигая художественную культуру народа со стороны образности, характеров, конструкций и т. д., мы приближаемся к знаниям о народном мирозерцании в целом. Художественные произведения дают уникальную возможность для исследования как раз национального восприятия и преображения мира. Писатель, художник, музыкант, актер творят и одновременно познают национальный космос. При этом только современное состояние того или иного народа или культуры не могут быть основой при исследовании его национального образа мира. Только движение исследовательской мысли по орбитам древности, классики и современности способно выделить сущностные черты национального миропонимания. Предмет исторических исследований здесь нам видится в выявлении характера исторических изменений и противоречий в национальном образе мира, в выяснении того, что подвергается изменению и противоречивым воздействиям.

Национальный характер народа, мысли, литературы и искусства – сложные и трудноуловимые категории. Этническое своеобразие невозможно исследовать с помощью готовых формул, определений и терминов. Ибо суть их во всеобщности, т. е. применимости ко всем случаям. И познавательный потенциал формул и терминов в определении национального своеобразия ограничен. Исследовательская парадигма нам видится в использовании предположений, гипотез и даже фантазии. Исследовательский метод исторического воображения мог бы здесь проявить свой реальный познавательный потенциал.

Современная цивилизация сблизила народы, но различия в культуре продолжают сохраняться. В этом, с одной стороны, заключается возможность взаимопонимания, с другой стороны – разнообразие культур является залогом их саморазвития. Поэтому разработка проблемы национальных образов мира имеет в наши дни большое практическое значение для межэтнического взаимопонимания и сосуществования, формирования толерантной культуры межэтнических взаимоотношений. В обстановке растущих международных контактов люди, даже придерживающиеся одной идеологии, сталкиваются с пределами понимания друг друга. Для придания продуктивности этим контактам необходимы знания и поправки на национально-историческую систему понятий и ценностей, раскрыть которые во всем своем многообразии и изменчивости способна только история.

Примечания

¹ Айбаткина М. А. Взаимообогащение культур развитого социализма. Алма-Ата, 1978. С. 34.

² Троцкий Л. Д. Нация и культура // Театр. 1990. С. 126.

³ Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях. М., 1972; Бурмистрова Т. Ю. Закономерности и особенности развития социалистических наций в условиях строительства коммунизма. Л., 1974; Головнев А. И. Интернациональное и национальное в развитии социалистической культуры. Минск, 1974; Социализм и нации / отв. ред. М. И. Куличенко. М., 1975; Джунусов М. С. Две тенденции социализма в национальных отношениях. Ташкент, 1975; Джандильдин Н. Монолитное единство. Алма-Ата, 1975; Сулейменов Р. Б. Общность культуры развитого социализма. Алма-Ата, 1976; Исторический прогресс социалистических наций. М., 1987.

⁴ Танкаева Г. Театр на пороге века. Астана, 2001. С. 21.

⁵ Сулейменов Р. Б. Ленинские идеи культурной революции в Казахстане и их осуществление в Казахстане. Алма-Ата, 1972.

⁶ Советская культура в реконструктивный период. 1928–1941. М., 1988. С. 340.

⁷ Цит. по: Сталин против Казахстана // Казахст. правда. 1991. 31 мая.

⁸ Аршаруни А. Об упаднических настроениях в национальной художественной литературе // Коммунист. революция (Орган Агитпропа ЦК ВКП(б)). 1928. № 13.

⁹ Куандыкова С. А. Художественная интеллигенция Казахстана в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1988.

¹⁰ Наурызбаева З. Х. Творческие союзы Казахстана (1930–1945 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Алматы, 1997.

- ¹¹ Какенова Г. М. Культурная жизнь Северного Казахстана в двадцатые годы XX века : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Алматы, 1994.
- ¹² Казахская литература в 20–30-е годы : науч.-методол. конф. в Ин-те лит. и искусства им. М. О. Ауэзова // Ана тілі. 1991. 8 авг.
- ¹³ Казыханова Б. Р. Эстетическая культура казахского народа. Алма-Ата, 1973.
- ¹⁴ Нурланова К. Ш. Эстетика художественной культуры казахского народа. Алма-Ата, 1987.
- ¹⁵ Нурланова К. Ш. Человек и мир. Казахская национальная идея. Алматы, 1994.
- ¹⁶ Балтабаева М. Х. Современная художественная культура Казахстана. Алматы, 1997.
- ¹⁷ Кочевники. Эстетика. Познание мира традиционным казахским искусством. Алматы, 1993.
- ¹⁸ Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. Алма-Ата, 1998.
- ¹⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. С. 123.
- ²⁰ Ауэзов М. О. Времен связующая нить. Алма-Ата, 1972.
- ²¹ Каратаев М. Эстетика и эпос. Алма-Ата, 1977.
- ²² Базарбаев М. Эстетическое богатство нашей литературы. Алма-Ата, 1976; Шалабаева Г. Этнос. Культура. Самосознание. Алма-Ата, 1995.
- ²³ Культурные контексты Казахстана : история и современность. Алматы, 1998.
- ²⁴ Шаханов М. Заблуждение цивилизации : (Сага о нравах эпохи). Алматы, 1998.
- ²⁵ Алимжанова А. Ш. Эстетические ценности казахского народа : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алматы, 2000.
- ²⁶ Указатель диссертаций по истории Казахстана (1935–1985 гг.). Алма-Ата, 1988.
- ²⁷ История искусства народов СССР : в 9 т. М., 1977; История казахского театра. Алма-Ата, 1978; Варшавский В. Искусство Казахстана. Алма-Ата, 1958.
- ²⁸ Сиранов К. Рассказы о кино. Алма-Ата, 1973.
- ²⁹ Композиторы Казахстана. Алма-Ата, 1982; Очерки по истории казахской советской музыки. Алма-Ата. 1962 и др.; История казахского театра. Алма-Ата., 1978. Т. 2; Львов Н. И. Казахский академический театр драмы. Алма-Ата, 1957 и др.
- ³⁰ Бородай А. Д. Формирование кадров художественной интеллигенции : вопросы теории, историографии и источниковедения. М., 1999.
- ³¹ Никитина Л. Д. Советская музыка : история и современность. М., 1991; Манин В. С. Искусство в резервации. Художественная жизнь России 1917–1941 гг. М., 1999.
- ³² Пинегина Л. А. Художественная культура как фактор Великой Победы. 1941–1945 гг. М., 1997; Кондакова Н. И. Духовная жизнь России и Великая Отечественная война 1941–1945 гг. М., 1995.
- ³³ Зезина М. Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950–1960-е гг. М., 1999.

Р. С. Черепанова
(Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск)

**РУССКИЕ «БОИ ЗА ИСТОРИЮ»: РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЕМИКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА**

Становление российской историографии пришлось на эпоху «изобретения нации», то есть интенсивного национального мифотворчества. В отсутствие античных и средневековых – схоластических – традиций, подогреваемые романтическим отношением к прошлому, русскую историю писали по явному и по негласному заказу – то императоров, то общества, то публики – такие яркие идеологи, пропагандисты, публицисты, художники (то есть «профессиональные» жрецы мифов), как Н. М. Карамзин, С. Н. Глинка, А. С. Пушкин, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Ф. В. Булгарин, К. С. Аксаков, Т. Н. Грановский, А. С. Хомяков, К. Д. Кавелин, В. О. Ключевский, П. Н. Милюков. Если же к этому списку добавить тех, кто лишь время от времени, но с заметным общественным резонансом, как, например, Н. В. Гоголь, «баловался» историческими сочинениями (а Гоголь даже преподавал курс истории), то перечень займет не одну страницу. Русская историография, в отличие от западной, сразу рождалась в национально-мифологических боях, не имея за плечами никакой подготовительной стадии. Начиная с «антинорманиста» М. В. Ломоносова, ни один «исторический факт» не попадал в «историю» вне его значения для национальной судьбы, а значит, был предельно мифологически нагружен. Н. М. Карамзин прямо признавал взаимосвязь своей «Истории» с написанной на злобу дня и сугубо идеологической «Запиской о древней и новой России».

При частых сменах правительственных курсов исторические мифы, задействованные в процессе национального культуротворчества, также постоянно корректировались. Царствование Александра Николаевича предпочитало мифологизировать совсем иные сюжеты из отечественного прошлого, чем царствование Николая Павловича или Александра Благословенного, а консервативное правительство Николая II использовало иные мифы, чем консервативное правительство Александра III. Советский период развития отечественной исторической науки, в свою очередь, протекал на фоне собственных мифоло-

гических переживаний. В итоге российская историческая наука в поступательном развитии своих школ и направлений представляет, прежде всего, великолепную иллюстрацию поисков обществом своего лица.

При этом противостояние так называемых «западников» и «славянофилов», которое принято считать базовым и устойчиво воспроизводимым через все сменяющие друг друга идеологемы, правильнее было бы назвать противостоянием русских западников разных эпох. Так, еще в начале XIX в. столкнулись «традиционалисты» Шишкова, выраставшие из Просвещения, и «новаторы» Карамзина, приветствовавшие романтизм. Спустя тридцать лет просветительские идеи найдут свое новое воплощение и истолкование в западничестве Герцена и Грановского, а романтические – в славянофильстве Хомякова и Киреевского. Особым фронтом выстроятся сторонники официального правительственного курса – их взгляды будут базироваться на крутом замесе просветительских рационализма и утилитаризма с романтической консервативной риторикой; поэтому они будут отторгаться как «фальшь» и западниками, и славянофилами. Спустя еще несколько десятилетий западная традиция рационально-линейного понимания исторического процесса найдет свое преломление в русском марксизме, а романтически-иррациональная линия – в его различных альтернативах «слева» и «справа». Историческая тематика будет крайне важна и для Толстого, и для В. С. Соловьева; а представления о желаемом будущем России будут задавать фокус взгляда на ее прошлое для В. Ключевского и П. Милюкова.

Основная схема русской истории определилась уже в первой половине XIX в. и особенно в 1830–50-х гг. Споры этого времени велись не только с печатных страниц, но и с преподавательских кафедр, когда, уличая друг друга в натяжках и невежестве, конкурируя за поддержку образованной общественности, читали свои публичные лекции по истории С. П. Шевырев и Т. Н. Грановский.

Все спорщики, однако, сходились в признании принципиальной бесперспективности капитализма и в необходимости и возможности отыскания некоей русской альтернативы к нему. Такая позиция была характерна и для П. Я. Чаадаева¹, и для Н. В. Гоголя². Профессиональный историк М. П. Погодин также считал, что западное решение социального вопроса никуда не годится³, да и в политической сфере западные традиции не так уж хороши: например, излишнее развитие общества просто затрудняет работу государства, тормозя принятие нужных решений (1838 г.), тогда как самодержавие в России, просветленное высшей истиной, является уверенной силой прогресса⁴. Народ же русский к власти не стремится – он, можно сказать, народ безгосударственный⁵, потому что имеет перед собой другую, высшую, цель. В доказательство этих положений следовали «исследования» в области русской общины и эпохи Петра Великого.

Для А. Хомякова и И. Киреевского история – метафизическое пространство, на котором взаимодействуют глобальные философские начала, вроде необходимости и свободы, что отражается в реальной истории человечества. Хомяков сочиняет на этот сюжет целую сагу, опирающуюся на обширный фактический материал. Согласно установившемуся в глубокой древности разделению на-

родов на оседлые и кочевые (завоевательные), определилась, пишет Хомяков, и их устремленность к одному из двух высших принципов: идеальному (свободе, идее) или материальному (необходимости, форме). Хомяков именует две эти *духовные ветви* человечества *иранством и кушитством*. Славяне, разумеется, представляют самую чистую струю иранства – менее воинственную, по сравнению, например, с германцами. Однако оба направления одинаково ущербны в своей односторонности. Гармоническое решение этой противоположности, по мнению Хомякова, дало лишь христианство, к которому, в силу своих природных основ, славяне, в частности восточные, оказались особенно восприимчивы и способны охранять его чистоту. Правда, в реальной своей истории славяне часто оказывались такой миссии недостойны⁶. Из-за порчи народных нравов, пишет Хомяков, стали возможны междоусобицы, татарское завоевание, Иван Грозный, Смута, религиозный раскол и сам Петр I, «ударивший по России, как страшная, но благодетельная гроза». Но даже и после его рывка «смешно было бы, если бы кто-нибудь из нас стал утверждать, что Россия сравнялась с своею Западною братиею во всех отраслях, или даже в какой-нибудь отрасли...»⁷.

Причину, по которой и просвещение, и история, и самое христианство в России и в Европе приняли столь различный характер, Киреевский видит в отсутствующих у нас остатках древнего мира, на мощных руинах которого выросла западная цивилизация⁸. Однако, ничем не уравновешенные, развившись до предела, эти начала привели Запад к «нравственной апатии», к падению нравов и всеобщему эгоизму, к поиску веры. Следствием западных пагубных духовных явлений можно считать распространение материализма⁹ и буржуазности (где промышленная суэта прорастает от потерянности мысли и духа)¹⁰. В итоге, вполне по-гегельянски, выстраивается цепь: односторонняя национальность – ее отрицание противоположной односторонностью – снятие и выход на новый уровень: общечеловеческий; или: слепая, доверчивая вера – научное знание и критицизм разума – высший синтез, истинно христианское просвещение¹¹. Поскольку этот синтез имеет всечеловеческую важность, огромное значение для развития человеческого духа, то тот, кто осуществит его, по сути дела *спасет мир*. Однако осуществить этот синтез наиболее легко и чисто может лишь одна из двух односторонностей – а именно русская¹².

По мнению К. С. Аксакова, западные государства основаны насилием, оттого через всю их историю проходит в той или иной форме «бунт раба»; от изначального насилия родилось западное поклонение правительству, государству, политическим и правовым формам¹³; а «поклонение земной власти непременно сопряжено с безверием». Там, где нет веры, утверждает Аксаков, не просто расцветает безнравственность, но там нет и народа; неудивительно, что западный человек в основе своей мелок¹⁴, не дорос до чувства христианского братства всех людей, а склоняется либо к узкому национализму, либо к космополитизму¹⁵. Восточные же славяне – еще до принятия христианства – были уже христианами по духу¹⁶. Это «интуитивное» христианство выражалось, в частности, в самостоятельно созданном славянами институте общины как фор-

мы человеческого общежития¹⁷. Человека и общество у Аксакова дополняет институт государства, понимаемого как величина сугубо рациональная, делающая для общества «черную работу» (вроде войн за независимость). В этом смысле показательно, что древнерусский народ не создал государство из себя, а призвал его со стороны, как неизбежное зло, и в своей истории предельно дистанцировался от него, словно боясь об него замараться.

Представляя государство неизбежным, рациональным по природе злом, неизменно более узким, чем иррациональные стихии жизни, Аксаков с гордостью описывает как *богоданную* вполне реальную, не духовную, мощь русского государства¹⁸. В истории русской, продолжает Аксаков, даже кровавые преступления были не так кровавы, как на Западе, потому что возникали не как следствие неправильных основ, не от ложности выбранного пути, а потому, что с Петром I государство совершило переворот в коренных своих отношениях с землей, выступая как узурпатор, распространяя свой контроль на область жизни народной¹⁹. В лице Петра государство посягнуло на народ и стало *завоевателем*, а монарх сделался *деспотом*²⁰. Но древние – и спасительные для настоящего момента – идеалы еще хранятся в простом народе²¹.

Упоминания о некой, пока неведомой, но чрезвычайно важной миссии России у А. Герцена встречались и в 1842, и в 1844 гг., к мысли этой Герцен приближался уже 1833–1836 гг.; так что разочарование Герцена в Европе после событий 1848–1849 гг. означало лишь продолжение эволюции в его сознании. Теперь он полагал, что Россия обладает особыми социальными основами, запечатленными в образе *мира*, общины, изначально и принципиально отличными от основ Запада²². Русские²³ природные начала до сих пор не были проявлены свободно и в полной мере, находясь под грузом государственных форм, скопированных с Европы. Образцом начал древней Руси предстает для Герцена Новгород, но по описанию ясно, что идеал этот на самом деле обращен не в прошлое, а в будущее: «Это была казачья и земледельческая республика с военным устройством, но на основах демократических и коммунистических. Республика без централизации, без сильного правительства, управляемая обычаями <...> не было и следа аристократии; всякий совершеннолетний человек был деятельным гражданином»²⁴. В этом описании присутствуют характерные мифы (единства, золотого века...) и утопические элементы, в том числе вынос России из законов мировой истории. Петровские формы, полагает Герцен, душили эту *русскую жизнь* (особые социальные основы), но и допетровские были для нее также слишком тесны (1849 г.)²⁵.

Гармонию в обществе с одновременной гармонией между обществом и личностью Герцен называет социализмом, но при этом определяет этот идеал в качестве объекта веры: «Социализм – это религия человека, религия земная, безнебесная, общество без правительства, свершение христианства и осуществление революции». Социализм выступает, таким образом, как *царство Божие на земле*, радикально отличаясь от всех прежде опробованных человечеством на Западе и Востоке общественных форм. Зачатки идеала несет мир между

Востоком и Западом – Россия, так что: «...существуют только два подлинно важных вопроса: вопрос социальный, вопрос русский. И, в сущности, эти два вопроса сводятся к одному»²⁶.

Показательно, что, пока Герцен видел вероятным носителем идеала Запад, он был склонен раздувать ужасы политического деспотизма в России. Как только прообраз идеала был перенесен на русскую общину, возникла потребность преувеличить ее значение в русской истории, равно как и самую готовность России к легкому принятию нового, и Герцен пишет о слабости царской власти в России: Из императора «сделали какое-то пугало, Синюю бороду, и <...> в самом деле испугались»; императора Герцен представляет безвластным «несчастливым» человеком перед армией чиновников²⁷.

По мнению К. Д. Кавелина, и общинность, и самодержавие были вполне целесообразны для отечественной истории; во всяком случае, самодержавие играло явно прогрессивную роль и не может быть сравнимо с восточными деспотиями (этим доказывается, что Россия не только не Европа, но и не Азия тоже)²⁸. С другой стороны, европейские начала далеко не так однозначно положительны даже для самой Европы. Чистые, ничем не ограниченные либеральные начала (личная свобода, частная собственность) приводят общество к поляризации, неизбежным конфликтам, каковую ситуацию, пишет Кавелин, и демонстрирует ныне Запад. Общественным потрясениям там сопутствует и нравственная порча, отход от принципов христианской морали, социальное мечтательство²⁹. Русский же народ вырос из семьи, органично и самобытно. Община является практически идеальным механизмом социального мира, обеспечивающим гармоническое равновесие между обществом и человеком. «Мне скажут: ведь это утопия!», – писал Кавелин в 1859 г. – «Но отчего же утопия? – спросил бы я, – когда-то, что я говорю, уже существует у нас в действительности, хотя, конечно, в зародыше, в неразвитом виде. Эта утопия – факт осязаемый, не подлежащий никакому сомнению»³⁰. Но общинное устройство напрямую связано с самодержавием, которое она делает возможным. И Кавелин готов отстаивать преимущества не только социального строя России по сравнению с западным, но и преимущества самодержавия перед конституционализмом³¹. Отказаться от этого пути можно, но выбор при этом будет невелик: «...вам необходимо выбрать одно из двух: мирный прогресс социализма или революционные конвульсии конституции»³², которые все равно рано или поздно приведут к идеалу (поскольку миновать его невозможно), но с большими потерями. Итак, для всеобщего блага Россия просто обязана развить заложенные в ней принципы: «Сама история заставляет нас создать новый, небывалый, своеобразный политический строй, для которого не подыщешь другого названия, как – *самодержавной республики*»³³.

Как видим, ключевыми точками русских сражений за образ национальной истории выступали призвание варягов, традиции Древней Руси (и роль в ней «вольных городов», вроде Новгородской республики или «Волина», у Грановского) монгольское нашествие, царствование Ивана Грозного и особенно Земские соборы и опричнина, избрание Романовых, эпоха Петра Великого, и, наконец, как

особый образ, великое и ужасное русское Самодержавие. Под прикрытием каждого сюжета на самом деле велся актуальнейший идеологический спор о «русских началах» (следовательно, о настоящем и будущем России) и о роли, положительной или негативной, сильной государственной власти в отечественной истории.

Бои за историю обостряло отсутствие у спорщиков единого понятийного аппарата. Одно и то же явление подчас называлось совершенно по-разному, и, наоборот, под одним словом могли скрываться разные смыслы. Такая путаница касалась, например, понятия ‘народность’. Белинский комментировал проблему так: «Народность <...> предполагает что-то неподвижное, раз навсегда установившееся, не идущее вперед <...> Национальность, напротив, заключает в себе не только то, что было и есть, но что будет или может быть...»³⁴. Естественно, что народность, в такой логике, полагалось преодолевать, а национальность не могла потеряться ни от какого ученичества и частичных заимствований. Для славянофилов же понимание народности и национальности было совершенно обратным³⁵. Столь же полярно понимали «славянофилы» и Белинский понятия ‘публика’ и ‘народ’. Где есть публика, писал Белинский, там есть и общественное мнение, которое отделяет пшеницу от плевел, награждает истинное достоинство. К. Аксаков же именно публике приписывал обезьянничество, пустоту, а народу – общественное мнение, духовную жизнь³⁶.

Неточный и подчас «эзопов» смысл несли также понятия: ‘образованность’, ‘просвещение’ и даже ‘литература’.

Иными словами, обсуждалась и оспаривалась масса вещей – кроме общего для стадии национального мифотворчества тезиса об «особом пути» своей страны в истории. Факты и теории ложились к подножию этого тезиса. Руководящую «идею» русской жизни как общинную описал и обосновал в своих трудах С. М. Соловьев. В. О. Ключевский, соответственно своим взглядам на отношение России к Западу и развивая свойственный славянофилам и Соловьеву географический, социально-экономический и культурный детерминизм, разрабатывал важнейшие для национальной идеологии темы: «Боярская дума Древней Руси» (1882), «Состав представительства на земских соборах Древней Руси» (1890–1892), «Императрица Екатерина II. 1786–1796 гг.» (1896), «Петр Великий среди своих сотрудников» (1901).

Во второй половине XIX в., однако, позитивизм и марксизм сделают национальные клише неактуальными, рационально-линейная версия прогресса одержит верх над конкурентами и, оттолкнувшись от «Феодализма в Древней Руси» Н. П. Павлова-Сильванского (1907 г.), начнет свое триумфальное шествие по русскому XX в., вплоть до того момента, когда новые политические реалии конца 1980-х гг. не начнут новые идеологические – и исторические – споры.

Примечания

¹ См.: Черепанова Р. С. : 1) Петр Чаадаев мифический и реальный // Обществ. науки и современность. 2001. № 3. С. 102–109; 2) Безумец в маске мудреца, мудрец под маскою безумца. Случай Петра Чаадаева // Неприкоснов. запас. 2009. № 1 (63). С. 222–237.

- ² См.: Черепанова Р. С. Н. В. Гоголь как социальный философ // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. «История». 2001. № 1. С. 107–121.
- ³ Погодин М. П. Простая речь о мудреных вещах. Сборник, служащий дополнением к Простой речи о мудреных вещах. М., 1875. С. 96–99.
- ⁴ Учен. зап. Императ. Моск. ун-та. М., 1833. № 1. С. 12.
- ⁵ Погодин М. П. Сочинения. М., 1974. Т. 4. С. 253.
- ⁶ Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 71–72; Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 3. С. 86.
- ⁷ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 1. С. 3; Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 167, 109, 106.
- ⁸ Киреевский И. В. Указ. соч. С. 72, 74, 75.
- ⁹ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 302.
- ¹⁰ Киреевский И. В. Указ. соч. С. 260, 120, 145, 257.
- ¹¹ Киреевский И. В. Указ. соч. С. 158, 160; Хомяков А. С. О старом и новом. С. 203.
- ¹² Хомяков А. С. О старом и новом. С. 221.
- ¹³ См.: Аксаков К. С. Голос из Москвы // Литература и история. (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII–XX вв.) / отв. ред. Ю. В. Стенник. СПб., 1992. С. 297.
- ¹⁴ Там же. С. 298, 297, 304, 301.
- ¹⁵ Аксаков К. С. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 43.
- ¹⁶ Там же. С. 315.
- ¹⁷ Аксаков К. С. О современном человеке // Русь. 1883. № 12. С. 31; Аксаков К. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 291, 298. См. также: Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы / сост. Н. Л. Бродский. М., 1910. С. 108.
- ¹⁸ См.: Аксаков К. С. Указ. соч. С. 20–21.
- ¹⁹ Аксаков К. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 49, 58.
- ²⁰ См.: Ранние славянофилы. С. 85, 86.
- ²¹ Аксаков К. С. Указ. соч. С. 58.
- ²² Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. Т. 2. М., 1954. С. 36, 37, 188; Т. 6. М., 1955. С. 219; Т. 7. М., 1956. С. 153, 155.
- ²³ Герцен подчеркивает, что община является именно славянским, т. е. созданным в соответствии народному духу, институтом (Герцен А. И. Собр. соч. Т. 12. С. 53).
- ²⁴ Герцен А. И. Т. 7. С. 154–155; Т. 12. М., 1957. С. 171.
- ²⁵ Герцен А. И. Т. 6. С. 219; Т. 2. С. 36, 37, 188.
- ²⁶ Герцен А. И. Т. 12. С. 260, 168, 177.
- ²⁷ Там же. С. 128, 129, 131.
- ²⁸ Кавелин К. Д. Наш умственный строй : статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 196, 184, 251, 221, 222.
- ²⁹ Там же. С. 109, 110.
- ³⁰ Там же. С. 114.
- ³¹ Там же. С. 438, 436.
- ³² Там же. С. 440.
- ³³ Там же. С. 436.
- ³⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. Т. V. М., 1954. С. 121, 123, 124.
- ³⁵ Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 138; Киреевский И. В. Указ. соч. С. 97.
- ³⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. Т. IV. М., 1954. С. 376, 426, 427; см.: Ранние славянофилы. С. 122.

К. И. Шнейдер

(Пермский государственный университет, г. Пермь)

**МИССИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИКА
В РАННЕМ РУССКОМ ЛИБЕРАЛИЗМЕ**

Не будет преувеличением сказать, что в общественном сознании XIX в. история играла роль одной из центральных и основополагающих наук. Она выполняла функцию «наставницы жизни», которая не только «позволяла» извлекать необходимые уроки из прошлого, но и «планировать» движение на историческую перспективу. В самом общем виде это можно объяснить приверженностью современников той эпохи идеям существования единой человеческой истории, линейности исторического времени, открытости и доступности тотального исторического знания экспертной оценке. Не стали исключением из правил и те отечественные мыслители середины XIX столетия, которые по праву могут считаться основателями раннего русского либерализма. К их кругу следует отнести К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, идейных наследников Т. Н. Грановского, а также П. В. Анненкова, И. К. Бабста, В. П. Боткина, А. В. Дружинина, Е. Ф. Корша¹.

Для них история являлась как всеобщим мерилом мудрости и закономерности общественного развития, так и эквивалентом беспристрастности и стабильности в постоянно меняющемся мире. В частности, еще Грановский писал: «Полезность истории является нам уже не в виде возможности прилагать к изменившейся современности примеры прошедшего, а в цельном и живом понимании прошедшего. Такое понимание, основанное на долгой беседе с минувшими веками и народами, приводит нас к сознанию, что над всеми открытыми наукой законами исторического развития царит один верховный, то есть нравственный закон, в осуществлении которого состоит конечная цель человечества на земле»².

В иерархии историософских представлений ранние русские либералы в первую очередь отдавали предпочтение социальному прогрессизму. По их мнению, общественное развитие есть результат движения социума от простых к сложным формам существования. При этом либералы неоднократно оговаривались

по поводу неизбежных отклонений и задержек в «историческом проживании», многочисленных особенностей национальных историй, непредсказуемости конкретных достижений. И все же в отечественном раннелиберальном дискурсе доминировала идея «лучшей судьбы» всех народов и явный социальный оптимизм. Например, Кавелин, апеллируя к всемирной истории, утверждал, что она «представляет постепенное восхождение человека от грубых и односторонних потребностей к другим, более и более утонченным и многосторонним; вместе с тем полней, шире, явственнее раскрывается и высказывается его природа»³.

Такое понимание исторического процесса русскими либералами середины XIX столетия позволяет отнести их к сторонникам идеи «большого нарратива». В конечном счете, они не сомневались в существовании общей истории человечества с уже известными целями, но разнообразным и скрытым от глаз конкретным содержанием. Поиск методологических истоков этой теоретической позиции неизбежно приведет нас к распространенному в тот период в европейской (германской) исторической мысли мнению о наличии метаистории, которая нуждается в очень тщательном исследовании ее эмпирического содержания. Совершенно не удивительно, что ранние русские либералы, будучи учениками немецкой исторической школы, являлись ее апологетами.

Таким образом, констатация самого факта единства исторических судеб различных народов в общем временном пространстве формировала оптимистический тренд в отечественном либерализме. Вместе с тем, либералы не отрицали всей сложности общественного развития, предполагавшего неизбежные социальные девиации. В их футурологических рассуждениях нередко можно встретить пессимистические прогнозы на ближайшую перспективу. «Растекаясь в разнообразие направлений, каждый век не забывает, однако же, общей задачи, и, обращаясь внутрь себя, задает себе вопрос: до какой степени он приблизился к окончательной цели, к идеалу, который он носит в себе? В этом состоит его самосознание. И мы, люди XIX века, можем спросить себя: возможно ли в настоящее время соединить в одном великом синтезе все отдельные сферы человеческого духа, возможно ли устроить человеческую жизнь, как одно гармоническое целое? Мы со своей стороны убеждены, что нам до этого еще далеко»⁴, – утверждал Чичерин.

Основатели русского либерализма прекрасно понимали утопичность любых попыток механически объединить в едином историческом процессе устремления отдельных народов, персонифицированных в индивидуальных желаниях людей, их составляющих. Таких вульгарных социологических схем невозможно обнаружить в концептуальном арсенале либералов. Скорее, они уповали на неумолимую логику истории, которая, опираясь на собственные законы, должна рано или поздно изменить общественное сознание и создать условия для социальной гармонии при сохранении национальной идентичности в ее разнообразных проявлениях.

В итоге, отечественные либералы сформулировали рационалистическую утопию, где история выполняла функцию навигационной системы в «страну

счастья», несмотря на многочисленные препятствия и отклонения от «правильного» маршрута. Просвещенческая по своему содержанию вера в высший разум и финальную историческую целесообразность составляли основу телеологии раннего русского либерализма. Так, например, Грановский считал: «В доказательство прогресса рода человеческого стоит указать на массу истин, приобретенных родом человеческим в его развитии в продолжение стольких тысячелетий; стоит указать, как человек в каждом веке побеждает и разрушает какой-нибудь предрассудок. Поэтому история, с одной стороны, есть наука философская, с другой – чисто практическая»⁵.

При всей своей ориентации на прогрессистский вектор исторического развития ранние русские либералы активно обсуждали национальные версии общественного движения. В этом вопросе они являлись последовательными сторонниками идеи многообразия социальных конструкций у тех или иных народов, проживающих собственную историю в неповторимых условиях. Разницу между ними либералы объясняли чаще всего уникальными «свойствами духа» социума и заложенными в его прошлом традициями. Если «англичане в течение всей своей истории стремились преимущественно к утверждению личных прав и основанной на них свободы», – то «французы – к установлению порядка и равенства, к единству народной жизни...»⁶.

История же, в соответствии с логикой ранних русских либералов, исполняла роль «плавильного котла», в котором посредством усиленной внутренней работы каждого общественного организма происходила «отливка» новых форм жизнедеятельности, способных к восприятию перспективных целей развития, не порывая с национальной спецификой. И все же между общими для всех народов ориентирами прогресса и самобытностью отечественные либералы однозначно выбирали будущие достижения, несмотря на многочисленные оговорки о необходимости учитывать существующие традиции. «Бесспорно, народность составляет один из самых могущественных рычагов всемирной истории, любовь к отечеству – одна из благороднейших пружин человеческой деятельности. Но есть другая любовь, не менее высокая и святая, любовь, которая одна способна подвигать вперед и людей и народы, которая озаряет новым светом человеческую жизнь, это – любовь к истине»⁷, – утверждал Чичерин.

Еще одной составляющей в теории истории русских либералов середины XIX в. была личность, без которой любое, в том числе и прогрессивное, развитие общества представить невозможно. И вновь возникла проблема соотношения, в данном случае уже между глобальным поступательным социальным движением и ролью, местом личности в нем. На первый взгляд, либералы явно актуализировали тему личностного начала в историческом процессе, не подвергая сомнению его креативность, способность непосредственно влиять на ход и логику конкретных событий.

Более того, они соглашались с тем, что личность при определенных условиях может модерировать и содержательно наполнять программу развития социума. Все тот же Чичерин считал: «Отрицать влияние личности на историю

невозможно: человек, стоящий на вершине общества, может иногда ускорить или замедлить движение, дать развитию мирный или насильственный ход, действовать средствами нравственными или безнравственными», – однако при этом добавлял: «...лицо никогда не может действовать отрешенно от окружающей среды: оно в ней выросло, воспиталось, оно находится с нею в непрерывном общении, отражает в себе господствующие в ней направления...»⁸. Таким образом, оставаясь апологетами личностного начала в истории, отечественные либералы середины XIX в. одновременно позиционировали себя в качестве сторонников подчинения конкретного исторического лица пользе и логике общего развития, т. е. идеи закономерности и объективности социального движения.

Вообще следует отметить, что в риторике ранних русских либералов голоса абстрактной истории и личности нередко исполняли «сольные партии». Их рассматривали в качестве самодостаточных и основополагающих акторов исторического процесса. При этом либералы неоднократно называли человека единственной достойной целью существования цивилизации. «И вот мы опять воротились к тому, с чего начали – к человеку, этому странному существу, которое с незапамятных времен беспрестанно, казалось, служило самым разнообразным и противоположным началам <...> но в самом деле есть единственная цель, оправдание и движущее начало всего исторического развития, центр, около которого вращается всемирная история»⁹, – настаивал Кавелин.

В целом, в раннем русском либерализме часто предпринимались попытки концептуально соединить в историческом масштабе свободу личности с финальной обусловленностью общественного движения, неограниченное поле для человеческой деятельности с практически безальтернативным знанием итогов социального развития. Но в результате высшая целесообразность, под которой в либеральной среде понималась эффективная работа совокупного общественного разума, «духа социума», властно корректировала креативные интенции любой личности. Совершенно не случайно в либеральной иерархии историософских понятий прогрессизм не просто опережал личность, но и в значительной степени детерминировал ее витальное существование. Миссия истории в интерпретации либералов скорее заключалась в кристаллизации общего цивилизационного начала посредством интенсивной внутренней работы общества по «воспитанию» и согласованию между собой частных устремлений людей.

Не меньшее значение в раннем русском либерализме придавалось корректному, научно выверенному подходу к изучению глобального исторического пространства. «Историческая работа должна <...> служить краеугольным камнем для понимания современного состояния общества и народов; без нее все государственные соображения имеют слишком шаткую основу. Отправляясь от одного настоящего, они не могут отделить временных стихий от постоянных, не могут уразуметь внутреннего смысла жизни, глубоко затаенного в недрах истории, не могут наконец и создать прочного порядка вещей...»¹⁰, – утверждал Чичерин. Так что миссия историка в интерпретации отечественных либе-

ралов была наполнена многочисленными высокопрофессиональными и нравственными коннотациями.

С одной стороны, разделяя господствовавшее в тот период в европейском общественном мнении о возможности объективного, беспристрастного взгляда на события прошлой жизни, либералы акцентировали идею тщательной реконструкции картины мира, образа мыслей людей того или иного изучаемого этапа истории. Они последовательно критиковали «умозрительный» исследовательский подход и настаивали на глубоком «погружении» специалиста в эпоху. Одновременно либералы почтительно относились к многообразию фактического материала, являвшегося залогом успешного пути к получению «точного» знания об объекте научного интереса.

Например, Чичерин, далекий от пристрастия к эмпиризму и позитивизму, предупреждал: «Презрение к фактам есть верный признак мысли, не умеющей совладать с материалом и потому теряющейся в туманных представлениях. Факт – пробный камень всякой теоретической системы, обличитель ее несостоятельности»¹¹. Более того, посвятив много времени изучению русской истории, он считал единственным признаком профессионализма эксперта «достоверное» постижение механизмов действия неизменных исторических законов. Таким образом, исследователь мог быть лишь предельно объективным и подходить к работе без всякого предубеждения и заранее подготовленной теоретической схемы. Чичерин допускал использование историком собственного воображения в виде сочувствия какой-либо версии только после получения результата, когда опыт и познавательный процесс уже завершены. Все это напоминает широко известное изречение классика историографической мысли XIX в. Л. Ранке о том, что история призвана «рассказывать вещи только так, как они происходили».

С другой стороны, ранние русские либералы сравнительно далеко отстояли от эмпирического пренебрежения к метафизике исторического развития. Даже «полупозитивист» Кавелин, критиковавший различные философские миражи теории истории и нередко тяготевший к точному знанию объекта, не отрицал способности человеческой мысли к усвоению общих начал существования предметов. «Над чем бы не работала мысль, – будет ли это процесс самого мышления, или физическая природа или внешние условия жизни и деятельности человека, – она, по своему свойству, может схватить только общее, общие законы, общие условия, вырабатывает только общие определения и формулы и не может остановиться над индивидуальным, личным, особенным»¹², – рассуждал он. К тому же апология творческого начала в личности «спасала» Кавелина от опасности погружения в бездну эфемерных представлений позитивизма о «достоверном знании». Таким образом, Кавелин и Чичерин, при всех очевидных различиях, позиционировали себя в качестве защитников объективистского и беспристрастного взгляда на историю и ремесло историка. Для них характерно стремление преодолеть крайности как метафизического, так и позитивистского подхода к проблеме исторического познания.

Менее артикулированным и заинтересованным было мнение представителей «второго эшелона» раннего русского либерализма, не обременявших себя обсуждениями нюансов исторической профессии. Порой размышления о средствах и способах изучения истории ограничивались констатацией невозможности постичь ее таинственный рисунок. В частности Боткин считал: «Все мы, весь род человеческий, наше существование, наша история – все это едва заметная зыблущаяся точка в безграничном океане вселенной, точка, слитая с ней, несомая ее великим течением и лишенная всякой возможности хоть издали видеть берега ее или постигнуть это течение. Наша мимолетная жизнь окружена вечностью, наше маленькое тело – беспредельностью»¹³. Эстетизация окружающей действительности и пристальное внимание, прежде всего, к творческим проявлениям человеческого духа со стороны Анненкова, Боткина и Дружинина не предполагали вербальную актуализацию рутинных практик профессионального историка.

Единственным исключением из круга ранних либералов «второго ряда» являлся Бабст, признанный эксперт в области политэкономии, неоднократно высказывавшийся по общеисторическим вопросам. В его представлении время – главный и единственный законный реформатор, отбрасывающий все отжившие и одряхлевшие формы жизни и утверждающий здоровые и долговечные явления. Поэтому истинный историк «не может быть никогда отсталым; он необходимо будет следить за прогрессом, но прогрессом истинным и действительно законным»¹⁴. В данном случае можно говорить об инструментализации прогрессистского видения исторического процесса в сфере его прикладных технологий.

Наконец, еще одним важным маркером профессионализма историка ранние русские либералы считали наднациональный взгляд на предмет изучения. Этой проблеме была посвящена целая полемика, развернувшаяся на страницах консервативной «Русской беседы» и либеральных «Московских ведомостей» и «Русского вестника» в 1856 г. Активное участие в ней принял Чичерин, последовательно отстаивавший объективистскую позицию преодоления национальных предпочтений в исследовании любых исторических явлений и процессов. В частности, он полагал, что ученый, «занимающийся историей своего народа, если он дорожит истиной, должен в особенности воздерживаться от возвеличения своей родины на счет других; он должен всегда помнить, что, увлекаясь ближайшим к ней сочувствием, он не может быть над ней судьей, точно так же, как сын, по естественному пристрастию, не может быть судьей над отцом и матерью»¹⁵.

Одновременно, являясь европоцентристами, ранние русские либералы предлагали чаще обращаться за ответами на многие вопросы к опыту западных стран. Например, Бабст искренне недоумевал по поводу желанья искать непременно что-то исключительное, национально-особенное в общественном развитии. В его представлении история «удивительно как скоро отрезвляет, и благодаря ей, мы увидим, что те или другие формы нашего быта суть не что

иное, как выражение известного периода нашего экономического развития, — периода, который проходили, прошли, а в иных местах проходят и другие народы Европы»¹⁶. Так что истинно профессиональному историку, по мнению русских либералов, уже дан в руки своеобразный навигатор в сложном деле изучения необъятного массива артефактов.

В целом, ранний русский либерализм определенно пропитан идеей мессианской роли истории для судеб любого социума. «Верховный» нравственный закон, неизменно корректирующий историческое движение, воспринимался либеральными мыслителями в качестве самого устойчивого иммунитета против рукотворного социального эгоизма. В конце концов, национальная история того или иного народа должна обрести естественную форму своего существования, что в раннелиберальном дискурсе не в последнюю очередь зависело от результатов развития профессионального гуманитарного знания.

Примечания

¹ О происхождении и историографии раннего русского либерализма см.: Шнейдер К. И. : 1) О некоторых «фобиях» современного отечественного «либераловедения» : начальная история русского либерализма как историографический «фантом» // Пути России : современное интеллектуальное пространство : школы, направления, поколения. Т. XVI. М., 2009. С. 234–242; 2) Ранний русский либерализм в отечественной и зарубежной историографии // Рос. история. 2010. № 4. С. 177–187.

² Грановский Т. Н. Учебник. Введение // Сочинения Т. Н. Грановского. М., 1900. С. 605.

³ ОР РГБ. Ф. 548. Кавелин. Карт. 2. Ед. хр. 37. Л. 13 об.

⁴ Чичерин Б. Н. О народности в науке // Рус. вестн. Т. 5, кн. первая. Современная летопись. М., 1856. С. 26.

⁵ Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1986. С. 313.

⁶ Чичерин Б. Н. Новейшие публицисты. Токвилль. // Отечеств. зап. Т. СХIII. СПб., 1857. С. 507.

⁷ Чичерин Б. Н. О народности в науке... С. 21.

⁸ Чичерин Б. Н. Критика г. Крылова и способ исследования «Русской беседы» // Рус. вестн. Т. 10, кн. первая. М., 1857. С. 748.

⁹ ОР РГБ. Ф. 548. Кавелин. Карт. 2. Ед. хр. 37. Л. 17 об.–18.

¹⁰ Чичерин Б. Н. Холопы и крестьяне в России до XVI века // Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 143.

¹¹ Чичерин Б. Н. О народности в науке... С. 23.

¹² Кавелин К. Д. Мысли о современных научных направлениях // Собрание сочинений К. Д. Кавелина. СПб., 1899. Т. 3. С. 257.

¹³ Боткин В. П. Стихотворение А. А. Фета. Санкт-Петербург. 1856. / Литературная критика ; Публицистика ; Письма. М., 1984. С. 198.

¹⁴ Бабст И. К. О характере политико-экономических учений, возникших после Адама Смита. СПб., 1856. С. 8.

¹⁵ Чичерин Б. Н. О народности в науке... С. 64.

¹⁶ Бабст И. К. Три месяца за границей. Письмо пятое // Атеней. 1859. № 4. С. 474.

*Т. А. Андреева
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)*

**ОППОЗИЦИОННАЯ УРАЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ:
ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ (1907–1914 ГОДЫ)**

Эволюция политико-государственной системы Российской империи в революции 1905–1907 гг. вызвала конфликт, истоки которого имели модернизационную природу. Одну его сторону представляли официальные институты, укорененные в традициях и ритуальной практике, пережившие политические и социальные эксцессы и вынужденные временно отступить.

Идеологическим соперником власти в этом конфликте выступила независимая печать, развитие которой приобрело лавинообразный характер. Она вторглась в политическое пространство, расширив свои коммуникативные функции. Газеты получили возможность транслировать информацию, в том числе сенсационную, злободневную, даже скандальную, чем заполучили себе массовую аудиторию. Институт независимой печати в тех условиях стал ассоциироваться в сознании общества с оппозицией.

Д. Дейли склонен считать, что именно легальная пресса в ходе революции стала «элементом нарождавшегося гражданского общества, который угрожал устоям абсолютизма и который правящим верхам труднее всего было контролировать»¹. Это касалось не только общероссийских изданий, но и периферийных. Уральская печать в своем информационном ресурсе воспроизводила многие тенденции, свойственные изданиям центра.

В изменившемся после революции политическом климате во взаимоотношениях участников конфликта обозначилась иная расстановка сил. Для российской власти ситуация в стране диктовала необходимость «охранительных мер» по стабилизации внутреннего порядка, нейтрализации оппозиционных умонастроений и карательной тактики в отношении левого радикализма.

Периодическая печать оказалась объектом повышенного внимания, и это нашло отражение в политике дискриминации и законодательном ущемлении ее возможностей. Эта тенденция просматривается во Временных правилах о печати².

Первый вариант от 24 ноября 1905 г. давал Главному управлению по делам печати МВД, местным административным и полицейским структурам право на конфискацию отдельных номеров изданий, приостановку и запрещение их, наложение штрафов, аресты и тюремное заключение редакторов. Штрафные санкции следовали за публикацию материалов, «содержащих враждебную критику государственного строя»; «ложные сведения»; очернение», «порицание деятельности», «оскорбление» и «дискредитацию должностных лиц»; «подстрекательство» к «ниспровержению существующей власти»; «помещение и перепечатку антиправительственных статей», «возбуждающе действующих на население». Денежное содержание штрафа могло быть замещено арестом и «отсидкой» в тюрьме до истечения срока или до выплаты штрафа.

18 марта 1906 г. вышел Указ об изменении и дополнениях временных правил о периодической печати, который недвусмысленно утвердил жесткий политический контроль. Было увеличено и дифференцировано денежное выражение штрафов, устанавливались наказания для издателей. Если по предыдущему указу доминировали меры административного наказания, то в новом варианте на первый план выдвигались судебные преследования по уголовному законодательству. Карательные функции, таким образом, концентрировались в судебно-полицейских структурах. Необходимо иметь в виду, что реализация этих правил проходила в режиме чрезвычайной, усиленной или военной (с начала войны) охраны.

Как намерение мобилизовать подведомственные структуры, регламентировать обмен оперативной информацией, вплоть до утверждения единого «терминологического аппарата», можно расценивать курьезный приказ командующего отдельным корпусом жандармов Таубе. Отмечая, что «...в поступивших на мое имя донесениях продолжают встречаться ученые выражения вроде “экспроприация”, “террористические акции” и т. д.», он требует «...Решительно прекратить это». «...Предписываю называть вещи своими именами: “грабежи”, “убийства”...»³.

Не довольствуясь предоставленными полномочиями, некоторые губернаторы в порядке индивидуальной инициативы вводили дополнительные ограничения печати. В разных случаях это или демонстрация административного рвения, или искренняя надежда на действенность подобных мер. Далек не всегда эти намерения получали в МВД поддержку. Так случилось с пермским губернатором А. Болотовым, который в октябре 1906 г. утвердил «Местные правила о печати», комментарии к которым опубликовала газета «Речь». Через несколько месяцев МВД это «нововведение» аннулировало. Объясняя в служебной записке мотивы «самодеятельности», губернатор писал, что, по его «убеждению все зло, смута и неурядицы произошли главным образом от печати <...> Именно в видах обуздания местной периферийной печати, слишком уж распущенной, мною и было издано обязательное постановление, т. к. более не осталось никаких средств к удержанию редакторов от помещения в газетах ложных и превратных слухов и сообщений, дискредитирующих правительство

и представителей власти в глазах общества или вызывающих в обществе смуту, тревогу и опасения». То, что положение прессы в Пермской губернии зависело от «расположения» губернатора, «...а в Екатеринбургe и от Начальника горных заводов», фиксировалось современниками⁴.

Проблемы стабилизации «общественного порядка» в Пермской губернии накануне выборов в IV Думу будут волновать и губернатора И. Кошко. Он будет убеждать Главное управление по делам печати, «что <...> стеснен действующими законами в пресечении работы революционной прессы». В связи с предстоящей избирательной кампанией он просил «освободить его от стеснений, предоставив ему право по собственному усмотрению налагать взыскания на местные газеты даже в том случае, если они перепечатавают из столичных органов, не подвергнутых взысканиям»⁵.

С 1907 г. российская периодика начала классифицироваться по партийно-политическим критериям. Под «чисто» партийные признаки попадали издания трудовиков, эсеров, социал-демократов, кадетов, Союза 17 октября и др. По «направленности» (без принадлежности к определенной партии) в этом списке значились «общереволюционные», «резко» и «умеренно» оппозиционные, «умеренно-прогрессивные» и др.⁶ Однако в реальности политическая палитра изданий часто не соответствовала этой матрице. И «выбор статьи обвинения» по Временным правилам, и идентификация политического крена изданий были прерогативой местных властей. Поэтому в документах гражданского, судебного и полицейского ведомств присутствует противоречивость и непоследовательность в оценках и даже персонификация.

В 1907–1914 гг. в развитии печати проявлялись противоречивые тенденции, которые, с одной стороны, выражались в росте численности изданий и их жанрового многообразия, а с другой – в увеличении штрафного насилия и масштабов конфискации книг и журналов. Этот тезис подкрепляется имеющейся статистикой и позволяет на общероссийском фоне реконструировать уральскую картину.

Следует оговорить, что круг изданий, о которых пойдет речь в тексте, носит выборочный характер, обусловлен общественной значимостью газет в губернских центрах и их «политической репутацией». Безусловно, этот перечень может быть оспорен, ибо количество популярных уральских газет значительно больше. К сожалению, необходимость лаконичного изложения сюжета ограничивает шансы на использование большего объема информации.

По данным Главного управления по делам печати в 1909 г. в Уфимской губернии выходило 5 газет; Пермской – 5 газет и 2 журнала; Оренбургской – 7 и 5; Вятской – 4 и 4⁷. Тираж ежедневных крупных уральских газет составил на ноябрь в 1909 г.: «Уфимский край» – 900 экз., «Вестник Уфы» – 2387, «Уральский край» – 4300, «Уральская жизнь» – 4200, «Пермский край» – 3600, «Вятская речь» – 2820, «Оренбургский край» – 1150, «Оренбургская газета» – 2000, «Голос Приуралья» – 1800⁸. На 1915 г. показатели, кроме Вятской губернии, меняются: в Оренбургской – 5 газет и 3 журнала; в Уфимской – 4 и 3; Пермской – 6 и 9⁹.

В 1908 г. в России функционировало 1344 издания, за 1908–1910 гг. возросло до 2043, а к концу 1910 г. осталось 2391. Тенденции в штрафной политике были недвусмысленны: в 1906 г. подверглись штрафам 16 газет, в 1907 – 148, в 1909 – 242, в 1911 – 268, в 1913 – 340. В денежном выражении штрафные санкции выросли с 65 тыс. р. в 1907 г. до 75450 р. в 1911 г. и 130 тыс. р. в 1913 г. В категории конфискованных печатных изданий значились в 1908 – 577 наименований; в 1910 – 1280; в 1911 – 1507¹⁰.

Репрессии в уральском газетном мире не имеют на уровне региональной историографии обобщенного статистического измерения. Вряд ли решение этой проблемы разрешимо усилиями отдельных исследователей. С большой долей вероятности можно предположить, что самыми «насыщенными» карательными акциями были 1911–1912 гг. В условиях политизации общественного мнения, возбужденного внимания общества к таким исторически и социально значимым явлениям, как дело Бейлиса, Ленские события, думская кампания, тема Л. Толстого в различных вариациях, балканский кризис, юбилей реформы 1861 г. и Отечественной войны, легальная печать получает «второе дыхание» и возвращает себе статус «оппозиционной». Полемика, «развенчания», разоблачения, обвинения приобретут публичный характер и станут формой самовыражения отдельных журналистов и редакций. Актуализируется и местная социальная тематика, вызывавшая резкие суждения и комментарии региональной прессы.

Уральское газетное сообщество как срез общероссийского пространства воспроизводило его политическую конфигурацию и имманентно было пронизано соперничеством. Это, так сказать, повседневная обыденность. Особенно обострялись взаимоотношения газет в идеологизированных кампаниях, в процессе обсуждения «резонансных» событий. В нашем распоряжении имеются свидетельства о коллизиях среди газет Екатеринбурга.

В начале века там одновременно выходили несколько крупноформатных изданий. Все они, без оговорок, могут быть зачислены в категорию оппозиционных. К объяснению этого факта, на мой взгляд, приблизился, не задаваясь такой целью, пермский губернатор И. Кошко, поделившийся в воспоминаниях своими наблюдениями о екатеринбургском обществе 1911–1912 гг. Фактически он охарактеризовал социокультурную среду, тот культурный климат, который пропитывал все ячейки общественной жизни города. Уникальным казалось ему то, что рядовой уездный центр и, одновременно, европеизированная «столица» горнозаводского Урала «славился» традиционно оппозиционным отношением к власти. Необычным выглядит его добродушное признание в том, что «екатеринбуржцы все чрезвычайно либеральны. Самая правая и наиболее многочисленная здесь политическая партия – кадеты; представители ее держат в своих руках все влияние как в городском, так и в земском управлении <...> Но в тоже время тут нет непримиримого ригоризма, <...> острой нетерпимости, когда люди из-за разницы политических убеждений смотрят друг на друга волком...»¹¹.

Может быть, это и есть контекст, позволивший местным газетам «сосуществовать в конкурентной борьбе».

Ради повышения собственного авторитета в глазах читательской публики редакции вынуждены были «разрабатывать» оригинальные тактические решения. К примеру, «Уральская жизнь» и «Уральский край» в 1907 г., пытаясь опередить друг друга в выпуске новостей, выходили даже за день раньше: 30 марта за 31¹². Как свидетельство конкуренции и «заигрывания» с аудиторией можно расценивать факт бесплатной доставки подписчикам «Уральской жизни» литературно-художественного «Общедоступного журнала», основанного в 1912 г. в Санкт-Петербурге издателем газеты П. Певиным. Иначе выглядела организация рекламной кампании по подписке на 1911 г. газеты «Уральский край». Не затушевывая своего политического кредо (оно традиционно афишировалось как кадетское), редакция разместила в общественных местах («в ресторанах») плакаты с утверждениями о том, что «газета отстаивает защиту начал конституционного государства и полные гражданские политические свободы»¹³.

Самым распространенным сюжетом в публичной полемике было выяснение подлинной или мнимой политической ориентации газеты.

В 1910–1912 гг. «Уральская жизнь» неоднократно обвиняла своего оппонента в сползании к уровню «современной бульварной печати в провинции», поскольку издание, «в погоне за сенсациями» и финансовой выгодой, размещает, не брезгуя, информацию сомнительной ценности. Претензии предъявлялись и по поводу высокомерно-снисходительного отношения «Уральского края» к другим, менее состоятельным, газетам города. Утверждалось, что эта газета «показной оппозиционностью» вводит в заблуждение городского обывателя¹⁴.

Эскалация соперничества между этими изданиями с выходом на политические обвинения проявлялась во время избирательных кампаний. Особого ожесточения накал политических страстей достиг в 1912 г. Характер и острота дискуссий между выборщиками, объем и стилистика публиковавшихся материалов позволяют чуть ли не на визуальном уровне представить масштабы политических баталий¹⁵.

В Уфе враждовали «Уфимский край» – консервативно-монархическое издание, поддерживаемое губернатором А. Ключаревым, и «Уфимский вестник» – газета с «прокадетским» профилем. Назначенный в 1910 г. земским начальником в Уфимскую губернию С. Р. Минцлов в воспоминаниях упоминал о разговоре с губернатором, не скрывавшем, что «не может придрататься», «...чтобы закрыть его. Всех подписчиков может отбить у нас». «Уфимский край» осенью 1910 г., «рисую» перспективы соперника, предрекал ему судьбу предшественника – закрытого «Вестника Уфы»: «Если “Уфимский вестник” будет таким же, <...> то также неблагонадежно почиет, как и его “папаша”. “Уфимский вестник”, в свою очередь, в довольно пафосной форме подтвердил “наследственность”», «...но не почившего органа, а лишённого света и свободы»¹⁶. Эта перепалка получила освещение в «Речи», отметившей, что «...во всей России

не найдется ни одной прогрессивной газеты, которая находилась бы в таком невыносимом, <...> отчаянном положении...»¹⁷.

Подобные же скандалы вспыхивали и в оренбургской периодике. Взаимными обвинениями «Оренбургской газеты» и «Оренбургского края» наполнен 1913 г. «Соревнуясь» в стилистике, они будут обвинять друг друга в «нечистоплотности» редакций, в фальсификациях и «перекупке материалов», в некомпетентности авторов, в «погоне за жареными фактами»¹⁸.

В истории оппозиционной печати существует большой диапазон оценок идейно-политического облика газет. В хронике изучаемого времени на первом плане – информация, отложившаяся в текущей документации официально-ведомственных учреждений. Но наряду с этим источником существуют и результаты «самоопределения» журналистов, отложившиеся в их записках, и последующие научные версии идентификации печати. Несмотря на внутреннюю неоднородность материала, представляется любопытным посмотреть на масштабы и природу его интерпретации.

В августе 1907 г. Департамент полиции признавал кадетскими органами «Уральскую жизнь», «Слово Урала» и «Вестник Уфы». В 1912 г. «Уральская жизнь» названа уже социал-демократической. Практически без оговорок признавался кадетским органом «Уральский край» (с 1913 г. «Зауральский край»), что было адекватным «противоправительственному направлению»¹⁹. Свое объяснение факту существования этой газеты в свойственной большевистской риторике дал в 1909 г. «Пролетарий», заявив, что «...право на существование кадетская газета выплакала у Столыпина»: здесь истоки ее нейтралитета к «правым»²⁰.

В качестве «прогрессивной», «умеренно-прогрессивной» или «противоправительственной» газеты фигурировал челябинский «Голос Приуралья»²¹. В ноябре 1910 г. столичные газеты «Современное слово», «Речь» и местный «Уральский край» одновременно разместили материал о конфликте между редактором П. Злоказовым и челябинским ротмистром Кононовым, предъявившим обвинение «в подрыве престижа власти в глазах населения». Редактор в письме оренбургскому губернатору назвал претензии необоснованными, их тон – «грубо оскорбительным», намерения – «прибегнуть к личной <...> мере воздействия», «...игнорируя законные пути». В ходе последующего разбирательства идея высылки П. Злоказова за пределы Оренбургской губернии была отклонена.

По частоте упоминания в донесениях, рапортах, докладных записках «Пермский край» может считаться своего рода «рекордсменом». В рамках полицейской атрибуции его курс обозначался и как «общедемократический», и как «беспартийный», и как «социал-демократический». Особенно непримиримую позицию в отношении газеты занимал губернатор И. Кошко. Кадетская «Речь» писала об этой «войне»²².

Газета «Оренбургский край» в отчетах за 1908 г. позиционировалась в качестве «органа левых партий, во главе которых стоит конституционно-демократическая

партия, а к ней примыкают, не имея собственных периодических изданий, социал-демократы и социал-революционеры». Выбирая тактику борьбы с изданием, местные власти пришли к заключению о том, что «единственным сдерживающим средством, заставляющим названное издание держаться и в этом вредном направлении все же известных рамок, является возможность административного воздействия путем неуклонного применения взысканий по обязательным постановлениям Губернатора, каждый раз, когда какая либо газетная статья нарушает собою тот или иной пункт этих постановлений»²³. Надзор за изданием выражался в цензуре публикаций и их направленности, вторжении во внутреннюю жизнь редакции, фиксации общественных взглядов журналистов. Так, в ходе периодических поисков компрометирующих материалов весной 1909 г. во время обыска полиция нашла подписные листы против смертной казни, бланки которых были присланы из Санкт-Петербурга. На них значились подписи 30 человек, и редактору последовало внушение за отклонение от «профессиональной деятельности»²⁴.

В Уфе репутацию либерально-оппозиционных органов имели «Вестник Уфы» и «Уфимский вестник». Последний, по оценке газеты «Речь», находился в «отчаянном» положении из-за притеснений цензуры и местной администрации. С середины 1907 г. по 1910 г. редакция выплатила до 4 тыс. р. штрафов и подверглась 25 судебным преследованиям²⁵.

Параллельно с этим блоком оценок интересно сформировать другой, который включил бы иные варианты идентификации газет, отраженные в мемуарах, написанных с учетом прошедших и происходящих событий. Следует признать, что имеющаяся на данный момент информация касается, в основном, «Уральской жизни» и «Голоса Приуралья». С уверенностью можно говорить о том, что В. Весновскому принадлежит самый большой массив характеристик изданий и портретных зарисовок сотрудников газет. Этот массив сформировался ситуативно, как реакция на воспоминания журналистов, знакомых В. Весновскому²⁶.

В «рецензии» на воспоминания секретаря редакции «Уральской жизни» К. Никитина В. Весновский обвинил его в «идеологической невыдержанности» и идеализации облика газеты, которая на самом деле не была ни «марксистской», ни «социал-демократической», ни «прогрессивно-демократической». В общественном мнении она «расценивалась как беспринципная газета, а ее сотрудники при всех их литературных дарованиях особым уважением не пользовались». В. Весновский, кроме того, предъявил претензии группе работников газеты, одновременно помещавших в разных изданиях статьи, как с большевистских, так и с эсеровских позиций, демонстрируя тем самым беспринципность. Он квалифицировал «Уральскую жизнь» как исключительно коммерческое предприятие, руководители которого, «держа нос по ветру», «балансируют от Маркса к министерской шляпке». Никитину предъявлялись претензии в том, что он «усиленно красит “Уральскую жизнь” чуть ли не в большевистский цвет», в то время как газета «никогда не была идеологически выдержанной».

Все же В. Весновский признал, что «в те поры трудно было газете сохранить определенную политическую физиономию», но это верно лишь «до некоторой степени»²⁷.

Большая разногласия существует и в самоидентификации сотрудников «Голоса Приуралья». Так, П. Мурашев считал газету «притягательным центром марксизма», в В. Весновском он видел большевика²⁸. Другой сотрудник, В. Бухарин, говорил о «Голосе Приуралья» лишь как о «либерально-прогрессивной газете», вокруг которой сплотились общественные силы города и политические ссыльные²⁹. Сам В. Весновский лаконично представил ее «большой прогрессивной газетой»³⁰. Впоследствии известный большевик С. Е. Чуцкаев, работавший в 1911 г. секретарем редакции, без каких-либо уточнений и доказательств назвал «Голос Приуралья» «социал-демократической газетой»³¹.

И, наконец, третий блок оценок идейной ориентации газет присутствует в научной литературе и переживает идеологическую эволюцию. Для советской истории определение политического кредо беспартийной легальной прессы исследовательского напряжения не представляло. В качестве первоосновы здесь господствовали ленинские, ставшие трафаретными, определения профиля газет, типа: «либерально-буржуазный», «мнимобеспартийный», «либерально-меньшевистский», «оппортунистический». Такая стилистика была свойственна и уральской историко-партийной историографии: здесь тоже укоренился тезис о «показном радикализме», «развлекательном характере» публикаций и т. п. Например, на «Пермском крае» была «поставлена печать» либерально-меньшевистского органа³². Известный историк периодической печати Б. Есин самую большую опасность видел в подтягивании либеральной печати до уровня демократической, в смешении понятий «оппозиционности» и «подлинной революционности»³³. В современной истории журналистики уже устоялись выводы о том, что «беспартийный тип газеты» стал в начале XX в. распространенной нормой, редакции из соображений безопасности отказывались от определения своих связей с определенной партией³⁴.

Среди уральских историков уже обозначились альтернативные суждения по поводу характера и идейно-политической окраски местных периодических изданий. Отправной точкой в авторских комментариях являются обращения к известной монографии И. В. Нарского³⁵.

Положения этого исследования оспариваются, уточняются, излагаются через цитирование или в свободной форме³⁶. Но в последнем случае имеют место расширительные трактовки авторских определений или их абсолютизация. В статьях Д. Пухова, например, остаются неясными содержания дефиниций «либеральный», «леволиберальный», «демократический» и границы между ними³⁷. Кроме того, вряд ли дают шансы на выявление партийной принадлежности газеты такие параметры, как журналистский состав, сюжетно-тематическое содержание, отношения с властями и др. Представленный разброс оценочных суждений с «подвижными» границами говорит об отсутствии каких-либо критериев, позволяющих однозначно идентифицировать идейную программу

газеты, ее политический профиль. И вообще, с учетом неразвитости и слабой дифференциации партийно-политических институтов в стране, возникает вопрос о когнитивных возможностях комплексного изучения легальной прессы (за исключением, видимо, ведомственной). Можно лишь говорить о неизбежно-длительном существовании плюрализма в оценках ее идейно-политической ориентации.

Примечания

- ¹ Дейли Дж. Пресса и государство в России (1906–1917 гг.) // *Вопр. истории*. 2001. № 10. С. 25.
- ² *Русская журналистика в документах : история надзора*. М., 2003. С. 215–220, 222–226; *Цензура в России в к. XIX – нач. XX в.* М., 2003. С. 28.
- ³ ГАРФ. ДП. 4 д-во. 1908. Д. 47. Ч. 8. Л. 1.
- ⁴ ГАРФ. ДП-ОО. 1906. Д. 9. Ч. 8. Л. 32; *Развитие газетного дела в Пермской губернии*. Историческая справка. СПб. 1907. С. 9.
- ⁵ ЦГИА. Ф. 776. Оп. 22. Д. 209а. Л. 64; ГАРФ. Ф. 102. ДП-ОО. 1912. Д. 5. Ч. 56. Л. 79.
- ⁶ Махонина С. Я. *История русской журналистики (1905–1914)*. М., 2002. С. 28–29.
- ⁷ ЦГИА. Ф. 776, 1909. Оп. 22. Д. 209-а. Л. 64, 151, 211.
- ⁸ Там же; *Статистический ежегодник России*. 1913 г. СПб. Раздел 3. С. 8, 10, 14.
- ⁹ *Статистический ежегодник России*. 1915. Пг., 1916. Раздел 5. С. 10.
- ¹⁰ *Свобода печати при обновленном строе*. СПб., 1912. С. 232, 234, 337; Дейли Дж. *Указ. соч.* С. 30–31.
- ¹¹ Кошко И. Ф. *Воспоминания губернатора*. Пермь. (1911–1914). Екатеринбург, 2007. С. 114.
- ¹² Волков И. А. *По газетному морю*. Иваново-Вознесенск, 1925. С. 46.
- ¹³ *Голос Приуралья*. 1911. 27 янв.
- ¹⁴ *Урал. жизнь*. 1910. 25, 27 апр.; 1911. 11, 14 дек.
- ¹⁵ См.: Андреева Т. А. *Думская тематика в легальной уральской дореволюционной прессе // Культура Урала в XVI–XX вв. : исторический опыт и современность : материалы Всерос. науч. конф.* Екатеринбург, 2008.
- ¹⁶ *Уфим. вестн.* 1910. 9 нояб.; Минцлов С. Р. *Дебри жизни*. *Дневник*. 1905–1915 гг. Сиб. изд. Берлин, Б/г. С. 10.
- ¹⁷ ГАРФ. Ф. 102. ДП. 4 д-во. 1911. Д. 81. Ч. 8. Л. 1.
- ¹⁸ *Оренбург. край*. 1913. № 79, 86; *Оренбург. газета*. 1913. 4 дек.
- ¹⁹ ГАРФ. Ф. 102. ДП. 4 д-во. 1907. Д. 47. Ч. 9. С. 30; Д. 81. Ч. 9. С. 2; ДП-ОО. 1912. Д. 5. Ч. 110. Л. 9; ГАПО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 407. Л. 27.
- ²⁰ ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 185. Л. 119.
- ²¹ ГАРФ. Ф. 102. ДП. 4 д-во. 1907. Д. 47. Ч. 8. С. 41; 1910. Д. 47. Ч. 8. Л. 1–5; ГАОО. Ф. 21. Оп. 2. Д. 403. Л. 33; Оп. 5. Д. 60. Л. 4.
- ²² ГАРФ. Ф. 102. ДП-ОО. 1911. Д. 56. Ч. 1. Л. 31; 1912. Д. 5. Ч. 5. Л. 65; 1913. Д. 5. Ч. 56. Л. 15.
- ²³ ГАРФ. Ф. 102. ДП. 4 д-во. 1908. Д. 47. Ч. 8. Л. 13; 1910. Д. 47. Ч. 8. Л. 13; ЦГИА. Ф. 776. 1908. Оп. 21. Ч. 2. Д. 126. Л. 32–33 об.
- ²⁴ ГАОО. Ф. 21. Оп. 2. Д. 380. Л. 72, 75.
- ²⁵ ГАРФ. Ф. 102. 4 д-во. 1907. Д. 81. Ч. 8. Л. 1.

²⁶ Алеврас Н. Н., Андреева Т. А. Журналисты дореволюционного Урала на рубеже 20–30-х гг. XX в. : переоценка профессионального опыта и личностных отношений // Культура и интеллигенция меняющихся регионов России : XX век. Интеллектуальный диалог : XXI в. Россия – Сибирь – Казахстан // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием : в 2 ч. Омск, 2006.

²⁷ Никитин К. Из истории екатеринбургской журналистики (1902–1914) // Север. Азия. 1928. № 4; Из истории екатеринбургской журналистики (дополнения и поправки к статье Никитина К.) // Север. Азия. 1929. № 4. С. 85, 86.

²⁸ Мурашов П. Столица Урала в 1906–1908 гг. // Каторга и ссылка. 1930. № 4. С. 62; ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1933. Л. 69.

²⁹ ОГАЧО. Ф. 627. Оп. 1. Д. 205. Л. 1.

³⁰ ОГАЧО. Ф. 627. Оп. 1. Д. 182. Л. 131.

³¹ ЦДООСО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 356. Л. 5.

³² См.: Рябухин Е. И. Революционная деятельность большевиков Урала в борьбе за укрепление нелегальной партии пролетариата и упрочение ее связей с массами (1907–1914 гг.) : в 3 ч. Саратов, 1968, 1972, 1973, 1974.

³³ Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России. М., 1981. С. 24.

³⁴ Махонина С. Я. Указ. соч. С. 29, 54, 56.

³⁵ См.: Нарский И. В. Русская провинциальная партийность : политические объединения на Урале до 1917 г. : в 2 ч. Челябинск, 1995.

³⁶ См.: Сафонов Д. А. Периодика Оренбургского края. Вып. 1. Первые сто лет. Оренбург, 2004; Зимина Н. П. «Церковь – это душа нашего народа...» Страницы жизни Александра Ницы. М., 2008.

³⁷ См.: Пухов Д. : 1) О политической направленности газеты «Пермский край» в 1910–1912 гг. // Орел шестого легиона. Вып. 2 : тез. докл. науч.-практ. конф. УрГУ. Екатеринбург, 2000. С. 137–138; 2) Демократическая пресса Урала в условиях Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917). По материалам Вятской и Пермской губерний // Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Вып. 11. Екатеринбург, 2010.

*Т. В. Любчанская
(Челябинский государственный университет, г. Челябинск)*

**ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»
(1930–1940 ГОДЫ)**

Дискуссии о периодизации развития археологии в СССР в первые после-революционные десятилетия¹ заставили нас обратиться к нетрадиционному для историографов археологии источнику – средствам массовой информации. Первоначально поставленная задача была проста – просмотреть центральное издание СССР – газету «Правда», провести статистику публикаций об археологии. Однако уже в начале работы стало очевидным, что фиксировать надо не только количество сообщений, но и их географию, освещение или неосвещение международных контактов советских археологов, появление на страницах печати программных заявлений и научных статей. Целесообразно также учитывать публикации о новых изданиях по истории материальной культуры, формировании новых институций в археологии – экспедиций, лабораторий, академических структур.

В результате можем сказать: наибольшее количество сообщений об истории материальной культуры (40) в газете «Правда» приходится на 1934 г. По археологии СССР – 19, большая часть этих сообщений (17) приходится на период с мая по октябрь (при этом май – 1, июнь – 1, август – 7, сентябрь – 4, октябрь – 4). В основном освещаются раскопки в национальных районах (15). Семь сообщений затрагивают международные контакты советских археологов. Газета отмечает разнообразные формы таких контактов. Так, 20 мая «Правда» пишет об издании научного сборника советских археологов, этнографов и фольклористов на английском языке, подчеркивая, что он «был принят с большим воодушевлением среди английских специалистов» и сообщает о планах его издания на французском и немецком языках. 7 сентября появилась публикация о письме генерал-губернатора Смирны (Турция) с просьбой об обмене предметами археологии для пополнения музеев. 12 октября в большой статье освещается приезд в СССР американского археолога Филда, говорится о планах совместного археологического обследования ряда

объектов. 26 октября в газете представлено интервью с американским доктором антропологии Хрулицкой.

Большое внимание газеты в этом году уделяется различным формам академической работы: 31 марта появляется статья Г. Анбора «Академия истории материальной культуры»; 29 июня сообщается о переезде АН СССР из Петербурга в Москву с подробным описанием перевозимых лабораторий; 16 декабря публикуется материал о присвоении ученой степени доктора общественных наук ряду ученых, в том числе в области археологии и этнографии. Целый ряд сообщений посвящен информации о новых изданиях: 16 августа – о сборнике к 50-летней годовщине выхода «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса; 13 декабря – о сборнике «Экспедиции АН СССР»; 14 декабря – о 53 новых научных трудах АН СССР; 15 декабря – о новых книгах, в т. ч. «Государственная академия материальной культуры».

Очевидно, что такое количество публикаций связано с реформой структур Академии Наук и появлением постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школе». 1934 г. Г. С. Лебедев выделяет в качестве своеобразного рубежа в археологии, так как, на его взгляд, в дисциплинарной отрасли «соответственно изменялся (с присущей времени резкостью) спектр задач, стоящих перед археологией»². Очень хорошо заметно это изменение в указанной статье Г. Анбора. Фразеология автора отражает лексику и идейно-политическую атмосферу данного времени: «Академия является детищем Октябрьской революции, единственным учреждением в мире, где под руководством ее бессменного председателя Н. Я. Марра, на основе марксистско-ленинской методологии, с привлечением всех видов источников (вещественных, этнографических, лингвистических и письменных) изучаются проблемы прошлого, имеющие вместе с тем актуальное политическое значение. В СССР революционная практика пролетариата, строящего социализм, органически связана с революционной теорией». В статье присутствует борьба с «буржуазными» учеными как дореволюционными российскими, так и с зарубежными: «Буржуазное существо археологических исследований являющихся, по выражению дореволюционных археологов, “наукой для богатых”, заключалось в том, что вещественные памятники изучались в отрыве от истории общества, их создавшего, а сами памятники истолковывались идеалистически, в духе реакционной расовой теории, поддерживая и внедряя идеи великодержавного шовинизма и местного национализма». «Попытки объяснить научно гибель античного общества идеологам буржуазии не удалось. Наивная теория варварского завоевания, как она была еще изложена классическим историком буржуазии Моммзеном, сменилась упадочной концепцией циклизма Эд. Мейера и его учеников, согласно которой гибель античного общества явилась закономерным процессом культурного вырождения. А маститый фашистский историк М. Ростовцев, кивая на Октябрьскую революцию, объявил причиной заката античной цивилизации “пролетарскую революцию”».

Обвинения в фашизме щедро раздаются по всей статье и отражают социальный заказ науке истории материальной культуры. Заказ времени четко

сформулирован как основная задача Академии: «Именно эта задача – конкретного показа исторического развития общества, процесса материального производства, классовой борьбы с живыми ее участниками, их идеологии на каждом качественно новом этапе – является основной задачей Академии в области изучения древнего мира и средних веков». Естественно, автор не забыл ни революцию рабов (считая эту формулировку И. В. Сталина гениальной), ни яфетическую теорию Н. Я. Марра (которая не просто новое учение о языке, а «борьба за марксизм-ленинизм в языкознании»), ни о вкладе Академии в новое изучение истории («в связи с коренными недостатками в преподавании истории в средней и высшей школах, о которых говорил товарищ Сталин, Академией подготовлено в настоящее время 5 учебников для вузов по истории докапиталистических обществ»)³.

Актуальность древней истории, археологии подчеркивается неоднократно, поскольку «изучение “исчезнувших формаций” <...> важно не только для объяснения прошлого, но, главным образом, для того, чтобы, зная прошлое, можно было изменить настоящее и строить будущее»³.

Ни до 1934 г., ни после такого количества сообщений об археологии в «Правде» нет, в целом, статистику можно отразить в таблице:

	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940
Всего	-	-	6	13	40	5	3	6	9	5	12
Информация о раскопках в СССР	-	-	3	11	19	5	2	4	8	4	12
Международная информация	-	-	3	2	7	-	1	-	-	-	-
Информация о новых изданиях	-	-	-	-	6	-	-	2	-	-	-
Информация об ученых	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Информация об археологических структурах	-	-	-	-	6	-	-	-	1	1	-

В целом в 1930-е гг. наибольшее количество сообщений касается разного рода археологической деятельности в национальных районах СССР, лидерами являются Казахстан – 9, Украина – 8, Узбекистан – 6; Белоруссия – 5. Эта тема постоянно вызывала интерес, прежде всего интересными находками различных эпох, позволяющими связать археологические памятники с событиями всемирной истории.

Международная информация пропадает окончательно после 1936 г., хотя в 1932–1936 гг. газета обращала внимание на необходимость развития науки с

учетом мирового опыта, но призывала не забывать, что «наука не интернациональна, но классовая»⁴.

Информация об организации экспедиций уменьшается количественно (по одной публикации в 1937 и 1938 гг.), но давалась она сотрудниками Академии истории материальной культуры (М. И. Артамоновым, С. Бибиковым⁵), которые тщательно и подробно описывали проведенные экспедиции, с указанием археологических памятников, сроков и результатов работы. Особое внимание в это время обращается на исследование памятников каменного века, прежде всего, палеолита. В 1930-е гг. восприятие этих памятников напрямую связано с понятием коммуны: «Интересные результаты дали раскопки поселений древне-каменного века в Костенках – близ Воронежа, в Тимановке – под Брянском, в Гагарине – близ Липецка и в Мальте – близ Иркутска. Обнаруженные в этих местах жилища дают представление о хозяйстве и быте первобытных охотничьих коммун»⁶.

Начиная с 1937 г., газета обращает внимание не только непосредственно на раскопки, но и на систему хранения археологических экспонатов⁷, а также на научное осмысление полученных материалов⁸. В 1937 г. 12 апреля опубликована большая подборка материалов, связанных с юбилеем Чарльза Дарвина, а 23 ноября подробно рассмотрен первый выпуск журнала «Вестник древней истории» и археологическое приложение к нему.

Таким образом, материалы по археологии и древней истории фактически каждый год присутствуют на страницах центрального издания СССР, но наибольшее количество публикаций по этой теме все-таки приходится на 1934 г.

Отражение развития археологии в 1930-е гг. в «Правде» мы рассматривали с точки зрения экзистенциального направления философии. Для философов этого направления важны такие позиции, как качественность бытия и возможность самопознания экзистенции в пограничной ситуации отдельного индивида. На наш взгляд, экзистенцией обладают и различные социальные институты и явления, в том числе наука. Очевидно, что любая наука возможна только как существование явлений науки – выпуска интеллектуальной продукции (статей, книг, диссертаций и т. п.) – всего того, что придает качественность ее бытия. В то же время любая наука переживает кризисные моменты – пограничные ситуации, когда решается вопрос: будет ли она развиваться дальше или будет вырождаться (вопрос о жизни и смерти науки). В такие моменты идет обострение внутренней рефлексии науки, в том числе, определение актуальных задач и путей их решения. Можно сказать, чем глубже кризис, тем сильнее рефлексия. Она выступает в качестве пружины, дающей возможность выпрыгнуть из пропасти (качественный скачок, научная революция).

Поиски путей выхода из кризиса приводят к тому, что ученые пытаются максимально привлечь культурное богатство общества. Тогда наука выходит за рамки внутренних интересов, а частнонаучные явления становятся явлениями культуры и политики. Неизбежным результатом становится широкое обсуждение проблем (и достижений) этой науки. Таким образом, возросшая публич-

ность явлений той или иной науки в обществе становится своего рода индикатором кризиса (проблемной ситуации – по В. Ф. Генингу⁹) отдельной области исследований или целого комплекса направлений.

Публикации газеты «Правда» в 1934 г., когда внимание общества было приковано к проблемам науки вообще и археологии в частности, подтверждают взгляд на это время как рубежный этап в истории данной научной отрасли. Именно в это время определился дальнейший путь развития археологии как составной части марксистского гуманитарного знания.

Примечания

¹ См.: Оконникова Т. И. Научные традиции в археологии Прикамья (60-е гг. XIX в. – конец 40-х гг. XX в.). Ижевск, 2002. С. 32–37.

² Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700–1971. СПб., 1992. С. 430.

³ Анбор Г. Академия истории материальной культуры // Правда. 1934. № 89 (31 марта). С. 2.

⁴ См., например: Келлер, Заводовский, Презент. Путь советской науки // Правда. 1933. № 115 (26 апр.). С. 2.

⁵ Артамонов М. И. Археологические исследования в СССР // Правда. 1938. № 37 (7 февр.). С. 4; Бибиков С. Археологические раскопки 1937 г. // Правда. 1937. № 353 (25 дек.). С. 4.

⁶ Артамонов М. И. Археологические исследования в СССР // Правда. 1938. № 37 (7 февр.). С. 4.

⁷ Палеонтологический музей // Правда. 1937. № 254 (14 сент.). С. 6; Гибнут ценности XII в. // Правда. 1938. № 19 (19 янв.); Новые приобретения исторического музея // Правда. 1939. № 347 (17 дек.); Новые залы исторического музея // Правда. 1940. № 187 (7 июля). С. 4; Документы по истории Бессарабии // Правда. 1940. № 191 (11 июля). С. 6.

⁸ Нераскрытые сокровища // Правда. 1937. № 179 (1 июля). С. 4; Изучение истории народов Севера // Правда. 1940. № 153 (3 июня). С. 2.

⁹ Генинг В. Ф. Структура археологического познания (проблемы социально-исторического исследования). Киев : Наук. думка, 1989. С. 88.

О. С. Поршнева

(Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург)

**ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВ СОЮЗНИКОВ В СОЗНАНИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ**

В последние два десятилетия в отечественной историографии особую популярность приобрели подходы имагологии, изучающей образы-представления о «другом», формирующиеся в процессе взаимодействия народов, государств и культур¹. Актуализация данного исследовательского направления в новейшее время во многом определяется интенсификацией межкультурных контактов в условиях глобализации, порождающей проблему понимания мотивов поведения людей, принадлежащих к другим цивилизациям².

Впервые в нашей стране идеи имагологии были применены Л. А. Заком в исследовании внешнеполитических стереотипов. Автор проанализировал основные теоретические принципы западной имагологии («имеджинологии») и показал возможности их применения в изучении международных отношений. К сфере имагологии он относил проблемы формирования образа государства и влияния внешнеполитических стереотипов на отношения государств, сознательное конструирование образов и их использование в дипломатической практике. Л. А. Зак подчеркивал как утилитарный подход представителей имагологии к исследованию проблем международных отношений, использование ее выводов внешнеполитическими ведомствами западных государств, так и ее особое теоретическое значение и ценность, так как «она вычленяет важный аспект этих отношений, ускользающий почти целиком при иных исследовательских подходах»³. В частности, он впервые в отечественной историографии обратил внимание на возможность использования концептуальных идей имагологии при изучении влияния на внешнюю политику государства общественного мнения, устойчивых представлений, сложившихся у населения и политических кругов.

Одним из первых собственно исторических исследований, выполненных на конкретно-историческом материале опубликованных источников, была работа

Н. А. Ерофеева, посвященная представлениям об Англии и англичанах в России во второй четверти XIX в.⁴ Автор пришел к важному выводу: «...к середине XIX в. об Англии и англичанах в России было известно уже так много, <...> возникли условия, которые позволяли без особого труда составить себе довольно отчетливое представление как о стране в целом – ее экономической и политической жизни, ее культуре и быте, – так и о народе – его специфически национальных чертах. Представления, которые прежде господствовали в умах лишь немногих наиболее информированных людей, теперь получили гораздо более широкое распространение»⁵. Особо ценной в методологическом отношении представляется идея Н. А. Ерофеева, примененная в исследовании, о двустороннем характере образов «других», отражающих как черты воспринимаемого народа и государства (объекта), так и, в не меньшей мере, черты собственной культуры носителя изучаемых представлений (субъекта), проекцией которой в значительной степени является образ «чужого»⁶.

В поздний советский и постсоветский периоды преодоление теоретической разобщенности отечественной и зарубежной научной традиции, методологические поиски российских исследователей, возможности нового осмысления источников благотворно сказались на изучении в России истории взаимовосприятия народов, социумов и культур. Активизации научных разработок способствовали конференции и семинары, проводившиеся в академических институтах и крупнейших вузах страны.

Методологические и конкретно-исторические проблемы имагологии в современной историографии на материале российской истории активно разрабатываются А. С. Сеньявским, Е. С. Сеньявской⁷, А. В. Голубевым⁸, другими исследователями. Так, А. С. Сеньявский и Е. С. Сеньявская обосновывают научную значимость и концептуальные подходы к изучению проблемы применительно к истории России XX в. Они отмечают, что «без учета психологических и социокультурных факторов взаимодействия с чужими социумами невозможно адекватное научное осмысление новейшей отечественной истории, как военной, так и “гражданской”»⁹. Это, как указывают исследователи, определяет особую роль войн в истории России XX в., в том числе в трансформации массового сознания, формировании как временных, так и весьма устойчивых социально-психологических, социокультурных и идеологических категорий и стереотипов, влиявших на периоды мирного развития⁹.

Важные теоретические положения были разработаны авторами коллективной монографии «Россия и Запад/ Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века»¹⁰. В частности, показаны причины и механизмы отторжения русским сознанием Запада как чуждого мира, истоки формирования образа Запада в России как враждебного «инога», процессы демифологизации «другого» и ценностной эволюции как проявлений культурной динамики в модернизирующемся российском обществе, их влияние на становление систем представлений о других странах и народах¹¹. Авторы монографии рассматривают важную в методологическом

отношении проблему стереотипа как феномена общественного сознания¹², в котором фиксируется схематизированное представление этноса или социальной группы о внешнем мире в целом и его составных частях, отдельных сторонах жизни людей внешнего мира¹³. Исследуются источники формирования этнических, внешнеполитических стереотипов, стереотипов мышления и их роль в восприятии «Другого» и диалоге культур в истории¹⁴.

В 1990-е гг. появились первые публикации, посвященные образу «чужого» в конкретно-историческом контексте назревания и протекания Первой мировой войны, написанные в жанре исторической имагологии или близких методологических подходов, в частности, исторической антропологии и военно-исторической антропологии¹⁵. В начале 2000-х гг. вышли в свет монографические исследования, в которых рассматривается проблема восприятия российским обществом противников и союзников своего государства в условиях войны и мира¹⁶. В современных исследованиях убедительно показана множественность образов западных государств и народов, формировавшихся в конце XIX – начале XX в. в рамках рационального и элитарного дискурсов¹⁷, в то же время проблема становления и эволюции образов западных стран-союзников России в массовом сознании общества накануне и в годы Первой мировой войны изучена до сих пор недостаточно.

Значительное количество статей и некоторые разделы в монографических исследованиях, вышедших в последние годы, посвящены представлениям об Англии, Франции и США в России во второй половине XIX в. и на рубеже XIX–XX вв.¹⁸ Анализ А. Б. Давидсоном основных тенденций формирования и эволюции образа Британии в России в контексте российско-британских отношений XIX и XX вв. позволил обосновать тезис о резком усилении симпатий к Великобритании накануне и в годы Первой мировой войны в условиях союзнического взаимодействия. Оно было ознаменовано развитием культурных контактов двух народов, способствовавших лучшему взаимопониманию и преодолению негативных стереотипов¹⁹. И. С. Рыбаченок, Е. Н. Проскурина говорят о большом интересе к опыту Франции в России в последней трети XIX в. и на рубеже XIX–XX вв., характерных чертах формирующегося образа союзницы²⁰. Е. Ю. Сергеев анализирует представления российской военной и дипломатической элиты накануне Первой мировой войны, показывая исторический и интеллектуальный контексты систем представлений о потенциальных и реальных союзниках России, источники, мотивы и формы элитарного дискурса²¹.

Значимую роль в исследовании социальных и культурных процессов периода мировой войны играет концепция тотальной войны, позволяющая изучить опыт национальных мобилизаций, компонентом которого было взаимодействие правительств и обществ в обосновании и поддержании легитимности войны, конструировании образов противников и союзников своего государства²². Исследователи обращают внимание на важность довоенного и особенно военного опыта в ускорении формирования в России нации и национального

самосознания. Отмечается роль влиятельных средств массовой информации, развитие которых накануне и в годы войн и революций первой четверти XX в. было одним из проявлений становления в России «массового общества», перехода к методам массовой политики и пропаганды. Особенно большое значение в этом отношении имел опыт Первой мировой войны. «Тотальная война, – отмечает П. Холквист, – была самым тесным образом связана с развитием современной политики управления массами», переходом от управления территориями к управлению населением²³. Мобилизация населения в условиях тотальной войны означала «мобилизацию коллективного духа»²⁴, одним из проявлений которой было создание и трансляция средствами массовой политики и пропаганды позитивных образов союзников.

На рубеже XIX–XX вв. в условиях складывания в Европе противоборствующих коалиций и обострения международных отношений в общественном сознании населения ведущих держав происходило интенсивное формирование внешнеполитических стереотипов, представлений о противниках и союзниках своего государства. Наибольшую роль в этом играла деятельность политических и интеллектуальных элит, направленная на мобилизацию национального сознания посредством конструирования и трансляции идейно-психологического обоснования противоборства. Если в представлениях образованных слоев о «других» преобладали рациональные компоненты, организованные в определенную структуру и определяемые различными вариантами понимания национальных интересов своей страны, военной и внешнеполитической конъюнктуры, то в сознании низов, наряду с распространением в начале XX в. рациональных компонентов, значительную роль играли этнокультурные стереотипы, символы и мифы. В то же время в связи с происходившей в этот период политизацией массового сознания европейских сообществ, в том числе российского, этнические стереотипы, определявшие в традиционной русской культуре восприятие «других», все больше вытеснялись внешнеполитическими.

Реальный опыт политической и идейно-психологической мобилизации и демобилизации населения России в годы войны стал в последние десятилетия предметом рассмотрения в целом ряде работ отечественных и зарубежных исследователей²⁵. Отношение к союзникам, представления о них были одним из индикаторов протекания данных процессов. Тема англофобии в российском обществе в годы Первой мировой войны, ее источников, политических функций и символических воплощений исследуется Б. И. Колоницким²⁶. Он, в частности, показал деятельность Германии по планомерному разложению русских войск и антисоюзнической пропаганде в России и среди русских военнопленных, проанализировал роль англофобии и ее символических репрезентаций в формировании образа классового врага в период революции 1917 г. Как заметил Б. И. Колоницкий, образ Джона Буля, олицетворявшего английский капитализм, «коварного Альбиона», находясь на пограничье ксено- и социофобии, способствовал распространению образа врага – Буржуа, так как большевики получили возможность использовать в целях политической мобилизации дав-

нюю и развитую традицию англофобии²⁷. А. Б. Давидсон подчеркивает не только значимость политического сближения с Великобританией, рост взаимных англо-русских симпатий в годы мировой войны, но и влияние консервативной парадигмы российского сознания в духе «православия, самодержавия, народности» на восприятие британского союзника. Сохранение в русском обществе традиционных установок и взглядов обусловило устойчивость ряда распространенных антианглийских стереотипов массового сознания о неприемлемом протестантизме, «гнилом либерализме», поклонении «златому тельцу», способствовавшую быстрому распространению англофобии в России после революции 1917 г.²⁸ Проблема восприятия русским обществом США и их опыта, в том числе в условиях мировой войны и революции, фрагментарно рассматривалась в советской историографии²⁹, а в последнее двадцатилетие стала предметом специальных исследований³⁰. Подводя некоторый итог изучению восприятия США в России, Н. Н. Болховитинов подчеркивал, что несмотря на увеличение информации о жизни в США в XX в., осведомленность россиян об американской цивилизации и общий образ Америки оставляли желать лучшего³¹. Общие тенденции формирования, эволюции образов союзников в годы Первой мировой войны, их основные черты в широких тематических и хронологических рамках охарактеризованы в работах Е. С. Сенявской, А. В. Голубева, Е. В. Рудой³².

Анализ степени изученности проблемы показывает, что в статьях и монографических исследованиях формирование и эволюция образов союзников в сознании российского общества накануне и в годы Первой мировой войны рассматриваются либо как один из ряда сюжетов, либо в более широких хронологических рамках, что предопределяет показ главным образом базовых тенденций и основных форм восприятия союзников общественным сознанием и различными группами социума. В связи с этим можно констатировать назревшую необходимость создания специальных исследований, в которых эта тема получила бы комплексное освещение, а образы союзников рассматривались в плотном историческом контексте, в их социокультурных репрезентациях и формах бытования.

Источниками для такого изучения может стать совокупность документальных комплексов различного происхождения. Наиболее массовым из них, обладающим достаточно высоким уровнем репрезентативности, являются материалы периодической печати. Накануне и в годы Первой мировой войны газеты служили основным источником внешнеполитической информации не только для города, но и в значительной мере для деревни. Они были важнейшим каналом проникновения в широкие слои населения и средством формирования внешнеполитических стереотипов. Возникновение и развитие влиятельных средств массовой информации, отражающих широкий спектр общественных воззрений, было одним из проявлений становления в России в начале XX в. в процессе буржуазной модернизации «массового общества», перехода к методам массовой политики и пропаганды.

У широких слоев народа в России интерес к газете пробудился еще в период Первой русской революции, когда именно из газет можно было узнать новости о событиях политической жизни. Потрясением для национального сознания стала проигранная Русско-японская война, обострившая интерес к внешнеполитическим событиям и международным отношениям. Распространение грамотности, политизация населения привели к тому, что дешевые массовые газеты, рассчитанные на широкие читательские слои населения, стали расходиться огромными тиражами. В начале XX в. росли количество и тиражи столичных и провинциальных газет и журналов. В годы мировой войны интерес к газете в России возрос в небывалой степени. В этот период выходило 856 наименований изданий легальной прессы с разовым тиражом 2,7 млн. экземпляров³³. Из города газеты проникали в деревню, которая и сама накануне и в годы Первой мировой войны выступала как активный подписчик.

Трансляция определенных представлений органами печати, конкурирующими в условиях рынка и ускоренной политизации населения, определялась борьбой за читателя, поиском «своей» аудитории. В большей степени аналитическая составляющая была характерна для научных, литературных и общественно-политических журналов, таких как «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство», имевших сравнительно небольшой тираж – 10–20 тыс. экземпляров и рассчитанных на образованную публику. Однако и наиболее популярные и влиятельные газеты, такие как «Русское слово», «Новое время», «Московские ведомости», «Биржевые ведомости», выходявшие тиражами от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч, проявляли аналитический подход при рассмотрении внешнеполитических проблем, демонстрировали определенные идейно-политические предпочтения: либеральные, либерально-консервативные, консервативно-националистические. В результате под влиянием массовых газет формировался целый спектр представлений о действиях, мотивах и свойствах союзных государств и народов, их отношениях с Россией. Пресса формировала и закрепляла определенные символы-мифы общественного сознания, устойчивость которых зависела от хода событий, влияния социокультурных факторов, актуализированных и трансформированных мировой войной.

Другой значимой группой источников, пригодной для изучения темы, являются информационные материалы и сводки о настроениях населения специальных ведомств МВД (Департамента полиции) и Военного министерства царского и Временного правительств (военно-цензурные, а затем военно-политические отделы Генерального штаба, штабов фронтов и военных округов). Несмотря на то, что они содержат такой компонент, как оценки и суждения их составителей, интерпретирующих собранную информацию, они позволяют выявить наиболее общие тенденции общественных настроений, типичные суждения, представления, многократно упоминавшиеся в донесениях наблюдателей. Жандармские ведомства, подчиненные Департаменту полиции, в силу своей специфики и предназначения, были заинтересованы в поддержании и обо-

сновании необходимости своей деятельности, а потому не упускали из поля своего зрения малейшие проявления инакомыслия. Тем более симптоматично, что информационные сводки жандармских управлений в составе материалов ДП МВД, не содержат, как правило, упоминаний о негативных или альтернативных к общепринятым настроениях по отношению к союзникам. Это может быть интерпретировано как свидетельство нерасчлененности образа войны и образов союзников в массовом сознании, а также «периферийности» этой темы для него, недостаточном «низовом» интересе к чуждому и непонятному миру других стран и народов. Материалы полицейских и жандармских отчетов говорят также о преимущественной лояльности населения, особенно в провинции, по отношению к официальной концепции войны в дореволюционный период. В то же время критические настроения, ожидания, а также внешнеполитические стереотипы часто выражались и «прорывались» в форме слухов, которым, однако, полицейские и жандармские чины не придавали большого значения, а потому по большей части не фиксировали их содержания³⁴.

Представители органов политического надзора и цензуры в царской армии в силу своей бюрократической природы были в меньшей степени склонны акцентировать внимание на негативных тенденциях. В то же время их регулярные отчеты были унифицированы, а в дореволюционный период содержали не только информацию о процентном соотношении корреспонденции разного характера («бодрых», «угнетенных», «уравновешенных» или: «с патриотическими высказываниями», «с пожеланиями мира», «без упоминаний о войне», «с жалобами»), отрывки из наиболее типичных писем каждой категории, но и тематические рубрики, выделявшие группы вопросов армейской жизни и быта, внутренней и внешней политики и т. д., затрагивавшиеся в солдатских письмах. Абсолютное большинство солдатских писем не содержало суждений по политическим вопросам, лишь задержанная военной цензурой корреспонденция, опубликованная в советское время³⁵, позволяет выявить внешнеполитические представления и стереотипы, не укладывавшиеся в рамки официальной концепции войны, в том числе суждения и мнения о союзниках и противниках России.

Широкий спектр общественных настроений и суждений, характеризующих представления о союзниках, можно реконструировать по документам личного происхождения – воспоминаниям, дневникам, письмам, являющимся важнейшей группой источников по теме. В них фиксируются субъективные переживания и осмысление событий, а также факты, характеризующие поступки авторов мемуаров и их современников, отражающие ценностные установки, идеи и представления людей, значимые для изучения восприятия ими союзников. Воспоминания, созданные по прошествии времени, в отличие от дневниковых записей, могут содержать искаженные оценки, обусловленные влиянием политической конъюнктуры или аберрацией памяти, поэтому их сведения необходимо особенно тщательно сопоставлять с данными других источников. Комплексное использование информации источников личного происхождения

в совокупности с данными других документов, их критика и взаимная проверка позволяют выявить характерные для тех или иных личностей, социальных или политических групп оценки и представления.

Примечания

¹ Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на материалах российской истории XX в.) // Вестн. РУДН. 2006. № 2 (6). С. 57.

² Медушевский А. Н. Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // Рос. история. 2009. № 4. С. 3.

³ Зак Л. А. Западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. М., 1976. С. 7.

⁴ Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825–1850 гг. М., 1982.

⁵ Там же. С. 68.

⁶ Там же. С. 21–22.

⁷ Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая имагология; Сенявский А. С. Проблема «свой-чужой» в историческом сознании : теоретико-методологический аспект // «Наши» и «чужие» в российском историческом сознании. СПб., 2001; Сенявская Е. С. Проблема «свой» – «чужой» в условиях войны и типология образа врага // Там же.

⁸ Голубев А. В. : 1) «Если мир обрушится на нашу республику...» Советское общество и внешняя угроза в 1920–1940-е гг. М., 2008. С. 5–13; 2) Слухи как источник изучения внешнеполитических стереотипов советского общества 1920-х гг. // Россия и мир глазами друг друга : история взаимовосприятия. М., 2008 и др.

⁹ Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая имагология... С. 55.

¹⁰ Россия и Запад : Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века. М., 1998.

¹¹ Там же. С. 17–34.

¹² Там же. С. 5–7.

¹³ Там же. С. 5.

¹⁴ Там же. С. 7–8.

¹⁵ Сенявская Е. С. «Образ врага» в сознании участников Первой мировой войны // Россия и Европа в XIX–XX вв. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996; Рудая Е. В. Союзники-враги : Россия и Великобритания глазами друг друга в 1907–1917 годах // Россия и Европа в XIX–XX вв. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996; Сергеев Е. Ю. Образ Великобритании в представлении российских дипломатов и военных в конце XIX – начале XX века // Россия и Европа в XIX–XX вв. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996; Поршнева О. С. Эволюция образа немца в массовом сознании солдат русской армии в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917) // Немцы на Урале и в Сибири (XVI–XX вв.) : материалы науч. конф. «Германия – Россия : исторический опыт межрегионального взаимодействия XVI–XX вв.» (03–09.09.1999 г.). Екатеринбург, 2001 и др.

¹⁶ Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века. Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006; Голубев А. В. «Если мир обрушится на нашу республику...»; Орлов А. А. «Теперь вижу англичан вблизи»... Британия и британцы в представлениях россиян о мире и о себе (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). М., 2008.

¹⁷ Подробнее см.: Ерофеев Н. А. Указ. соч.; Орлов А. А. Указ. соч.; Гелла Т. Н. Англия конца 60-х – начала 70-х годов XIX века глазами русских // Россия и Европа в XIX–XX веках. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996. С. 155–165; Сергеев Е. Ю. Образ Великобритании в представлении российских дипломатов и военных в конце XIX – начале XX века // Там же. С. 166–174.

¹⁸ Россия и Запад. С. 55–63; Сергеев Е. Ю. Образ Великобритании...; Рудая Е. В. Союзники-враги...; Гелла Т. Н. Русские публицисты начала XX века об Англии и англичанах // Историческое знание : теоретические основания и коммуникативные практики. М., 2006; Проскурина Е. Н. : 1) Эволюция образа Другого : Франция на страницах журнала «Вестник Европы» (60–90-е гг. XIX в.) // Там же; 2) «В таком значении войны вообще лежит залог прогресса» : Франко-прусская война на страницах «Вестника Европы» // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. Вып. 29. М., 2009; Казакова О. Ю. Американская тема в борьбе идейных течений российской беллетристики эпохи Великих реформ // Россия и мир глазами друг друга : история взаимовосприятия. М., 2008 и др.

¹⁹ Давидсон А. Б. Указ. соч. С. 54–55.

²⁰ Рыбаченок И. С. Россия и Франция : союз интересов и союз сердец. 1891–1897. Русско-французский союз в дипломатических документах, фотографиях, рисунках, карикатурах, стихах, тостах и меню. М., 2004. С. 12; Проскурина Е. Н. : 1) Эволюция образа Другого... С. 169; 2) «В таком значении войны вообще лежит залог прогресса»...

²¹ Сергеев Е. Ю. : 1) Образ Великобритании...; 2) Представленческие модели российской военной элиты начала XX в. // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. М., 2002. С. 237–251; 3) Геополитические представления военной элиты России накануне Первой мировой войны // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005/2006. М., 2006. С. 332–346.

²² State, Society and Mobilization in Europe during the First World War / ed. by John Horne. Cambridge, 1997; Ферстер С. Тотальная война. Концептуальные размышления к историческому анализу структур эпохи 1861–1945 гг. // Опыт мировых войн в истории России : сб. ст. Челябинск, 2007. С. 12–27; Байрау Д. Понятие и опыт тотальной войны (на примере Советского Союза) // Там же. С. 28–48.

²³ Холквист П. Тотальная мобилизация и политика населения : российская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте // Россия и Первая мировая война : материалы междунар. науч. коллоквиума. СПб., 1999. С. 84.

²⁴ Там же. С. 91.

²⁵ Sanborn Josh. The Mobilization of 1914 and the Question of the Russian Nation : A Reexamination // Slavic Review. 2000. 59, № 2; Посадский А. В. Крестьянство во всеобщей мобилизации армии и флота 1914 года (на материалах Саратовской губернии). Саратов, 2002; Асташов А. Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // Отечеств. история. 2003. № 2; Поршнева О. С. : 1) Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004; 2) «Настроение 1914 года» в России как феномен истории и историографии // Рос. история. 2010. № 2. С. 185–200; Носков В. В. Первая мировая война и русская идея // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. 25/2. М., 2008. С. 51–87 и др.

²⁶ Колоницкий Б. И. : 1) Политические функции англофобии в годы Первой мировой войны // Россия и Первая мировая война : материалы междунар. науч. коллоквиума.

СПб., 1999; 2) Занимательная англофобия : образы «Коварного Альбиона» в годы Первой мировой войны // Новое лит. обозрение. 2000. № 41; 3) Британские миссии и А. Ф. Керенский (Март-октябрь 1917 года) // Россия в XIX–XX вв. : сб. ст. к 70-летию Рафаила Шоломовича Ганелина / ред. А. А. Фурсенко. СПб., 1998.

²⁷ Колоницкий Б. И. Политические функции англофобии в годы Первой мировой войны. С. 283–284.

²⁸ Давидсон А. Б. Указ. соч. С. 55.

²⁹ Васюков В. С. Внешняя политика Временного правительства. М., 1966; Ганелин Р. Ш. Россия и США. 1914–1917 : Очерки истории русско-американских отношений. Л., 1969; Игнатъев А. В. Внешняя политика Временного правительства. М., 1974.

³⁰ См., напр.: Болховитинов Н. Н. Образ Америки в России // Американская цивилизация как исторический феномен. Восприятие США в американской, западноевропейской и русской общественной мысли. М., 2001; Листиков С. В. Конец самодержавия и проблема выбора пути (русская пресса 1917 г. об американском опыте) // Первая мировая война : (Пролог XX века). М., 1998.

³¹ Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 439.

³² Рудая Е. В. Союзники-враги...; Сенявская Е. С. От временных союзов к военно-политическому противостоянию : динамика восприятия Англии, Франции и США в российском и советском общественном сознании первой половины XX века // Проблемы российской истории. Вып. VI. М., 2006; Голубев А. В. «Если мир обрушится на нашу республику...».

³³ См.: Есин Б. И. Русская дореволюционная газета. 1702–1917. Краткий очерк. М., 1971. С. 74.

³⁴ Голубев А. В. Слухи как источник изучения внешнеполитических стереотипов советского общества 1920-х гг. С. 150.

³⁵ Солдатские письма 1917 года. М. ; Л., 1927; Царская армия в период мировой войны и Февральской революции. Казань, 1932; Солдатские письма в годы мировой войны (1915–1917 гг.) // Крас. арх. М., 1934. Т. 4–5. С. 118–163.

М. А. Фельдман
(Уральская академия государственной службы, г. Екатеринбург)

**РАБОЧИЕ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ (В ПРЕДДВЕРИИ СТОЛЕТИЯ)**

Наличие целого ряда историографических обзоров различных аспектов Гражданской войны в России существенно облегчает задачу исследователя¹. Общее состояние российских и зарубежных исследований Гражданской войны нашло оценку в трудах И. В. Михайлова².

И. В. Михайлов, выявив преобладание старых методологических подходов в публикациях исследователей, отметил, что объективное изучение Гражданской войны требует качественно новой методологии³. При явном преобладании в статьях И. В. Михайлова обоснованных критических интонаций обращает на себя внимание не только позитивная характеристика книги В. Бровкина (1994) «За линиями фронтов Гражданской войны : политические партии и социальные движения России, 1918–1922»⁴, но и поддержка *методологической парадигмы* американского исследователя: «Что бы ни хотел сказать автор (В. Бровкин), из его книги ясно, что будущее за социальной историей Гражданской войны, свободной от политической ангажированности»⁴.

Развивая эту мысль, И. В. Михайлов задает риторический вопрос: «Задумывается ли кто-нибудь из историков Гражданской войны о том, что конечный смысл и итог противоборства красных и белых можно уловить не только через подсчет потерь и жертв, а в совершенно иной, скажем, социокультурной плоскости?», открывающей громадные внутрисистемные инновационные возможности⁵.

Сохранение старых методологических подходов привело к тому, что и спустя два постсоветских десятилетия исследователи далеки не только от системного подхода к явлениям Гражданской войны, но либо концентрируют внимание исключительно на отдельных, во многом частных сюжетах, либо ограничиваются изучением действий одной воюющей стороны⁶.

Важное место занимает вопрос о *сроках начала* Гражданской войны. Советская историография, в целом, стремилась развести события Октябрьской рево-

люции и Гражданской войны, так как отнесение начала Гражданской войны к октябрю 1917 г. (вместо «общепринятой» середины 1918 г.) означало, что виновниками ее развязывания автоматически становились большевики⁷. Вина за начало Гражданской войны возлагалась на агрессию извне, на иностранных интервентов⁸.

Поистине революционным событием в исторической науке советской эпохи стал выход монографий В. Д. Поликарпова⁹, в которых доказывалось, что захват власти большевиками 25 октября 1917 г. стал началом Гражданской войны в России, поскольку Октябрьский переворот привел в действие силы сопротивления военной контрреволюции. Кроме того, на это не могли среагировать те силы, которые хотели воспользоваться преимуществами «третьей стороны». В силу этого, по мысли В. Д. Поликарпова, очевидна неразрывность Октябрьской революции и Гражданской войны¹⁰.

Точка зрения В. Д. Поликарпова стала преобладающей в современных оценках сроков начала Гражданской войны. Вместе с тем нельзя не отметить нюансов в трактовке этой концепции.

Если для С. В. Тютюкина события 1917–1921 гг. представляются периодом непрерывной Великой российской революции, все этапы которой были связаны между собой воедино¹¹, то, по мнению В. М. Лаврова, только разогнав Учредительное собрание и не передав власть законному правительству во главе с эсерами, которых поддержало большинство населения на выборах, большевики предрешили сползание страны в Гражданскую войну¹². Мысль о месте и роли Учредительного собрания как своеобразного водораздела революций 1917 г. и иной эпохи с возможно неоднозначным содержанием и альтернативными путями развития выделяет А. Н. Медушевский, подчеркивая, что «с Учредительным собранием создавалась основа выхода из острого политического кризиса, вызванного войной и революцией, мирным путем, т. е. без Гражданской войны и террора»¹³.

Однако надежды на созидательный потенциал Учредительного собрания были маловероятны, отметил Л. Г. Протасов, подчеркнув: «...зародыш гибели Учредительного собрания лежал уже в составе депутатского корпуса, в конфронтационном, деструктивном типе его политической культуры». На это же указывает и судьба большинства депутатов: свыше 60 % их погибли насильственной смертью в годы Гражданской войны и последующих репрессий, что выглядит как обобщающий знаменатель судьбы самого Учредительного собрания¹⁴.

Противоположную В. Д. Поликарпову точку зрения высказал Б. С. Илизаров, настаивая на том, что надо отделить Октябрьскую революцию от Гражданской войны, как совершенно различные исторические эпохи¹⁵.

Полярность оценок начинает уменьшаться в том случае, когда в тесной связи рассматриваются вопрос о *сроках начала* и проблема *содержания* Гражданской войны. Так, Ю. И. Игрицкий в 1994 г. пришел к выводу, что истоки Гражданской войны «следует искать не в попытках партий и группировок захватить (или вернуть) политическую власть и тем более не в вооруженных инцидентах

или поисках закулисных сил, а в глубинных общественных процессах, которые подводят общественные противоречия к той грани, за которой начинается широкое вооруженное насилие, принимающее формы массовых репрессий и государственного террора...»¹⁶.

В силу этого, подчеркивал Ю. И. Игрицкий, вооруженные конфликты носили (до лета 1918 г.) *точечный, прерывистый во времени и пространстве характер* [выделено мною. – М. Ф.]. Синхронизация вооруженных действий одной из сторон (и это была белая сторона) осуществилась лишь летом 1918 г.¹⁷

Своеобразную трактовку периодизации Гражданской войны в том же 1994 г. предложил Ю. А. Поляков. Отметив, что революция и Гражданская война как явления неотделимы, а Октябрьская революция является крупнейшим рубежом Гражданской войны, академик выделил период лета 1918 г. – конца 1920 г. как «время Гражданской войны в полном смысле этого слова»¹⁸. Тем самым, не оспаривая неразрывности Октябрьской революции и Гражданской войны, Ю. А. Поляков и Ю. И. Игрицкий оказались солидарны в разделении двух понятий: понимания Гражданской войны в соответствии со строгим значением этого термина; а также в выделении неклассического (или неакадемического) понимания Гражданской войны, включающего и период разрозненных вооруженных, относительно немногочисленных конфликтов, не определяющих внутреннюю жизнь страны и общества.

Такое концептуальное видение сроков Гражданской войны можно считать достижением историографии 1990-х гг., а сам факт отсутствия на протяжении почти двух десятилетий развернутой ее критики следует определить (на данный момент) как «молчаливое» согласие историков с таким подходом.

Сомнительны в этой дискуссии директивные нотки любой тональности. Положение, которое констатирует, что спустя двадцать лет после распада СССР преобладающей в историографии точкой зрения стала концепция единоличной вины большевиков за начало Гражданской войны, а историки, сомневающиеся в том, что «провозгласив 25 октября курс на мировую революцию, большевики развязали внутринациональную Гражданскую войну», представляют собой «бязливых» консерваторов¹⁹, должно опираться на четкую систему доказательств.

Однако аргументы в пользу подобной концепции содержатся все в той же плоскости борьбы политических партий либо психологического состояния населения. Можно согласиться с тем, что «после 25 октября все стороны – большевики, анархисты, умеренные социалисты, местные национальные лидеры, кадеты, генералитет, устремившиеся на Дон юнкера и офицеры – ощущали себя уже в состоянии Гражданской войны»²⁰. Однако речь идет о ничтожно малой части населения страны.

Не вызывает сомнения и то, что осенью 1917 г. психологическое состояние *активной части* масс было таково, что эскалацию вооруженного конфликта могла спровоцировать даже естественная попытка преодоления хаоса²¹. Но основным фактором, обусловившим такой состояние, было, по общепринятому мнению историков, продолжение участия России в мировой войне.

Более того, по признанию И. В. Михайлова, «составить представление о механизмах перерастания революции в открытое вооруженное противостояние с силами контрреволюции из опубликованного практически невозможно»²². Если к этому добавить верное наблюдение о незначительности «первых проявлений Гражданской войны» – локальных и кратковременных столкновений слабовооруженных и немногочисленных отрядов красновардейцев и сторонников Временного правительства²³, – напрашивается вывод о недостаточной изученности вопроса о сроках начала Гражданской войны.

Говоря о взглядах западных исследователей на указанную выше проблему, историографы обращают внимание на высказывание (1918 г.) одного из лидеров европейской социал-демократии К. Каутского, задавшее вектор оценок практически на столетие. По утверждению К. Каутского, только «после разгона Учредительного Собрания в январе 1918 г. борьба партий в русском государстве приняла окончательно форму Гражданской войны»²⁴. В данном случае примечательно указание К. Каутского на «борьбу партий» (а не борьбу сословий и классов), говорящее скорее о предыстории Гражданской войны.

Подобный подход – вписывание Гражданской войны в России в политические рамки и традицию увязывать начало Гражданской войны с разгоном Учредительного собрания – надолго стал характерным для современных западных историков²⁵.

Однако, прежде чем давать ответ о сроках начала Гражданской войны, было бы логичным проследить, в каких регионах до лета 1918 г. вооруженные конфликты были редкостью, в каких – стали основным содержанием региональной жизни, и как соотносятся две названные группы регионов. Отсутствие таких исследований с учетом многообразия районов России²⁶, нередко находящихся уже на рубеже 1917–1918 гг. либо на стадии полной или частичной автономии, либо фактической независимости от Центра, переводит дискуссию скорее в абстрактную плоскость.

Не менее сложен вопрос о *причинах* Гражданской войны. И сторонников белого движения, и красного лагеря объединяет методологический инструментарий *классового* общества (даже в случае не употребления термина ‘класс’). Выражение же А. Н. Боханова (2008 г.) – «...идея классовой борьбы победила национальную идею»²⁷ – в образной форме признает сохранение такого инструментария, признающего, что российское общество к 1917 г. было преимущественно буржуазным.

В рамках этого подхода вновь можно говорить о нюансах. Так, А. И. Деникин на первый план выдвигал непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, обостренные между основными народными слоями – буржуазией, пролетариатом и крестьянством, существовавшие всегда в потенции, углубленные революцией и обостренные разъединяющей политикой Советской власти²⁸.

Глубинные общественные противоречия, перешедшие грань широкого вооруженного насилия, т. е. масштабное столкновение основных социальных сло-

ев, составляющих социальную структуру общества, рассматривает в качестве причины Гражданской войны Ю. И. Игрицкий²⁹.

Еще одним, едва ли не основополагающим направлением исследований в 1990-е гг. и пограничным сегодня, надо считать вытекающее из теории тоталитаризма «стремление механически выводить террористические реалии Октября, а затем и всей сталинской системы из марксистской доктрины»³⁰. Самое удивительное заключается в том, что заявления типа: «Репрессии Гражданской войны вытекали из ленинской программы действий по захвату власти и осуществления диктатуры»³¹, как представляется, произвольно следуют традициям формационного подхода о неизбежности направлений исторических процессов.

Но что из себя представляла социальная структура российского общества в послеоктябрьский период? Сделав меткое наблюдение (имеющее важное методологическое значение): «...классовые категории скорее затрудняли, чем облегчали большевикам понимание общественно-политических реальностей»³¹, Ш. Фицпатрик (как, впрочем, и другие историки) оставила за чертой исследованной картину реальных социальных групп.

В этой связи, два, казалось бы, различных суждения И. В. Михайлова – «большевикам противостояла вся прежняя весьма многоликая разрушающаяся старая система»³² и «красным пришлось опираться не на передовой класс, а на традиционалистское большинство, у которого совсем иные (крайне архаичные счеты со старой властью)»³³ – в рамках социальной истории прочитываются, на мой взгляд, как *противостояние двух враждебных лагерей, опирающихся (в различной степени) преимущественно на сохранившиеся в основном социальные слои сословного общества*.

Исходя из такого подхода, если революции 1917 г. имели ярко выраженный антисословный характер, то причины Гражданской войны логично связаны с *борьбой представителей сословий за сохранение правовых и имущественных привилегий*. В этом случае срок начала Гражданской войны связан с периодом *реализации* декретов и постановлений Советской власти, направленных на ликвидацию сословных прав и, особенно, конфискацию движимого и недвижимого имущества.

Ультрарадикальные меры в *социальной* сфере обусловили тот потенциал недовольства, который, во-первых, по мере его накопления зимой – весной 1918 г., во вторых, благодаря стремительному сокращению численности армии – главной силы, позволившей коалиции большевиков и левых эсеров придти к власти, проявил себя в качестве общенационального фактора формирования антибольшевистского лагеря. В рамках всей страны (т. е. в большинстве регионов) ход военных действий и невоенного сопротивления Советской власти стал преобладающим с лета 1918 г.

Без сомнения, упрек в отвлеченности приведенной выше парадигмы может быть преодолен только при наполнении исторического поля региональными историческими исследованиями.

Примечания

- ¹ См. например: Голдин В. И. Россия в Гражданской войне : (Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х – 90-е гг.)). Архангельск, 2000; Верещагин А. С. Отечественная историография гражданской войны на Урале (1917–1921 гг.) Уфа, 2001.
- ² Михайлов И. В. : 1) Белое дело : зигзаги, тупики и перспективы историографического осмысления // Академик П. В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. М., 2000. С. 397–410; 2) Гражданская война в современной историографии : виден ли свет в конце туннеля? // Гражданская война в России : события, мнения // Памяти Ю. И. Кораблева М., 2002. С. 639–655; 3) Современная историография Гражданской войны в России // Россия и соврем. мир. 2007. № 3. С. 28–46; 4) Гражданская война как проблема российской истории : ситуация в современной историографии // На фронте истории Гражданской войны : памяти В. Д. Поликарпова : сб. ст. и док. С. 333–351.
- ³ Михайлов И. В. Гражданская война в современной историографии... С. 641.
- ⁴ Михайлов И. В. Белое дело... С. 404.
- ⁵ Михайлов И. В. Гражданская война в современной историографии... С. 648–649.
- ⁶ Там же. С. 641.
- ⁷ Михайлов И. В. Белое дело... С. 398.
- ⁸ Михайлов И. В. Современная историография Гражданской войны в России... С. 31.
- ⁹ Поликарпов В. Д. : 1) Начальный период Гражданской войны. История изучения. М., 1980; 2) Военная контрреволюция в России 1905–1917. М., 1990.
- ¹⁰ Михайлов И. В. Гражданская война в современной историографии... С. 645.
- ¹¹ Тютюкин С. В. Кто виноват? // Российские революции : 90 лет спустя. «Круглый стол» в институте Российской истории РАН // Отечеств. история. 2008. № 6. С. 171.
- ¹² Лавров В. М. Осмыслим свободно трагические уроки Октября // Там же. С. 168.
- ¹³ Медушевский А. Н. Право заменили политической целесообразностью // Там же.
- ¹⁴ Протасов Л. Г. Зародыш гибели – в самом депутатском корпусе // Там же. С. 184.
- ¹⁵ Илизаров Б. С. Разделять цели и результаты // Там же. С. 176.
- ¹⁶ Игрицкий И. Ю. Гражданская война в России : императивы и ориентиры переосмысления // Гражданская война в России : перекресток мнений. М., 1994. С. 58.
- ¹⁷ Там же. С. 63.
- ¹⁸ Поляков Ю. А. Гражданская война : начало и эскалация // Гражданская война в России : перекресток мнений. С. 44, 49, 54.
- ¹⁹ Михайлов И. В. Гражданская война как проблема российской истории... С. 334.
- ²⁰ Там же. С. 339.
- ²¹ Там же. С. 334.
- ²² Там же. С. 335.
- ²³ Там же. С. 336.
- ²⁴ Каутский К. Большевизм в тупике. Берлин, 1918 г. Цит. по: Гражданская война в России : перекресток мнений. М., 1994. С. 11.
- ²⁵ Михайлов И. В. Современная историография Гражданской войны в России... С. 29.
- ²⁶ С этим утверждением перекликается и мысль И. В. Михайлова: «Попытки выявить особенности Гражданской войны в отдельных регионах России также не приносят пока позитивных результатов». Михайлов И. В. Гражданская война в современной историографии... С. 640.

²⁷ Боханов А. Н. Революция обнажила гоголевскую Русь // Российские революции : 90 лет спустя. «Круглый стол» в институте российской истории РАН // Отечеств. история. 2008. № 6. С. 169.

²⁸ Деникин А. И. Очерки русской смуты // Гражданская война в России : перекресток мнений. М., 1994. С. 5.

²⁹ Игрицкий Ю. И. Гражданская война в России : императивы и ориентиры переосмысления // Гражданская война в России : перекресток мнений. М., 1994. С. 58.

³⁰ Михайлов И. В. Современная историография Гражданской войны в России... С. 30.

³¹ Фицпатрик Ш. Гражданская война в советской истории : западная историография и интерпретация // Гражданская война в России : перекресток мнений. М., 1994. С. 345, 353.

³² Михайлов И. В. Современная историография Гражданской войны в России... С. 33.

³³ Михайлов И. В. Гражданская война как проблема российской истории... С. 345.

Сведения об авторах

Алеврас Наталия Николаевна – доктор исторических наук, профессор, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
vhist@mail.ru

Андреева Таисия Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
le81@mail.ru

Антощенко Александр Васильевич – доктор исторических наук, профессор, Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск.
ant@psu.karelia.ru; antoshchenko@yandex.ru

Beurau Dietrich (Байрау Дитрих) – профессор университета г. Тюбингена, ФРГ.
osteuroopa@uni-tuebingen.de

Базанов Михаил Александрович – аспирант, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
bazanov.86@mail.ru

Баканов Сергей Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
bakanov-s@mail.ru

Богомазова Ольга Викторовна – аспирант, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
olga-bogomazova@mail.ru

Беликов Александр Павлович – доктор исторических наук, профессор, Ставропольский государственный университет, г. Ставрополь.
abelikov@rambler.ru

Ванюшева Ксения Викторовна – аспирант, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск.
vankusu@inbox.ru

Васильев Алексей Григорьевич – кандидат исторических наук, доцент, Российский институт культурологии, г. Москва.
vasal2006@yandex.ru

Волков Евгений Владимирович – доктор исторических наук, доцент, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск.
evgeny-volkov@mail.ru

Воробьева Ирина Геннадиевна – доктор исторических наук, профессор, Тверской государственный университет, г. Тверь.
dubrovnik@mail.ru

Высокова Вероника Витальевна – кандидат исторических наук, доцент, Уральский государственный университет им. А. М. Горького, г. Екатеринбург.
vyssokova@mail.ru

Галямичев Александр Николаевич – доктор исторических наук, профессор, Саратовский государственный университет, г. Саратов.
galyaman@rambler.ru

Гришина Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
natalyagrishina@mail.ru

Жукова Ольга Анатольевна – доктор философских наук, Московский государственный педагогический университет, г. Москва.
logoscultura@yandex.ru

Жумашев Рымбек Муратович – доктор исторических наук, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, г. Караганда, Казахстан.

Почта

Захаров Андрей Викторович – кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
elural@yandex.ru

Зезегова Ольга Ивановна – кандидат исторических наук, доцент, Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар.

oizezegova@mail.ru

Золотарев Виктор Павлович – доктор исторических наук, профессор, Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар

kzsnnv@syktsu.ru

Иванова Татьяна Николаевна – кандидат исторических наук, профессор, Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары.

tivanovan@mail.ru

Ивонина Ольга Ивановна – доктор исторических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск.

ivonina@ngs.ru

Ионов Игорь Николаевич – кандидат исторических наук, Институт всеобщей истории РАН, г. Москва.

ionov@mail333.com

Камынин Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург.

kamyninv@yandex.ru

Кара-Мурза Алексей Алексеевич – доктор философских наук, заведующий отделом социальной и политической философии Института Философии РАН, г. Москва.

a-kara-murza@yandex.ru

Киселев Михаил Александрович – младший научный сотрудник, Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург.

strateg-mk@rambler.ru

Кобылин Игорь Игоревич – кандидат философских наук, Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород.

kigor55@mail.ru

Колеватов Дмитрий Михайлович – старший научный сотрудник, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск.

korzunv@mail.ru

Коновалова Наталья Александровна – магистр истории, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск.

konovalovan@yandex.ru

Корзун Валентина Павловна – доктор исторических наук, профессор, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск.

korzunv@mail.ru

Крих Сергей Борисович – кандидат исторических наук, доцент, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск.

krikh@rambler.ru

Кузнецов Андрей Александрович – доктор исторических наук, профессор, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород.

nalbuz@mail.ru

Кулакова Ирина Павловна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва.

Лаптева Мария Петровна – кандидат исторических наук, доцент, Пермский государственный университет, г. Пермь.

modhist@yandex.ru

Леонтьева Ольга Борисовна – доктор исторических наук, профессор, Самарский государственный университет, г. Самара.

oleontieva@yandex.ru

Любчанская Татьяна Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

Мазур Людмила Николаевна – доктор исторических наук, профессор, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург.

lmaz@mail.ru

Меньковский Вячеслав Иванович – доктор исторических наук, профессор, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь.

menkovski@bsu.by, menkovski@tut.by

Метель Ольга Вадимовна – аспирант, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск.

olgametel@yandex.ru

Нарский Игорь Владимирович – доктор исторических наук, профессор, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск.
inarsky@mail.ru

Николай Федор Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, Нижегородский государственный педагогический университет, г. Нижний Новгород.
fvnik@list.ru

Поршнева Ольга Сергеевна – доктор исторических наук, профессор, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург.
sergey_porshnev@mail.ru

Репина Лорина Петровна – доктор исторических наук, профессор, заместитель директора, зав. Отделом историко-теоретических исследований ИВИ РАН, президент Российского общества интеллектуальной истории.
lorinarepina@yandex.ru

Романов Андрей Петрович – кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
androm74@yandex.ru

Руденко Константин Александрович – доктор исторических наук, профессор, Казанский университет культуры и искусства, г. Казань.
murziha@mail.ru

Рыженко Валентина Георгиевна – доктор исторических наук, профессор, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск.
Valentina948@mail.ru

Свешников Антон Вадимович – кандидат исторических наук, доцент, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск.
pucholik@rambler.ru

Скворцов Артем Михайлович – преподаватель, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
artyom-skvorcov@yandex.ru

Согрин Владимир Викторович – доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра Североамериканских исследований, Институт всеобщей истории, г. Москва.
vsogrin@yandex.ru

Сыченкова Лидия Алексеевна – доктор исторических наук, профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.
slid60@mail.ru

Тихонов Виталий Витальевич – кандидат исторических наук, научный сотрудник, Институт российской истории РАН, г. Москва.
tixonovvitaliy@list.ru

Умбрашко Константин Борисович – доктор исторических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск.
historian@ngs.ru, historian09@mail.ru

Фельдман Михаил Аркадьевич – доктор исторических наук, профессор, Уральская академия государственной службы, г. Екатеринбург.
feldman-mih@k66.ru

Фокин Александр Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.
aafokin@yandex.ru

Ханс-Кристиан Петерсен (ФРГ, Мюнхен) – доцент кафедры Восточноевропейской истории Факультета истории и культурологи университета г. Майнц (Федеративная Республика Германия).
peters@uni-mainz.de

Цыганков Дмитрий Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент, Московский государственный университет, г. Москва.
tsdm@yandex.ru

Черепанова Розалия Семеновна – кандидат исторических наук, доцент, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск.
rozache@mail.ru

Шнейдер Константин Ильич – кандидат исторических наук, доцент, Пермский государственный университет, г. Пермь.
kshneyder@yahoo.com

Научное издание

**ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
В ПРОСТРАНСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII–XXI ВЕКОВ**
Сборник статей

Корректорская правка Е. Ю. Панова
Компьютерная верстка А. А. Селютин

Подписано в печать 22.09.11. Формат 70х100 ¹/₁₆
Усл.-печ. л. . Уч.-изд. л. 33,4.
Тираж 500 экз. Заказ 680

Центр интеллектуальных услуг «Энциклопедия».
454084, Челябинск, проспект Победы, 160.
enciklo@rambler.ru

Отпечатано в типографии

